

БОЛЬШИЕ *и* КНИГИ

Говард Филлипс
Лавкрафт



УЖАС В МУЗЕЕ

«ИНОСТРАНКА»



БОЛЬШИЕ



КНИГИ

К Н И Г И
Г. Ф. ЛАВКРАФТА

В СЕРИИ
«ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.
БОЛЬШИЕ КНИГИ»

Зов Ктулху
Хребты Безумия
Иные боги и другие истории
Таящийся у порога
Ужас в музее



Говард Филлипс
Лавкрафт

и соавторы

УЖАС В МУЗЕЕ



Издательство «Иностранка»
МОСКВА

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Coe)-44
Л 13

H. P. Lovecraft and Others
The Horror in the Museum and Other Revisions
Copyright © 1970, 1989 by Arkham House Publishers, Inc.
«Lovecraft's "Revisions"» copyright © 1970 by August Derleth
All rights reserved

Публикуется с разрешения ARKHAM HOUSE PUBLISHERS, INC.
и литературных агентов, JABberwocky Literary Agency, Inc. (США)
при содействии Агентства Александра Корженевского (Россия)

Перевод с английского
Ольги Басинской, Василия Дорогокупля, Марии Куренной,
Олега Мичковского, Евгения Мусихина

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

© О. Басинская, перевод, 2017
© В. Дорогокупля, перевод, примечания, 2017
© М. Куренная, перевод, 2017
© О. Мичковский, перевод, 2017
© Е. Мусихин, перевод, 2017
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2015
Издательство ИНОСТРАНКА®

ISBN 978-5-389-10610-9

ПРЕДИСЛОВИЕ

Как это ни парадоксально выглядит в свете его нынешней славы мэтра литературы ужасов, Говард Филлипс Лавкрафт при жизни основную часть своих скудных доходов получал от правки рукописей начинающих писателей и поэтов. Большинство его «клиентов» не продвигалось дальше публикаций в любительских журналах, однако в тех редких случаях, когда он встречал достойный внимания сюжет при недостатке у автора литературного опыта и стилистической изощренности, Лавкрафт занимался таким текстом более основательно — вплоть до полного переписывания — и таким образом прокладывал ему дорогу в печать.

В целом эту работу Лавкрафта можно разделить на две неравные части. Первую составляет основная масса произведений, подвергнутых обычному профессиональному редактированию — исправлению орфографии, синтаксиса, пунктуации и т. д., — а к неизмеримо меньшей части относятся произведения, с которыми он работал настолько плотно, что фактически становился их соавтором. В свою очередь, эта небольшая группа произведений подразделяется в зависимости от степени лавкрафтовского участия. Некоторые из них — как, например, рассказ Сони Грин, одну из ранних вещей Хейлз Хилд и сочинения своего старого друга К. М. Эдди — Лавкрафт не столько перекраивал на собственный лад, сколько комментировал, давая рекомендации по ходу правки. Позднее (30 сентября 1944 года) Хейлз Хилд писала о такого рода совместной работе над рассказом «Каменный человек»: «Лавкрафт подробно разбирал один абзац за другим, делал карандашные пометки и заставлял меня переписывать каждый абзац до тех пор, пока результат не казался ему удовлетворительным». В последующих рассказах Хилд участие Лавкрафта было уже более существенным — он, по сути, переписал их набело от начала и до конца, сохраняя (да и то не всегда)

только главную сюжетную линию. Достаточно даже беглого просмотра рассказов «Ужас в музее» или «Вне времен», чтобы уловить присутствие в них Лавкрафта скорее как непосредственного автора, нежели как редактора или консультанта. Данное утверждение вполне справедливо и для таких вещей, как «Дневник Алонзо Тайпера» Уильяма Ламли, «Последний опыт» и «Электрический палач» Адольфа де Кастро, «Проклятие Йига», «Локоны Медузы» и «Курган» Зелии Бишоп.

Под словами Зелии Бишоп из ее статьи «Г. Ф. Лавкрафт глазами ученика» (1953) вполне могло бы подписаться большинство представленных здесь авторов: «Рассказы, которые я ему отсылала, возвращались обратно в настолько измененном виде, что я их буквально не могла узнать и остро ощущала собственное ничтожество. Но в конечном счете именно он научил меня основам писательской техники и привил вкус к литературе как таковой. Я очень многим обязана Лавкрафту и считаю своей огромной удачей то, что попала в число его учеников».

Работая с текстами начинающих авторов, Лавкрафт попутно рекомендовал им попробовать себя в жанре литературы ужасов, благо это была его стихия и в ней он чувствовал себя гораздо свободнее, чем при разборе романтических или реалистических произведений. Можно себе представить, какое удовольствие он получал, трудясь над некоторыми из таких рассказов. В обширной переписке Лавкрафта присутствует масса сетований на поэтов-любителей, которым приходится вдальбивать в голову азы поэтического творчества; на бесталанных графоманов, мнящих себя гениями, и т. п. — но вы не найдете в его письмах ни единой жалобы касательно произведений его любимого фантастического жанра, пусть даже полностью им переделанных за ту же грошовую плату.

В настоящем сборнике представлены рассказы и повести, которые были полностью либо в значительной мере созданы Лавкрафтом и безусловно вписываются в «лавкрафтовский канон». Лучшие из них стоят вровень с «законными» произведениями Лавкрафта, и в этом нет ничего удивительного, поскольку он же их и написал.

Август Дерлет

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ

*Перевод Элизабет Невилл Беркли
и Льюиса Теобальда-младшего¹*

ПРЕДИСЛОВИЕ. Приведенное ниже весьма странное повествование, или, скорее, письменный отчет о впечатлениях, было обнаружено при исключительных обстоятельствах, заслуживающих подробного описания. В среду 27 августа 1913 года, около половины девятого вечера, жители маленькой приморской деревушки Потоуонкет, штат Мэн, США, были повергнуты в смятение оглушительным грохотом, сопровождавшимся ослепительной вспышкой, и люди на берегу увидели громадный огненный шар, который рухнул с небес в море недалеко от суши, взметнув ввысь гигантский столб воды. В следующее воскресенье трое местных рыбаков — Джон Ричмонд, Питер Б. Карт и Саймон Кэнфилд — подцепили донным неводом и вытащили на берег каменно-металлическую глыбу весом 360 фунтов, похожую (по словам мистера Кэнфилда) на кусок железистого шлака. Почти все деревенские жители сошлись во мнении, что сие тяжелое твердое тело и есть болид, упавший с неба четырьмя днями ранее, а доктор Ричмонд М. Джонс, местное научное светило, с уверенностью предположил в нем аэролит или метеорит. Откалывая от него образцы породы с целью отослать оные для исследования многосведущему бостонскому специалисту, доктор Джонс обнаружил вплавленную в полуметаллическую субстанцию диковинную книжицу с нижеприведенным рукописным текстом — она до сей поры остается в его владении.

На вид находка напоминает обычную записную книжку размером три на пять дюймов, состоящую из тридцати страниц. Но

¹ Псевдонимы соответственно Унифред Вирджинии Джексон и Г. Ф. Лавкрафта.

вот материал, из которого она изготовлена, представляет чрезвычайный интерес. Обложка произведена из темного плотного вещества, неизвестного геологам и устойчивого к любым механическим и химическим воздействиям. Страницы обладают аналогичными свойствами, но они несколько светлее и чрезвычайно тонки, благодаря чему легкогибаются. Книжка сброшюрована и переплетена с использованием некоего технологического процесса, не вполне понятного людям, ее исследовавшим, — процесса, в ходе которого материал страниц сплавлялся с материалом обложки. Теперь страницы неотделимы от корешка, и их невозможно вырвать никаким усилием. Текст написан на *безупречном древнегреческом языке*, и несколько ученых-палеографов утверждают, что данная разновидность скорописи имела распространение примерно во втором веке до Р. Х. Никаких указаний на дату написания в тексте не содержится. Насчет техники письма нельзя сказать ничего определенного, кроме того, что она, видимо, напоминала современную технику письма карандашом на грифельной доске. В результате ряда химических экспертиз, проведенных покойным профессором Чэмберсом из Гарвардского университета, текст на нескольких страницах, преимущественно в конце повествования, вытравился еще до его прочтения и посему безвозвратно утрачен. Уцелевшая часть рукописи была переведена на современный греческий палеографом Резерфордом и в таком виде передана поименованным выше переводчикам.

Профессор Мэйфилд из Массачусетского технологического института, исследовавший образцы странной породы, с уверенностью признал в камне метеорит, с каковым мнением не согласен доктор фон Винтерфельд из Гейдельбергского университета (в 1918 году интернированный как опасный гражданин неприятельского государства). Профессор Брэдли из Колумбийского университета занимает не столь категоричную позицию, указывая на наличие в каменно-металлической породе огромного количества неизвестных науке элементов и предупреждая, что точно классифицировать камень в настоящее время не представляется возможным.

Обстоятельства обнаружения, природа и содержание загадочной книжицы представляют собой величайшую проблему, не

поддающуюся никаким объяснениям. Сохранившийся текст представлен здесь в переводе настолько близком к оригиналу, насколько позволяет современный английский язык. Хочется надеяться, что какой-нибудь читатель в конце концов найдет ключ к верному толкованию текста и разгадает величайшую научную тайну последних лет.

Э. Н. Б., Л. Т.-мл.

(ТЕКСТ)

Я стоял один на узкой полосе берега. Передо мной, за краем изумрудно-зеленого травяного ковра, слегка волнуемого ветром, расстиралось море — ярко-голубое море, лениво катящее крупную зыбь и источающее туманные испарения дурманящего свойства. Столь густыми были эти испарения, что море казалось полностью слившимся с небом, ибо последнее тоже было ярко-голубым. Позади меня вздымалась стена древнего, как само море, леса, который простирался без конца и края вглубь суши. Под сенью бесчисленных гротескно огромных, буйно разросшихся деревьев царил глубокий сумрак. Исполинские стволы зловещего зеленого цвета причудливо гармонировали с изумрудной зеленью травяного покрова под моими ногами. Чуть поодаль с одной и другой стороны от меня таинственный лес спускался к самой воде, заслоняя от взора береговую линию и наглухо огораживая крохотный участок берега. Несколько деревьев, я заметил, стояли уже в воде, словно исполненные мрачной решимости преодолеть любое препятствие на пути наступающего леса.

Я не видел вокруг ни единого живого существа и никаких признаков присутствия здесь других живых существ, помимо меня. Море, небо и лес окружали меня со всех сторон, простираясь в бесконечные дали, недоступные моему воображению. Мертвую тишину нарушали лишь шорох колеблемых ветром деревьев да тихий плеск волн.

Внезапно меня начала бить дрожь: хотя я не ведал, каким образом очутился здесь, и не помнил толком ни имени своего, ни звания, я вдруг ясно осознал, что непременно сойду с ума, если сумею понять, какая опасность подстерегает меня. Я вспомнил, чему учился, о чем мечтал, к чему стремился в иной жизни,

оставшейся в прошлом. Я подумал о долгих ночах, когда я зачарованно смотрел на звезды в поднебесье и проклинал богов за то, что моя свободная душа не в силах преодолеть космические бездны, недостижимые для моего физического тела. Я вспомнил отправления древних святотатственных обрядов и погружения в ужасные тайны демокритовских папирусов, но с возвращением памяти я затрясся от страха еще сильнее, ибо осознал, что я здесь один, совсем один. Но несмотря на полное одиночество, я все же явственно ощущал пронизывающие воздух разумные вибрации, самая мысль о природе и источнике которых приводила меня в содрогание. В шелесте зеленых ветвей мне слышались лютая ненависть и дьявольское торжество. Порой мне казалось, будто они ведут зловещую беседу с невероятными призрачными существами, наполовину сокрытыми за чешуйчатыми зелеными стволами деревьев — сокрытыми от внешнего взора, но не от внутреннего. Тяжелее всего меня угнетало жуткое чувство своей чуждости окружению. Хотя я видел вокруг знакомые объекты с известными мне названиями — деревья, траву, море и небо, — я нутром чуял, что они состоят со мной в иных отношениях, нежели деревья, трава, море и небо, которые я знал в другой, полузабытой жизни. Я не мог определить, в чем именно заключалась разница, но при одной мысли о ней я содрогнулся от ужаса.

А в следующий миг там, где прежде я не видел ничего, кроме туманного моря, моему взору вдруг явился Зеленый луг, отделенный от меня широким пространством подернутой зыбью сверкающей голубой воды, но одновременно на удивление близкий. Я то и дело пугливо оглядывался через правое плечо на лес, но предпочитал все же смотреть на Зеленый луг, чей вид вызывал в моей душе странное волнение.

Именно в момент, когда я пристально вглядывался в сей одинокий островок зелени, я вдруг почувствовал движение земли под ногами. Сначала по ней пробежала своего рода нервная дрожь, наводившая на жуткое предположение об осознанном действии, а затем крохотный пятачок земли, где я стоял, отделился от травянистого берега и медленно поплыл прочь, словно несомый мощным течением. Я оцепенел, донельзя изумленный

и испуганный небывалым явлением, и стоял совершенно неподвижно, покуда между мной и покрытым деревьями берегом не пролегла широкая полоса воды. Потом я сел, все еще в оглушенном состоянии, и снова устремил взгляд на подернутую зыбью сверкающую воду и Зеленый луг.

Позади меня деревья и существа, предположительно прятавшиеся за ними, источали бесконечную угрозу. Мне не было необходимости оборачиваться и смотреть на них, чтобы понять это, поскольку чем больше я привыкал к новому окружению, тем меньше зависел от пяти чувств восприятия, на которые только и полагался прежде. Я знал, что зеленый чешуйчатый лес ненавидит меня, однако теперь он не представлял для меня опасности, ибо мой крохотный островок уже отплыл далеко от берега.

Но хотя одна опасность миновала, другая уже надвигалась на меня. От краев моего плавучего островка беспрестанно отваливались крупные комья земли, а значит мне в любом случае не избежать скорой гибели. Однако я как будто был уверен, что отныне для меня не существует смерти, ибо вновь вернулся к созерцанию Зеленого луга, дышавшего безмятежным покоем, который странно контрастировал с ужасом, владевшим мной.

Именно тогда из неоглядной дали до слуха моего донесся шум падающей воды. Не гул обычного водопада, но чудовищный грохот, какой раздался бы в далеких скифских краях, если бы все Средиземное море разом низверглось в некую бездонную пропасть. Мой неуклонно сокращающийся в размерах островок плыл в направлении шума, и я примирился с неизбежным.

Далеко позади меня творились уму непостижимые ужасы, при виде которых я затрепетал от страха, когда обернулся. Сокатанные из тумана темные существа самым фантастическим образом парили в воздухе, угрожающе зависали над деревьями, словно принимая вызов раскачивающихся зеленых ветвей. Потом с моря поднялся туман, поглотивший и растворивший в себе парообразных небесных существ, и берег скрылся от моего взора. Хотя солнце — незнакомое мне солнце — ярко освещало воду вокруг меня; над покинутой мной сушей, казалось, разразилась неистовая буря, когда чудовищные деревья и сокрытые за ними демонические создания вступили в яростное противоборство с духами неба и моря. А когда туман рассеялся, я увидел

лишь голубое небо и голубое море, ибо земля и деревья бесследно исчезли.

И тут внимание мое привлекло *пение* на Зеленом лугу. До сего момента я не замечал ни единого признака человеческого присутствия, но сейчас моего слуха достиг монотонный напев, происхождение и природа коего не вызывали сомнений. Хотя слова звучали неразборчиво, напев пробудил в моем уме особую цепочку ассоциаций и заставил вспомнить некогда переведенный мной отрывок из одной египетской книги, в свою очередь взятый из древнего мероитского папируса. Перед моим мысленным взором всплыли вызывающие смутную тревогу строки, которые я не смею повторить здесь, — строки, повествующие о явлениях и жизненных формах, что существовали в незапамятные времена, когда Земля была еще совсем молодой. О наделенных жизнью, способных мыслить и двигаться созданиях, которых, однако, боги и люди не признают живыми. То была поистине странная книга.

Внимая напеву, я постепенно осознал одно обстоятельство, доселе вызывавшее у меня лишь подсознательное недоумение. За все время взор мой ни разу не различил ни единого отдельного объекта на Зеленом лугу — в целом он производил впечатление однородного ярко-зеленого массива. Сейчас, однако, я увидел, что течение пронесет мой островок в непосредственной близости от берега, а значит я получу возможность лучше разглядеть сей загадочный участок суши и узнать, кто же там поет. Я был охвачен нетерпеливым желанием поскорее увидеть таинственных певцов, хотя к любопытству примешивалось и опасение.

Куски земли продолжали отваливаться от моего крохотного плавучего островка, но разрушительный процесс не беспокоил меня, ибо я знал, что не умру со смертью нынешнего своего тела, реального или воображаемого. Я почти не сомневался, что все в окружающем мире, даже жизнь и смерть, иллюзорно; что я превзошел тварность и смертность человеческой природы и стал свободным созданием, не связанным никакими узами. Я понятия не имел, где нахожусь, знал лишь, что не на планете Земля, некогда столь хорошо мне знакомой. Помимо своего рода навязчивого ужаса я испытывал чувства, какие владеют человеком,

только что пустившимся в бесконечное путешествие по неизведанным местам. Я подумал о покинутых мною краях и людях, а также о диковинных способах, которыми я мог бы поведать им о своих приключениях, даже если никогда не вернусь обратно.

Теперь я находился в непосредственной близости от Зеленого луга и слышал поющие голоса совершенно отчетливо; однако, несмотря на свое знание многих языков, я не понимал слов песни. Да, звучали слова знакомо, как мне и показалось с самого начала, но они не вызывали у меня никаких ассоциаций, помимо смутных тревожных воспоминаний. В высшей степени необычное звучание голосов — звучание, не поддающееся словесному описанию, — одновременно пугало и завораживало меня. Теперь я различал на обширном зеленом пространстве отдельные объекты — покрытые ярко-зеленым мхом валуны, довольно высокие кусты и изрядных размеров диковинные жизнеформы, что странным образом двигались или вибрировали среди кустарника. Пение, исполнителей которого мне не терпелось увидеть, казалось, звучало громче там, где странные жизнеформы образовывали самые многочисленные группы и двигались наиболее энергично.

А потом, когда мой островок подплыл ближе и шум отдаленного водопада стал громче, я вдруг ясно увидел *источник* пения и в одно ужасное мгновение вспомнил все. О подобных вещах я не могу, не смею рассказывать, ибо там мне открылся страшный ответ на все мучавшие меня вопросы, и ответ этот свел бы вас с ума, как едва не свел меня... Теперь я понял, какого рода метаморфоза произошла со мной, а равно со многими другими, что прежде были людьми! Я прозрел бесконечный цикл будущего, из которого никогда не вырваться мне подобным... Я буду жить вечно, буду мыслить и чувствовать вечно, хотя душа моя отчаянно вызывает к богам о смерти и забвении... Я знаю все: за реющим бурным потоком простирается страна Стетелос, где молодые люди бесконечно стары... Зеленый луг... Я перешлю восточку через ужасную бескрайнюю бездну...

[Далее неразборчиво.]

ПОЛЗУЧИЙ ХАОС

Перевод Элизабет Беркли
и Льюиса Теобальда-младшего

Об опиумных наслаждениях и муках написано много. Экстазы и кошмары де Квинси, *paradis artificiels* Бодлера, описанные в сочинениях, бережно сохраненных и мастерски переведенных, обрели бессмертие, и миру хорошо известно, сколь прекрасны, ужасны и таинственны запредельные области, куда переносится вдохновленный опиумом визионер. Но при всем обилии подобного рода свидетельств еще никто не осмелился объяснить *природу* иллюзорных видений, являющихся умственному взору, или указать *направление* неведомых, колдовски живописных путей, коими безудержно влечет одурманенного наркотиком человека. Де Квинси переносился в Азию, в изобильную страну туманных теней, чья чудовищная древность столь сильно поражает воображение, что «громадный исторический возраст народа и имени подавляет в человеке всякое ощущение молодости», но он не осмеливался уходить дальше. Люди же, отважившиеся на такое, редко возвращались обратно, а немногие вернувшиеся либо хранили молчание, либо впадали в полное безумие. Я принимал опиум всего лишь раз — во время страшной эпидемии, когда врачи всячески старались хотя бы притупить жестокие страдания пациентов, исцелить которых уже не могли. Доза оказалась слишком большой (мой врач находился в крайней стадии нервного и физического истощения), и я в своих грезах ушел очень далеко от реальности. В конечном счете я вернулся и зажил прежней жизнью, но по ночам меня одолевают странные воспоминания, и я с тех пор решительно пресекаю любые попытки докторов назначить мне опиум.

Я мучился совершенно невыносимой пульсирующей головной болью, когда мне дали наркотик. Будущее несколько не волновало меня, я единственно хотел обрести избавление от страданий — в лекарствах ли, в беспамятстве ли, в смерти ли. Я находился в полубредовом состоянии, и потому сейчас мне трудно точно установить момент погружения в наркотический транс, но думаю, средство начало действовать незадолго до того, как пульсация в голове перестала причинять боль. Как я сказал, доза оказалась чрезмерной, и, видимо, опиум вызвал у меня реакцию, далекую от нормальной. Преобладало странное ощущение свободного падения, никак не связанного с действием силы тяжести и не дающего представления о направлении движения, но одновременно ощущалось близкое присутствие великого множества неких незримых материальных образований, обладающих абсолютно другой природой, но имеющих какое-то отношение ко мне. Порой казалось, что это не я падаю, а вся вселенная или зоны времени стремительно проносятся мимо меня. Внезапно боль прекратилась, и я начал связывать пульсацию в голове скорее с внешней причиной, нежели с внутренней. Падение тоже прекратилось, сменившись ощущением временной передышки, которая может закончиться в любой момент, а когда я напряг слух, мне представилось, будто мерная пульсация в моем мозгу — это шум бескрайнего таинственного моря, чьи громадные зловеющие буруны с ревом набегают на истерзанный пустынный берег после чудовищной силы шторма. Я открыл глаза.

Первые несколько мгновений все расплывалось перед моим взором, словно безнадежно расфокусированная проекция изображения, но постепенно я осознал, что нахожусь совсем один в странной, роскошно убранной комнате с многочисленными окнами, сквозь которые льется свет. Я не мог составить ясного представления о характере помещения, ибо мысли мои еще не пришли в порядок, но я разглядел разноцветные ковры и занавеси, искусной работы столы, стулья, оттоманки, диваны, изящные вазы и затейливые настенные орнаменты — все они производили впечатление экзотических, но одновременно смутно знакомых. Однако все увиденное недолго занимало мой ум. Медленно, но неотвратимо сознанием моим завладевал тошнотворный

страх неизвестности, вытеснявший все прочие впечатления; страх тем более сильный, что он не поддавался анализу и, казалось, имел отношение к некой незаметно подступающей угрозе — не смерти, но безымянной, неведомой катастрофе, невыразимо более ужасной и отвратительной.

Вскоре я осознал, что непосредственным воплощением и возбудителем моего страха является беспрестанное мощное биение, отдающееся эхом в моем измученном мозгу. Оно, казалось, доносилось откуда-то снаружи, из-под здания, где я находился, и вызывало в воображении самые жуткие образы. Я чувствовал, что за убранными шелком стенами скрывается какая-то кошмарная картина или некий чудовищный объект, и боялся даже мельком глянуть в забранные решеткой стрельчатые окна по сторонам от меня. Заметив на окнах ставни, я закрыл их все, избегая смотреть наружу. Потом с помощью кремня и огнива, найденных на одном из столиков, я зажег множество свечей, установленных в затейливых канделябрах на стенах. Ощущение безопасности, созданное закрытыми ставнями и искусственным освещением, несколько успокоило мои нервы, но я никак не мог отрешиться от монотонного глухого грохота. Теперь, когда я немного успокоился, звук стал казаться мне столь же чарующим, сколь пугающим, и я почувствовал желание отыскать источник одного, невзирая на сильный страх, по-прежнему владевший мной. Раздвинув портьеры в стенном проеме, расположенном ближе всего к источнику шума, я увидел короткий, богато убранный гобеленом коридор, в конце которого находились резная дверь и большое эркерное окно. Меня безудержно повлекло к этому окну, хотя неопределенные опасения почти столь же настойчиво побуждали меня вернуться назад. По мере приближения к нему я начал различать в отдалении беспорядочно мятущиеся волны. Когда же я подошел вплотную к окну, представшая моему взору грандиозная картина потрясла меня до глубины души.

Ничего подобного я не видел никогда прежде, да и никто на свете не видел, разве только в горячечном бреде или в опиумных кошмарах. Здание стояло на узком мысе — во всяком случае, на участке суши, *теперь* представлявшем собой узкий мыс, — на высоте добрых трехсот футов над неистово бурлящей, кипящей водой. С одной и другой стороны от дома зияли обрывы,

недавно образовавшиеся в результате оползня, а впереди чудовищные волны продолжали грозно накатывать одна за другой, пожирая сушу со зловещей решимостью. Примерно в миле от берега вздымались устрашающие валы высотой не менее пятидесяти футов, а над горизонтом, подобно мерзким стервятникам, нависали черные тучи гротескных очертаний. Темно-фиолетовые, почти черные волны хватались за податливую красную землю, точно алчные лапы фантастического существа. Невольно представлялось, будто некий беспощадный дух океана — возможно, подстрекаемый разгневанным небом — объявил всей земной тверди непримиримую войну.

Выйдя наконец из оцепенения, в кое меня ввергло сверхъестественное зрелище, я осознал, что мне угрожает реальная опасность. Пока я стоял, ошеломленно уставившись в окно, яростные волны поглотили уже не один фут берега и близился момент, когда здание, подмытое водой, рухнет в ужасную бушующую пучину. Я бросился на противоположную сторону дома, отыскал там выход и выскочил наружу, заперев за собой дверь диковинным ключом, что висел на стене рядом с ней. Теперь я получил возможность составить более полное представление о загадочной местности и сразу же заметил некую незримую границу, пролегавшую по грозному океану и небосводу. По одну и другую сторону от узкого мыса царили совершенно разные условия. Слева от меня, если стоять спиной к зданию, море мягко катило громадные зеленые волны, мирно набегавшие на берег под ярким солнцем. Что-то в виде и положении солнца на небе заставило меня содрогнуться, хотя тогда я не понимал, что именно, да и сейчас не понимаю. Справа от меня тоже простиралось море, но голубое, спокойное, лишь слегка подернутое зыбью, а небо над ним было темнее, и размытый берег имел скорее белесый оттенок, нежели красноватый.

Затем я принялся разглядывать сушу и обнаружил новый повод для удивления: растения здесь не походили ни на каких представителей флоры, виденных мной прежде или известных мне по книгам. Растительность имела тропический или по крайней мере субтропический характер, каковое заключение подкреплялось страшной жарой. Иные растения смутно напоминали флору моей родной страны, и мне подумалось, что подобные

формы могли бы принять знакомые деревья и кустарники при радикальной перемене климата; но я определенно никогда не видел ничего похожего на гигантские пальмы, росшие повсюду вокруг. Дом, покинутый мной, был очень маленьким, не больше обычного коттеджа, но выстроен из мрамора, в причудливом эклектическом стиле, представляющем собой странное смешение восточных и западных архитектурных элементов. По углам здания стояли коринфские колонны, тогда как красная черепичная крыша была, похоже, позаимствована у китайской пагоды. От двери тянулась поразительной белизны песчаная дорожка шириной фута четыре, обсаженная величественными пальмами и неизвестными мне цветущими кустами. Она уклонялась к той стороне мыса, где море было голубым, а берег белесым. Движимый безотчетным страхом, я бросился по ней со всех ног, словно за мной гнался некий злобный дух ревущего океана. Дорожка полого поднималась, и вскоре я достиг вершины невысокого округлого холма. Оттуда я увидел как на ладони весь мыс с коттеджем, необозримое пространство черной воды за ним, зеленое море с одной стороны от него, голубое море с другой — и тяготеющее над всем этим проклятие, которое не имеет имени и не может быть названным. Я никогда больше не видел ничего подобного и часто задаюсь вопросом, что же это было... Бросив последний взгляд назад, я широким шагом двинулся дальше, исследуя пытливым взором открывшуюся передо мной панораму.

Дорожка, как я говорил, тянулась вдоль правого берега мыса и вела вглубь суши. Впереди слева я теперь видел величественную долину в тысячи и тысячи акров, сплошь покрытую колеблемой ветром тропической травой выше моего роста. На самой границе видимости я различил громадную пальму, которая завораживала меня и словно манила к себе. К тому времени изумление и облегчение, испытанное после бегства с опасного мыса, в значительной мере рассеяли мои страхи, но когда я остановился и устало сел посреди тропы, лениво погрузив руки в теплый золотисто-белый песок, меня вдруг охватило острое предчувствие новой опасности. К ужасу, который вызывал у меня дьявольский грохот океана, добавился ужас перед неизвестной угрозой, сокрытой в шуршащей высокой траве, и я принялся бессвязно кричать: «Тигр? Там тигр, да? Зверь? Там зверь, кото-

рого я боюсь?» В памяти моей всплыла какая-то древняя классическая история про тигров, некогда прочитанная мной, но я никак не мог вспомнить автора. Объятый страхом, я вспомнил наконец, что рассказ принадлежит перу Редьярда Киплинга, но мне не показалось нелепым, что я счел его древним писателем. Мне вдруг безумно захотелось перечитать том, содержащий этот рассказ, и я едва не пустился обратно к обреченному коттеджу, чтобы найти там книгу, но здравый смысл и притягательная сила пальмы удержали меня.

Не знаю, сумел бы я побороть искушение вернуться, если бы меня не влекло вперед колдовское очарование пальмы. Теперь желание поскорее добраться до нее взяло верх, и я свернул с тропы и пополз на четвереньках вниз по склону в долину, невзирая на страх перед густыми зарослями травы и змеями, что могли таиться там. Я решил до последнего сражаться за свою жизнь и рассудок, противостоя всем угрозам в море и на суше, хотя временами, когда к отдаленному, но все еще отчетливо слышному грохоту волн добавлялся жуткий шорох травы, поражение казалось мне неминуемым. Я часто останавливался и зажимал ладонями уши в поисках облегчения, но никак не мог полностью заглушить отвратительные звуки. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем я наконец дотащился до привлекавшей меня пальмы и бессильно распростерся в ее тени.

Затем последовал ряд событий, ввергших меня сначала в безумный восторг, а затем в дикий ужас, — событий, которые я боюсь вспоминать и не смею даже пытаться истолковать. Едва я заполз под сень пальмовых листьев, с ветвей спрыгнуло малое дитя невиданной красоты. Пусть оборванное и запыленное, оно походило на прелестного фавненка или юного полубога и словно излучало сияние в густой тени дерева. Дитя улыбнулось и протянуло мне руку, но, прежде чем я успел встать и заговорить, сверху донеслось чарующее хоровое пение: чистые голоса, высокие и низкие, сливались в возвышенной, неземной гармонии. К тому времени солнце уже скрылось за горизонтом, и в сумерках я увидел лучистый ореол над головой ребенка. Потом дитя обратилось ко мне нежным серебристым голоском: «Это конец пути. Сквозь тьму спустились они со звезд. Теперь все кончено, и мы обретем блаженный покой в стране Телоэ за

Аринурийскими потоками». Пока ребенок говорил, я увидел сквозь пальмовые листья мягкое сияние, нисходящее с небес, и поднялся на ноги, чтобы поприветствовать двоих, которые — я не сомневался — являлись главными среди чудесных певцов. Они были не иначе как богом и богиней, ибо подобная красота не даруется смертным, и они взяли меня за руки и промолвили: «Пойдем, дитя, ты услышал голоса, и теперь все хорошо. В Телоз, за Млечным Путем и Аринурийскими потоками, лежат города из янтаря и халцедона. На их многогранных куполах блистают отражения диковинных, прекрасных созвездий. В Телоз под мостами слоновой кости текут реки жидкого золота, и по ним плывут прогулочные суда, направляясь в цветущий Кифарион Семи Солнц. А в Телоз и Кифарионе властвуют юность, красота и радость, и слышатся там лишь смех, пение да звуки лютни. Одни только боги обитают в Телоз, где текут золотые реки, но среди них пробудешь и ты».

Завороженно внимая сей речи, я вдруг осознал перемену, произошедшую в моем окружении. Пальма, совсем недавно накрывавшая тенью мое утомленное тело, теперь находилась подо мной слева. Я плыл по воздуху, сопровождаемый не только странным ребенком и двумя лучезарными созданиями, но также неуклонно умножающимся сонмом увенчанных виноградными лозами юношей и молодых дев, чьи тела источали слабое сияние, волосы развевались на ветру, а лица светились от радости. Мы медленно поднимались ввысь, словно несомые благоуханным легким ветром, который дул не с земли, но из скопления золотистых туманностей над нами, и дитя прошептало мне на ухо, что я должен смотреть только вверх, на потоки света, и ни в коем случае не оглядываться на планету, покинутую мной. Прекрасные юноши и девы теперь пели сладкозвучные хориямбы под лютневый аккомпанемент, и в душе моей царили глубокий покой и счастье, каких я не мог и вообразить доселе. Но внезапно в сознание мое вторгся чужеродный звук, изменивший мою участь и потрясший меня до основания. Сквозь сладостное хоровое пение и чарующую лютневую музыку, словно вступая в издевательскую, дьявольскую гармонию с ними, пробился отвратительный размеренный грохот ужасного океана, донесшийся из бездны внизу. И когда рев зловещих черных валов достиг

моего слуха, я забыл о предостережении ребенка и посмотрел вниз, на обреченную планету, откуда, мне казалось, я благополучно бежал.

Сквозь потоки космического эфира я увидел проклятую Землю, совершавшую свое бесконечное вращение, и там разъяренные бурные моря пожирали дикие пустынные берега и швыряли пену на шаткие полуразрушенные башни покинутых городов. Озаренные призрачным лунным светом, взору моему явились картины, которые я не в силах описать и не в состоянии забыть: глинистые пустыни трупного цвета — страшные свидетельства гибели и запустения на некогда густонаселенных равнинах моей отчизны — и вспененные океанские водовороты там, где некогда высились величественные храмы моих предков. На Северном полюсе, окутанное пеленой ядовитых испарений, покрытое омерзительной растительностью, простиралось болото, злобно шипящее под натиском могучих волн, которые, гневно клокоча и завихряясь водоворотами, поднимались из бурлящей пучины. Потом оглушительный грохот раскатился в ночи, и через самую обширную пустыню протянулась дымящаяся расселина. Черный океан продолжал реветь и пениться, поглощая пустыню по обеим сторонам от расселины, что становилась все шире и шире.

Теперь на Земле не осталось ни единого клочка суши, помимо этой пустыни, и яростно ревущий океан продолжал неумолимо наступать на нее. Внезапно мне показалось, будто даже он испугался чего-то, испугался темных богов земных недр, превосходящих могуществом злого бога вод. Но так или иначе, он уже не мог повернуть вспять, и пустыня слишком сильно пострадала от кошмарных волн, чтобы остановить их наступление. Посему океан поглотил последний клочок суши и стал изливаться в дымящуюся расселину, таким образом теряя все свои завоевания. Вода отступала с затопленных земель, вновь являя взору картины разрухи и смерти, обнажая древнее океанское ложе и вместе с ним мрачные тайны незапамятной эпохи, когда Время только начиналось и боги еще не родились. Над поверхностью воды медленно вырастали облепленные водорослями знакомые шпильи. Бледные лилии лунного света расцвели на руинах Лондона, и Париж восстал из водной могилы, дабы

освятиться звездной пылью. Затем показались могучие башни и громадные здания, тоже облепленные водорослями, но совершенно незнакомые — наводящие ужас сооружения, в бесконечно далеком прошлом возведенные там, где на памяти человечества никогда не было суши.

Размеренный грохот океанских валов сменился теперь потусторонним ревом и шипением вод, стремительно низвергавшихся в расселину. Валивший из нее дым постепенно превратился в пар, который неуклонно сгущался, заволакивая все почти непроглядной пеленой. Пар этот больно обжег мне лицо и руки, и когда я поднял глаза, чтобы посмотреть, как он подействовал на моих спутников, то обнаружил, что все они исчезли. Внезапно все кончилось, и больше я не помню ничего вплоть до момента, когда очнулся на своем болезном ложе, чувствуя облегчение от недуга. Как только пелена пара из бездонной расселины окончательно скрыла от взора всю поверхность планеты, земная твердь пронзительно возопила в мучительных агонических конвульсиях, сотрясших трепещущий эфир. Все кончилось с одной ослепительной вспышкой, с одним оглушительным взрывом, с одним чудовищной силы выбросом всеуничтожающего огня и дыма, которые застили бледную луну, стремительно улетающую в космическую пустоту.

А когда дым рассеялся и я попытался найти взглядом Землю, я увидел на фоне холодных насмешливых звезд лишь угасающее Солнце да скорбные бледные планеты, тщетно ищущие свою сестру.

ПОСЛЕДНИЙ ОПЫТ

(с Адольфом де Кастро)

I

Немногие знают подлинную подоплеку истории Кларендона или хотя бы догадываются о существовании некой подоплеки, до которой не удалось докопаться газетчикам. Означенная история стала настоящей сенсацией в Сан-Франциско незадолго до Великого пожара — как вследствие массовой паники и смертельной угрозы, с ней сопряженных, так и по причине непосредственной причастности к ней губернатора штата. Губернатор Далтон, надобно помнить, был лучшим другом Кларендона и после женился на его сестре. Ни сам Далтон, ни миссис Далтон никогда публично не обсуждали сие в высшей степени неприятное дело, но каким-то образом подробности случившегося стали известны узкому кругу лиц. Когда бы не это обстоятельство и не то соображение, что по прошествии многих лет участники событий превратились в фигуры почти абстрактные и безликие, любой десять раз подумал бы, прежде чем вникать в тайны, столь тщательно оберегавшиеся в свое время.

Назначение доктора Альфреда Кларендона на должность главного врача тюрьмы Сан-Квентин в 189... году было встречено в Калифорнии с огромным энтузиазмом. Сан-Франциско наконец удостоился чести оказать гостеприимство одному из величайших биологов и врачей современности, и следовало ожидать, что ведущие специалисты со всего мира съедутся в город, дабы изучать методы доктора Кларендона, извлекать пользу из его советов и научных исследований, учиться на его опыте справляться с собственными проблемами местного характера. Таким образом, Калифорния могла чуть ли не в одночасье стать центром медицинской науки с международным влиянием и мировой репутацией.

В своем стремлении подчеркнуть исключительную важность события губернатор Далтон позаботился о том, чтобы в прессе появились подробные, выдержанные в восторженных тонах сообщения о вновь назначенном должностном лице. Фотографии доктора Кларендона и его нового дома близ старого Козьего холма, очерки о его карьере и отмеченных многочисленными наградами заслугах, популярные статьи о его выдающихся научных открытиях печатались во всех главных калифорнийских газетах, и вскоре общественность исполнилась своего рода отраженной гордостью за человека, чьи исследования пиемии в Индии, чумы в Китае и аналогичных недугов во всех уголках мира в ближайшем будущем обогатят медицину поистине революционным препаратом — универсальным антитоксином, который будет уничтожать возбудителя лихорадки в зародыше и таким образом обеспечит полную и окончательную победу над страшной болезнью во всех ее разновидностях.

Данному назначению предшествовала долгая и довольно романтическая история юношеской дружбы, многолетней разлуки и драматически возобновленного знакомства. Десятью годами ранее, в Нью-Йорке, Джеймса Далтона и семейство Кларендон связывала дружба — даже больше, чем просто дружба, ибо Далтон с юных лет любил единственную сестру доктора, Джорджину, а сам доктор являлся его ближайшим товарищем и протеже в школьные и университетские годы. Отец Альфреда и Джорджины, уолл-стритский пират старой жестокой закалки, хорошо знал отца Далтона — настолько хорошо, что в конце концов обобрал его в ходе одной памятной схватки на фондовой бирже. Далтон-старший, не надеясь поправить финансы и желая обеспечить своего обожаемого единственного сына за счет страховки, незамедлительно пустил себе пулю в лоб, но Джеймс не попытался отомстить. Он считал, что таковы правила игры, и не желал зла отцу девушки, на которой собирался жениться, и многообещающему молодому ученому, чьим поклонником и покровителем он являлся на протяжении всех лет дружбы и совместной учебы. Джеймс занялся юриспруденцией, несколько упрочил свое положение и в должный срок попросил у старого Кларендона руки Джорджины.

Старый Кларендон ответил категорическим и весьма громогласным отказом, резко заявив, что нищий выскочка-юрист

не годится ему в зятя. Затем произошла весьма бурная сцена, и Джеймс, высказав наконец морщинистому флибустьеру все, что давно следовало высказать, в великом гневе покинул дом и город, а уже через месяц начал в Калифорнии карьеру, которая сопровождалась многочисленными схватками с различными политическими кликами и отдельными политиками и в конечном счете привела его к губернаторскому посту. Прощание Джеймса с Альфредом и Джорджиной было кратким, и он так и не узнал о последствиях сцены, произошедшей в библиотеке Кларендонов. Известие о смерти старого Кларендона не застало молодого человека в городе — он уехал всего днем раньше, каковое обстоятельство изменило весь ход его жизни. Последующие десять лет он не писал Джорджине, зная о ее преданности отцу и терпеливо ожидая времени, когда собственные богатство и общественное положение устранят все препятствия к браку. Ни разу не написал он и Альфреду, чье спокойно-безразличное отношение к восторженному обожанию товарища всегда наводило на мысль о самодостаточности гения, ясно сознающего свое предназначение. Надежно связанный узами постоянства, необычного даже для того времени, Джеймс работал и продвигался вверх по общественной лестнице с мыслями только о будущем, оставаясь холостяком и интуитивно веря, что Джорджина тоже ждет.

Далтон не обманулся насчет своей возлюбленной. Джорджина, вероятно мучительно гадавшая о причинах его молчания, так и не пережила ни одного романтического увлечения, кроме как в мечтах и грезах, и с течением лет полностью отдалась новым обязанностям, появившимся у нее с восхождением брата к величию. Альфред в полной мере оправдал ожидания, возлагавшиеся на него в юности, и поднимался по ступеням науки со скоростью и упорством, ошеломлявшими окружающих. Худой и аскетичный, с остроконечной каштановой бородкой и в пенсне со стальной оправой, доктор Альфред Кларендон к двадцати пяти годам стал авторитетным специалистом в своей области, а к тридцати — ученым с мировым именем. Пренебрегая житейскими делами с безразличием истинного гения, он почти во всем зависел от заботы и опеки своей сестры и в глубине души радовался, что память о Джеймсе удерживает ее от других, более реальных связей.

Джорджина вела дела и домашнее хозяйство великого бактериолога и гордилась его успехами на пути к полной победе над лихорадкой. Она терпеливо сносила причуды брата, остужала его периодические вспышки фанатизма и улаживала его ссоры с товарищами, временами случавшиеся вследствие неприкрытого презрения Альфреда ко всему менее значительному, чем безраздельная преданность научной истине и научному прогрессу. Безусловно, Кларендон порой вызывал раздражение у обычных людей, ибо он неустанно умалял служение отдельному человеку в противовес служению всему человечеству и сурово порицал ученых мужей, сочетавших занятия чистой наукой с семейной жизнью или посторонними интересами. Недруги называли его несносным занудой, но почитатели, ввергнутые в трепет иступлением, с каким он отдавался работе, почти стыдились, что имеют какие-либо цели и устремления вне божественной сферы чистого знания.

Доктор много путешествовал, и Джорджина обычно сопровождала его. Три раза, однако, Кларендон совершал долгие одиночные поездки в далекие чужеземные страны, чтобы исследовать экзотические типы лихорадки и полумифические разновидности чумы, ибо он знал, что именно в неизведанных областях таинственной древней Азии берет начало большинство болезней на планете. Во всех трех случаях он привозил из экспедиций диковинные сувениры, усугублявшие экстравагантности его дома, не последней из которых был излишне многочисленный штат слуг-тибетцев, подобранных им где-то в У-Цанге во время эпидемии, оставшейся неизвестной цивилизованному миру, но позволившей Кларендону открыть и выделить бактерию — возбудителя черной лихорадки. Эти мужчины, превосходившие ростом большинство тибетцев и явно принадлежавшие к некоему малоизученному племени, комплекцией напоминали обтянутые кожей скелеты, отчего любой невольно задавался вопросом, не морит ли доктор их голодом в попытке создать живые подобию анатомических муляжей, памятных ему по университетским годам. Облаченные по воле Кларендона в шелковые черные балахоны, какие носят жрецы бонпо, они выглядели в высшей степени гротескно, а скупость движений и сумрачная молчаливость усугубляли фантастичность их облика и вызывали у Джорджины жутковатое ощущение, будто она случайно забрела в мир,

описанный на страницах «Ватека» или «Сказок тысячи и одной ночи».

Но самым странным из всех был доверенный слуга и ассистент по имени Сурама, которого Кларендон привез из Северной Африки, где провел долгое время, изучая необычные случаи перемежающейся лихорадки среди населяющих Сахару загадочных туарегов, о чьем происхождении от древнего народа исчезнувшей Атлантиды давно толкуют в археологических кругах. Сурама, человек огромного ума и, похоже, неисчерпаемой эрудиции, был таким же болезненно худым, как тибетские слуги; темная пергаментная кожа столь туго обтягивала его лысину и безволосое лицо, что все до единой линии черепа выступали с чрезвычайной резкостью. Впечатление «мертвой головы» усиливали тускло горящие черные глаза, посаженные так глубоко, что сторонний наблюдатель видел лишь пустые темные глазницы. При всей бесстрастности черт Сурама, в отличие от любого примерного слуги, нимало не старался скрывать свои эмоции. Напротив, в нем постоянно чувствовались ирония и глумливая веселость, которые изредка выражались низким гортанным смешком — подобный звук могла бы издать гигантская черепаха, только что разорвавшая на куски мелкого пушистого зверька и теперь неторопливо уползающая в море. Чертами лица он походил на европеоида, но определить его происхождение более точно не представлялось возможным. Кое-кто из друзей Кларендона видел в нем сходство с индусом высокой касты, несмотря на отсутствие у него соответствующего акцента, а многие согласились с Джорджиной, сразу невзлюбившей Сураму, когда она высказала мнение, что мумия фараона, чудесным образом воскрешенная, составила бы идеальную пару этому сардоническому скелету.

Далтон, всецело занятый тяжелыми политическими баталиями и в силу исторически сложившейся автономности старого Запада не осведомленный о делах восточных штатов, не следил за головокружительным взлетом своего бывшего товарища, а Кларендон тем паче ничего не слышал о человеке, столь далеком от мира науки, как губернатор. Обладая независимым и даже избыточным состоянием, Кларендоны многие годы продолжали жить в своем старом манхэттенском особняке на восточном участке 19-й улицы, и населявшие дом призраки их предков на-

верняка смотрели косо на эксцентричных тибетцев и Сураму. Потом доктор пожелал переместить базу своих медицинских исследований, что привело к крутым переменам: Кларендоны перебрались на противоположное побережье континента и стали вести уединенную жизнь в Сан-Франциско, купив мрачную старую усадьбу Баннистер близ Козьего холма на самом берегу залива и разместившись со всей своей странной челядью в беспорядочно выстроенном, увенчанном мансардной кровлей особняке — образце средневикторианского стиля, а также дурного вкуса и показной роскоши «золотолихорадочной» эпохи, который стоял посреди обнесенного высокими стенами земельного участка вдали от городского центра.

Хотя новые условия работы устраивали доктора Кларендона больше нью-йоркских, он по-прежнему видел досадную помеху на своем пути к цели в отсутствии всякой возможности применить и проверить свои теории на практике. Будучи человеком не от мира сего, он даже и не помышлял использовать свою репутацию для получения общественной должности, хотя все яснее и яснее сознавал, что только пост главного врача какого-нибудь государственного или благотворительного учреждения — тюрьмы, богадельни или госпиталя — обеспечит ему достаточно широкое поле деятельности, чтобы успешно завершить исследования и своими открытиями принести максимальную пользу человечеству и науке в целом.

Однажды после полудня доктор совершенно случайно столкнулся на Маркет-стрит с Джеймсом Далтоном, выходявшим из отеля «Роял». Он был с Джорджиной, и моментальное взаимное узнавание усилило драматический эффект воссоединения. Полная неосведомленность об успехах друг друга потребовала от обоих долгих объяснений и рассказов о своих делах, и Кларендон премного обрадовался, узнав, что в друзьях у него числится столь высокопоставленный чиновник. Далтон и Джорджина, многожды обменявшись взглядами, прониклись друг к другу чувством гораздо более сильным, чем отзвук давней юношеской нежности. Прямо тогда и там былая дружба возобновилась, вследствие чего они трое стали часто видаться и вести все более и более доверительные беседы.

Джеймс Далтон узнал о насущном желании своего бывшего протеже получить должность и, верный роли покровителя, при-

нятой еще в школьные годы, постарался изыскать способ предоставить «маленькому Альфу» необходимый пост и свободу действий. Разумеется, он обладал широкими правами назначения, но постоянные нападки и назойливый контроль со стороны законодательных органов вынуждали губернатора соблюдать крайнюю осмотрительность при осуществлении своих полномочий. Однако всего через три месяца после неожиданного воссоединения освободилась должность руководителя одного из главных медицинских учреждений в штате. Тщательно взвесив все обстоятельства и рассудив, что научные достижения и репутация друга заслуживают самых высоких наград, губернатор наконец почувствовал себя вправе действовать. И вот, после соблюдения многочисленных формальностей, 8 ноября 189... года доктор Альфред Шайлер Кларендон стал главным врачом калифорнийской тюрьмы Сан-Квентин.

II

Не прошло и месяца, как надежды почитателей доктора Кларендона в полной мере сбылись. Внедрение принципиально новых методик в установившуюся практику тюремной медицины дало результаты, превзошедшие самые смелые ожидания, и, несмотря на понятную зависть, подчиненные были вынуждены признать чудесные успехи, достигнутые под руководством этого великого ученого. Потом настал момент, когда простое признание заслуг вполне могло перерасти в искреннюю благодарность при счастливом совпадении времени, места и действующих лиц, ибо однажды утром доктор Джонс с мрачным видом явился к своему новому начальнику и сообщил об обнаруженном им случае заболевания, по всем симптомам сходного с той самой черной лихорадкой, возбудителя которой открыл и выделил Кларендон.

Доктор Кларендон не выказал ни малейшего удивления и продолжал писать.

— Знаю, — спокойно промолвил он. — Я заметил этот случай еще вчера. Рад, что вы правильно его идентифицировали. Положите больного в отдельную палату, хотя я не считаю черную лихорадку заразной.

Доктор Джонс, имевший свое мнение о заразности заболевания, обрадовался такой предосторожности и поспешил выполнить приказ. Когда он вернулся, Кларендон встал и направился к двери, объявив о своем намерении заняться пациентом в одиночку. Обманутый в своих надеждах изучить методы и приемы великого медика, младший врач смотрел вслед своему начальнику, стремительно шагавшему к отведенной больному отдельной палате. Впервые со времени, когда первоначальная зависть сменилась восхищением, он испытывал столь сильное недовольство новыми порядками.

Торопливо войдя в палату, Кларендон бросил быстрый взгляд на кровать и отступил на шаг назад, чтобы проверить, как далеко любопытство завело доктора Джонса. Убедившись, что коридор по-прежнему пуст, он закрыл дверь и повернулся к страдальцу. Заключенный — мужчина крайне отвратительной наружности — явно претерпевал жесточайшие муки. Искривленное жуткой гримасой лицо и скрюченная поза свидетельствовали о немом отчаянии человека, пораженного смертельным недугом. Кларендон внимательно осмотрел больного, приподнял крепко зажмуренные веки, проверил пульс и температуру, а под конец растворил в воде таблетку и влил лекарство в рот больному. Вскоре приступ пошел на убыль — сведенные судорогой мышцы расслабились, лицо приобрело нормальное выражение, дыхание стало ровнее. Затем доктор легко помассировал пациенту уши, и тот открыл глаза. Они были живыми и двигались из стороны в сторону, но в них напрочь отсутствовал чистый огонь, который мы издавна почитаем за образ души. При виде принесенного лекарством облегчения Кларендон улыбнулся, чувствуя за собой силу всемогущей науки. Он уже много раз сталкивался с подобными случаями и в два счета вырвал жертву из лап смерти. Еще час — и пациент умер бы, а ведь Джонс наблюдал симптомы на протяжении многих дней, прежде чем поставил диагноз, а когда наконец диагностировал недуг, не знал, что делать.

Однако победа человека над болезнью не бывает абсолютной. Кларендон заверил исполненных опасений сиделок, что черная лихорадка не заразна, и распорядился вымыть больного, обтереть смоченной в спирте губкой и уложить в постель. Но на следующее утро ему доложили, что пациент скончался. Мужчина умер

после полуночи — в жесточайших муках и с такими душераздирающими воплями, с такими жуткими гримасами, что сиделки едва не впали в панику. Доктор воспринял известие с обычным спокойствием, сколь бы сильно оно ни задело его профессиональное самолюбие, и приказал при погребении засыпать труп негашеной известью. Потом, философски пожав плечами, он отправился на ежедневный обход тюрьмы.

Через два дня история повторилась. На сей раз заболели сразу трое заключенных, и уже представлялось совершенно очевидным, что начинается эпидемия черной лихорадки. Кларендон, столь твердо державшийся своего мнения о незаразности недуга, явно терял авторитет и оказался в затруднительном положении, когда сиделки решительно отказались ухаживать за больными. Это были не преданные делу добровольцы, готовые пожертвовать собой ради науки и человечества, но те же заключенные, которые работали в госпитале единственно из-за привилегий, не достижимых иным способом, и когда цена стала слишком высокой, они предпочли отказаться от всех привилегий.

Однако доктор по-прежнему оставался хозяином положения. Посоветовавшись с начальником тюрьмы и отправив срочное сообщение своему другу губернатору, он позаботился о том, чтобы за опасную работу сиделок заключенным пообещали выплатить денежное вознаграждение и сократить тюремные сроки, и таким образом сумел набрать более чем достаточное количество добровольцев. Теперь он был готов действовать, и ничто не могло поколебать его самообладание и решимость. На все сообщения о новых случаях заболевания он реагировал лишь коротким кивком и, казалось, не знал усталости, когда совершал обходы огромной каменной обители скорби и зла, осматривая пациента за пациентом. В течение следующей недели заболели свыше сорока человек, и пришлось вызывать сиделок из города. В то время Кларендон крайне редко уходил домой, спал на раскладной койке в конторе начальника тюрьмы и с обычным самозабвением изо дня в день отдавался служению медицине и человечеству.

Потом первые глухие раскаты возвестили о приближении грозы, которая в скором времени разразилась над Сан-Франциско. Сведения об эпидемии просочились наружу, и угроза черной лихорадки нависла над городом, словно туман с залива.

Репортеры, крепко усвоившие принцип «главное — сенсация», дали волю своему воображению и возликовали, когда наконец обнаружили в мексиканском квартале случай заболевания, которое местный врач (вероятно, заинтересованный больше в деньгах, нежели в истине или общественном спокойствии) объявил черной лихорадкой.

Это стало последней каплей. Ошеломленные мыслью о смерти, подкравшейся к ним столь близко, жители Сан-Франциско обезумели от страха, и начался исторический исход, новости о котором полетели по перегруженным телеграфным проводам во все уголки страны. Паромы и гребные шлюпки, экскурсионные пароходы и катера, поезда и фуникулеры, велосипеды и экипажи, грузовые фургоны и телеги — все транспортные средства были безотлагательно задействованы для панического бегства. Население Сосалито и Тамалпаиса, расположенных между Сан-Франциско и Сан-Квентином, тоже спешно покидало свои дома, а цены на жилье в Окленде, Беркли и Аламеде взмыли до небес. В южном направлении, вдоль запруженных транспортом дорог от Миллбрэ до Сан-Хосе, выросли палаточные городки и временные поселения. Многие искали убежища у друзей в Сакраменто, а до смерти напуганные люди, в силу разных причин вынужденные остаться дома, с трудом обеспечивали лишь самые насущные нужды почти вымершего города.

Торговая жизнь в Сан-Франциско быстро заглохла, если не считать коммерческой деятельности врачей-шарлатанов, выгодно сбывавших «верные средства» и «профилактические препараты» против черной лихорадки. На первых порах в барах предлагались «лекарственные напитки», но вскоре стало ясно, что население предпочитает быть одураченным мошенниками, более похожими на профессиональных медиков. Прохожие на непривычно тихих улицах пристально вглядывались друг другу в лица, пытаясь распознать симптомы чумы, а лавочники все чаще отказывались пускать на порог своих постоянных покупателей, поскольку в каждом из них подозревали источник заразы. Судебно-юридическая машина начала распадаться, ибо адвокаты и служащие окружного суда один за другим поддавались побуждению бежать. Даже врачи покидали город в больших количествах, многие из них ссылались на необходимость отдохнуть среди гор и озер в северной части штата. Школы и колле-

джи, театры и кафе, рестораны и бары продолжали закрываться, и уже всего через неделю Сан-Франциско представлял собой запустелый полупарализованный город, где системы энерго- и водоснабжения работали едва ли в половину нормальной мощности, малочисленные газеты выходили с перебоями, а жалкую видимость регулярного транспортного сообщения создавали лишь вагончики конки да канатной дороги.

Сан-Франциско находился в состоянии крайнего упадка. Такое положение дел не могло продолжаться долго, ибо род человеческий еще не полностью утратил мужество и здравомыслие, и в конце концов стало совершенно очевидно, что за пределами Сан-Квентина не началось никакой эпидемии черной лихорадки, хотя в антисанитарных палаточных поселениях произошла вспышка брюшного тифа с несколькими крайне тяжелыми случаями. Общественные лидеры и редакторы газет посовещались и стали действовать, призвав на помощь тех самых репортеров, чья деятельность изрядно поспособствовала возбуждению паники в городе, но теперь направив их погоню за сенсациями в более конструктивное русло. В прессе появились передовые статьи и вымышленные интервью, в которых говорилось, что доктор Кларендон полностью контролирует эпидемию и что распространение болезни за пределами тюрьмы абсолютно исключено. Многократное повторение и распространение подобной информации медленно, но верно делали свое дело, и постепенно тоненький ручеек горожан, потянувшихся обратно, превратился в мощный поток. Одним из первых обнадеживающих признаков стало начало язвительной газетной дискуссии, участники которой пытались возложить ответственность за панику на различных лиц, высказывая каждый свое мнение. Вернувшиеся врачи, чья зависть окрепла благодаря своевременному отдыху, принялись нападать на Кларендона, заверяя общественность, что не хуже его сумели бы обуздать эпидемию, и упрекая доктора в том, что он не сделал большего для предотвращения вспышки заболевания в Сан-Квентине.

Кларендон, заявляли они, допустил гораздо больше смертных случаев, чем должно было быть. Даже самый неопытный медик знает, как пресечь распространение лихорадочной инфекции, и если прославленный ученый не принял нужных мер, значит он предпочел из научного интереса исследовать последнюю стадию

болезни, нежели назначать правильное лечение и спасать жертвы. Подобные методы, намекали они, может, и пригодны применительно к осужденным убийцам в тюрьме, но совершенно недопустимы в Сан-Франциско, где жизнь по-прежнему священна и неприкосновенна. Они продолжали в таком духе, и газеты охотно публиковали всю их писанину, поскольку бурная полемика, к которой, несомненно, вскоре должен был присоединиться и сам доктор Кларендон, способствовала подавлению тревоги и восстановлению спокойствия в обществе.

Но Кларендон не отвечал на выпады. Он лишь улыбался, а его единственный ассистент Сурама частенько позволял себе утробные черепашьи смешки. Доктор стал проводить больше времени дома, и потому репортеры, прежде осаждавшие контору начальника тюрьмы, теперь постоянно толпились у ворот в высокой стене, возведенной Кларендоном вокруг своего особняка. Однако они и здесь ничего не добились, поскольку Сурама стоял непреодолимой преградой между доктором и внешним миром — даже когда репортеры проникли на территорию усадьбы. Газетчики, получавшие доступ в передний холл, мельком видели диковинное окружение Кларендона и в меру своих способностей живописали Сураму и скелетообразных тибетцев. Разумеется, в каждой следующей статье содержались чудовищные преувеличения, и в конечном счете вся эта реклама послужила во вред великому врачу. Простому человеку свойственно отвращение ко всему необычному, и сотни людей, способных простить бессердечие или некомпетентность, с готовностью осудили извращенный вкус, о котором свидетельствовали восемь азиатов в черных балахонах и жутковато хихикающий слуга.

В начале января особо настырный молодой репортер «Обсервера» забрался на восьмифутовую стену в тыльной части усадьбы, откуда были видны разнообразные надворные постройки, неразличимые с главной аллеи из-за густых деревьев. С профессиональной наблюдательностью он сразу отметил все: крытую аллею из вьющихся розовых кустов, птичьи вольеры, клетки с самыми разными млекопитающими, от обезьян до морских свинок, прочное деревянное здание клиники с зарешеченными окнами в северо-западном углу двора — и быстро исследовал пытливым взором всю тысячу квадратных футов закрытой для стороннего наблюдателя территории. В голове у него уже зре-

ла грандиозная статья, и он благополучно ушел бы восвояси, если бы не лай огромного сенбернара Дика, любимца Джорджини. Сурама, мгновенно отреагировавший на сей сигнал, схватил парня за шиворот прежде, чем тот успел выразить протест, и поволок к передним воротам, встряхивая на ходу, как терьер крысу.

Сбивчивые объяснения и нервные требования позвать доктора Кларендона не возымели действия. Сурама лишь посмеивался и тащил свою жертву дальше. Внезапно ушлого борзописца охватил настоящий страх, и он страстно возжелал, чтобы это фантазмагорическое существо заговорило — хотя бы для того, чтобы доказать свою принадлежность к роду человеческому, обитающему на этой планете. На него накатила дурнота, и он старался не смотреть в глаза, таившиеся в черных провалах глазниц. Вскоре репортер услышал скрип открываемых ворот и почувствовал, как пролетает сквозь них, приведенный в движение сильным толчком в спину, а в следующий миг он вернулся к действительности, приземлившись в слякотную канаву, по приказу доктора вырытую вдоль всей стены. Когда массивные створы с грохотом захлопнулись, страх сменился яростью, и молодой человек, с ног до головы в грязи, встал и погрозил кулаком неприступным воротам. Уже двинувшись прочь, он различил позади слабый скрежет, а потом спиной почувствовал взгляд бездонных глаз Сурамы, прильнувшего к маленькому смотровому окошку в воротах, и услышал эхо утробного, леденящего кровь смешка.

Сей незадачливый репортер посчитал (возможно, справедливо), что с ним обошлись грубее, чем он заслуживал, и решил отомстить обитателям особняка. Он подготовил фиктивное интервью с доктором Кларендоном, якобы проходившее в здании клиники, и не преминул живописать в нем жестокие муки лихорадочных больных, коих его воображение разместило на выстроенных в ряд койках. Завершающим штрихом стало описание особо жалостного страдальца, который, хрипя и задыхаясь, просил пить, тогда как доктор держал стакан со сверкающей водой за пределами его досягаемости, пытаясь выяснить, каким образом муки жажды влияют на течение заболевания. За этим измышлением следовали пространные двусмысленные комментарии, внешне весьма почтительные и потому вдвойне ядовитые.

Доктор Кларендон, говорилось в статье, безусловно, является величайшим и самым целеустремленным ученым в мире; но науку не интересует благополучие отдельного человека, и никто не пожелает, чтобы его тяжелый недуг продлевали и усугубляли всего лишь ради установления некой абстрактной истины. Жизнь слишком коротка для этого.

В целом статья получилась чертовски убедительной и повергла в ужас девять читателей из десяти, настроив их против доктора Кларендона и его предполагаемых методов. Другие газеты не замедлили последовать примеру «Обсервера» и развить основную тему скандальной статьи, взяв последнюю за образец и напечатав множество фальшивых интервью, полных самых диких клеветнических измышлений. Однако ни в одном случае доктор не соизволил дать опровержение. Он не считал нужным тратить время на дураков и лжецов и совершенно не нуждался в уважении бездумной толпы, которую презирал. Когда Джеймс Далтон телеграфировал свое сожаление и предложил помощь, Кларендон ответил коротко и сухо, почти грубо: он-де пропускает мимо ушей лай брехливых псов и не собирается надевать на них намордники. Да и не стал бы он никого благодарить за попытки разобраться с делом, совершенно недостойным внимания. Храня презрительное молчание, доктор продолжал с невозмутимым спокойствием выполнять свои обязанности.

Но из искры, высеченной молодым репортером, разгорелся пожар. Сан-Франциско снова обезумел, причем на сей раз не только от страха, но и от ярости. Люди начисто утратили способность к здравому суждению, и, хотя второго исхода не произошло, в городе воцарились разнузданность и безрассудство, порожденные отчаянием, каковая ситуация невольно заставляла вспомнить средневековые «пиры во время чумы». В сердцах бушевала лютая ненависть к человеку, который выявил болезнь и изо всех сил старался обуздать эпидемию, и бездумная толпа живо забыла о его великих заслугах перед наукой, упорно раздувая пламя негодования. Люди в слепоте своей, казалось, ненавидели скорее лично Кларендона, нежели лихорадку, что пришла в овеваемый целительными морскими ветрами и обычно здоровый город.

Потом молодой репортер, упиваясь разожженным им неровским пожаром, добавил к общей картине завершающий мас-

терский штрих. Памятуя о своих унижениях, претерпленных от скелетообразного ассистента, он написал блестящую статью о доме и окружении доктора Кларендона, с особым усердием обрисовав Сураму, который одним своим видом, заявлял он, способен напугать здорового человека до смертельной лихорадки. Он постарался изобразить вечно хихикающего костлявца существом одновременно смехотворным и ужасным и, пожалуй, больше преуспел в последнем своем намерении, поскольку при одном воспоминании о коротком знакомстве с этим жутким типом в душе у него всякий раз поднималась волна страха. Он собрал все слухи о нем, развил предположение о дьявольской природе его предполагаемой учености и туманно намекнул, что доктор Кларендон нашел Сураму в некоем далеко не благочестивом племени таинственной древней Африки.

Джорджина, внимательно читавшая все газеты, была удручена и глубоко уязвлена нападками на брата, но Джеймс Далтон, часто бывавший в доме Кларендонов, всячески старался ее утешить. В этом своем стремлении он был искренен и пылок, поскольку хотел не только успокоить любимую женщину, но и отчасти выразить уважение, которое всегда питал к устремленному в неведомые выси гению — ближайшему другу своей юности. Он говорил Джорджине, что истинное величие не может избежать ядовитых стрел зависти, и приводил длинный скорбный перечень блестящих умов, попранных пятою черни. Все эти нападки, указывал он, служат наивернейшим доказательством исключительного таланта Альфреда.

— Но они все равно задевают меня за живое, — отвечала она, — и тем сильнее, что я знаю, как тяжело переживает из-за них Ал, несмотря на все свое показное безразличие.

Далтон поцеловал ей руку с галантностью, тогда еще не вышедшей из моды в светских кругах.

— А я переживаю в тысячу раз тяжелее, зная о ваших с Альфом переживаниях. Но ничего, Джорджи, вместе мы выстоим и преодолеем все трудности.

Со временем Джорджина все больше и больше полагалась на поддержку этого волевого мужчины, который был ее давним и верным поклонником, и все чаще делилась с ним своими страхами. Нападки прессы и эпидемия — это было еще не все. Джорджине многое не нравилось в домашнем окружении. Сурама,

одинаково жестокий к людям и животным, вызывал у нее неопи-суемое отвращение, и она чувствовала в нем некую смутную, не поддающуюся определению угрозу для Альфреда. Тибетцев она тоже недолюбливала и находила чрезвычайно странным тот факт, что Сурама свободно общается с ними на их наречии. Альфред не желал рассказывать о происхождении и роде заня-тий Сурамы, но однажды крайне неохотно объяснил, что он го-раздо старше, чем вообще можно представить, и что он обладает сокровенными знаниями и жизненным опытом, которые делают из него поистине бесценного коллегу для любого ученого, исследу-ющего великие тайны Природы.

Обеспокоенный тревогой Джорджины, Далтон стал бывать в доме Кларендонов еще чаще, хотя и видел, что его визиты крайне не нравятся Сураме. Костлявый ассистент приобрел не-приятную привычку, встречая гостя, вперять в него странный взгляд своих призрачных глазниц и часто, когда закрывал за ним ворота, испускал жутковатые смешки, вгонявшие в дрожь. Между тем доктор Кларендон, казалось, не замечал ничего, всецело поглощенный своей работой в Сан-Квентине, куда он каждый день отправлялся на катере в сопровождении одно-го только Сурамы, который управлял штурвалом, пока доктор читал или просматривал свои записи. Эти регулярные отлучки премного устраивали Далтона, ибо давали ему возможность во-зобновить ухаживание за Джорджиной. Порой он засиживался в гостях до возвращения Альфреда, причем последний всегда приветствовал его очень тепло, несмотря на свою природную сдержанность. Вскоре помолвка Джеймса и Джорджины стала делом решенным, и они двое ждали лишь удобного случая, что-бы поговорить с Альфредом.

Губернатор, неизменно благородный и верный своей роли покровителя, не пожалел усилий, чтобы настроить обществен-ное мнение в пользу своего старого друга. И пресса, и чиновни-ки почувствовали на себе его давление; он даже сумел возбудить интерес в ученых Восточного побережья, так что многие из них приехали в Калифорнию с целью изучить лихорадку и исследо-вать противолихорадочную бациллу, которую Кларендон столь быстро вывел и теперь совершенствовал. Эти врачи и биологи, однако, не получили интересующей их информации, и неко-торые из них уехали крайне недовольными. Многие написали

враждебные статьи против Кларендона, обвиняя его в ненаучном подходе и погоне за славой, а также намекая, что он скрывает свои методы из стремления к личной выгоде, совершенно не достойного профессионала.

К счастью, другие были более объективны в своих суждениях и писали о Кларендоне и его работе в восторженном тоне. Они видели пациентов и по достоинству оценили умение, с каким он держал в узде ужасную болезнь. Скрытность доктора в отношении антитоксина они сочли вполне оправданной, поскольку распространение недоработанного препарата наверняка принесло бы больше вреда, чем пользы. Сам Кларендон, с которым многие из них встречались не впервые, произвел на них еще более сильное впечатление против прежнего, и они без колебаний сравнивали его с Дженнером, Листером, Кохом, Пастером, Мечниковым и прочими великими учеными, посвятившими жизнь служению медицине и человечеству. Далтон собирал для Альфреда все газеты и журналы, где публиковались положительные отзывы о нем, и лично доставлял их другу, таким образом получая возможность лишний раз увидеться с Джорджиной. Хвалебные статьи, однако, не вызывали у Кларендона ничего, помимо презрительной улыбки, и он обычно небрежно отдавал их Сураме, чьи нервирующие утробные смешки, раздававшиеся в процессе чтения, выражали чувство, близкое к ироническому презрению самого доктора.

В первых числах февраля, в понедельник вечером, Далтон явился с твердым намерением просить у Кларендона руки его сестры. Джорджина сама встретила его у ворот, и по пути к дому он остановился приласкать огромного пса, который бросился навстречу и дружелюбно положил передние лапы ему на грудь. Это был Дик, любимый сенбернар Джорджины, и Далтон порадовался, что пользуется расположением существа, столь много значащего для нее.

Дик, возбужденный и радостный, своим бурным напором развернул губернатора чуть ли не кругом, а потом тихо гавкнул и понесся между деревьями в сторону клиники. Однако он не скрылся из виду, а вскоре остановился, обернулся и снова приглушенно гавкнул, словно призывая Далтона последовать за ним. Джорджина, всегда охотно подчинявшаяся игривым прихотям своего огромного любимца, знаком показала Джеймсу, что надо

бы пойти посмотреть, чего хочет Дик, и они неспешно двинулись за псом, с довольным видом потрусившим в глубину заднего двора, где над высокой кирпичной стеной вырисовывалась на фоне звездного неба крыша клиники.

Сквозь щели в темных оконных шторах пробивался свет — значит Альфред и Сурама все еще работали. Внезапно из здания донесся тонкий приглушенный звук, похожий на детский плач, — жалобный крик «Мама! Мама!», заслышав который Дик залаял, а Джеймс и Джорджина вздрогнули. Потом Джорджина улыбнулась, вспомнив о подопытных попугаях Кларендона, и погладила пса по голове — то ли прощая шалуна за розыгрыш, то ли утешая любимца, попавшего впросак.

Когда они медленно направились обратно к дому, Далтон сообщил о своем намерении нынче же вечером поговорить с Альфредом о помолвке. Джорджина не возражала. Она знала, что перспектива потерять в ее лице преданного помощника и компаньона не обрадует брата, но верила, что его любовь не станет препятствием на ее пути к счастью.

Позже вечером Кларендон вошел в дом пружинистым шагом, с выражением лица менее угрюмым против обычного. Губернатор увидел в непринужденной веселости друга добрый знак и тотчас воспрянул духом, а доктор крепко пожал ему руку и шутливо спросил: «Ну, Джимми, что у нас новенького в политической жизни?» Поймав быстрый взгляд возлюбленного, Джорджина под каким-то предлогом удалилась, а двое мужчин уселись в кресла и завели беседу о том о сем. Пустившись в воспоминания о днях юности, Далтон исподволь подводил разговор к главной теме и наконец задал вопрос прямо в лоб:

— Альф, я хочу жениться на Джорджине. Ты благословишь нас?

Пристально глядя на старого друга, Далтон увидел тень, пробежавшую на его лицо. Темные глаза на мгновение вспыхнули, а потом погасли, приняв обычное невозмутимое выражение. Итак, научные — или эгоистические — интересы все же возобладали!

— Ты просишь невозможного, Джеймс. Джорджина уже не беспечный мотылек, каким была много лет назад. Теперь она трудится на благо истины и человечества, и ее место здесь. Она

решила посвятить свою жизнь моей работе — точнее, домашнему хозяйству, дающему мне возможность спокойно работать, — и не вправе оставлять свои обязанности или потакать собственным прихотям.

Далтон немного помолчал, чтобы убедиться, что Кларендон закончил. Руководимый все тем же фанатизмом — человечество против отдельной личности, — доктор определенно собирался испортить жизнь своей сестре! Потом он попытался ответить:

— Но послушай, Альф, неужто ты хочешь сказать, что Джорджина столь необходима для твоей работы, что тебе непременно надо сделать из нее рабыню и мученицу? Нужно же знать меру, дружище! Если бы речь шла о Сураме или о любом другом непосредственном участнике твоей экспериментаторской деятельности — тогда совсем другое дело. Но ведь в конечном счете Джорджина всего лишь твоя домоправительница. Она дала согласие стать моей женой и говорит, что любит меня. Разве ты имеешь право распоряжаться жизнью сестры? Разве имеешь право...

— Довольно, Джеймс! — Лицо Кларендона побледнело и стало каменным. — Имею я право распоряжаться собственной семьей или нет, посторонних не касается.

— Посторонних... и ты говоришь это человеку, который... — Далтон едва не задохнулся от негодования, а доктор ледяным тоном вновь перебил его:

— Который не принадлежит к кругу моей семьи и отныне не вхож в мой дом. Ваша наглость заходит слишком далеко, Далтон! Всего доброго, губернатор!

И Кларендон стремительно удалился прочь, не подав руки на прощанье.

Далтон на миг смешался, не зная, что делать, но вскоре в комнату вошла Джорджина. Далтон понял по лицу возлюбленной, что она уже успела перемолвиться с братом, и порывисто схватил ее за руки.

— Ну, Джорджи, что ты скажешь? Боюсь, тебе придется выбирать между Альфом и мной. Ты знаешь, что я чувствую сейчас, ты знаешь, что я чувствовал в прошлом, когда мне отказал твой отец. Что ты скажешь мне на сей раз?

Он умолк, и Джорджина медленно проговорила:

— Джеймс, милый, ты веришь, что я люблю тебя?

Он кивнул и, исполненный надежды, стиснул ее руки.

— Тогда, если ты тоже меня любишь, ты немного подождешь. Не обращай внимания на грубость Альфа. Его надо пожалеть. Я не могу рассказать тебе все сейчас, но ты ведь знаешь, я вся извелась от тревоги за брата: такая напряженная работа, столь жестокие нападки прессы, да еще постоянное присутствие этого ужасного Сурамы с его леденящим душу взглядом и хихиканьем! Я боюсь, он не выдержит: он переутомлен гораздо сильнее, чем кажется со стороны. Я это вижу, поскольку знаю его всю жизнь. Он меняется — медленно сгибается под тяжестью непосильной ноши — и скрывает свое состояние под маской грубости. Ты ведь понимаешь, о чем я, дорогой?

Джорджина умолкла, и Далтон снова кивнул, прижимая одну ее руку к своей груди. Тогда она закончила:

— Так пообещай же мне хранить терпение, любимый мой. Я должна поддержать Альфа сейчас. Должна, должна!

Далтон с минуту молчал, склонив голову в почти благоговейном поклоне. В этой преданной женщине было больше от Христа, чем в любом другом человеке, и перед лицом такой любви и верности он не мог ни на чем настаивать.

Печальное прощанье было кратким, и Джеймс, чьи голубые глаза туманились слезами, едва заметил костлявого ассистента доктора, отворившего перед ним ворота на улицу. Но как только они с грохотом захлопнулись у него за спиной, он услышал до боли знакомый, леденящий кровь смехок и понял, что там был Сурама — Сурама, которого Джорджина называла злым гением своего брата. Зашагав прочь твердой походкой, Далтон решил смотреть в оба и действовать при первых же признаках беды.

III

Между тем Сан-Франциско, по-прежнему полный слухов об эпидемии, кипел ненавистью к Кларендону. На самом деле вне стен тюрьмы было очень мало случаев черной лихорадки, и почти все они приходились на беднейшие слои мексиканского населения, жившего в антисанитарных условиях, исключительно благоприятных для развития самых разных болезней. Однако политикам и горожанам этого оказалось достаточно, чтобы

присоединиться к нападкам на доктора. Видя, что Далтон неколебим в своей решимости защищать Кларендона, недовольные обыватели, консервативные медики и продажные мелкие политики переключили свое внимание на законодательное собрание штата — они расчетливо объединили противников Кларендона со старыми врагами губернатора и готовились неоспоримым большинством голосов утвердить закон, по которому право назначения на должность в местные лечебные учреждения переходило от главы исполнительной власти к различным заинтересованным коллегиям и комиссиям.

Ни один лоббист не принимал в продвижении данного законопроекта столь деятельного участия, как главный помощник Кларендона, доктор Джонс. С самого начала питавший зависть к своему начальнику, теперь он увидел возможность обернуть дело в свою пользу и благодарил судьбу за то, что приходится родственником председателю тюремного попечительского совета (в силу какового обстоятельства он, собственно, и занимал нынешнее свое положение). В случае принятия нового закона Кларендона непременно сместят с должности, и на пост главного врача Сан-Квентина назначат его, Джонса, — и потому он, преследуя своекорыстные интересы, старался вовсю. Джонс являлся полной противоположностью Кларендону — прирожденный политикан и угодливый приспособленец, он в первую очередь заботился о своей карьере и занимался наукой лишь между прочим. Он был беден и жаждал получить хорошо оплачиваемую должность — в отличие от богатого и независимого ученого, чье место он стремился занять. С крысиными коварством и упорством он подкапывался под своего начальника, великого биолога, и в конце концов был вознагражден известием, что новый закон принят. Отныне губернатор лишился права назначения на должности в учреждения штата, и вопрос о руководстве лечебной частью Сан-Квентина переходил в ведение тюремного попечительского совета.

Кларендон единственный не замечал всей этой законодательной кутерьмы. Всецело поглощенный своими служебными обязанностями и научными исследованиями, он остался слеп к предательству «болвана Джонса», работавшего бок о бок с ним, и глух ко всем сплетням, наводнявшим контору начальника тюрьмы. Он никогда в жизни не читал газет, а с изгнанием Далтона

из своего дома потерял последнюю реальную связь с внешним миром. С наивностью отшельника он ни на миг не усомнился в надежности своего положения. Принимая во внимание преданность Далтона и его способность прощать гораздо более тяжелые обиды (что подтвердил случай со старым Кларендоном, который довел Далтона-старшего до самоубийства, разорив на фондовой бирже), он, разумеется, даже не допускал мысли, что губернатор может сместить его с должности. А в силу своего политического невежества доктор не мог предвидеть такой перемены ситуации, при которой право назначения и смещения должностных лиц переходило бы в другие руки. Посему, узнав об отъезде Далтона в Сакраменто, он просто довольно улыбнулся, убежденный в стабильности как своего положения в Сан-Квентине, так и положения сестры в доме. Он привык получать все, чего хотел, и полагал, что удача по-прежнему сопутствует ему.

В первую неделю марта, через день-другой после вступления в силу нового закона, председатель тюремного попечительского совета прибыл в Сан-Квентин. Кларендона не оказалось на месте, но доктор Джонс с превеликим удовольствием провел важного посетителя (своего собственного дядю, к слову сказать) по огромному госпиталю, заглянув среди всего прочего и в палату для лихорадочных больных, ставшую столь известной благодаря усилиям прессы и массовым паническим настроениям. Джонс, к тому времени против воли согласившийся с мнением Кларендона о незаразности недуга, с улыбкой заверил дядю, что бояться нечего, и предложил внимательно осмотреть пациентов — в особенности жуткого вида скелет, который в недавнем прошлом был цветущим здоровяком, а ныне, наметнул молодой врач, умирал медленной мучительной смертью, поскольку Кларендон не назначал ему нужного лекарства.

— Ты хочешь сказать, что доктор Кларендон отказывает несчастному в необходимой помощи, хотя его еще можно спасти? — вскричал председатель.

— Именно так, — отрывисто промолвил Джонс и тут же умолк, ибо дверь вдруг отворилась и в палату вошел Кларендон собственной персоной. Он холодно кивнул Джонсу и окинул неодобрительным взглядом незнакомого посетителя.

— Доктор Джонс, мне казалось, вы знаете, что этого больного вообще нельзя беспокоить. И разве я не говорил, что сюда посетители допускаются только по особому разрешению?

Но председатель заговорил прежде, чем племянник успел его представить.

— Прошу прощения, доктор Кларендон, но верно ли я понял, что вы отказываетесь давать этому человеку лекарство, которое может его спасти?

Кларендон холодно посмотрел на него и ответил с металлом в голосе:

— Ваш вопрос неуместен, сэр. Я здесь начальник, а посторонние сюда не допускаются. Будьте любезны покинуть палату сию же минуту.

Председатель, втайне питавший слабость к драматическим эффектам, отвечал излишне напыщенно и надменно:

— Вы заблуждаетесь на мой счет, сэр! Начальник здесь я, а не вы. Вы разговариваете с председателем попечительского совета тюрьмы. Более того, я должен сказать, что считаю вашу деятельность опасной для благополучия заключенных, и вынужден просить вас подать в отставку. Отныне заведовать госпиталем будет доктор Джонс, и вам придется подчиняться его приказам, коли вы пожелаете остаться здесь до официального увольнения.

Это был звездный миг Уилфреда Джонса. Ни прежде, ни впоследствии судьба ни разу не дарила ему столь счастливого момента, и потому нам нет нужды проникаться к нему недобрыми чувствами. В конце концов, он был человеком скорее ничтожным, нежели дурным, и в своих поступках руководствовался главным принципом ничтожных людей: «заботиться о себе любой ценой». Кларендон застыл на месте, уставившись на председателя как на сумасшедшего, но уже в следующий миг по торжествующему лицу доктора Джонса понял, что действительно происходит что-то важное. С ледяной вежливостью он промолвил:

— Несомненно, вы именно тот, кем себя рекомендуете, сэр. Но, по счастью, мое назначение утверждено губернатором штата, а следовательно, только он вправе его отменить.

Председатель и его племянник недоуменно воззрились на Кларендона, ибо они даже не предполагали, сколь далеко может заходить неосведомленность человека в вопросах общественной

жизни. Потом старший мужчина, уразумев ситуацию, довольно подробно объяснил положение вещей.

— Когда бы я удостоверился в ложности имеющих хождение слухов, — в заключение сказал он, — я бы повременил с решительными действиями, но случай с этим несчастным и ваше собственное заносчивое поведение не оставляют мне выбора. В общем...

Но Кларендон перебил его резким, звенящим голосом:

— В настоящий момент начальником здесь являюсь я, и я прошу вас немедленно покинуть палату.

Председатель побагровел и взорвался:

— Послушайте, сэр, да вы соображаете, с кем разговариваете? Я в два счета вышвырну вас отсюда, черт бы побрал вашу наглость!

Но он едва успел закончить оскорбительную фразу. Внезапно превратившись в мощный генератор ненависти, худосочный ученый выбросил вперед оба кулака со сверхъестественной силой, какой никто в нем и предположить не мог. И если сила удара была исключительной, то равно исключительной оказалась и точность того, ибо даже чемпион мира по боксу не смог бы достичь лучшего результата. Оба мужчины — председатель и доктор Джонс — были повержены наповал, один прямым в нос, другой прямым в челюсть. Рухнув, точно подрубленные деревья, они недвижно распростерлись на полу в беспамятстве. А Кларендон, теперь полностью овладевший собой, взял шляпу и трость и вышел, чтобы присоединиться к Сураме, ждавшему на катере. Только когда они отплыли от берега, доктор наконец дал словесный выход своей страшной ярости. С искаженным от гнева лицом он призвал на головы своих недругов проклятия звезд и надзвездных бездн — так что даже Сурама содрогнулся, сотворил древнее знамение, не описанное ни в одном историческом труде, и на сей раз позабыл хихикнуть.

IV

Джорджина изо всех сил постаралась облегчить ужасное душевное состояние брата. Он вернулся домой изнуренный морально и физически и бессильно упал на кушетку в библиотеке. В этой сумрачной комнате преданная сестра мало-помалу узна-

ла от него почти невероятную новость. Она тотчас же принялась нежно утешать Альфреда и убедительно объяснила, что все нападки прессы, преследования и увольнение являются лишь признанием его величия, пусть косвенным. По совету Джорджины он попытался не принимать случившееся близко к сердцу и, возможно, преуспел бы в своих стараниях, когда бы дело касалось одного лишь чувства собственного достоинства. Но лишиться возможности заниматься научными исследованиями — такую утрату доктор никак не мог перенести спокойно. Поминутно вздыхая, он снова и снова повторял, что еще три месяца работы в тюрьме позволили бы ему наконец получить искомую бациллу, благодаря которой человечество навсегда покончило бы со всеми разновидностями лихорадки.

Тогда Джорджина попробовала утешить брата иным способом и выразила уверенность, что тюремный попечительский совет вскоре призовет его обратно, если эпидемия не пойдет на спад или вспыхнет с новой силой. Но даже это не возымело действия; Кларендон отвечал лишь малопонятными короткими фразами, полными горечи и иронии, и тон его ясно свидетельствовал о глубоком отчаянии и жестокой обиде.

— Пойдет на спад? Вспыхнет с новой силой? О, она пойдет на спад, разумеется! По крайней мере, они так подумают. Они будут думать, как им удобно, невзирая на истинное положение вещей! Невежественные глаза не видят ничего, и бездари не совершают открытий. Наука никогда не повернется лицом к подобным людям. И они еще называют себя врачами! А главное — ты только представь этого болвана Джонса в роли начальника госпиталя!

Он презрительно усмехнулся, а затем разразился сатанинским хохотом, от которого Джорджину бросило в дрожь.

Все последовавшие дни в особняке Кларендонов царил унылая атмосфера. Тяжелая, беспросветная депрессия завладела обычно деятельным и неутомимым умом доктора, и он даже отказался бы от всякой пищи, если бы Джорджина силком не заставляла его есть. Толстая тетрадь с записями наблюдений пылилась на столе в библиотеке, а маленький золотой шприц с противолихорадочной сывороткой (изобретенный доктором хитроумный инструмент с запасным резервуаром, крепившимся к золотому кольцу на пальце) лежал без дела в кожаном футляре

рядом с ней. От былых энергии, целеустремленности, страстного желания работать не осталось и следа, и Кларендон даже не вспоминал о своей клинике, где его ждали сотни пробирок с бактериальными культурами.

Многочисленные животные, предназначенные для опытов, резвились, сытые и веселые, в лучах весеннего солнца, и когда Джорджина, пройдя через розарий, приближалась к клеткам, она чувствовала разлитое в воздухе счастье, несовместное с общей атмосферой усадьбы. Однако она понимала, что счастье это трагически мимолетно — ведь с возобновлением исследовательской работы все эти зверюшки обречены пасть жертвами науки, — а посему расценивала бездействие брата как отсрочку приговора для них и всячески поощряла его продолжать отдых, в котором он крайне нуждался. Восемь слуг-тибетцев бесшумно скользили по комнатам, выполняя свои обязанности, по обыкновению, безупречно, и Джорджина следила, чтобы заведенный в доме порядок не нарушался в связи с праздным времяпрепровождением хозяина.

Отказавшись от науки и далекоидущих устремлений ради вялого прозябания в неизменных шлепанцах и халате, Кларендон позволял Джорджине обращаться с собой как с малым ребенком. Он встречал материнские хлопоты сестры слабой печальной улыбкой и покорно подчинялся всем ее распоряжениям и предписаниям. В полусонном доме воцарилась атмосфера дремотного блаженства, единственный диссонанс в которую вносил Сурама. Он явно чувствовал себя несчастным и часто смотрел с угрюмым негодованием на безмятежно-умиротворенное лицо Джорджины. Находивший единственную отраду в кипучей экспериментаторской деятельности, он тосковал по привычным занятиям — ибо страсть как любил хватать обреченных животных цепкими когтями, относить в клинику и, гнусно посмеиваясь, наблюдать горящим замороженным взглядом, как они медленно впадают в кому, с налитыми кровью, выпученными глазами и вываливающимся из вспененной пасти распухшим языком.

Теперь он приходил в отчаяние при виде беспечных животных в клетках и часто являлся к Кларендону с вопросом, нет ли у него каких распоряжений. В очередной раз удостоверившись в нежелании апатичного доктора возобновлять работу, он, злобно ворча себе под нос и бросая по сторонам свирепые взгляды,

по-кошачьи бесшумной поступью уходил в свою подвальную комнату, откуда порой доносился его приглушенный низкий голос, произносящий странные ритмичные фразы явно нечестивого содержания, которые наводили на мысль о некоем богомерзком ритуале.

Все это действовало на нервы Джорджине, но далеко не так сильно, как затянувшаяся апатия брата. Встревоженная отсутствием каких-либо изменений к лучшему, она мало-помалу утратила веселый, довольный вид, страшно раздражавший Сураму. Сама знавшая толк в медицине, она находила состояние доктора крайне неудовлетворительным с точки зрения психиатрии, и теперь его безучастность и бездеятельность пугали ее не меньше, чем прежний фанатический пыл и излишнее рвение. Неужто затянувшаяся меланхолия превратит блестящего ученого в ничемного идиота?

Но ближе к концу мая произошла неожиданная перемена. Джорджина навсегда запомнила мельчайшие детали, с ней связанные, — такие вроде бы незначительные детали, как доставленная накануне Сураме посылка с алжирским почтовым штемпелем, источавшая чрезвычайно неприятный запах, и внезапная сильная гроза (крайне редкое для Калифорнии явление), которая разразилась ночью, когда Сурама монотонно читал ритуальные заклинания за запертой подвальной дверью — гулким низким голосом, звучащим громче и напряженнее, чем обычно.

Следующий день выдался солнечным, и Джорджина с утра вышла в сад набрать цветов для столовой. Вернувшись в дом, она увидела брата в библиотеке — полностью одетый, он сидел за рабочим столом, просматривая заметки в своем толстом журнале наблюдений и делая новые записи уверенными скорыми росчерками пера. Альфред был полон энергии, и в движениях его сквозила былая бодрость, когда он изредка переворачивал страницы или тянулся за одной из книг, лежавших на противоположном краю огромного стола. С чувством радости и облегчения Джорджина поспешила в столовую, дабы поставить букет в вазу, но по возвращении обратно в библиотеку обнаружила, что брат уже ушел.

Разумеется, она решила, что Альфред отправился в клинику, и возликовала при мысли, что рабочее настроение и целеустремленность вернулись к нему. Поняв, что ждать его к завтраку бес-

полезно, она поела одна и оставила небольшую порцию на плите, чтобы быстро разогреть в случае, если он все-таки улучит минутку и забежит перекусить. Но он так и не пришел. Доктор наверстывал потерянное время и по-прежнему находился в обшито толстыми досками здании клиники, когда Джорджина вышла прогуляться по увитой розами аллее.

Прохаживаясь среди благоуханных цветов, она увидела Сураму, выбиравшего животных для опыта. Джорджине хотелось бы, чтобы ассистент пореже попадался ей на глаза, ибо он одним своим видом вгонял ее в дрожь, но самый этот страх обострял ее зрение и слух во всем, что касалось Сурамы. Он всегда ходил по усадьбе с непокрытой головой, и безволосый череп усиливал его жуткое сходство со скелетом. Она слышала тихий смешок, когда ассистент вытащил из клетки маленькую обезьянку и понес в клинику, впившись длинными костлявыми пальцами в пушистые бока столь жестоко, что несчастный зверек пронзительно закричал от испуга и боли. От этого зрелища Джорджине стало дурно, и она торопливо удалилась в дом. В душе у нее поднимался бурный протест против ужасного существа, взявшего такую власть над ее братом, и она с горечью подумала, что слуга и хозяин практически поменялись местами.

Кларендон не вернулся домой к ночи, и Джорджина решила, что он всецело поглощен одним из самых продолжительных своих экспериментов, а значит потерял всякий счет времени. Ей очень не хотелось ложиться спать, не поговорив с братом о его неожиданном выздоровлении, но в конце концов она поняла, что ждать бесполезно, написала веселую записку, которую положила на стол в библиотеке, а затем решительно направилась в свою спальню.

Джорджина еще не совсем заснула, когда услышала, как открылась и закрылась входная дверь. Значит, все-таки работа не затянулась на всю ночь! Решив проследить за тем, чтобы брат поел перед сном, она встала, накинула халат и спустилась вниз, но уже возле самой библиотеки остановилась, услышав голоса за приоткрытой дверью. Кларендон и Сурама разговаривали там, и она стала ждать, когда ассистент уйдет.

Однако Сурама не проявлял никакого желания удалиться, и возбужденный тон собеседников свидетельствовал о полной

их поглощенности разговором, который обещал быть долгим. Джорджина не собиралась подслушивать, но все же невольно улавливала отдельные фразы и вскоре почувствовала в них некий зловеющий подтекст, сильно ее испугавший, хотя и оставшийся не вполне ясным. Резкий, нервный голос брата настойчиво приковывал внимание встревоженной Джорджины.

— Но в любом случае, — говорил Альфред, — у нас недостаточно животных для еще одного дня работы, а ты сам знаешь, как трудно достать порядочную партию по первому требованию. Глупо тратить столько усилий на относительную ерунду, когда можно раздобыть человеческие экземпляры, приложив лишь немного дополнительных стараний.

При одном предположении о возможном смысле, скрытом в словах брата, Джорджине стало дурно, и она ухватилась за вешалку, чтобы удержаться на ногах. Сурама ответил низким глухим голосом, в котором, казалось, отражалось далеким эхом зло тысячи веков и тысячи планет.

— Тише, угомонись! Со своей спешкой и нетерпением ты подобен малому ребенку. Зачем торопить события? Когда бы ты жил, как я, для которого вся жизнь не длиннее часа, ты не стал бы так нервничать из-за одного дня, недели или месяца! Ты работаешь слишком быстро. Экземпляров в клетках тебе хватило бы на целую неделю, если бы ты выдерживал разумный темп. Ты даже можешь пустить в ход старый подопытный материал, но только не переусердствуй.

— Моя спешка — не твоего ума дело! — прозвучал резкий, отрывистый ответ. — У меня свои методы. Я не хочу использовать наш подопытный материал без крайней необходимости, предпочитая иметь их под рукой в нынешнем виде. В любом случае тебе стоит держаться с ними поосторожнее — ты ведь знаешь: эти хитрые псы не расстанутся с ножами.

Сурама издал низкий смешок.

— За меня не беспокойся. Эти тупые скоты едят, верно? А значит, при надобности я всегда могу доставить тебе одного из них. Только не торопись — после смерти мальчишки у нас их осталось всего восемь, а теперь, когда ты потерял место в Сан-Квентине, раздобыть новую партию будет трудно. Я советую начать с Тсанпо — он самый бесполезный из всех, и...

Дальше Джорджина не стала слушать. Охваченная диким ужасом при мыслях, возбужденных в ней этим разговором, она с трудом удержалась на ногах и едва нашла в себе силы подняться по лестнице и добрести до своей комнаты. Что замышляет это гнусное чудовище, Сурама? Во что он втягивает ее брата? Какие страшные обстоятельства кроются за этими загадочными фразами? Сотни кошмарных, зловещих видений проносились перед ее умственным взором, и она бросилась на кровать, даже не надеясь заснуть. Одна мысль до жути резко выделялась среди всех прочих, и Джорджина чуть не закричала в полный голос, когда она вспыхнула в мозгу с новой силой. Потом наконец в дело вмешалась Природа, более милосердная, чем ожидала несчастная женщина. Закрыв глаза, она впала в глубокий обморок, продолжавшийся до самого утра, и ни один новый кошмар не усугубил в ней безумного ужаса, вызванного подслушанным разговором.

При свете утреннего солнца нервное напряжение отпустило. Ночью сознание усталого человека зачастую воспринимает действительность в искаженном виде, и Джорджина решила, что ее утомленный мозг, видимо, превратно истолковал обрывки самой обычной профессиональной беседы. Предположить, что брат — единственный сын благородного Фрэнсиса Шайлера Кларендона — повинен в жестоких жертвоприношениях, значило бы несправедливо оскорбить весь род Кларендон, и она положила ни словом не упоминать о ночном эпизоде, дабы Альфред не высмеял ее нелепые фантазии.

Спустившись к завтраку, она уже не застала брата дома и пожалела, что и на второе утро упустила возможность поздравить его с возобновлением работы. Неторопливо съев завтрак, поданный глухой как пень Маргаритой, старой кухаркой мексиканского происхождения, Джорджина прочитала утреннюю газету и уселась с шитьем у окна гостиной, выходявшей на просторный задний двор. Там царила тишина, и она видела, что последние клетки для животных опустели. Приношение науке свершилось, и останки прелестных резвых существ, еще недавно живых, ныне покоились в яме с негашеной известью. Убийство бедных зверюшек всегда глубоко огорчало Джорджину, но она никогда не жаловалась, поскольку понимала: все это делается во благо человечества. Быть сестрой ученого, часто говорила она себе,

все равно что быть сестрой солдата, который убивает, защищая своих соотечественников от врагов.

После ланча Джорджина расположилась на прежнем месте у окна и сосредоточенно шила, покуда хлопок выстрела во дворе не заставил ее в тревоге выглянуть наружу. Там, неподалеку от здания клиники, она увидела отвратительного Сураму с револьвером в руке — со странной гримасой на черепообразном лице он мерзко хихикал, глядя на сжавшегося от страха человека в черном балахоне, вооруженного длинным тибетским ножом. Узнав в этом иссохшем мужчине слугу по имени Тсанпо, Джорджина с ужасом вспомнила о подслушанном накануне разговоре. Солнце сверкнуло на полированном лезвии, и в следующий миг револьвер снова выстрелил. На сей раз нож вылетел из руки монгола, и Сурама кровожадно уставился на трясущуюся обескураженную жертву.

Бросив быстрый взгляд на свою неповрежденную руку и на упавший нож, Тсанпо живо отпрыгнул от ассистента, приближавшегося кошачьей поступью, и метнулся к дому. Однако Сурама оказался проворнее: он настиг слугу одним прыжком, схватил за плечо и резко опрокинул, едва не переломив ему хребет. Тибетец попытался вырваться, но Сурама поднял его за шиворот, точно животное, и понес к клинике. Джорджина услышала, как он хихикает и издевается над беднягой на тибетском наречии, и увидела, как желтое лицо жертвы кривится и дергается от страха. Против своей воли она вдруг поняла, что происходит, и от дикого ужаса лишилась чувств во второй раз за сутки.

Когда она очнулась, комнату заливал золотой свет предзакатного солнца. Подобрав с пола корзинку и рассыпанные швейные принадлежности, Джорджина погрузилась в пучину сомнений, но в конце концов исполнилась уверенности, что жуткая сцена, столь глубоко ее потрясшая, происходила наяву. Значит, самые страшные ее догадки оказались ужасной правдой. Совершенно не подготовленная ни к чему подобному, она не знала, что делать, и была даже рада, что брат так и не появился. Она должна поговорить с ним, но не сейчас. Сейчас она не в силах ни с кем разговаривать. Содрогаясь при мысли о кошмарных делах, творящихся за зарешеченными окнами клиники, Джорджина забралась в постель, чтобы промучиться бессонницей всю долгую ночь напролет.

Поднявшись наутро в совершенно разбитом состоянии, она увидела доктора впервые с момента его выздоровления. Он деловито сновал между домом и клиникой, не обращая внимания ни на что, помимо своей работы. Джорджине не представилось возможности поговорить с ним на тему, приводившую ее в ужас, а Кларендон даже не заметил измученного и смятенного вида сестры.

Вечером она услышала, как брат разговаривает сам с собой в библиотеке (каковой привычки никогда за ним не наблюдалось), и поняла, что он находится в состоянии крайнего нервного напряжения, которое может разрешиться новым приступом апатии. Войдя в комнату, Джорджина попыталась успокоить доктора, не затрагивая никаких неприятных предметов, и заставила выпить чашку укрепляющего бульона. Наконец она мягко спросила, чем он расстроен, и с волнением стала ждать ответа, надеясь услышать, что брата ужаснуло и разгневало обращение Сурамы с бедным тибетцем.

Он ответил с раздражением в голосе:

— Чем я расстроен? Боже мой, Джорджина, да логичнее спросить, чем я *не* расстроен! Взгляни на клетки — и сама все поймешь! Они все пусты-пустехоньки, ни единой чертовой зверюшки не осталось — и ряд важнейших бактериальных культур выращивается в пробирках без малейшего шанса принести хоть каплю пользы! День работы псу под хвост, вся программа экспериментов срывается — этого вполне достаточно, чтобы сойти с ума! Да разве я добьюсь когда-нибудь мало-мальски значимых результатов, если не могу наскрести приличного подопытного материала?

Джорджина погладила брата по голове:

— Думаю, тебе следует немного отдохнуть, Ал, дорогой.

Он дернулся в сторону:

— Отдохнуть? Отлично! Просто превосходно! А чем еще, собственно, я занимался, если не отдыхал, прозябал да тупо таранился в пустоту последние пятьдесят лет, или сто, или тысячу? И вот, когда мне наконец удалось совершить настоящий прорыв, у меня кончается подопытный материал — и мне советуют снова впасть в идиотическое оцепенение! Господи! А ведь тем временем, возможно, какой-нибудь подлый вор работает с дан-

ными моих исследований и уже готов опередить меня, воспользовавшись плодами моего собственного труда. Я отстану на голову — какой-нибудь дурак, располагающий необходимым экспериментальным материалом, возьмет приз, хотя я, при наличии даже посредственных условий для работы, уже через неделю добился бы триумфального успеха!

Он раздраженно повысил голос, в котором слышались истерические нотки, очень не понравившиеся Джорджине. Она промолвила мягко, но не настолько, чтобы создалось впечатление, будто она успокаивает припадочного психопата:

— Но ты убиваешь себя своими переживаниями и нервными муками. А как сможешь ты завершить работу, если умрешь?

Улыбка Кларендона напоминала скорее презрительную ухмылку.

— Полагаю, неделю или месяц — а большего времени мне и не требуется — я еще протяну. А что в конечном счете станется со мной или любой другой отдельной личностью, не имеет особого значения. Служить надобно единственно науке, которая есть тернистый путь к знанию. Я ничем не отличаюсь от своих подопытных обезьян и морских свинок; я всего лишь винтик в машине, призванный послужить общему благу. Животных приходится убивать — возможно, и мне придется умереть, — ну так и что с того? Разве дело, которому мы служим, не стоит таких жертв и даже больших?

Джорджина вздохнула и на миг задалась вопросом, а стоит ли действительно хоть чего-нибудь вся эта бесконечная череда убийств.

— Но ты твердо уверен, что твое открытие станет для человечества достаточно великим благом, чтобы оправдать все эти жертвы?

Глаза Кларендона опасно сверкнули.

— Человечество! Да что такое человечество, черт побери? Служители науки! Бездари! Историю творят только личности! Человечество создано для проповедников, видящих в нем сообщество легковверных глупцов. Человечество создано для хищных финансовых воротил, разговаривающих с ним на языке долларов и центов. Человечество создано для политиков, находящихся в нем коллективную силу, которую надлежит использовать

в собственных интересах. Что такое человечество? Да пустое место! Слава богу, мы уже расстаемся с детскими иллюзиями по поводу человечества! Взрослый человек служит только истине — знанию — науке — свету просвещения — великому делу срывания покровов и рассеяния тьмы. Знание — это безжалостная и неумолимая сила! Смерть — неотъемлемый элемент нашего познания мира. Мы должны убивать, препарировать, уничтожать — все ради научных открытий, во имя служения невыразимому свету истины. Этого требует богиня Наука. Мы проверяем действие неизученного яда, умерщвляя живое существо. А как иначе? Мы думаем не о себе — нас интересует только знание.

Голос у доктора пресекся, словно от изнеможения, и Джорджина легко вздрогнула:

— Но это же ужасно, Ал! Негоже держаться такого образа мыслей!

Кларендон издал сардонический смешок, вызвавший у сестры странные и крайне неприятные ассоциации.

— Ужасно? По-твоему, *мои* речи ужасны? Тебе стоит послушать Сураму! Говорю тебе, жрецы Атлантиды владели таким тайным знанием, что ты бы умерла от страха при одном косвенном упоминании о нем. Оно существовало и сто тысяч лет назад, когда наши предки бродили по Азии, будучи всего лишь бессловесными полуобезьянами! Знание это сохранилось в виде отдельных обрывков в области Хоггар, слухи о нем ходят в самых удаленных нагорьях Тибета, а однажды я слышал, как один старый китаец призывал Йог-Сотота...

Он побледнел и начертил в воздухе странный знак указательным пальцем. Джорджина не на шутку встревожилась, но несколько успокоилась, когда речь брата приняла менее экстравагантный характер.

— Да, возможно, это ужасно, но это и прекрасно тоже. Поиски знания, я имею в виду. Ни о каких низменных помыслах здесь не идет и речи, конечно же. Разве Природа не убивает — непрестанно и безжалостно? И разве кого-нибудь, помимо отпетых дураков, приводит в ужас борьба за существование? Убийства необходимы. Они служат к возвеличению науки. Из них мы черпаем новое знание, и мы не вправе отказаться от такой возможности в угоду сантиментам. Ты только послушай, как

шумно протестуют сентиментальные глупцы против вакцинаций! Они боятся, что прививка убьет ребенка. Ну и что, если убьет? Разве есть иной способ выявить законы развития того или иного заболевания? Как сестре ученого, тебе следовало бы быть поумнее и не болтать всякий сентиментальный вздор. Ты должна всячески содействовать моей работе, а не препятствовать ей!

— Но, Ал, — запротестовала Джорджина, — у меня нет ни малейшего намерения препятствовать твоей работе! Разве я не старалась всегда помогать по мере своих сил? Я невежественна, положим, и потому не могу оказать существенную помощь, но я, по крайней мере, горжусь тобой — ибо ты моя гордость и гордость всей нашей семьи, — и я всегда старалась освобождать тебя от житейских забот. Ты сам неоднократно ставил это мне в заслугу.

Кларендон пристально посмотрел на нее.

— Да, ты права, — отрывисто промолвил он, вставая и направляясь к двери. — Ты всегда помогала мне как могла. Возможно, тебе еще представится случай оказать мне более существенную помощь.

Он вышел из дома на передний двор, и Джорджина последовала за ним. Они двинулись на свет фонаря, горевшего поодаль за деревьями, и вскоре увидели Сураму, который склонялся над неким крупным телом, распростертым на земле. Кларендон коротко хмыкнул, но Джорджина, приглядевшись, с пронзительным вскриком бросилась вперед. Дик, огромный сенбернар, лежал там неподвижно, с воспаленными глазами и высунутым языком.

— Он болен, Ал! — воскликнула она. — Пожалуйста, сделай что-нибудь, быстрее!

Доктор посмотрел на Сураму, который произнес несколько слов на неизвестном Джорджине наречии.

— Отнеси его в клинику, — распорядился Кларендон. — Боюсь, Дик заразился лихорадкой.

Сурама взял пса за загривок — так же, как днем раньше брал за шиворот бедного Тсанпо, — и молча понес к зданию близ аллеи. На сей раз он не хихикал, но взглянул на Кларендона с выражением, похожим на настоящую тревогу. Джорджине почти показалось, что Сурама просит доктора спасти ее любимца.

Однако Кларендон не последовал за ассистентом, но несколько мгновений неподвижно стоял на месте, а затем неторопливо направился обратно к дому. Джорджина, потрясенная таким бессердечием, горячо умоляла брата помочь Дику, но все без толку. Не обращая на нее ни малейшего внимания, он прошел прямо в библиотеку, раскрыл большую старинную книгу, что лежала на столе лицом вниз, и погрузился в чтение. Она положила ладонь ему на руку, но он не заговорил и даже не повернул головы. Он продолжал читать, и Джорджина, с любопытством заглянув через плечо доктора, подивилась диковинным письменным знакам, испещрявшим страницы древнего фолианта в переплете с медными накладками.

Пятнадцать минут спустя, сидя в одиночестве в маленькой темной гостиной по другую сторону от холла, Джорджина приняла решение. Что-то было неладно — что именно и насколько, она даже думать боялась, — и настало время призвать на помощь силу более действенную. Разумеется, речь могла идти только о Джеймсе. Он человек сильный и умный, а его сочувствие и любовь подскажут ему, как следует поступить. Он знает Ала с юных лет и все поймет.

Несмотря на поздний час, Джорджина решила действовать безотлагательно. В библиотеке по-прежнему горела лампа, и она с тоской взглянула на освещенный дверной проем, надевая шляпу и бесшумно покидая дом. От ворот мрачной усадьбы было рукой подать до Джексон-стрит, где Джорджине повезло поймать экипаж, который довез ее до телеграфной конторы компании «Вестерн Юнион». Там она, тщательно подбирая слова, написала Джеймсу Далтону телеграмму с просьбой немедленно вернуться в Сан-Франциско в связи с делом, чрезвычайно важным для всех них.

V

Неожиданное послание Джорджины повергло Далтона в глубокое недоумение. Он не получал никаких известий от Кларендонов с того бурного февральского вечера, когда Альфред отказал ему от дома, и сам в свою очередь старательно воздерживался от общения с ними, даже когда очень хотел выразить им

сочувствие в связи с увольнением доктора с должности без всяких объяснений. Губернатор отчаянно боролся со своими политическими противниками, пытаясь сохранить за собой право назначения, и горько сожалел об отставке человека, которого, несмотря на недавний разрыв отношений, по-прежнему считал непревзойденным образцом научной компетенции.

Сейчас, прочитав сей явно испуганный призыв о помощи, Далтон терялся в догадках по поводу случившегося. Однако он знал, что Джорджина не из тех, кто легко теряет голову или поднимает тревогу по пустякам, а потому не стал терять времени даром: он сразу взял билет на поезд, отходивший из Сакраменто через час, а по прибытии в Сан-Франциско отправился напрямик в свой клуб, откуда послал Джорджине записку, уведомляя, что он уже в городе и находится в полном ее распоряжении.

Между тем обстановка в доме Кларендонов выглядела спокойной, несмотря на угрюмую молчаливость доктора, решительно отказавшегося сообщать какие-либо подробности о состоянии пса. Тени зла, казалось, наводняли старинный особняк и неумолимо сгущались, но в настоящий момент там царило временное затишье. Джорджина испытала облегчение, получив записку и узнав, что Далтон готов в любой момент прийти на помощь, и в ответ написала, что немедленно обратится к нему, когда возникнет такая необходимость. В тяжелой напряженной атмосфере дома, однако, слабо ощущался и некий умиротворяющий элемент, и Джорджина в конце концов решила, что все дело в исчезновении тощих тибетцев, чьи уклончивые скользкие повадки и экзотическая наружность всегда раздражали ее. Они куда-то пропали все разом, и старая Маргарита, единственная оставшаяся в доме служанка, сказала, что они помогают хояину и Сураме в клинике.

Утро следующего дня — памятного дня 28 мая — выдалось пасмурным и хмурым, и Джорджина почувствовала, как ненадежное затишье сходит на нет. По пробуждении она не застала брата дома, но знала, что он усердно трудится в клинике, невзирая на отсутствие подопытного материала, на которое сетовал накануне. Она задавалась вопросом, как там дела у бедного Тсанпо и действительно ли он подвергся какой-нибудь опасной прививке, но следует признать, в первую очередь ее интересовал

Дик. Ей страшно хотелось узнать, сделал ли Сурама что-нибудь для верного пса, к судьбе которого его хозяин отнесся с таким странным равнодушием. С другой стороны, явное беспокойство, выказанное Сурамой при виде заболевшего Дика, произвело на нее сильное впечатление, и это было самое положительное из всех чувств, когда-либо испытанных ею по отношению к ненавистному ассистенту. Теперь с каждым часом Джорджина все чаще ловила себя на мыслях о Дике, — и наконец, в нервическом возбуждении представив историю с псом как своего рода символическое воплощение всего зла, тяготевшего над усадьбой, она поняла, что не в силах долее выносить мучительную неизвестность.

До той поры она всегда уважала категорическое требование Альфреда не беспокоить его в клинике, но по ходу того рокового дня в ней все сильнее крепла решимость нарушить запрет. В конечном счете она стремительно вышла из дома, пересекла двор и вошла в незапертый вестибюль запретного здания с твердым намерением выяснить участь собаки и причину скрытности брата.

Внутренняя дверь была, по обыкновению, закрыта на замок, и за ней слышались возбужденные голоса. Когда на стук никто не отреагировал, Джорджина загремела дверной ручкой по возможности громче, но голоса продолжали горячо спорить, ни на миг не умолкая. Они принадлежали, разумеется, Сураме и доктору; и пока Джорджина стояла там, пытаясь привлечь к себе внимание, она не могла не уловить общий смысл разговора. По воле судьбы она во второй раз оказалась в роли подслушивающего, и вновь ее самообладание и выдержка подверглись тяжелому испытанию. Между Альфредом и Сурамой явно происходила ссора, принимавшая все более ожесточенный характер, и долетавших до слуха Джорджины речей было достаточно, чтобы возбудить самые дикие страхи и подтвердить самые худшие опасения. Она вздрогнула, когда голос брата резко возвысился и в нем зазвучали исступленные фанатические нотки.

— Ты, черт бы тебя побрал, — ты говоришь мне о поражении и необходимости умерить свои притязания?! Да кто, собственно, заварил всю эту кашу? Разве я имел хоть малейшее представление о ваших проклятых дьяволобогах и предсуществовавшем мире? Разве я когда-нибудь думал о ваших чертовых надзвездных безднах и вашем ползучем хаосе Ньярлатхотепа? Я был

нормальным ученым, пропади ты пропадом, пока сдуру не вытащил из катакомб тебя со всеми твоими сатанинскими тайнами Атлантиды. Ты постоянно подстрекал, подзуживал меня, а теперь ставишь палки мне в колеса! Ты шатаешься без дела и призываешь меня не торопиться, хотя вполне мог бы пойти да раздобыть подопытный материал. В отличие от меня ты прекрасно знаешь, как решаются подобные проблемы — ты наверняка понаторел в таких делах еще до сотворения Земли. Как это похоже на тебя, ты, проклятый ходячий труп, — затеять историю, которую ты не хочешь или не можешь закончить!

Раздался зловеющий смешок Сурамы.

— Ты безумен, Кларендон. Вот единственная причина, почему я позволяю тебе бесноваться, хотя мог бы в два счета отправить тебя в преисподнюю. Однако хорошенького понемножку, и уж конечно, ты располагал вполне достаточным для новичка твоего уровня количеством экспериментального материала. Во всяком случае, ты имел все, о чем просил меня! Сейчас же ты просто помешался на этом деле — как тебе пришла в голову подлая, дикая мысль пожертвовать даже любимым псом твоей бедной сестры, хотя ты запросто мог обойтись без него?! Теперь при виде любого живого существа у тебя возникает неодолимое желание воткнуть в него свой золотой шприц. Нет, тебе непременно надо было отправить Дика вслед за мексиканским мальчишкой, вслед за Тсанпо и остальными семерыми, вслед за всеми твоими животными! Хорош ученичок, нечего сказать! Ты мне больше не интересен — ты потерял самообладание. Ты ставил своей целью управлять обстоятельствами, а ныне они управляют тобой. Я намерен порвать с тобой, Кларендон. Я думал, у тебя есть характер, но ты оказался слабаком. Пора мне попытаться удачи с кем-нибудь другим. Боюсь, нам придется расстаться.

Пронзительный голос доктора дрожал от страха и ярости:

— Поосторожнее, ты!.. И на твою силу найдется сила... Я не просто так ездил в Китай, и в «Азифе» Альхазреда описаны тайны, которых не знали в Атлантиде! Мы оба впутались в опасное дело, но не воображай, будто ты знаешь все мои возможности. Как насчет Огненной Немезиды? В Йемене я разговаривал со стариком, вернувшимся живым из Багровой Пустыни, — он видел Ирем, Город Столпов, и поклонялся в подземных святилищах Нугу и Йэбу! Йа! Шуб-Нигтурат!

Резкий фальцет Кларендона пресекался, когда ассистент издал низкий смешок.

— Заткнись, болван! Ты думаешь, твои нелепые бредни производят на меня впечатление? Слова и формулы, слова и формулы — что значат они для того, кто постиг смысл, сокрытый за всеми ними? Сейчас мы находимся в материальном мире и подчиняемся законам материи. У тебя есть твоя лихорадка, а у меня — мой револьвер. Ты не получишь подопытного материала и не заразишь меня лихорадкой, покуда я стою перед тобой с оружием в руке!

Больше Джорджина ничего не слышала. Почувствовав приступ дурноты, она шатаясь вышла из вестибюля за спасительным глотком свежего вечернего воздуха. Она поняла, что критический момент наконец наступил и что она должна немедленно обратиться за помощью, если хочет спасти брата, погружающегося в неведомые пучины безумия и страшных тайн. Собрав последние силы, она добрела до дома и неверной поступью прошла в библиотеку, где торопливо нацарапала записку, которую отдала Маргарите с наказом доставить Далтону.

Когда старуха ушла, Джорджине едва хватило сил добраться до кушетки и упасть на нее в полуобморочном состоянии. Там она пролежала, казалось, целую вечность, замечая лишь, как причудливые сумеречные тени выползают из углов огромной мрачной комнаты, и тщетно пытаясь прогнать тысячи смутных ужасных видений, которые проплывали подобием призрачной процессии в ее измученном, оцепенелом мозгу. Сумерки сгустились до темноты, но облегчения все не наступало. Потом в холле раздались твердые, быстрые шаги, и Джорджина услышала, как кто-то входит в комнату и возится со спичками. Сердце у нее чуть не остановилось, когда в люстре один за другим стали зажигаться газовые рожки, но в следующий миг она признала в вошедшем брата. Охваченная безумной радостью при виде Альфреда, живого и невредимого, она невольно испустила глубокий, протяжный, прерывистый вздох и впала наконец в блаженное забытие.

Услышав вздох, Кларендон в тревоге повернулся к кушетке и испытал сильнейшее потрясение, увидев там мертвенно-бледную сестру, лежащую в беспомощности. До глубины души испуганный безжизненным лицом Джорджины, он упал на колени

рядом с ней, внезапно осознав, сколь страшным ударом стала бы для него ее смерть. Давно оставивший частную медицинскую практику ради поисков научной истины, он утратил навыки оказания первой помощи и мог лишь выкрикивать ее имя да машинально растирать ей запястья, объятый страхом и горем. Потом он вспомнил о воде и побежал в столовую за графином. Спотыкаясь и натыкаясь на мебель в темноте, населенной неясными зловещими тенями, он нашел что искал не сразу, но наконец схватил сосуд дрожащей рукой и бросился обратно в библиотеку, дабы плеснуть холодную влагу в лицо Джорджине. Способ был грубым, но действенным. Она пошевелилась, еще раз глубоко вздохнула и наконец открыла глаза.

— Ты жива! — вскричал доктор, прижимаясь щекой к ее щеке.

Джорджина по-матерински нежно погладила его по голове, почти радуясь тому, что лишилась чувств: ведь благодаря данному обстоятельству незнакомый Альфред исчез и к ней вернулся возлюбленный брат. Она медленно села и попыталась успокоить его.

— Со мной все в порядке, Ал. Просто дай мне стакан воды. Грешно расходовать ее зря таким вот образом — я не говорю уже о моей испорченной блузке! Ну пристало ли так вести себя всякий раз, когда сестра приляжет вздремнуть? И не надо воображать, будто я собираюсь заболеть, — у меня нет времени на подобную ерунду!

По глазам Альфреда было видно, что спокойная, разумная речь сестры возымела нужное действие. Панический страх мгновенно рассеялся, и на лице у него появилось странное, оценивающее выражение, словно он обдумывал некую великолепную идею, только что пришедшую на ум. Заметив неувимую тень коварства и холодного расчета, пробежавшую по лицу брата, Джорджина вдруг усомнилась в правильности выбранной ею успокоительной тактики и задрожала от безотчетного испуга еще прежде, чем он заговорил. Интуиция медика подсказывала ей, что момент просветления рассудка миновал и Альфред снова превратился в безудержного фанатика науки. Чудилось что-то нездоровое в молниеносном прищуре глаз, которым он отреагировал на ее случайное упоминание о своем крепком здоровье.

Что у него на уме? До какой противоестественной крайности может он дойти в своей экспериментаторской страсти? Почему для него столь важны ее здоровая кровь и прекрасное состояние организма? Однако опасения эти тревожили Джорджину не более нескольких секунд, и она держалась вполне непринужденно и спокойно, когда твердые пальцы брата пощупали у нее пульс.

— Тебя немного лихорадит, Джорджи, — сказал он четким, нарочито сдержанным голосом, вглядываясь ей в глаза на профессиональный манер.

— Да чепуха, я здорова, — ответила она. — Можно подумать, ты повсюду высматриваешь лихорадочных больных, только бы продемонстрировать на практике свое открытие. Хотя, конечно, было бы очень романтично, если бы ты окончательно доказал эффективность своего препарата, исцелив родную сестру!

Кларендон сильно вздрогнул, с виноватым видом. Неужто она догадалась о его желании? Или он случайно пробормотал вслух что-то лишнее? Он пристально посмотрел на Джорджину и уверился, что она совершенно ничего не подозревает. Она ласково улыбнулась и погладила его по руке. Тогда доктор достал из жилетного кармана продолговатый кожаный футляр, извлек из него маленький золотой шприц и принялся задумчиво вертеть его в руках, то вдавливая поршень в пустой цилиндр, то вытягивая обратно.

— Интересно знать, — начал он тоном одновременно вкрадчивым и напыщенным, — готова ли ты послужить науке, согласившись на... на что-нибудь подобное... в случае необходимости? Достаточно ли ты преданна, чтобы принести себя в жертву медицине, уподобившись дочери Иеффая, когда бы такое требовалось для полного и окончательного завершения моей работы?

Заметив жутковатый недвусмысленный блеск в глазах брата, Джорджина наконец поняла, что самые худшие ее опасения были не напрасны. Теперь ей ничего не оставалось делать, кроме как всячески отвлекать Альфреда от принятого намерения да молиться, чтобы Маргарита застала Джеймса Далтона в клубе.

— У тебя усталый вид, Ал, дорогой, — мягко промолвила она. — Может, тебе стоит принять немного морфия и поспать — ведь ты так нуждаешься в отдыхе!

Он ответил, с хитрой осмотрительностью подбирая слова:

— Да, ты права. Я совсем измотан, да и ты тоже. Нам обоим необходимо хорошенько выспаться. Морфий — как раз то, что нам нужно. Подожди минутку, я пойду напую шприц, и мы оба уколемся.

По-прежнему вертя в руках пустой шприц, Кларендон бесшумной поступью вышел из комнаты. В бессильном отчаянии Джорджина огляделась по сторонам, напрягая слух в попытке уловить хоть какие-нибудь звуки, дающие надежду на помощь. Ей показалось, будто Маргарита снова возится в подвальной кухне, и она встала с кушетки и позвонила в колокольчик, чтобы выяснить судьбу своего послания. Старая служанка незамедлительно явилась на призыв и доложила, что оставила послание в клубе несколько часов назад. Губернатора Далтона там не было, но клубный служитель обещал вручить ему записку сразу, как только он появится.

Маргарита проковыляла обратно в подвал, а Кларендон все не возвращался. Чем он занимается? Что замышляет? Джорджина слышала, как за ним захлопнулась входная дверь, — значит сейчас он наверняка находится в клинике. Может, Альфред, при его беспорядочном состоянии ума, забыл о первоначальном своем намерении? Ожидание становилось невыносимым, и Джорджине приходилось крепко стискивать зубы, чтобы не закричать.

Звонок в передние ворота, прозвучавший одновременно в доме и в клинике, разрядил наконец нервное напряжение. Она услышала кошащую поступь Сурамы, вышедшего из клиники и зашагавшего по аллее к воротам, а потом, с почти истерическим вздохом облегчения, различила знакомый твердый голос Далтона, разговаривавшего со злобещим ассистентом. Она поднялась с кушетки и нетвердым шагом двинулась навстречу фигуре, возникшей в дверном проеме. Оба они не промолвили ни слова, пока Джеймс не поцеловал ей руку в учтивой старомодной манере, а затем Джорджина пустилась в сбивчивые объяснения, торопливо рассказывая обо всех последних событиях, о случайно подслушанных разговорах и мельком увиденных сценах, о своих страхах и подозрениях.

Далтон слушал с серьезным и понимающим видом. Первоначальное замешательство постепенно сменилось в нем изумлением, сочувствием и решимостью. Записка, оставленная небрежному служителю, несколько запоздала и застала его в самый

разгар оживленной дискуссии о Кларендоне, которая велась в комнате отдыха. Один из членов клуба, доктор Макнейл, принес медицинский журнал со статьей, написанной с расчетом вывести из душевного равновесия любого преданного своему делу ученого, и Далтон как раз попросил разрешения взять сию публикацию для внимательного ознакомления, когда ему наконец вручили записку. Отказавшись от возникшего было намерения доверительно изложить доктору Макнейлу свое мнение об Альфреде, губернатор сразу же потребовал шляпу и трость, а затем, не теряя ни минуты, взял кеб и поехал к Кларендонам.

Ему показалось, что при виде его Сурама встревожился, хотя он и посмеивался на свой обычный манер, направляясь к клинике. Впоследствии Далтон часто вспоминал походку и хихиканье ассистента в тот зловещий вечер, ибо тогда он видел сие таинственное существо в последний раз. Когда Сурама вошел в вестибюль клиники, его низкие гортанные смешки слились с глухими раскатами грома, донесшимися из-за далекого горизонта.

Когда Далтон выслушал Джорджину и узнал, что Альфред вот-вот должен вернуться со шприцем морфия, он почел за лучшее поговорить с доктором наедине. Посоветовав Джорджине удалиться в свою комнату и подождать там развития событий, он принялся расхаживать по сумрачной библиотеке, рассматривая книжные полки и прислушиваясь, не раздастся ли нервная поступь Кларендона на дорожке, ведущей от клиники. Несмотря на горевшую люстру, в углах просторного помещения сгустились тени, и чем внимательнее Далтон разглядывал книги, тем меньше нравился ему выбор друга. То была не обдуманно подобранная библиотека обычного врача, биолога или просто широко образованного человека. В этой коллекции содержалось слишком много книг на сомнительные псевдонаучные темы — сочинений, посвященных туманным абстрактным умозрениям и запретным средневековым ритуалам или странным экзотическим мистериям, написанных с использованием диковинных алфавитов, одновременно знакомых и незнакомых.

Толстый журнал наблюдений, лежавший на столе, тоже оставлял нездоровое впечатление. Почерк свидетельствовал о невротическом возбуждении, а общий смысл заметок отнюдь не вселял спокойствия в душу. Значительные куски текста были написаны неразборчивыми греческими буквами, и когда Далтон,

в попытке перевести записи, вызвал из глубин памяти свои лингвистические познания, он вдруг вздрогнул и пожалел, что недостаточно добросовестно штудировал Ксенофонта и Гомера в университетские годы. Что-то здесь было неладно, совсем неладно — и губернатор опустилсЯ в кресло у стола, все внимательнее вчитываясь в писанину доктора на вульгарном греческом. Потом совсем рядом с ним раздался шорох, и он нервно вздрогнул, когда на его плечо решительно легла чья-то ладонь.

— Какова, позвольте поинтересоваться, причина вашего вторжения? Вы могли бы сообщить о своем деле Сураме.

Кларендон с ледяным выражением лица стоял возле кресла, держа в руке маленький золотой шприц. Он казался очень спокойным и совершенно нормальным, и в первый момент Далтон подумал, что Джорджина сильно сгустила краски, описывая состояние брата. Да и может ли человек, изрядно подзабывший греческий, верно судить о содержании беглых записей, сделанных на этом языке? Губернатор решил подойти к разговору крайне осторожно и мысленно поблагодарил счастливый случай, поместивший благовидный предлог в карман его скюртука. Он держался совершенно невозмутимо и уверенно, когда поднялся на ноги и ответил:

— Я не думал, что ты сочтешь нужным посвящать в дело подчиненного, но мне показалось, что тебе следует немедленно прочитать эту статью.

Он извлек из кармана журнал, взятый у доктора Макнейла, и вручил Кларендону.

— Страница пятьсот сорок два — увидишь там заголовок «Черная лихорадка побеждена новой сывороткой». Статья написана доктором Миллером из Филадельфийского университета, и он считает, что опередил тебя с твоим препаратом. Публикация обсуждалась сегодня в клубе, и Макнейл считает приведенную там аргументацию весьма убедительной. Будучи юристом, а не медиком, я не могу судить о подобных предметах, но, во всяком случае, я решил, что тебе не следует упускать возможность ознакомиться со статьей, пока она свежая. Разумеется, если ты занят, я не буду тебя отвлекать...

Кларендон резко прервал губернатора:

— Я собираюсь сделать укол сестре — ей нездоровится, — но потом я посмотрю, что там пишет этот шарлатан. Я знаю Мил-

лера — чертов подхалим и невежда, и я сомневаюсь, что при своих жалких умственных способностях он мог украсть мою методику, воспользовавшись скудными обрывочными сведениями, почерпнутыми здесь.

Внезапно внутренний голос предупредил Далтона, что Джорджина ни в коем случае не должна получить инъекцию предназначенного для нее препарата. Было в нем что-то подозрительное. Судя по ее словам, Альфред потратил непомерно много времени на приготовление раствора — гораздо больше, чем требуется, чтобы развести таблетку морфина. Он решил по возможности дольше задержать доктора и исподволь выяснить его умонастроение.

— Очень жаль, что Джорджине нездоровится. А ты уверен, что инъекция поможет? Или хотя бы никак не повредит ей?

Кларендон судорожно дернулся, и Далтон понял, что попал в самую точку.

— Повредит? — выкрикнул доктор. — Не пори чушь! Ты знаешь, что Джорджина должна быть совершенно здорова — идеально здорова! — чтобы послужить науке, как подобает представительнице семейства Кларендон. Она, по крайней мере, понимает, сколь высокая это честь — быть моей сестрой. Ни одна жертва, принесенная ради моей работы, не кажется ей чрезмерной. Она жрица истины и научного прогресса, как я — их жрец.

Он прервал свою истерическую тираду и, слегка задышавшись, уставился на Далтона безумным взглядом. Внимание его явно переключилось на другой предмет.

— Однако дай-ка я взгляну, что там пишет этот чертов шарлатан, — продолжил доктор. — Если он думает, что может ввести в заблуждение настоящего врача своей псевдомедицинской риторикой, значит он даже глупее, чем я полагал!

Кларендон нервно пролистал журнал в поисках нужной страницы и начал читать, крепко стиснув шприц в руке. Далтон задался вопросом об истинном положении вещей. Макнейл заверял, что автор публикации является авторитетнейшим медиком и что, какие бы ошибки ни содержались в статье, за ней стоит человек талантливый, эрудированный, абсолютно честный и искренний.

Наблюдая за доктором, Далтон увидел, как побледнело его худое бородатое лицо. Большие глаза засверкали, и длинные

тонкие пальцы впились в страницы с такой силой, что те захрустели. На высоком желтоватом лбу, под линией редеющих волос, выступил пот. Спустя минуту Кларендон, задыхаясь, рухнул в кресло, недавно оставленное гостем, и продолжал жадно читать. Потом раздался дикий вопль, подобный крику затравленного зверя, и доктор повалился лицом на стол, сметая выброшенными вперед руками книги и бумаги, когда сознание его угасло, точно пламя свечи, задутое ветром.

Далтон, бросившись на помощь другу, подхватил за плечи худое тело и осторожно откинул на спинку кресла. Увидев на полу рядом с кушеткой графин, он плеснул воды в искаженное лицо и с облегчением увидел, как большие глаза медленно открылись. Теперь они не горели безумным огнем, но смотрели глубоким, печальным и совершенно ясным взором, и Далтон исполнился трепета перед лицом трагедии, постичь глубину которой не надеялся и не осмеливался.

Золотой шприц доктор по-прежнему стискивал в левой руке, и спустя несколько мгновений он с протяжным прерывистым вздохом разжал пальцы и пристально посмотрел на блестящий цилиндр, перекачавшийся на ладони. Потом Кларендон медленно заговорил — голосом, исполненным невыразимой печали и бесконечного отчаяния:

— Спасибо, Джимми, со мной все в порядке. Но мне еще многое нужно сделать. Недавно ты спросил меня, не повредит ли Джорджи этот укол морфия. Теперь я могу точно сказать, что *ей* он не повредит.

Он повернул маленький винтик на шприце и положил палец на поршень, одновременно левой рукой оттянув кожу у себя на шее. Далтон испуганно вскрикнул, когда доктор молниеносным движением правой руки впрыснул содержимое шприца в валик оттянутой кожи.

— Боже мой, Ал, что ты наделал?

Кларендон мягко улыбнулся — улыбкой покойной и смиренной, столь не похожей на сардонические ухмылки последних недель.

— Ты сам все понимаешь, Джимми, если еще не утратил мыслительных способностей, позволивших тебе стать губернатором. Надо полагать, из моих записей ты уразумел достаточно, чтобы признать, что мне ничего больше не остается. Ты не-

плохо успевал по греческому в университете, и у тебя наверняка не возникло особых трудностей с переводом. Могу сказать лишь одно: все это правда.

Джеймс, я не хочу перекладывать свою вину на чужие плечи, но справедливости ради считаю нужным сказать, что в это дело втянул меня Сурама. Я не могу объяснить тебе, кто он такой и что собой представляет, ибо сам толком не знаю, а то, что мне известно, нормальному человеку лучше не знать. Скажу лишь, что я не считаю его человеческим существом в полном смысле слова и не уверен, что он является живым организмом в нашем понимании. Ты думаешь, я несу вздор? Хотелось бы мне, чтобы так оно и было, но весь этот кошмар совершенно реален. Я начинал свой путь с чистыми помыслами и благородной целью. Я хотел избавить мир от лихорадки. Я предпринял попытку и потерпел неудачу — ах, боже мой, если бы только у меня хватило честности признать свое поражение! Не верь моей прежней болтовне о научных достижениях, Джеймс, — *я не нашел никакого антитоксина и даже близко не подошел к открытию оногo!*

Не изображай удивление, дружище! Бывалый политический боец вроде тебя наверняка навидался в жизни подобных разоблачений. Говорю тебе, я даже не приступал к работе над противолихорадочным препаратом. Но мои исследования приводили меня в разные странные края, и там, как на грех, мне довелось послушаться рассказов еще более странных людей. Джеймс, если ты желаешь добра ближнему, посоветуй ему держаться подальше от древних, потаенных областей Земли. В забытых богом уголках планеты таятся великие опасности — там из поколения в поколение передаются знания, которые не идут на пользу простым смертным. Я слишком много беседовал со старыми жрецами и мистиками и в конце концов возымел надежду достичь темными путями всего, чего не сумел достичь законными.

Не стану объяснять, что именно я имею в виду, ибо, посвятив тебя в подробности, я бы уподобился старым жрецам, погубившим меня. Скажу лишь одно: с тех пор как мне открылось тайное знание, я содрогаюсь при мысли о нашем мире и испытаниях, выпавших на его долю. Наш мир бесконечно стар, Джеймс, и он пережил не одну страницу своей истории еще до зарождения знакомых нам форм органической жизни и связанных с нею геологических эпох. Страшно подумать: целые циклы эволюции,

с живыми существами и расами, с вековым опытом, знаниями и болезнями — все это отжило свой срок и исчезло еще прежде, чем первая амеба зашевелилась во глубине тропических морей, как это описывает современная геология.

Я сказал «исчезло», но я не вполне точно выразился. Так оно было бы лучше, но дело обстоит несколько иначе. Кое-где древние традиции сохранились — не могу сказать тебе, каким образом, — и отдельные архаические жизнеформы сумели пробиться сквозь века в потаенных уголках планеты. В землях, ныне погребенных в океанской пучине, существовали богомерзкие культы, отправлявшиеся нечестивыми жрецами. Рассадником заразы была Атлантида, поистине страшная страна. Если небеса будут милосердны к нам, никто никогда не извлечет сей ужас из морских глубин.

Однако одна колония Атлантиды не затонула, и если войти в доверие к какому-нибудь туарегскому жрецу в Африке, он наверняка понараскажет тебе диких историй о ней — историй, которые перекликаются со слухами, ходящими среди сумасшедших лам и полоумных погонщиков яков на затерянных азиатских плато. Я уже вдоволь наслушался подобных рассказней и толков к тому моменту, когда мне поведали по-настоящему важную вещь. Подробностей ты никогда не узнаешь, но речь шла о некоем существе из бесконечно глубокой древности, которое может быть возвращено к жизни — или к видимости жизни — с помощью определенных приемов, о которых сам рассказчик имел смутное представление.

Так вот, Джеймс, несмотря на мое признание насчет лихорадки, ты знаешь, что я неплохой врач. Я усердно изучал медицину и стал разбираться в ней не хуже любого другого ученого — а возможно, и чуть лучше, поскольку в стране Хоггар я сделал нечто такое, чего никогда не удавалось ни одному жрецу. С завязанными глазами меня привели в одно потаенное место, куда никто не имел доступа на протяжении многих поколений, — и я вернулся оттуда с Сурамой.

Спокойно, Джеймс! Я знаю, что ты хочешь сказать. Откуда он знает все, что знает? Почему говорит на английском — да и на любом другом языке, коли на то пошло — без акцента? Почему он поехал со мной? И так далее и тому подобное. Я не могу объяснить тебе все, скажу лишь, что он воспринимает мысли,

образы и впечатления не посредством мозга и органов чувств. Он нуждался во мне и моих научных знаниях. Он многое рассказал мне и открыл передо мной новые перспективы. Он научил меня поклоняться древнейшим, изначальным нечестивым божествам и наметил передо мной путь к ужасной цели, о которой я не могу даже туманно намекнуть тебе. Не настаивай, Джеймс, — я молчу во спасение твоего рассудка и рассудка всего человечества!

Сурама обладает безграничными способностями. Он состоит в союзе со звездами и всеми силами Природы. Не думай, будто я брежу, Джеймс, — клянусь, я в своем уме! Я слишком много видел, чтобы сомневаться. Он подарил мне новые наслаждения, являвшиеся формами древнего культа, и величайшим из них стала черная лихорадка.

Господи, Джеймс! Неужели ты до сих пор ничего не понял? Неужели по-прежнему думаешь, что черная лихорадка пришла из Тибета и что я узнал о ней там? Пошевели мозгами, дружище! Взгляни еще раз на статью Миллера! Он открыл универсальный антитоксин, который покончит с лихорадкой через пятьдесят лет, когда другие ученые научатся модифицировать препарат применительно ко всем разновидностям заболевания. Он выбил почву у меня из-под ног — добился успеха в деле, которому я посвятил всю свою жизнь, — подрезал мне крылья, несшие меня по ветру науки! Удивительно ли, что его статья так потрясла меня? Удивительно ли, что повергла в шок, вернувший меня из пучины безумия к давним мечтам юности? Увы, слишком поздно! Слишком поздно! Но еще не поздно, чтобы спасти других!

Полагаю, я немного заговариваюсь сейчас, старина. Действие инъекции, знаешь ли. Я спросил, почему ты не догадался насчет черной лихорадки. Впрочем, как ты мог? Разве Миллер не пишет, что излечил семерых пациентов своей сывороткой? Все дело в диагнозе, Джеймс. Он *думает*, что это черная лихорадка. А я читаю между строк. Вот здесь, дружище, на странице пятьсот пятьдесят первой, ответ на все вопросы. Перечитай еще раз.

Вот, видишь? Лихорадочные больные с *Тихоокеанского побережья* никак не отреагировали на сыворотку. Эти случаи заболевания озадачили Миллера, они даже не походили ни на одну известную медицине разновидность лихорадки. Что ж, то *мои*

случаи! Случаи *настоящей* черной лихорадки! И на свете нет и никогда не будет антитоксина, способного исцелить сей страшный недуг!

Почему я так уверен в этом? Да потому, что *черная лихорадка имеет веземное происхождение!* Она пришла из иных миров, Джеймс, и один Сурама знает, откуда именно, поскольку это он принес ее сюда. *Он принес, а я распространил!* Вот в чем секрет, Джеймс! Вот для чего мне была нужна должность — вот чем я занимался на самом деле: *просто распространял лихорадку, вирус которой всегда носил в этом золотом шприце и еще более смертоносном маленьком резервуаре, прикрепленном к кольцу на моем указательном пальце!* Наука? Слепец! Я хотел убивать, убивать и убивать! Единственное нажатие пальца — и вирус черной лихорадки вводился в кровь. Я хотел видеть, как живые существа корчатся в диких муках и пронзительно вопят, захлебываясь пеной. Единственное нажатие на поршень — и я мог наблюдать за предсмертной агонией. Я не мог ни жить, ни мыслить без подобных зрелищ. Вот почему я колол всех подряд этой проклятой иглой: животных, преступников, детей, слуг — а следующей стала бы...

Голос Кларендона пресекался, и он разом обмяк в своем кресле.

— Такой... такой вот... жизнью я жил, Джеймс. И все по милости Сурамы — он учил, поощрял и всячески подстрекал меня, покуда я не вошел во вкус настолько, что уже не мог остановиться. Тогда... тогда это стало слишком *даже для него*. Он пытался сдерживать меня. Только вообрази — *он* пытается сдерживать человека, занимающегося подобными делами! Но теперь я получил свой последний подопытный экземпляр. Это мой последний опыт. А экземпляр хороший, Джеймс, — я здоров... дьявольски здоров. Какая злая ирония судьбы, однако: безумие миновало, а значит наблюдать за агонией будет совершенно неинтересно! Не может быть... не может...

Сильнейший лихорадочный озноб сотряс тело доктора, и оцепеневший от ужаса Далтон при этом с грустью отметил, что не испытывает никакого сострадания. Он не знал, сколько чистого бреда, а сколько кошмарной правды содержится в рассказе Альфреда, но в любом случае понимал, что этот человек скорее жертва, нежели преступник. А прежде всего он — друг юности

и брат Джорджины. Картины прошлого калейдоскопически проносились перед ним. Маленький Альф... двор элитной школы «Филипс-Эксетер»... спортивная площадка в Колумбийском университете... драка с Томом Кортлэндом, когда он спас Альфа от крепкой взбучки...

Далтон помог Кларендону дойти до кушетки и мягко спросил, чем он может помочь. Ничем. Теперь Альфред мог говорить только шепотом, но он попросил прощения за все нанесенные оскорбления и препоручил свою сестру заботам друга.

— Ты... ты сделаешь ее... счастливой, — задыхаясь, проговорил он. — Она заслуживает счастья. Мученица, жертвовавшая собой ради... мифа! Возмести ей упущенное, Джеймс. И пусть она... не узнает... больше... чем необходимо!..

Последние слова прозвучали невнятно, а потом голос доктора пресекся, и он впал в состояние ступора. Далтон позвонил в колокольчик, но Маргарита уже легла спать, поэтому он сам поднялся наверх за Джорджиной. Она твердо держалась на ногах, но была бледна. Пронзительный вопль Альфреда крайне тяжело подействовал на нее, но она полагалась на Джеймса. Положилась она на него и тогда, когда он показал ей бесчувственное тело на кушетке и попросил вернуться обратно в свою комнату и попытаться уснуть, какие бы звуки ни доносились до нее. Далтон не хотел, чтобы она присутствовала при страшном зрелище неминуемых агонических мук, но велел ей поцеловать брата на прощанье, покуда он лежит тихо и мирно, похожий на болезненного хрупкого мальчика, которым был когда-то. Таким Джорджина и оставила его — странного, помешанного, посвященного в тайны звезд гения, которого она так долго окружала материнской заботой, — и унесла с собой образ, в высшей степени благостный.

Далтон же унесет с собой в могилу куда более тяжелое воспоминание. Его опасения насчет предсмертной агонии подтвердились, и на протяжении всей ночи он напрягал свои недюжинные физические силы, дабы удерживать на месте безумного страдальца, бившегося в жестоких конвульсиях. Ужасных речей, что срывались с тех распухших, почерневших губ, он никогда никому не повторит. После той ночи он стал другим человеком, и он точно знает: никто на свете, услышав подобные вещи, не может остаться прежним. Посему, ради блага всего челове-

ства, губернатор хранит молчание и благодарит Бога за то, что в силу своей неосведомленности в ряде предметов он не понял смысла многих откровений умирающего.

Ближе к утру Кларендон неожиданно пришел в сознание и заговорил твердым голосом:

— Джеймс, я не сказал тебе, как нужно поступить со всем моим наследием. Вымарай все записи за греческом и отошли журнал наблюдений доктору Миллеру. А также все прочие мои заметки, хранящиеся в папках. Сегодня он один из крупнейших специалистов — это доказывает его статья. Твой друг в клубе был прав. Но все, что находится в клинике, надлежит уничтожить. *Все без исключения, живое или мертвое.* Все моровые язвы ада заключены в пузырьках, стоящих там на полках. Сожги их, сожги все до единого. Если хоть один пузырек уцелеет, Сурама распространит черную смерть по миру. *А самое главное — сожги Сураму!* Это... *существо* не должно дышать благотворным воздухом небес. Теперь ты знаешь... я объяснил тебе, почему такому монстру нельзя оставаться на земле. Это не будет убийством — Сурама не человек, — и если ты не утратил прежней своей богобоязненности, мне не придется тебя уговаривать. Вспомни древние строки: «Ворожеи не оставляй в живых», или что-то в таком роде. *Сожги его, Джеймс!* Не допусти, чтобы он снова мерзко хихикал при виде мук брэнной плоти! Повторяю: сожги его! Огненная Немезида — вот единственная сила, способная одолеть Сураму, Джеймс, если только ты не застанешь его спящим и не вонзишь кол ему в сердце... *Убей его, уничтожь, очисти благонравный мир от первородного порока — порока, пробужденного мною от векового сна...*

Доктор приподнялся на локте и последние слова прокричал пронзительным голосом. Усилие, однако, оказалось чрезмерным, и он внезапно впал в глубокое, спокойное забытие. Далтон, который не боялся лихорадки, зная о незаразности ужасного вируса, поудобнее уложил Альфреда на кушетке и накрыл худое тело тонким шерстяным пледом. В конце концов, может, все эти ужасные речи — суть горячечный бред и фантазии помраченного рассудка? Может, старине Макнейлу все-таки удастся вылечить Кларендона? Отчаянно борясь со сном, губернатор скорым шагом расхаживал взад-вперед по комнате, но чрезмерная усталость все же взяла свое. На минутку присев отдохнуть в кресло

у стола, он потерял контроль над собой и вскоре уже крепко спал, вопреки своим лучшим намерениям.

Далтон вздрогнул и проснулся, когда в глаза ударил резкий свет. В первый момент он решил, что взошло солнце. Но, потерев тяжелые веки, губернатор увидел, что то пылает дощатая клиника во дворе, обратившись в ревущий, гудящий костер невиданных размеров, вздымающий огненные языки к самым небесам. Воистину то была «Огненная Немезида», о которой говорил Кларендон, и Далтон понял, что дело здесь не обошлось без неких странных горючих веществ, ибо обычные сосна или красное дерево не дали бы столь яростного пламени. Он в тревоге взглянул на кушетку и обнаружил, что Альфреда там нет. Вскочив с кресла, он побежал позвать Джорджину, но встретился с ней в холле — она тоже проснулась от ослепительного света грандиозного костра.

— Клиника горит! — выкрикнула она. — Как там Ал?

— Он исчез — исчез, пока я спал! — ответил Далтон, поспешно протягивая руку, чтобы поддержать пошатнувшуюся женщину.

Провожая Джорджину наверх к спальне, он пообещал немедленно отправиться на поиски Альфреда, но она медленно покачала головой, глядя на причудливые отсветы пожара, падавшие через окно на лестничную площадку.

— Должно быть, он уже мертв, Джеймс. Он не смог бы жить и сохранять здравый рассудок, зная о страшных деяниях своих рук. Я слышала, как он ссорился с Сурамой, и знаю, что здесь творились ужасные вещи. Ал — мой брат, но... так оно лучше.

Голос ее упал до шепота.

Внезапно через открытое окно донеслось мерзкое утробное хихиканье, и взвивавшиеся к небу языки пламени приняли новые очертания, постепенно обратившись в подобия неких безымянных исполинских чудовищ из кошмарных снов. Джеймс и Джорджина нерешительно остановились на лестничной площадке и выглянули в окно, затаив дыхание. В следующий миг грянул оглушительный раскат грома, и разветвленная молния ударила с ужасной точностью в самую середину пылающей руины. Хихиканье прекратилось, и раздался дикий завывающий вопль, словно тысячи вампиров и оборотней истошно закричали в невыносимых муках. Когда долгое многократное эхо стихло, языки пламени медленно обрели обычные очертания.

Джеймс и Джорджина не двинулись с места, но дождались, когда столб огня опал и померк. Они были рады, что пожарная команда сонного полудеревенского района не выехала вовремя и что высокая стена скрыла происходящее от любопытных взоров. Простому обывателю не следовало знать эту историю — слишком много вселенских тайн крылось в ней.

В бледном свете зари Джеймс тихо сказал Джорджине, которая горько плакала, припав головой к его груди:

— Любимая, я думаю, Альфред искупил свою вину. Видимо, он устроил пожар, пока я спал. Он сказал, что клинику непременно надо сжечь вместе со всем содержимым, включая Сураму. Это был единственный способ спасти мир от неведомых ужасов, которые он напустил на него. Твой брат сделал как лучше. Он был великим человеком, Джорджи. Давай не будем забывать об этом. Мы должны гордиться Альфредом, ибо изначально он ставил своей целью помочь человечеству и даже в своих грехах оставался титанической личностью. Когда-нибудь я расскажу тебе больше. То, что он сделал, — добро это или зло, — до него не делал никто на свете. Он первый и последний, кто проник за покровы неких тайн, превзойдя в этом даже Аполлония Тианского. Но мы должны хранить молчание. Пусть он останется в нашей памяти маленьким Альфом, милым нашему сердцу, — мальчиком, желавшим изучить медицину и победить лихорадку.

После полудня нерасторопные пожарные обыскали руины и нашли два скелета с жалкими остатками обгорелой плоти на костях — только два, ибо тела всех прочих живых существ уже покоились в ямах с негашеной известью. Один скелет принадлежал человеку, а насчет второго до сих пор спорят биологи Западного побережья. Во многом похожий на скелет древнего примата или ископаемого ящера, он вызывал тревожные предположения о ветвях эволюции, неизвестных современной палеонтологии. Обугленный череп, как ни странно, ничем не отличался от человеческого и наводил на мысль о Сураме, но остальные кости поставили ученых в тупик. Только в очень ловко скроенной одежде такое тело могло бы походить на человеческое.

Но первый скелет явно принадлежал Кларендону. Никто в этом не сомневался, и мир по-прежнему скорбит о безвременной смерти величайшего врача своей эпохи — бактериолога, чья

универсальная противохорадоочная сыворотка намного превзошла бы по эффективности родственный антитоксин доктора Миллера, когда бы он получил возможность довести препарат до совершенства. Своими последующими успехами Миллер в значительной степени обязан записям, завещанным ему злополучной жертвой пожара. От былых соперничества и ненависти почти не осталось следа, и даже доктор Уилфред Джонс ныне похвывается своим знакомством с покойным светилом науки.

Джеймс Далтон и его жена Джорджина всегда хранили молчание, которое вполне можно объяснить скромностью и семейным горем. Они опубликовали несколько заметок в память великого человека, но никогда не подтверждали и не опровергали ни общепринятого мнения, ни редких намеков на некие необыкновенные обстоятельства, делавшихся отдельными проницательными особами. Факты просачивались наружу очень незаметно и медленно. Вероятно, Далтон рассказал что-то лишнее доктору Макнейлу, а у этой доброй души не было секретов от сына.

Далтоны живут в целом очень счастливо, ибо все ужасы остались далеко позади, а глубокая взаимная любовь позволила им сохранить свежесть мировосприятия. Но некоторые вещи странным образом выводят обоих из душевного равновесия — несущественные мелочи, ничего не значащие для любого другого. Они на дух не выносят людей слишком худых или с очень низким голосом, и Джорджина бледнеет всякий раз, когда слышит чей-нибудь гортанный смешок. Сенатор Далтон испытывает страх перед оккультизмом, дальними путешествиями, подкожными инъекциями и знаками незнакомых алфавитов (в каковом перечне трудно найти общий знаменатель), и многие по-прежнему обвиняют его в том, что он безжалостно уничтожил значительную часть библиотеки доктора, не пожалев усилий на просмотр и отсортировку многочисленных томов.

Хотя Макнейл, похоже, понял Далтона. Человек прямой и бесхитростный, он прочитал благодарственную молитву, когда последняя из странных книг Альфреда Кларендона обратилась в пепел. И всякий, кому довелось бы заглянуть понимающим взором в любую из упомянутых книг, присоединился бы к каждому слову сей молитвы.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАЛАЧ

(с Адольфом де Кастро)

Для человека, которому никогда не грозила смертная казнь, я испытываю довольно странный ужас перед электрическим стулом. Любые упоминания о нем пугают меня, пожалуй, сильнее, чем многих людей, когда-либо реально рисковавших получить смертный приговор по решению суда. Дело в том, что электрический стул ассоциируется у меня с одним происшествием сорокалетней давности — весьма диковинным происшествием, приведшим меня к самому краю черной бездны неведомого.

В 1889 году я занимал должность ревизора и следователя в сан-францисской горнодобывающей компании «Тласкала», которая разрабатывала несколько небольших серебряных и медных месторождений в горах Сан-Матео в Мексике. На руднике № 3, где помощником управляющего служил угрюмый скользкий тип по имени Артур Фелдон, возникли серьезные проблемы: 6 августа в головную контору фирмы пришла телеграмма с сообщением, что Фелдон скрылся в неизвестном направлении, прихватив с собой все бухгалтерские книги, ценные бумаги, прочие служебные документы и оставив канцелярские и финансовые дела в полном беспорядке.

Это событие стало тяжелым ударом для компании, и ближе к вечеру президент Маккомб вызвал меня в свой кабинет и поручил мне вернуть бумаги любой ценой. Задача, он знал, осложнялась двумя обстоятельствами. Во-первых, я никогда не видел Фелдона и мог судить о его внешности лишь по нескольким весьма нечетким фотографиям. Во-вторых, на следующей неделе в четверг — всего через девять дней — должна была состояться моя свадьба, и потому я, разумеется, не горел желанием спешно

отправляться в Мексику на розыски преступника, которые могли затянуться на неопределенное время. Однако необходимость в срочных действиях была столь велика, что Маккомб посчитал себя вправе просить меня об этом, а я, со своей стороны, решил, что ради будущей карьеры в компании имеет смысл согласиться без всяких возражений.

Я должен был выехать в тот же вечер, в личном вагоне президента, а в Мехико пересестъ на поезд узкоколейки, идущий до приисков. По моем прибытии Джексон, управляющий рудником № 3, сообщит мне все подробности и предоставит все возможные зацепки, а затем уже начнутся серьезные поиски — в горах, на побережье или в глухих закоулках Мехико, в зависимости от обстоятельств. Я отправлялся в путь с мрачной решимостью справиться с делом — причем самым успешным образом — по возможности быстрее и умерял свое недовольство, рисуя в воображении картины скорого возвращения с документами и преступником, а равно своей свадьбы, которая обернется подобием триумфальной церемонии.

Уведомив своих родных, невесту и самых близких друзей и наспех собравшись в дорогу, я встретился с президентом Маккомбом в восемь часов вечера на станции Сазерн-Пасифик, получил от него письменные инструкции с чековой книжкой и отбыл в его личном вагоне, прицепленном к трансконтинентальному экспрессу восточного направления, отходившему в 8.15. Путешествие не предвещало ничего необычного; хорошо выспавшись ночью, я наслаждался комфортом частного вагона, столь заботливо мне выделенного, на досуге внимательно читая инструкции и продумывая планы поимки Фелдона и возвращения документов. Я неплохо знал штат Тласкала — вероятно, гораздо лучше, чем сбежавший помощник управляющего, — а потому имел известное преимущество над ним, если только он еще не успел воспользоваться железной дорогой.

Согласно предоставленным мне сведениям, Фелдон уже давно вызывал беспокойство у управляющего Джексона своей скрытностью и, в частности, странным обыкновением проводить все свободное время в лаборатории компании. Существовали серьезные подозрения, что он вместе со штейгером-мексиканцем и несколькими местными рабочими замешан в хищении

ях руды. Но хотя заподозренных в кражах мексиканцев уволили, применить решительные меры к изворотливому начальнику оказалось невозможным за недостатком улик. Несмотря на свою подмоченную репутацию, он ходил с видом скорее вызывающим, нежели виноватым, явно нарывался на конфликт и держался так, словно это компания обманывает его, а не он — компанию. Похоже, неприкрытая слежка сослуживцев, писал Джексон, с течением времени все сильнее раздражала Фелдона, и вот теперь он сбежал со всеми важными конторскими документами. Никаких предположений насчет нынешнего его местонахождения не напрашивалось, хотя последняя телеграмма Джексона наводила на мысль о пустынных склонах Сьерра-де-Малинче — овечьего легендами высокого пика, похожего очертаниями на одетого в саван мертвеца, — ибо, по слухам, его сообщники-мексиканцы были родом из тех мест.

В Эль-Пасо, куда мы прибыли в два часа следующей ночи, мой вагон отцепили от трансконтинентального экспресса и прицепили к локомотиву, специально заказанному по телеграфу, чтобы доставить меня в Мехико. Я продремал до рассвета и весь следующий день со все возрастающей скукой созерцал однообразные пейзажи пустыни Чихуахуа. Поначалу машинисты обещали прибыть к месту назначения в пятницу в полдень, но вскоре стало ясно, что из-за бесконечных задержек в пути мы теряем драгоценные часы. Мы часто стояли в «карманах» одноколейки, пропуская встречные поезда, а из-за регулярных перегревов буксы и иных технических проблем отставание от графика неуклонно увеличивалось.

В Торреон мы прибыли с опозданием на шесть часов, и только к восьми вечера пятницы — когда мы отставали от графика уже на двенадцать часов, самое малое, — машинисты согласились прибавить скорость в попытке наверстать время. Нервы у меня были на пределе, но я мог лишь в отчаянии расхаживать взад-вперед по вагону. В конце концов я понял, что ускорение хода далось дорогой ценой: через полчаса появились признаки перегрева буксы моего собственного вагона, а посему, после сводящей с ума задержки, машинисты решили доползти черепашным шагом до ближайшей станции с ремонтными депо — фабричного городка Кверетаро — и там перебрать все подшипники. Это

стало последней каплей, и я чуть не затопал ногами, как капризный ребенок. Иногда я ловил себя на том, что нетерпеливо дергаю за ручки кресла, словно подгоняя поезд.

Мы добрались до Кверетаро только к десяти вечера, и я в крайнем раздражении проторчал целый час на платформе, пока дюжина местных механиков пыталась подремонтировать мой вагон на боковом пути. Наконец они сообщили, что работа им не по плечу, поскольку в передней колесной паре необходимо заменить несколько деталей, которых нигде ближе Мехико не достать. Казалось, все складывалось против меня, и я заскрипел зубами при мысли, что Фелдон уходит все дальше и дальше — двигаясь, вероятно, к спасительному Веракрусу с его огромным пассажирским портом или к Мехико с его железными дорогами самых разных направлений, — тогда как я из-за бесконечных задержек в пути лишен свободы действий и совершенно беспомощен. Разумеется, Джексон известил полицию во всех окрестных городах, но я с горечью понимал, что особо рассчитывать на нее не приходится.

Вскоре я выяснил, что в данной ситуации для меня лучше всего сесть на обычный ночной экспресс до Мехико, который идет из Агуаскалиентеса и делает пятиминутную остановку в Кверетаро. Он придет сюда в час ночи (если не отстанет от графика) и прибудет в Мехико в пять утра. Покупая билет, я узнал, что поезд состоит не из длинных американских вагонов с рядами двухместных сидений, а из европейских купейных. Они широко использовались на заре развития железнодорожного транспорта в Мексике, поскольку тогда здесь были сосредоточены интересы европейской строительной промышленности, и в 1889 году по Мексиканской центральной железной дороге все еще ходило довольно много таких составов. Обычно я предпочитаю американские вагоны, ибо страшно не люблю, когда напротив меня кто-нибудь сидит, но на сей раз я обрадовался, что вагоны иностранные. В ночное время купе вполне могло оказаться пустым, а я в своем усталом, болезненно раздраженном состоянии остро нуждался в одиночестве — и в удобном диванчике с мягкими подлокотниками и подголовной подушкой. Я купил билет первого класса, забрал свой саквояж из стоявшего на боковом пути частного вагона, телеграфировал о случившемся

президенту Маккомбу и Джексону, а затем расположился в здании станции, чтобы дожидаться ночного экспресса настолько спокойно, насколько мне позволяли взвинченные нервы.

Как ни странно, поезд опоздал всего на полчаса, но все равно одинокое бдение на станции стало жестоким испытанием моего терпения. Кондуктор, проводивший меня в купе, сказал, что они рассчитывают наверстать отставание от графика и прибыть в столицу вовремя. Я удобно разместился на сиденье лицом по ходу движения и настроился на спокойное путешествие в течение следующих трех с половиной часов. Тусклый свет масляной лампы над головой действовал на меня умиротворяюще, и я понадеялся, что мне удастся урвать несколько часов сна, несмотря на тревогу и нервное напряжение. Когда поезд тронулся, я не обнаружил в купе других пассажиров и премного этому обрадовался. Я обратился мыслями к предстоящим поискам и вскоре задремал, мерно покачивая головой в такт учащавшемуся перестуку колес.

Потом я вдруг осознал, что все-таки я в купе не один. В углу наискосок от меня, ссутулившись и низко опустив голову, сидел неопрятно одетый мужчина внушительной комплекции, которого прежде я не заметил по причине слабого освещения. Рядом с ним на сиденье стоял огромный саквояж, потрепанный и раздутый, и даже во сне пассажир крепко придерживал его несоразмерно тонкой рукой. Когда на каком-то повороте или переезде паровоз пронзительно свистнул, мужчина нервно вздрогнул и наполовину пробудился, вскинув голову и явив моему взору привлекательное бородатое лицо явно англосаксонского типа, с темными блестящими глазами. При виде меня он проснулся окончательно, и я подивился враждебному огню, полыхнувшему в его взгляде. Несомненно, подумал я, он надеялся всю дорогу просидеть в одиночестве и теперь раздражен моим присутствием — ведь и я сам испытал разочарование, обнаружив попутчика в полуосвещенном купе. Однако лучше всего для нас обоих было смириться с ситуацией, и я принялся извиняться за свое вторжение. Похоже, он тоже был американцем, и мы оба почувствовали бы себя более непринужденно, коротко обменявшись любезностями и потом оставив друг друга в покое до конца путешествия.

К моему удивлению, незнакомец не промолвил ни слова в ответ на мои извинения. Он продолжал смотреть на меня яростно и как будто оценивающе, а от сигары, в легком замешательстве предложенной мной, отказался нервным жестом свободной руки. Другой рукой он по-прежнему стискивал ручку своего огромного потрепанного саквояжа, и весь его облик дышал смутной враждебностью. Спустя несколько мгновений он резко отвернул лицо к окну, хотя снаружи царил непроглядная тьма. Но он, странное дело, смотрел таким напряженным взглядом, словно действительно видел там что-то. Я решил оставить попутчика в покое и более ничем не докучать ему, а потому откинулся на спинку сиденья, надвинул пониже свою мягкую шляпу и закрыл глаза в попытке урвать часок-другой сна, как и рассчитывал изначально.

Я еще не успел толком заснуть, когда глаза мои вдруг открылись, словно под воздействием некоей внешней силы. Решительно сомкнув веки, я снова попытался погрузиться в дрему, но безуспешно. Что-то — непонятно что — мешало заснуть, а потому я поднял голову и окинул взглядом полутемное купе, проверяя, все ли в порядке. Я не обнаружил ничего особенного, но заметил, что незнакомец в противоположном углу смотрит на меня очень пристально — пристально, но без малейшего намека на добродушие или дружелюбие, которые свидетельствовали бы о перемене прежнего сердитого настроения к лучшему. На сей раз я не предпринял попытки завязать беседу, но вновь откинулся на спинку сиденья и наполовину прикрыл глаза, якобы опять задремав, но в действительности продолжая с любопытством наблюдать за своим соседом из-под опущенных полей шляпы.

Поезд с грохотом мчался сквозь ночь, и я увидел, как постепенно, почти незаметно меняется выражение лица моего попутчика. Убедившись, видимо, что я сплю, он дал выход странной смеси эмоций, характер которых отнюдь не привнес покоя в мою душу. Ненависть, страх, торжество и фанатизм читались в жесткой складке рта и прищуре глаз, а в пристальном взгляде проступили по-настоящему встревожившие меня кровожадность и жестокость. Внезапно я понял, что этот человек сумасшедший, причем опасный.

Не стану притворяться, будто я не испугался до смерти, осознав положение вещей. Меня прошиб холодный пот, и мне стои-

ло больших трудов сохранить расслабленную позу, свойственную спящим. Как раз в то время жизнь казалась мне особо притягательной, и мысль о возможной схватке с маньяком-убийцей — скорее всего, вооруженным и, без сомнения, невероятно сильным — привела меня в смятение и ужас. Он имел огромное преимущество надо мной, поскольку был настоящим великаном и явно находился в превосходной форме, между тем как я вообще не отличался особой физической силой, а тогда, вдобавок ко всему, был до крайности изнурен тревогой, недосыпом и нервным перенапряжением. То был, безусловно, один из самых неприятных моментов моей жизни, и я ощутил близость страшной смерти, когда распознал ярость безумия в глазах незнакомца. Картины прошлого замелькали перед моим умственным взором — говорят, так перед утопающим в последнюю секунду проносится вся его жизнь.

Разумеется, в кармане моего сюртука лежал револьвер, но любая попытка достать его мгновенно привлечет внимание моего попутчика. Если я все же успею это сделать, еще неизвестно, как револьвер подействует на маньяка. Даже если я выстрелю в него пару раз, возможно, у него достанет сил, чтобы отнять у меня оружие и разделаться со мной по-свойски. А если он сам вооружен, то может застрелить или зарезать меня, и не попытаюсь разоружить. Нормального человека легко испугать, направив на него пистолет, но безумец в полном своем безразличии к последствиям зачастую демонстрирует поистине сверхчеловеческую силу и представляет смертельную угрозу. Даже тогда, в дофрейдовскую эпоху, я хорошо понимал, сколь опасен человек, у которого ослаблена деятельность центров самоконтроля. Горящие глаза и нервно дергающееся лицо незнакомца не позволяли мне ни на минуту усомниться в том, что он действительно намерен совершить какое-то кровавое деяние.

Он вдруг задышал часто и прерывисто, и я увидел, как грудь у него ходит ходуном от нарастающего возбуждения. Критический момент близился, и я лихорадочно пытался сообразить, как лучше поступить. По-прежнему притворяясь спящим, я начал постепенно, очень медленно пододвигать правую руку к карману с револьвером, внимательно следя за безумцем, не заметит ли он это движение. К несчастью, он заметил — за сотую долю

секунды до того, как реакция на происходящее отразилась на его лице. С неожиданными для человека столь могучей комплекции проворством и ловкостью он прыгнул вперед, прежде чем я успел понять, в чем дело, и навис надо мной, точно сказочный великан-людоед, одной сильной рукой придавив меня к спинке сиденья, а другой помешав мне достать оружие. Он вытащил револьвер из моего кармана и переложил в свой, а потом пренебрежительно отпустил меня, прекрасно понимая, что благодаря своим физическим данным имеет полную власть надо мной. Потом мужчина выпрямился во весь рост, едва не задев макушкой потолок, и уставился на меня яростным взглядом, который, впрочем, уже через несколько мгновений приобрел жалостливо-презрительное и одновременно оценивающее выражение.

Я не шевелился, и незнакомец вновь уселся напротив меня. Жутковато улыбаясь, он открыл свой огромный, раздутый саквояж и извлек оттуда диковинного вида предмет — немалых размеров округлую клетку из полужесткой проволоки, сплетенную наподобие маски бейсбольного вратаря, но по форме больше напоминающую водолазный шлем. К верхушке сей проволоочной конструкции был присоединен шнур, другой конец которого оставался в саквояже. Мужчина бережно поставил диковинную клетку себе на колени и нежно погладил, а потом опять взглянул на меня и почти по-кошачьи облизнул губы. Затем он, впервые за все время, заговорил — сочным низким голосом с мягкими изысканными интонациями, совершенно не вязавшимися с его дурно скроенным вельветовым костюмом и неряшливым видом.

— Вам очень повезло, сэр. Вы станете первым. Вы войдете в историю как первый человек, доказавший эффективность уникального изобретения. Огромные социальные последствия... свет моего гения воссияет. Я излучаю свет постоянно, но никто этого не знает. Теперь узнаете вы, наделенный разумом подопытный кролик. Кошки и ослы — да, даже в случае с ослами оно срабатывало...

Незнакомец умолк, его бородатое лицо судорожно задергалось, и почти одновременно он энергично замотал головой. Кажется, будто таким образом он разогнал некое туманное скопление перед глазами, ибо секунду спустя лицо его прояснилось

и самые явные признаки безумия скрылись за спокойно-учтивым выражением, в котором лишь слабо сквозило коварство. Я тотчас заметил перемену и поспешно заговорил, пытаясь выяснить, нельзя ли направить мысли своего визави в более безопасное русло:

— Насколько я могу судить, ваш прибор поистине замечателен. Не будете ли вы любезны рассказать, как вам удалось его изобрести?

Мужчина кивнул:

— Простое логическое рассуждение, дорогой сэр. Я учитывал потребности современной эпохи и действовал сообразно с ними. Другие могли бы сделать то же самое, обладай они умом столь же могучим, то есть способным на длительную концентрацию. У меня была убежденность, сила воли — вот и все. Я понял, как никто другой, насколько необходимо очистить землю от людей до возвращения Кетцалькоатля, и понял, что это надо делать изящно. Любого рода кровавые бойни мне отвратительны, а метод повешения по-варварски груб. Как вам известно, в прошлом году Законодательное собрание Нью-Йорка проголосовало за введение казни электрическим током для осужденных — но все аппараты, которые они рассматривают, столь же примитивны, как «Ракета» Стефенсона или первый электродвигатель Девенпорта. Мой способ гораздо лучше, о чем я и сказал им, но они проигнорировали меня. Боже, вот дураки-то! Как будто я не знаю всего, что только можно знать о людях, смерти и электричестве, — я, ученый, мужчина и юноша... технолог и инженер... солдат удачи...

Он откинулся назад и сузил глаза.

— Двадцать с лишним лет назад я служил в армии Максимилиана. Мне собирались даровать дворянский титул, но тут эти чертовы латиносы убили его, и мне пришлось уехать домой. Позднее я вернулся туда — я постоянно езжу туда-сюда, туда-сюда. А живу я в Рочестере, штат Нью-Йорк...

Глаза у него вдруг стали очень хитрыми, и он подался вперед, легко коснувшись моего колена на удивление изящной рукой.

— Я вернулся, говорю вам, и зашел гораздо дальше, чем любой из них. Я ненавижу латиносов, но люблю мексиканцев. По вашему, парадокс? Послушайте, молодой человек, вы же не счи-

таете Мексику испанской страной, правда? Господи, если бы вы только знали племена, известные мне! В горах... далеко в горах... Анауак... Теночтитлан... Великие Древние...

Он перешел на напевный и довольно мелодичный речитатив с подвыванием:

— Йа! Уицилопочтли!.. Науатлакатль! Семь, семь, семь... Шочимилька, чальча, тепанеки, акольхуа, тлауика, тлашкальтеки, ацтеки!.. Йа! Йа! Я был в Семи Пещерах Чикомоцтока, но никто никогда этого не узнает! Я говорю вам потому лишь, что *вы уже никому ничего не расскажете...*

Он понизил голос и продолжил обычным тоном:

— Вы бы премного удивились, узнав, о чем толкуют в горах. Уицилопочтли возвращается... в этом уже нет никаких сомнений. Любой пеон к югу от Мехико скажет вам это. Но я не собирался ничего предпринимать в этой связи. Я возвращался домой, снова и снова, и уже приготовился осчастливить общество своим электрическим палачом, когда чертовы законодатели в Олбани проголосовали за другой способ. Смеху подобно, сэр, просто смеху подобно! Дедушкино кресло... посиделки у камина... Готорн...

Мужчина захихикал, видом своим являя отвратительную пародию на добродушие.

— Знаете, сэр, мне хотелось бы стать первым, кто сядет в их поганое кресло и даст пропустить через свое тело слабенький ток от дрянного аккумулятора! Да от него даже лягушка не дрыгнет лапкой! А они собираются казнить на нем убийц... вот заслуженная награда... за все! Но потом, молодой человек, я понял, сколь бесполезно, сколь бессмысленно и нелогично уничтожать одних только осужденных. Все люди — убийцы... они убивают идеи, крадут изобретения... украли мое, благодаря непрестанной слежке, слежке, слежке...

Он задохнулся и умолк, а я заговорил успокоительным тоном:

— Уверен, ваше изобретение гораздо лучше, и наверняка именно оно и будет использоваться в конечном счете.

Очевидно, я проявил недостаточно такта, ибо в голосе незнакомца вновь послышалось раздражение.

— Ах, вы уверены? Стандартная вежливая формула! Да на самом деле вам плевать! *Но скоро вы узнаете!* Черт побери, да

ведь все хорошее, что есть в дурацком электрическом стуле, украдено у меня! Дух Нецауальпилли сказал мне это на священной горе. Они следили за мной, следили, следили...

Он снова задохнулся, а потом нервно затряс головой и судорожно заgrimасничал. Казалось, это на время успокаивало его.

— Мое изобретение надобно испытать. Вот оно — перед вами. Проволочный шлем, или наголовная сетка, весьма эластичен и легко надевается. Шейный ремешок затягивается, но не душит. Электроды касаются лба и черепа в области основания мозжечка — этого вполне достаточно. Выведите из строя голову — и какие другие органы смогут функционировать? Эти болваны в Олбани со своим резным дубовым креслом считают, что человека нужно прошибать током с головы до пят. Идиоты! Или они не знают, что стрелять в грудь нет необходимости, коли мозги уже выбиты? Я видел смерть солдат на поле боя — мне лучше знать. И потом эта дурацкая мощная электроцепь, генераторы и все такое прочее. Почему они не пожелали посмотреть, чего я достиг с помощью одного лишь аккумулятора? Никто меня не выслушал... никто не знает... я один владею секретом — вот почему я, Кетцалькоатль и Уицилопочтли будем одни править миром. Я и они — коли я им позволю, разумеется... Но мне нужны подопытные экземпляры... экземпляры... *И знаете, кого я выбрал первым?*

Я попробовал перевести беседу в шутовское русло, мгновенно взяв дружески-серьезный тон, призванный подействовать успокаивающе:

— Среди политиков Сан-Франциско, откуда я родом, найдется немало отличных экземпляров! Они остро нуждаются в вашем лечении, и я бы с удовольствием посодействовал внедрению вашего метода. Но если серьезно, мне думается, я и вправду могу помочь вам. Я имею некоторое влияние в Сакраменто, и, коли вы вернетесь со мной в Штаты, когда я закончу свои дела в Мексике, я позабочусь о том, чтобы вас выслушали.

Незнакомец ответил спокойно и любезно:

— Нет, я не могу вернуться. Я поклялся никогда не возвращаться туда после того, как эти преступные негодяи в Олбани отвергли мое изобретение и приставили шпионов следить за мной и обкрадывать меня. Но для экспериментов мне нужны

американцы. Чертовы латиносы прокляты богами, а потому слишком слабы и уязвимы. Чистокровные же индейцы — истинные сыны Пернатого змея — священны и неприкосновенны, за исключением немногих, предназначенных для ритуальных жертвоприношений... но даже этих немногих должно умерщвлять сообразно с требованиями обряда. Мне надо найти американцев, не возвращаясь в Америку, — и первый человек, выбранный мной, удостоится особо высокой чести. Вы знаете, кто он?

Я отчаянно тянул время.

— О, если дело только в этом, я в два счета найду вам дюжину превосходных экземпляров, когда мы доберемся до Мехико! Я знаю места, где полно ничтожных горнорабочих-янки, которых долго никто не хватится...

Но он прервал меня неожиданно властным тоном, исполненным подлинного достоинства:

— Довольно — мы уже потратили уйму времени на пустую болтовню. Встаньте и выпрямитесь, как подобает мужчине. Вы и есть экземпляр, выбранный мной, и в ином мире вы возблагодарите меня за оказанную вам честь, как жертва ритуального заклания благодарит жреца, вознесшего ее к вечной славе. Совершенно новый принцип — никто на свете даже не помышлял о таком аккумуляторе, и, возможно, человечество не сумело бы изобрести ничего подобного и за тысячу лет экспериментаторской деятельности. Вы знаете, что в действительности атомы совсем не такие, какими кажутся? Жалкие идиоты! И через сто лет какой-нибудь болван еще будет гадать, не следовало ли мне оставить человечество в живых!

Когда я встал, подчиняясь приказу, незнакомец вытянул из саквояжа еще несколько футов шнура и с выражением неподдельного восторга на загорелом бородатом лице подступил ко мне, обеими руками поднимая над моей головой проволоочный шлем. В тот момент он походил на вдохновенного эллинского мистагога или иерофанта.

— Вот, о юноша, божественный эликсир! Вино космоса... нектар звездных бездн... Лин... Иакх... Иалмен... Загрей... Дионис... Атис... Гилас... отпрыск Аполлона, растерзанный аргосскими псами... сын Псамафы... дитя солнца! Эвоэ! Эвоэ!

Он снова говорил напевным речитативом и на сей раз, похоже, мысленно перенесся в античную эпоху, которую изучал в уни-

верситетские годы. Я заметил, что электрический провод болтается у меня над самой головой, и попытался прикинуть, удастся ли мне дотянуться до него, для отвода глаз сделав какой-нибудь жест, сообразный с ритуальным настроением безумца. Попробовать стоило, и потому я с антифональным возгласом «Эвоэ!» воздел руки в торжественной обрядовой манере, надеясь незаметно дернуть за шнур. Но ничего не вышло. Мужчина разгадал мое намерение и живо поднес правую руку к карману, где лежал мой револьвер. В словах нужды не было, и несколько мгновений мы стояли неподвижно, точно каменные изваяния. Потом он негромко промолвил: «Поторопитесь!»

И вновь я отчаянно напряг ум в поисках пути к спасению. Двери в мексиканских поездах, как я знал, не запирались, но мой попутчик легко опередил бы меня, попытайся я отомкнуть щеколду и выпрыгнуть. Кроме того, мы неслись с такой скоростью, что, если бы попытка увенчалась успехом, участь моя наверняка оказалась бы столь же прискорбной, как и в случае неудачи. Оставалось одно — тянуть время. Значительная часть из трех с половиной часов уже осталась позади, а тотчас по прибытии в Мехико кондукторы и вокзальная полиция обеспечат мою безопасность.

У меня в запасе есть два разных варианта дипломатических проволочек и уверток, подумал я. Если мне удастся отсрочить минуту, когда придется надеть шлем, я выиграю время. Конечно, я не верил в смертоносность дурацкой штуковины, но я достаточно много знал о сумасшедших, чтобы понимать, что произойдет, когда она не сработает. К его разочарованию добавится параноидальная уверенность в моей ответственности за неуспех опыта, а результатом станет кровавая вспышка ярости. Значит, с экспериментом нужно тянуть по возможности дольше. Однако существовал и другой вариант: если хорошенько пораскинуть мозгами, возможно, мне удастся придумать убедительное объяснение неудаче, которое отвлечет внимание маньяка и побудит к более или менее продолжительному поиску способов устранения недочетов. Я гадал, насколько он доверчив и могу ли я заранее предсказать неуспех, дабы в случае одного предстать пророком, или посвященным, или даже божеством. В прошлом я нахватался достаточно знаний по мексиканской мифологии,

чтобы подобная попытка имела смысл, хотя сначала я собирался потянуть время другими способами, а пророчество изречь в последний момент, как внезапное откровение. Поощрит ли он меня в конце концов, если мне удастся убедить его, что я пророк или божество? Смогу ли я сойти за Кетцалькоатля или Уицилопочтли? Все, что угодно, лишь бы дотянуть до пяти утра, когда мы прибудем в Мехико.

Но начал я со старой доброй уловки с завещанием. Когда маньяк повторил приказ поторопиться, я упомянул о своей семье, о намеченной свадьбе и попросил позволения написать прощальное письмо, дабы распорядиться своими деньгами и имуществом. Если он даст мне бумагу и согласится отправить мое послание, я приму смерть со спокойным сердцем и безропотно. После минутного раздумья безумец вынес положительный вердикт и извлек из саквояжа блокнот, который торжественно вручил мне, когда я снова уселся на свое место. Я достал карандаш и, ловко сломав грифель на первом же слове, выиграл несколько минут, пока мужчина искал свой карандаш. Отдав мне свой карандаш, он взял мой сломанный и принялся затачивать его длинным ножом с роговой рукояткой, который вытащил из-за пояса под курткой. От второй поломки грифеля я ничего не выгадал бы.

Я плохо помню, что писал тогда. В основном это была тарбарщина, составленная из разрозненных литературных цитат, запечатлевшихся в моей памяти, поскольку ничего другого мне не приходило на ум. Я старался писать по возможности неразборчивее, сохраняя при этом видимость связного почерка, ибо понимал, что маньяк наверняка бегло просмотрит написанное, прежде чем приступить к эксперименту, и хорошо представлял, как он отреагирует, увидев явную белиберду. То было мучительное испытание, и я страшно нервничал, стоило поезду хоть немного сбавить скорость. Прежде я частенько насвистывал резвые мазурки и галопы под бойкий перестук колес, но сейчас они стучали, казалось, в темпе похоронного марша — которым провожают в последний путь меня, мрачно подумал я.

Моя уловка действовала, покуда я не исписал более четырех страниц размером шесть на девять дюймов, но наконец безумец вынул часы и сообщил, что у меня осталось всего пять минут.

Что мне делать дальше? Я уже торопливо дописывал заключительную формулу заветания, когда меня осенила новая идея. Поставив подпись размашистым росчерком и отдав исписанные листки мужчине, небрежно сунувшему их в левый карман куртки, я вновь упомянул о своих влиятельных друзьях в Сакраменто, которых чрезвычайно заинтересовало бы его изобретение.

— Не дать ли вам рекомендательное письмо к ним? — спросил я. — Может, мне стоит набросать схему и составить описание вашего прибора, заверенное моей подписью, чтобы они благосклонно выслушали вас? Ведь они могут сделать вас знаменитым — и уж точно внедрят ваш метод в Калифорнии, коли узнают о нем от своего доброго знакомого, мнению которого безоговорочно доверяют.

Я избрал такой путь в надежде направить мысли разочарованного изобретателя в другое русло, чтобы он на время отвлекся от ацтеко-религиозного аспекта своей мании. Когда же он снова к нему вернется, я изреку «откровение» и «пророчество». План сработал: загоревшийся взгляд незнакомца выразил страстное согласие, хотя он резко велел мне поторопиться. Безумец вытащил из саквояжа замысловатую конструкцию из стеклянных элементов и катушек, к которой присоединялся провод от шлема, и с жаром пустился в объяснения, насыщенные недоступными моему пониманию техническими терминами, но в целом казавшиеся вполне вразумительными и правдоподобными. Я делал вид, будто все записываю, и задавался вопросом, действительно ли чудной прибор является аккумулятором. Получу ли я легкий удар током, когда он включит устройство? Мужчина, безусловно, говорил со знанием дела, как настоящий электротехник. Он описывал свое изобретение с явным удовольствием, и я заметил, что раздражение его пошло на убыль. Еще прежде, чем он закончил, за окнами забрезжили первые красноватые проблески зари, сулящие надежду, и я наконец почувствовал, что у меня появился реальный шанс на спасение.

Однако мой попутчик тоже заметил наступление рассвета и вновь принялся поглядывать на меня диким взором. Он знает, что поезд прибудет в Мехико в пять часов, и теперь не станет медлить с исполнением задуманного, если только мне не удастся переключить его внимание на другой важный предмет. Когда

он решительно встал, положив аккумулятор на сиденье рядом с открытым саквояжем, я напомнил, что еще не набросал необходимую схему, и попросил поддержать проволоочный шлем таким образом, чтобы я мог зарисовать оный рядом с аккумулятором. Он согласился и снова сел, раздраженно призывая меня поторопиться. Спустя минуту я остановился, дабы уточнить кое-какие детали, и спросил, каким образом следует размещать приговоренного к казни и как преодолеть его возможное сопротивление.

— Преступника просто надежно привязывают к столбу, — ответил он. — А головой он может трясти сколько угодно, ибо шлем изначально плотно облегает череп и прилегает еще плотнее, когда пускают ток. Мы поворачиваем рубильник постепенно — вот он, видите эту рукоять с реостатом?

Новый предлог для промедления пришел мне на ум, когда возделанные поля и фермерские домики, все чаще проносившиеся за окном в рассветных сумерках, возвестили о нашем приближении к столице.

— Но я должен зарисовать шлем не только рядом с аккумулятором, — сказал я, — но и на человеческой голове. Не могли бы вы надеть его на минутку, чтобы я изобразил вас в нем? Чиновники, а равно газетчики пожелают увидеть все эскизы — ведь они придают особое значение полноте иллюстративного материала.

Ненароком я попал в цель точнее, чем рассчитывал, ибо при упоминании прессы глаза сумасшедшего снова вспыхнули.

— Газетчики? Да будь они прокляты... вы даже газетчиков заставите прислушаться ко мне! Они все смеялись надо мной и не хотели напечатать ни слова. Эй, давайте пошевеливайтесь! Нам нельзя терять ни секунды!

Он уже надел шлем и жадно следил за моим карандашом, порхающим по бумаге. Проволочная сетка придавала ему нелепый, комичный вид. Он нетерпеливо ерзал на сиденье, нервно ломая пальцы.

— Теперь, чтоб им пусто было, они всяко опубликуют схемы! Я подправляю ваш набросок, коли увижу там ошибки, — здесь нужна предельная точность. Полиция найдет вас в скором времени — они-то и засвидетельствуют, сколь эффективно мое изо-

бретение. Сообщение в Ассошиэйтед Пресс... подкрепленное вашим письмом... бессмертная слава! Живее, слышите? Живее же, черт вас побери!

Поезд трясся по расхлябанным рельсам столичных предместий, и иногда нас резко швыряло из сторону в сторону. Воспользовавшись этим предлогом, я снова умудрился сломать грифель, но маньяк, разумеется, мгновенно вручил мне мой собственный карандаш, который давно очинил и держал наготове. Я уже исчерпал первую серию уловок и чувствовал, что мне вот-вот придется напяливать шлем. До вокзала оставалась еще добрая четверть часа — настало время обратиться к религиозным чувствам моего попутчика и изречь божественное откровение.

Призвав на помощь все свои обрывочные знания по науанско-ацтекской мифологии, я внезапно отбросил карандаш и бумагу и затянул нараспев:

— Йа! Йа! Тлокенауаке — Тот, Кто Содержит Все в Себе! Ипальнемоан — Дарующий Нам Жизнь! Я слышу! Я слышу! Я вижу! Я вижу! Привет тебе, Несущий Змею Орел! Послание! Послание! О Уицилопочтли, твой гром отзывается эхом в душе моей!

Заслышав мои завывания, маньяк недоверчиво уставился на меня сквозь дурацкую сетчатую маску, и на его породистом лице отразились изумление и недоумение, быстро сменившиеся тревогой. Похоже, мысли его на мгновение смешались, а затем потекли в другом направлении. Воздев руки, он заговорил речитативом, словно в гипнотическом трансе:

— Миктлантекутли, Великий Бог, яви знамение! Знамение из своей черной пещеры! Йа! Тонатиу-Мецтли! Ктулхутль! Повелевай, и я повинуюсь!

В этой ответной тарабарщине прозвучало одно слово, задевшее странную струнку в моей памяти. Странную, поскольку слово это не встречается ни в одном из опубликованных трудов по мексиканской мифологии, хотя мне не раз доводилось слышать, как пеоны на рудниках моей компании в Тласкале произносят его исполненным благоговейного страха шепотом. Оно казалось частью некоего исключительно тайного древнего ритуала, ибо существовали определенные формулы ответа (тоже неизменно произносившиеся шепотом), неизвестные академической науке,

как и само слово. Видимо, маньяк провел много времени среди горных пеонов и индейцев — ведь подобные незаписанные знания, ясное дело, не почерпнуть из литературы. Поняв, сколь огромное значение он придает этому сугубо эзотерическому жаргону, я решил нанести удар по самому уязвимому месту и ответить набором бессмысленных звукосочетаний, которые слышал от местных жителей.

— Йа-Р'льех! Йа-Р'льех! — выкрикнул я. — Ктулхутль фхтагн! Ниггуратль-Йиг! Йог-Сотот!..

Но я не успел закончить. Ввергнутый в припадок религиозного исступления точным ответом, которого он, вероятно, подсознательно не ожидал, сумасшедший повалился на колени и принялся безостановочно кланяться, одновременно поворачивая голову в шлеме налево-направо. От раза к разу поклоны становились все ниже, на губах у него выступила пена, и я услышал, как он монотонно повторяет «убей, убей, убей», постепенно повышая голос. Я с ужасом осознал, что перестарался и своим ответом вызвал вспышку неистового безумия, которое побудит моего попутчика к смертоубийству еще прежде, чем поезд достигнет вокзала.

Чем сильнее сумасшедший мотал головой, тем больше натягивался шнур, соединявший шлем с аккумулятором. Наконец, в совершенном беспамятстве экстаза, он принялся описывать головой круги, так что провод стал наматываться на шею и дергаться в месте крепления к аккумулятору. Я задался вопросом, как он поведет себя, когда случится неизбежное и батарея, стянутая с сиденья, разобьется при ударе о пол.

Затем наступила трагическая развязка. Аккумулятор, сдернутый с края диванчика последним исступленным движением маньяка, наконец с грохотом упал на пол, но, похоже, вовсе не сломался. В одно мимолетное мгновение я успел заметить, что удар пришелся на реостат, вследствие чего рубильник резко перескочил в крайнее положение, предполагающее подачу тока максимальной силы. И что самое поразительное — *ток действительно пошел*. Изобретение не было плодом воспаленного воображения безумца.

Я увидел ослепительную голубую вспышку, услышал завывающий вопль, более жуткий, чем все прежние дикие крики, звучавшие в ходе этой кошмарной поездки, и почувствовал

тошнотворный запах горелого мяса. Тут мои до предела натянутые нервы не выдержали, и я потерял сознание.

Когда кондуктор, уже по прибытии в Мехико, привел меня в чувство, я обнаружил, что у двери моего купе на платформе толпится народ. Я невольно вскрикнул, и на прижатых к стеклу лицах мигом отразились любопытство и сомнение, но, к великому моему облегчению, кондуктор не впустил в купе никого, кроме элегантного врача, протолкавшегося ко мне через толпу. Мой крик являлся совершенно естественной реакцией на ситуацию, но завопить меня заставило нечто большее, чем ужасное зрелище, которое я ожидал увидеть на полу вагона. Вернее, нечто *меньшее*, поскольку на самом деле там вообще ничего не было.

По словам кондуктора, там ничего не было и тогда, когда он отворил дверь и обнаружил за ней меня в глубоком обмороке. Мой билет был единственным, проданным в это купе, и нашли в нем одного меня. Меня, мой саквояж — и ничего больше. Я ехал один от самого Кверетаро. Кондуктор, доктор и зеваки одинаково крутили пальцем у виска в ответ на мои лихорадочные, настойчивые вопросы.

Неужели мне все приснилось? Или я действительно сошел с ума? Я вспомнил свое тревожное состояние, истерзанные нервы — и содрогнулся. Поблагодарив кондуктора и доктора, я пробился через толпу зевак и с трудом забрался в кеб, который отвез меня в отель «Фонда Насиональ». Там я отправил телеграмму управляющему Джексону, а потом улегся спать в надежде восстановить силы и проспал до часа пополудни. Я велел разбудить меня в час, поскольку рассчитывал успеть на поезд узкоколейки, идущий к рудникам, но по пробуждении я обнаружил под дверью телеграмму от Джексона. В ней говорилось, что утром Фелдона нашли мертвым в горах. Все похищенные документы оказались при нем, в целости и сохранности, о чем должным образом поставили в известность сан-францисскую контору. Выходит, все мое путешествие, сопряженное с лихорадочной спешкой, нервными переживаниями и мучительным испытанием для моей психики, было напрасным!

Зная, что Маккомб, несмотря на такой поворот событий, потребует от меня подробного отчета о личных наблюдениях, я от-

правил Джексону еще одну телеграмму и в конце концов сел на поезд узкоколейки. Через четыре часа состав с грохотом и лязгом подкатил к станции у рудника № 3, где меня встретил и сердечно приветствовал Джексон. Он был настолько поглощен происшествием на руднике, что не обратил внимания на мой все еще потрясенный и нездоровый вид.

Управляющий кратко изложил мне обстоятельства дела, пока мы поднимались по горному склону над дробильней к лачуге, где лежало тело Фелдона. По его словам, Фелдон нанялся на рудник год назад и всегда был странным, угрюмым типом; он работал над каким-то секретным устройством, постоянно жаловался, что за ним шпионят, и держался до неприличия запанибрата с рабочими-мексиканцами. Но он, безусловно, хорошо знал свое ремесло, здешние края и местных жителей. Он нередко надолго уходил в горы, где жили пеоны, и порой даже принимал участие в древних языческих ритуалах. Он намекал на некие странные тайны и загадочные силы так же часто, как похвалялся своими незаурядными техническими способностями. В последнее время Фелдон стал совсем невыносим: с болезненной подозрительностью относился к своим коллегам и, несомненно, начал в сговоре со своими мексиканскими друзьями воровать руду, когда поиздержался. У него регулярно возникала нужда в очень крупных денежных суммах — недаром он так часто получал посылки из лабораторий и механических мастерских Мехико или Штатов.

Что же касается заключительного бегства со всеми конторскими документами, то это была всего лишь бредовая месть за так называемую слежку. Безусловно, Фелдон совсем спятил, поскольку отправился к одной тайной пещере на диком склоне населенной призраками Сьерра-де-Малинче — в местности, где не живет ни одного белого человека, — и предавался там более чем странным занятиям. В пещере, которую никогда не нашли бы, если бы не финальная трагедия, обнаружилось великое множество отвратительных ацтекских идолов и алтарей с обугленными костями свежесожженных жертв непонятного происхождения. Туземцы ничего не рассказывают — собственно, все они хором клянутся, что ничего не знают, — но представляется совершенно очевидным, что пещера издавна служит местом их

сборищ и что Фелдон принимал самое деятельное участие в их ритуалах.

Поисковая группа нашла пещеру потому лишь, что услышала монотонное пение и завершивший его вопль. Около пяти часов утра, после ночного привала, люди уже собирались вернуться на рудники ни с чем, когда кто-то различил приглушенные расстоянием ритмичные завывания и понял, что в каком-то укромном месте высоко на склоне горы, очертаниями похожей на мертвеца в саване, отправляется один из нечестивых древних ритуалов. До слуха доносились все те же древние имена — Миктлантеуктли, Тонатиу-Мецтли, Ктулхутль, Йа-Р'лех и прочие, — но странным казалось то, что они перемежались с английскими словами, причем это была чистая английская речь белого человека, а не ломаный язык местных жителей. Люди бросились вверх по заросшему кустарником склону в направлении звука, когда после непродолжительной паузы вдруг раздался дикий вопль, ужаснее которого никто из них никогда не слышал. Они также почуяли дым и омерзительный едкий запах.

Потом они наткнулись на пещеру — вход ее скрывали плотные заросли мескита, но сейчас оттуда валили клубы зловонного дыма. Пещера была освещена: жуткие алтари и гротескные идола явились взору в зыбком мерцании свечей, зажженных явно не более получаса назад, а на песчаном полу люди увидели нечто настолько ужасное, что все разом попятились. Там лежал Фелдон, с обгорелой до черной корки головой, сожженной странным устройством, натянутым на нее, — оно представляло собой подобие проволочного шлема, соединенного проводом с разбитым аккумулятором, очевидно свалившимся на пол с ближайшего алтаря. При виде диковинного аппарата мужчины переглянулись, мгновенно вспомнив про «электрического палача», изобретением которого Фелдон частенько похвалялся, — аппарат, который якобы все отвергали, но упорно пытались украсть и скопировать. Все похищенные бумаги нашлись в открытом саквояже Фелдона, стоявшем поблизости, и часом позже поисковый отряд двинулся обратно к руднику № 3 со страшной ношей на носилках, изготовленных из подручных материалов.

Вот и все, что рассказал мне управляющий, но этого оказалось достаточно, чтобы я побледнел и зашатался, шагая вслед за

ним мимо дробильни к лачуге, где лежал труп. Ибо я не лишен воображения, и мне стало до жути ясно, с каким чудовищным ночным кошмаром неким сверхъестественным образом совпадает описанная трагедия. Я понял, что мне предстоит увидеть за распахнутой настежь дверью, возле которой толпились любопытные рудокопы, и потому не дрогнул, когда разглядел в темноте громадное тело, вельветовый костюм грубого покроя, до странности изящные руки, клочья обгорелой бороды и саму дьявольскую машину — слегка поврежденный аккумулятор и проволочный шлем, покрытый копотью, выделившейся при сгорании содержимого. Огромный раздутый саквояж не удивил меня, и я исполнился ужаса лишь при виде сложенных листов бумаги, торчавших из левого кармана сюртука, и красноречивой оттопыренности правого кармана. Улучив момент, когда на меня никто не смотрел, я проворно схватил до боли знакомые мне листки и скомкал в ладони, не осмелившись взглянуть на почерк. Сейчас я сожалею, что в приступе безотчетного панического страха сжег их той же ночью, отводя взгляд в сторону. Они стали бы убедительным подтверждением или опровержением неких известных мне фактов — хотя, по правде говоря, я еще мог бы получить необходимое доказательство, справившись про револьвер, впоследствии извлеченный коронером из оттопыренного левого кармана. Но у меня так и не хватило духу спросить про него, поскольку мой собственный револьвер пропал после кошмарной ночи в поезде. Вдобавок мой карманный карандаш носил следы грубой и торопливой заточки ножом, хотя в пятницу вечером я аккуратно очинил его на механической точилке в личном вагоне президента Маккомба.

В конечном счете я отправился домой, по-прежнему пребывавая в глубоком недоумении — возможно, к счастью для моего рассудка. Ко времени моего возвращения в Кверетаро частный вагон уже отремонтировали, но самое большое облегчение я испытал, когда пересек Рио-Гранде и въехал в Эль-Пасо, на территорию Штатов. В пятницу я уже был в Сан-Франциско, и отложенное бракосочетание состоялось на следующей неделе.

Что же касается событий той ночи... как я уже сказал, я просто не осмеливаюсь строить никаких предположений на сей счет. В любом случае Фелдон был сумасшедшим и усугубил свое

безумие уймой древних ацтекских колдовских знаний, владеть которыми никто не вправе. Он действительно был гениальным изобретателем, и тот аккумулятор наверняка был дельной штуковиной. Позже я узнал, как в свое время от него досадливо отмахивались и пресса, и общественность, и представители власти. Слишком много разочарований не идет на пользу людям определенного склада. Вероятно, имело место некое роковое сочетание ряда неблагоприятных факторов. К слову, Фелдон действительно служил в армии Максимилиана.

Когда я рассказываю свою историю, большинство людей называют меня откровенным лжецом. Другие приписывают все это расстроенной психике — видит бог, тогда я и вправду находился в крайней стадии нервного истощения, — а третьи говорят о своего рода «астральной проекции». Мое страстное желание поймать Фелдона, безусловно, направляло мои мысли к нему, а он, со всеми своими индейскими магическими знаниями, должен был распознать и уловить их раньше кого бы то ни было. Он ли находился в вагоне поезда? Я ли находился в пещере на склоне населенной призраками горы, похожей очертаниями на мертвеца в саване? Что произошло бы со мной, не прибегни я к разного рода отвлекающим маневрам? Честно скажу, я не знаю и не уверен, что хотел бы знать. С тех пор я ни разу не был в Мексике и, как я уже отметил в самом начале, на дух не выношу никаких разговоров о казни электрическим током.

ПРОКЛЯТИЕ ЙИГА

(с *Зелией Бишоп*)

В 1925 году я приехал в Оклахому для сбора фольклорного материала о змеях, а уехал оттуда, полный страха перед змеями, который останется со мной до конца жизни. Я ясно сознаю нелепость своего страха, ибо существуют естественно-научные объяснения всему мной увиденному и услышанному, но он все равно владеет моей душой. Если бы дело ограничивалось только древней легендой, мне поведанной, я бы не испытал столь сильного потрясения. Будучи этнологом, специализирующимся на культуре американских индейцев, я привык выслушивать разного рода невероятные предания и знаю, что в части диковинных выдумок обыкновенные белые люди дадут сто очков вперед краснокожим. Но я никогда не забуду того, что видел собственными глазами в психиатрической клинике в Гатри.

В клинику я наведалься, так как несколько старейших местных жителей сказали мне, что там я найду нечто важное. Ни индейцы, ни белые не желали обсуждать легенды о змеебоге, интересовавшие меня в первую очередь. Новые поселенцы, прибывшие сюда на волне нефтяного бума, разумеется, ведавать не ведали о подобных вещах, а краснокожие и старые первопроходцы заметно пугались, когда я о них заговаривал. О психиатрической клинике упомянули всего шесть-семь человек, причем опасливым шепотом. Они утверждали, что доктор Макнейл может показать мне некий воистину ужасный реликт и внести ясность в занимающие меня вопросы. Он объяснит, почему Йиг — прародитель змей, имеющий получеловеческое обличье, является объектом страха и отвращения в Средней Оклахоме и почему старожилы ввергают в дрожь тайные индейские ритуа-

лы, которые отравляют осенние дни и ночи неумолчным зловеющим рокотом тамтамов, долетающим из диких пустынных мест.

Ведомый чутьем, точно взявшая след гончая, я отправился в Гатри, ибо уже на протяжении многих лет собирал сведения о развитии культа змей у индейцев. Очевидный подтекст фольклорных сказаний и археологических материалов всегда наводил меня на предположение, что у великого Кетцалькоатля — милостивого змеебога мексиканских племен — есть более древний и грозный прототип, и за последние месяцы я почти доказал это в ходе исследований, охватывавших огромную территорию от Гватемалы до прерий Оклахомы.

Воодушевленный перспективой получить новый и богатый источник информации, я разыскивал главного врача клиники с нескрываемым нетерпением. Доктор Макнейл оказался невысоким гладковыбритым господином почтенного возраста, чьи манеры и речь изобличали в нем широкообразованного человека, обладающего немалыми знаниями во многих областях помимо его профессиональной деятельности. Когда я сообщил о цели своего приезда, на серьезном лице доктора отразилось сомнение, которое постепенно сменялось задумчивым выражением по мере того, как он внимательно просматривал мои документы и рекомендательное письмо, любезно составленное одним отставным индейским агентом.

— Стало быть, вы изучаете легенды об Йиге? — многозначительно промолвил он. — Я знаю, что оклахомские этнологи пытались связать Йига с Кетцалькоатлем, но думаю, никому из них не удалось так успешно восстановить промежуточные звенья. Для столь молодого человека, каким вы кажетесь, вы сделали весьма основательную работу и, безусловно, заслужили право получить все сведения, какими мы располагаем. Едва ли старый майор Мур или еще кто-либо рассказал вам, что именно находится у меня в клинике. Они не любят говорить об этом существе, да и я тоже. Участь его воистину трагична и ужасна, но и только. Здесь нет ничего сверхъестественного. Однако с ним связана поразительная история, которую я поведаю вам позже, когда вы все увидите своими глазами, — чертовски прискорбная история, но я не усматриваю в ней никакой мистики. Она просто доказывает, сколь огромную власть имеют суеверия

над отдельными людьми. Признаюсь, временами меня самого пробирает дрожь не столько телесная, сколько душевная, но при свете дня я понимаю, что во всем виноваты нервы. Увы, я давно не молод!

Однако перейду к сути дела. Существо, которое здесь содержится, можно назвать жертвой проклятия Йига — физически живой жертвой. Мы не допускаем к нему наших сиделок, хотя большинство знает о нем. Только двум своим старым надежным работникам я разрешаю кормить существо и убирать за ним — раньше их было трое, но старина Стивенс скончался несколько лет назад. Полагаю, в скором времени мне придется приставить к нему новых людей, ибо оно, похоже, не стареет и не меняется, а мы, старики, не будем жить вечно. Возможно, в недалеком будущем сложатся этические нормы, которые позволят нам милосердно избавить беднягу от мук, — трудно сказать.

Вы заметили единственное подвальное окно с матовым стеклом в восточном крыле здания, когда подъезжали по аллее? Там-то оно и содержится. Я сам отведу вас туда сейчас. Вам не нужно ничего комментировать. Просто загляните в смотровое окошко и возблагодарите Бога за то, что освещение там тусклое. Затем я расскажу вам историю — во всяком случае, постараюсь изложить в связной последовательности все известные мне факты.

Мы бесшумно спустились по лестнице и молча зашагали по коридорам пустынного с виду подвала. Через несколько минут доктор Макнейл отпер стальную дверь, выкрашенную в серый цвет, но за ней оказался лишь следующий коридор. Наконец он остановился перед дверью с табличкой «В-116», отодвинул щиток узкого смотрового окошка, в которое мог заглянуть, только поднявшись на цыпочки, и несколько раз ударил кулаком по окрашенному металлу, словно желая разбудить обитателя помещения, кем бы он ни был.

Из открытого отверстия слабо потянуло зловонием, и мне почудилось, будто в ответ на стук раздалось тихое шипение. Доктор знаком велел мне занять его место у окошка, что я и сделал, испытывая беспричинную дрожь, с каждым мигмом становившуюся все сильнее. Сквозь зарешеченное наружное окно с матовым стеклом, расположенное у самой земли, проникал лишь

слабый, неверный свет, и мне пришлось напряженно вглядываться в смрадную сумрачную каморку несколько секунд, прежде чем я различил некое существо, которое ползало, извиваясь, по устланному соломой полу, изредка испуская бессмысленные шипящие звуки. Потом неясные очертания начали обретать четкость, и я увидел, что оно имеет отдаленное сходство с человеком, распластавшимся на животе. В предобморочном состоянии я схватился за дверную ручку, чтобы удержаться на ногах.

Сие шевелящееся тело имело размеры, приближенные к человеческим, и на нем не было никакой одежды. Голое, абсолютно безволосое существо, чья темная гладкая спина казалась слегка чешуйчатой в зловещем тусклом свете. В области лопаток коричневатую кожу испещряли крупные пятна, а голова у него была поразительно плоской. Когда оно с шипением посмотрело на меня, я увидел черные глазки-бусинки, чрезвычайно похожие на человеческие, но не нашел в себе сил вглядеться в них получше. Они же вперились в меня до жути пристально, и я, задохнувшись от ужаса, резко задвинул щиток, оставив мерзкую тварь ползать там по соломе в призрачном полумраке. Видимо, я слегка пошатнулся, ибо доктор проворно подхватил меня под руку и повел прочь. Я, заикаясь, бормотал снова и снова: «Н-но ради всего с-святого, *что это?*»

Доктор Макнейл поведал мне обещанную историю в своем кабинете, где я бессильно рухнул в кресло напротив него. Золотые и багровые краски заката сменились лиловыми тонами сумерек, но я по-прежнему сидел неподвижно, объятый трепетом. Каждый телефонный звонок, каждый гудок зуммера внутренней сигнализации приводил меня в крайнее раздражение, и я проклинал медсестер и ассистентов, которые время от времени стучали в дверь и ненадолго вызывали доктора в приемную. Наступила ночь, и я обрадовался, когда мой хозяин включил все лампы. Хотя я был ученым, мой исследовательский пыл заметно поугас рядом с владевшим мной экстатическим страхом, какой, наверное, испытывает малый ребенок, с замиранием сердца слушающий страшные сказки, что рассказывают шепотом у камина.

Насколько я понял, Йиг — змеебог населяющих центральные равнины племен и предположительный прообраз Кетцалькоатля или Кукулькана, чей культ распространен южнее, — являлся

странным полуантропоморфным демоном с крайне непредсказуемым и вздорным нравом. Он не воплощал собой абсолютное зло и обычно относился вполне благосклонно ко всем, кто воздавал должное почтение ему и его детям, змеям. Но по осени Йиг становился кровожадным сверх всякой меры, и его приходилось отгонять с помощью определенных ритуалов. Вот почему на землях племен пауни, вичита и кэддо в августе, сентябре и октябре неумолчно рокотали тамтамы. Вот почему шаманы извлекали странные звуки из своих трещоток и свистулек, удивительно похожих на те, какими пользовались ацтеки и майя.

Главной чертой Йига была неизбывная любовь к своим детям — любовь настолько сильная, что краснокожие даже в целях самозащиты боялись убивать гремучих змей, в изобилии водившихся в тамошних краях. В тайных преданиях, передававшихся из уст в уста боязливым шепотом, говорилось о страшной мести Йига тем смертным, кто выказывал пренебрежение к нему или причинял вред его ползучему потомству. Обычно он превращал свою жертву в змею, предварительно хорошенько помучив.

В былые времена на Индейской территории, продолжал доктор, образ Йига не окутывала непроницаемая завеса тайны. Равнинные племена, менее осторожные, чем кочевники пустынь и оседлые индейцы, вполне свободно рассказывали о своих легендах и осенних ритуалах первым индейским агентам, и потому значительная часть знания распространилась по соседним областям, заселенным белыми первопроходцами. Великий страх пришел в пору «земельной лихорадки» 1889 года, когда вдруг распространились слухи о разных невероятных происшествиях, подтвержденные до жути реальными фактами. Индейцы говорили, что пришлые белые люди не умеют ладить с Йигом, и впоследствии первые поселенцы признали их правоту. Ныне ни один старожил в Средней Оклахоме, белый или краснокожий, ни за какие блага не станет говорить об Йиге, разве только туманными намеками. Но в конечном счете, добавил доктор, без особой необходимости выразительно повышая голос, единственное реальное свидетельство страшного проклятия змеебога следует приписать скорее прискорбному стечению трагических обстоятельств, нежели действию колдовских сил. Все случив-

шееся воистину ужасно, но вполне объяснимо с научной точки зрения — даже заключительная часть трагедии, в свое время вызвавшая много споров.

Доктор Макнейл умолк и прочистил горло, прежде чем перейти к самой истории, и меня охватила дрожь возбуждения, какую испытываешь, когда поднимается театральный занавес. Итак, все началось весной 1889 года, когда Уокер Дэвис со своей женой Одри покинул Арканзас с намерением обосноваться на новых общественных землях, а развязка произошла в краю племени вичита — к северу от реки Вичита, на территории нынешнего округа Кэддо. Сейчас там появилась деревушка под названием Бингер, через которую проходит железная дорога, но в остальном местность изменилась меньше, чем остальные области Оклахомы. Там по-прежнему живут фермеры и скотоводы, процветающие в наши дни, поскольку обширные нефтяные месторождения находятся довольно далеко оттуда.

Уокер и Одри приехали из округа Франклин, расположенного в горном краю Озаракс. Все их имущество состояло из крытого парусиной фургона, двух мулов, дряхлого никчемного пса по кличке Волк да всякого домашнего скарба. Типичные горцы, еще довольно молодые и, вероятно, чуть более энергичные и предприимчивые, чем большинство людей, они с надеждой смотрели в будущее, рассчитывая упорным трудом добиться на новом месте большего, чем удалось в Арканзасе. Оба были сухопары и костисты; он — высокий, рыжеватый и сероглазый, она — малорослая и довольно смуглая, с черными прямыми волосами, наводившими на мысль о слабой примеси индейской крови.

В целом Дэвисы ничем не выделялись из общей массы, и когда бы не одно обстоятельство, они прожили бы точно такую же жизнь, как тысячи переселенцев, устремившихся тогда на новые земли. Речь идет о паническом страхе Уокера перед змеями, который одни приписывали неким особенностям внутриутробного развития, а другие считали следствием зловещего пророчества о смерти, коим в детстве Уокера страшила старая индианка. Какова бы ни была причина, результат оказался поистине поразительным: несмотря на свою общепризнанную храбрость, Уокер бледнел и испытывал дурноту при одном упоминании

о рептилиях, а при виде даже самой крохотной змейки впадал в шоковое состояние, порой переходившее в судорожный припадок.

Дэвисы тронулись в путь в начале года, надеясь добраться до нового места к весенней пахоте. Двигались они медленно, ибо в Арканзасе дороги были скверные, а на Индейской территории их не было вовсе — кругом простирались холмистые равнины да красные песчаные пустыни. Ландшафт постепенно становился плоским, и разительное отличие равнинных пейзажей от родных горных угнетало обоих сильнее, чем они сознавали, хотя чиновники в местных агентствах по делам индейцев произвели на них самое приятное впечатление, а большинство оседлых индейцев казались дружелюбными и вежливыми. Иногда Дэвисы встречали таких же переселенцев, с которыми обычно обменивались грубоватыми шутками в духе дружеского соперничества.

В то время года змеи еще не пробудились от зимней спячки, а потому Уокер не страдал от своей органической слабости. К тому же в начале путешествия он еще не слышал никаких страшных индейских легенд о змеях, поскольку племена, переселенные сюда с юго-востока, не разделяли жутких верований своих западных соседей. По воле судьбы первое туманное упоминание о культе Йига Дэвисы услышали от белого человека в Окмалги, на землях племени криков, после чего Уокер стал расспрашивать о нем всех встречных-поперечных.

Вскоре его заворуженное любопытство переросло в дикий страх. На каждом ночном привале он принимал чрезвычайные меры предосторожности, тщательно расчищая место от растительности и стараясь держаться подальше от каменистых участков. В каждой купе чахлах кустиков, в каждой расселине скал Уокеру мерещились злобные рептилии, а каждого показавшегося вдали человека, если только его принадлежность к числу местных жителей или переселенцев не представлялась очевидной, он принимал за змеебога, покуда не убеждался в обратном при ближайшем рассмотрении. К счастью, на данном отрезке пути не произошло никаких тревожных встреч, способных потрясти его нервы еще сильнее.

Но по мере приближения к территории племени кикапу становилось все труднее находить места для стоянок поодаль от

каменистых россыпей. Наконец такая возможность и вовсе исчезла, и бедному Уокеру пришлось прибегать к ребяческому приему, усвоенному еще в детстве: бубнить деревенские заклинания против змей. Несколько раз он действительно мельком видел рептилий, каковое обстоятельство отнюдь не способствовало отчаянным попыткам бедняги сохранять самообладание.

На двадцать второй день путешествия поднявшийся к вечеру яростный ветер вынудил Дэвисов, опасавшихся за своих мулов, сделать привал в максимально защищенном месте. Одри убедила мужа укрыться за высоченным утесом, вздымавшимся над сухим руслом бывшего притока Канейдиан-ривер. Уокеру пришлось не по душе каменистый участок, но на сей раз он уступил настояниям жены, выпряг мулов и с угрюмым видом повел их к подветренному склону, куда подогнать фургон было невозможно из-за нагромождения валунов.

Между тем Одри, обследовавшая россыпи камней подле фургона, заметила, что немощный старый пес настороженно принимает. Схватив винтовку, она двинулась за ним и уже через несколько мгновений возблагодарила судьбу за то, что прежде мужа обнаружила пренеприятную находку. Ибо там, в укромной щели между двумя валунами, она увидела зрелище, от которого Уокеру стало бы дурно: лениво шевелящийся клубок, производящий впечатление сплошной массы, но в действительности состоящий из трех или четырех отдельных частей, — который являлся не чем иным, как выводком новорожденных гремучек.

Стремясь уберечь мужа от тяжелого потрясения, Одри не мешкала ни секунды: крепко сжав ствол ружья, она принялась молотить прикладом по извивающимся гадам. У нее самой змеи вызывали крайнее отвращение, но оно никогда не перерастало в подлинный страх. Закончив расправу, она отвернулась и стала вытирать свою импровизированную дубинку красноватым песком и сухой травой. Она подумала, что надо бы поскорее засыпать змеиное гнездо камнями, пока Уокер привязывает мулов. Старый дряхлый Волк, помесь овчарки и койота, куда-то исчез, и Одри опасалась, что он побежал звать хозяина.

Раздавшиеся позади шаги подтвердили ее опасения — и в следующий миг Уокер все увидел. Одри рванулась вперед, чтобы подхватить мужа в случае обморока, но он лишь пошатнулся.

Потом гримаса ужаса на его бескровном лице медленно сменилась смешанным выражением благоговейного страха и гнева, и он принялся бранить жену:

— Бога ради, Одри, ну зачем, зачем ты сотворила такое дело? Разве ты не слышала всего, что здесь толкуют про змеиного дьявола, Йига? Тебе следовало сказать мне — и мы бы убрались отсюда восвояси. Или ты забыла про дьяволобога, который жестоко мстит любому, кто причиняет зло змеиному потомству? Для чего, по-твоему, индейцы пляшут да стучат в барабаны по осени? Здешние края прокляты — так нам говорили почти все, с кем мы встречались в пути. Тут правит Йиг, и он приходит каждую осень, чтобы отловить своих жертв и превратить в змей. Господи, Одри, да ведь ни один индеец по другую сторону Канейдиан-ривер ни за какие деньги не убьет змею! Одному Богу ведомо, на какие муки ты обрекла себя, женщина, истребив целый выводок Йиговых детенышей! Он доберется до тебя рано или поздно, если только мне не удастся купить защитное заклинание у какого-нибудь индейского шамана. Он явится из ночной тьмы и обратит тебя в пятнистую ползучую тварь!

Всю оставшуюся часть путешествия страшно напуганный Уокер непрестанно выговаривал жене и предрекал беду. Они переправились через Канейдиан-ривер близ Ньюкасла и вскоре впервые встретили настоящих равнинных индейцев — группу закутанных в шерстяные одеяла вичитов, чей предводитель под воздействием предложенного виски стал весьма словоохотлив, а в обмен на кварттовую бутылку того же вдохновительного напитка научил бедного Уокера длинному оборонительному заклинанию. К концу недели Дэвисы достигли места в краю вичитов, где облюбовали участок, поспешили обозначить границы своих владений и приступили к весенней пахоте, даже не начав строительства хижины.

Местность здесь была равнинная, открытая всем ветрам и почти лишенная растительности, но при должной обработке почва сулила богатые урожаи. Выходы гранитных пород несколько разнообразили равнинный пейзаж с преимущественно красно-песчаной почвой, а местами огромные скальные плиты простирались под ногами подобием искусственного каменного пола. Змей, да и подходящих укрытий для них нигде окрест не

наблюдалось, поэтому Одри в конце концов убедила мужа построить хижину на обширном гладком пласте обнаженной породы. С таким полом да очагом изрядных размеров сырая погода не страшна — хотя в скором времени стало ясно, что дожди не характерны для данного района. Бревна они привезли в фургоне из ближайшего лесного массива, расположенного за много миль в направлении гор Вичита.

При содействии нескольких других переселенцев (даром что ближайший сосед жил в миле с лишним от них) Уокер построил хижину с широкой дымоходной трубой и на скорую руку срубил хлев. Он в свою очередь помог своим помощникам произвести аналогичные строительные работы, и между новыми соседями завязалась дружба. Ближайшим поселением, достойным зваться городком, являлся Эль-Рино, расположенный на железной дороге в тридцати с лишним милях к северо-востоку, и потому уже через считанные недели обитатели округа сплотились, несмотря на разделявшие их значительные расстояния. Местные индейцы, частью начавшие оседать на фермах белых поселенцев, в большинстве своем были людьми безобидными, хотя и становились довольно задиристыми под воздействием горячительных напитков, которые попадали к ним в обход всех правительственных запретов.

Самыми услужливыми и приятными из всех соседей Дэвисы считали Джо и Салли Комптон, тоже уроженцев Арканзаса. Салли и по сей день еще жива (ныне она известна под прозвищем Бабуля Комптон), а ее сын Клайд, в ту пору грудной младенец, стал одним из влиятельнейших людей штата. Салли и Одри часто навещались друг к другу в гости, ибо жили на расстоянии всего двух миль, и долгими весенними и летними днями вспоминали свою прежнюю жизнь в Арканзасе и обменивались местными слухами.

Салли с великим сочувствием отнеслась к слабости Уокера по части змей, но, вероятно, скорее усугубила, нежели умерила тревогу подруги, вызванную бесконечными мужниными молитвами и пророчествами насчет проклятия Йига. Она знала уйму страшных историй про змей и произвела на Одри тяжелейшее впечатление своим коронным рассказом про одного человека в округе Скотт, которого искушал целый выводок гремучих змей,

после чего он так раздулся от яда, что в конечном счете с треском лопнул. Ясное дело, Одри не стала передавать сей анекдот мужу и умоляла Комптонов не распускать жуткую байку по округе. К чести Джо и Салли, они, дав обещание молчать, все-гда неукоснительно его соблюдали.

Уокер рано посеял кукурузу и в середине лета с толком потратил свободное время, накосив сена на местных лугах. С помощью Джо Комптона он вырыл колодец, обеспечивший небольшой запас воды превосходного качества, а впоследствии собирался пробурить артезианскую скважину. Приступы дикого страха, связанного со змеями, случались с ним редко, и он постарался создать в своих владениях предельно неблагоприятные условия для ползучих гадов. Время от времени Уокер навещался в самое крупное поселение вичитов, представлявшее собой скопление крытых соломой конусообразных строений, и подолгу разговаривал со старейшинами и шаманами о змеебоге и возможных способах отвести от себя его гнев. В обмен на виски индейцы охотно выдавали оборонительные заклинания, но большая часть полученных от них сведений отнюдь не способствовала успокоению.

Йиг — поистине могущественный бог. Он обладает великой магической силой. Он не забывает обид. Осенью его дети голодны и свирепы, и сам Йиг тоже голоден и свиреп. В пору сбора урожая все племена принимают защитные меры против Йига. Они отдают змеебогу часть зерна и, нарядившись должным образом, исполняют ритуальные пляски под аккомпанемент свистулек, трещоток и тамтамов. Они бьют в тамтамы непрерывно и призывают на помощь Тираву, который является прародителем людей, тогда как Йиг является прародителем змей. Плохо, очень плохо, что скво Дэвиса убила детенышей Йига. Дэвису нужно многожды произнести оборонительные заклинания в пору сбора урожая. Йиг — это Йиг. Он могучий бог.

Ко времени жатвы Уокер успел довести свою жену до прискорбно нервического состояния. Его молитвы и выкупленные у местных жителей заклинания страшно надоели Одри, а когда с наступлением осени начались индейские ритуалы, по округе стал разноситься рокот далеких тамтамов, усугублявший общую зловещую атмосферу. Приглушенный расстоянием барабанный

бой, круглые сутки разлетающийся над широкими красноватыми равнинами, просто сводил с ума. Почему он не прекращался ни на минуту? День и ночь, неделю за неделей, неустанно стучали тамтамы, и равно неустанно пыльный ветер разносил окрест монотонные звуки. Они раздражали Одри сильнее, чем мужа, поскольку он хотя бы видел в них некий элемент защиты. Ощущая могущественную поддержку незримых сил, ограждающих от зла, Уокер собрал урожай и подготовил хижину и хлев к предстоящей зиме.

Осень выдалась на редкость теплой, и Дэвисы пользовались каменным очагом, построенным с чрезвычайным тщанием, только для приготовления нехитрой стряпни. Противоестественно жаркие пылевые облака действовали на нервы всем поселенцам, но больше всего Одри и Уокеру. Неотступные мысли о тяготеющем над ними проклятии змеебога в сочетании с неумолчным жутковатым рокотом индейских барабанов плохо сказывались на их душевном состоянии, и любая дополнительная странность делала общую атмосферу совершенно невыносимой.

Несмотря на все нервное напряжение, по завершении жатвы соседи несколько раз собирались за праздничным столом то в одной, то в другой хижине, таким образом неосознанно поддерживая обрядовые традиции праздника урожая, зародившиеся на самой заре земледелия. Лафайет Смит, уроженец юга Миссури, живший милях в трех к востоку от Уокеров, весьма недурно играл на скрипке и своими залихватскими мотивчиками помогал участникам пирушки отвлечься от монотонного боя далеких тамтамов. Близился Хеллоуин, и переселенцы решили устроить еще один праздник, зная не зная, что он уходит корнями в еще более глубокую древность, чем даже земледелие, и берет истоки в жутком ведьмовском шабаше древнейших доарийских племен, традиции которого соблюдались на протяжении многих веков в полнотной тьме глухих лесов и по-прежнему таят отголоски неведомых ужасов под маской беззаботного веселья. Хеллоуин приходился на четверг, и соседи условились собраться на первую пирушку в хижине Дэвисов.

В тот день, 31 октября, погода резко испортилась. С утра небо заволочло свинцовыми тучами, и к полудню неослабный ветер, прежде сухой и горячий, стал промозглым. Люди дрожали

тем сильнее, что оказались совершенно не готовы к холодам, а Волк, старый пес Дэвисов, еле втащился в хижину и улегся рядом с очагом. Но далекие барабаны продолжали греметь, да и белые жители округи не собирались отменять намеченное мероприятие. Уже в четыре часа пополудни к хижине Уокера начали подкатывать фургоны, а вечером, после незабываемого жаркого, скрипка Лафайета Смита воодушевила многочисленную компанию на самые разудалые пляски в просторной, но донельзя переполненной комнате. Молодежь выкидывала разные безобидные дурачества, обычные для Хеллоуина, а старый Волк изредка принимался тоскливо, до жути зловеще завывать, когда визгливая скрипка Лафайета — инструмент, которого пес никогда прежде не слышал, — исторгала какой-нибудь особо потусторонний звук. Впрочем, большую часть веселой гулянки сей выдавший виды ветеран проспал, ибо он уже достиг возраста, когда живой интерес к реальной действительности угасает, и жил преимущественно в мире сновидений. Том и Дженни Ригби привезли с собой своего колли Зика, но собаки так и не подружились. Зик казался обеспокоенным и весь вечер к чему-то настойчиво принохивался.

Одри и Уокер отплясывали всем на зависть, и Бабуля Комптон до сих пор любит вспоминать, как лихо они зажигали в тот вечер. Казалось, они на время забыли обо всех своих тревогах, и Уокер был чисто выбрит и принаряжен прямо-таки щегольски. К десяти часам, когда у всех приятно горели отбитые ладони, гости начали постепенно разъезжаться по домам, обмениваясь на прощанье крепкими рукопожатиями и грубовато-добродушными заверениями, что все повеселились на славу. Том и Дженни посчитали, что тоскливый вой Зика, испущенный по выходе из хижины, выражает сожаление по поводу необходимости возвращаться домой, хотя Одри высказала предположение, что пса раздражают далекие тамтамы, чей неумолчный рокот действительно казался особо зловещим после веселого шума пирушки.

К ночи сильно похолодало, и Уокер впервые положил в очаг огромный чурбан и присыпал углями, чтобы тлел до утра. Старый Волк улегся в пятне неверного красноватого света и погрузился в обычное забытие. Одри и Уокер, слишком утомленные, чтобы думать о заклинаниях или проклятиях, рухнули на грубо сколоченную кровать и заснули еще прежде, чем дешевый бу-

дильник на каминной полке успел оттикать три минуты. А ледяной ночной ветер по-прежнему приносил издалика глухой ритмичный грохот чертовых тамтамов.

Здесь доктор Макнейл умолк и снял очки, словно с притуплением физического зрения у него обострился внутренний взор, обращенный к картинам прошлого.

— Скоро вы поймете, — промолвил он, — сколь трудно было мне восстановить ход событий, последовавших за отъездом гостей. Однако в свое время — на первых порах — у меня все же имелась такая возможность. — После короткой паузы доктор продолжил свою историю.

Одри снились кошмарные сны, в которых Йиг являлся ей в обличье Сатаны, каким он обычно изображался на дешевых гравюрах. От дикого ужаса, вызванного кошмаром, она внезапно проснулась в холодном поту и обнаружила, что Уокер сидит в постели и сна у него ни в одном глазу. Он напряженно прислушивался к чему-то и зашикал на жену, когда она попыталась спросить, что его разбудило.

— Тише, Одри! — прошептал он. — Слышишь стрекот, жужжание и шорох? Думаешь, это осенние сверчки?

В хижине и вправду явственно слышались звуки, подходящие под такое описание. Одри напрягла слух в попытке определить происхождение странных шумов и с содроганием распознала в них нечто знакомое и ужасное — смутное воспоминание, ускользающее за границы памяти. А неумолчный рокот далеких тамтамов, пробуждающий в уме страшную мысль, все разносился над черными равнинами, едва освещенными ущербной луной, подернутой облачной пеленой.

— Уокер... ты думаешь, это... это... проклятье Йига?

Она почувствовала, как муж дрожит.

— Нет, голубушка, на Йига вроде не похоже. По обличью он натуральный человек, ежели не присматриваться хорошенько. Так говорит вождь Серый Орел. Видать, какие-то насекомые заползли к нам с холода — не сверчки, но наподобие их. Пожалуй, надобно встать да перетоптать всех, покуда они не расползлись по углам и не добрались до буфета.

Уокер встал, нашарил в темноте висевший поблизости фонарь и загремел жестяной коробкой со спичками, прибитой к стене

рядом. Одри села в постели и увидела, как пляшущий огонек спички превращается в ровное пламя фонаря. Они огляделись по сторонам, и в следующий миг грубо тесанные стропила сотряслись от пронзительного вопля, одновременно вырвавшегося из груди у них обоих. Ибо гладкий каменный пол, явившийся взору в круге света, представлял собой сплошную шевелящуюся пятнистую массу гремучих змей, которые все ползли к очагу, время от времени угрожающе поворачивая омерзительные головы в сторону объятого диким ужасом мужчины с фонарем.

Сие кошмарное зрелище Одри видела лишь несколько мгновений. Бесчисленные рептилии были всевозможных размеров и, вероятно, нескольких разновидностей, и она успела заметить, как две или три из них резко вскинули головы, точно собираясь броситься на Уокера. Одри не лишилась чувств, а погрузилась в крошечную тьму потому лишь, что фонарь погас, когда Уокер замертво рухнул на пол. После первого своего душераздирающего вопля он не издал ни звука, полностью парализованный страхом, и упал, словно сраженный бесшумной стрелой, пущенной из потустороннего лука. Одри показалось, будто весь мир закружился вокруг нее фантастическим вихрем, где явь смешалась с кошмарным сном, от которого она недавно пробудилась.

Одри утратила всякую способность к сознательному действию, ибо воля и чувство реальности покинули ее. Она бессильно откинулась на подушку, надеясь вот-вот проснуться. Поначалу она толком не сознавала, что все происходит наяву. Потом мало-помалу у нее закралось подозрение, что она не спит вовсе, и тогда несчастная содрогнулась от захлестнувших душу горя и панического страха и истошно закричала вопреки злым чарам, ввергнувшим ее в немоту.

Уокер погиб, и она не смогла ничем помочь ему. Он умер от змеиных укусов, как и предсказывала старая ведьма, когда он был малым ребенком. Бедный Волк тоже ничем не помог своему хозяину, — вероятно, он даже не пробудился от своего старческого сна. А теперь ползучие гады наверняка подбираются к ней в темноте, все ближе и ближе, и может статься, в данный момент они обвиваются вокруг кроватных столбиков и неслышно перетекают на грубые шерстяные покрывала. Одри бессознательно зарылась глубже под одеяла и затряслась всем телом.

Должно быть, это проклятие Йига. Он прислал своих чудовищных отродий в канун Дня Всех Святых, и они забрали Уокера первым. Но почему — ведь он ни в чем не виноват! Почему они не напали сразу на нее — разве не она одна убила новорожденных гремучек? Потом Одри вспомнила рассказы индейцев о проклятии Йига. Нет, ее не убьют, а просто превратят в пятинистую змею. Брр! Она станет одной из мерзких тварей, кишмя кишящих на полу, — отвратительных тварей, присланных за ней Йигом, уже готовым причислить ее к своему племени! Одри попыталась пробормотать оборонительное заклинание, которому научил ее муж, но не смогла издать ни звука.

Громкое тиканье будильника перекрывало сводящий с ума рокот далеких тамтамов. Змеи все еще не добрались до нее — или они нарочно медлили, чтобы потерзать ей нервы? Часы продолжали мерно тикать в темноте, и постепенно мысли Одри приняли иное направление.

Змеи *не стали бы* так долго тянуть время. Никакие это не Йиговы посланники, а самые обыкновенные гремучки, которые гнездились под скальной плитой и приползли, привлеченные теплом очага. Они явились не за ней вовсе, — возможно, им вполне хватило бедного Уокера. Где они сейчас? Уползли прочь? Лежат, свернувшись кольцами, у очага? Все еще ползают по бездыханному телу своей жертвы? Тикал будильник, и ритмично гремели далекие барабаны.

При мысли о мертвом муже, лежащем там в крошечной тьме, Одри содрогнулась от чисто животного ужаса. История Салли Комптон про того человека в округе Скотт! Его тоже искусила целая стая гремучих змей — и чем кончилось дело? Под действием яда плоть изгнила, труп раздулся и в конце концов *лопнул* — лопнул с омерзительным *хлопком*. Неужто с Уокером, распростертым там, на каменном полу, сейчас происходит то же самое? Одри осознала, что невольно напрягает слух в попытке уловить некие звуки, слишком ужасные, чтобы толком о них помыслить.

Будильник продолжал тикать, самым насмешливым, издевательским образом попадая в такт барабанному бою, приносимому издали ночным ветром. Одри пожалела, что в хижине нет часов с боем, по которым она могла бы определить, сколько еще времени продлится кошмарное бдение. Она проклинала крепость

своих нервов, не позволявшую ей лишиться чувств, и задавалась вопросом, на какого рода помощь можно рассчитывать с наступлением рассвета. Наверняка кто-нибудь из соседей будет проезжать мимо... несомненно, кто-нибудь заглянет... не повредится ли она рассудком к утру? Да и в своем ли уме она сейчас?

Мучительно прислушиваясь, Одри вдруг осознала одно обстоятельство, в которое поверила не сразу, но лишь после отчаянных волевых усилий, а когда наконец поверила — не знала, радоваться или ужасаться. *Отдаленный рокот индейских там-тамов прекратился.* Он всегда страшно действовал ей на нервы — но ведь Уокер видел в нем защиту от некоего потустороннего безымянного зла. Что там он рассказывал ей шепотом после своих разговоров с Серым Орлом и шаманами из племени вичита?

Нет, Одри несколько не понравилась внезапно наступившая тишина! В ней чудилось что-то зловещее. Громкое тиканье часов казалось противоестественным в воцарившемся безмолвии. Обретя наконец способность к осознанным действиям, Одри откинула покрывало с лица и глянула в сторону окна. Должно быть, после захода луны прояснилось, ибо она увидела звездное небо в квадратном оконном проеме.

А в следующий миг, совершенно неожиданно, раздался тот самый неописуемо жуткий звук: глухой *хлопок*, с которым треснула изгнившая кожа, брызнув зловонной отравленной кровью. Боже!.. История Салли... этот мерзкий смрад и зловещая тишина, терзающая, рвущая нервы! Это было уже слишком. Оковы немоты лопнули, и в черной ночи раскатились долгим эхом безумные, дикие вопли Одри.

Но, увы! — она не лишилась чувств от потрясения. А сколь спасительно было бы забыть! Эхо пронзительных криков еще не замерло, а Одри по-прежнему видела усеянный звездами квадрат окна и слышала могильное тиканье проклятых часов. Но что такое? Не раздался ли новый звук? Не появилась ли некая тень в оконном проеме? Одри была не в состоянии верно оценить свои зрительные и слуховые восприятия или провести различие между явью и галлюцинацией.

Да, в оконном проеме действительно появилась какая-то тень. Она медленно *вырастала над подоконником.* И теперь в комнате

слышалось не одно только тиканье будильника, но также тяжелое дыхание — не ее и не бедняги Волка. Старый пес дышал во сне бесшумно, а в бодрствующем состоянии издавал хрипкое сопение, которое ни с чем не спутаешь. Потом Одри увидела на фоне звездного неба чудовищный черный силуэт некоего человекообразного существа — бугристые очертания громадной головы и могучих плеч, медленно надвигавшихся на нее.

— Йа-а-а! Йа-а-а! Пошел прочь! Пошел прочь! Пошел прочь, змеедьявол! Изыди, Йиг! Я не хотела их убивать — просто забоялась, что муж испугается! Не надо, Йиг, не надо! Я не желала зла твоим детенышам... не подходи ко мне... не превращай меня в пятнистую змеюку!

Но полубесформенные голова и плечи продолжали придвигаться к кровати, очень тихо.

В мозгу у Одри полыхнула яркая вспышка — и в мгновение ока из испуганного ребенка она превратилась в разъяренную буйнопомешанную женщину. Она знала, где топор — висит на стене на крючках. До него легко дотянуться, и она мигом нашьарит его в темноте. Одри не успела ни о чем больше подумать толком, как топор уже находился у нее в руках и она кралась к изножью кровати — навстречу чудовищной голове и плечам, с каждой секундой придвигавшимся все ближе. Будь комната освещена, выражение ее лица не понравилось бы незваному гостю.

— *Вот тебе, получай! Вот тебе, вот тебе, вот тебе!*

Теперь Одри пронзительно хохотала, и истерический смех стал громче, когда она увидела, что свет звезд за окном меркнет в преддверии спасительного рассвета.

Доктор Макнейл вытер пот со лба и снова надел очки. Я ждал продолжения рассказа, но он все молчал — и тогда я тихо спросил:

— Она осталась жива? Ее нашли? Получило ли объяснение все произошедшее?

Доктор прочистил горло.

— Да, она осталась жива... в известном смысле. И все получило объяснение. Я же сказал вам: там не было никакого колдовства — только жестокая, прискорбная, поистине ужасная реальность.

Первой на месте происшествия оказалась Салли Комптон. На следующий день после полудня она отправилась к Дэвисам, чтобы обсудить с Одри вчерашнюю вечеринку, и еще издали заметила, что из трубы хижины не идет дым. Это казалось странным. Погода, правда, опять стояла очень теплая, но в этот час Одри обычно стряпала. В хлеву беспокойно ревели голодные мулы, и старый Волк не нежился в солнечных лучах на своем излюбленном месте у порога.

В общем, Салли сразу почуяла что-то неладное, а потому сильно робела и нервничала, когда спешила и постучалась в хижину. Ответа не последовало, но она подождала с минуту, прежде чем осторожно тронула грубо сколоченную дверь. Убедившись, что щеколда не задвинута, Салли медленно отворила дверь и переступила через порог. Но при виде представшей глазам картины она отпрянула назад со сдавленным вскриком и схватилась за косяк, чтобы удержаться на ногах.

Когда она открыла дверь, в нос ей ударил смрадный запах, но потрясло ее не это, а жуткое зрелище, явившееся взору. Ибо в полутемной хижине недавно разыгралась некая чудовищная трагедия, три страшных свидетельства которой, повергшие Салли в ужас и недоумение, остались там на полу.

Возле потухшего очага лежал огромный пес — пятна гнилостного разложения багровели на коже, оголенной в местах, где шерсть вылезла от чесотки и старости, и сам труп лопнул, раздувшись от яда гремучих змей. Похоже, собаку искусило целое полчище рептилий.

Справа от двери Салли увидела жестоко изрубленные останки мужчины — в ночной рубашке, с разбитым фонарем в окостенелой руке. *На теле у него не было ни единого следа змеиного укуса.* Рядом валялся окровавленный топор.

А посреди комнаты корчилося на полу отвратительное существо с пустыми глазами, которое в недавнем прошлом было женщиной, но ныне являло собой лишь бессловесную, безумную карикатуру на нее. Существо это не издавало никаких внятных звуков — только шипело, шипело, шипело...

К этому времени мы с доктором оба вытирали холодный пот со лба. Мой собеседник налил в два стакана из бутылки, стояв-

шей на столе, немного отпил из своего, а другой протянул мне. Я мог лишь тупо спросить дрожащим голосом:

— Выходит, Уокер просто упал в обморок, потом очнулся от криков жены — а топор довершил дело?

— Да, — тихо промолвил доктор Макнейл. — Но он все равно принял смерть от змей. Страх перед ними имел два роковых последствия: от страха Уокер потерял сознание и в страхе своем он настолько запугал свою жену дикими историями, что она схватилась за топор, когда вообразила, будто видит перед собой змеедьявола.

Я на мгновение задумался.

— И Одри... не странно ли, что проклятие Йига подействовало на нее в конечном счете? Полагаю, кошмарное зрелище шипящих змей намертво запечатлелось у несчастной в сознании.

— Да. Поначалу у нее периодически наступали светлые промежутки, но с течением времени они становились все реже и реже. Волосы у нее стали седеть от корней, а позже и вовсе выпали. Кожа покрылась пятнами, а когда она умерла...

— Как — умерла? — вздрогнув, перебил я. — Тогда что же... что же за существо мы видели там, внизу?

— *Это* родилось у нее через девять месяцев, — мрачно ответил Макнейл. — Было еще трое — два из них выглядели даже ужаснее, — но выжило только одно.

КУРГАН

(с *Зелией Бишоп*)

I

Только в самое последнее время американский Запад перестали считать *новой* землей. Я думаю, это произошло потому, что наша цивилизация появилась здесь довольно поздно; исследователи обнаруживают множество следов жизни, существовавшей среди этих равнин и гор задолго до того, как началась история колонизации. Мы ничего не знаем о поселках пуэбло, возраст которых насчитывает две с половиной тысячи лет, и нас нимало не беспокоит тот факт, что археологи относят раннюю культуру Мексики к семнадцатому, а то и восемнадцатому тысячелетию до Рождества Христова. В археологии имеются и более впечатляющие примеры — вроде первобытного человека, современника вымерших животных, известного сегодня только по нескольким фрагментам костей и остаткам материальной культуры. Одним словом, впечатление от новизны этих мест быстро испаряется. Обычно европейцы лучше нас ощущают дух древности и глубокой отстраненности от современных жизненных потоков. Всего пару лет тому назад один британский автор писал об Аризоне как о «туманной местности, по-своему очень привлекательной, но пустынной, древней и унылой земле».

Но и я чувствую волнующую, почти ужасающую древность Запада не хуже любого европейца. Это связано с событием, которое случилось в 1928 году; событием, которое я бы желал считать плодом воображения, однако оно настолько четко запечатлелось в моей памяти, что я не могу с легкостью от него избавиться. Это было в Оклахоме, куда меня постоянно приводят исследования по этнологии американских индейцев и где я и прежде наткнулся на весьма странные, приводящие в замешательство явления. Без сомнения, Оклахома — это не просто по-

следняя граница продвижения пионеров и предпринимателей. Там живут старые-престарые племена с их старыми-престарыми преданиями; и когда осенью над задумчивыми равнинами начинают непрерывно звучать тамтамы, людские души оказываются в опасной близости к таким изначальным вещам, что о них принято говорить только шепотом. Сам я белый, уроженец северо-востока, но обряды Йига, Отца Змей, вызывают у меня содрогание. Я достаточно много наслушался и навидался, чтобы быть «искушенным» в этих делах. Взять хотя бы тот случай, что произошел в 1928 году. Я был бы рад посмеяться над ним, да не могу.

Я приехал в Оклахому, чтобы проверить одну из множества легенд, распространенных среди белых поселенцев и индейцев и имевшую — в этом я был уверен — индейский источник. Нужно сказать, что в этом краю ходили весьма любопытные легенды о призраках, бродящих по воздушным просторам; и хотя в устах белых людей они звучали вяло и прозаично, их определенно что-то связывало с некоторыми сложными и неясными сюжетами мифологии коренных жителей. Речь шла об огромных, унылых, казавшихся искусственными холмах в западной части штата, где появлялись существа весьма странные по внешности и поведению.

Самая распространенная и чуть ли не самая древняя легенда стала широко известна в 1892 году, когда начальник тамошней полиции по имени Джон Уиллис отправился в район холмов в погоню за конокрадами и вернулся с нелепым рассказом о ночных конных битвах, происходивших в воздухе между несметными полчищами невидимых призраков, — он слышал топот коней, тяжелые удары, звон металла, приглушенные крики воинов и звуки падающих тел. Вся эта чертовщина творилась при лунном свете и до смерти напугала полицейского и его лошадь. Звуки битвы раздавались в течение часа, ясно слышимые и в то же время какие-то размытые, как будто их приносило ветром изда-лека. Между тем самих армий не было видно. Позднее Уиллис узнал, что он побывал в месте, которое издавна пользуется дурной славой, месте, столь густо населенном призраками, что его одинаково избегают как индейцы, так и белые. Многие видели — или им это только мерещилось — всадников, сражавшихся в небесах, правда, очевидцы описывали их в весьма туманных

выражениях. Поселенцы говорили, что призрачные воины — это индейцы неизвестного племени, имеющие странное оружие и одежду. Они даже не были уверены в том, что лошади под призрачными всадниками действительно были лошадьми.

С другой стороны, местные индейцы, похоже, не считали призраков своими сородичами. Они называли их «эти люди», или «старые люди», или «те, кто живет внизу» и относились к ним со страхом и почтением, в то же время избегая любых разговоров на эту тему. Ни один этнолог не смог заставить индейца подробно описать этих существ, да, впрочем, никто из индейцев их толком так и не рассмотрел. Древние индейские поверья на сей счет гласили буквально следующее: «Очень старые люди делают очень больших призраков; эти люди старше всех времен, эти призраки такие большие, они почти плоть; эти старые люди и привидения смешиваются и становятся едиными».

Конечно, для серьезного этнолога все это — «обычные деревенские байки», еще одна из легенд о затерянных городах и исчезнувших народах, распространенных среди индейцев пуэбло и равнинных племен, — легенд, которые несколько веков назад соблазнили многих на тщетные поиски загадочной Кивиры. Меня же в Западную Оклахому привело нечто более определенное — древняя местная легенда, содержащая первые четкие описания призраков. Еще больше интересовало меня то, что легенда происходила из отдаленного местечка Бингер, округ Каддо, то есть из места, давно известного мне по кошмарному происшествию, связанному с мифом о змеебоге.

Внешне легенда была очень проста и наивна: в ней говорилось об одиноком кургане — или небольшом холме, — расположенном примерно в трети мили к западу от поселка. Одни считали, что этот холм естественного происхождения, другие верили, что это место погребения либо отправления религиозных культов, возведенное доисторическими племенами. На этом кургане, говорили жители поселка, обитали два призрачных индейца; один из них, старик, бродил по вершине от рассвета до заката в любую погоду, лишь ненадолго пропадая из виду; ночью же его сменяла индейская женщина с факелом, горевшим голубоватым пламенем до самого утра. Когда светила луна, странную фигуру индианки было видно совершенно отчетливо, и большинство сходилось на том, что у нее не было головы.

Мнения жителей разделялись в том, что касалось природы видений. Некоторые утверждали, что мужчина вовсе не призрак, а живой индеец, который убил и обезглавил женщину из-за золота, а потом закопал ее где-то на кургане. Согласно этой версии, он бродил по вершине, мучимый угрызениями совести или угнетаемый духом своей жертвы, который становился видимым в темноте. Однако сторонники более традиционных оккультных теорий считали, что и мужчина, и женщина в равной степени были призраками — мужчина якобы убил свою скво и покончил с собой когда-то очень давно. Эти и другие, менее интересные версии появились со времени заселения территории племени вичита в 1899 году и, как мне сказали, существуют до наших дней, поскольку само это изумительное явление все еще может наблюдать всякий желающий. Немногие легенды о призраках имеют столь доступное подтверждение, и мне не терпелось увидеть, что за чудеса происходят в этом маленьком поселке, расположенном вдали от столбовых дорог цивилизации и вне безжалостного света современной науки. Итак, в конце лета 1928 года я сел в поезд до Бингера и занимался размышлениями обо всех этих странных загадках, пока вагоны гроыхали по рельсам одноколейки, а взору открывалась все более и более унылая местность.

Бингер представлял собой небольшую группу каркасных домов и складов, расположенных посреди плоской местности, открытой всем ветрам, которые несли над ней облака красной пыли. Здесь проживало около пятисот человек, не считая индейцев из соседней резервации; основным занятием населения было, по всей видимости, земледелие. Почва здесь была плодородная, а нефтяной бум еще не достиг этой части штата. Поезд прибыл на станцию в сумерках, и меня тотчас охватило странное ощущение опасности и тревоги, особенно усилившееся, когда паровоз, пуская клубы дыма, двинулся на юг без меня. На платформе было полным-полно зевак, и все они кинулись со своими разъяснениями, едва я спросил о человеке, к которому имел рекомендательное письмо. Меня повели по главной улице, изрытой колеями такого же красного цвета, как и вся эта местность, и наконец доставили к нужному дому. Те, кто готовил меня к поездке, поступили правильно, ибо мистер Комптон оказался человеком

умным и к тому же весьма уважаемым в этих местах, а его матушка, которую здесь называли Мамаша Комптон, принадлежала к поколению пионеров и была настоящим кладом всяких поверий и мифов.

В тот же вечер Комптон собрал для меня воедино все легенды, ходившие среди поселенцев. Ознакомившись с ними, я понял, что явление, которое я приехал изучать, было и в самом деле загадочным и значительным. Жители Бингера, похоже, воспринимали призраков как нечто само собой разумеющееся. Два поколения выросли возле этого странного одинокого холма и его беспокойных обитателей. Естественно, окрестности холма внушали людям страх, и их обходили стороной, так что фермы не продвигались в эту сторону на протяжении четырех десятилетий существования поселка; хотя некоторые смельчаки и отваживались туда заглядывать. Одни, вернувшись, говорили, что вообще не видели призраков; что одинокий страж исчезал из виду до того, как они подходили к нему, и это позволяло им свободно карабкаться по крутому откосу и обследовать плоскую вершину. Там нет ничего, говорили они, только заросли кустарника. Должно быть, предполагали они, индеец спустился по другому склону и успел уйти по равнине незамеченным, хотя вблизи не было никакого укрытия. Во всяком случае, на вершине не было найдено ни одного отверстия, даже после самого тщательного исследования кустарника и высокой травы. Другие, более впечатлительные люди заявляли, что они все время чувствовали чье-то незримое присутствие, но не могли сказать ничего определенного. Им казалось, что воздух словно стучался в том направлении, в котором они пытались двигаться. Разумеется, на такие вылазки решались только белые люди. Ничто во вселенной не могло заставить краснокожего приблизиться к этой зловещей возвышенности не только после наступления темноты, но и при самом ярком свете.

Но вовсе не рассказы очевидцев, вернувшихся здоровыми и нормальными, породили тот ужас, что витал вокруг кургана; если бы дело ограничилось этим, никакого шума бы не было. Страшным было то, что многие искатели возвращались странно повредившимися умственно и физически. Впервые это случилось в 1891 году, когда молодой человек по имени Хитон отправился к кургану с лопатой в надежде откопать что-нибудь ин-

тересное. Он неоднократно слышал от индейцев удивительные рассказы о холме и как-то раз посмеялся над другим юношей, который был там и ничего не нашел. Хитон наблюдал за курганом в бинокль до того, как приблизился к нему, и обнаружил, что индеец-часовой неторопливо спустился внутрь холма, словно на вершине были люк и лестница. Прежние наблюдатели этого не замечали.

Когда Хитон шел к кургану, он был одержим желанием разгадать тайну, и жители поселка видели, как усердно он рубил кустарник на вершине. Потом они заметили, как его фигура медленно исчезла из виду и долго не появлялась, пока не опустились сумерки и факел безголовой индианки не замерцал на далекой возвышенности. Два часа спустя Хитон, пошатываясь, вернулся в поселок без лопаты и остальных вещей и разразился бессвязным, пронзительным монологом. Он вопил о страшных безднах и чудовищах, об отвратительных изображениях и статуях, о безжалостных существах, которые схватили и пытали его, о других странных вещах, настолько сложных и причудливых, что их было трудно запомнить.

— Древние! Древние! Древние! — стenal он снова и снова. — Великий Боже, они древнее Земли и пришли сюда неизвестно откуда... Они читают твои мысли и заставляют понимать их мысли... Они полулюди-полупризраки... Они перешли через черту... Они растворяются и снова принимают форму... Все больше и больше... Мы тоже произошли от них... Дети Тулу... там все из золота... чудовищные звери... получеловеки... мертвые рабы... безумие... Йэ! Шуб-Ниггурат!.. *Этот белый — о боже мой!.. что они с ним сделали!..*

С тех пор Хитон считался местным дурачком, а восемь лет спустя он умер от эпилептического припадка. После этой истории было еще два случая помешательства, связанных с курганом, и два исчезновения. Вслед за Хитоном на курган отправились трое отчаянных, хорошо вооруженных мужчин с лопатами и мотыгами. Наблюдатели из поселка заметили, как призрак индейца исчез, едва они приблизились к холму, а затем трое взобрались на вершину и стали рыскать в кустах. Они пропали из поля зрения разом, одновременно, и больше их никто не видел. Один из наблюдателей с особенно мощной подозрительной трубой вроде бы разглядел, как какие-то формы смутно обозначились

позади несчастных и затащили их внутрь кургана; но этот рассказ остался неподтвержденным. Излишне говорить, что после этого случая много лет никто не приближался к холму. Только когда происшествие 1891 года основательно забылось, кто-то осмелился подумать о дальнейших поисках. Около 1910 года один парень, слишком молодой, чтобы помнить старые ужасы, совершил новый поход к злополучному месту и не нашел абсолютно ничего.

К 1915 году фантастические легенды превратились в обычные рассказы о привидениях — но только среди белых людей. В соседней резервации были старые индейцы, которые многое знали, но мало говорили. Как раз в это время поднялась новая волна интереса к загадочному кургану, и несколько храбрецов ходили на его вершину, однако вернулись ни с чем. Затем туда отправились два археолога-любителя, приехавшие с востока страны по заданию одного небольшого колледжа для изучения быта и верований индейцев. Никто в поселке не наблюдал за их походом; спохватились, только когда они бесследно исчезли. Поисковая партия — а в ней был и давший мне приют Клайд Комптон — вернулась с пустыми руками.

Затем была одиночная авантюра старого капитана Лоутона, седого пионера, который принимал участие в освоении этого края еще в 1889 году, но с тех пор не бывал здесь. Все это время он помнил о кургане и его тайне и теперь, выйдя в отставку, решил попытать счастья. Хорошо зная индейскую мифологию, он готовился к раскопкам каким-то особенным образом. Он поднялся на холм утром в четверг 11 мая 1916 года. За ним следили в бинокли более двадцати человек в поселке и с ближайшей равнины. Его исчезновение было внезапным, оно случилось, когда он рубил кустарник. Очевидцы не могли сказать ничего вразумительного. Все их речи сводились к тому, что стоял человек, и вот его уже нет. Около недели о нем не было никаких вестей, а потом, среди ночи, в поселок притащилось существо, по поводу которого и по сей день не стихают споры.

Говорили, что это вернулся капитан Лоутон, правда *моложе* лет на сорок. Волосы существа были блестящего черного цвета, а перекошенное от невыразимого ужаса лицо — неестественно гладким, без морщин. Каким-то странным образом оно действительно напомнило Мамаше Комптон капитана, каким он был

в 1889 году. Ступни его были аккуратно отрезаны по лодыжки, а культи залечены до гладкости почти невозможной — если, конечно, это и впрямь был тот человек, который всего неделю тому назад ходил на своих двоих. Существо бормотало совершенно невразумительные вещи и все повторяло имя «Джордж Лоутон, Джордж Э. Лоутон», как бы пытаясь убедить самого себя, что это он и есть. Его речи, считала Мамаша Комптон, напоминали галлюцинации, что обуревали беднягу Хитона в 1891 году, хотя имелись и незначительные расхождения.

— Голубой свет! Голубой свет! — лепетало существо. — Всегда там, внизу, до того, как появилась жизнь... Древнее динозавров... Всегда одни и те же... Только слабее... Никогда не умирают... Думают, думают, думают... *Все тот же народ, полулюди, полупризраки...* Мертвые двигаются и работают... О, эти твари, эти единороги... Дома из золота и города из золота... Древние, древние, древние, старше времени... Спустились со звезд... Великий Тулу... Азатот... Ньярлатхотеп... он ждет, ждет...

На рассвете существо испустило дух.

Конечно, состоялось расследование, и индейцев из резервации допросили с пристрастием. Но они, казалось, ничего не знали, и сказать им было нечего. Никто ничего не знал, кроме Серого Орла, вождя племени вичита, чей более чем столетний возраст ставил его выше обычных страхов. Только он позволил себе дать несколько ворчливых советов:

— Ты оставить их в покое, белый человек. Нет добра от этого народа. Они там внизу и здесь внизу, они очень старые. Йиг, большой Отец Змей, он там. Йиг — это Йиг. Тирава, большой отец людей, он там. Тирава — это Тирава. Нет умирать. Нет стареть. Такой как воздух. Только жить и ждать. Раньше они выходить сюда, чтобы воевать. Строить земляной вигвам. Я от них, ты от них. Потом большая вода приходить. Все менять. Никто не выходить наверх, никто не впускать вниз. Входить — нет выходить. Ты оставить их в покое, ты не знать плохое колдовство. Красный человек знать, его нельзя поймать. Белый человек вмешаться, он не приходить назад. Быть далеко от маленький гора. Нет хорошо. Серый Орел сказал все.

Если бы Джо Нортон и Рэнс Уилок последовали совету старого вождя, они бы и сейчас были с нами, но они поступили иначе. Начитавшись ученых книг и став материалистами, они

не боялись ничего ни на земле, ни в небесах; они думали, что какие-то злодеи-индейцы устроили тайное логово внутри холма. Они и раньше посещали курган, а теперь отправились туда отомстить за старого капитана Лоутона, похваставшись, что сделают это, даже если им придется скрыть холм до основания. Клайд Комптон наблюдал за ними в бинокль и видел, как они обходили кругом зловещий курган. Они явно намеревались тщательно осмотреть территорию. Больше их никто не видел.

Курган опять стал внушать панический страх, и лишь события мировой войны отодвинули эту тему на задний план. С 1916 по 1919 год туда никто не ходил, и так бы, наверное, и продолжалось впредь, если бы не безрассудство нескольких юнцов, вернувшихся со службы во Франции. С 1919 по 1920 год в округе вспыхнула настоящая эпидемия походов на курган, охватившая преждевременно возмужавших молодых ветеранов, — эпидемия, которая распространялась по мере того, как все они возвращались живыми и невредимыми. К 1920 году — так коротка людская память — курган превратился чуть ли не в предмет насмешек, и тривиальная история об убийстве индианки возоблудала над жуткой легендой о призраках. Наконец два отчаянных и напрочь лишенных воображения брата Клей решили сходить и откопать погребенную женщину, а вместе с ней и золото, из-за которого ее убил старый индеец.

Они отправились сентябрьским днем — в то время, когда индейские барабаны начинают свой ежегодный непрерывный гул над плоскими, покрытыми красной пылью равнинами. Никто не следил за ними, и родители их не беспокоились, даже когда прошло несколько часов. Потом была тревога, тщетные поиски, и вновь люди вынуждены были отступить перед этой тайной.

Но один из братьев все же вернулся. Это был Эд, старший. Его соломенные волосы и борода стали снежно-белыми на два дюйма от корней, а на лбу был странный шрам, похожий на выжженный иероглиф. Три месяца спустя после исчезновения он ночью тайком пробрался в свой дом. На нем не было ничего, кроме одеяла с необычным узором, которое он немедленно бросил в огонь, как только оделся в нормальное платье. Родителям он сказал, что их с Уокером схватили какие-то странные индейцы — не вичита и не каддо — и держали в плену где-то на западе. Уокер умер под пытками, а ему удалось каким-то чудом спас-

тись. Все было ужасно, и он не в силах сейчас об этом говорить. Он должен отдохнуть — и вообще, незачем поднимать шум, искать и наказывать этих индейцев. Они не из тех, кого можно схватить и наказать, и, что очень важно как для Бингера, так и для всего мира, этих индейцев нельзя тревожить в их тайном логове. На самом деле они вообще не индейцы — он потом объяснит. А пока необходимо отдохнуть. Лучше не тревожить поселок известием о его возвращении — он пойдет наверх и поспит. Перед тем как подняться по шаткой лестнице в свою комнату, он взял с собой пачку бумаги и карандаш, а из ящика отцовского стола достал пистолет.

Три часа спустя прогремел выстрел. Эд Клейн пустил себе пулю в висок, оставив на расшатанном столе возле кровати лист бумаги, исписанный крупным почерком. Как выяснилось позже по отгрызку карандаша и печке, наполненной золой, сначала он написал гораздо больше; но затем решил не говорить всего и отделался туманными намеками. Уцелевший кусок текста оказался всего лишь безумным предостережением, нацарапанным небрежным почерком со странным наклоном влево, — бред явно больного ума. Манера выражения была тем более странной, что Эд слыл человеком флегматичным и рассудительным.

Ради бога никогда не ходите к этой горе она часть какого-то мира настолько ужасного и древнего что об этом и говорить нельзя мы с Уокером пошли и нас взяли в эту штуку просто исчезает временами и снова появляется и весь мир снаружи бессилен по сравнению с тем что могут сделать они — они живут вечно молодыми как они хотят и нельзя сказать что они люди или призраки — и что они делают об этом говорить нельзя и там есть только один вход — нельзя сказать какой они величины — после того что мы видели я не хочу жить Франция ничто рядом с этим — и следите чтобы люди держались подальше о боже! все бы так и поступали если бы увидели бедного Уокера каким он стал в конце.

Искренне ваш

Эд Клейн

При вскрытии обнаружилось, что внутренности Клейна были перемещены слева направо, словно его вывернули наизнанку. Позже по документам армейской медкомиссии установили,

что он был совершенно нормальным, когда демобилизовался в мае 1919 года. Была ли допущена ошибка в бумагах или с Эдом на самом деле произошла беспрецедентная метаморфоза, остается загадкой, как и происхождение странного шрама-иероглифа на лбу.

На этом исследование холма было закончено. Следующие семь лет никто не приближался к нему, и лишь у немногих возникало желание направить в его сторону бинокль. Время от времени люди нервно посматривали на одинокую возвышенность, круто вздымавшуюся над равниной в западном направлении, и вздрагивали, заметив маленькое темное пятнышко, которое двигалось по вершине днем, и мерцающий огонек, танцующий по ночам. Все решили, что тайна не подлежит раскрытию, и по общему соглашению перестали говорить об этом предмете. Это было нетрудно: земли, слава богу, хватало. И жизнь мирно катилась по накатанной колее. К холму не вело никаких дорог, словно там было море, болото или пустыня. И вот еще одно доказательство бедности людского воображения: шепотом сообщаемые детям и приезжим сказки о кургане вскоре опять приняли форму истории о кровожадном призраке-индейце и его жертве. Только жители резервации и старожилы вроде Мамаши Комптон помнили намеки на дьявольщину и жуткую потустороннюю угрозу, звучавшие в рассказах тех, кто вернулся с холма покалеченным умственно и физически.

Было уже очень поздно, и Мамаша Комптон давно поднялась к себе спать, когда Клайд закончил свой рассказ. Я не знал, что думать об этой страшной загадке, хотя все во мне протестовало против выводов, противоречащих здравому смыслу. Что привело к безумию тех, кто побывал на кургане? И хотя я был глубоко потрясен услышанным, все это скорее подталкивало меня к поискам, нежели удерживало от них. Разумеется, я должен докопаться до сути, я должен действовать уверенно и не поддаваться фантазиям. Комптон понял мое настроение и озабоченно покачал головой. Потом он знаком пригласил меня выйти на улицу.

Мы вышли на тихую боковую улочку и двинулись по ней при свете ущербной августовской луны. Через несколько шагов мы очутились на окраине поселка. Луна висела низко, не затмевая многочисленные звезды, и я смог увидеть не только скло-

нившиеся к западу созвездия Альтаира и Веги, но и таинственное мерцание Млечного Пути. Затем я посмотрел в направлении, которое мне указал Комптон. И вдруг заметил проблеск. Нет, не звезды — это был голубоватый огонек, который двигался вдоль Млечного Пути совсем низко над горизонтом и казался зловещим и жутким, что странно контрастировало с общим настроением мирно спящего ландшафта. В следующий миг мне стало ясно, что свет шел от вершины холма, расположенного далеко на западе этой величественной, слабо освещенной равнины, и я обернулся к Комптону с вопросом.

— Да, — ответил он, — этот призрачный свет — с кургана. Не было еще такой ночи, когда бы мы его не видели, и нет ни одной живой души в Бингере, которая бы осмелилась пойти в том направлении. Скверное это дело, молодой человек, и если ты достаточно умен, ты оставишь его в покое. Лучше брось свои поиски, сынок, и займись какими-нибудь другими легендами. У нас их здесь хватает, Бог свидетель!

II

Однако я не собирался следовать советам Комптона; и хотя он предоставил мне отличную комнату, я не смог сомкнуть глаз в ожидании утра, когда можно будет воочию увидеть дневной призрак, а также поговорить с индейцами из резервации. Я собирался действовать неторопливо и наверняка, вооружившись всеми доступными сведениями об этом деле, расспросив и белых, и краснокожих, прежде чем приступить непосредственно к археологическим поискам. На рассвете я встал, оделся и, когда услышал, что все остальные в доме тоже поднялись, спустился вниз. Комптон разводил огонь на кухне, а его мать возилась в кладовой. Заметив меня, он кивнул и через минуту пригласил выйти на улицу, ярко освещенную солнцем. Я уже знал цель нашего пути и, пока мы шли по переулку, сколько мог напрягал зрение, глядя на запад через равнину.

Там я увидел курган — далекий и необычный своей геометрически правильной формой. Судя по всему, он был от тридцати до сорока футов высотой и около сотни ярдов в длину. Комптон сказал, что он имеет форму сильно растянутого эллипса. Я знал, что Комптон бывал на кургане несколько раз и благополучно

возвращался обратно. Глядя на контур, вырисовывающийся в темной небесной сини, я пытался отметить все его самые незначительные неровности, и мне вдруг показалось, что по нему что-то движется. Сердце мое забилося: я схватил мощный бинокль, протянутый Комптоном, и торопливо навел его. Сначала я увидел лишь густой кустарник на окраине холма, но потом в поле зрения возникло еще что-то.

Несомненно, это был человек, и я сразу понял, что вижу дневной «призрак индейца». Так и есть, высокая, худая, закутанная в темный плащ фигура с черными волосами, перевязанными лентой, и морщинистым, медным, бесстрастным, орлиным лицом классического индейца. И все же опытным взглядом этнолога я сразу определил, что этот краснокожий был не из тех, что в настоящее время известны истории; он принадлежал к какой-то иной расе или культуре. Современные индейцы — брахицефалы, круглоголовые, и вы не отыщете среди них долихоцефалических, или удлинённых, черепов, которые находили в двухтысячелетней давности останках древнего пуэбло; но череп этого человека был вытянут столь отчетливо, что я заметил это с огромного расстояния даже в неясном преломлении бинокля. Я также обнаружил, что узор на его одежде был выполнен в манере, совершенно не похожей на традиционное искусство племен юго-запада. Его блестящие металлические украшения и короткий меч или какое-то подобное ему оружие, висевшее на боку, не походили ни на что, о чем я когда-либо слышал.

Пока он шагал туда и обратно по вершине холма, я наблюдал за ним в бинокль, отмечая его походку и посадку головы, и у меня сложилось стойкое убеждение в том, что этот человек, кем или чем бы он ни был, определенно *не являлся дикарем*. Я инстинктивно почувствовал, что это было дитя *цивилизации*, хотя какой именно, сказать нельзя. Наконец он исчез за дальним краем холма, словно спустился по противоположному, невидимому склону. Я в замешательстве опустил бинокль. Комптон смотрел на меня вопросительно, и я неопределенно кивнул.

— Что вы думаете об этом? — наконец спросил он. — Вот то, что мы наблюдаем в Бингере каждый день — и всю жизнь.

Полдень застал меня в индейской резервации за разговором с Серым Орлом, который каким-то чудом был еще жив, хотя говорили, что ему уже исполнилось сто пятьдесят лет. Это был

необычный, внушительного вида человек — суровый, бесстрашный вождь из тех, что когда-то имели дело с авантюристами, торговцами в кожаных одеждах, отделанных бахромой, и французскими чиновниками в бриджах и треуголках, — и я был рад заметить, что мое почтительное обращение понравилось вождю. Однако его расположение ко мне не помешало ему начать меня отговаривать, как только он узнал, чего я добиваюсь.

— Ты хороший мальчик — ты не тревожить тот курган. Плохое колдовство. Большое зло под ним — схватить, когда ты копать. Нет копать, нет делать вред. Такой же, когда я мальчик, такой же, когда мой отец и его отец мальчик. Всегда мужчина ходить один день, скво без головы она ходить ночь. Белый человек в железный куртка они пришли от заката вниз по большой реке — много дней назад — три, четыре времени больше Серого Орла — два времени больше, чем французы, — все такое же после них. Много назад никто не ходить близко маленькие горы и глубокие долины с каменными пещерами. Еще много назад, эти древние не прятаться, выходить наружу, строить поселки. Приносить много золото. Я от них, ты от них. Потом прийти большая вода. Все меняться. Никто не выходить, никого не пускать. Если входить — нет выходить. Они не умирать — нет как Серый Орел — ущелья на лице и снег на голове. Как воздух — немного человек, немного дух. Плохое колдовство. Иногда ночью дух выходит наружу на получеловек-полуконь с рогом и сражаться, где однажды сражались люди. Держаться далеко от этого места. Нет хорошо. Ты хороший мальчик — идти назад и оставить этот древний одни.

Это все, чего я смог добиться от старого вождя, а остальные индейцы и вовсе молчали. Видимо, Серый Орел серьезно разволновался при мысли, что я собираюсь отправиться на холм, которого он так малодушно боялся. Когда я покидал резервацию, он остановил меня для последнего торжественного прощания и вновь попытался добиться обещания не ходить на курган. Когда он понял, что это бесполезно, то не совсем уверенно достал что-то из мешочка оленьей кожи и очень важно протянул мне. Это был полустертый, но прекрасно отчеканенный металлический диск диаметром около двух дюймов, украшенный странными изображениями и подвешенный на кожаный шнурок.

— Ты не соглашаться, тогда Серый Орел не мог говорить, что тебе будет. Но если помочь, вот хорошее колдовство, от моего отца — он получил от его отца — он получил от его отца все назад близко к Тирава, отцу всех людей. Мой отец говорить: «Ты держаться далеко от древних, держаться далеко от маленьких гор и долин с каменными пещерами. Но если древние придут наверх взять тебя, тогда ты им показать это колдовство. Они знать. Они сделать его много лет назад, они глядеть, тогда они, может быть, не делать такое плохое колдовство. Но нет можно говорить. Ты держаться далеко все равно. Они нет хороший. Нет сказать, что они делать».

Говоря это, Серый Орел повесил амулет мне на шею, и я заметил, что вещь и в самом деле была весьма любопытной. Чем дольше я смотрел на нее, тем больше восхищался, не только потому, что предмет был сделан из какого-то тяжелого, темного цветного металла, совершенно мне неизвестного, но главным образом потому, что он был исполнен с поразительным художественным мастерством. Насколько я мог разобрать, с одной стороны медали находилось тончайшей работы изображение змеи, а с другой — осьминог или какое-то другое чудовище с щупальцами. Там также было несколько полустертых иероглифов, о которых ни один археолог в мире не смог бы сказать ничего определенного. Позднее с разрешения Серого Орла я отдал диск на исследование опытным историкам, антропологам, геологам и химикам, но они лишь преподнесли мне ворох новых загадок. Химики сказали, что диск представляет собой соединение неизвестных металлов с тяжелым атомным весом, а один геолог предположил, что этот сплав, вероятно, добыт из метеоритов, прилетевших из неизвестных уголков межзвездного пространства. Я не уверен, что именно этот диск спас мою жизнь и рассудок, но Серый Орел убежден в этом. Он снова носит его, и я иногда думаю: не этим ли объясняется его необыкновенное долголетие? Все его предки, носившие амулет, прожили гораздо больше ста лет и жили бы еще, если бы не погибли в бою. А может, если оберегать Серого Орла от несчастных случаев, *он вообще никогда не умрет?* Но я забегаю вперед.

Вернувшись в поселок, я попытался что-нибудь еще выяснить о кургане, однако натолкнулся на глухое сопротивление. Мне, пожалуй, было приятно чувствовать, как люди заботились о

моей безопасности, но я не внял их увещаниям. Я показал им амулет Серого Орла, и оказалось, что никто раньше не слышал о нем и не видел ничего подобного. Все согласились, что это не может быть индейской реликвией, и предположили, что предки старого вождя получили этот предмет от какого-нибудь торговца.

Когда жители Бингера поняли, что не смогут удержать меня, они сделали все, чтобы получше снарядить меня в дорогу. Еще до приезда сюда я примерно знал, какую работу мне придется выполнять, и захватил с собой мачете и траншейный нож для расчистки кустарника и выемки грунта, электрические фонари на случай работы под землей, веревку, полевой бинокль, рулетку, микроскоп и разные мелочи для непредвиденных обстоятельств — ровно столько, чтобы это уместилось в удобном саквояже. К этому снаряжению я добавил лишь тяжелый револьвер, который меня заставил взять местный шериф, и кирку с лопатой для ускорения работы.

Кирку и лопату я решил нести, перебросив через плечо на крепкой веревке, так как очень скоро понял, что не могу рассчитывать на помощников. Поселок, конечно, будет наблюдать за моим походом во все имеющиеся бинокли, но ни один житель не пройдет и ярда по плоской равнине в сторону кургана. Свой поход я назначил на раннее утро, и остаток дня ко мне относились с неловким благоговением, как к человеку, который собирался отправиться навстречу смерти.

С наступлением утра — туманного, но не хмурого — весь поселок высыпал меня провожать. Одинокая фигура индейца, как обычно, уже маячила на вершине кургана, и я решил не выпускать ее из виду, пока буду приближаться к цели своего путешествия. В последний момент мной овладел безотчетный страх, и я, поддавшись слабости, вынул амулет Серого Орла и повесил на грудь, чтобы его могли видеть призраки и кто угодно еще. Простившись с Комптоном и его матерью, я бодро двинулся в путь, несмотря на то что нес тяжелый саквояж, а лопата и кирка бряцали у меня за спиной; в правой руке я держал бинокль и время от времени посматривал на одинокого призрака. Приблизившись к холму, я увидел индейца вполне отчетливо, и его морщинистое безволосое лицо вдруг показалось мне воплощением безграничного зла. Меня также поразило, что его сверка-

ющий золотом чехол для оружия был украшен иероглифами, подобными тем, что были начертаны на моем амулете; качество отделки одежды и украшений свидетельствовало о высокой культуре. Вдруг я увидел, как он направился вниз по дальней стороне кургана и исчез из виду. Когда десять минут спустя я поднялся на вершину, она была пуста. Вряд ли нужно рассказывать о том, что я обследовал холм со всех сторон и произвел всевозможные измерения. Курган глубоко поразил меня, в его слишком правильных очертаниях, казалось, таилась какая-то угроза. Это было единственное возвышение на огромной равнине, и я был уверен, что оно искусственного происхождения. Крутые склоны его выглядели девственными, без всяких следов человеческого присутствия. На вершину не вела ни одна тропа, и поскольку я был тяжело нагружен, мне удалось вскарабкаться туда лишь с большим трудом. Вершина представляла собой довольно ровное плато в форме эллипса примерно триста на пятьдесят футов, сплошь покрытое густой травой и плотным кустарником и напрочь лишенное каких-либо следов ежедневного присутствия здесь одинокого «часового». Это меня потрясло, так как ясно доказывало, что старый индеец, каким бы живым он ни казался, был всего лишь плодом коллективных галлюцинаций.

С тоской и тревогой я оглянулся на поселок и кучку черных точек — наблюдавших за мною людей. Наведя на них бинокль, я увидел, что они в свою очередь жадно рассматривают меня; с самым беспечным видом я помахал им шляпой, чтобы успокоить, но мое собственное состояние было далеко от спокойствия. Затем я сбросил на землю кирку и лопату, вынул мачете и начал расчищать кустарник. Это было довольно утомительно, и я чувствовал безотчетный страх всякий раз, когда какой-нибудь порыв ветра с едва ли не преднамеренной ловкостью мешал моей работе. Временами чудилось, что какая-то сила тянет меня назад, воздух впереди меня как бы сгущался, и словно чьи-то невидимые руки дергали за запястья. И хотя дело продвигалось, мне казалось, что я расходую энергию впустую.

Ближе к полудню мне стало ясно, что в опутанной корнями земле к северному краю кургана тянется небольшое чашеобразное углубление. И хотя в итоге это могло ничего не означать, я мысленно отметил, что верно выбрал место для раскопок. В то же самое время я обнаружил другую очень странную вещь,

а именно: индейский амулет, болтавшийся у меня на шее, вел себя как-то необычно в месте, находившемся футах в семнадцати к юго-востоку от упомянутой впадины. Его круговые движения замедлялись, стоило мне наклониться над этой точкой; он словно тянул меня вниз, как бы притягиваемый магнитом, скрытым в почве. В конце концов я решил копать именно тут.

Едва я воткнул лопату, меня поразила странная тонкость слоя красноватой почвы. Вокруг вся земля состояла из красного песчаника, а здесь, на глубине меньше фута, я обнаружил необычный черный суглинок. Это была точно такая же почва, что встречается в странных глубоких долинах, расположенных к югу и западу от этих мест; ее, должно быть, принесло сюда с большого расстояния еще в доисторическую эпоху. Пока я копал, стоя на коленях, я почувствовал, как кожаный шнурок натягивается на моей шее, словно что-то в земле тянуло к себе металлический талисман. Потом я наткнулся на твердую поверхность и решил, что достиг скальной породы. Потыкав вокруг, я понял, что ошибся. С величайшим изумлением я извлек из земли заплесневелый тяжелый предмет цилиндрической формы около фута длиной и четырех дюймов в диаметре. Мой амулет немедленно прилепился к нему, словно его приклеили. Я очистил предмет от черной глины, и мое изумление возросло еще больше при виде открывшихся моему взору барельефов. Весь цилиндр был покрыт изображениями и иероглифами. С растущим волнением я увидел, что они выполнены в той же неизвестной манере, что на амулете Серого Орла и на желтых украшениях призрака, которые я успел рассмотреть в бинокль.

Сев на землю, я почистил цилиндр о грубый вельвет моих брюк и обнаружил, что он сделан из того же тяжелого блестящего неизвестного металла, что и амулет, — отсюда, несомненно, и происходило странное притяжение. Орнаменты и гравировка были загадочными — безымянные чудовища и узоры, выполненные в зловещей манере, но с очень высоким мастерством. Я долго не мог разобраться с этой штуковиной и бесцельно вертел ее в руках, пока не заметил на одном ее конце щель. Тогда я стал нетерпеливо искать способ открыть предмет и наконец обнаружил, что его конец просто откручивается.

Колпачок поддавался с трудом, но в конце концов отвинтился, и я почувствовал странный аромат, исходивший из цилиндра.

Единственным его содержимым был большой сверток желтоватого, похожего на бумагу материала, испещренного зеленоватыми значками, и на мгновение я испытал благоговейный трепет при мысли, что держу в руках письменный ключ к неизвестным древним мирам и безднам. Однако, развернув список, я увидел, что он написан по-испански — на пышном, торжественном испанском языке давно ушедшего времени. В золотом свете заката я с трудом разбирал заголовок и первый абзац, пытаюсь расшифровать чудовищно прерывистый почерк исчезнувшего автора. Куда ведет этот след? На какое открытие я нечаянно натолкнулся? Первые же слова вызвали во мне бурю восторга и любопытства, ибо не только не уводили меня от первоначальных поисков, но лишь укрепили уверенность, что я действую в правильном направлении.

Желтый свиток с зеленоватыми буквами начинался четким заголовком, за которым следовали церемонные призывы поверить в те невероятные откровения, о которых пойдет речь:

«RELACION DE PANFILO DE ZAMACONA
Y NUÑES, HIDALGO DE LUARCA EN
ASTURIAS, TOCANTE AL MUNDO SOTERRÁNEO
DE XINAIÁN, A. D. MDXLV

En el nombre de la santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu-Santo, tres personas distintas y un solo. Dios verdadero, y de la santísima Virgen muestra Señora, YO, PÁNFILO DE ZAMACONA, HIJO DE PEDRO GUZMAN Y ZAMACONA, HIDALGO, Y DE LA DOÑA YNÉS ALVARADO Y NUÑES, DE LUARCA EN ASTURIAS, juro para que todo que deco está verdadero como sacramento...»

Я остановился и задумался над необычайной важностью того, что мне пришлось прочесть. «История, написанная Панфило де Самакона-и-Нуньес, дворянином из Луарки, что в Астурии, повествующая о подземном мире Ксинайан, найденном в лето Господне 1545 года...» Здесь было слишком много информации, чтобы постичь все разом. Подземный мир — опять эта навязчивая тема индейских легенд и рассказов тех, кто вернулся с кургана. И дата — 1545 год: что это может означать? Мои глаза пробежали вниз по раскрытой части свитка и почти сразу же натолкнулись на имя *Francisco Vázquez de Coronado*. Автор этой

рукописи несомненно был одним из людей Коронадо, но что он делал в этой далекой земле через три года после того, как весь отряд вернулся назад? Однако из дальнейшего стало ясно, что текст, открытый моему взору, был всего лишь кратким отчетом о походе Коронадо на север и не имел существенных расхождений с уже известными историческими сведениями.

Лишь угасающий свет помешал мне развернуть рукопись до конца, а в своем нетерпении я почти позабыл о наступлении ночи и об опасности этого места. Но об этом помнили другие — я услышал громкие крики людей, собравшихся на окраине поселка. Дав им знак, я засунул рукопись обратно в таинственный цилиндр, с трудом оторвал от него амулет и уложил все это вместе с мелким инструментом в саквояж. Кирку и лопату я решил оставить до следующего дня. Взяв саквояж, я с трудом спустился по крутому склону и через четверть часа уже был в поселке, рассказывая об увиденном и демонстрируя свою странную находку. Когда стало темно, я оглянулся на холм и с содроганием увидел, что на вершине его зажегся голубоватый факел ночного призрака — индианки.

Мне не терпелось заняться рукописью; однако, зная, что для хорошего перевода нужны время и покой, я с неохотой отложил это на более поздний час. Пообещав жителям наутро подробный рассказ об увиденном, я отправился с Клайдом Комптоном домой и немедленно поднялся в свою комнату, чтобы погрузиться в перевод. Моему хозяину и его матери хотелось услышать о моих приключениях, но я решил, что лучше подождать до тех пор, пока я не прочту весь текст и смогу изложить суть дела точно и безошибочно.

Открыв саквояж при свете единственной электрической лампочки, я вынул цилиндр и тут же снова почувствовал, что он притягивает индейский амулет к своей резной поверхности. Рисунки зловеще мерцали на неизвестном блестящем металле, и я не мог без содрогания разглядывать злобно смотрящие на меня в упор неестественные, дьявольские изображения, выполненные с исключительным мастерством. Сейчас я жалею, что не сфотографировал эти рисунки — хотя, может быть, это и к лучшему. Но чему я действительно рад, так это тому, что я не смог тогда точно опознать существо с головой осьминога, изображение которого преобладало в большинстве изысканных орнамен-

тов и которое в рукописи именовалось «Тулу». Недавно я сличил это изображение и рассказ о нем в рукописи с некоторыми новонайденными преданиями о чудовищном и загадочном Ктулху, спустившемся со звезд, когда наша юная Земля была сформирована лишь наполовину; знай я тогда об этой связи, я бы не стал оставаться с этой штуковиной в одной комнате. Другой мотив рисунков, полуантропоморфный змей, был легко узнаваем как прототип легендарных Йига, Кетцалькоатля и Кукулькана. Перед тем как открыть цилиндр, я проверил его магнитные свойства в сочетании с другими металлами, но обнаружил, что на них сила притяжения не действует. Станный магнетизм этого ужасного осколка неведомого мира проявлялся только в присутствии ему подобного.

Наконец я достал рукопись и углубился в перевод. Одновременно я делал по-английски краткую запись содержания, а время от времени натываясь на какое-нибудь особенно непонятное или устаревшее слово или выражение, сожалел, что не захватил с собой испанский словарь. Странно было почувствовать себя отброшенным на четыре века назад — в год, к которому относятся первые сведения о моих собственных предках, домоседах-помещиках из Сомерсета и Девона. Во времена правления Генриха Восьмого они и не думали, что их потомок родится в Новом Свете в Виргинии; и вот оказывается, что в ту давнюю пору загадка кургана будоражила умы людей так же, как и сегодня. Это чувство отброшенности назад в прошлое было оттого острее, что я инстинктивно понимал: загадка, которая объединяла меня со стародавним испанцем, пришла из таких далеких бездн времени, из такой внеземной вечности, что несчастные четыре сотни лет тут ничего не значат. Достаточно было одного взгляда на цилиндр, чтобы почувствовать, что между всеми людьми на этой земле и его тайной лежит непроходимая пропасть времен. Эта загадка одинаково ставила в тупик Панфило де Самакона и меня; и в той же мере она могла бы озадачить Аристотеля или Хеопса.

III

О своей юности, прошедшей в Луарке — маленьком тихом портовом городке на берегу Бискайского залива, — Самакона писал мало. Младший сын в семье, он уехал в Новую Испанию

в 1532 году, будучи всего двадцати лет от роду. Одаренный богатым и пылким воображением, он как зачарованный внимал слухам о богатых городах и неизвестных мирах на севере. Особенно его поразил рассказ францисканского монаха Маркоса де Низы, который в 1539 году вернулся из похода с восторженными известиями о сказочной стране Сиволе с ее огромными, обнесенными стенами городами и каменными, стоящими друг над другом в виде ступеней домами. Услышав, что Коронадо собирает экспедицию на поиск этого и прочих находящихся в стране бизонов чудес, юный Самакона примкнул к отряду из трехсот человек, который отправился на север в 1540 году.

Истории известен рассказ об этой экспедиции: Сивола оказалась всего лишь убогой деревушкой племени зуни; де Низа был отправлен назад в наказание за свой обман; Коронадо увидел Великий каньон, а в Чикуйе, на реке Пекос, услышал от индейца по имени Эль Турко о богатой и таинственной земле Кивира, что находится далеко на северо-востоке. Земля эта была якобы богата золотом, серебром и бизонами, и по ней протекала река шириной в две мили. Самакона кратко поведал о зимней стоянке в Тигуэксе, на берегу Пекоса, и о выступлении на север в апреле, когда местный проводник, оказавшийся лжецом, сбил их с пути посреди страны луговых собачек, соленых озер и кочевых племен охотников за бизонами.

Когда Коронадо распустил большую часть отряда и отправился в свой последний сорокадвухдневный поход с маленькой группой избранных, Самаконе удалось попасть в их число. Он рассказывает о богатейшей стране, о громадных ущельях с деревьями, которые можно увидеть лишь с их крутых откосов, и о том, как все члены экспедиции питались одним только мясом бизонов. Затем идет упоминание о крайней точке пути — долгожданной, но разочаровавшей Кивире с поселками соломенных хижин, ручьями и реками, хорошей черной почвой, сливами, орехами, виноградом, тутовником и индейцами, которые выращивают маис и умеют добывать медь. Мимоходом упоминалось о казни плута-проводника Эль Турко и о кресте, который Коронадо водрузил на берегу великой реки в августе 1541 года и на котором написано: «До этих пределов дошел великий генерал Франсиско Васкес де Коронадо».

Пресловутая Киви́ра лежала примерно на сороковом градусе северной широты, и совсем недавно нью-йоркский археолог доктор Ходж определил ее местонахождение на берегу реки Арканзас в округах Бартон и Райс штата Канзас. Это древняя родина племени вичита, которые жили там до того, как индейцы племени сиу вытеснили их на юг, в Оклахому, и действительно во время раскопок здесь были найдены остатки традиционных соломенных хижин. Возбужденный многочисленными индейскими рассказами о богатых городах и таинственных странах, Коронадо провел в том месте тщательные поиски. И хотя североамериканские индейцы менее охотно говорили об этом, чем индейцы Мексики, было видно, что они могли бы рассказать гораздо больше мексиканцев, если бы захотели. Их уклончивость выводила предводителя из себя, и после многих бесплодных поисков он стал весьма сурово относиться к столь немногословным рассказчикам. Самакона был более терпеливым и находил эти легенды исключительно интересными. Он выучил местный язык, чтобы подолгу беседовать с молодым индейцем по имени Скачу́щий Бизон, чья любознательность приводила его в места гораздо более необычные, чем те, куда забирались остальные его соплеменники.

Именно Скачу́щий Бизон рассказал Самаконе о странных каменных провалах и входах в пещеры, расположенных на дне глубоких, поросших лесом лощин, мимо которых отряд проходил по пути на север. Эти отверстия, говорил он, скрыты кустарником, и лишь немногие заходили туда. Но те, кто все-таки на это решался, никогда не возвращались назад — или в редких случаях возвращались либо безумными, либо странным образом изувеченными. Но это была только легенда, ибо даже самые старые люди не помнили, чтобы кто-то проникал глубоко внутрь пещеры. Сам Скачу́щий Бизон, вероятно, заходил глубже прочих и насмотрелся достаточно, чтобы обуздать свое любопытство и жажду золота, о котором ходили слухи.

За отверстием, в которое он проник, тянулся длинный проход, украшенный устрашающими изображениями чудовищ, каких не видел ни один человек. Наконец, после многих и многих миль поворотов и спусков, впереди сверкнул жуткий голубоватый свет, и внизу открылся целый потрясающий мир. Индеец не мог сказать о нем ничего определенного, ибо столкнулся с

чем-то таким, что заставило его спешно вернуться назад. Наверное, добавил он, золотые города где-то там, внизу, и, возможно, белый человек со своей магической стреляющей палкой сможет добраться туда. Он не будет говорить великому вождю Коронадо о том, что знает, потому что Коронадо больше не слушает рассказы индейцев. Да, он может показать Самаконе дорогу, если только белый человек оставит отряд и возьмет его к себе проводником. Но он не пойдет внутрь вместе с белым человеком. Там, внутри, плохо.

До места было около пяти дней ходьбы на юг, рядом с районом больших холмов. Холмы имели какое-то отношение к миру зла, что скрывался там, внизу. Возможно, это были древние ворота туда, и подземные жители когда-то имели поселения на поверхности и торговали с людьми в тех землях, которые исчезли под большой водой. Когда случился потоп, древние жители затворились внизу и больше не имели дел с людьми на поверхности. Беглецы, спасшиеся после потопа, говорили им, что боги внешнего мира настроены против людей и никто не смог выжить там, кроме демонов. Вот почему они не пускали к себе никого с поверхности и делали ужасные вещи с теми, кто все-таки осмеливался спуститься вниз. Когда-то возле входов стояли часовые, но со временем необходимость в них отпала. Немногие жители земли имели желание толковать о Древних, и постепенно связанные с ними предания наверняка забылись бы, если бы время от времени разные призрачные явления не напоминали о них. Казалось, что бесконечная древность этих созданий сделала их почти бестелесными, притом что их призрачные воплощения, выходявшие на поверхность, выглядели совсем как живые. Район больших холмов нередко сотрясали ночные призрачные битвы, подобные тем, что происходили до того, как закрылись ворота в нижний мир.

Сами Древние были наполовину призраками — про них говорили, что они не стареют и не размножаются, а вечно колеблются между духом и плотью. Тем не менее они нуждались в воздухе, чтобы дышать. Именно поэтому входы в долинах никогда не были наглухо замурованы, как на холмах. Эти входы, прибавил Скачущий Бизон, возможно, являются естественными земными разломами. Ходили слухи, что Древние спустились со звезд, когда наш мир был еще совсем молодым, и ушли в земные глу-

бины, чтобы строить свои города из чистого золота, потому что поверхность земли была тогда непригодна для жизни. Они являются предками всех людей, но никто не знает, с какой именно звезды они явились. Их подземные города полны золота и серебра, но людям, не защищенным каким-нибудь сильным колдовством, лучше оставить их в покое.

У них были страшные звери с небольшой примесью человеческой крови, которых они использовали для езды и других целей. Говорят, что эти существа были плотоядными и, подобно своим хозяевам, предпочитали человеческое мясо; поэтому, хотя сами Древние не размножались, у них существовало что-то вроде класса рабов — полулюдей, которые также служили пищей для хозяев и животных. Этот класс формировался очень странным способом и дополнялся оживленными трупами. Древние знали, как превратить мертвеца в покорный автомат, который будет сохраняться почти бесконечно и выполнять любую работу, управляемый мысленными приказами. Скачущий Бизон сказал, что эти существа разговаривают мысленно, находя речь грубой и ненужной. Исключение делалось для религиозных обрядов и выражения эмоций. Они поклонялись Йигу, великому отцу змей, и Тулу, осьминоноголовому существу, которое привело их сюда со звезд; этих чудовищ они задабривали человеческими жертвами, приносимыми очень странным способом, который Скачущий Бизон не пожелал описать в деталях.

Самакона был зачарован рассказом индейца и сразу же решил принять его услуги проводника. Он не верил в легенды о загадочных подземных людях и их обычаях, ибо весь прежний опыт их отряда никак не вязался с этим; но он верил, что некая удивительная страна сокровищ и приключений действительно должна находиться где-то за таинственными ходами в земле. Сначала он думал убедить Скачущего Бизона рассказать все Коронадо, предложив свое посредничество для защиты индейца от вспылчивого характера командира, но потом решил, что лучше действовать в одиночку. Если ему никто не будет помогать, то не придется и делиться тем, что он найдет, и он, возможно, станет великим открывателем и владельцем сказочных сокровищ. Успех сделает его более значительной фигурой, чем сам Коронадо, может быть, даже важнее иного вельможи в Новой

Испании, включая могущественного вице-короля дона Антонио де Мендосу.

7 октября 1541 года, ближе к полуночи, Самакона тайком выбрался из испанского лагеря и встретился со Скачущим Бизоном, чтобы отправиться в долгое путешествие на юг. Он шел налегке, насколько это было возможно, без тяжелого шлема и нагрудника. О подробностях путешествия в рукописи говорилось очень мало, но Самакона точно помечает прибытие в большое ущелье 13 октября. Проход по густо заросшему лесом откосу не занял много времени, и хотя индеец долго искал каменный вход среди зарослей в полумраке узкого ущелья, они наконец нашли его. Это был небольшой дверной проем с косяками, перемычкой из монолитного песчаника и следами почти стершихся и неразличимых орнаментов. Его высота была где-то футов шесть, а ширина не более четырех. В косяках были высверлены дырки, что доказывало наличие в прошлом двери или ворот, но теперь от них не осталось и следа.

При виде этого черного провала Скачущий Бизон выказал великий испуг и быстро бросил наземь свой груз. Он доставил Самаконе большой запас смоляных факелов и продуктов и честно довел его до места, но сам отказался участвовать в предстоящей опасной затее. Самакона дал ему несколько безделушек, которые берег для такого случая, и получил обещание вернуться через месяц, чтобы показать дорогу на юг к поселкам пуэбло. Приметная скала на равнине была выбрана местом будущей встречи; тот, кто придет раньше, разобьет лагерь и будет ждать второго.

В рукописи приводится предположение Самаконы о том, сколь долго ждал его индеец, поскольку он сам так и не смог прийти на встречу. В последний момент Скачущий Бизон попытался отговорить его от похода в темноту, но скоро понял, что это бесполезно, и сделал прощальный жест. Перед тем как зажечь первый факел и войти внутрь с тяжелым грузом, испанец наблюдал, как худая фигурка индейца поспешно и легко карабкается вверх среди деревьев. Так прервалась его последняя связь с миром, хотя он и не знал, что ему больше никогда не придется увидеть человеческое существо в общепринятом смысле этого слова.

У Самаконы не было никаких дурных предчувствий, когда он входил в этот грозный провал, несмотря на то что его с самого начала окружала какая-то странная и нездоровая атмосфера. Проход, чуть более высокий и широкий, чем входное отверстие, на протяжении многих ярдов представлял собой ровный туннель циклопической кладки с сильно стертymi плитами под ногами и покрытыми резьбой блоками из гранита и песчаника по бокам и сверху. Резные изображения, судя по описанию Самаконы, были отвратительными и ужасными. Большинство из них представляло чудовищ Йига и Тулу. Они не были похожи ни на что прежде виденное Самаконой, хотя сей искатель приключений добавляет, что культура Мексики была ближе к ним, нежели какая-либо другая в мире.

Через несколько метров туннель начал круто уходить вниз, пробиваясь сквозь природную скалу. Проход был искусственным лишь отчасти, поэтому орнамент из ужасных барельефов встречался реже.

Крутой и скользкий коридор постоянно менял направление и очертания. Иногда он сужался до размеров щели или снижался настолько, что приходилось нагибаться и даже ползти, а иногда расширялся и становился пещерой значительных размеров или целым каскадом пещер. Было ясно, что в этой части туннеля рука человека не слишком потрудилась, хотя изредка какой-либо зловеющий орнамент или замурованный боковой проход напоминали Самаконе, что этот путь ведет к древнему и невероятному миру, населенному живыми существами.

Три дня, если он верно сосчитал, Панфило де Самакона шел вниз, вверх, вперед и кругами, но преимущественно вниз, сквозь подземную ночь. Время от времени он слышал, как какой-то тайный обитатель тьмы топал и шлепал на его пути, а однажды он мельком увидел большое бесцветное существо, которое повергло его в трепет. Воздух был вполне сносным, хотя иногда попадались зловонные участки в сырых пещерах со сталактитами и сталагмитами. Когда здесь был Скачущий Бизон, эти известковые отложения сильно препятствовали его пути. Однако он пробил проход через них, поэтому Самакону они не задержали. Его также утешала мысль о том, что кто-то из внешнего мира побывал здесь раньше, и точные описания индейца устранили для Самаконы элемент внезапности. Кроме того, хорошо зная

туннель, Скачущий Бизон снабдил его таким запасом факелов на дорогу туда и обратно, что не было никакой опасности окануться в полной темноте.

В конце третьего дня, как считает Самакона, хотя на его хронологические выкладки нельзя полагаться, он подошел к огромному спуску, а затем к огромному подъему, о котором Скачущий Бизон говорил, что это последняя часть туннеля. Незадолго перед этим стали заметны следы искусственного улучшения прохода, и несколько раз крутой спуск облегчали грубо вырубленные ступени. Факел выхватывал из темноты все больше и больше чудовищных резных изображений на стенах, и наконец смолистый свет стал постепенно смешиваться с более слабым и рассеянным сиянием по мере того, как Самакона взбирался все выше и выше, оставив позади последний уходящий вниз лестничный марш. В конце концов подъем кончился, и ровный проход искусственной каменной кладки из темных базальтовых глыб повел его прямо вперед. Теперь факел был не нужен, потому что воздух светился голубоватым фосфоресцирующим сиянием, напоминавшим утреннюю зарю. Это был странный свет внутреннего мира, о котором говорил индеец, и в следующее мгновение Самакона вышел из туннеля на мрачный скалистый склон, который вздымался над головой в нависшее непроглядное небо с голубоватым блеском, а под ногами головокружительно обрывался вниз, к бескрайней равнине, окутанной синей дымкой.

Самакона наконец добрался до неизвестного мира, и из рукописи явствует, что он осматривал смутный пейзаж с такой же гордостью и восторгом, с какой его соотечественник Бальбоа смотрел на впервые открывшийся его взгляду Тихий океан с незабвенного пика в Дарьене. В этом месте Скачущий Бизон повернул назад, напуганный неким фантомом, который он описывал весьма неопределенно и уклончиво как «стадо плохих коров» — ни лошадей, ни бизонов, но четвероногих тварей, похожих на те существа, на которых ездили по ночам призраки холмов. Но Самакону нельзя было испугать такими пустяками. Вместо страха его переполняло чувство гордости: у него было достаточно пылкое воображение, чтобы понять, что значит одному стоять вот здесь, в непонятном подземном мире, о существовании которого не подозревает ни один смертный.

Почва большой горы, круто вздымавшейся позади него и уходившей под ним вниз, была темно-серой, скалистой, без следов растительности и, вероятно, имела базальтовое происхождение. У нее был столь неземной оттенок, что он почувствовал себя пришельцем на чужой планете. На обширной равнине, простиравшейся в тысяче футов под ним, он не мог различить ничего, тем более что она была большей частью скрыта синеватым туманом. Но больше, чем гора, равнина и туман, искателя приключений поразило сверкающее голубоватое небо, наполнившее его душу величайшим восторгом. Как возникло оно в этом мире, он не мог сказать, хотя знал о северном сиянии и даже видел его однажды или дважды. Он заключил, что этот подземный свет был чем-то сродни северному сиянию, — точка зрения, которую могут одобрить современные ученые, однако не следует также исключать возможности радиоактивного свечения.

За спиной Самаконы зияло темное отверстие туннеля, едва обозначенное каменным проемом, очень похожим на тот, в какой он вошел в верхнем мире, если не считать того, что он был сделан не из красного песчаника, а из серовато-черного базальта. Проем украшали ужасные изображения, хорошо сохранившиеся в отличие от резьбы на внешнем портале. Здесь они не подвергались атмосферным воздействиям — это подтверждал сухой, умеренный климат; испанец уже отметил по-весеннему свежий воздух при стабильной температуре, что характерно для удаленных от побережья районов севера. На каменных косяках были заметны следы навесных петель, но от двери или ворот ничего не осталось. Присев отдохнуть и поразмыслить, Самакона облегчил свою ношу, вынув часть еды и факелов, которых хватило бы на обратный путь сквозь туннель. Все это он припрятал возле отверстия под наспех сложенной грудой камней, а затем подхватил полегчавший груз и стал спускаться к далекой равнине, намереваясь вторгнуться в край, куда ни одна живая душа не входила в течение века или более; где никогда не ступала нога белого человека и откуда, если верить преданиям, ни одно органическое существо не возвращалось в здравом состоянии.

Самакона бодро спускался по нескончаемому каменистому склону, хотя дорога была неважной, слишком крутой и вдобавок засыпанной обломками скал. До затянутой дымкой равни-

ны, вероятно, было приличное расстояние, ибо за много часов ходьбы он явно нисколько не приблизился к ней. Позади все так же возвышалась большая гора, тонувшая в море голубоватого сияния. Тишина была полной, так что его собственные шаги и звук падающих камней отдавались в ушах с поразительной четкостью. Около полудня, по его расчетам, он впервые увидел странные следы, которые заставили его вспомнить о страхах Скачущего Бизона и его поспешном бегстве из этого места. Скалистая почва мало годилась для сохранения каких бы то ни было следов, однако здесь обломки скал образовали гряду, возле которой тянулся значительный участок темно-серого суглинка. В этом месте Самакона и обнаружил странные следы, рассыпанные в полном беспорядке, словно здесь бесцельно топталось большое стадо. Жаль, что он не оставил их подробного описания, да и вообще, в рукописи отразилось больше эмоций, нежели точных наблюдений. Что именно напугало испанца, можно только догадываться по его более поздним намекам относительно этих животных. Он писал о следах: «Это были ни копыта, ни руки, ни ноги. Скорее их можно назвать лапами — в сущности, они даже не настолько велики, чтобы из-за них беспокоиться». Каким образом и как долго эти существа находились здесь, было неясно. Растительность в этих местах отсутствовала, следовательно, вопрос о пастбище отпадал; но, конечно, если животные были плотоядными, они могли охотиться на более мелких зверей, чьи следы затем затоптали.

Оглянувшись с плато назад на вершину, Самакона решил, что стоит на остатках большой извилистой дороги, которая когда-то вела из туннеля вниз к равнине. Это можно было понять только отсюда, издали, поскольку осколки горы давно завалили дорогу. Тем не менее наш искатель приключений был уверен, что она когда-то существовала. Возможно, это не был искусственно созданный магистральный путь, ибо маленький туннель едва ли был главным выходом во внешний мир. Двигаясь напрямую, Самакона не придерживался ее петляющих изгибов и, вероятно, пересекал ее один-два раза. Теперь, обнаружив дорогу, он посмотрел вниз, чтобы выяснить, сможет ли он идти по ней, и решил, что сможет, если сумеет ее различить. Некоторое время спустя Самакона подошел к точке, которая, как он решил, была поворотом древней дороги. Здесь были заметны сле-

ды земляных и каменных работ, недостаточных, однако, для того, чтобы дорога выглядела приличной. Потыкав почву вокруг себя, испанец неожиданно перевернул какой-то предмет, блеснувший в вечном голубом свете, и вздрогнул, увидев, что это была какая-то монета или медаль из неизвестного темного глянцевого металла с ужасными изображениями на обеих сторонах. Он ничего не мог сказать о ней, но из его описаний я догадался, что это была копия того амулета, который дал мне Серый Орел четыре века спустя. Внимательно изучив его, он положил амулет в карман и продолжил путь, пока наконец вечером не разбил лагерь. На следующий день он встал рано и продолжил спуск через этот светящийся мир голубой дымки, одиночества и оглушительной тишины. По мере продвижения он стал различать какие-то объекты на далекой равнине — деревья, кусты, скалы и маленькую речку, которая показалась справа и пересекала его маршрут. Через речку, судя по всему, был переброшен мост, в который и упиралась дорога, так что путешественник мог следовать через него дальше на равнину. Наконец ему показалось, что он различает какие-то поселения на дальнем и ближнем берегах реки. Возле них находились другие полуразрушенные или сохранившиеся мосты. Он уже спустился со скалистой местности на травянистую почву, и с каждым шагом трава становилась все гуще. Дорогу стало легче различать — она четко выделялась на фоне травы. Обломки скал попадались реже, и оставленный позади пейзаж выглядел мрачным и непривлекательным в сравнении с тем, что окружало путника теперь.

В этот день он увидел неясную массу, которая двигалась вдалеке от него по равнине. Так могло двигаться только стадо животных, и, вспомнив про виденные ранее следы, он не захотел встречаться с теми, кто их оставил. Тем не менее его любопытство и жажда золота были слишком велики, а стадо находилось далеко от дороги. И стоило ли бояться этих животных на основании их странных следов, а также бредней невежественного, перепуганного насмерть индейца?

Напрягая зрение, чтобы рассмотреть стадо, Самакона обнаружил несколько других интересных вещей. Прежде всего его удивило то, что города, о существовании которых он мог теперь судить безошибочно, странно сверкали в голубом свете. То же

можно было сказать и о других строениях, беспорядочно рассыпанных вдоль дороги и по равнине. Они были скрыты живописными рощами, и к ним вели небольшие аллеи. Ни дыма, ни других признаков жизни заметно не было. Наконец Самакона увидел, что равнина не беспредельна, хотя и казалась такой до сих пор из-за окутывавшей ее голубой дымки. Вдали она ограничивалась грядой низких гор, рассекаемой рекой и дорогой. Все это — особенно странное сияние, идущее от построек, — стало отчетливым, когда Самакона сделал второй привал в середине бесконечного дня. Он также заметил стаи высоко парящих птиц, но к какому виду они принадлежали, с такого расстояния было не разобрать.

На следующее утро — говоря языком внешнего мира, на котором написана рукопись, — Самакона достиг молчаливой равнины и перешел через неторопливую, безмолвно текущую реку по хорошо сохранившемуся мосту из черного базальта, покрытого причудливой резьбой. Вода была прозрачной, и в ней плавали какие-то неведомые рыбы. Дорога стала мощеной и в некоторых местах заросла сорняками и ползучими растениями, а ее направление было отмечено маленькими столбиками с непонятными изображениями. Растительность становилась все гуще, там и тут попадались деревья и кустарники, а также синеватые цветы, которых путник раньше никогда в жизни не видел. Иногда легкое колыхание травы указывало на присутствие змей. Через несколько часов путешественник достиг рощи неизвестных вечнозеленых деревьев, в которой, как он заметил, скрывалось одно из строений со сверкающей крышей. Среди буйной растительности он увидел украшенные ужасными барельефами опоры каменных ворот, манивших свернуть с дороги, и вскоре уже продирался через кустарник по мозаичной, заросшей мхом дорожке, окаймленной громадными деревьями и низкими монолитными столбами.

Наконец в зеленоватом полумраке он увидел полуразрушенный фасад древнего здания — храма, как он, ни минуты не сомневаясь, решил. Его покрывали отвратительные барельефы, изображавшие фигуры и сцены, предметы и церемонии, которым не должно быть места ни на нашей, ни на другой разумной планете. Намекая на это, Самакона впервые обнаруживает поразительную благочестивую нерешительность, которая снижа-

ет информативную ценность остальной части рукописи. Стоит только пожалеть, что католический пыл Испании эпохи Возрождения так основательно проник в его душу. Дверь в храм оказалась широко распахнутой; во внутреннем помещении, лишенном окон, царила абсолютная темнота. Подавив отвращение, вызванное барельефами на стенах, Самакона вынул кремь и огниво, зажег смоляной факел, отодвинул плети растений, загородившие вход, и храбро перешагнул зловеший порог.

На мгновение он оцепенел от того, что увидел. Не пыль, покрывавшая все вокруг, не паутина незапамятных времен, не кружащиеся крылатые твари, не отвратительные изображения на стенах, не причудливая форма многочисленных чаш и жертвенников, не мрачный пирамидальный алтарь с вогнутой верхушкой и не чудовищное, с головой осьминога, существо из какого-то странного темного металла, сидевшее на своем покрытом иероглифами пьедестале и злобно смотревшее на него, изумили его и лишили дара речи. Нет, его просто поразил тот факт, что все здесь, за исключением паутины, крылатых тварей и гигантского идола с изумрудными глазами, было сделано из чистого золота. И хотя рукопись была написана уже после того, как Самакона узнал, что золото — самый обычный строительный материал в нижнем мире, где находятся его бесчисленные месторождения и жилы, она тем не менее ясно дает почувствовать тот безумный восторг, который овладел искателем приключений, внезапно обнаружившим источник индейских легенд о золотых городах. На время он утратил способность к спокойному наблюдению и очнулся, только когда заметил, что карман его камзола странным образом оттопырился. Заинтересовавшись этим, он обнаружил, что диск из неизвестного металла, найденный на заброшенной дороге, сильно притягивается к большому осьминогоголовому идолу с изумрудными глазами, сделанному, как ему вскоре стало ясно, из того же экзотического материала. Позже ему довелось узнать, что странное, обладающее магнетизмом вещество — такая же редкость в нижнем мире, как и во внешнем. Оно считалось единственным по-настоящему драгоценным металлом в той голубой светящейся бездне. Никто не знает его действительного происхождения, ясно только, что оно появилось на нашей планете со звезд, откуда великий Тулу, осьминогоголовый бог, доставил его на землю людей. Так

что единственным его источником были доисторические останки, включая множество циклопических идолов. Невозможно было исследовать природу этого металла, и даже его магнетизм проявлялся только по отношению к себе подобному. Это был священный обрядовый металл подземных жителей, использование которого регулировалось традицией таким образом, чтобы его магнетические свойства не приносили людям вреда. Из сплава этого металла с такими основными компонентами, как железо, золото, серебро, медь и цинк, здесь чеканилась монета.

Размышления Самаконы о странном идоле и его магнетизме были внезапно прерваны волной отчетливого и явно приближающегося грохота. Нельзя было ошибиться в его природе. Это двигалось стадо больших животных, и, вспомнив ужас индейца, следы на дороге и виденное вдалеке стадо, испанец содрогнулся от страшного предчувствия. Он не успел ничего подумать, в нем просто заработал инстинкт самозащиты. Странно было бы ожидать, что животные станут искать жертву в столь глухом месте, и, если бы дело происходило на поверхности земли, Самакона чувствовал бы себя в безопасности в таком массивном, окруженном деревьями здании. Но все же какое-то подсознательное чувство рождало глубокий ужас в его душе, и он стал отчаянно озираться в поисках спасения. Так как внутри золотого храма не было никакого убежища, он понял, что ему нужно закрыть дверь, которая все еще висела на древних петлях, опираясь на внутреннюю стену. Земля, плети растений и мох уже проникли в храм снаружи, так что ему пришлось прокладывать путь к золотому portalу с помощью шпаги, что он и проделал как можно быстрее, прислушиваясь к приближающемуся грохоту. Топот звучал все громче и угрожающе. Самакона принялся тянуть за массивное кольцо, и на какое-то мгновение страх в нем достиг безумных размеров, ибо надежда сдвинуть осевшую металлическую дверь слабела с каждой секундой. Вот она со скрипом поддалась, и снова началась яростная борьба — он тянул и толкал изо всех сил. Наконец под грохот невидимых ему ног Самакона с лязгом захлопнул дверь, оставшись в крошечной темноте, если не считать единственного зажженного факела, который он втиснул между опор трехногой чаши. На двери был засов, и, запирая его, перепуганный человек возблагодарил своего ангела-хранителя, который и здесь не оставил его в беде.

Теперь он мог только догадываться о том, что происходило снаружи. Когда грохот подкатился ближе, он рассыпался на отдельные шаги, как будто вечнозеленая роща заставила животных разойтись. Но шаги продолжали приближаться, и стало ясно, что звери проходят между деревьями и окружают храм. В странной их неторопливости Самаконе почудилось что-то тревожное, не понравился ему и шаркающий звук, который был слышен даже через толстые каменные стены и тяжелую золотую дверь. Один раз дверь зловеще затрещала, словно под страшным ударом, но, к счастью, удержалась на своих древних петлях. Через какое-то время, которое показалось ему бесконечностью, он услышал удаляющиеся шаги и понял, что его непрошенные посетители уходят. Так как стадо было, по всей видимости, не очень большое, любой другой на месте Самаконы попытался бы выбраться отсюда через полчаса и даже меньше, но осторожный испанец отступил иначе. Он устроился спать прямо на золотых плитах пола, и сон его был спокоен и глубок. Его не пугала даже отвратительная осьминоготоловая туша великого Тулу, отлитая из неизвестного металла, что восседала на своем украшенном чудовищными иероглифами пьедестале и злобно косила на него тусклыми, зелеными как море глазами.

Впервые с тех пор, как вышел из туннеля, окруженный темнотой, Самакона спал глубоко и долго. Наконец он мог набраться сил. Хорошо, что он серьезно отдохнул, ибо ему еще предстояло столкнуться со множеством странных вещей.

IV

В конце концов Самакону разбудил оглушительный стук в дверь. Он пробился сквозь сон и рассеял туман затянувшейся дремоты. Ошибки быть не могло — это властно стучала человеческая рука, видимо, каким-то металлическим предметом. Когда проснувшийся путешественник вскочил на ноги, он услышал резкий громкий голос — кто-то довольно мелодично произносил какие-то заклинания, которые передаются в рукописи как «*oxí, oxí, grathcán usá relex*». Будучи убежден, что его посетители — люди, а не демоны, и внушая себе, что у них нет причин считать его врагом, Самакона решил предстать перед ними в открытую и потому начал с трудом отодвигать засов, пока

дверь не заскрипела, распахиваясь под нажимом тех, кто стоял снаружи.

Когда огромная дверь отворилась, Самакона увидел группу примерно из двадцати человек, внешний вид которых ничем не встревожил его. Они выглядели как индейцы, хотя их со вкусом сделанные костюмы и украшения не были похожи на те, что он видел у каких-либо племен внешнего мира, а в их лицах угадывались едва уловимые отличия от индейского типа. Было ясно, что в их молчании не было враждебности, так как вместо того, чтобы угрожать Самаконе, они просто внимательно и со значением смотрели на него, словно ожидали, что их взгляд откроет обоим сторонам какой-нибудь способ общения. Чем дольше они смотрели на него, тем больше ему казалось, что он что-то узнает о них и их миссии; хотя никто не произнес ни звука с тех пор, как раздался призыв за дверью, он обнаружил, что постепенно понимает, что они приехали из большого города за низкими горами верхом на животных, которые рассказали о его присутствии здесь и не знают, что он за человек и откуда пришел, но понимают, что он, должно быть, связан с тем почти забытым внешним миром, который они иногда посещают в своих странных снах. Каким образом он прочел все это во взглядах индейцев, он, наверное, не смог бы объяснить.

Он попытался обратиться к ним на языке вичита, который перенял у Скачущего Бизона; не получив ответа, он перебрал языки ацтеков, испанский, французский и латинский, добавив, насколько смог вспомнить, несколько фраз из греческого, галисийского, португальского, а также на вавилонской смеси крестьянских говоров родной Астурии. Но даже этот лингвистический залп — весь его запас — не дал ответной реакции. Однако когда он в растерянности остановился, один из индейцев вдруг заговорил на неизвестном, но пленительном языке, звучание которого испанец позднее с таким трудом передал на бумаге. Поскольку он ничего не понял, говоривший сначала указал на свои глаза, затем на его лоб, а потом опять на свои глаза, как будто приглашая его смотреть на него, чтобы понять то, что он хочет передать.

Повиновавшись, Самакона обнаружил, что может получать информацию без речевого общения. Эти люди, как он узнал, общались с помощью беззвучной передачи мыслей, хотя прежде

они пользовались обыкновенной речью, которая сохранилась как письменный язык и которую они еще иногда использовали для выражения слишком сильных и произвольных чувств. Он мог понимать их, просто сосредоточив внимание на их глазах, и отвечать, составив мысленный образ того, что он хочет сказать, и выразив этот образ в своем взгляде. Когда говоривший сделал паузу, очевидно приглашая ответить, Самакона постарался последовать совету, но, кажется, не очень преуспел. Тогда он кивнул и попытался описать себя и свое путешествие знаками. Он показал наверх, в сторону внешнего мира, затем закрыл глаза и изобразил роющего землю крота. Потом снова открыл глаза и показал вниз, чтобы обозначить свой спуск по большому склону. Для пробы он вставил два-три устных слова, например указывая на себя и на своих посетителей и произнося «un hombre»¹, а затем указывая на одного себя и очень отчетливо произнося свое имя, *Панфило де Самакона*.

По ходу этой странной беседы обе стороны получили друг от друга немало новых сведений. Самакона пытался передавать свои мысли, а также выучил несколько слов местного архаичного разговорного языка. В свою очередь его посетители усвоили кое-что из испанского словаря. Их собственный язык не походил ни на какой другой из тех, что Самаконе когда-либо приходилось слышать, хотя позднее он предположил некоторую бесконечно далекую связь с языком ацтеков, заподозрив, что последний представлял более позднюю стадию эволюции языка подземного мира. Этот мир, как выяснил Самакона, имел древнее название, которое передается рукописью как «Ксинайан», но которое, исходя из дополнительных пояснений автора, фонетически можно представить как трудно воспринимаемый для англосаксонского уха «К'ньян».

Ничего удивительного, что эта предварительная беседа не пошла дальше обмена самой простой информацией, но это было очень важно. Самакона узнал, что народ К'ньяна был очень древним и что он переселился из отдаленной части космоса, где природные условия были весьма похожи на земные. Конечно, все это было легендой, и никто не мог сказать, сколько в ней было правды и сколько вымысла. Особенно это касалось осьмино-

¹ Человек (*исп.*).

гоголового Тулу, который, как считалось, привел сюда этих людей и которого все они почитали как божество. Но они имели сведения о внешнем мире и на самом деле являлись прародителями людей, которые заселили землю, как только ее поверхность стала пригодной для жизни. Между ледниковыми периодами они создали на поверхности несколько развитых цивилизаций, самая значительная из которых расцвела близ Южного полюса у горы Кадат.

Когда-то бесконечно давно большая часть земли оказалась под водами океана, и лишь несколько чудом спасшихся людей смогли донести эту весть в К'ньян. Это, несомненно, произошло из-за гнева космических злых духов, одинаково враждебных и людям, и их богам, и подтверждало слухи о более раннем затоплении, которое погрузило в воду самих богов, включая великого Тулу, до сих пор заточенного в подводном городе Релекс. Ни один человек, если он только не состоял на службе у космических демонов, не смог бы прожить на внешней поверхности земли; поэтому было решено, что все существа, которые остались там, связаны со злом. Таким образом всякое сообщение с солнечно-подлунным миром было резко прекращено. Подземные ходы в К'ньян были завалены, а оставшиеся тщательно охранялись, и все, кто проникал сюда снаружи, считались опасными лазутчиками и врагами.

Но это было давно. Шли века, и все меньше и меньше гостей приходило в К'ньян. В итоге часовых сняли с их постов, оставив входы незакрытыми. Многие из жителей подземного мира забыли о существовании внешней поверхности и видели ее только в смутных снах, хотя люди пообразованней хранили основные сведения о Земле. Последние посетители, которые спускались сюда века тому назад, уже не считались шпионами злых духов, поскольку старые предания давно потускнели. Их нетерпеливо расспрашивали, ибо научное любопытство здесь было весьма сильным, и время от времени даже делались попытки отправить на поверхность земли экспедицию, но все они кончались ничем. Единственное, что требовалось от гостей ради спокойствия жителей К'ньяна, — это воздержаться от возвращения наверх. Внешние люди слишком жаждут золота и серебра и могут причинить много беспокойства, узнай они о местных сокровищах. Те, кто повиновался этим предписаниям, жили

счастливы, хотя, к сожалению, недолго; они рассказывали все, что могли, о внешнем мире — впрочем, их рассказы были столь отрывочны и противоречивы, что вызывали сомнения. Хотелось, чтобы гостей приходило больше. Что же касается тех, кто пытался бежать, — с ними получалось нехорошо. Сам Самакона был очень желанным гостем, ибо оказался человеком более высокого ранга, чем все, кто спускался сюда на их памяти. Он многое мог бы рассказать, и они надеялись, что он смирится с мыслью о том, что остаток жизни ему придется провести здесь.

Многое из того, что Самакона узнал о К'ньяне, повергло его в изумление. Например, он узнал, что жители подземного мира разгадали феномен смерти, они не старели и не умирали, разве что в результате убийства или по собственной воле. Управляя своим организмом, можно было оставаться молодым столько, сколько пожелаешь, и единственной причиной, по которой некоторые люди все же старели, был их собственный каприз, доставлявший им развлечение в мире, где царили застой и обыденность. Но они опять могли стать молодыми, как только того пожелают. Рождения прекратились, так как многочисленное население было ненужным излишеством для их расы, легко контролирующей все природные явления и органическую жизнь. Многие, однако, предпочитали умереть через какое-то время, ибо, несмотря на все усилия изобрести новые развлечения, испытание бесконечностью оказалось слишком трудным для слабых людских душ. Всем членам группы, которая нашла Самакону, было от пятисот до полутора тысяч лет, и некоторые из них видели пришельцев с поверхности прежде, хотя время несколько притупило их память. Кстати, часть пришельцев пыталась перенять способность к бессмертию, но это им плохо удавалось из-за эволюционных различий, накопившихся за один-два миллиона лет раздельного развития.

Еще отчетливее эти эволюционные различия проявлялись в другой особенности — более поразительной, чем само бессмертие. Это была способность регулировать равновесие между материальной и духовной энергией. Иными словами, сделав необходимое усилие воли, образованный человек в К'ньяне мог дематериализоваться и воплотиться вновь, а применив более сложную технику, мог сделать то же самое с любым другим объектом по выбору, превратив материю в энергетические час-

тицы и вновь соединив эти частицы без повреждений. Если бы Самакона не отозвался на стук, он бы познакомился с этим достижением самым удивительным образом, потому что лишь хлопотность этого процесса удержала двадцать человек от того, чтобы пройти сквозь золотую дверь, не задерживаясь для окликов. Это искусство было гораздо древнее искусства вечной жизни, и ему можно было до некоторой степени обучить любого разумного человека. Слухи об этом в прошедшие века доходили до внешнего мира, сохранившись в тайных обрядах и легендах о призраках. Жителей К'ньяна забавляли эти примитивные байки, о которых им рассказывали гости сверху. В практической жизни это искусство использовалось в некоторых областях производства, но в целом оставалось мало задействованным из-за отсутствия какого-либо стимула к применению. В основном к нему прибегали во сне, чтобы увеличить яркость и живость ночных странствований. С помощью этого метода некоторые спящие даже наносили визиты в странный туманный мир холмов, долин и изменчивого света. Они отправлялись туда на своих животных и в мирное время переживали старинные славные битвы, случавшиеся в прежние века. Некоторые философы считали, что в таких путешествиях они действительно соединялись с нематериальными силами, оставшимися после их воинственных предков.

Жители К'ньяна обитали в большом, высоком городе Цат, расположенном далеко за горами. Раньше несколько рас обитало в подземном мире, который простирался вниз до непостижимой бездны и, кроме района голубого цвета, включал в себя красный район, называвшийся Йот; в нем археологи находили остатки еще более древней и нечеловеческой расы. С течением времени, однако, жители Цата покорили всех остальных и скрестили пленников с некоторыми рогатыми и четвероногими животными красного мира. Шли века, научные открытия сделали жизнь очень легкой, и потому все люди собрались в Цате, а остальные территории опустели.

Так было легче жить, не нужно было сохранять огромное население. Некоторыми старыми приспособлениями еще пользовались, но от большинства отказались, убедившись, что они не делают жизнь удобнее или что они не нужны малочисленному народу, чья умственная сила способна управлять низшими

формами органической жизни. Обширный класс рабов — довольно сложный по составу — был выведен из покоренных в древности врагов, пришельцев из внешнего мира, мертвых тел, странным образом оживленных, и из низших от рождения членов правящей расы. Правящая раса возникла путем сложной эволюции и селекции — нация прошла период идеалистической индустриальной демократии, которая предоставляла всем равные возможности и таким образом подняла к власти людей, талантливых от природы, то есть выкачала из народа его мозг и силу. Затем промышленность, признанная в основном бесполезной, за исключением обеспечения самых основных нужд, существенно упростилась. Все бытовые удобства обеспечивались механизмами стандартного и удобного в эксплуатации типа, а продовольственные и иные простейшие нужды удовлетворяли научное сельское хозяйство и животноводство. Отказавшись от дальних путешествий, люди вновь стали пользоваться для передвижения рогатыми получеловеческими животными вместо былых транспортных средств из золота, серебра и стали, которые когда-то ходили по земле, плавали по воде и летали по воздуху. Самаконе с трудом верилось, что все это когда-то существовало в реальности, а не в мечтах, но ему сказали, что он может посмотреть на образцы этих машин в музеях. Он также может познакомиться с остатками других многочисленных машин и приборов, совершив однодневное путешествие в долину До-Хна, которая была когда-то густо населена. Города и храмы этой равнины относились к самой древней эпохе, они стали религиозными святынями в период правления людей из Цата.

По форме правления Цат был чем-то вроде коммунистического или полуанархического государства, в котором привычка, а не закон, определяла каждодневный порядок вещей. Это стало возможным благодаря вековому опыту и парализующей людей скуке. Выработанная веками терпимость, еще не подорванная понемногу нараставшей реакцией, уничтожила все иллюзии и идеалы, и от людей требовалось только соблюдение обычаев. Удовлетворяя все возникающие у них потребности и живя в свое удовольствие, одни при этом не должны были ущемлять права других — это был простой и естественный закон. Понятие о семье давно кануло в вечность, а социальное и гражданское разделение полов исчезло. Жизнь текла официально размерен-

ным образом: игры, пирушки, пытки рабов, дневной сон, гастрономические удовольствия, буйные оргии, религиозные церемонии, художественные и философские дискуссии и прочее. Собственностью являлись главным образом земля, рабы и животные, а слитки магнетического металла, который служил универсальным денежным стандартом, распределялись по довольно сложному принципу, хотя некоторое их количество было разделено поровну между всеми свободными людьми. Бедных не было, а работа сводилась к определенным административным обязанностям, налагаемым хитроумной системой проверки и отбора. Самакона затруднялся описать эту систему, отличавшуюся от всего, что он знал, и текст его рукописи в этом месте чрезвычайно запутан.

Способности к искусству и умственному труду достигли в Цате очень высокого уровня, но и здесь царили вялость и упадничество. Прежнее преобладание механизмов нарушило эволюцию эстетического вкуса, введя безжизненную геометрическую традицию. От этого со временем избавились, но отпечаток остался, так что, кроме носивших условный характер религиозных рисунков, в любых последующих художественных творениях было мало глубины или чувства. Стилизованное воспроизведение более ранних работ было предпочтительнее для развлечения. Литература казалась чересчур аналитичной, и Самакона ее совершенно не понимал. Наука была серьезной, точной и всеобъемлющей, за исключением одного направления — астрономии. Последнее время, однако, и наука приходила в упадок: люди полагали бесполезным загружать свою память бесчисленными деталями. Считалось более разумным ограничиться самыми фундаментальными законами, а в философии — традиционными формами. Техника же продолжала развиваться эмпирическим путем. Историей пренебрегали все больше и больше, хотя точные и обширные хроники прошлого хранились в библиотеках. Этим все еще интересовались, и многих бы порадовали свежие сведения о внешнем мире, которые принес Самакона. В целом, однако, общая тенденция сводилась к предпочтению эмоций перед мыслью, так что людей теперь ценили за изобретение новых удовольствий, а не за классификацию старых фактов или исследование космического прошлого человечества.

Религия сохраняла в Цате ведущее значение, хотя лишь очень немногие по-настоящему верили в сверхъестественные силы. Все, чего они желали, было эстетическое и эмоциональное возбуждение, рождаемое мистическими настроениями и чувственными обрядами, которые присутствовали в красочной вере предков. Храмы великого Тулу, духа мировой гармонии, издревле изображаемого богом с головой осьминога, который привел людей со звезд, были самыми величественными зданиями в К'ньяне, а храмы Йига, источника жизни, символически изображаемого Отцом Всех Змей, были столь же вычурными, сколь и роскошными. Самакона узнал об оргиях и жертвоприношениях, связанных с этой религией, но, видимо, из благочестивых соображений не захотел описать их в своей рукописи. Сам он никогда не участвовал в этих обрядах, разве что в тех, которые напоминали ему собственную веру, а также не упускал случая попытаться обратить нижних людей в христианство, которое испанцы надеялись сделать всемирной религией.

Заметной чертой религии Цата было искреннее почитание редкого священного металла Тулу — этого темного, блестящего магнетического вещества, которое не встречалось в природе, но всегда сопровождало людей в виде идолов и других предметов священной атрибутики. С самых ранних времен этот металл вызывал уважение — раньше все архивные материалы хранились в цилиндрах, выполненных из его чистейшего сплава. Теперь, когда люди охладели к науке с ее критическим взглядом на вещи, они снова стали испытывать к металлу благоговейное чувство, которое существовало в первобытные времена.

Другая функция религии заключалась в регулировании календаря, учрежденного в тот период истории, когда время и скорость считались основными понятиями в жизни человека. Сменяющиеся периоды бодрствования и сна, удлиненные, сокращенные и смещенные так, как диктовало настроение и желание, и отмеряемые ударами хвоста великого змееподобного Йига, весьма приблизительно соответствовали реальным дням и ночам, хотя Самакона полагает, что они были в два раза длиннее. Годовой период, отмеряемый ежегодной сменой кожи Йига, был равен примерно полутора годам внешнего мира. Самакона считал, что он хорошо изучил местный календарь, когда писал

свою рукопись. Отсюда столь уверенно проставленная им дата — 1545 год, но едва ли его уверенность была обоснованной.

По мере того как один из жителей Цата передавал Самаконе свое сообщение, Самакона ощущал растущее отвращение и тревогу. Не только то, о чем ему рассказывали, но сама странная, телепатическая манера этого рассказа, а также ясный вывод из него, означавший, что возвращение во внешний мир будет невозможным, заставили Самакону пожалеть о своей аванюре. Но он понимал, что самым разумным для него было сохранять невозмутимый вид, поэтому он решил слушаться своих посетителей и поведать им обо всем, что они пожелают. Те, со своей стороны, были очарованы рассказом Самаконы.

Это была первая достоверная информация о внешнем мире с тех пор, как к ним добрались беглецы из Атлантиды и Лемурии — а это случилось много веков тому назад; все последующие посланники принадлежали к мелким местным племенам и не имели о мире в целом никакого представления — это были майя, тольтеки и ацтеки (в лучшем случае), люди, как правило, очень невежественные. Самакона был первым европейцем, которого они видели, и тот факт, что он был образованным и умным юношей, делал его появление еще более ценным. Пришедшая группа с напряженным интересом выслушала все, что он рассказал, и стало ясно, что его приход сильно оживит затухающий интерес жителей Цата к географии и истории.

Единственное, что не понравилось людям из Цата, было то, что любопытные и жадные до приключений люди с земли стали проникать в те части внешнего мира, где находились проходы в К'нъян. Самакона рассказал об открытии Флориды и Новой Испании и дал понять, что огромная часть мира, в которую входят испанцы, португальцы, французы и англичане, охвачена жадной открытий и завоеваний. Рано или поздно Мексика и Флорида станут частью великой колониальной империи, и тогда трудно будет удержать обитателей поверхности от поисков золота и серебра подземного мира, о которых ходят упорные слухи. Скачущий Бизон знает о путешествии Самаконы вглубь земли. Расскажет ли он об этом Коронадо или каким-то образом даст знать вице-королю об исчезновении Самаконы? На лицах жителей Цата появилась тень тревоги, и Самакона

понял из их мыслей, что с этих пор, несомненно, снова будут поставлены часовые у всех незакрытых входов, о которых жители Цата только смогут вспомнить.

V

Долгая беседа Самаконы с местными людьми происходила в зелено-голубом сумраке рощи прямо перед дверью храма. Некоторые из людей полулежали на траве рядом с едва заметной тропинкой, другие, включая испанца и главного в группе из Цата, сидели на низких монолитных столбах, что были расставлены вдоль тропинки к храму. Должно быть, они потратили на разговор весь земной день, так как Самакона успел несколько раз проголодаться и поесть из своих запасов, в то время как некоторые из группы уходили за провизией к дороге, где стояли их животные. Наконец главный в группе закончил разговор и дал понять, что пора отправляться в город.

Он заявил, что у них есть несколько свободных животных, на одном из которых может ехать Самакона. Перспектива сесть на одно из этих зловещих созданий, легенды о которых были столь пугающими и один вид которых обратил Скачущего Бизона в бегство, никак не вдохновляла путешественника. И еще одно обстоятельство беспокоило его — сверхъестественная разумность этих кочующих существ, которые смогли рассказать людям из Цата о его присутствии в храме и привести сюда экспедицию. Но Самакона не был трусом, поэтому он бодро зашагал за людьми по заросшей тропе к дороге, где расположились животные.

И все же он не смог сдержать крик ужаса, когда, пройдя через огромные, увитые растениями столбы, вышел на дорогу. Ничего удивительного, что любопытный вичита бежал в страхе, и Самакона на мгновение закрыл глаза, чтобы не потерять рассудок. К несчастью, религиозная сдержанность помешала ему описать полностью животных, которых он увидел. Он лишь намекнул на невероятную отвратительность этих огромных белых существ с черным мехом на спинах, зачаточным рогом в центре лба и пятнами явно человеческой крови на мордах с приплюснутыми носами и выпяченными губами. Они были, заявил он позднее в рукописи, самыми ужасными существами, которых он когда-

либо видел и в К'ньяне, и во внешнем мире, причем особый ужас вызывали некоторые их свойства, не поддававшиеся описанию обычными словами. Страшил сам по себе уже тот факт, что они не были в полной мере творениями Природы.

Люди заметили испуг Самаконы и постарались успокоить его, насколько это было возможно. Эти животные, или *гйаа-йотн*, объяснили они, конечно, выглядят очень странно, но на самом деле они весьма безобидны. Плоть, которой они питаются, не принадлежит людям высшей расы, это мясо рабов, практически переставших быть людьми и являющихся основным источником мяса в К'ньяне. Животные — а точнее, их останки — были найдены среди циклопических развалин опустевшего, освещенного красным светом мира Йот, который располагался под голубым миром К'ньяна. Какие-то признаки указывали на то, что они принадлежали к человеческому роду, но ученые так и не смогли решить, действительно ли они были потомками существ, которые жили раньше среди этих развалин. Основанием для такого предположения было то, что исчезнувшие жители Йота были четвероногими. Это было известно из немногочисленных рукописей и орнаментов, найденных в подземельях Зина, самого большого города Йота. Но было также известно, что обитатели Йота создавали искусственные формы жизни; в течение своей истории они сконструировали несколько видов промышленных и транспортных животных, не говоря уже о всевозможных фантастических существах, используемых для развлечений. Обитатели Йота, несомненно, были по происхождению рептилиями, и большинство психологов Цата соглашались в том, что нынешние животные также были близки к рептилиям до того, как их скрестили с млекопитающими из класса рабов К'ньяна.

Самакона подтвердил бесстрашный дух испанцев эпохи Возрождения, сев на одно из зловещих существ и заняв место рядом с руководителем процессии по имени Глл'-Хтаа-Инн, который проявил наибольшую активность в предшествующем разговоре. Ощущение было омерзительным, но в конце концов сидеть оказалось удобно, а поступь неуклюжего животного была на удивление ровной и размеренной. В седле не было необходимости, и животное не нуждалось в управлении. Процессия быстро двигалась вперед, останавливаясь только возле некоторых бро-

шенных городов и храмов, которые интересовали Самакону и которые ему показывал Глл'-Хтаа-Инн. Самый большой из этих городов, Б'граа, был воистину чудом из чистого золота, и Самакона с интересом рассматривал изысканно украшенные здания, высоко вздымавшие острые шпили. Улицы были узкими и извилистыми, а временами живописно холмистыми, но Глл'-Хтаа-Инн сказал, что более поздние города просторнее и правильнее спланированы. Во всех городах бросались в глаза развалины крепостных стен — напоминание о древних временах, когда их успешно покоряли армии из Цата.

Еще одно место Глл'-Хтаа-Инн показал по собственной инициативе, хотя для этого пришлось ехать в обход около мили по боковой дороге, заросшей вьющимися растениями. Это был приземистый плоский храм из блоков черного базальта без единого украшения, где находился лишь пустой пьедестал из оникса. Замечательной была его история, связанная со сказочным древним миром, по сравнению с которым даже Йот казался последним новшеством. Его построили в подражание некоторым храмам, изображенным в подземельях Зина, чтобы разместить там страшного черного жабоподобного идола, найденного в красном мире и в рукописях именуемого Цатоггуа. Это был могущественный и почитаемый бог, и он дал имя городу Цат, который позже стал главным в регионе. В легендах Йота говорилось, что Цатоггуа явился из загадочных внутренних областей, расположенных под миром, освещенным красным светом, — из черного мира, где царил абсолютный мрак, но были великие цивилизации и могущественные боги еще до того, как появились рептилии Йота. В Йоте существовало множество изображений Цатоггуа, и все они, как считали археологи из Йота, были завезены снизу. Этот мир, который в рукописях Йота назывался Н'кай, был исследован весьма тщательно, и его необычные каменные желоба возбудили в умах ученых множество самых невероятных предположений.

Когда люди из К'ньяна открыли мир красного света и расшифровали его странные рукописи, они охотно приняли культ Цатоггуа и перенесли изображения бога в свою страну, поместив их в святилища, сложенные из добытого в Йоте базальта, — вроде того, что сейчас видел Самакона. Культ Цатоггуа процветал и чуть не затмил собой древние культы Йига и Тулу; одна

ветвь племени даже вынесла его во внешний мир, где самое маленькое изображение было помещено в храме Олатое в стране Ломар, недалеко от Северного полюса. Ходили слухи, что этот культ существовал на земле даже после ледникового периода, пока волосатые племена не уничтожили Ломар, но об этом в К'ньяне было известно мало. Здесь же культ исчез так же внезапно, как и появился, хотя название Цата сохранилось.

Действительной причиной отмирания культа Цатогуа послужило более подробное исследование черного мира, принятое учеными К'ньяна. Согласно рукописям Йота, в Н'кае совсем не осталось жизни, но что-то, вероятно, произошло в промежутке между существованием Йота и приходом людей на землю, что-то, возможно связанное с концом Йота. Не исключено, что это было землетрясение, открывшее более низкие части подземного мира, которые доселе были закрыты для археологов из Йота, или, может быть, произошло ужасное соприкосновение с энергиями, совершенно непостижимыми для разума позвоночных. Во всяком случае, когда люди из К'ньяна спустились вниз, в черную бездну Н'кай, со своими огромными прожекторами, они обнаружили живых существ, которые медленно двигались по каменным каналам и поклонялись изображениям Цатогуа из оникса и базальта. Но они не были жабами, как сам Цатогуа. Гораздо хуже — это были аморфные массы вязкой черной слизи, которые временами приобретали различные формы. Исследователи из К'ньяна не стали задерживаться для подробных наблюдений, и те, кто остался в живых, опечатали проход, ведущий из красного мира вниз, в адскую глубину. Затем все изображения Цатогуа в К'ньяне были разрушены дезинтегрирующими лучами, а культ навечно запрещен.

Столетия спустя, когда наивные страхи были преодолены и вновь возобладало научное любопытство, в Цате вспомнили легенды о Цатогуа и Н'кае, и исследовательская группа, соответственно вооруженная и оснащенная, спустилась в Йот, чтобы отыскать закрытые ворота черной бездны и посмотреть, что еще могло находиться под ними. Но они не смогли их найти, и никто не смог этого сделать в последующие века. Теперь находились и такие, кто вообще сомневался, что какая-то бездна существовала, но несколько ученых, читавших рукописи Йота, считали это доказанным, тем более что сохранился отчет об

ужасной экспедиции в Н'кай. Некоторые из наиболее рьяных священнослужителей пытались уничтожить всякую память о мире Н'кай и назначали суровые кары за упоминание о нем, но ко времени появления здесь Самаконы это уже никем не принималось всерьез.

Когда процессия вернулась на прежнюю дорогу и подъехала к низкой гряде гор, Самакона увидел, что река находится совсем близко слева. Немного позже, когда местность стала подниматься, поток вошел в узкое ущелье и прошел сквозь горы, а дорога пересекла ущелье гораздо выше, почти у его верхнего края. Примерно в это же время пошел легкий дождь. Самакона заметил редкие капли и взглянул вверх в голубую бездну, но странное свечение не уменьшилось. Глл'-Хтаа-Инн сказал, что в такой конденсации водяного пара и выпадении дождя нет ничего особенного и что тучи никогда не закрывают голубого сияния. Что-то вроде легкой дымки действительно висело над низинами К'ньяна, восполняя отсутствие настоящих облаков.

Небольшой подъем горной дороги позволил Самаконе увидеть древнюю опустевшую равнину целиком. Он, видимо, оценил необычную красоту этих мест и смутно пожалел, что покидает их, потому что упоминает о том, как Глл'-Хтаа-Инн понуждал его ехать быстрее. Когда он вновь посмотрел вперед, то увидел конец дороги совсем близко. Она круто уходила вверх и резко обрывалась, словно упираясь в небо. Этот вид, несомненно, был глубоко волнующим — крутая стена зеленой горы справа, глубокий провал речной долины слева и другая зеленая гора за ней, а прямо впереди — океан голубоватых вспышек и внезапный обрыв. Затем они вззошли на самую вершину, и с нее открылась изумительная перспектива на мир Цата.

Самакона затаил дыхание при виде огромного заселенного ландшафта. Это было грандиознее всего, что он когда-либо мог себе представить. На сбегавшем вниз склоне горы расположились редкие фермы и храмовые постройки, а за ними лежала огромная равнина, расчерченная полями, как шахматная доска, усаженная деревьями, пересеченная узкими каналами, отведенными от реки, и пронизанная широкими, аккуратными дорогами из золотых и базальтовых плит. Длинные серебряные тросы, подвешенные на золотых столбах, соединяли храмы с группами домов, стоявшими тут и там; в некоторых местах были видны

ряды частично разрушенных столбов без тросов. По полям передвигались какие-то предметы, и, следовательно, они обрабатывались, кое-где люди пахали землю с помощью все тех же отвратительных четвероногих.

Но самым изумительным был вид шпилей и остроконечных крыш, поднимавшихся вдаль на равнине и живописно блестящих, как призрачные цветы, в голубом свете. Сначала Самакона решил, что это гора, покрытая домами и храмами, какие часто встречаются в его родной Испании, но более внимательный взгляд показал, что это не так. Город стоял на равнине, но его башни вздымались в небо так высоко, что придавали ему форму настоящей горы. Над городом висела сероватая дымка, сквозь которую сверкал голубой свет, принимая различные дополнительные оттенки от сияния золотых шпилей. Взглянув на Глль-Хтаа-Инна, Самакона понял, что это и есть чудовищный, гигантский и величественный город Цат.

Когда дорога свернула вниз, к равнине, Самакона почувствовал какое-то беспокойство и тревогу. Ему не нравилось животное, на котором он ехал, не нравился мир, сотворивший такое животное, ему не нравилась атмосфера, нависшая над далеким городом. Когда кавалькада стала проезжать отдельные фермы, испанец заметил фигуры, работавшие в полях, и ему не понравились их движения, их пропорции и те увечья, которые были у большинства. Более того, ему не понравилось, что некоторые из этих фигур стояли в загонах для скота или паслись в густой зелени. Глль-Хтаа-Инн объяснил, что эти существа относятся к классу рабов и что они работают на хозяина фермы, который утром с помощью гипноза внушает им, что они должны сделать за день. Производительность этих полудушевленных машин была невероятна. Те же, что находились в загонах, были низшими представителями класса и считались просто домашним скотом.

Доехав до равнины, Самакона увидел более крупные фермы и отметил, что отвратительные рогатые *гйаа-йотн* выполняли на них почти человеческую работу. Он также заметил фигуры, более похожие на человеческие, тащившиеся по бороздам, и ощутил необычайный испуг и отвращение. Это, объяснил Глль-Хтаа-Инн, были те, кого люди называли *им-бхи*, существа, которые умерли, но были механически оживлены для промышлен-

ных нужд средствами атомной энергии и силой мысли. Рабы не обладали бессмертием, как свободные жители Цата, поэтому со временем количество *им-бхи* сильно увеличилось. Они были верными и преданными работниками, но не так точно исполняли мысленные команды, как живые рабы. Самое большое отвращение вызывали те трупы, чьи увечья были особенно заметными: у одних не хватало головы, у других присутствовали странные и причудливые на вид искривления, перемещения и пересадки в разных местах. Глл'-Хтаа-Инн пояснил, что этих рабов использовали в кровавых боях, частенько проводившихся на специальных аренах, ибо люди из Цата были большими любителями острых ощущений и требовали все новых и новых зрелищ для стимуляции своей утомленной психики. И хотя Самакона не был слишком чувствительным человеком, его неприятно поразило то, что он услышал.

Вблизи городские здания внушали ужас своими чудовищными размерами и нечеловеческой высотой. Глл'-Хтаа-Инн пояснил, что верхние части башен больше не используются, и некоторые из них даже были сняты, чтобы не беспокоиться об их содержании. Равнина вокруг теперь застроена другими, низкими домами, которые гораздо предпочтительнее древних башен. От всей этой громады из золота и камня шел непрерывный гул, а по большим дорогам, вымощенным золотом и камнем, сновали потоки повозок.

Несколько раз Глл'-Хтаа-Инн останавливался, чтобы показать Самаконе отдельные интересные здания, например храмы Йига, Тулу, Нуга, Йеба и Невыразимого, которые стояли вдоль дороги через редкие промежутки, каждый в своей особой роще, как было принято в К'ньяне. Эти храмы, в отличие от тех, что остались на равнине за горами, активно посещались: большие группы всадников приезжали и отъезжали непрерывно. Глл'-Хтаа-Инн водил Самакону в каждый из храмов, и испанец наблюдал за изысканными и разнузданными обрядами со сложным чувством отвращения и восхищения. Ритуалы Нуга и Йига были особенно отталкивающими — до такой степени, что он даже воздержался от их описания в рукописи. По дороге им встретился только один приземистый черный храм Цагоггуа, но он был превращен в святилище Шуб-Ниггурат, Всеобщей Матери и жены Невыразимого. Это божество чем-то напомина-

до Астарту, и ее культ показался набожному католику в высшей степени отвратительным. Меньше всего ему понравились эмоциональные крики, издаваемые молящимися, — необычно резкие для людей, которые перестали пользоваться речью для общения.

Недалеко от предместий города, уже в тени его устрашающих башен, Глл'-Хтаа-Инн указал на уродливое круглое здание, перед которым выстроились огромные толпы. Это, сказал он, один из многих амфитеатров, где пресыщенные впечатлениями люди наблюдают довольно странные игры и забавы. Он хотел остановиться и провести Самакону внутрь, но испанец, припомнив изуродованные фигуры на полях, отчаянно запротестовал. Это была первая дружеская размолвка, из которой жители Цата поняли, что в моральном плане их гость слишком узок и ограничен.

Цат представлял собой густую сеть удивительных древних улиц, и, несмотря на растущее чувство страха и отчуждения, Самакона был очарован какой-то космической тайной, которая присутствовала в этом городе. Головокружительный гигантизм его башен, внушавших благоговейный страх, многолюдная жизнь на его нарядных проспектах, необычные орнаменты на дверях и окнах домов, странные виды, мелькающие на окруженных балюстрадами площадях и ярусах огромных террас, и окутывающая город серая дымка, которая, казалось, подобно низкому потолку давила на улицы, похожие на ущелья, — все это смешалось в сознании Самаконы, исподволь готовя его к новым, дотоле не испытанным ощущениям. Его сразу же привели на совет руководителей, который собрался во дворце из золота и меди, расположившемся в парке с фонтанами, и некоторое время дружелюбно допрашивали в сводчатом зале, украшенном причудливой фресковой живописью. От Самаконы ждали исторических сведений о внешнем мире и обещали, что, в свою очередь, все тайны К'ньяна будут открыты для него. Единственным недостатком было то, что совет принял неумолимое решение: Самакона никогда не вернется в мир солнца и звезд, в свою родную Испанию.

Была утверждена ежедневная программа для гостя. В нее входили беседы с учеными и уроки, посвященные научным открытиям Цата. Были предусмотрены свободные часы для ис-

следований, все библиотеки К'ньяна должны были распахнуться перед ним, как только он сможет понимать туземный язык. Будут посещения религиозных церемоний и представлений — кроме тех случаев, когда он сам этого не захочет, — и еще много времени останется для различных удовольствий, которые, собственно, и составляли цель и смысл жизни в этом мире. Ему отведут дом в пригороде или городские апартаменты и сделают членом одной из каст, которые заменяли в К'ньяне семейные союзы и включали множество потрясающе красивых аристократок. Несколько рогатых животных будут предоставлены ему для передвижения и выполнения разных поручений, и десять живых рабов с неповрежденным телом будут вести его хозяйство и защищать его от воров, бандитов и религиозных фанатиков на дорогах. Ему нужно будет научиться пользоваться многими механическими приспособлениями, а пока Глл'-Хтаа-Инн покажет ему самые необходимые.

После того как Самакона предпочел выбрать городскую квартиру вместо загородного дома, его учтиво и торжественно провели по нескольким великолепным улицам к зданию в семьдесят или восемьдесят этажей, похожему на высоченную скалу. Приготовления к его прибытию уже начались, и в просторных покоях на первом этаже рабы вешали портьеры и расставляли мебель. Там были покрытые инкрустациями и лаком скамеечки, бархатные и шелковые, с откидной спинкой и подушкой для сидения, бесконечные ряды стеллажей для бумаг из тикового и эбенового дерева с металлическими цилиндрами, в которых хранились рукописи, — обычный набор вещей, характерный для всех городских жилищ. Письменные столы с большими стопками пергамента и сосуды с зелеными чернилами были в каждой комнате — к ним прилагались наборы различных кисточек для краски и другие необычные канцелярские принадлежности.

Механические приборы для письма стояли на ярких золотых треножниках, а надо всем этим из энергетических шаров, закрепленных на потолке, струилось голубое сияние. Были и окна, но здесь, низко над землей, в тени, они давали мало света. В некоторых комнатах были установлены ванны, а на кухне находился целый лабиринт технических изобретений. Самаконе сказали, что продукты поставляются через сеть подземных ходов, находящихся под Цатом, с помощью любопытных механических

повозок. На этом же подземном уровне находилось стойло для животных, и Самаконе обещали показать ближайший выход из такого стойла на улицу. Не успел он закончить осмотр, как прибыла группа постоянных рабов и его познакомили с ними, немного погодя пришли полдюжины мужчин и женщин из семейной касты, которые должны были стать его спутниками на несколько дней, делая все возможное для его обучения и развлечения. Потом их место займут другие — и так далее по очереди.

VI

Таким образом, Панфило де Самакона на четыре года погрузился в жизнь зловещего подземного города Цат. В рукописи он явно утаивал некоторые подробности, религиозная сдержанность мешала ему, и когда он начинал писать на родном испанском языке, он не осмеливался излагать все. Многие вещи вызывали у него отвращение, и многое он отказывался делать. Он искупал свой грех частыми молитвами, перебирая четки. Он обследовал весь К'ньян, включая древние опустевшие города на заросшей кустарником равнине Нит, он спускался в страну красного света Йот, чтобы осмотреть циклопические руины. Он видел чудеса техники и мастерства, поразившие его воображение, он наблюдал метаморфозы, которые могут происходить с человеком, — дематериализацию, рематериализацию и воскрешение из мертвых, причем в последнем случае он неистово крестился. Даже его способность изумляться постепенно притупилась от избытка новых чудес.

Но чем больше он там находился, тем сильнее он хотел бежать, ибо жизнь в К'ньяне была основана на неприемлемых для него началах. Чем глубже он изучал историю, тем больше понимал эту жизнь, но это лишь усиливало его отвращение. Он чувствовал, что обитатели К'ньяна были людьми пропащими и опасными — более опасными для самих себя, чем они осознавали, — и что их безумная борьба со скукой и поиски новизны ведут к пропасти распада и предельного ужаса. Появление Самаконы усилило их беспокойство, не только породив боязнь вторжения извне, но и возбудив желание самим отправиться наверх и вкушать сладость иной, внешней жизни, о которой он им рассказывал. С течением времени он заметил растущую склон-

ность людей к дематериализации как к развлечению, так что квартиры и амфитеатры Цата превращались в настоящий бесовский шабаш. Он видел, как вместе со скукой растут злоба, жестокость и нигилизм. Ненормальных становилось все больше, всюду царили садизм, невежество и суеверие, а также стремление уйти из реальной жизни в мир грез и призраков.

Однако все его попытки бежать ни к чему не привели. Убеждать было бесполезно, высшие классы с трудом сдерживали свой гнев, видя настойчивое желание гостя покинуть их. В год, который он считает 1543-м, Самакона действительно попытался выбраться наружу через туннель, по которому попал в К'ньян, но после утомительного путешествия через пустынную равнину столкнулся в темном проходе с силами, которые надолго отбили у него охоту к такого рода опытам. Чтобы сохранить надежду и не забыть образ родного дома, он примерно тогда же начал делать черновые наброски своего жизнеописания, наслаждаясь добрыми старыми испанскими словами и знакомыми буквами латинского алфавита. Он вообразил, что должен каким-то образом доставить рукопись во внешний мир, а чтобы сделать ее еще более убедительной для своих собратьев, он решил вложить ее в один из цилиндров из металла Тулу, в каких хранились священные архивы. Это неизвестное магнетическое вещество могло бы подтвердить его невероятный рассказ.

Но даже думая об этом, он мало надеялся на то, что когда-нибудь выйдет на поверхность земли. Он знал, что все известные проходы охраняются людьми или существами, с которыми лучше не связываться. Его первая попытка усилила враждебность местных к внешнему миру, который он представлял. Он надеялся, что больше ни один европеец не забредет сюда, так как, скорее всего, нового гостя встретят иначе, чем его. Сам он был для них драгоценным источником знания и потому находился в привилегированном положении. Другие же, которых могли бы посчитать менее ценными, встретили бы здесь иной прием. Иногда он думал, что станет с ним самим, когда ученые из Цата решат, что выжали из него все сведения, и в целях самосохранения стал более скуп на информацию, делая вид, что знает еще очень много.

Еще одна угроза положению Самаконы заключалась в его интересе к черному миру под Йотом, чье существование рели-

гиозный культ К'ньяна был склонен отвергать. Исследуя Йот, он тщетно пытался найти закрытый вход в него, а потом делал опыты с дематериализацией и проецированием, надеясь таким образом послать свое сознание вниз, в бездну. Хотя он и не овладел до конца этим искусством, ему удалось пережить ряд зловещих и ужасных видений, которые, как он думал, включали в себя элементы действительного проецирования в пределы Н'каи. Эти сны сильно встревожили жрецов Тулу и Йига, когда он рассказал им о них, а его новоиспеченные друзья посоветовали ему не распространяться на эту тему. Со временем такие сны стали очень частыми, они сводили его с ума; в них было нечто, о чем он не осмелился написать для себя, но о чем составил специальный отчет для некоторых ученых Цата.

Может быть, к несчастью, а может, и к счастью, Самакона о многом умалчивал в основной рукописи, оставляя там много неразработанных тем. Главный документ позволяет лишь догадываться о подробностях нравов, обычаев, мыслей, языка и истории К'ньяна и не дает точного описания повседневной жизни Цата. Остается только гадать о настоящих мотивах поведения людей, их странной инертности и малодушной невоинственности, об их почти раболепном страхе перед внешним миром — страхе, который сохранялся, несмотря на то что они обладали атомной энергией и силой дематериализации, делающими их непобедимыми. Было видно, что К'ньян далеко ушел по пути упадка, а его стандартизованная и размеренная жизнь основывалась на использовании техники, созданной много поколений назад. Даже причудливые и отвратительные обычаи и образ мыслей говорили об упадке, так как Самакона во время своих исторических разысканий нашел подтверждение тому, что и в К'ньяне в прежние времена случались периоды классики и ренессанса, когда национальный характер народа и его искусство были исполнены того, что европейцы называют достоинством, добротой и благородством.

Чем больше Самакона вникал во все это, тем больше тревожился за будущее, видя, что вездесущее нравственное и интеллектуальное разложение было глубоко укоренившимся и прогрессирующим явлением. Даже за короткий период его пребывания здесь признаки распада заметно умножились. Рационалистическое сознание сменилось самым фанатическим и раз-

нузданным суеверием, выраженным в чрезмерном почитании магнетического металла Тулу, а терпимость неуклонно переходила в ненависть, особенно по отношению к внешнему миру, о котором ученые узнавали от Самаконы. Временами он начинал бояться, что однажды люди сбросят с себя апатию и хладнокровие и, как крысы, бросятся наверх, сметая все на своем пути при помощи своих все еще бесспорных технических и научных достижений. Но пока они боролись со скукой и душевной пустотой другими способами, щекоча свои нервы безумными развлечением. Арены Цата, должно быть, являли отвратительное зрелище — Самакона никогда не подходил к ним. А что будет в следующем веке или даже в следующем десятилетии, он даже и думать не осмеливался. Набожный испанец в эти дни еще неистовее осенял себя крестом и перебирал четки.

В 1545 году Самакона предпринял последнюю серию попыток бежать. Новая возможность представилась с неожиданной стороны — от женщины из семейной касты, которая испытывала к нему странное чувство личной привязанности, корнящееся в наследственной памяти о временах моногамного брака. На эту женщину — аристократку умеренной красоты и, по крайней мере, среднего ума по имени Т'ла-Йуб — Самакона имел необычайное влияние и легко склонил ее к побегу, пообещав, что возьмет ее с собой. Наконец представился удобный случай. Т'ла-Йуб происходила из знатной семьи хозяев ворот, в которой сохранялось предание об одном проходе во внешний мир — проходе к холму на равнинах, который, в силу того что большинство забыли о нем, никогда не охранялся. Она объяснила, что хозяева ворот вовсе не были их стражами, а только хранителями церемоний и хозяйственными владельцами в период, предшествовавший разрыву отношений с внешним миром. Ее собственная семья к тому времени стала настолько малочисленной, что этот проход во внешний мир совершенно упустили из виду, и с тех пор его существование хранилось в тайне, как своего рода наследственный секрет — источник гордости и чувства скрытой силы, возмещавших отсутствие богатства и влияния, которые их так раздражали в других представителях знати.

Теперь Самакона лихорадочно работал над рукописью, приводя ее в окончательный вид на тот случай, если с ним что-то произойдет; он решил взять с собой наверх лишь пять вьюков

с чистым золотом в форме небольших слитков, из которых отливали мелкие украшения, — достаточно, подсчитал он, чтобы обеспечить себе влияние и власть в верхнем мире. Он немного привык к внешности чудовищных животных за четыре года пребывания здесь, поэтому не отказался от их использования, но решил убить их, закопать и спрятать вместе с золотом, как только они выйдут на поверхность, поскольку знал, что от одного взгляда на этих животных любой индеец обезумеет. Потом он сможет подготовить соответствующую экспедицию и переправить сокровище в Мексику. Возможно, он возьмет Т'ла-Йуб с собой, а возможно, устроит ей жизнь среди индейцев, поскольку он вовсе не хотел сохранять связь с подземным миром. В жены он, конечно, возьмет испанскую даму или, на худой конец, дочь индейского вождя, кровно никак не связанную с подземным миром. Но пока надо было использовать Т'ла-Йуб в качестве проводника. Рукопись он понесет с собой в цилиндре из священного магнетического металла Тулу.

Сам поход описан в дополнении к рукописи — почерком, выдающим сильное волнение. Они отправились в путь с большими предосторожностями, выбрав время, когда все отдыхали, и шли, держась наименее освещенных проходов под городом. Самакону и Т'ла-Йуб, одетых как рабы, с мешком продуктов и пятью нагруженными животными, легко принимали за обычных рабочих, и они старались как можно дольше идти под землей, следуя по длинному и редко посещаемому коридору, по которому прежде ходил механический транспорт к ныне разрушенному пригороду Л'таа. Среди развалин Л'таа они вышли на поверхность, после чего как можно быстрее пересекли пустынную, освещенную голубым светом равнину Нит по направлению к цепи низких гор Грх'йан. Там, среди густого кустарника, Т'ла-Йуб нашла давно заброшенный, полумифический вход в туннель — она видела его прежде лишь однажды, очень давно, когда отец взял ее с собой сюда, чтобы показать ей этот предмет семейной гордости. Было трудно заставить тяжело нагруженных животных продираться через застилающие проход выющиеся растения и заросли вереска; одно из них даже проявило непокорность, вырвалось и поскакало на своих мерзких лапах обратно в Цат, унося часть бесценного золотого груза.

Это был кошмарный труд — при свете голубых факелов тащиться вверх, вниз, вперед и снова вниз по сырому, загроможденному проходу, где целые века не ступала нога человека; в одном месте Т'ла-Йуб пришлось даже применить страшное искусство дематериализации к себе, Самаконе и животным, чтобы пройти участок, полностью забитый сдвинувшимися пластами земли. Для Самаконы это было жутким испытанием, так как хотя он и присутствовал при дематериализации других и даже сам практиковал ее на стадии сновидений, но никогда прежде не подвергался ей целиком. Но Т'ла-Йуб была искусна и выполнила все прекрасно.

Затем они шли через жуткие склепы со сталактитами, где на каждом повороте на них злобно смотрели чудовищные изображения; время от времени они отдыхали. Наконец они пришли к очень узкому месту, где естественные скалы уступали место стенам искусственной кладки, покрытым жуткими барельефами. Эти стены после примерно мили крутого подъема кончались парой глубоких ниш, в которых сидели чудовищные изваяния Тулу и Йига, уставившиеся друг на друга через проход. Они попали в громадный круглый сводчатый зал, весь покрытый ужасными орнаментами; за ним открывался лестничный проход. Т'ла-Йуб знала из семейных преданий, что теперь они были очень близко к поверхности земли, но насколько близко, сказать не могла. Здесь они сделали привал, последний, как им казалось, во внутреннем мире.

Где-то несколько часов спустя звяканье металла и топот звериных ног разбудили Самакону и Т'ла-Йуб. Через мгновение все стало ясно. В Цате была поднята тревога тем самым бежавшим от Самаконы животным, и был направлен отряд, чтобы схватить беглецов. Сопротивляться было бесполезно. Отряд из двенадцати человек проявил известную сдержанность, и возвращение происходило почти без единого слова или обмена мыслями с обеих сторон.

Это было унылое путешествие, а дематериализация показала Самаконе еще ужасней из-за отсутствия надежды и ожидания, которые облегчали его путь наверх. Самакона слышал, как отряд обсуждал необходимость расчистки этого места с помощью мощного излучения, так как впредь здесь будут установлены часовые. Нельзя позволять чужакам проникать внутрь и

бежать наверх без должной обработки, ибо они могут оказаться достаточно любопытными, чтобы вернуться назад с армией. Надо установить часовых даже на самых дальних входах, набрав их из живых и мертвых рабов или из скомпрометировавших себя свободных граждан. С освоением американских равнин тысячами европейцев каждый такой проход представлял собой потенциальную опасность, а ученые из Цата еще не подготовили достаточно мощной энергетической машины, чтобы завалить все входы.

Самакона и Т'ла-Йуб предстали перед трибуналом во дворце из золота и меди позади парка с фонтанами, и испанцу даровали свободу, потому что все еще нуждались в его рассказах о внешнем мире. Ему велели вернуться в свою квартиру, к своей семейной касте и вести жизнь как прежде, продолжая принимать депутации ученых в соответствии с установленным распорядком. На него не будет налагаться никаких ограничений, пока он будет мирно жить в К'ньяне, но ему намекнули, что подобная снисходительность не повторится после следующей попытки к бегству. Самакона уловил легкую иронию в последних словах главного судьи — в заверении, что все его животные, включая бежавшее от него, будут ему возвращены. Т'ла-Йуб постигла худшая участь. Поскольку беречь ее не было смысла, а древняя родословная придавала ее предательству еще большую греховность, суд приговорил женщину к использованию в амфитеатре, чтобы затем в искаженном и полудематериализованном виде превратить в живого раба или полутруп и поместить среди часовых, охраняющих тот выход, через который она пыталась провести Самакону. Самакона потом с ужасом и стыдом узнал, что бедная Т'ла-Йуб вышла из амфитеатра без головы и неполноценной во многих других отношениях и была поставлена наружным стражем на кургане, где кончался проход. Ему сказали, что она стала ночным призраком, чьей механической обязанностью было предупреждать визиты новых гостей, сообщая группе из двенадцати мертвых рабов и шести живых о появлении людей. Она работала, сказали ему, вместе с дневным призраком — живым свободным человеком, который выбрал этот пост в качестве наказания за другое преступление против государства. Самакона знал, что большинство часовых были именно преступниками.

Теперь ему ясно дали понять, что в случае побега его также сделают часовым, но в виде мертвого раба и после более живописной обработки, чем та, которой подверглась Т'ла-Йуб. Ему дали понять, что в этом случае его — точнее, какие-то его части — оживят, чтобы он мог охранять внутренние коридоры в пределах видимости для остальных, и его расчлененная фигура будет служить символом кары за предательство. Но это, конечно, вряд ли случится, прибавляли его осведомители. Пока он будет мирно жить в К'ньяне, он будет оставаться свободным, привилегированным и уважаемым человеком.

В конце концов Панфило де Самакона навлек на себя судьбу, на которую ему так зловеще намекали. И хотя он не хотел верить в это, но заключительная, лихорадочно написанная часть его рукописи говорит о том, что он не исключал такой возможности. Последнюю надежду на бегство из К'ньяна давало ему искусство дематериализации, в котором он немало преуспел. Изучая ее годами и дважды испытав на себе, он понял, что может использовать ее самостоятельно. В рукописи приведено несколько замечательных опытов — скромных успехов, достигнутых в его квартире; там же выражена надежда, что вскоре он сможет принять форму призрака и оставаться невидимым столько, сколько пожелает.

Как только это случится, писал он, путь наверх будет открыт. Конечно, он не сможет унести никакого золота, но достаточно и просто спастись. Впрочем, он возьмет с собой и дематериализует рукопись в цилиндре из металла Тулу, и, хотя это и потребует от него дополнительных усилий, он сделает это, так как рукопись и металл должны попасть во внешний мир. Он теперь знал выход, и если бы он смог преодолеть его в состоянии рассеянных атомов, то ни один человек и ни одна сила не смогли бы его остановить. Но более всего его беспокоило то, что он, возможно, не сможет удерживать свою призрачность достаточно долгое время. Это была единственная реальная опасность, как он понял из прежних опытов. Но настоящий мужчина всегда готов пойти на риск. Самакона был дворянином из Старой Испании, в его жилах текла кровь тех, кто пошел навстречу неведомому и покориł цивилизации Нового Света.

Много дней и ночей после принятия окончательного решения Самакона молился святому Памфилию и другим святым,

перебирая четки. Последней записью в его рукописи, которая к концу все более напоминала дневник, была такая фраза: «Es mas tarde de lo que pensaba — tengo que marcharme...» — «Уже поздно, пора отправляться в путь...» После этого следовал чистый лист. Можно лишь догадываться о том, что произошло с ним дальше.

VII

Когда я оторвался от этого ошеломляющего чтения, утреннее солнце уже стояло высоко. Электрическая лампа еще горела, но эти признаки реального мира были бесконечно далеки от моего взволнованного сознания. Я знал, что нахожусь в доме Клайда Комптона в Бингере, но думал совсем о другом. Что это? Мистификация или род безумия? Если это розыгрыш, то какого времени: семнадцатого века или современный? На мой не совсем опытный взгляд, древний возраст рукописи казался несомненным, а над тем, что представлял собой странный цилиндр, я даже не решался задумываться.

Но какое ужасающе точное объяснение всему, что происходит на холме, давала эта рукопись — всем этим дневным и ночным призракам, а также странным случаям безумия и полного исчезновения! Это было пугающе *правдоподобное* и зловеще *последовательное* объяснение — если бы только можно было принять его за истину. Все же это больше походило на жуткую мистификацию. В рассказе о подземном деградирующем мире был даже явный элемент социальной сатиры. Наверняка это была искусная выдумка какого-то ученого-циника — что-то вроде свинцовых крестов в Нью-Мексико, которые однажды якобы нашел некий шутник, заявив, что это останки европейской колонии времен Темных веков.

Я не знал, что сказать Комптону и его матери, а также любопытствующим гостям, которые уже начали стекаться в дом. Все еще находясь в замешательстве, я разрубил этот гордиев узел, зачитав несколько фрагментов из рукописи и пробормотав, что это тонкая и оригинальная подделка, оставленная кем-то из предыдущих исследователей кургана, и все, похоже, поверили мне. Более того, казалось, все приняли эту версию с облегчени-

ем. Они словно забыли, что сам курган предлагал немало загадок, решить которые мы были не в силах.

Страхи и сомнения стали возвращаться, когда я принялся искать добровольцев пойти на холм вместе со мной. Я хотел организовать большую поисковую группу для раскопок, но эта мысль, как и прежде, отнюдь не привлекала жителей Бингера. Я и сам чувствовал поднимающийся во мне ужас, когда смотрел на курган и видел движущееся пятнышко, которое, как я знал, было дневным призраком; очевидно, несмотря на весь мой скептицизм, рукопись все же произвела на меня неизгладимое впечатление. У меня не хватало решимости взглянуть на движущееся пятнышко в бинокль. Вместо этого я отправился на холм с той смелостью, которая посещает нас в ночных кошмарах. Мой заступ и лопата остались там, поэтому я взял с собой только саквояж с мелкими принадлежностями. В него я положил цилиндр и его содержимое, смутно чувствуя, что, возможно, натолкнусь на нечто похожее на описанное в рукописи. Даже если это мистификация, она, вероятно, основана на каких-то реальных вещах, которые обнаружил предыдущий исследователь, а магнетический металл был чертовски странен! Таинственный амулет Серого Орла все еще висел на кожаном шнурке у меня на шее.

Шагая к холму, я не смотрел на него, и, когда подошел близко, там уже никого не было. В то время как я карабкался наверх, меня тревожили воспоминания о рукописи. Если все, описанное в ней, правда, то испанец Самакона едва ли достиг внешнего мира — возможно, он стал видимым, и в этом случае его заметил страж на посту, или провинившийся свободный человек, или, по иронии судьбы, та самая Т'ла-Йуб, которая помогала ему в первой попытке к бегству. Пока Самакона боролся со стражем, цилиндр с рукописью вполне мог выпасть на вершине кургана, чтобы пролежать забытым почти четыре столетия. Но, убеждал я себя, перелезая через гребень, не стоит думать о таких нелепых вещах. Все же, если это и в самом деле произошло, Самакону, видимо, уволокли назад, и его постигла чудовищная участь: амфитеатр, увечья и служба где-нибудь в промозглом коридоре в качестве полутрупа-раба...

Но все эти мысли были прерваны шоком, когда я, оглядевшись вокруг, обнаружил, что мои лопата и заступ были похище-

ны. Это было очень досадное обстоятельство, а кроме того, совершенно непостижимое, так как едва ли кто из жителей Бингера ходил ночью на холм. Может, они только притворялись испуганными, а на самом деле сыграли со мной злую шутку, когда провожали меня десять минут тому назад на курган? Я взял бинокль и внимательно осмотрел толпу на краю поселка. Нет, непохоже, что они ломали комедию; и все же, может быть, все это только грандиозная шутка, в которой участвовали поселок и резервация, — все эти легенды, рукопись, цилиндр, прочее? Я вспомнил, как видел издалика часового, как потом он исчез; еще вспомнил Серого Орла и его речи, выражение лиц Комптона и его мамы, явный страх жителей поселка Бингер. Вряд ли это был розыгрыш. Но, очевидно, нашлись в Бингере один-два шутника, которые отважились прокрасться к холму и унести мой инструмент.

Все остальное на холме было по-прежнему — вырубленный мачете кустарник, небольшая чашеобразная впадина ближе к северному краю и отверстие, которое я проделал, выкапывая магнетический цилиндр. Я решил не доставлять удовольствие тем шутникам, которые украли мой инструмент, и работать мачете и ножом, которые лежали в моем саквояже; итак, вынудив их, я принялся расширять чашеобразное углубление, которое могло быть предполагаемым входом в курган. Когда я приступил к работе, я снова почувствовал внезапный порыв ветра, который казался более сильным, чем вчера, и напоминал прикосновение к моему запястью с целью помешать раскопкам. Все это происходило по мере того, как я приближался сквозь опутанную корнями красную почву к черной глине под ней. Амулет у меня на груди стал странно подергиваться под этим ветром, но не в каком-то определенном направлении, как раньше, когда я нашел цилиндр, а совершенно беспорядочно.

Затем неожиданно черная земля у моих ног начала с треском проваливаться, и в то же самое время я услышал глубокий звук чего-то падающего подо мной. Ветер подул изнутри, он словно помогал мне выбраться наверх, когда я отпрянул от образовавшейся воронки. Наклонившись над ее краем и обрубая нависшие корни, я почувствовал, что мне что-то мешает, но эта сила была слишком слабой, чтобы остановить меня. Наконец впади-

на стала расширяться сама по себе, и я увидел, что земля осыпается в какую-то пустоту. Еще несколько ударов мачете довершили дело, и из впадины на меня дохнул холодный и чужеродный воздух. Под утренним солнцем зияло огромное отверстие по крайней мере в три фута шириной, обнажая верхние ступени каменного лестничного пролета, по которому все еще сыпалась обрушившаяся вниз земля. Мои поиски наконец увенчались успехом! С восторгом я бросил мачете и нож обратно в саквояж, вынул мощный электрический фонарь и приготовился к одинокому, триумфальному и безрассудному вторжению в легендарный нижний мир, который я обнаружил.

Сначала было очень тяжело спускаться — как из-за продолжающей осыпаться земли, так и из-за зловещих порывов ветра снизу. Амулет мой странно раскачивался, и я начал жалеть о том, что покинул дневной свет. Электрический фонарь освещал влажные, покрытые солью стены из огромных базальтовых плит, тут и там я различал следы резьбы на них. Я крепче сжал свой саквояж и с радостью нащупал револьвер в правом кармане куртки. Немного погодя проход стал поворачивать в разные стороны, а лестница сделалась шире. Резьба на стенах прослеживалась нечетко, и я вздрогнул, заметив, насколько причудливые рисунки соответствуют чудовищным барельефам на цилиндре, который я нашел. Ветер продолжал злобно дуть навстречу, и на одном или двух поворотах мне почти показалось, что фонарь осветил прозрачные, тонкие формы, похожие на часового на холме, каким он был виден в бинокль. Я на мгновение остановился, чтобы взять себя в руки. Нельзя было позволить себе сорваться в самом начале тяжелого испытания и самого важного этапа моей археологической карьеры.

Но лучше бы я не останавливался. Я заметил маленький предмет, лежавший у стены на одной из ступеней, и эта находка заставила меня глубоко задуматься. То, что здесь не ступала нога живого существа в течение нескольких поколений, было очевидно, судя по скоплению земли над входом, тем не менее лежавший передо мной предмет был совсем не старый. Это был электрический фонарь, очень похожий на тот, что я держал в руках, — только покоробившийся и проржавевший. Я спустился на несколько ступеней вниз и поднял его, смахнув с корпуса ржавый налет. На одной из никелированных сторон оказались

выгравированы имя и адрес, и я, вздрогнув, прочел их. Надпись гласила: «Джас. С. Уильямс, 17 Св. Троубридж, Кембридж, Масс» — и я понял, что он принадлежал одному из двух смелых преподавателей колледжа, исчезнувших 28 июня 1915 года. Всего тринадцать лет назад, а я-то думал, что только что пробился сквозь пласты веков! Как эта вещь попала сюда? Есть ли здесь другой вход, или все же в этих рассказах о дематериализации было что-то здоровое?

Сомнение и ужас росли во мне по мере того, как я следовал дальше по бесконечной лестнице. Неужели она никогда не кончится? Орнаменты становились все более и более отчетливыми и принимали вид повествований в картинках, что почти привело меня в состояние паники, ибо я узнал многие перипетии истории К'ньяна, как они были описаны в рукописи, лежавшей сейчас в моем саквояже. Я впервые задумался над тем, стоит ли мне спускаться дальше и не лучше ли повернуть назад, пока я не наткнулся на что-нибудь, способное свести меня с ума. Но я был родом из Виргинии, и кровь моих благородных предков-воинов протестовала против отступления перед опасностью.

Я спускался все быстрее, стараясь не смотреть на рисунки на стенах. Наконец я увидел сводчатый проем и понял, что лестница кончилась. Но вместе с этим ко мне вернулся ужас, ибо я узнал тот самый резной зал, о котором читал в рукописи Самаконы.

Это было то самое место. Ошибки быть не могло. Если и оставались какие-нибудь сомнения, то они рассеялись после того, что я увидел дальше. А дальше шел проем под аркой, по сторонам которой находились две огромные ниши друг против друга с отвратительными исполинскими изваяниями знакомого вида. Это были жуткие Тулу и Йиг, глядевшие здесь друг на друга со времен ранней юности человечества.

С этого момента я не требую доверия к тому, что рассказываю, ибо это слишком неправдоподобно, слишком чудовищно и невероятно, чтобы быть правдой. Хотя мой фонарь и отбрасывал мощный сноп света, он, разумеется, не мог осветить весь циклопический склеп, поэтому я начал двигаться вдоль стен, чтобы рассмотреть их хорошенько. К своему ужасу, я заметил, что склеп загроможден различной утварью и мебелью, которыми как будто совсем недавно пользовались. Но едва мой фонарь

задерживался на каком-нибудь предмете, его контуры начинали таять, пока не становились призрачными.

Все это время ветер яростно дул на меня, а невидимые руки злобно толкали и хватали амулет, болтавшийся у меня на шее. Дикие мысли и образы носились в моем сознании. Я думал о рукописи и о том, что в ней говорилось о гарнизоне, размещенном в этом месте: двенадцать мертвых рабов и шесть живых, но частично дематериализованных свободных людей — так было в 1545 году, 384 года назад... А что с тех пор? Самакона предсказывал дальнейшую деградацию... развитую дезинтеграцию... еще большую дематериализацию... все хуже и хуже... что оставляло их... амулет Серого Орла из священного металла Тулу... хотели ли они сорвать его, чтобы сделать со мной то же самое, что и с теми, кто приходил сюда раньше?.. Я вдруг понял, что верю рукописи Самаконы. Нет, так нельзя! Я должен взять себя в руки!

Но будь все проклято — как только я пытался взять себя в руки, я сталкивался с чем-то таким, что снова выводило меня из равновесия! Как только я усилием воли отвлекся от наваждения, мой фонарь осветил два предмета, которые были явно из реального мира, но они потрясли мой рассудок сильнее, чем все, что я видел до сих пор. *Это были мои собственные лопата и заступ, аккуратно прислоненные к стене в этом адском склепе!* Боже правый, а я-то хотел все свалить на шутников из Бингера!

Это было слишком. После этого проклятый гипноз рукописи овладел мною окончательно, и я действительно *увидел* призрачные фигуры тех, кто тащил и дергал меня, — этих прокаженных древних созданий, в которых все же сохранилось что-то от людей... этих ужасных существ — четырехногих исчадий ада с обезьяньими мордами и рогами... И ни единого звука в крошечной тьме!

Потом я все же услышал звук — хлюпанье, шлепанье, глухой приближающийся шум, который возвещал о присутствии существа столь же материального, как мои лопата и заступ. Я попытался сосредоточиться и подготовиться к тому, что мне предстояло увидеть, но не смог представить себе ничего определенного. Я мог только повторять снова и снова: «Оно из бездны, но

это не призрак». Шлепанье становилось все отчетливее, и по его однообразно-механическому ритму я понял, что приближалось несомненно мертвое существо. Затем — о боже! — *я увидел его в свете моего фонаря, увидел его стоящим, как страж, в узком проходе между кошмарными идолами змееподобного Йига и осьминогоголового Тулу!..*

Дайте мне прийти в себя и попытаться рассказать о том, что я увидел; объяснить, почему я бросил фонарь и саквояж и с пустыми руками метнулся обратно в темноту, охваченный спасительным беспмятством, которое длилось до тех пор, пока я не очнулся от яркого света солнца и доносившихся из поселка криков: я лежал, задыхаясь, на вершине проклятого кургана. Мне рассказали, что я появился через три часа после того, как исчез, и тотчас упал на землю, словно сраженный пулей. Никто не осмелился пойти и помочь мне, люди только пытались привлечь мое внимание криками и пальбой из пистолетов.

В конце концов это сработало, и, придя в себя, я почти скатился по склону холма, стремясь убраться как можно дальше от этого проклятого места. Все мои вещи остались внизу, но нетрудно понять, что ни я, ни кто другой за ними не пошел. Когда я добрался до поселка, я смолчал об увиденном. Я только бормотал что-то неопределенное об орнаментах, статуях, змеях и расстроенных нервах. Мне сказали, что призрак индейца появился на холме примерно тогда, когда я был на полпути к поселку. Я покинул Бингер в тот же вечер и никогда больше не возвращался туда, хотя до меня доходят слухи о призраках, которые все еще бродят по вершине кургана.

Но я хочу наконец сообщить о том, чего не решился рассказать людям в Бингере. Я и сейчас не знаю, как смогу справиться с этим, и если в итоге вам покажется странной моя сдержанность, то вспомните, что одно дело — вообразить этот ужас, а увидеть воочию — *совсем другое*. Помните, как в начале этой истории я упомянул о молодом человеке по имени Хитон, который однажды в 1891 году отправился на холм и вернулся оттуда ночью полным идиотом, восемь лет бормотавшим о каких-то ужасах и умершим в припадке эпилепсии?

Вот что он все время говорил: *«Этот белый, о боже, что они с ним сделали!..»*

Так вот, я увидел то же, что бедняга Хитон, но я увидел это после того, как прочел рукопись, и знал больше его. Это было еще хуже, потому что я знал, что это все *означает*, знал обо всем, что живет и разлагается там, внизу. Итак, *оно* шагнуло мне навстречу и стало, как страж, в проходе между ужасными статуями Йига и Тулу. Конечно, оно было часовым. Его сделали стражем в наказание, и оно было совершенно мертво; кроме того, у него не хватало головы, рук, нижних частей ног и других привычных для человека членов. Когда-то оно было вполне человеческим существом, и оно было *белым человеком*. Но потом, если верить рукописи, его использовали для *развлечений в амфитеатре*, пока оно не умерло и не стало механическидвигающимся трупом, направляемым волей извне.

На его белой, слегка волосатой груди были вырезаны или выжжены — я не стал внимательно рассматривать — какие-то письмена. Я лишь отметил, что они были сделаны на неуклюжем и нескладном испанском языке; писал явно не испанец, человек, плохо знакомый с испанскими выражениями и с латинским алфавитом. Надпись гласила:

«Secuestrado a la voluntad de Xinaián en el cuerpo decapitado de Tlayúib» — «Схвачен по воле К'ньяна, направлявшей безголовое тело Т'ла-Йуб».

ЛОКОНЫ МЕДУЗЫ

(с *Зелией Бишоп*)

I

Путь к Кейп-Жирардо пролегал по незнакомой местности, и, когда лучи предзакатного солнца приобрели сказочный густо-золотой оттенок, я понял, что надо спросить дорогу, иначе мне не добраться до города к ночи. Мне совершенно не хотелось мотаться по унылым равнинам южного Миссури после наступления темноты, поскольку грунтовые шоссе здесь находились в прескверном состоянии и в открытом автомобиле ноябрьский холод пробирал до костей. Вдобавок на горизонте собирались тучи, и потому я принялся внимательно обследовать плоские коричневатые поля, исчерченные длинными серыми и голубыми тенями, в надежде заметить какой-нибудь дом, где можно будет получить нужные сведения.

То был пустынный, безлюдный край, но наконец я разглядел крышу среди купы деревьев на берегу маленькой речушки — дом стоял примерно в полумиле от шоссе, по правую руку от меня, и к нему наверняка вела аллея или тропа, которую я вскоре увижу. За неимением поблизости другого жилья я решил попытаться счастья там и премного обрадовался, увидев за кустами на обочине полуразрушенные резные каменные ворота, увитые сухими, мертвыми стеблями плюща и густо заросшие подлеском, каковое обстоятельство объясняло, почему издалека я не различил подъездную дорогу, тянущуюся через поля. Проехать здесь явно не представлялось возможным, а посему я аккуратно припарковал автомобиль у ворот, где плотные кроны вечнозеленых деревьев послужили бы для него защитой в случае дождя, и двинулся к дому пешком.

Пробираясь сквозь заросли кустарника в сгущающихся сумерках, я начал испытывать дурные предчувствия, порожденные, вероятно, зловещей атмосферой разрухи и запустения, что витала над старыми воротами и заброшенной подъездной аллеей. Судя по затейливой резьбе на каменных воротных столбах, здесь некогда находилось весьма и весьма богатое поместье; и я видел, что изначально дорогу с обеих сторон окаймляли ряды лип, часть которых к настоящему времени погибла, а остальные уже никак не походили на культурные насаждения среди окружающей дикой поросли.

Колючки дурнишника и репы крепко цеплялись за одежду, и вскоре я уже начал задаваться вопросом, а живет ли здесь вообще кто-нибудь. Может, я понапрасну трачу время и силы? На миг я почувствовал искушение вернуться обратно и попытаться удачи на какой-нибудь ферме дальше по шоссе, но уже в следующий момент вид показавшегося впереди дома возбудил во мне любопытство и азарт искателя приключений.

Было что-то чарующе-притягательное в окруженном деревьями обветшалом здании, явившемся моему взору, ибо оно свидетельствовало об изяществе и роскоши минувшей эпохи, воплощенных в чертах, характерных для архитектуры южных штатов, а не здешних краев. То был типичный плантаторский особняк, построенный по классическому архитектурному образцу начала девятнадцатого века: двухэтажный, с мансардой и большим ионическим портиком, колонны которого поддерживали треугольный фронтон на уровне мансарды. Здание явно находилось в состоянии крайнего упадка: одна из мощных колонн сгнила и обвалилась, а верхняя наружная галерея (или длинный балкон) угрожающе провисла. Насколько я понял, прежде рядом с ним стояли другие строения.

Поднимаясь по широким каменным ступеням на низкую веранду, к входной двери с веерообразным оконцем над ней, я вдруг здорово занервничал и сунул в зубы сигарету, собираясь закурить, но уже секунду спустя отказался от этой затеи, сообразив, что высохшее дерево повсюду вокруг может запросто вспыхнуть от малейшей искры. Хотя теперь представлялось очевидным, что дом необитаем, я все же не посмел нарушить царящий здесь

величественный покой, предварительно не постучавшись, а по-сему с усилием приподнял залипшее дверное кольцо, изъеденное ржавчиной, и несколько раз осторожно брякнул в дверь, отчего все строение, как мне почудилось, сотряслось и жалобно затрещало. Ответа не последовало, но я снова постучал скрипящим массивным кольцом — столько же из желания рассеять тишину запустения, сколько с намерением привлечь внимание возможного обитателя сей руины.

Со стороны реки доносилось печальное воркование голубя, а журчание самого потока слышалось еле-еле. Словно в полусне, я подергал древний засов и крепко толкнул большую шестифиленчатую дверь. Она оказалась незапертой и неохотно открылась под моим напором, цепляясь за порог и визжа ржавыми петлями.

Я вступил в просторный, погруженный в полумрак холл, но уже в следующий миг пожалел о таком своем шаге. Не потому, что в этом сумрачном пыльном холле, обставленном старинной мебелью в стиле ампир, меня встретили полчища призраков, а потому, что я сразу понял: дом вовсе не пустует. Ступени широкой резной лестницы поскрипывали под тяжестью неуверенных шагов — кто-то медленно спускался вниз. Потом я увидел высокую сгорбленную фигуру, которая на мгновение вырисовалась на фоне большого палладианского окна на лестничной площадке.

Первый приступ ужаса быстро прошел, и, когда человек спустился по последнему лестничному маршу, я уже приготовился поприветствовать домовладельца, чье уединение нарушил. В полумраке я увидел, как он полез в карман за спичками и зажег маленькую керосиновую лампу, стоящую на шатком пристенном столике у подножия лестницы. В тусклом свете взору моему явился очень высокий, сутулый, изможденный старик, неряшливо одетый и небритый, но с осанкой и манерами истинного джентльмена.

Не дожидаясь, пока он подаст голос, я принялся торопливо объяснять свое появление здесь:

— Прошу прощения, что вошел без спроса, но, когда на мой стук никто не отозвался, я решил, что дом пустует. Вообще-то, я хотел узнать дорогу к Кейп-Жирандо — в смысле, самый ко-

роткий путь. Рассчитывал добраться дотуда засветло, но теперь, конечно...

Когда я сделал паузу, переводя дыхание, старик заговорил — именно таким учтивым тоном, какой я ожидал услышать, и с мягким акцентом, столь же характерным для южных штатов, как вся архитектура ветхого особняка.

— Скорее, вы должны извинить меня за то, что я не сразу отозвался на ваш стук. Я веду крайне уединенный образ жизни и обычно не жду посетителей. Поначалу я принял вас за праздного любителя достопримечательностей. Когда же вы постучали вторично, я пошел открывать, но я несколько нездоров и вынужден передвигаться очень медленно. Радикулит, знаете ли, — пренеприятный недуг. Ну а добраться до города засветло у вас точно не получится. Выбранная вами дорога — а я полагаю, вы пришли от главных ворот, — не самый лучший и не самый короткий путь. Вам надо повернуть налево на первую же дорогу после ворот — я имею в виду настоящее шоссе. Там еще есть три или четыре проселка, которые следует пропустить, но мимо шоссе вы всяко не проскочите: прямо напротив него, чуть справа, растет огромная ива. Когда свернете, проедете два перекрестка, а на третьем повернете направо. Потом...

Сбитый с толку замысловатыми объяснениями (скорее усложнявшими дело для человека, совершенно не знакомого с местностью), я не удержался и перебил старика:

— Погодите минутку, пожалуйста! Да разве ж я смогу последовать всем вашим указаниям в крошечной тьме, коли никогда прежде не бывал здесь? Разве сумею отличить шоссе от проселков при слабом свете фар? Вдобавок, мне кажется, скоро разразится гроза, а у меня машина с открытым верхом. Похоже, я попаду в серьезную переделку, если не отступлюсь от намерения добраться до Кейп-Жирардо сегодня. По-моему, лучше и вовсе не пытаться. Я не люблю обременять людей своими проблемами или доставлять беспокойство любым другим образом — но с учетом сложившихся обстоятельств не могли бы вы приютить меня на ночь? Я не причиню вам никаких хлопот — мне не нужно ни еды, ни питья, ничего такого. Просто позвольте мне прилечь в каком-нибудь уголке, чтобы проспать там до рассвета, и я буду вполне доволен. Автомобиль я оставляю на дороге

у ворот — если он, на худой конец, намокнет под дождем, ничего страшного.

Излагая эту внезапную просьбу, я заметил, как лицо старика утрачивает прежнее кроткое выражение и принимает до странности изумленный вид.

— Вы хотите переночевать *здесь*?

Он казался настолько пораженным моей просьбой, что мне пришлось подтвердить:

— Ну да, хочу переночевать у вас — почему бы и нет? Честное слово, я не буду вам в тягость. Что еще мне остается делать? Я в ваших краях впервые, дороги здесь — чистый лабиринт, а сейчас вдобавок ко всему темно; и я готов поспорить, что максимум через час хлынет ливень...

Теперь настала очередь хозяина дома перебить меня, и в его звучном, мелодичном голосе послышались странные нотки:

— Ах, так вы впервые в наших краях! Ну разумеется, иначе вы не только не попросились бы ко мне на ночлег, а и близко не подошли бы к дому. Нынче сюда никто не навевывается.

Он умолк, и мое желание остаться тысячекратно усилилось, возбужденное намеком на некую тайну, почудившимся мне в лаконичных словах старика. Безусловно, все здесь дышало притягательно странной атмосферой, и в вездесущем запахе затхлости, казалось, таились тысячи секретов. Я снова обратил внимание на крайнюю ветхость всего вокруг, заметную даже при тусклом свете единственной керосиновой лампы. Я зябко поежился от холода и с сожалением осознал, что дом не отапливается. Однако, охваченный любопытством, я все равно горел желанием остаться и узнать побольше о престарелом отшельнике и его мрачном обиталище.

— Пускай так, — ответил я. — Насчет других мне дела мало, но сам я очень хотел бы найти пристанище до утра. И все же... может, местные жители обходят ваш дом стороной потому только, что он пришел в чрезвычайный упадок? Разумеется, чтобы содержать в порядке столь обширное поместье, необходимы огромные деньги, — но, если вам не потянуть такие расходы, почему вы не подыщете себе жилище поменьше? Какой смысл торчать тут до скончания дней, терпя многие лишения и неудобства?

Старик, похоже, нисколько не обиделся и промолвил самым серьезным тоном:

— Конечно, вы можете остаться, коли желаете, — насколько мне известно, *вам* здесь ничего не грозит. Но все в округе говорят, что в доме обитает нечистая сила. А я... я живу здесь потому, что мне нельзя иначе. Есть здесь нечто такое, что я считаю своим долгом охранять. Жаль, конечно, что у меня нет денег, здоровья и честолюбия, дабы надлежащим образом заботиться о доме и поместье.

Заинтригованный сильнее прежнего, я тотчас поймал хозяина на слове и медленно проследовал за ним по лестнице, когда он знаком пригласил меня подняться наверх. Уже совсем стемнело, и снаружи доносился тихий шум начавшегося наконец дождя. В данных обстоятельствах я обрадовался бы любому пристанищу, а этот окутанный атмосферой тайны дом казался мне вдвойне привлекательным. Для неисправимого любителя всего причудливого и загадочного трудно было найти более подходящий приют.

II

Угловая комната на втором этаже находилась в менее запущенном состоянии, чем весь остальной дом, и именно в нее хозяин привел меня. Он поставил маленький фонарь на стол и зажег лампу побольше. По опрятности и обстановке комнаты, а равно по пристенным стеллажам, забитым книгами, сразу стало ясно, что я не ошибся, предположив в домовладельце истинного джентльмена с развитым вкусом и прекрасным образованием. Безусловно, он был отшельником и чудачком, но при этом не опускался ниже достойного уровня и имел разносторонние интеллектуальные интересы. Когда старик знаком предложил мне сесть, я завел разговор на общие темы и с удовольствием обнаружил, что он довольно словоохотлив. Во всяком случае, он явно обрадовался заинтересованному собеседнику и даже не пытался увести разговор в сторону от предметов личного свойства.

Он носил имя Антуан де Рюсси и происходил из старинного, влиятельного, знатного рода луизианских плантаторов. Больше

ста лет назад его дед — младший сын в семействе — перебрался в южный Миссури и с принятым в роду широким размахом основал новое поместье, возведя сей особняк с колоннами, а вокруг него — многочисленные хозяйственные и жилые строения, являющиеся неотъемлемой частью любой крупной плантации. Когда-то в хижинах позади особняка — на плоском участке земли, ныне затопленном рекой, — проживало двести негров, и всякий, кто слышал по вечерам их пение, смех и игру на банджо, в полной мере проникался очарованием жизненного уклада и общественного устройства, навеки, увы, оставшихся в прошлом. Перед домом, в окружении могучих дубов и раскидистых ив, простиралась подобием широкого зеленого ковра лужайка, всегда ухоженная, обильно политая и подстриженная, с плиточными дорожками, обсаженными цветами. Риверсайд (так называлось поместье) в те дни являл собой прелестный, идиллический уголок, и мой хозяин хорошо помнил времена, когда здесь еще сохранялись следы былого процветания.

Дождь теперь лил как из ведра. Упругие частые струи хлестали по ненадежной крыше, стенам и окнам, и вода просачивалась сквозь тысячи щелей и трещин, стекая тонкими струйками на пол в самых неожиданных местах. Крепчающий ветер с грохотом сотрясал изгнившие и расхлябанные наружные ставни. Однако я не обращал на все это ни малейшего внимания и даже не думал о своем автомобиле, оставленном под деревьями у ворот, ибо предвкушал услышать интересную историю. Увлеченный воспоминаниями, мой хозяин отказался от своего принятого было намерения проводить меня в спальню и продолжил рассказ о прежних, лучших днях. Я понял, что вот-вот прояснится вопрос, почему он живет один-одинешенек в древнем ветхом особняке, в котором местные жители видят обиталище некой злотворной силы. История, излагаемая чрезвычайно благозвучным голосом, вскоре приняла столь захватывающий оборот, что я напрочь забыл про сон.

— Да... Риверсайд построили в тысяча восемьсот шестнадцатом году, а в двадцать восьмом здесь родился мой отец. Дожили он до наших дней, ему сейчас было бы за сто лет, но он умер молодым — таким молодым, что я едва его помню. Он погиб на войне, в шестьдесят четвертом году... служил в Седьмом Луизи-

анском пехотном полку, ибо посчитал своим долгом записаться в армию в родном штате. Мой дед был слишком стар для сражений, однако он дожил до девяноста пяти лет и помогал моей матери растить меня. Надо отдать им должное — воспитание я получил хорошее. В нашем роду всегда сохранялись крепкие традиции и высокие понятия о чести, и дед позаботился о том, чтобы я воспитывался так, как воспитывались все де Рюсси, поколение за поколением, со времен Крестовых походов. Мы понесли серьезные финансовые потери, но не разорились — и после войны смогли жить вполне обеспеченно. Я учился в хорошей школе в Луизиане, а потом окончил Принстонский университет. Позже мне удалось превратить плантацию в весьма прибыльное хозяйство, хотя вы сами видите, в каком упадке она находится сейчас.

Моя мать умерла, когда мне было двадцать, а двумя годами позже скончался и дед. Без них мне стало очень одиноко, и в восемьдесят пятом году я женился на одной дальней родственнице из Нового Орлеана. Наверное, моя жизнь сложилась бы иначе, доживи супруга до преклонных лет, но она умерла при родах нашего сына Дэниса. После того у меня остался один только Дэнис. Я не пытался жениться вторично, а посвятил все свое время мальчику. Он был похож на меня и на всех де Рюсси: высокий, худой, темноволосый и чертовски горячего нрава. Я дал сыну такое же воспитание, какое сам получил от деда, хотя в вопросах чести он не особо нуждался в наставлениях и поучениях. Полагаю, это было у него в крови. Никогда не встречал более благородной и пылкой души — я едва сумел удержать Дэниса, когда он собрался сбежать на Испанскую войну в одиннадцатилетнем возрасте! Романтически настроенный чертенок, с самыми высокими понятиями о чести и долге, какие сейчас вы назвали бы викторианскими, — никаких проблем с приставами к черномазым девчонкам и тому подобное. Я отдал сына в ту же школу, где учился сам, а потом отправил в Принстонский университет. Он был выпускником тысяча девятьсот девятого года.

В конечном счете Дэнис решил стать врачом и год проучился на медицинском факультете Гарварда. Потом он вдруг загорелся идеей соблюсти старинную французскую традицию нашего

семейства и убедил меня послать его в Сорбонну. Я так и сделал — с немалой гордостью, хотя и знал, сколь одиноко мне будет без любимого сына. Боже, как я жалею об этом своем шаге! Я думал, мальчик вроде него застрахован от всех парижских соблазнов. Дэнис снимал комнату на рю Сен-Жак — неподалеку от университета, в Латинском квартале, но, судя по его письмам и письмам его друзей, совсем не знался с беспутными прожигателями жизни, а водил знакомство главным образом с молодыми соотечественниками — серьезными студентами и художниками, которые думали больше о работе, нежели об эпатажных выходках да кутежах.

Но, разумеется, многие из знакомых Дэниса делили время между усердной учебой и пороком. Все эти эстеты, декаденты, знаете ли. Любители экспериментов в сфере чувственного восприятия — малые типа Бодлера. Само собой, мой мальчик нередко сталкивался с ними и невольно наблюдал за их жизнью. Они состояли в разных безумных сектах и отправляли всевозможные нечестивые культы — имитировали ритуал поклонения дьяволу, церемонию черной мессы и тому подобное. Думаю, в конечном счете им это не особо вредило — скорее всего, большинство из них через год-другой забывали о своих дурачествах. Сильнее всех прочих подобной бредятиной увлекался один парень, которого Дэнис знал еще со школы и с отцом которого я сам водил знакомство, коли на то пошло. Некто Фрэнк Марш из Нового Орлеана. Ученик Лафкадио Хирна, Гогена и Ван Гога — истинное олицетворение бульварных девяностых. Бедняга — а ведь у него были задатки великого художника.

Марш был самым давним приятелем Дэниса в Париже, и поэтому они часто виделись — вспоминали прежние дни в академии Сен-Клэр и все такое прочее. Сын много писал мне о нем, но меня в ту пору не насторожили рассказы о группе мистиков, в которую входил Марш. Похоже, тогда представители левобережной богемы повально увлекались каким-то доисторическим магическим культом Египта и Карфагена — несусветной чушью, якобы берущей начало в забытых источниках сокровенной истины, сохранившихся среди останков древнейших африканских цивилизаций — в Великом Зимбабве и мертвых городах-колониях Атлантиды на нагорье Хоггар в Сахаре. В означенном культе

было много разного вздора, связанного со змеями и человеческими волосами. Во всяком случае, тогда я называл это вздором. Дэнис часто приводил в письмах странные высказывания Марша насчет фактов, кроющихся за легендой о змеелоконах горгоны Медузы и позднейшим египетско-эллинистическим мифом о Беренике, которая во спасение своего мужа-брата принесла в жертву свои волосы, впоследствии помещенные богами на небо и превращенные в созвездие Волосы Береники.

Думаю, все эти дурацкие дела не производили особого впечатления на Дэниса до того рокового вечера, когда во время проведения очередного странного ритуала на квартире Марша он встретился с верховной жрицей. Большую часть приверженцев культа составляли юноши, но возглавляла оный молодая женщина, которая называла себя Танит-Исидой, хотя и не скрывала, что ее настоящее имя — данное ей в последнем воплощении, как она выражалась, — Марселина Бедар. Она утверждала, что является внебрачной дочерью маркиза де Шамо. Кажется, до своего увлечения весьма прибыльной игрой в магию она была средней руки художницей и заодно натурщицей. По слухам, Марселина какое-то время жила в Вест-Индии — вроде бы на Мартинике, — но сама она ничего не рассказывала о своем прошлом. В роли верховной жрицы она усиленно демонстрировала аскетизм и благочестие, но полагаю, студенты поискусеннее не воспринимали это всерьез.

Однако Дэнис был весьма и весьма неискушенным юношей, и он написал мне целых десять страниц разного сентиментального вздора о богине, которую повстречал на своем жизненном пути. Если бы я тогда сознавал, насколько он наивен и простодушен, я бы принял какие-нибудь меры, но мне просто не пришло в голову, что подобная мальчишеская влюбленность может иметь серьезные последствия. Я был до смешного уверен, что щепетильность в вопросах личной чести и фамильная гордость непременно уберегут Дэниса от любых крупных неприятностей.

С течением времени, однако, письма сына стали меня тревожить. Он все чаще и чаще упоминал о Марселине и все реже — о своих друзьях, а потом вдруг начал сокрушаться по поводу «глупой и оскорбительной неучтивости», с какой все они отказываются знакомить сию особу со своими матерями и сестрами.

Похоже, Дэнис не задавал Марселине никаких вопросов о ее прошлом, и я несколько не сомневаюсь, что она наплела ему с три короба романтических небылиц насчет своего происхождения, божественных откровений и многих унижений, претерпленных ею от окружающих. В конце концов мне стало ясно, что Дэнис совсем перестал знаться со старой компанией и почти все время проводит в обществе обольстительной жрицы. По ее настойчивой просьбе он никогда не говорил товарищам, что они с ней продолжают встречаться, а потому никто из них и не попытался расстроить эту любовную связь.

По-видимому, Марселина думала, что он баснословно богат, — ведь Дэнис выглядел настоящим аристократом, а люди определенного разряда считают всех американских аристократов богачами. Во всяком случае, она наверняка увидела в сложившейся ситуации редкий шанс сочетаться законным браком с молодым человеком, представляющим поистине выгодную партию. Ко времени, когда наконец моя тревога вылилась в прямые предостережения и советы, было уже слишком поздно. Мой мальчик вступил в законный брак и уведомил меня, что бросает учебу и приезжает в Риверсайд с молодой женой. Он писал, что Марселина принесла великую жертву, отказавшись от места главы магического культа, и что отныне она станет обычным частным лицом — хозяйкой Риверсайда и матерью будущих де Рюсси.

Я постарался отнестись к случившемуся спокойно. Я знал, что принятые у изощренных европейцев жизненные нормы и принципы сильно отличаются от наших, американских, — и в любом случае я не знал об этой женщине ничего по-настоящему плохого. Да, положим, она обманщица — но зачем же обязательно подозревать в ней некие худшие качества? Полагаю, ради моего мальчика я старался смотреть на все сквозь розовые очки. Представлялось очевидным, что в данной ситуации разумнее всего оставить Дэниса в покое, покуда его молодая жена следует правилам поведения, принятым в роду де Рюсси. Надо дать ей шанс проявить себя, — возможно, она не нанесет особого ущерба фамильной чести вопреки моим опасениям. Посему я не стал возражать или требовать от сына раскаяния. Сделанного

не воротишь — и я приготовился встретить Дэниса с распростертыми объятиями, кого бы он ни привез с собой.

Они прибыли через три недели после того, как я получил телеграмму с сообщением о свадьбе. Спору нет, Марселина оказалась настоящей красавицей, и я хорошо понял, почему мой мальчик потерял голову из-за нее. В ней чувствовалась порода, и я до сих пор считаю, что в ее жилах имелась примесь благородной крови. На вид ей было немногим больше двадцати лет — среднего роста, тонкая и стройная, с царственной осанкой и грациозной пластикой тигрицы. Лицо темно-оливкового цвета, похожего на цвет старой слоновой кости, и огромные черные глаза. Мелкие, классически правильные черты (хотя, на мой вкус, недостаточно четкие) — и самая роскошная грива смоляных волос из всех, какие мне доводилось видеть в жизни.

Неудивительно, что Марселина привнесла в свой магический культ тему волос: обладательнице столь густой и пышной шевелюры такая мысль должна была естественным образом прийти на ум. Крупные крутые локоны придавали ей вид восточной принцессы с рисунков Обри Бердслея. Ниспадая волнами по спине, волосы спускались ниже колен и сияли, переливались на свету, точно некая живая субстанция, обладающая собственным нечестивым существованием. При виде них я бы и сам невольно вспомнил Медузу или Беренику, даже если бы Дэнис не упоминал сии имена в своих письмах.

Иногда мне чудилось, будто они слегка шевелятся, словно пытаюсь разделить на пряди или скрутиться в локоны, но, скорее всего, то была просто игра воображения. Марселина постоянно расчесывала волосы и, похоже, умащала каким-то бальзамическим средством. Однажды они представились мне (странная, нелепая фантазия!) неким самостоятельным живым существом, требующим ухода и регулярного кормления. Дурацкая мысль, конечно, но она усугубила смутное беспокойство, которое вызывала у меня эта женщина со своими роскошными волосами.

Ибо должен признать: несмотря на все свои старания, я так и не сумел проникнуться симпатией к своей снохе. Я сам не понимал толком, в чем тут дело, но что-то в ней вызывало у меня легкое безотчетное отвращение и порождало жутковатые болезненные ассоциации. Цвет ее кожи наводил на мысли о Вавило-

не, Атлантиде, Лемурии и ныне забытых ужасных царствах доисторического мира, а ее бездонные темные очи порой казались мне глазами какого-то богопротивного лесного существа или звероподобной богини, слишком древней, чтобы в полной мере походить на человека. Волосы же Марселины — небывалой густоты и длины ухоженная смоляная грива с сочным маслянистым блеском — приводили меня в содрогание, точно огромный черный питон. Она, безусловно, замечала мое невольное отвращение (хотя я старался скрывать свои чувства), но не показывала виду.

Однако страстная влюбленность Дэниса не шла на убыль. Он положительно пресмыкался перед женой, оказывая ей повседневные мелкие услуги с прямо-таки тошнотворной угодливостью. Она, казалось, отвечала взаимностью, но я видел, что ей стоит немалых трудов изображать ответные восторг и умиление. Думаю, Марселина здорово раздосадовалась, узнав, что мы не так богаты, как она предполагала.

В общем, дело было плохо, и прискорбные тенденции набирали силу. Дэнис, ослепленный своей мальчишеской любовью, начал отдаляться от меня, когда заметил мою неприязнь к Марселине. Так продолжалось месяц за месяцем, и я понимал, что теряю единственного сына, который являлся смыслом моей жизни на протяжении последней четверти века. Признаюсь, я испытывал горькую обиду — любой отец на моем месте чувствовал бы то же самое. Но я ничего не мог поделать.

Первые несколько месяцев Марселина довольно успешно справлялась с ролью жены, и наши друзья приняли ее без всяких придинок и вопросов. Однако мне не давала покоя мысль о том, что могут написать своим родственникам приятели Дэниса, оставшиеся в Париже, когда новость о его женитьбе распространится. Несмотря на любовь сей особы к секретности, брак не мог держаться в тайне вечно, — собственно говоря, Дэнис сам сообщил о нем нескольким ближайшим своим друзьям (строго конфиденциально), едва лишь поселился с женой в Риверсайте.

Я стал все больше времени проводить в своей комнате, ссылаясь на нелады со здоровьем. Как раз тогда у меня начал развиваться радикулит, а потому отговорка звучала вполне убедительно. Дэнис, казалось, не замечал моего недуга и вообще не

интересовался мной и моими делами. Бессердечное равнодушие сына причиняло мне боль. У меня появилась бессонница, и я часто по ночам ломал голову, пытаюсь понять, почему же все-таки новоиспеченная сноха вызывает у меня такое отвращение и даже смутный страх. Безусловно, прежняя мистическая чепуха была здесь ни при чем, ибо Марселина покончила со своим прошлым и никогда о нем не вспоминала. Она даже не занималась живописью, хотя в свое время, насколько я знал, баловалась красками.

Как ни странно, мое беспокойство разделяли одни только слуги. Черномазые сразу же отнеслись к ней крайне враждебно, и в считанные недели все они уволились, кроме самых преданных слуг, сильно привязанных к нашей семье. Немногие оставшиеся — кухарка Делила, старый Сципион, его жена Сара и дочь Мери — держались по возможности вежливо, но всем своим видом недвусмысленно давали понять, что прислуживают новой госпоже только по обязанности, но никак не по любви. Все свободное время они проводили в своих комнатах в заднем флигеле особняка. Наш белый шофер, Маккейб, выказывал Марселине скорее наглое восхищение, нежели неприязнь, а другим исключением являлась древняя зулуска, которая, по слухам, приехала из Африки более ста лет назад, а ныне жила в маленькой хижине на положении своего рода семейного пенсионера. При виде Марселины старая Софонизба неизменно выражала самые униженные знаки почтения, и однажды я видел, как она целует землю, по которой ступала госпожа. Чернокожие страшно суеверны, и я задался вопросом, не морочит ли Марселина нашим слугам головы своей мистической чепухой, чтобы преодолеть их нескрываемую неприязнь.

III

Так все продолжалось почти полгода. Потом, летом тысяча девятьсот шестнадцатого, начали происходить события, в конечном счете приведшие к трагической развязке. В середине июня Дэнис получил от старого друга Фрэнка Марша письмо, в котором тот сообщал о приключившемся с ним нервном срыве и своем желании отдохнуть в сельской местности. Письмо

было отправлено из Нового Орлеана — ибо Марш вернулся из Парижа домой, когда почувствовал первые симптомы психического расстройства, — и содержало открытую, но притом вполне вежливую просьбу пригласить его в гости. Марш, разумеется, знал, что Марселина находится в Риверсайде, и очень учтиво справлялся о ней. Дэнис принял близко к сердцу проблемы друга и написал, чтобы он приезжал немедленно на сколь угодно долгий срок.

Марш приехал, и меня неприятно поразила перемена, произошедшая с ним со времени нашей последней встречи. Я помнил его малорослым светловолосым пареньком с голубыми глазами и безвольным подбородком, а теперь набрякшие веки, расширенные поры на носу и глубокие складки у рта явственно свидетельствовали о приверженности к пьянству и бог ведает каким еще порокам. Полагаю, он всерьез вжился в роль декадента и решил походить на Рембо, Бодлера или Лотреамона во всем, в чем только возможно. Однако Марш был очень приятным собеседником: как все декаденты, он исключительно тонко чувствовал цвет, атмосферу, материю звука и обладал восхитительно живым умом и сознательным опытом знакомства с темными, загадочными сферами жизни и чувственного восприятия, о существовании которых большинство из нас даже не догадывается. Бедный малый — если бы только его отец прожил подольше да покрепче держал его в руках! У мальчика были поистине незаурядные способности.

Я премного обрадовался гостю, поскольку надеялся, что с его приездом в доме снова установится нормальная атмосфера. Поначалу так оно и вышло, ибо, как я уже сказал, с Маршем было очень приятно общаться. Я в жизни не встречал более искреннего и глубокого художника, чем он, и уверен, что для него ничего на свете не имело значения, кроме постижения и воплощения прекрасного. Когда он видел — или создавал — некое совершенное творение, зрачки у него расширялись чуть не до полного исчезновения светлой радужной оболочки, и глаза казались таинственными черными провалами на тонком, безвольном, мертвенно-бледном лице — черными провалами, ведущими в странные миры, недоступные нашему воображению.

Однако по прибытии в Риверсайд Марш не имел особой возможности проявить свои дарования, поскольку он, по его словам, совершенно выдохся. Похоже, одно время он имел огромный успех в качестве фантазмагорического художника типа Фюссли, Гойи, Сайма или Кларка Эштона Смита, но внезапно утратил вдохновение. Он перестал видеть в окружающем обыденном мире прекрасное в своем понимании — то есть образы, достаточно выразительные и яркие, чтобы пробудить в нем жажду творчества. Такое случалось с ним и прежде, как бывает со всеми декадентами, но на сей раз он, хоть убей, не мог найти ни одного нового, странного, экзотического чувственного переживания, которое дало бы необходимую иллюзию прекрасного или исполнило бы его трепетным предвкушением, пробуждающим созидательные силы. Он походил на Дюрталя или на Дезэссента в самый упаднический период его экстравагантной жизни.

Когда Марш приехал, Марселины дома не было. Она не пришла в восторг по поводу предстоящего визита парижского знакомого и решила принять приглашение наших друзей из Сент-Луиса, как раз тогда поступившее им с Дэнисом. Дэнис, разумеется, остался встретить гостя, а Марселина уехала одна. Они впервые со дня свадьбы расставались, и я надеялся, что разлука поможет рассеять своего рода помрачение ума, превращавшее моего сына в полного дурака. Марселина долго пробыла в Сент-Луисе и, похоже, умышленно тянула с возвращением. Дэнис переносил разлуку лучше, чем можно было ожидать от ослепленного любовью мужа, и стал похож на себя прежнего, болтая с Маршем о минувших днях и изо всех сил стараясь взбодрить впавшего в апатию эстета.

Казалось, из всех нас именно Марш с самым страстным нетерпением ждал встречи с Марселиной, — вероятно, он надеялся, что экзотическая красота женщины или некий элемент мистицизма, присутствовавшего в магическом культе, который она возглавляла в недавнем прошлом, пробудят в нем интерес к жизни и дадут новый творческий импульс. Зная характер Марша, я был абсолютно уверен в отсутствии у него каких-либо низменных мотивов. При всех своих слабостях он всегда оставался истинным джентльменом, и я даже испытал облегчение, узнав о его желании приехать к нам, поскольку такая готовность вос-

пользоваться гостеприимством Дэниса свидетельствовала, что нет никаких причин, препятствующих его визиту.

Когда наконец Марселина вернулась, я сразу заметил, что Марш пришел в сильнейшее душевное возбуждение. Он не пытался заводить с ней разговоры об эксцентричных занятиях, явно оставленных ею в прошлом, но не скрывал своего глубокого восхищения и всякий раз, когда она находилась поблизости, ни на миг не сводил с нее глаз, зрачки которых теперь — впервые со дня приезда Марша — были неестественно расширены. Она же казалась скорее смущенной, нежели польщенной столь пристальным вниманием — во всяком случае, поначалу, хотя через несколько дней чувство неловкости прошло и между ними установились самые сердечные и непринужденные отношения. Я видел, как Марш постоянно изучает Марселину жадным взором, когда думает, что на него никто не смотрит, и невольно задавался вопросом, долго ли еще ее загадочная привлекательность будет волновать в нем только художника, а не мужчину.

Дэниса, разумеется, такой поворот событий несколько раздражал, хотя он понимал, что наш гость имеет высокие понятия о чести и что у Марселины и Марша, как у двух связанных духовным родством мистиков и эстетов, много общих интересов и тем для разговоров, в которых более или менее обычный человек не в состоянии принять участие. Он не держал на них обиды, а просто сожалел об ограниченности и заурядности своего воображения, не позволявших ему общаться с Марселиной на том уровне, на каком общался с ней Марш. В сложившихся обстоятельствах мы с сыном стали видеться чаще. Лишившись общества жены, постоянно занятой нашим гостем, Дэнис вспомнил, что у него есть отец — причем отец, готовый прийти к нему на помощь в любой неприятной или затруднительной ситуации.

Мы частенько сидели вдвоем на веранде, наблюдая, как Марш и Марселина катаются верхом по подъездной аллее или играют в теннис на корте, расположенном с южной стороны дома. Они предпочитали разговаривать между собой на французском, каковым языком Марш владел гораздо лучше меня и Дэниса (при том что он был лишь на четверть французом по крови). Английский Марселины, всегда академически правильный, быстро совершенствовался в части произношения, но представлялось

очевидным, что она от души наслаждается возможностью поболтать на родном языке. Они производили впечатление идеальной пары, и я не раз замечал, как при виде их у моего сына вздуваются желваки на скулах и жилы на шее — хотя он по-прежнему оставался радушным хозяином для Марша и заботливым мужем для Марселины.

Подобное времяпрепровождение обычно начиналось далеко за полдень, ибо Марселина просыпалась очень поздно, завтракала в постели, а потом тратила уйму времени на утренний туалет. Я в жизни не встречал женщины, которая бы так увлекалась массажем лица, косметикой, бальзамами для волос, питательными мазями, кремами и всем таким прочим. Именно в эти утренние часы Дэнис и Марш по-настоящему общались и вели доверительные беседы, благодаря которым дружба между ними сохранялась, несмотря на известное напряжение, вносимое в их отношения ревностью.

Во время одного из таких утренних разговоров на веранде Марш и сделал предложение, ставшее причиной трагической развязки. Тогда меня скрутил очередной приступ радикулита, но я все же умудрился спуститься в гостиную и улечься на диване, стоявшем возле самого окна. Дэнис и Марш сидели сразу за окном, и потому я волей-неволей услышал весь их разговор до последнего слова. Они рассуждали об искусстве и странных, порой случайных и непредсказуемых элементах окружения, могущих вдохновить художника на создание подлинного шедевра, и вдруг Марш резко перешел от отвлеченных рассуждений к личной просьбе, которая, вероятно, была у него на уме с самого начала.

— Полагаю, — говорил он, — никто не может сказать, какие именно черты отдельных сцен, пейзажей или объектов превращают оные в эстетические стимулы для личностей определенного склада. В сущности, конечно, это так или иначе связано с характером ассоциативных связей, запечатленных в подсознании каждого человека, ибо на свете не найдется двух людей с одинаковыми чувственными восприятиями и реакциями на внешние впечатления. Для нас, художников-декадентов, обыденные вещи утратили всякое эмоциональное и художественное значение, но на одно и то же необычное явление все мыотреагируем совер-

шенно по-разному. Возьмем, к примеру, меня... — Он немного помолчал, а затем продолжил: — Я знаю, Дэни, что могу говорить с тобой совершенно откровенно, поскольку у тебя поразительно неиспорченный ум — благородный, тонкий, честный, объективный и все такое прочее. Ты не истолкуешь мои слова превратно, как сделал бы какой-нибудь пресыщенный и развращенный светский хлыщ. — Он снова немного помолчал. — В общем, мне кажется, я знаю, что мне необходимо для того, чтобы мое воображение пробудилось и заработало в полную силу. Я еще в Париже смутно подумывал об этом, но сейчас убедился окончательно. Это Марселина, дружище, — ее лицо, волосы и все туманные образы, которые они вызывают в моем сознании. Не просто внешняя красота — хотя, видит бог, в ней нет недостатка, — но нечто особенное, сокровенное, не поддающееся определению. Знаешь, последние несколько дней я столь остро ощущаю воздействие такого вот эмоционального стимула, что мне думается, я бы превзошел самого себя и создал истинный шедевр, окажись у меня под рукой краски и холст в тот момент, когда лицо и волосы Марселины возбуждают, воспаляют мое воображение. Есть здесь что-то странное, потустороннее — что-то связанное с погруженным во мрак забвения древним существом, воплощением которого является Марселина. Не знаю, рассказывала ли она тебе об этой стороне своей натуры, но могу тебя заверить: в твоей жене очень много от него. Она неким чудесным и непостижимым образом связана с иным миром...

Очевидно, Дэнис заметно переменился в лице, ибо Марш вдруг умолк и последовала довольно долгая пауза. Не готовый к такому повороту разговора, я совершенно оторопел — а какие чувства испытывал мой сын, я и близко не представлял. Сердце мое бешено заколотилось, и я накрепко слух, подслушивая уже умышленно. Наконец Марш продолжил:

— Разумеется, ты ревнуешь — я понимаю, как звучат мои речи, — но я клянусь: у тебя нет повода для ревности.

Дэнис не ответил, и после короткого молчания Марш снова заговорил:

— По правде говоря, я никогда не смог бы полюбить Марселину — даже не смог бы стать ее задушевым другом в полном смысле слова. Да я, черт побери, постоянно чувствовал себя

законченным лицемером, общаясь с ней столь близко в последнее время. Просто дело в том, что одна сторона ее натуры завораживает меня самым странным, немислимым и жутким образом, тогда как тебя — вполне естественным образом — завораживает другая сторона. Я вижу в Марселине — вернее, не в ней, а как бы *за* ней или даже *сквозь* нее — нечто такое, чего ты вообще не видишь. Нечто такое, что вызывает торжественные сонмы образов из забытых бездн и возбуждает во мне страстное желание изобразить на холсте немислимых, фантазмагорических существ, чьи очертания расплываются перед моим умственным взором, едва лишь я пытаюсь ясно их представить. Пойми меня правильно, Дэнни: твоя жена поистине изумительное создание, блистательное средоточие космических сил, которое имеет право называться божественным, как никто и ничто другое на земле!

Я почувствовал, что напряжение разрядилось: отвлеченность странных высказываний Марша и дифирамбы, пропетые сейчас Марселине, не могли не умиротворить и не смягчить мужчину, столь гордившегося своей обожаемой супругой, как всегда гордился Дэнис. Очевидно, Марш тоже заметил перемену в своем собеседнике, поскольку продолжил более уверенным тоном:

— Я должен написать ее портрет, Дэнни, — должен написать эти волосы, — и ты не пожалеешь, коли дашь согласие. В этих локонах есть нечто большее, чем земная, тленная красота...

Он умолк, и я задался вопросом, что думает обо всем этом Дэнис — и что, собственно говоря, я сам думаю. Действительно ли Маршем руководит единственно интерес художника — или же он просто влюбился до безумия, как это в свое время произошло с Дэнисом? Когда мальчики учились в школе, мне казалось, что Марш завидует моему сыну, и сейчас у меня возникло смутное ощущение, что история повторяется. С другой стороны, все, что он говорил о творческом импульсе, звучало на удивление убедительно — и чем дольше я размышлял, тем больше склонялся к тому, чтобы принять все его слова за чистую монету. Похоже, Дэнис разделял мои чувства: я не расслышал ответа, произнесенного тихим голосом, но по реакции Марша заключил, что он положительный.

Раздался звук дружеского похлопывания по спине, а потом Марш произнес благодарственную речь, которую я надолго запомнил:

— Ну и отлично, Дэнни! Как я уже сказал, ты никогда не пожалеешь о своем согласии. В определенном смысле я делаю это и для тебя тоже. Ты станешь другим человеком, когда увидишь картину. Я верну тебе твою прежнюю сущность — пробужу ото сна наяву и дам своего рода спасение. Впрочем, пока ты не можешь понять, что я имею в виду. Просто помни о нашей старой дружбе и не думай, будто я переменялся к худшему!

Глубоко озадаченный, я поднялся с дивана и увидел, как они неторопливо идут рука об руку через лужайку, синхронно попыхивая сигарами. Что означало странное, почти зловещее заверение Марша? Чем больше я успокаивался по одному поводу, тем сильнее тревожился по другому. С какой стороны ни посмотреть, дело казалось скверным.

Но, так или иначе, события начали развиваться. Дэнис оборудовал одно из мансардных помещений световыми фонарями, а Марш заказал необходимые для живописца материалы и принадлежности. Все были радостно возбуждены новой затеей, и мне оставалось утешаться мыслью, что все происходящее по крайней мере разрядит напряженную атмосферу. Вскоре начались сеансы позирования, и мы все относились к ним вполне серьезно, поскольку видели, сколь огромное значение они имеют для Марша. В такие часы мы с Дэнни ходили по дому на цыпочках, словно там творилось некое священнодействие, — собственно, для Марша работа над портретом и являлась самым настоящим священнодействием.

С Марселиной, однако, дело обстояло иначе. Как бы ни относиться к сеансам живописи сам Марш, реакция моей снохи была до боли очевидной. Всем своим видом и поведением она выдавала свое страстное плотское увлечение художником и старалась по возможности отвергать знаки внимания со стороны любящего мужа. Как ни странно, я замечал это гораздо лучше самого Дэниса и все пытался придумать, как бы оградить мальчика от мучительных переживаний до поры, пока все не уладится. К чему бедняге лишние тревобления, коли их можно избежать?

В конце концов я решил, что Дэнису лучше уехать куда-нибудь на время, пока неприятная ситуация продолжается. Я вполне в состоянии защищать его интересы здесь, а Марш рано или поздно завершит портрет и покинет Риверсайд. Я держался столь высокого мнения о порядочности Марша, что не ожидал от него ничего дурного. Когда эта история закончится и Марселина забудет о своем новом увлечении, Дэнис спокойно вернется домой.

Итак, я написал своему торгово-финансовому агенту в Нью-Йорке длинное письмо, в котором изложил план, как вызвать туда моего сына на неопределенный срок. Я велел агенту написать Дэнису, что наши дела требуют срочного присутствия одного из нас в Нью-Йорке — и, разумеется, сам я поехать никак не смогу ввиду моей болезни. Мой финансовый представитель пообещал найти достаточно благовидных предлогов, чтобы задержать там Дэниса на любое время до дальнейших моих распоряжений.

План сработал безукоризненно, и Дэнис отправился в Нью-Йорк, ничего не подозревая. Марселина и Марш проводили его до Кейп-Жирардо, где он сел на дневной поезд, идущий в Сент-Луис. Они вернулись поздно вечером и, когда Маккейб поехал ставить машину в гараж, расположились на веранде — в тех же креслах у большого окна гостиной, где сидели Марш и Дэнис, когда я случайно подслушал разговор о портрете. На сей раз я решил подслушать умышленно, а посему тихонько спустился в гостиную и улегся на диване у окна.

Поначалу не раздавалось ни звука, но вскоре послышался шум передвигаемого по полу кресла, а потом тяжелое частое дыхание и невнятное обиженное восклицание Марселины. Затем Марш промолвил напряженным, почти официальным тоном:

— Мне бы хотелось поработать сегодня вечером, если ты не слишком устала.

В голосе Марселины звучали прежние обиженные нотки. Она говорила по-английски, как и Марш.

— Ах, Фрэнк, неужели тебя больше ничего не интересует? Вечно у тебя на уме одна работа! Разве нельзя просто полюбоваться волшебным сиянием луны?

Он ответил раздраженно — голосом, в котором помимо вдохновенной горячности явственно слышалось презрение:

— Волшебным сиянием луны! Боже мой, какая дешевая сентиментальность! Для человека, предположительно искущенного и утонченного, ты слишком увлекаешься самыми пошлыми трескучими фразами из всех, какие встречаются в дрянных бульварных романах! Перед лицом подлинного искусства ты болтаешь о луне, которая ничем не лучше любого паршивого прожектора в варьете! Или, может, она напоминает тебе о Вальпургиевой ночи и плясках вокруг каменных столбов в Отее? А как ты была хороша, черт возьми! Как таращились на тебя жалкие плебеи! Но нет — полагаю, ты забросила все свои занятия. Магия Атлантиды и обряды поклонения змеелоконам не для мадам де Рюсси! Один только я помню Древних, что нисходили на землю через храмы Танит и гулкой поступью шествовали по твердыням Зимбабве. Но этих воспоминаний у меня не отнять — они воплощаются в образе на моем холсте... в образе, который олицетворяет великие чудеса и тайны семидесятипяти тысячелетней давности...

Марселина перебила со смешанным чувством в голосе:

— А вот теперь *ты* ударяешься в дешевую сентиментальность! Ты прекрасно знаешь, что Древних лучше оставить в покое. Всем вам следовало бы остерегаться, как бы я не произнесла древние заклинания и не попыталась вызвать к жизни силы, сокрытые в Югготе, Зимбабве и Р'льехе. Я думала, у тебя больше здравого смысла! Ты ведешь себя нелогично. Ты хочешь, чтобы я только и думала что о твоей драгоценной картине, но при этом ни разу не позволил взглянуть на нее хоть одним глазком. Она постоянно закрыта черной тканью! Ведь это *мой* портрет — и думаю, ничего плохого не случится, если я увижу...

На сей раз перебил Марш, до странного резким и напряженным тоном:

— Нет. Не сейчас. Ты все увидишь в свое время. Ты говоришь, это твой портрет — да, отчасти так оно и есть, но на картине изображено нечто большее. Если бы ты знала, о чем я говорю, ты не выказывала бы такого нетерпения. Бедный Дэнис! Господи, как жаль!..

Его лихорадочно возбужденный голос возвысился почти до крика, и у меня вдруг пересохло в горле. Что Марш имел в виду? В следующий миг я понял, что он закончил разговор и входит в дом один. Хлопнула входная дверь, и на лестнице раздались его шаги. С веранды по-прежнему доносилось тяжелое, прерывистое дыхание раздраженной Марселины. Полный самых дурных предчувствий, я крадучись вышел из гостиной, ясно сознавая, что мне необходимо разведать еще много темных тайн, прежде чем я смогу со спокойной душой вернуть Дэниса домой.

После того вечера обстановка в доме накалилась до предела. Марселина давно привыкла к атмосфере лести и низкопоклонства, и несколько резких слов, брошенных Маршем, совершенно вывели из равновесия сию вздорную особу. Жить с ней под одной крышей стало просто невыносимо: поскольку бедный Дэнис находился в отъезде, она срывала дурное настроение на всех подряд. Когда же побраниться было не с кем, она отправлялась в хижину Софониэбы и часами разговаривала с чудаковатой старухой-зулуской. Из всех окружающих одна только тетушка Софи выказывала достаточно раболепные знаки почтения, чтобы угодить потребностям Марселины. Однажды я попытался подслушать их разговор и обнаружил, что моя сноха шепчет всякий вздор о «древних тайнах» и «неведомом Кадате», а старая негритянка заворуженно раскачивается взад-вперед в своем кресле, изредка испуская восклицания, исполненные благоговейного трепета и восхищения.

Но ничто не могло поколебать ее собачьей преданности Маршу. Она разговаривала с ним неизменно ожесточенным, угрозым тоном, но с каждым днем все больше подчинялась его воле. Марша такое положение дел премного устраивало, ибо теперь он мог заставить Марселину позировать в любой момент, когда на него нисходило вдохновение. Он пытался показать, что благодарен ей за беспрекословное послушание, но в нарочитой учтивости художника мне чудилось своего рода презрение и даже отвращение. Что же касается меня, я всем сердцем ненавидел Марселину! Сейчас уже нет нужды называть тогдашнее мое отношение к ней простой неприязнью. Разумеется, я радовался, что Дэнис находится в отъезде. В его письмах — не столь частых, как мне хотелось бы, — сквозили тревога и волнение.

В середине августа по нескольким случайно оброненным замечаниям Марша я понял, что картина почти закончена. С каждым днем художник приходил во все более сардоническое настроение, зато у Марселины расположение духа несколько улучшилось, ибо мысль о портрете, который она увидит в самом скором времени, тешила ее тщеславие. Я живо помню тот день, когда Марш сказал, что завершит работу в течение недели. Марселина просияла, хотя и не преминула метнуть на меня злобный взгляд. Мне показалось, будто черные крутые локоны, обрамлявшие ее лицо, дрогнули и напряглись.

— Я должна увидеть картину первой! — выпалила она. А потом с улыбкой добавила, обращаясь к Маршу: — Если она мне не понравится, я изрежу ее на кусочки!

Марш ответил с самым странным выражением лица из всех, какие я видел у него прежде:

— Не могу ручаться за твой вкус, Марселина, но клянусь, она будет поистине великолепна! Я не ставлю это себе в заслугу — искусство само творит себя, и данный шедевр появился бы на свет в любом случае. Потерпи еще немного!

Следующие несколько дней меня одолевали дурные предчувствия — словно завершение работы над портретом сулило некую катастрофу вместо долгожданного облегчения. Вдобавок от Дэниса довольно давно не приходило писем, и мой нью-йоркский агент сообщил мне, что он собирается предпринять поездку за город. Я мучительно гадал, чем же закончится вся эта история. Какое странное сочетание элементов — Марш и Марселина, Дэнис и я! В какую реакцию вступят они друг с другом в конечном счете? Когда мои страхи обострялись до болезненной степени, я пытался отнестись все за счет старческой мнительности, но такое объяснение не удовлетворяло меня в полной мере.

IV

Катастрофа разразилась во вторник двадцать шестого августа. Я встал в обычное время и позавтракал. Я чувствовал себя неважно из-за боли в позвоночнике, которая сильно беспокоила меня в последнее время, а порой становилась просто невыноси-

мой, вынуждая меня принимать опиаты. Внизу никого не было, кроме слуг, но я слышал, как Марселина ходит в своей спальне. Марш ночевал в мансардной комнате, смежной со студией; с недавних пор он начал так поздно ложиться, что редко просыпался раньше полудня. Около десяти часов боль обострилась до такой степени, что я принял двойную дозу опиата и прилег на диван в гостиной. Уже погружаясь в забытие, я слышал шаги Марселины наверху. Бедное создание — если бы я только знал! Видимо, она прохаживалась перед зеркалом, любуясь собой. Это было на нее похоже. Тщеславная до мозга костей, она упивалась своей красотой, как упивалась всеми маленькими удовольствиями, какие мог предоставить ей Дэнис.

Я проснулся незадолго до заката и по густо-золотому свету солнца да длинным теньям за окном мгновенно понял, сколько часов я проспал. Поблизости не было ни души, и в доме царила неестественная тишина. Однако откуда-то издалека до меня доносился чуть слышный вой — прерывистый, тоскливый вой, показавшийся мне смутно знакомым. Я не особо верю в дурные предчувствия, но тогда мне сразу стало не по себе. Все время, пока я спал, мне снились кошмары — даже более страшные, чем кошмары, мучавшие меня на протяжении последних недель, — и на сей раз они казались теснейшим образом связанными с некой жуткой, зловещей реальностью. Самый воздух был словно напоен ядом. Впоследствии я решил, что отдельные звуки все же просачивались в мое отключенное сознание в течение всех часов наркотического сна. Боль, однако, отпустила, и я поднялся с дивана и сделал первые несколько шагов без труда.

Довольно скоро я почувал неладное. Марш и Марселина, положим, могли кататься верхом, но кто-то ведь должен был готовить ужин на кухне. Однако в доме царила мертвая тишина, которую нарушал лишь упомянутый выше вой или стенания, и никто не явился ко мне, когда я подергал шнур старомодного колокольчика, вызывая Сципиона. Потом, случайно взглянув наверх, я увидел на потолке расползающееся пятно — ярко-красное пятно в месте, где находилась комната Марселины.

Мигом забыв о больной спине, я бросился наверх, готовый к самому худшему. Дикие догадки и предположения мелькали в моем уме, пока я пытался открыть перекошенную от сырости

дверь безмолвной комнаты, но ужаснее всего было сознание фатальной неизбежности свершившейся катастрофы. Я ведь с самого начала знал, что вокруг меня сгущаются безымянные ужасы и что под моей крышей поселилось некое бесконечное, космическое зло, которое может вылиться лишь в кровавую трагедию.

Наконец дверь поддалась, и я на ватных ногах вступил в просторную комнату, погруженную в полумрак, поскольку окна там затеняли густые ветви деревьев. В нос мне ударило слабое зловоние, и я вздрогнул и на несколько мгновений застыл на месте. Потом я включил верхний свет и увидел непередаваемо кошмарное существо, распростертое на желто-голубом ковре.

Оно лежало ничком в огромной луже темной загустевшей крови, с кровавым отпечатком обутой человеческой ноги на голой спине. Брызги крови были повсюду — на стенах, на мебели, на полу. Колени у меня подломились от ужаса, и я с трудом доковылял до ближайшего кресла и бессильно рухнул в него. Труп явно принадлежал человеку, хотя я опознал его не сразу, поскольку он был без одежды, а почти все волосы были грубо срезаны с головы под корень и местами просто выдраны с мясом. По коже цвета слоновой кости я понял наконец, что это Марселина. Отпечаток подошвы на спине усугублял чудовищность зрелища. Я не мог даже отдаленно представить, что за дикая, отвратительная трагедия разыгралась здесь, пока я спал внизу. Я поднял руку, чтобы вытереть пот со лба, и почувствовал, что пальцы у меня липкие от крови. Я содрогнулся всем телом, но в следующий миг сообразил, что испачкался о ручку двери, которую неизвестный убийца захлопнул, покидая место преступления. Похоже, орудие убийства он забрал с собой, ибо ни одного предмета, способного послужить таковым, я в комнате не приметил.

Обследовав взглядом пол, я увидел ведущую от трупа к двери цепочку липких человеческих следов, аналогичных отпечатку подошвы на голой спине. Там имелся и другой кровавый след, не вполне понятного происхождения: довольно широкая сплошная полоса, словно оставленная проползшей здесь огромной змеей. Поначалу я предположил, что убийца волок за собой какой-то предмет. Однако потом заметил, что отпечатки человеческих ног местами накладываются на кровавую полосу, и во-

лей-неволей пришел к заключению, что она уже была здесь, когда злодей уходил. Но что за ползучая тварь находилась в комнате вместе с жертвой и убийцей — и покинула место жестокого злодеяния первой? Едва я задался этим вопросом, как мне снова почудился далекий, еле слышный вой.

Наконец, стряхнув с себя оцепенение ужаса, я поднялся на ноги и двинулся по следу. Я не имел ни малейшего понятия, кто убийца, а равно не понимал, куда подевались все слуги. У меня мелькнула смутная мысль, что надо бы подняться в мансарду к Маршу, но уже в следующий миг я увидел, что именно туда и ведут кровавые следы. Неужели Марш и есть убийца? Может, он сошел с ума, не выдержав нервного напряжения, и внезапно впал в буйство?

В мансардном коридоре отпечатки подошв стали почти неразличимыми на темном ковре, но я по-прежнему видел странную полосу, оставленную существом, которое двигалось впереди человека. Она тянулась прямым к закрытой двери студии Марша и исчезала под ней посередине. Очевидно, неведомая ползучая тварь переползла через порог, когда дверь была распахнута настежь.

Обмирая от страха, я повернул ручку — дверь оказалась незапертой. Несколько мгновений я стоял на пороге в бледном свете меркнувшего северного солнца, силясь разглядеть, какой новый кошмар поджидает меня здесь. На полу явно лежало человеческое тело, и я потянулся к выключателю.

Но когда вспыхнул свет, я тотчас отвел взгляд от ужасного зрелища на полу — трупа бедного Марша — и ошеломленно уставился на живое существо, съжившееся в дверном проеме, ведущем в спальню художника. Взлохмаченное, с диким взором, покрытое запекшейся кровью, оно сжимало в руке смертоносный мачете, что прежде висел в студии на стене среди прочих предметов убранства. Но даже в тот кошмарный миг я сразу узнал в нем человека, который, по моим расчетам, должен был находиться за тысячу миль от Риверсайда. То был мой сын Дэнис — вернее, безумное подобие прежнего Дэниса.

Похоже, при виде меня у бедного мальчика немного прояснилось сознание — или по крайней мере память. Он выпрямился и лихорадочно затряс головой, словно стараясь стряхнуть с се-

бя какое-то наваждение. Не в силах произнести ни слова, я беззвучно шевелил губами в отчаянной попытке обрести дар речи. Я бросил короткий взгляд на тело, распростертое на полу перед накрытым черной тканью мольбертом, — охладелый труп, к которому тянулся странный кровавый след и который обвивало тугими кольцами некое подобие черного каната. Очевидно, движение моих глаз вызвало какую-то реакцию в помраченном сознании моего мальчика, ибо внезапно он забормотал хриплым шепотом отрывочные фразы, смысл которых я вскоре уловил.

— Я должен был уничтожить ее... она была дьяволом... воплощением и верховной жрицей вселенского зла... адским отродьем... Марш знал и пытался предостеречь меня. Бедный Фрэнк... я не убивал его, хотя поначалу хотел убить. Но потом до меня дошло. Я спустился вниз и убил ее... а потом проклятые волосы... — Дэнис задохнулся, немного помолчал и продолжил: — Ты ничего не знал... Ее письма стали какими-то странными, и я понял, что она влюбилась в Марша. Потом она вообще перестала писать. Марш в своих письмах ни словом не упоминал о ней... Я почуял неладное и решил вернуться, чтобы все выяснить. Тебе говорить не стал — они бы по твоему виду обо всем догадались. Хотел застигнуть их врасплох. Приехал на такси сегодня около полудня и отослал прочь всех домашних слуг... полевых рабочих не стал трогать, они бы все равно ничего не услышали в своих хижинах. Маккейба отправил в Кейп-Жирандо за покупками и велел не возвращаться до завтра. А неграм дал старую машину, чтобы Мэри отвезла всех в Бенд-Виллидж на выходной, — сказал, что мы все уезжаем на целый день и они нам не понадобятся. Посоветовал остаться на ночь у кузена дядюшки Сципа — хозяина пансиона для негров.

Речь Дэниса становилась все бессвязнее, и я отчаянно напрягал слух, силясь разобрать каждое слово. Мне снова почудился истощный вой вдалеке, но в данный момент он мало интересовал меня.

— Увидел, что ты спишь в гостиной, и постарался не разбудить тебя. Потихоньку поднялся наверх, чтобы застать Марша с... этой женщиной!

Дэнис содрогнулся всем телом, когда упомянул о Марселине, не назвав ее по имени. Глаза у него расширились при очеред-

ном взрыве далекого плача, который теперь казался мне страшно знакомым.

— В спальне ее не оказалось, и я поднялся в мансарду. За закрытой дверью студии слышались голоса, и я ворвался без стука. Она там позировала — голая, но окутанная мантией своих чертовых волос — и усиленно строила глазки Маршу. Мольберт стоял обратной стороной к двери... я не увидел картины. Оба они оторопели при виде меня, и Марш выронил кисть. Я кипел яростью и велел Маршу показать мне портрет, но он быстро овладел собой и сказал, что работа еще не вполне закончена — мол, я смогу увидеть картину через пару дней... *она* ее тоже еще не видела. Но меня это не устроило. Я подошел, и Марш проворно накинул на холст бархатную ткань. Казалось, он готов драться со мной, только бы не подпустить к портрету, но тут эта... эта... она подошла и поддержала меня. Сказала, что мы должны взглянуть на картину. Фрэнк пришел в бешенство и ударил меня, когда я попытался сорвать ткань с мольберта. Я нанес ответный удар, и он рухнул на пол без чувств. Потом я сам едва не лишился чувств, услышав дикий вопль этой... этого существа. Она сама сдернула ткань с холста и увидела, что на нем изображено. Я резко обернулся и увидел, как она сломя голову вылетает из студии... *А потом я увидел картину.*

Тут в глазах мальчика снова полыхнуло безумие, и на мгновение мне показалось, будто он собирается броситься на меня с мачете. Однако спустя несколько секунд он немного успокоился.

— О господи... какой кошмар! Не вздумай смотреть на нее! Сожги холст вместе с тканью, наброшенной на него, и выброси пепел в реку! Марш знал — и пытался предостеречь меня. Он знал, кто она такая... знал, что представляет собой на самом деле эта женщина... эта кровожадная пантера, или горгона, или ламия, или кто там еще. Он намекал на это с первого дня нашего с ней знакомства в его парижской студии, но такое не выразить словами. Когда мне нашептывали про нее разные ужасы, я думал, что все просто несправедливы к ней... она загипнотизировала меня до такой степени, что я не верил очевидному. Но этот портрет обнажил всю ее сокровенную природу — всю ее чудовищную сущность! Бог мой, Фрэнк поистине гениальный ху-

дожник! Эта картина — величайшее произведение искусства, созданное человеком после Рембрандта! Сжечь ее — преступление, но гораздо тяжелейшим преступлением было бы сохранить ее, как было бы непростительным грехом оставить в живых проклятую дьяволицу. При первом же взгляде на портрет я понял, кто она такая и какое отношение имеет к ужасной тайне, дошедшей до нас со времен Ктулху и Великих Древних, — тайне, которая едва не канула в забвение вместе с утонувшей Атлантидой, но все же чудом сохранилась в секретных традициях, аллегорических мифах и нечестивых обрядах, творимых в глухие ночные часы. Ибо эта женщи... это существо было настоящим — никакого обмана, к несчастью. То была древняя чудовищная тень, о которой не смели ни единым словом обмолвиться философы былых времен и которая косвенно упомянута в «Некрономиконе» и воплощена в каменных колоссах острова Пасхи. Она думала, мы не разгадаем ее сущности — рассчитывала держать нас в заблуждении, покуда мы не продадим свои бессмертные души. И она почти добила своего — меня бы она точно заполучила в конце концов. Она просто... выжидала удобного момента. Но Фрэнк... старина Фрэнк оказался ей не по зубам. *Он знал, что она собой представляет, и изобразил ее на холсте в истинном виде.* Неудивительно, что она завизжала и бросилась прочь, едва увидела портрет. Картина не вполне закончена, но, видит бог, явленного на холсте *вполне достаточно*.

Тогда я понял, что должен убить дьяволицу — уничтожить ее и все, что с ней связано. Эта зараза пагубна для здорового человеческого духа. Я рассказываю не все, но худшего ты не узнаешь, коли сожжешь полотно, не взглянув на него. Я снял со стены мачете и спустился к ней в комнату. Фрэнк по-прежнему лежал на полу без сознания. Однако он дышал, и я возблагодарил небо за то, что не убил друга.

Когда я вошел, она заплетала в косу свои проклятые волосы перед зеркалом. Она набросилась на меня, точно разъяренный дикий зверь, и принялась вопить о своей ненависти к Маршу. Тот факт, что она была влюблена в него (а я знал, что она влюблена), только ухудшал дело. С минуту я не мог пошевелиться, она практически загипнотизировала меня. Потом я вспомнил картину, и наваждение рассеялось. Она поняла по моим глазам,

что я освободился от чар, и тогда же заметила мачете в моей руке. Она вперилась в меня по-звериному злобным взглядом, какого мне не доводилось видеть ни разу в жизни, и прыгнула вперед, выпустив когти на манер пантеры, но я оказался проворнее. Один взмах мачете — и все было кончено.

Дэнис снова умолк, и я увидел струйки пота, стекающие у него со лба и ползущие по измазанному кровью лицу. Однако через несколько мгновений он продолжил:

— Я сказал «все было кончено», но — господи! — самое страшное только начиналось! Я чувствовал себя победителем, сокрушившим полчища Сатаны, и поставил ногу на спину убитой твари. *И вдруг я увидел, что богомерзкая коса жестких черных волос зашевелилась и стала извиваться сама по себе.* Мне следовало догадаться раньше. Все это описано в древних легендах. Проклятые волосы жили собственной жизнью, которая не пресеклась со смертью чудовищного существа. Я понял, что должен сжечь их, и принялся орудовать мачете. Дело оказалось чертовски трудным — все равно что рубить и резать железную проволоку. И толстая длинная коса самым отвратительным образом корчилась и билась в моей руке, пытаясь вырваться. Когда я откромсал или выдрал с корнем последнюю прядь, со стороны реки донесся леденящий душу вой. Ты знаешь, о чем я: он так и продолжается до сих пор, лишь изредка ненадолго стихая. Я понятия не имею, что там за вой такой, но он наверняка прямо связан с этим кошмаром. Когда он раздался в первый раз, я здорово испугался и от страха выронил из рук отрезанную косу. Но в следующий миг я испугался еще сильнее, ибо мерзкая коса вдруг набросилась на меня и принялась яростно хлестать, молотить одним своим концом, скрутившимся в гротескное подобие головы. Я рубанул по ней мачете, и она отступила. Переведя дыхание, я увидел, что чудовищная коса ползет по полу, точно огромная черная змея. Несколько секунд я неподвижно стоял на месте, парализованный ужасом, но когда она скрылась из виду, я кое-как справился с собой и шаткой поступью двинулся за ней. Я шел по широкому кровавому следу, который привел меня в мансарду, — и будь я проклят, если не видел через открытую дверь студии, как кошмарная живая коса бросается на несчастного, все еще полуоглушенного Марша, словно

разъяренная гремучка, и обвивается вокруг него кольцами, как питон. Бедняга только-только начал приходить в себя, но омерзительная змееподобная тварь добралась до него прежде, чем он успел подняться на ноги. Я знал, что вся ненависть той женщины передалась ей, но у меня не хватало сил оторвать ее от Марша. Я старался, но все без толку. Я даже не мог воспользоваться мачете — примись я орудовать ножом, я бы изрубил Фрэнка на куски. Я видел, как чудовищные кольца сжимаются все плотнее... слышал тошнотворный хруст костей... и все это время откуда-то с полей доносился ужасный вой.

Вот и все. Я набросил на холст бархатную ткань и надеюсь, никто под нее не заглянет. Картину надо сжечь. Я не смог оторвать от бедного Фрэнка змееподобную косу, обвившуюся вокруг него тесными кольцами, — она намертво пристала к телу и, похоже, утратила двигательную способность. Такое впечатление, будто она питает своего рода извращенную любовь к мужчине, которого убила... липнет к нему, крепко обнимает и не отпускает. Тебе придется сжечь несчастного Фрэнка вместе с ней, но только, бога ради, сожги ее дотла. И портрет тоже. Во благо всего человечества они должны быть уничтожены.

Возможно, Дэнис сказал бы больше, но нас прервал скорбный вой, снова долетевший откуда-то издалека. Впервые за все время мы поняли происхождение сих леденящих кровь звуков, ибо переменявшийся на западный ветер наконец донес до нас членораздельные слова. Нам давно следовало догадаться, поскольку мы и раньше нередко слышали подобные завывания. То древняя сморщенная Софонизба — зулусская ведьма, пресмыкавшаяся перед Марселиной, — голосила в своей хижине, воплями своими венчая свершившуюся кровавую трагедию. Мы с Дэнисом оба разобрали отдельные фразы и ясно поняли, что некие сокровенные первобытные узы связывали эту колдунью-дикарку с другой наследницей древних тайн, недавно убитой. Судя по всему, чернокожая старуха знала толк в первозданных демонических культах.

— *Йа! Йа! Шуб-Ниггурат! Йа-Р'льех! Н'гаги н'булу бвана н'лоло!* Йа, йо, бедный мисси Танит, бедный мисси Исид! Могучий Клулу, выходи из вода и заberi свой дитя — она умереть! Она умереть! У волосы больше нет хозяйка! Могучий Клулу!

Старый Софи, она знать! Старый Софи, она иметь черный камень из Большого Зимбабве в древний Африка! Старый Софи, она плясать при луна вокруг камень-крокодил, пока Н'бангус не поймать ее и не продать люди на корабль! Больше нет Танит! Больше нет Исид! Больше нет великий колдунья, чтобы подержать огонь в большой каменный очаг! Йа, йо! *Н'гаги н'булу бвана н'лото! Шуб-Ниггурат!* Она умереть! Старый Софи знать!

Причитания продолжались, но я уже перестал обращать на них внимание. По лицу моего мальчика я понял, что слова Софонизбы напомнили ему о чем-то ужасном, и он стиснул мачете в руке с видом, не сулившим ничего хорошего. Я понимал, что он в отчаянии, и бросился вперед с намерением разоружить его, пока он не сотворил еще чего-нибудь.

Но я опоздал. Старик с больной спиной мало на что способен. Последовала короткая яростная схватка, но уже через несколько секунд Дэнис покончил с собой. Подозреваю, он хотел убить и меня тоже. Перед самой смертью он, задыхаясь, пробормотал что-то о необходимости уничтожить все, что связано с Марселиной любыми узами — будь то кровными или брачными.

V

До сих пор не понимаю, почему я не сошел с ума в тот же миг — или в последовавшие за ним минуты и часы. Передо мной лежало мертвое тело моего мальчика — единственного на свете человека, дорогого моему сердцу, — а в десяти футах от него, рядом с накрытым тканью мольбертом, лежало тело его лучшего друга, туго обвитое кошмарными черными кольцами. В комнате этажом ниже находился оскальпированный труп женщины-монстра, относительно которой я был готов поверить чему угодно. В своем оглушенном состоянии я никак не мог оценить степень правдоподобности истории про волосы — но в любом случае скорбных завываний, доносившихся из хижины тетушки Софи, в данный момент оказалось бы вполне достаточно, чтобы рассеять все сомнения на сей счет.

Будь я более разумнее, я бы выполнил наказ бедного Дэниса: сжег бы картину и оплетавшие бездыханное тело волосы, не

медля ни минуты и не любопытствуя, — но я был слишком потрясен, чтобы проявлять благоразумие. Полагаю, я долго бормотал разные глупости над мертвым сыном, но потом вдруг вспомнил, что уже близится полночь, а утром вернутся слуги. Объяснить произошедшее, ясное дело, совершенно невозможно — значит мне надо уничтожить все следы трагедии и сочинить какую-нибудь достоверную историю.

Черная коса, обвившая тело Марша, наводила дикий ужас. Когда я ткнул в нее снятой со стены шпагой, мне почудилось, будто она еще туже сжалась кольцами вокруг мертвеца. Я не осмелился дотронуться до нее руками — и чем дольше я смотрел на нее, тем больше жутких подробностей замечал. Одно обстоятельство испугало меня до полусмерти — не стану уточнять, какое именно, но оно отчасти объясняло, почему Марселина постоянно подпитывала волосы диковинными маслами и бальзамами.

В конце концов я решил похоронить все три тела в подвале, засыпав негашеной известью, запас которой, я знал, хранился у нас в сарае. Я трудился всю ночь не покладая рук. Я выкопал три могилы — одну, предназначенную для моего мальчика, поодаль от других двух, ибо я не хотел, чтобы он покоился рядом с этой женщиной или ее волосами. К великому сожалению, мне так и не удалось отодрать чудовищную косу от несчастного Марша. Перетащить трупы в подвал было чертовски трудно. Женщину и оплетенного волосами беднягу я отволол вниз на одеялах. Потом мне еще предстояло принести из сарая два бочонка извести. Видимо, Господь дал мне силы, ибо я не только справился с этим делом, но и без промедления засыпал негашенкой и зарыл все три могилы.

Часть извести я развел для побелки, а затем притащил в гостиную стремянку и хорошенько замазал кровавое пятно на потолке. Я сжег все вещи Марселины и тщательно вымыл стены, пол и мебель в ее комнате. Равно тщательно я убрался в мансардной студии и стер ведущие туда следы. И все это время я слышал завывания старой Софи в отдалении. Должно быть, сам дьявол вселился в нее, давая силы голосить без передыху много часов кряду. Но она и прежде частенько вопила на все лады, изрекая разные странные слова, — вот почему негры-рабочие

не испугались и не выказали особого любопытства той ночью. Я запер дверь студии и отнес ключ в свою комнату. Потом я сжег в камине всю свою одежду, испачканную кровью. К рассвету дом выглядел вполне обычно на любой посторонний взгляд. Я не осмелился дотронуться до закрытого тканью мольберта, но намеревался сделать это позже.

Утром вернулись слуги, и я сказал, что молодежь уехала в Сент-Луис. Никто из полевых рабочих, похоже, ничего не видел и не слышал, а причитания старой Софонизбы прекратились с первым проблеском зари. В дальнейшем она молчала, как сфинкс, и ни единым словом не обмолвилась о мыслях и чувствах, владевших ею накануне вечером и ночью.

Впоследствии я всем сказал, что Дэнис, Марш и Марселина вернулись в Париж, и заручился содействием одного надежного агентства, начавшего пересылать мне оттуда письма, которые я сам же и писал поддельным почерком. Мне пришлось много хитрить и изворачиваться, чтобы объяснить ситуацию разным нашим друзьям и знакомым, и я знаю, многие втайне подозревали меня в сокрытии правды. Во время войны я получил мною же самым сфабрикованные извещения о гибели Марша и Дэниса, а позже сообщил всем, что Марселина ушла в монастырь. К счастью, Марш был сиротой, а по причине своего эксцентричного образа жизни он давно порвал всякие отношения с родней в Луизиане. Все могло бы сложиться гораздо лучше, если бы у меня достало благоразумия сжечь картину, продать плантацию и оставить всякие попытки вести дела в своем состоянии умственного и нервного истощения. Сами видите, до чего довела меня моя глупость. Начались неурожай, рабочие стали увольняться один за другим, дом пришел в упадок — и я превратился в затворника и предмет дичайших местных сплетен. В наши дни никто и близко не подходит к Риверсайду после наступления темноты — да и в любое другое время, коли есть возможность обойти поместье стороной. Вот почему я сразу понял, что вы не из наших краев.

Почему я остаюсь здесь? Я не могу сказать вам всю правду. Она слишком тесно связана с вещами, выходящими за пределы реальности, постижимой человеческим разумом. Возможно, все

сложилось бы иначе, не взгляни я на картину. Мне следовало поступить так, как велел бедный Дэнис. Я действительно собирался сжечь холст, когда неделю спустя поднялся в студию, но сперва я посмотрел на него — и это все изменило.

Нет смысла рассказывать вам, что́ я увидел. Вы можете и сами взглянуть на портрет, хотя время и сырость уже сделали свое дело. Думаю, с вами не случится ничего страшного, коли вы увидите творение Марша, но со мной вышло совсем иначе. Ибо я слишком хорошо знал, что́ все это значит.

Дэнис был прав: картина, пусть и не вполне законченная, представляет собой величайшее достижение художественного гения со времен Рембрандта. Я с первого взгляда понял: передо мной подлинный шедевр и бедняга Марш явил в нем самую суть своей декадентской философии. В живописи этот юноша был тем же, чем Бодлер был в поэзии, — а Марселина являлась ключом, отомкнувшим кладезь его гениальности.

Когда я откинул в сторону бархатную ткань, картина глубоко потрясла меня еще прежде, чем я успел охватить взглядом всю композицию в целом. Это лишь отчасти портрет, знаете ли. Марш выразился вполне буквально, когда намекнул, что рисует не просто Марселину, а нечто сокрытое в ней и проглядывающее сквозь нее.

Разумеется, она изображена там и в известном смысле задает тон всей картине, но ее фигура составляет лишь часть сложной композиции. Полностью обнаженная, если не считать жуткого черного покрова распущенных волос, она полусидит-полулежит на некоем подобии скамьи или дивана, украшенном причудливыми резными узорами, не принадлежащими ни к одному известному стилю декоративного искусства. В одной руке она держит чудовищной формы кубок, из которого изливается жидкость, чей цвет я до сих пор не в силах определить — ума не приложу, где Марш вообще раздобыл такие пигменты.

Диван с фигурой сдвинут влево и расположен на переднем плане самой странной мизансцены из всех, какие мне доводилось видеть в жизни. На ум приходит мысль, что вся мизансцена есть плод воображения женщины, но одновременно напрашивается и прямо противоположное предположение, что именно женщина является зловещим видением или галлюцинацией,

порожденной фантасмагорическим пространством на заднем плане.

Не знаю, интерьер или экстерьер изображен там — изнутри или снаружи видит зритель циклопические своды, и высечены ли они из камня или же представляют собой просто уродливо разросшиеся древовидные образования. Геометрия пространства просто бредовая — беспорядочное смешение острых и тупых углов.

И боже! Эти кошмарные фантомы, парящие в вечном демоническом сумраке! Эти богопротивные твари, что таятся, крадутся в тених и справляют ведьмовской шабаш под водительством той женщины, своей верховной жрицы! Черные косматые существа, напоминающие козлов... чудовище с крокодилей головой, тремя ногами и рядом щупалец вдоль позвоночника... плосконосые эгиптаны, исполняющие отвратный танец, который был известен египетским жрецам и считался святотатственным!

Но там изображен не Египет, а нечто более древнее, чем Египет, более древнее, чем даже Атлантида, легендарный Му и мифическая Лемурия. Там явлен доисторический первоисточник всех земных ужасов, и символический характер живописного языка выразительно подчеркивает исконное сродство Марселины с ними. Думаю, это ужасный запретный Р'льех, построенный пришлецами из космоса, — таинственный город, о котором Марш и Дэнис частенько разговаривали в сумерках приглушенными голосами. Такое впечатление, будто все изображенное на холсте находится под огромной толщей воды, хотя его обитатели, похоже, свободно дышат.

И вот, не в силах пошевелиться, я стоял и смотрел на картину, дрожа всем телом, но потом вдруг заметил, что Марселина с коварным видом наблюдает за мной с холста своими жуткими, широко раскрытыми глазами. Нет, во мне говорил не один только суеверный страх: в своей безумной симфонии линий и цвета Маршу действительно удалось воплотить часть чудовищной жизненной силы сей женщины — и она продолжала вынашивать черные мысли, сверлить взглядом и люто ненавидеть, словно и не упокоилась вовсе под слоем негашеной извести в подвале. Но дальше стало хуже, ибо *несколько кошмарных змее-*

подобных прядей вдруг зашевелились, отделились от поверхности холста и медленно потянулись по направлению ко мне.

Тогда я познал последний безмерный ужас и понял, что мне суждено навеки остаться здесь стражем и узником. Марселина являлась существом, давшим начало первым смутным легендам о Медузе и прочих горгонах, и теперь наконец моя надломленная воля покорила сильнейшей воле и обратилась в камень. Никогда уже не уйти мне от этих извилистых змееподобных прядей — как живущих на картине, так и лежащих под слоем извести в могиле рядом с винными бочками. Слишком поздно вспомнил я истории о нетленных волосах мертвецов, пусть даже погребенных века и тысячелетия назад.

С тех пор моя жизнь превратилась в сплошной ужас и рабство. В самом воздухе здесь постоянно витает страх перед темной силой, затаившейся в подвале. Не прошло и месяца, как негры начали шептаться о большой черной змее, которая ползает по вечерам рядом с винными бочками и неизменно оставляет след, ведущий к месту в шести футах от них. В конце концов мне пришлось перенести все, что там хранилось, в другую часть подвала, ибо ни один чернокожий ни за какие коврижки не соглашался и близко подходить к месту, где видели рептилию.

Потом полевые рабочие стали поговаривать о черной змее, что навевается в хижину старой Софонизбы каждую ночь после двенадцати. Один из них показал мне змеиный след, а вскоре я заметил, что и сама тетушка Софи взяла странное обыкновение спускаться в подвал особняка и проводить там по много часов кряду, бормоча непонятные заклинания над тем самым местом, к которому не смели приближаться все остальные негры. Господи, как же я обрадовался, когда старая ведьма умерла! Уверен, у себя в Африке она была жрицей какого-то ужасного древнего культа. Она дожила чуть не до ста пятидесяти лет.

Ночами мне порой чудится, будто некое существо тихо скользит по дому. Расшатанные ступени лестницы слегка поскрипывают, и дверной засов в моей комнате звякает, словно кто-то пробует дверь с другой стороны. Разумеется, я всегда запираюсь на ночь. Иногда по утрам мне слышится тошнотворный запах плесени в коридорах, и я замечаю на пыльном полу слабый след в виде сплошной полосы. Я знаю, что должен охранять волосы

на картине: если с ними что-нибудь случится, обитающие в доме темные силы неминуемо отомстят самым жестоким образом. Я даже не осмеливаюсь умереть, ибо жизнь и смерть — одно и то же для человека, оказавшегося во власти обитателя Р'льеха. Меня ожидает страшное возмездие за небрежение своими обязанностями. Локоны Медузы крепко держат меня и уже никогда не отпустят. Если вы дорожите своей бессмертной душой, молодой человек, никогда не имейте дела с тайным первозданным ужасом.

VI

Ко времени, когда старик закончил свой рассказ, маленькая лампа уже давно выгорела, а в большой керосина осталось чуть-чуть. Видимо, близился рассвет, и тишина за окнами свидетельствовала, что гроза миновала. Глубоко потрясенный историей, я почти боялся взглянуть на дверь — вдруг она подрагивает под напором некоей неведомой силы. Трудно сказать, какое чувство преобладало во мне — ужас, недоверие или своего рода болезненное, извращенное любопытство. Я полностью утратил дар речи и ждал, когда мой странный хозяин рассеет чары безмолвия.

— Хотите увидеть... картину?

Он говорил очень тихим, нерешительным голосом — и в высшей степени серьезно. Любопытство взяло верх над всеми прочими эмоциями, и я молча кивнул. Он встал, зажег стоявшую на столе свечу и, держа ее перед собой в вытянутой руке, направился к двери.

— Пойдемте со мной... наверх.

Перспектива еще раз пройти по темным затхлым коридорам пугала меня, но завораживающий интерес оказался сильнее страха. Половицы скрипели под нашими ногами, и один раз я сильно вздрогнул, когда различил в пыли на лестничной площадке слабый след в виде сплошной полосы, словно оставленный толстым канатом.

В мансарду вела страшно скрипучая расхлябанная лестница, где не хватало нескольких ступенек. Я только обрадовался необходимости внимательно смотреть под ноги, ибо в таком слу-

чае мне не приходилось озираться по сторонам. В мансардном коридоре, часто искрещенном нитями паутины, царила крошечная тьма и лежала толстым слоем пыль, в которой при свете свечи ясно виднелся проторенный след, ведущий к двери в дальнем конце. Заметив останки истлевшего ковра, я невольно подумал о других ногах, ступавших по нему в былые годы, — а также о существе, не имеющем ног.

Старик провел меня прямо к двери в конце коридора и несколько секунд возился с ржавым замком. Теперь, когда картина находилась совсем близко, я испугался не на шутку, но уже было поздно идти на попятный. Мгновение спустя хозяин ввел меня в заброшенную студию.

Трепетный огонек свечи едва рассеивал тьму, но все же позволял составить общее представление о помещении. Я разглядел низкий наклонный потолок, огромное мансардное окно, разные диковинные сувениры и трофеи на стенах, а самое главное — накрытый тканью мольберт, стоящий посередине студии обратной стороной к нам. Де Рюсси подошел к мольберту, откинул с холста пыльный бархатный покров и молча поманил меня рукой. Мне потребовалось собрать все свое мужество — особенно когда я увидел в неверном свете свечи, как расширились глаза моего хозяина, едва он взглянул на полотно. Но вновь любопытство пересилило, и я подошел к де Рюсси. В следующий миг я увидел проклятую картину.

Я не лишился чувств — хотя ни один читатель даже представить не может, каких усилий мне это стоило. Правда, я вскрикнул, но тотчас умолк, заметив испуганное выражение на лице старика. Как я и предполагал, холст сильно покособился, растрескался и покрылся плесенью от сырости и из-за отсутствия должного ухода, но тем не менее я распознал чудовищные эманации запредельного космического зла, источаемые безымянными бредовыми фантомами и всей извращенной геометрией населенного ими пространства.

Я увидел все, о чем говорил старик: адскую смесь черной мессы и ведьмовского шабаша среди кошмарного нагромождения немыслимых сводов и колонн. А какой вид приобрела бы картина по окончательном завершении работы над ней, я и близко не представлял. Следы тления и распада лишь усугубляли жуткое

впечатление от недвусмысленной символики запечатленных на полотне образов, ибо сильнее всего пострадали от времени именно те части холста, где изображались объекты, которые в Природе — или в явленном на полотне запредельном мире, пародирующем Природу, — подвержены гниению и разложению.

Самое страшное впечатление, разумеется, производила Марселина. При виде сей поблекшей женской фигуры с размытыми очертаниями у меня возникло странное ощущение, будто она связана некими таинственными потусторонними узами с телом, что покоится под слоем негашеной извести в подвале. Может статься, известь сохранила труп, вместо того чтобы уничтожить, — но могли ли сохраниться в могиле эти бездонные черные глаза, со злобной издевкой глядевшие на меня из представленной на полотне преисподней?

И весь облик женщины на холсте явственно свидетельствовал еще об одном обстоятельстве — о том, что не смог выразить словами де Руси, но что, по всей видимости, имело прямое отношение к желанию Дэниса убить всех своих родственников, проживавших под одной крышей с Марселиной. Неизвестно, знал ли о нем Марш — или же пребывающий в нем гений изобразил это без его ведома. Но Дэнис и его отец точно не знали, пока не увидели картину.

Самым страшным из всех ужасов, явленных на полотне, были струящиеся черные волосы, которые покрывали подобием мантии нагое тело, тронутое распадом, но *сами не обнаруживали ни малейших признаков порчи*. Все, что я слышал о них, полностью подтвердилось. Ничего человеческого не было в этой черной полутекучей-полуволокнистой массе извилистых змееподобных прядей. В каждом неестественном изгибе, извиве и завитке чувствовалась зловещая жизненная сила, а бесчисленные змеиные головы на концах локонов были намечены слишком четко, чтобы оказаться случайными штрихами или обманом зрения.

Боготворное создание притягивало меня точно магнит. Я чувствовал себя совершенно беспомощным и уже не находил ничего неправдоподобного в мифе о взгляде горгоны, обращающем в камень всякое живое существо, которое на нее посмотрит. Потом мне почудилось, будто изображение на холсте переменялось. Черты злобного лица дрогнули и пришли в движение —

тронутая распадом челюсть отвисла, и непристойно толстые губы раздвинулись, обнажив ряд острых желтых клыков. Зрачки демонических глаз расширились, а сами глаза полезли из орбит. А волосы — эти проклятые волосы!.. *Они вдруг явственно зашевелились, зашуршали, и все змеиные головы обратились к де Рюсси и принялись угрожающе раскачиваться, точно перед стремительным броском!*

Рассудок у меня помутился от страха, и, безотчетным движением выхватив свой автоматический пистолет, я всадил в жуткую картину одну за другой двенадцать пуль. Холст моментально рассыпался на куски, и даже рама с грохотом упала с мольберта на пыльный пол. Но едва я избавился от одного кошмара, как передо мной предстал другой — в облике самого де Рюсси, чьи дикие вопли повергли меня почти в такой же ужас, как сама картина.

Невнятно прокричав: «Боже, что вы наделали!», обезумевший от страха старик схватил меня за руку и потащил прочь из студии, а затем вниз по шаткой лестнице. В панике он уронил свечу, но уже близилось утро, и скудный серый свет просачивался сквозь пыльные окна. Я постоянно спотыкался и оступался, но мой хозяин ни разу не сбавил шага.

— Бегите! — истерически вопил он. — Спасайтесь! Вы не знаете, что вы натворили! Я ведь не все рассказал вам! У меня были обязанности — *картина разговаривала со мной и предостерегала меня*. Я должен был беречь и охранять ее — а теперь случится самое страшное! Она и ее волосы восстанут из могилы — бог ведает, с какой целью! Быстрее, быстрее же! Бога ради, давайте уберемся отсюда, покуда еще есть время. У вас машина — довезите меня до Кейп-Жирандо. В конце концов она настигнет меня где угодно, но предварительно я заставлю ее попотеть. Прочь же, прочь отсюда — скорее!

Когда мы спустились на нижний этаж, я услышал размеренные глухие удары, донесшиеся из глубины дома, а потом стук захлопнувшейся двери. Ударов де Рюсси не расслышал, но второй звук достиг его слуха — и старик издал самый душераздирающий вопль, какой только способно исторгнуть человеческое горло.

— *О Боже!.. Всемогуций Боже!.. То хлопнула подвальная дверь... Она идет...*

Я уже лихорадочно дергал ржавый засов и налегал плечом на перекошенную входную дверь с разболтанными петлями — тоже охваченный паническим ужасом теперь, когда я слышал тяжкую медленную поступь, приближавшуюся из задних комнат проклятого особняка. От ночного дождя дубовые доски разбухли, и массивную дверь заело еще сильнее, чем накануне вечером, когда я с немалым трудом отворил ее.

В одной из ближайших комнат под ногой неведомого существа громко скрипнула половица, и сей жуткий звук, похоже, лишил несчастного старика последних остатков рассудка. Взревев, подобно разъяренному быку, он отпустил мою руку и метнулся направо — в дверной проем, видимо ведущий в гостиную. Секундой позже, когда входная дверь наконец поддалась, открывая мне путь к бегству, я услышал звон разбитого стекла и понял, что де Рюсси выпрыгнул в окно. Слетев с перекошенного крыльца и опрометью бросившись по длинной, заросшей бурьяном аллее, я различил позади глухие размеренные шаги таинственного существа, которое не последовало за мной, но тяжелой поступью направилось в гостиную с затянутыми паутиной стенами и потолком.

В сером свете пасмурного ноябрьского утра я мчался сломя голову по заброшенной аллее, сквозь заросли чертополоха и шиповника, мимо засохших лип и уродливых карликовых дубов. Оглянулся я лишь дважды. В первый раз — когда почуял едкий запах дыма и вспомнил о свече, оброненной де Рюсси в мансарде. К тому времени я уже находился в спасительной близости от шоссе, на возвышенности, откуда была хорошо видна крыша особняка над деревьями. Как и я ожидал, густые клубы дыма валили из мансардных окон и поднимались к свинцовому небу. Я возблагодарил силы небесные за то, что огонь истребит древнее проклятие, освободив от него землю.

Но несколько секунд спустя я оглянулся во второй раз и увидел две вещи, и чувство облегчения мигом сменилось глубоким шоком, от которого я не оправлюсь полностью до конца жизни. Как я уже сказал, я находился на возвышенности, откуда была видна значительная часть плантации — не только окруженный деревьями особняк, но также заброшенный, частично затопленный плоский участок земли у реки и несколько изгибов заросшей бурьяном аллеи, по которой я промчался во весь дух. И там,

и там взору моему явилось — или примстилось — нечто такое, что мне искренне хотелось бы признать обманом зрения.

Обернуться меня заставил еле слышный отчаянный крик, донесшийся издалека, и я заметил какое-то движение на серой заболоченной равнине позади дома. На таком расстоянии человеческие фигуры выглядят совсем крохотными, но мне показалось, что там двое — преследователь и преследуемый. Мне даже почудилось, будто я увидел, как убегающего человека в темной одежде настиг и схватил лысый голый преследователь — настиг, схватил и поволок к дому, уже объятому пламенем.

Но я не увидел, чем там кончилось дело, ибо в следующий миг взгляд мой привлекло движение на запущенной аллее — неподалеку от места, где я стоял. *Сорная трава и кусты вздрагивали и покачивались — причем явно не от ветра, а так, словно в зарослях быстро ползла огромная змея, исполненная решимости догнать меня.*

Нервы у меня окончательно сдали. Я как сумасшедший бросился к воротам, не обращая внимания на изодранную одежду и кровоточащие царапины на руках и лице, и запрыгнул в машину, припаркованную под огромным вечнозеленым деревом. Сиденья насквозь промокли от дождя, но мотор от воды не пострадал и завелся сразу же. Я рванул с места и помчался вперед, движимый единственным желанием убраться прочь от жуткого места, населенного кошмарными фантомами и демонами, — убраться как можно скорее и дальше.

Через три или четыре мили меня окликнул местный фермер — добродушный мужчина средних лет, с неторопливым говором и живым природным умом. Обрадовавшись возможности спросить дорогу, я затормозил, хотя и понимал, что представляю собой довольно странное зрелище. Мужчина охотно объяснил, как доехать до Кейп-Жирардо, и поинтересовался, откуда я еду в столь ранний час да в таком плачевном виде. Я счел за лучшее помалкивать, а потому сказал, что ночью попал под дождь и нашел пристанище на ферме неподалеку, а с утра долго плутал в зарослях колючего кустарника, пытаясь разыскать свою машину.

— На ферме, значит? Интересно, на чьей бы это? В той стороне, откуда вы едете, нет никакого жилья аж до самой фермы

Джима Ферриса, что за Баркерс-крик, а до нее добрых двадцать миль по дороге.

Я вздрогнул и задался вопросом, что за новую тайну значе- нуют сии слова. Потом спросил мужчину, не забыл ли он про большой полуразрушенный особняк, древние ворота которого выходят на дорогу недалеко отсюда.

— Забавно, что вы о нем вспомнили! Верно, вам доводилось бывать здесь раньше. Этого дома теперь нет. Сгорел дотла лет пять или шесть назад. Ох и странные же слухи о нем ходили!

Я невольно встрепнулся.

— Вы имеете в виду Риверсайд — поместье старого де Рюс- си. Пятнадцать-двадцать лет назад там творились странные де- ла. Сын старика женился за границей на иностранке. Многим здесь она пришлась не по душе: уж больно чудной был у нее вид. Потом молодые внезапно взяли да уехали, а после старик сказал, что сын погиб на войне. Но негры намекали на разные темные обстоятельства. Под конец прошел слух, будто старик сам втрескался в девицу и прикончил ее заодно с сыном. А в до- ме том, точно вам говорю, водилась громадная черная змея, хо- тите верьте, хотите нет. Лет пять-шесть назад Риверсайд сгорел дотла, а старик сгинул без следа — иные болтают, сгорел в до- ме. Помнится, было пасмурное утро после дождливой ночи — в точности как теперь, — и вдруг с полей за домом донесся ди- кий вопль де Рюсси. Когда народ сбегался посмотреть, дом уже вовсю занялся огнем. Сгорел в два счета — ведь все дерево там было сухое, что твой трут, дождь или не дождь. Старика больше никто не видел, но говорят, призрак огромной черной змеи вре- мя от времени навевается на пепелище. Вы сами-то что об этом думаете? По всему, вам не впервой слышать про Ривер- сайд. А историю про отца и сына де Рюсси слышали раньше? Как по-вашему, что было неладно с девицей, на которой женил- ся молодой Дэнис? Все ее чурались, просто на дух не выноси- ли, а вот почему — непонятно.

Я пытался собраться с мыслями, но у меня плохо получалось. Значит, дом сгорел много лет назад? Тогда где и в каких услови- ях я провел ночь? И откуда я знаю историю, поведенную фер- мером? Случайно опустив взгляд, я вдруг увидел волос на сво- ем рукаве — короткий седой стариковский волос.

В конечном счете я поехал дальше, так ничего и не рассказав мужчине, но намекнув, что людская молва несправедлива к бедному старому плантатору, претерпевшему много страданий. Я дал понять, что из свидетельств не очень близких, но вполне заслуживающих доверия знакомых мне доподлинно известно: если кто и виноват в несчастье, случившемся в Риверсайде, так только та женщина, Марселина. Она совершенно не вписывалась в здешний образ жизни, и безумно жаль, что Дэнис вообще женился на ней.

Больше я ничего не сказал, ибо почувствовал, что отец и сын де Рюсси, с их высокими понятиями о семейной чести и благородными щепетильными натурами, не захотели бы, чтобы я трепал языком. Видит бог, они достаточно пострадали и без того, чтобы еще все местные строили разные предположения да гадали, какое исчадие ада — какая горгона из сонма древнейших чудовищ — явилось обесчестить старинное имя де Рюсси, дотоле незапятнанное.

Не стоило соседям знать и о другом ужасном обстоятельстве, которое мой странный ночной хозяин так и не решился открыть мне и о котором, надо полагать, он узнал так же, как узнал я: внимательно всматриваясь в ныне утраченный шедевр бедного Фрэнка Марша.

Нет, ни в коем случае не стоило местным знать, что бывшая наследница Риверсайда — проклятая горгона или ламия, чьи отвратительные волнистые змеелоконы, надо полагать, и по сей день обвиваются тесными кольцами вокруг скелета художника в засыпанной известью могиле под обугленным фундаментом, — являлась потомком первобытных идолопоклонников, населявших Зимбабве, каковое обстоятельство ускользало от неискушенного взгляда простых смертных, но было безошибочно распознано проницательным взором гения. Посему неудивительно наличие какой-то особой связи между ней и старой ведьмой Софонизбой — ведь Марселина, пусть в ничтожно малой степени, тоже была негритянкой.

КАМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

(с Хейзл Хилд)

Бен Хайден всегда отличался упрямством, и когда он услышал о диковинных статуях, найденных в горах Адирондак, ничто не могло удержать его от поездки туда. Я многие годы водил с ним самую близкую дружбу, и в конечном счете мы стали неразлучны, как Дамон и Финтий. Посему, когда Бен твердо решил ехать, мне оставалось только последовать за ним, точно верному псу.

— Джек, — сказал он, — ты ведь помнишь Генри Джексона? Ну, который еще перебрался жить в какую-то лачугу за Лейк-Плэсидом, когда у него в легком обнаружили то поганое пятно? Так вот, на днях он вернулся почти здоровым и много всего рассказал о чертовски странной находке. Он наткнулся на нее совершенно случайно и толком не знает, причуда ли это неведомого скульптора или нечто большее. Но в любом случае у него осталось самое тревожное впечатление.

В общем, однажды он отправился на охоту и ненароком набрел на пещеру, у входа в которую стояла собака. Генри ожидал, что она залает, а потом пригляделся и увидел: собака-то не живая, а каменная — но все в ней, до последней шерстинки, настолько натурально, что и не понять, изваяние ли это, выполненное с невероятным мастерством, или же окаменелое животное. Он даже боялся до нее дотронуться, а когда все-таки потрогал, удостоверился: собака каменная.

Немного погодя Генри собрался с духом и вошел в пещеру — и там испытал еще сильнее потрясение. Неподалеку от входа он увидел вторую каменную фигуру (во всяком случае, на вид она казалась таковой), только теперь человеческую. Камен-

ный мужчина, в одежде, лежал на боку, со странной улыбкой на лице. На сей раз Генри не стал ничего проверять на ощупь, но круто развернулся и стремглав помчался в ближайшую деревню, Маунтин-Топ. Разумеется, он расспрашивал местных, но все без толку. Он понял, что затрагивает запретную тему, ибо деревенские жители лишь испуганно мотали головой, суеверно скрещивали пальцы да невнятно бормотали про какого-то Полоумного Дэна.

Нервы у Джексона не выдержали, и он вернулся домой на несколько недель раньше намеченного срока. Зная мою слабость ко всему необычному, он поведал мне об этом случае — а я, как ни странно, выудил из памяти историю, которая вполне увязывается с рассказом Генри. Ты помнишь Артура Уилера? Скульптора, чьи работы за реализм называли трехмерными фотографиями? Вроде ты водил с ним шапочное знакомство. Так вот, он сам сгинул в той части Адирондака. Всегда проводил там много времени, а потом и вовсе как в воду канул. С тех пор о нем ни слуху ни духу. И если теперь там обнаруживаются каменные изваяния, в точности похожие на живых собак и людей, думаю мне, это вполне могут быть работы Уилера — что бы о них ни говорили или, точнее, что бы ни отказывались говорить местные жители. Разумеется, слабонервный малый вроде Джексона легко мог потерять душевное равновесие и впасть в смятение при виде подобных скульптур, но я бы на его месте разобрался в деле, прежде чем ударяться в бегство.

Одним словом, Джек, я безотлагательно отправляюсь в Адирондак, чтобы выяснить все на месте, и ты едешь со мной. Было бы здорово найти Уилера или какие-нибудь его работы. Но в любом случае горный воздух взбодрит нас обоих.

И вот, спустя неполную неделю, после долгого путешествия железной дорогой и поездки на тряском автобусе по живописнейшей горной местности, золотым июньским вечером мы прибыли в Маунтин-Топ. Деревушка состояла всего из нескольких домишек, гостиницы да сельской лавки, возле которой и остановился автобус. Но мы с уверенностью предполагали, что именно лавка окажется средоточием всех интересующих нас слухов. Действительно, у крыльца там ошивались обычные деревенские

праздношатайки, и когда мы представились туристами, прибывшими сюда для поправки здоровья и желающими снять жилье, нас просто засыпали различными рекомендациями.

Мы планировали приступить к расследованию только на следующий день, но Бен, обративший внимание на старческую словоохотливость одного из досужих оборванцев, не удержался и принялся осторожно, исподволь задавать вопросы. Учитывая предыдущий опыт Джексона, он понимал, что начинать разговор с упоминания о странных статуях бесполезно, но решил обмолвиться о нашем былом знакомстве с Уилером, которое, соответственно, дает нам право интересоваться его судьбой.

Собравшиеся явно забеспокоились, когда Сэм перестал обстругивать ветку и заговорил, но особого повода для тревоги у них не было. Даже этот босоногий древний селянин заметно насторожился, услышав имя Уилера, и Бену стоило немалых трудов вытянуть из него что-нибудь внятное.

— Уилер? — наконец одышливо просипел он. — А, ну да... тот малый, что постоянно взрывал скалы да вытесывал из обломков статуи. Так вы, значит, евовные знакомцы? Дак ведь нам сказать о нем особо нечего, а что есть — пожалуй, и говорить-то не след. Он жил в хижине Полоумного Дэна в горах, но недолго. Стал там нежеланным гостем... в смысле, для Дэна. Угодливый такой, обходительный, все увивался за Дэновой женой, покуда старый чертяка не заприметил. Видать, втрескался в нее по уши. А потом вдруг свалил невесть куда, и с тех пор о нем ни слуху ни духу. По всему, Дэн поговорил с ним напромасту — с ним ведь шутки плохи, с Дэном-то! Вы лучше держитесь оттуда подальше, ребята, в тех местах нет ничего хорошего. Дэн после того случая ходил мрачнее тучи, а в последнее время так и вовсе запропал. И женка евовная тоже. Верно, он посадил ее под замок, чтобы никто больше на нее не заглядывался!

Высказав еще несколько соображений подобного толка, старик вновь принялся обстругивать палочку, а мы с Беном переглянулись. Вот новая ниточка, за которую, безусловно, стоит потянуть. Мы решили поселиться в гостинице и, быстро устроившись на новом месте, постановили выдвинуться в дикую горную местность с утра пораньше.

Мы тронулись в путь на рассвете, взяв с собой по рюкзаку, нагруженному провизией и различными предметами снаряжения, могущими нам понадобиться. Нас бодрило радостное предвкушение, лишь слегка омраченное смутной тревогой. Почти сразу неровная горная тропа круто пошла вверх и стала петлять, так что ноги у нас скоро заныли от усталости.

Через две мили мы свернули с тропы направо, перевалили через невысокую скалистую гряду в месте, где рос огромный вяз, и двинулись наискось к склону покруче, руководствуясь нарисованной от руки картой с пояснениями, которую вручил нам Джексон. Восхождение было трудным, но мы знали, что пещера находится где-то поблизости. Наконец мы, совершенно неожиданно, вышли к заросшей кустарником черной расселине в почти отвесном склоне. Перед ней, рядом с мелким чашеобразным углублением, совершенно неподвижно — словно соперничая своей сверхъестественной неподвижностью с камнем — стояла маленькая четвероногая фигура.

Это была серая собака — или статуя собаки, — и мы с Беном разом ахнули от изумления, не зная, что и думать. Джексон несколько не преувеличил, и нам просто не верилось, что на свете найдется скульптор, способный сотворить произведение столь совершенное. Каждый волосок великолепной шкуры животного был явственно различим, а шерсть на загривке щетинилась, словно пса застигла врасплох некая неведомая угроза. Наконец Бен, почти любовно проведя ладонью по дивному каменному меху, восхищенно воскликнул:

— Бог мой, Джек, да никакая это не статуя! Ты только посмотри: все до наимельчайших деталей на месте — и как лежит шерсть! Нет, мастерство Уиллера здесь ни при чем! Это настоящая собака — хотя одному богу ведомо, что с ней произошло такое. На ощупь — настоящий камень, да ты сам потрогай! Может, из недр пещеры время от времени вырывается какой-нибудь странный газ, действующий на живые организмы таким образом? Нам следовало хорошенько изучить местные легенды. А если собака настоящая — то есть была таковой в прошлом, — значит и человек в пещере тоже настоящий.

Исполненные неподдельной серьезности, даже страха, мы наконец проползли на четвереньках в расселину — Бен первый,

я следом. Узкий лаз тянулся фута на три, не больше, а затем резко расширялся, образуя подобие сырого сумрачного зала с песчаным полом, усыпанным битым камнем. Поначалу мы почти ничего не видели, но, когда поднялись на ноги и напрягли зрение, постепенно различили в сгущавшемся впереди мраке очертания лежащей фигуры. Бен зажег фонарь, но помедлил в нерешительности несколько секунд, прежде чем направить на нее луч света. Мы нисколько не сомневались, что каменная статуя в прошлом была живым человеком, и эта мысль здорово нервировала нас обоих.

Когда Бен наконец посветил вперед фонариком, мы увидели, что фигура лежит на боку, спиной к нам. Она явно состояла из той же минеральной субстанции, что и собака снаружи, но была одета в неокаменелый походный костюм из грубой ткани, изрядно тронутый тлением. Подготовленные рассказом Джексона к подобному зрелищу, мы довольно спокойно приблизились к ней с намерением хорошенько все рассмотреть, и Бен обошел статую, чтобы взглянуть на лицо. Но ни один из нас не был готов увидеть то, что явилось взору Бена, когда он направил луч света на каменные черты. По вполне понятной причине он испустил короткий вопль, и я также невольно вскрикнул, когда одним прыжком подскочил к нему и увидел то же, что и он. Нет, мы не узрели ничего поистине ужасного или омерзительного, а заорали потому лишь, что безошибочно опознали в сей холодной каменной фигуре с застывшим на лице полуиспуганным-полуожесточенным выражением нашего давнего знакомого Артура Уилера.

Движимые безотчетным инстинктом, мы на ватных ногах бросились прочь, лихорадочно выползли из пещеры и неслись сломя голову вниз по густо заросшему склону, покуда зловещая каменная собака позади не скрылась из виду. Мы не знали, что и думать, ибо в уме у нас теснились всевозможные дикие догадки и предположения. Бен, хорошо знавший Уилера, расстроился чуть не до слез и, похоже, увязывал в единое целое какие-то факты, ускользнувшие от моего внимания.

Пока мы переводили дух на зеленом склоне, мой друг восклицал снова и снова: «Бедный Артур! Бедный Артур!» — но только когда он пробормотал имя Полоумного Дэна, я вспомнил

про неприятную историю, в которую, по словам старого Сэма Пула, влип Уилер перед самым своим исчезновением. Полоумный Дэн, предположил Бен, премного обрадовался бы, узнав о случившемся. Нам обоим внезапно пришло на ум, что, вполне возможно, скульптор оказался в страшной пещере по милости ревнивого мужа, но мысль эта исчезла так же быстро, как появилась.

Сильнее всего нас озадачил сам феномен окаменения. Мы совершенно не представляли, какого рода природные газы или минеральные испарения могли вызвать подобную метаморфозу за сравнительно короткое время. Обычное окаменение, знали мы, является медленным процессом химического преобразования, длящимся многие века; однако налицо имелись две каменные фигуры, которые всего несколько недель назад были живыми существами — во всяком случае, Уилер. Строить догадки было бесполезно. Представлялось очевидным, что нам остается только поставить в известность власти, чтобы они и разбирались в деле, но все же у Бена из головы не выходила мысль о Полоумном Дэне. Мы продрались сквозь кустарник обратно к дороге, однако Бен не повернул к деревне, а посмотрел в сторону, где, по словам старого Сэма, находилась хижина Дэна. Сей древний ленивец доложил нам, что это второй по счету дом от деревни и стоит он слева от дороги, в густых зарослях низких дубков. Не успел я опомниться, как Бен уже тащил меня за руку по песчаной дороге мимо запущенной фермы, за которой начиналась довольно дикая местность.

Мне и в голову не пришло упираться, но, по мере того как вокруг постепенно пропадали знакомые признаки сельскохозяйственной деятельности и цивилизации, в моей душе нарастала смутная тревога. Наконец мы увидели слева заброшенную узкую тропу, а над чахлыми полусухими деревьями показалась остроконечная крыша убогого некрашеного домишки. Я понял, что это и есть хижина Полоумного Дэна, и невольно задался вопросом, с какой стати Уилер поселился в столь неприглядном месте. Я страшился сворачивать на заросшую бурьяном тропку, но обреченно потащился за Беном, который решительно прошагал к лачуге и громко постучал в хлипкую, пахнущую плесенью дверь.

На стук никто не отозвался, и гулкие отзвуки ударов ввергли меня в дрожь. Однако Бен даже бровью не повел и тотчас же двинулся вокруг дома в поисках незапертого окна. Третье по счету — в задней стене унылой хижины — отворилось от крепкого толчка, и Бен проворно перемахнул через подоконник, а затем помог забраться внутрь и мне.

Мы оказались в комнате, заваленной глыбами известняка и гранита, инструментом для каменных работ, глиняными скульптурными эскизами, и моментально поняли, что здесь находилась мастерская Уилера. Мы не замечали никаких признаков человеческого присутствия, и в воздухе висел зловецкий застарелый запах пыли. Открытая дверь слева от нас, очевидно, вела в кухню (ибо дымовая труба торчала над крышей с той стороны дома), и Бен стремительно направился к ней, исполненный решимости тщательнейшим образом обследовать последнее место проживания своего друга. Я значительно отстал от него и потому не сразу понял, с чего вдруг он резко остановился на пороге и сдавленно вскрикнул от ужаса.

Уже через несколько мгновений, однако, я заглянул в кухню — и тоже невольно вскрикнул, как недавно в пещере. Ибо здесь — в хижине, расположенной вдали от любых подземных полостей, из которых могли бы вырываться странные газы, вызывающие странные преобразования живых тканей, — находились две каменные фигуры, явно не сработанные резцом Артура Уилера. Возле очага, в грубо сколоченном кресле, привязанный к спинке длинным сыромятным кнутом, сидел каменный человек — неопрятного вида пожилой мужчина, с искаженной от дикого ужаса злобной физиономией.

На полу рядом лежала каменная женщина — стройная, изящная, с молодым красивым лицом, на котором застыло чудное выражение, одновременно язвительное и удовлетворенное. Возле откинутой в сторону правой руки валялось жестяное ведро с темным осадком на дне и стенках.

Мы не стали приближаться к этим невесть почему окаменевшим телам и обменялись лишь самыми очевидными предположениями. Вне всяких сомнений, мы видели перед собой Полоумного Дэна и его жену, а по какой причине они обратились в

камень — это уже другой вопрос. В ужасе оглядевшись по сторонам, мы поняли, что заключительное страшное событие произошло совершенно неожиданно: хотя все вокруг и покрывал толстый слой пыли, на кухне царил рабочий беспорядок, свидетельствующий об обычной возне по хозяйству, внезапно прерванной.

Единственное исключение из общего беспорядка составлял предмет, будто нарочно положенный на самом виду посреди расчищенного кухонного стола: потрепанная конторская книга, придавленная большой жестяной воронкой. Подойдя к столу и открыв журнал, Бен увидел, что это своего рода дневник — собрание датированных заметок, — написанный неразборчивым и весьма корявым почерком. Первые же слова текста привлекли внимание моего друга, и уже через десять секунд он, затаив дыхание, глотал прыгающие строки одну за другой, и я тоже жадно читал, заглядывая Бену через плечо. В процессе чтения (а продолжали мы читать в менее отвратительной обстановке соседней комнаты, куда переместились по ходу дела) многие загадочные обстоятельства прояснились, вызывая в нас дрожь от смешанных эмоций.

Ниже приводится текст, который прочитали мы, а впоследствии и коронер. Общественность видела в бульварных газетах сильно искаженную и приукрашенную для пущей сенсационности версию, но даже она вызывает ничуть не больше неподдельного ужаса, чем испытывали мы, когда с трудом разбирали каракули незамысловатого оригинала, — одни, в затхлой хижине среди диких гор, в непосредственной близости от двух противостественных каменных образований, затаившихся в гробовой тишине соседней комнаты. Когда мы дочитали до конца, Бен почти с отвращением сунул журнал в карман и сказал лишь одно: «Пойдем отсюда!»

Охваченные нервной дрожью, мы шаткой поступью молча прошли к выходу, отомкнули дверь и пустились в долгий обратный путь к деревне. В последующие дни нам пришлось дать множество показаний и ответить на множество вопросов, и мне кажется, ни я, ни Бен никогда полностью не оправимся от пережитого потрясения. Как и некоторые представители местной

власти и городские репортеры, живо съехавшиеся в деревню, — хотя позже полномочные лица сожгли некий дневник и все бумаги, найденные в ящиках на чердаке, а также уничтожили изрядных размеров аппарат, обнаруженный в самой глубине жуткой пещеры. Итак, вот эти записи.

«5 нояб. Меня зовут Дэниел Моррис. В округе меня кличут Полоумный Дэн, потому как я верю в силы, в которые нынче никто больше не верит. Когда я поднимаюсь на Громовую гору, чтобы отмечать праздник Лис, все называют меня сумасшедшим — все, кроме жителей глухомани, они меня боятся. Местные всячески мешают мне приносить жертвы Черному Козлу в канун Дня Всех Святых и не дают совершить Великий Обряд, открывающий врата в иной мир. Им надо бы соображать по-лучше — знают ведь, что по материнской линии я принадлежу к роду Ван Кауранов, а по эту сторону Гудзона любой скажет вам, что передавали Ван Каураны из поколения в поколение. Род наш берет свое начало от Николаса Ван Каурана, колдуна, повешенного в Вийтгаарте в 1578 году, и всем известно, что в свое время он заключил сделку с дьяволом.

Солдаты, получившие приказ сжечь дом Николаса, так и не нашли Книгу Эйбона. Его внук, Уильям Ван Кауран, хранил книгу у себя, когда поселился в Ренсселервике, а позже переехал в Эсопус, за реку. Спросите любого в Кингстоне или Хартли, как потомки Уильяма Ван Каурана поступали с теми, кто вставал у них на пути. Полюбопытствуйте заодно, удалось ли моему дяде Хендрику удержать „Книгу Эйбона“ в своем владении, когда его изгнали из города и он с семьей поднялся вверх по реке, чтобы обосноваться в здешних краях.

Я пишу это — и собираюсь писать дальше, — поскольку хочу, чтобы люди узнали правду, когда меня не станет. Вдобавок я боюсь, что и впрямь сойду с ума, коли не изложу все черным по белому. Все складывается против меня — если так пойдет и дальше, мне придется воспользоваться тайными знаниями из Книги и призвать на помощь известные Силы. Три месяца назад в Маунтин-Топ заявился этот скульптор, Артур Уилер, и его направили ко мне, потому как я единственный в округе, кто сведущ не только в пахотном деле, охоте да приемах вытягивания

денег из летних постояльцев. Казалось, парня заинтересовали мои разговоры, и он условился со мной о найме жилья за 13 долларов в неделю, с кормежкой. Я отвел жильцу заднюю комнату рядом с кухней, чтобы он хранил там свои каменные глыбы да тесал статуи, и договорился с Нейтом Уильямсом, что он станет подрывать для него скалы и перевозить громадные обломки на волокуше, запряженной парой волов.

С тех пор прошло три месяца. Теперь я понял, почему мой дом сразу же приглянулся чертовому поганцу. Не болтовня моя заинтересовала его, а милое личико моей жены Розы — старшей дочери Осборна Чендлера. Она на шестнадцать лет младше меня и постоянно строит глазки молодым деревенским парням. Но мы с ней всегда славно ладили, покуда не появился этот подлый тип, пусть она порой и артачилась, отказываясь отправлять со мной обряды на майский сочельник или в канун Дня Всех Святых. Теперь я вижу, как Уилер обхаживает Розу, завлекает, влюбляет в себя все сильнее — на меня она уже и не смотрит, — и думаю, рано или поздно он попытается сбежать с ней.

Но малый действует медленно, исподволь, как все хитрые лощеные шельмецы, и у меня еще полно времени, чтобы придумать, как поступить. Ни один из них не догадывается, что мне все известно, но скоро оба они поймут: нельзя безнаказанно разрушать семейный очаг Ван Кауранов. Ручаюсь, я доставлю им массу новых впечатлений.

25 нояб. Нынче День благодарения! Забавно, право слово! Но у меня, собственно, будет кого и за что благодарить, когда я завершу начатое дело. Не осталось ни тени сомнения: Уилер пытается увести мою жену. Однако покамест пускай он чувствует себя чуть ли не хозяином в моем доме. На прошлой неделе я достал Книгу Эйбона из старого дядиного сундука, что стоит на чердаке, и теперь выискиваю в ней что-нибудь дельное, не требующее жертвоприношений, совершить которые здесь у меня нет возможности. Мне нужно найти способ расправиться с двумя подлыми предателями, но такой, чтобы самому не влипнуть в неприятности. Хотелось бы чего-нибудь поэффектнее. Поначалу я думал призвать эманацию Йота, но для этого необходима кровь невинного младенца, а мне надо бы поосторожнее

с местными. Зеленая Гниль — стоящая вещь, но в этом случае не только им придется худо, но и мне будет малость неприятно. Я на дух не выношу некоторые запахи и зрелища.

10 дек. Эврика! Наконец-то я нашел то, что нужно! Месть сладка — и лучшей развязки не придумать! Уилер, скульптор... вот удача-то! Да уж, воистину, этому чертову подлецу предстоит сотворить статую, которая продается быстрее любой другой, вытесанной им за последние недели. Реалист, значит, да? Что ж, новая скульптура будет в высшей степени реалистичной! Я нашел рецепт на рукописном листочке, вложенном в Книгу на странице 679. Судя по почерку, писал мой прадед, Бареут Пиктерс Ван Кауран — тот самый, что бесследно исчез из Нью-Палца в 1839 году. *Йа! Шуб-Ниггурат! Козел с Легионом Младых!*

Одним словом, я нашел способ превратить этих гнусных крыс в каменные статуи. Все до смешного просто, и прибегнуть придется скорее к самой обыкновенной химии, нежели к Потусторонним Силам. Если мне удастся раздобыть нужные компоненты, я сварю напиток, который легко сойдет за домашнее вино, и один-единственный глоток мигом умертвит любое живое существо, кроме разве только слона. Дело сводится к процессу окаменения, в миллионы раз ускоренному. Соли кальция и бария моментально забивают организм до отказа, и минеральные вещества замещают живые клетки столь стремительно, что остановить процесс невозможно никакими силами. Видимо, этот секрет среди всех прочих мой прадед узнал в ходе Великого Шабаша на горе Сахарная Голова в Катскиллах. Там всегда творились странные дела. Помнится, я слышал про одного человека в Нью-Палце — мирового судью Хасбрука, который обратился в камень или что-то вроде того в 1834 году. Он враждовал с Ван Кауранами. Теперь перво-наперво мне надобно заказать в Олбани и Монреале пять необходимых химических реактивов. Потом у меня будет полно времени для экспериментов. Когда все закончится, я соберу все статуи и продам, выдав за работы Уилера, чтобы возместить все причиненные мне убытки! Уилер всегда был реалистом и эгоистом — так не естественно ли для него обратиться в каменный автопортрет и задействовать мою жену в качестве второй модели (что он, собственно говоря, и делал последние две недели)? Полагаю, тупоумная публика даже не

задастся вопросом, в какой *каменоломне* добыт столь дикий материал.

25 дек. Рождество. Да будет мир на всей земле, и все такое прочее! Эти две свиньи таращатся друг на друга так, словно меня вообще не существует на свете. Судя по всему, они считают меня слепоглухонемым! Ну ладно, в прошлый четверг из Олбани пришла посылка с сульфатом бария и хлоридом кальция, а кислоты, катализаторы и все необходимые приборы со дня на день пришлют из Монреаля. Жернова судьбы мелют медленно, но верно! Я буду работать в пещере Аллена, что близ нижнего лесного пояса, и одновременно без утайки делать вино здесь в погребке. Еще надобно найти повод угостить любовничков новым напитком — хотя мне не составит особого труда одурочить этих жалких простофилей. Вот только заставить Розу выпить будет сложновато, ведь она прикидывается заядлой трезвенницей. Все эксперименты на животных я буду проводить в пещере, зимой туда никто не навещается. Чтобы объяснить свои отлучки, я заранее нарублю в лесу дров. Буду каждый раз приносить домой по вязанке-другой, тогда они ничего не заподозрят.

20 янв. Дело оказалось труднее, чем я думал. Многое зависит от точности соотношения компонентов. Посылку из Монреаля я получил, но пришлось заказать еще ацетиленовую лампу и весы поточнее. Деревенские уже начинают поглядывать на меня с любопытством. Плохо, что почтовая контора размещается в лавке Стинвика. Испытываю смеси разных составов на воробьях, которые пьют и купаются в ямке перед пещерой, когда там снег подтаивает. Я определенно пропустил какую-то важную химическую реакцию. Полагаю, Роза и этот наглец пользуются моими отлучками на всю катушку — но я ничего не имею против. Я абсолютно уверен, что добьюсь успеха в конечном счете.

11 фев. Получилось наконец-то! Вылил свежую порцию в ямку — сегодня снег там хорошо подтаял, — и первый же попивший оттуда воробей упал наземь как подстреленный. Я тотчас же подобрал птицу — вся сплошной камень, до мельчайшего коготка и перышка. Она застыла в той позе, в какой пила, — значит погибла сразу, как только ничтожная доля смертельного препарата попала в желудок. Столь быстрого окаменения я не

ожидал. Но опыт с воробьем еще не дает представления о том, как подействует напиток на живое существо изрядных размеров. Надо проверить состав на экземпляре покрупнее, чтобы не промахнуться с дозой, когда дело дойдет до этих свиней. Пожалуй, для эксперимента сгодится Рекс, любимая собака Розы. В следующий раз возьму пса с собой и скажу потом, что его задрал волк. Жена сильно привязана к Рексу, и я с удовольствием предоставляю ей повод похлупать носом перед часом великой расплаты. А дневник нужно прятать понадежнее. Роза иногда шарит по самым немислимым углам.

15 фев. Я на верном пути! Опробовал препарат на собаке: эффект поистине чудодейственный, хотя я увеличил дозу всего вдвое. Развел состав в ямке с талой водой и заставил Рекса попить. Похоже, он испытал некие незнакомые, крайне неприятные ощущения, ибо ошетинился, зарычал, но не успел и головы повернуть, как обратился в камень. Раствор следовало сделать покрепче, а для человека он должен быть гораздо крепче. Думаю, теперь я разобрался с дозировкой и вполне готов взяться за мерзавца Уилера. Жидкость вроде безвкусная, но для пушей надежности я разбавляю ее душистым молодым вином, которое изготавливаю дома. Будь я твердо уверен, что она не имеет вкуса, так развел бы ее в воде, чтобы не уговаривать Розу попробовать вина. Я справляюсь с ними поодиночке: с Уиллером — здесь, с женой — дома. Только что приготовил крепкий раствор и убрал все странные предметы от входа в пещеру. Когда я сказал, что Рекса задрал волк, Роза заскулила, как жалкий щенок, а Уилер еще долго кудахтал, рассыпаясь в соболезнованиях.

1 марта. Йа Р'лех! Хвала великому Цатогуа! Наконец-то я разделался с чертовым гаденышем! Сказал, что нашел здесь новый пласт рыхлого известняка, и он побежал за мной, точно безмозглая дворняжка! В походной фляге у меня был мой препарат, разбавленный вином, и Уилер охотно согласился приложиться к ней, когда мы добрались досюда. Отхлебнул здоровенный глоток, не поморщившись, и рухнул замертво, не прошло и трех секунд. Но он понял, что я за все отомстил, ибо я скорчил такую рожу, что и самый тупой догадался бы. Я видел, как на лице у него проступило понимание, пока он падал. Через пару минут он весь обратился в камень.

Я отволок Уилера в пещеру, а каменного Рекса снова поставил у входа. Фигура ошестинившейся собаки будет отпугивать народ. С наступлением весны здесь начнут шастать охотники, да вдобавок этот чертов легочник, Джексон, живущий в хижине за перевалом, постоянно таскается по заснеженным горам, все что-то вынюхивает да высматривает. Мне не хотелось бы, чтобы мою лабораторию и кладовую нашли в ближайшем будущем! По возвращении я сказал Розе, что в деревне Уилеру вручили телеграмму со срочным вызовом домой. Не знаю, поверила она или нет, но это и неважно. Для проформы я собрал вещи Уилера и сказал, что отнесу в деревню да отправлю за ним следом, а сам бросил все в сухой колодец на заброшенной ферме Рэйпли. Теперь возьмусь за Розу!

3 марта. Никак не уговорить жену выпить хотя бы глоток вина. Надеюсь, препарат достаточно безвкусен, чтобы остаться незамеченным при разведении в воде. Пробовал подливать в чай и кофе, но образуется сильный осадок, а значит такой способ отпадает. Если все-таки прибегнуть к варианту с водой, придется сократить дозу и надеяться, что она подействует должным образом, только медленнее. Нынче днем к нам наведались мистер и миссис Хуги, и мне стоило немалых трудов уводить разговор в сторону от внезапного отъезда Уилера. Будет скверно, если по деревне пойдет слух, что мы с Розой говорим, будто нашего постояльца срочно вызвали в Нью-Йорк, — ведь там все до единого знают, что он не получал никакой телеграммы и не садился на автобус. Роза ведет себя чертовски странно. Придется затеять с ней ссору, а потом запереть на чердаке. Хорошо бы, конечно, все-таки уговорить ее выпить разбавленного вина — если она согласится по доброй воле, тем лучше для нее.

7 марта. Взаялся за Розу вплотную. Мерзавка категорически отказывается пить вино, а потому я отстегал ее кнутом и загнал на чердак. Живой она оттуда уже не выйдет. Два раза в день отношу наверх тарелку с соленым хлебом и солониной, а также ведро с водой, слегка разбавленной препаратом. Соленая пища вызывает жажду — значит Роза наверняка много пьет, а следовательно, очень скоро смертельное средство начнет действовать. Мне тошно слушать, как она орет что-то про Уилера всякий раз,

когда я подхожу к двери. Но все остальное время она молчит как рыба.

9 марта. Чертовски странно, что препарат так медленно на нее действует. Придется сделать раствор покрепче — скорее всего, она не почувствует никакого привкуса после того, как я скормил ей столько соли. Ладно, если мое зелье ее не проймет, у меня еще останется множество других верных способов расправиться с изменницей. Хотя, конечно, хотелось бы все-таки довести до конца славную задумку со статуями! Утром наведывался в пещеру, там все в порядке. Иногда я слышу шаги Розы наверху, и мне кажется, она все сильнее подволакивает ноги. Препарат, безусловно, действует, но слишком уж медленно. Раствор недостаточно крепок. С сегодняшнего дня начну резко увеличивать дозу.

11 марта. Ничего не понимаю, хоть убей. Роза все еще жива и не утратила двигательных способностей. Во вторник ночью услышал, как она возится с окном: пришлось подняться наверх и отходить негодницу кнутом. Вид у нее скорее угрюмый и строптивый, нежели испуганный, а глаза — опухшие от слез. Но с такой высоты ей не спрыгнуть, а спуститься по стене невозможно — там нет ни единого выступа, чтобы зацепиться. Мне всю ночь снились дурные сны, ибо медленные шаркающие шаги на чердаке страшно действуют на нервы. Иногда мне кажется, будто она ковыряется в дверном замке.

15 марта. Все еще жива, хотя я сильно увеличил дозу. Странно, очень странно. Теперь она передвигается ползком, а ходит крайне редко. Но звук волочащегося по полу тела поистине ужасен. Вдобавок она то и дело гремит оконными рамами или возится с дверью. Коли так будет продолжаться и дальше, мне придется забить ее насмерть кнутом. У меня слипаются глаза. Может, Роза каким-то образом догадалась и теперь остерегается есть и пить? Но нет, она наверняка пьет раствор. Меня одолевает сонливость — видимо, сказывается нервное напряжение. Я засыпаю...»

(Далее неразборчивый корявый почерк переходит в совсем уже невнятные каракули, и запись обрывается, а ниже следует другая, написанная более твердым и явно женским почерком, свидетельствующим о сильном душевном волнении.)

«16 марта, 4 часа утра. Дальше пишет Роза К. Моррис, находящаяся при смерти. Пожалуйста, сообщите моему отцу, Осборну Э. Чендлеру, проживающему по адресу: 2-й проезд, Маунтин-Топ, штат Нью-Йорк. Только что прочла записи мерзкого скота. Я сразу догадалась, что он убил Артура Уилера, только не знала, каким образом, покуда не прочитала этот ужасный дневник. Теперь я знаю, какой участи избегла. Я тотчас почувствовала странный привкус в воде и потому после первого глотка уже ни капли не выпила, выливала все в окно. От того одного глотка меня наполовину парализовало, но я все еще в состоянии двигаться. Меня мучила ужасная жажда, но я почти не притрагивалась к соленой пище и умудрилась собрать немного воды, подставив под протечки в крыше старые кастрюли и миски, что хранились на чердаке.

Противной дождь шел дважды. Я думала, злодей хочет меня отравить, но не знала, каким именно ядом. Все, что он написал о нас с ним, — ложь. Мы никогда не были счастливы вместе, и я вышла за него, наверное, только под воздействием чар, какие он умел напускать на людей. Верно, он загипнотизировал не только меня, но и моего отца, недаром же его все ненавидели, боялись и подозревали в тайных сношениях с дьяволом. Отец как-то назвал его „дьяволовым родичем“ и попал в самую точку.

Никто никогда не узнает, сколько всего я натерпелась за годы жизни с ним. Дело не только в обычной жестокости — хотя, видит бог, он был очень жесток и частенько порол меня сырым кнутом. Были вещи и пострашнее — вещи, недоступные человеческому разумению в наши дни. Он был настоящим чудовищем и отправлял разные сатанинские обряды, которые передавались из поколения в поколение в его роду по материнской линии. Он пытался и меня привлечь к своим нечестивым ритуалам — я не смею даже намекнуть, в чем они заключались. Я отказывалась, и он избивал меня. Сказать, к чему он хотел меня принудить, равносильно богохульству. Он и тогда уже был убийцей: я знаю, какую жертву он принес однажды ночью на Громоу горю. Вот уж воистину родич дьявола. Четырежды я пыталась сбежать от него, но он каждый раз силком возвращал меня домой и зверски избивал. Вдобавок он подчинил себе мою волю и даже волю моего отца.

Что же касается до Артура Уилера, здесь мне нечего стыдиться. Да, мы полюбили друг друга, но безгрешной любовью. За годы, минувшие с тех пор, как я покинула отцовский дом, он первый отнесся ко мне по-доброму и хотел помочь мне вырваться из лап этого чудовища. Артур несколько раз разговаривал с моим отцом и собирался увезти меня на запад страны. После моего развода мы поженились бы.

Как только изверг запер меня на чердаке, я сразу замыслила выбраться оттуда и убить его. Я всегда на ночь приберегала яд в надежде, что мне все-таки удастся вырваться из заточения, застать мерзавца спящим и отравить. Поначалу он мигом просыпался, едва я начинала ковыряться в дверном замке или греметь оконными рамами, но со временем стал больше устывать и спать крепче. По храпу я всегда узнавала, что он заснул.

Нынче ночью он спал так крепко, что не пробудился, когда я взломала замок. Спуститься по лестнице с моим частичным параличом было очень трудно, но я сумела. Он заснул при горящей лампе, прямо за кухонным столом, где писал свой дневник. В углу висел длинный сыромятный кнут, которым он частенько меня порол. Я потуже привязала негодя кнутом к креслу, чтобы он и шевельнуться не смог, а шею плотно притянула к спинке, чтобы он не особо дергался и вертел головой, когда я стану вливать яд в глотку.

Он проснулся, когда я уже заканчивала, и сразу понял, что погиб. Он бесновался, изрыгал жуткие проклятия и пытался завывать магические заклинания, но я живо заткнула ему рот кухонным полотенцем, что валялось подле раковины. Потом я заметила конторскую книгу, в которой он писал, и стала читать. Я вся обомлела от ужаса и несколько раз едва не лишилась чувств. Ум мой отказывался воспринимать такие дикости. После того я два или три часа кряду разговаривала с гнусным злодеем: высказала все, что наболело в душе за годы моего рабства, и все, что я думаю о чудовищных мерзостях, описанных в дневнике.

К моменту, когда я наконец умолкла, он страшно побагровел лицом и, по-моему, малость повредился рассудком. Затем я взяла из буфета воронку и затолкала ему в рот, предварительно вытащив кляп. Он сразу разгадал мои намерения, но ничего не мог

поделать. Без всяких колебаний я вылила в воронку добрую половину отравленной воды из ведерка, что принесла с собой с чердака.

Видимо, доза оказалась очень большой, ибо уже через считанные секунды негодяй начал застывать и кожа у него приобрела тусклый серый оттенок. А десять минут спустя он весь обратился в камень. Мне не хватило духу дотронуться до него, но жестяная воронка тошнотворно *звякнула*, когда я вытаскивала ее изо рта. Хотелось бы, конечно, чтобы дьяволов родич помучился посильнее и подольше, но, безусловно, такая смерть для него самая подходящая.

Мне осталось добавить лишь несколько слов. Я наполовину парализована, и после гибели Артура мне незачем жить. Чтобы довести историю до конца, я выпью оставшийся яд, когда положу дневник на видное место. Через четверть часа я превращусь в каменную статую. Я прошу лишь об одном: чтобы меня похоронили рядом со статуей Артура — когда она будет найдена в пещере, где ее спрятал проклятый душегуб. Бедный доверчивый Рекс пусть покоится у нас в ногах. Мне все равно, что станется с каменным дьяволом, привязанным к креслу...»

УЖАС В МУЗЕЕ

(с Хейзл Хилд)

I

В музей Роджерса впервые Стивена Джонса привело праздное любопытство. Ему рассказали про странный подвал на Саутварк-стрит, где выставлены восковые фигуры пострашнее самых жутких экспонатов мадам Тюссо, и одним апрельским днем он забрел туда с намерением удостовериться, что на самом деле ничего интересного там нет. Как ни странно, он не остался разочарованным. В конечном счете экспозиция носила весьма своеобразный характер. Разумеется, там были в изобилии представлены традиционные кровавые персонажи — Ландрю, доктор Криппен, мадам Демер, Риццио, леди Джейн Грей, бесчисленные изувеченные жертвы войн и революций, чудовища вроде Жюль де Рэ и маркиза де Сада, — но имелись и другие экспонаты, которые вогнали Стивена в дрожь и заставили задержаться в выставочном зале до самого звонка, возвестившего о закрытии музея. Создатель такой коллекции не мог быть заурядным ремесленником, творящим на потребу публике. Иные работы свидетельствовали о буйном воображении, даже о своего рода болезненной гениальности художника.

Позже Джонс разузнал кое-что о Джордже Роджерсе. В прошлом Роджерс работал в музее Тюссо, но после какой-то неприятной истории был уволен. Ходили дурные слухи о его душевной болезни и увлечении нечестивыми тайными культами — хотя в последнее время успех его собственного музея притупил остроту одних нападок, одновременно усугубив зловещую ядовитость других. Он увлекался тератологией и иконографией кошмаров, но даже у него хватило благоразумия поместить самые страшные экспонаты в отгороженную ширмой часть за-

ла, куда допускались только взрослые. Там находились фигуры чудовищных гибридных существ, каких могла породить лишь нездоровая фантазия, изваянные с дьявольским мастерством и раскрашенные в цвета, до жути напоминающие естественную окраску.

Помимо общеизвестных мифологических персонажей — горгон, химер, драконов, циклопов и прочих страшилищ подобного толка — здесь были представлены персонажи куда более древнего цикла тайных легенд, передающихся из уст в уста боязливым шепотом: бесформенный черный Цатогуа, многощупальцевый Ктулху, хоботоносый Чаугнар Фаугн и другие известные по слухам богомерзкие существа из запретных книг вроде «Некрономикона», «Книги Эйбона» и «Unaussprechlichen Kulten» фон Юнцта. Однако самые жуткие экспонаты являлись оригинальными плодами воображения самого Роджерса — ни в одном древнем мифе не встречается ничего, хотя бы отдаленно похожего на них. Одни представляли собой отвратительные пародии на известные нам формы органической жизни, другие казались образами из бредовых, горячечных снов об иных планетах и галактиках. Несколько из них могли быть навеяны самыми дикими полотнами Кларка Эштона Смита — но все они не имели аналогов по способности вызывать впечатление всепоглощающего тошнотворного ужаса, которое создавалось благодаря изрядным размерам фигур, фантастическому мастерству скульптора и чертовски искусной подсветке.

Будучи досужим знатоком всего причудливого в искусстве, Стивен Джонс отыскал самого Роджерса в грязном помещении, совмещавшем функции конторы и мастерской и находившемся за сводчатым музейным залом, — сумрачном склепе, куда скудный свет проникал сквозь пыльные окна, похожие на узкие горизонтальные бойницы в толстой кирпичной стене и расположенные вровень с древней булыжной мостовой внутреннего двора. Здесь реставрировались старые экспонаты, и здесь же изготавливались новые. Восковые ноги, руки, головы и торсы лежали в гротескном беспорядке на многочисленных скамьях, а на высоких стеллажах были вперемешку разбросаны свалявшиеся парики, хищно оскаленные челюсти и стеклянные глаза, вперенные в пустоту. На крюках висели самые разные костюмы

и наряды, а в одной из ниш громоздились кучи восковых брусков телесного цвета и высились стеллажи, забитые жестяными банками с краской и всевозможными кистями. В центре помещения стояла большая плаvilьная печь, где воск растапливался для формовки; над печной топкой был установлен на шарнирных креплениях железный бак со сливным лотком, позволяющим выливать расплавленный воск в форму легким прикосновением пальца.

Другие предметы в сем мрачном склепе сложнее поддавались описанию — разрозненные части неких загадочных организмов, которые в собранном виде представляли собой бредовые фантомы, подобные выставленным в зале. В торце помещения находилась массивная дощатая дверь, запертая на громадный висячий замок, а на стене над ней был нарисован престранный символ. Джонс, в прошлом имевший доступ к жуткому «Некрономикону», невольно вздрогнул при виде знакомого знака. Хозяин музея, подумал он, определенно весьма сведущ в заповедных областях сомнительного тайного знания.

Не разочаровал Джонса и разговор с Роджерсом. Последний был высоким, худым, довольно неопрятного вида мужчиной с бледным небритым лицом и горящими черными глазами. Он нисколько не возмутился вторжением незваного гостя, а, напротив, казалось, обрадовался возможности выговориться перед заинтересованным собеседником. В его голосе, на удивление низким и звучном, постоянно слышалось едва сдерживаемое возбуждение, почти болезненное. Джонс уже не удивлялся, что многие считали Роджерса помешанным.

С каждым следующим своим визитом — а с течением недель подобные визиты вошли в обыкновение — Джонс находил Роджерса все более общительным и откровенным. Хозяин музея с самого начала туманно намекал на свою причастность к странным культам и практикам, и впоследствии намеки разрослись до невероятных историй, почти комичных в своей экстравагантности (хотя и подтвержденных несколькими диковинными фотографиями). Одним июньским вечером, когда Джонс принес с собой бутылку превосходного виски и изрядно подпоил своего хозяина, между ними впервые произошел по-настоящему безумный разговор. Роджерс и прежде рассказывал довольно

бредовые истории — о таинственных путешествиях в Тибет, во внутренние районы Африки, в Аравийскую пустыню, в долину Амазонки, на Аляску, на малоизвестные острова в южной части Тихого океана — и вдобавок утверждал, что читал такие ужасные полумифические книги, как «Пнакотические рукописи» и «Песни дхоллов», которые приписывают злобной негуманоидной расе, обитавшей на плато Ленг, но никакие нелепые рассказы не могли сравниться по своей дикости с откровениями, изреченными тем июньским вечером под воздействием виски.

Разоткровенничавшись, Роджерс принялся хвастливо намекать, будто он обнаружил в природе некие феномены, доселе никому не известные, и привез с собой из экспедиции осязаемые доказательства своего открытия. Если верить его пьяной болтовне, он продвинулся гораздо дальше всех прочих исследователей в толковании загадочных доисторических книг, в конечном счете приведших его в некие глухие уголки планеты, где скрываются странные реликтовые существа — пережитки геологических эпох и жизненных циклов, имевших место задолго до появления человечества, — в отдельных случаях связанные с другими мирами и измерениями, сообщение с которыми было обычным делом в забытые дочеловеческие времена. Джонс подивился буйству воображения, способного породить подобные идеи, и задался вопросом о факторах, повлиявших на формирование необычного психического склада Роджерса. Может, работа среди болезненно-гротескных восковых фигур мадам Тюссо послужила к развитию у него столь неистовой фантазии? Или то была врожденная склонность, которая и обусловила его выбор рода занятий? В любом случае работа Роджерса была теснейшим образом связана с его диковинными воззрениями на реальность. Представлялось совершенно очевидным, какой смысл заключен в самых зловещих его намеках относительно кошмарных чудовищ, выставленных в отгороженной занавесом части зала, куда допускались только взрослые. Не обращая внимания на насмешки, Роджерс исподволь внушал Джонсу мысль, что отнюдь не все эти демонические монстры порождены фантазией художника.

Но именно откровенно скептическая реакция Джонса на подобные голословные заявления в конечном счете расстроила

доверительные отношения, сложившиеся было между ними. Роджерс, видимо, относился к своим словам очень серьезно, ибо теперь стал угрюмым, обидчивым и продолжал терпеть присутствие Джонса единственно из упрямого стремления рано или поздно разрушить стену его вежливого недоверия. Он по-прежнему рассказывал разные бредовые истории, вскользь упоминал о неких таинственных ритуалах и жертвоприношениях древнейшим богам, а иногда подводил своего гостя к одной из омерзительных фигур в отгороженной части зала и указывал на различные особенности и детали, которые трудно соотнести даже с самыми искусными творениями рук человеческих. Зачарованный личностью Роджерса, Джонс продолжал наведываться к нему, хотя и понимал, что лишился расположения своего нового знакомого. Порой он пытался убажить сухопарого хозяина музея, притворно соглашаясь с отдельными его безумными утверждениями, но тот редко попадался на такую удочку.

Неуклонно нараставшее между ними напряжение достигло критической точки в конце сентября. Однажды днем Джонс мимоходом забрел в музей и прогуливался по сумрачным галереям со столь уже знакомыми экспонатами, когда вдруг услышал крайне необычный звук, донесшийся со стороны мастерской Роджерса и прокатившийся эхом по огромному сводчатому подвалу. Другие посетители тоже услышали и нервно встрепенились. Трое служителей музея обменялись странными взглядами, а один из них — смуглый молчаливый малый с иноземной внешностью, обычно помогавший Роджерсу реставрировать старые экспонаты и изготавливать новые, — улыбнулся жутковатой улыбкой, явно озадачившей его коллег и больно задевшей какую-то чувствительную струну в душе Джонса. То был пронзительный вой или визг собаки, причем ясно свидетельствовавший о диком ужасе в сочетании с жестокой болью. В нем звучала бесконечная мука, невыносимая для слуха, и здесь, в окружении гротескных восковых монстров, он производил вдвойне жуткое впечатление. Джонс вспомнил, что в музей категорически запрещается приводить собак.

Он уже двинулся к двери мастерской, когда смуглый служитель жестом остановил его и промолвил тихим, с легким акцентом голосом, одновременно извиняющимся и неуловимо язви-

тельным: «Мистера Роджерса сейчас нет, а он запрещает впускать в мастерскую посторонних в свое отсутствие. А собачий визг, понятное дело, донесся с заднего двора. В округе полно бродячих дворняг, и они порой затевают ужасно шумные драки. В самом музее никаких собак нет. Но если вам угодно повидаться с мистером Роджерсом, вы застанете его тут перед самым закрытием музея».

Джонс поднялся по стертым каменным ступеням на улицу и пытливым взглядом обследовал убогое окружение. Покосившиеся ветхие здания — прежде жилые, а ныне большей частью занятые лавками да складами — были поистине древними; иные из них, судя по щипцовым крышам, относились к эпохе Тюдоров. Здесь повсюду в воздухе висел слабый миазматический запах. Рядом с обшарпанным домом, в подвале которого размещался музей, находилась низкая арка, и Джонс прошел сквозь нее по булыжной дорожке, движимый смутным желанием осмотреть внутренний двор и найти приемлемое объяснение истории с собакой. Свет предзакатного солнца почти не проникал в полутемный глухой двор, огороженный со всех сторон задними стенами зданий, еще более неприглядными и смутно зловещими, чем осыпавшиеся уличные фасады старых мрачных домов. Никаких собак здесь не было и в помине, и Джонсу показалось странным, что все свидетельства ожесточенной драки бесследно исчезли за считанные минуты.

Несмотря на заверение смуглого служителя, что в музее нет никаких собак, Джонс нервно взглянул на три маленьких окна мастерской — узкие горизонтальные проемы, расположенные низко над поросшим травой булыжным покровом двора, с закопченными стеклами, похожими на глаза дохлой рыбы, холодные и безразличные. Стертые ступени слева от них вели вниз к крепко запертой двери. Поддавшись безотчетному побуждению, Джонс присел на корточки и заглянул внутрь в надежде, что толстые зеленые шторы, управлявшиеся с помощью длинных шнуров, окажутся незадернутыми. Снаружи стекла покрывал толстый слой грязи, но он протер их носовым платком и увидел, что никакая завеса не преграждает взору доступ в мастерскую.

Разглядеть что-либо толком в царившем там полумраке не представлялось возможным, но гротескные очертания восковых

болванок, заготовок и инструментов время от времени призрачно вырисовывались в темноте по мере того, как Джонс перемещался от одного оконца к другому. Поначалу ему показалось, что в мастерской никого нет, но, заглянув в крайнее окно справа, ближайшее к арочному проходу, он увидел слабый свет в дальнем конце помещения и замер от удивления. Откуда там свет? Насколько он помнил, в самой глубине мастерской не имелось ни газовой, ни электрической лампы. Присмотревшись получше, Джонс различил большой вертикальный прямоугольник света — и тут до него дошло. Именно там находилась массивная дощатая дверь с громадным висячим замком — дверь, которая никогда не открывалась и над которой был грубо намалеван ужасный тайный символ из частично уцелевших манускриптов, посвященных запретной древнейшей магии. Видимо, сейчас дверь отворена — и за ней горит свет. Все прежние тревожные догадки относительно скрытого за дверью помещения замелькали у него в уме с утроенной силой.

Джонс бесцельно бродил по унылому кварталу почти до шести часов, а потом вернулся в музей с намерением нанести визит Роджерсу. Он сам толком не понимал причины своего настойчивого желания именно сейчас увидеться с ним, — вероятно, им двигали некие подсознательные опасения, связанные с собачьим визгом непонятного происхождения и со светом за таинственной дверью, обычно запертой на огромный висячий замок. Служители уже собирались уходить, и Джонсу показалось, будто Орабона — все тот же чужеземного вида смуглый ассистент Роджерса — посмотрел на него со скрытой насмешкой. Взгляд этот произвел на Джонса пренебрежительное впечатление, хотя он не раз видел, как парень посматривает на своего хозяина с точно таким же выражением.

Безлюдный демонстрационный зал выглядел поистине зловеще, но Джонс стремительно прошагал через него и постучал в дверь конторы-мастерской. Открывать явно не торопились, хотя внутри слышались шаги. Наконец, после повторного стука, загремел засов, и старинная шестифиленчатая дверь неохотно отворилась с протяжным скрипом, явив взору сутулую фигуру Джорджа Роджерса, бледного и с лихорадочно горящими глазами. Джонс сразу же понял, что хозяин музея пребывает не

в обычном своем настроении. Он поприветствовал гостя странным тоном, недовольным и злорадным одновременно, и моментально заговорил о предметах самого жуткого и немыслимого свойства.

Древнейшие боги, существующие и по сей день; чудовищные жертвоприношения; искусственное происхождение некоторых ужасных экспонатов, выставленных в отгороженной части зала, — все его обычные хвастливые заявления, но сегодня в голосе Роджерса слышались особо доверительные нотки. Очевидно, подумал Джонс, бедняга все глубже погружается в пучину безумия. Время от времени Роджерс украдкой поглядывал на запертую массивную дверь в глубине помещения и на кусок мешковины на полу рядом с ней, под которым угадывались очертания какого-то небольшого предмета. С каждой минутой Джонс нервничал все сильнее, и если еще совсем недавно он горел желанием прояснить странную историю с собакой, то теперь здорово сомневался, стоит ли вообще заводить разговор на эту тему.

Гулкий низкий голос Роджерса прерывался от возбуждения.

— Помните, что я рассказывал вам про разрушенный город в Индокитае, где некогда жили чо-чо? — лихорадочно тараторил он. — Когда вы увидели фотографии, вам пришлось признать, что я там был, пусть вы и считали, что змееподобное водоплавающее существо, выставленное в темном углу зала, изготовлено мной из воска. Если бы вы, подобно мне, своими глазами видели, как оно плавает, извиваясь в подземных озерах... Но у меня есть еще одно, размером покрупнее. Я никогда не говорил о нем, поскольку хотел довести дело до конца, прежде чем выступать с какими-либо заявлениями. Увидев снимки, вы поймете, что запечатленное на них природное окружение невозможно подделать, и думается мне, у меня есть еще один способ доказать, что *Оно* вовсе не плод моего воображения, воплощенный в воске. Вы никогда его не видели: я проводил с ним разные эксперименты, и потому Оно не выставлялось в зале. — Хозяин музея бросил странный взгляд на дверь с висячим замком. — Все началось с того длинного ритуала, описанного в восьмом фрагменте «Пнакотических рукописей». Когда я наконец разобрался в нем до конца, мне стало ясно, что он может иметь только

одно значение. Задолго до образования страны Ломар, еще до появления человечества, на Крайнем Севере обитали некие существа, и Оно — одно из них. Мы отправились на Аляску, от форта Мортон поднялись вверх по Ноатаку, и Оно оказалось именно там, где мы предполагали. Руины исполинских сооружений, многие акры руин. Конечно, мы рассчитывали на большее — но ведь прошло три миллиона лет! И во всех эскимосских легендах содержатся верные указания на место! Нам не удалось уговорить ни одного из аборигенов пойти с нами, а потому пришлось вернуться на нартах обратно в Ном, за американцами. Орабона плохо переносил северный климат — сделался угрюмым и злобным. Позже я расскажу, как мы нашли Его. Взорвав толщу льда между пилонами центрального здания, мы обнаружили именно такую лестницу, какую ожидали увидеть. Там до сих пор сохранились резные изображения, и нам не составило особого труда убедить янки не заходить внутрь с нами. Орабона дрожал как осиновый лист — такое трудно представить в сравнении с его нынешним чертовски наглым видом. Он был достаточно наслышан о Древнейшем Знании, чтобы трястись от страха. Лучи небесного светила не проникали внутрь, но при свете факелов мы достаточно хорошо все рассмотрели. Мы увидели кости существ, обитавших на планете до появления человека — много геологических эпох назад, когда климат на севере был теплым. Иные останки принадлежали чудовищным созданиям, каких вы и вообразить не в силах. На третьем подземном уровне мы нашли трон из слоновой кости, столь часто упоминающийся в древних письменах, — причем не пустой.

Существо, восседавшее на троне, не шевелилось — и мы поняли, что Оно нуждается в живительной пище в виде жертвоприношения. Но мы не хотели пробуждать Его прямо там и решили сперва доставить Его в Лондон. Мы с Орабоной вернулись наверх за большим ящиком, но, когда уложили туда существо, осознали, что нам не подняться с ношей по трем лестничным маршам. Высокие ступени, не рассчитанные на человека, оказались для нас непреодолимым препятствием. В любом случае ящик был страшно тяжелый. Пришлось звать на помощь американцев. Они не горели желанием спускаться вниз, но, разумеется, самый жуткий из всех ужасов уже находился в надежно за-

крытом ящике. Мы сказали, что там всякие резные изделия из слоновой кости — археологический материал, — и янки, вероятно, поверили нам, когда увидели резной трон. До сих пор удивляюсь, почему они не заподозрили, что в ящике спрятаны сокровища, и не потребовали своей доли. Впоследствии они наверняка распускали диковинные байки по всему Ному, но вряд ли у них хватило духа вернуться к тем руинам, пусть даже там остался трон.

Роджерс умолк, пошарил в ящике стола и вынул конверт с фотографиями большого формата. Одну он вытащил из пачки и положил на стол перед собой лицом вниз, а остальные протянул Джонсу. Снимки были поистине занимательными: покрытые льдом холмы, нарты с собачьими упряжками, мужчины в меховых одеждах и обширные руины на фоне снежной равнины — полуразрушенные здания причудливых очертаний, сложенные из исполинских каменных блоков. На одной фотографии был запечатлен диковинной архитектуры зал со стенами, украшенными фантазмагорическими барельефами, и громадным костяным троном, предназначенным явно не для человеческого существа. Резные изображения на циклопической кладке высоких стен и сводчатом потолке носили в основном символический характер и состояли из невиданных узоров и разных иероглифов, туманные упоминания о которых встречаются в ужасных древних легендах. Над троном виднелся тот же самый зловеющий символ, что сейчас был намалеван над запертой дощатой дверью в мастерской. Несомненно, Роджерсу довелось побывать в странных краях и повидать много всего странного. Впрочем, снимок с интерьером зала вполне мог оказаться и поддельным — сфабрикованным с помощью искусно выстроенных театральных декораций. Нельзя быть излишне доверчивым. Между тем Роджерс продолжал:

— В общем, мы благополучно доставили ящик морем из Номы в Лондон. Впервые за все время мы привезли с собой из экспедиции существо, имевшее шанс вернуться к жизни. Я не стал выставлять Его на обозрение, поскольку собирался сделать для Него нечто более важное. Оно нуждалось в жертвенной пище, поскольку являлось божеством. Разумеется, я не мог принести Ему такого рода жертвы, к каким Оно привыкло в свое время,

ибо ничего подобного не сохранилось до наших дней. Но для сей цели могли сгодиться и другие средства. Кровь есть жизнь, как вам известно. Даже духи-лемуры и элементарные сущности, зародившиеся задолго до образования Земли, являются в этот мир, когда кровь людей или животных приносится им в жертву по всем правилам.

Лицо Роджерса приобрело отталкивающее, пугающее выражение, и Джонс невольно заерзал в кресле. Хозяин музея, похоже, заметил нервное состояние своего гостя и продолжил с откровенно злобной ухмылкой:

— Оно попало в мои руки в прошлом году, и с тех пор я постоянно экспериментировал с разными жертвоприношениями и ритуалами. Орабона помогал мало, ибо с самого начала возмущался против моего намерения пробудить Его. Он Его ненавидит — возможно, потому, что боится великой силы, которую Оно обретет с возвращением к жизни. Малый всегда носит с собой пистолет для защиты — вот болван! Да разве ж в человеческих силах от Него защититься?! Если он хоть раз вытащит при мне свой пистолет, я придушу его своими руками. Он хотел, чтобы я Его умертвил и выставил напоказ в качестве экспоната. Но я не отступился от своих намерений и уже почти достиг цели, невзирая на противодействие трусов вроде Орабоны и насмешки проклятых скептиков вроде вас, Джонс! Я прочитал нужные заклинания и совершил нужные жертвоприношения — *и на прошлой неделе пробуждение состоялось!* Моя жертва была принята и одобрена!

Роджерс плотоядно облизал губы, а Джонс весь напрягся и застыл в неудобной позе. Хозяин музея немного помедлил, а затем встал и подошел к куску мешковины, на который столь часто поглядывал. Наклонившись, он взялся за край грубой ткани и снова заговорил:

— Вы немало смеялись над моей работой — теперь вам пора узнать кое-какие факты. Орабона говорит, вы слышали здесь собачий визг сегодня днем. *Знаете, что он означает?*

Джонс вздрогнул. Несмотря на все свое любопытство, он бы с радостью убрался отсюда, не получив ответа на вопрос, еще недавно столь сильно его занимавший. Но Роджерс, настроенный самым решительным образом, уже поднимал мешковину. Под

ней лежал сплюснутый, почти бесформенный комок, происхождение которого Джонс распознал не сразу. Неужто это останки живого существа, которое кто-то раздавил, сплошь искусал мелкими острыми зубами и превратил в жалкую грудку сморщенной кожи и раздробленных костей, высосав из него всю кровь? В следующий миг Джонс понял, что это такое. Останки собаки — вероятно, довольно крупного пса светлой масти. Определить породу не представляется возможным, ибо тело изуродовано до полной неузнаваемости самым жестоким и немыслимым образом. Почти вся шерсть сожжена, словно животное облили едкой кислотой, и на голой обескровленной коже темнеют бесчисленные дугообразные раны или порезы. Изуверские приемы, необходимые для достижения такого результата, были недоступны воображению.

Наэлектризованный острой ненавистью, силою своей превосходящей даже отвращение, Джонс вскочил с кресла и прокричал:

— Ах ты, садист проклятый... псих ненормальный!.. Ты сотворил такое — и после этого еще смеешь разговаривать с порядочным человеком!

Роджерс со злобной усмешкой бросил мешковину обратно на пол, посмотрел прямо в лицо подступавшему к нему гостю и неестественно спокойным тоном промолвил:

— С чего ты взял, глупец, что это сделал я? Допустим, с нашей, ограниченной человеческой точки зрения, результат непривлекателен. Ну так и что с того? Оно ведь не человек и не притворяется таковым. Принести жертву — значит просто предложить пищу. Я предложил Ему собаку. Все остальное — Его работа, а не моя. Оно нуждалось в жертвенной пище и управилось с ней на свой манер. Но давай-ка я покажу тебе, как Оно выглядит.

Пока Джонс стоял в нерешительности, Роджерс прошагал обратно к столу и взял фотографию, которую прежде положил лицом вниз, не показывая. Теперь он, со странным выражением в глазах, протянул ее гостю. Джонс почти машинально взял снимок и взглянул на него. Уже в следующий миг взгляд его стал более заинтересованным и сосредоточенным, ибо запечатленный на фотографии объект потрясал воображение и производил

почти гипнотическое действие. Безусловно, здесь Роджерс превзошел самого себя в искусстве скульптурного воплощения жутких монстров из ночных кошмаров. То была работа истинного inferнального гения, и Джонс задался вопросом, как отреагирует публика на подобный экспонат. Столь ужасное творение просто не имело права на существование, — вероятно, от одного созерцания своей законченной работы эксцентричный художник окончательно повредился рассудком и принялся совершать садистские жертвоприношения восковому чудовищу. Только человек с исключительно крепкой психикой и трезвым умом мог отвергнуть невольно напрашивавшееся предположение, что это богомерзкое создание является — или являлось в прошлом — некой реальной экзотической формой жизни.

Изображенное на фотографии существо сидело (или было посажено) на украшенном диковинной резьбой громадном троне, представлявшем собой искусную копию костяного седалища, запечатленного на другом снимке. Оно не поддавалось описанию обычными словами, ибо ничего, хотя бы отдаленно на него похожего, никогда прежде не возникало в воображении психически здорового человека. Возможно, по замыслу создателя оно состояло в отдаленном родстве с позвоночными, населяющими нашу планету, хотя точно сказать трудно. Чудовище имело огромные размеры: даже в сидячем положении оно было вдвое выше Орабона, запечатленного рядом с ним. При внимательном рассмотрении в нем слабо угадывались отдельные черты, характерные для высших позвоночных.

Оно обладало шарообразным туловищем и шестью длинными извилистыми конечностями с клешнями наподобие крабьих. Круглое туловище венчалось шаром поменьше, выступающим вперед; три выпученных рыбьих глаза, явно гибкий хобот длиной в фут и раздутые жабры по бокам заставляли предположить в нем голову. Покрывавший большую часть тела мех при ближайшем рассмотрении оказался густой порослью тонких темных щупалец или сосательных хоботков, каждый из которых заканчивался подобием гадючьей пасти. Более толстые и длинные щупальца на голове и под хоботом, со спиральными полосками на них, вызывали ассоциации со змеелоконами горгоны Медузы. Казалось бы, говорить здесь о каком-либо *выражении лица*

просто нелепо, но Джонс почувствовал, что эти три выпученных рыбьих глаза и вытянутый вперед хобот выражают ненависть, алчность и жестокость, смешанные с эмоциями, неизвестными на Земле и в нашей Солнечной системе, а потому непостижимыми для человека. В этого чудовищного монстра, подумал Джонс, Роджерс вложил все свое злобное безумие и все свое гениальное мастерство скульптора. В реальность подобного творения не верилось, но фотография доказывала, что оно действительно существует.

Роджерс прервал размышления гостя:

— Ну, что ты о Нем думаешь? Ты все еще задаешься вопросом, кто раздавил собаку и высосал из нее всю кровь миллионотров? Это божество, а я Его верховный жрец, глава новой жреческой иерархии. Йа! Шуб-Ниггурат! Козел с Легионом Младых!

Охваченный отвращением и жалостью, Джонс опустил руку с фотографией.

— Послушай, Роджерс, так не пойдет. Всему есть пределы, знаешь ли. Это поистине гениальное творение и все такое прочее, но оно пагубно на тебя действует. Тебе лучше не видеть его больше — пускай Орабона разобьет скульптуру, а ты постарайся забыть о ней. И позволь мне разорвать эту мерзкую фотографию.

Роджерс со злобным ворчанием выхватил у него снимок и положил обратно на стол.

— Идиот! Ты... ты по-прежнему считаешь, что Оно не настоящее! Ты по-прежнему думаешь, что Оно — творение моих рук и что все остальные экспонаты не более чем безжизненный воск! Да ты сам тупее любой восковой фигуры, черт бы тебя побрал! Но на сей раз у меня есть доказательство, и ты увидишь все собственными глазами! Не прямо сейчас, ибо Оно отдыхает после моего жертвоприношения, но позже. О да... тогда ты убедишься в Его могуществе.

Роджерс снова метнул взгляд в сторону запертой на всякий замок двери, а Джонс взял со скамьи шляпу и трость.

— Хорошо, Роджерс, позже так позже. Сейчас мне пора идти, но я загляну завтра днем. Обдумай хорошенько мой совет —

вдруг он покажется тебе разумным в конечном счете. И поинтересуйся мнением Орабоны.

Роджерс по-звериному оскалил зубы.

— Пора идти, да? Значит, все-таки струсил! Струсил, несмотря на все свои смелые речи! Ты утверждаешь, что все мои экспонаты не более чем восковые фигуры, и все же обращаешься в бегство, когда я начинаю доказывать, что ты ошибаешься. Ты ничем не отличаешься от парней, которые держат со мной пари, что не побоятся провести ночь в музее. О, они приходят с самым смелым видом, но уже через час вопят дурными голосами и колотят в дверь, чтобы их выпустили. Советуешь мне поинтересоваться мнением Орабоны, да? Да вы двое с самого начала были против меня! Хотите помешать Ему обрести владычество над земным миром!

Джонс сохранял спокойствие.

— Нет, Роджерс, никто ничего не имеет против тебя. И я не боюсь твоих восковых фигур — напротив, искренне восхищаюсь твоим мастерством. Но сегодня мы оба несколько взвинчены, и я полагаю, небольшой отдых пойдет нам на пользу.

И снова Роджерс не дал своему гостю удалиться.

— Не боишься, значит? Тогда почему ты так рвешься уйти? Скажи-ка, хватит ли у тебя духа остаться здесь одному в темноте на всю ночь? Чего ты так торопишься, коли не веришь в Него?

Похоже, какая-то новая мысль завладела умом Роджерса, и Джонс внимательно посмотрел на него.

— В общем-то, я никуда особо не спешу — но чего ради мне оставаться здесь одному? Что это докажет? Меня смущает лишь одно обстоятельство: здесь нет удобного спального места. Положим, я проведу здесь ночь — но что это даст нам с тобой?

На сей раз новая мысль пришла в голову самому Джонсу, и он продолжил примирительным тоном:

— Послушай, Роджерс, я сейчас спросил, что это даст нам с тобой, хотя ответ на вопрос очевиден: таким образом мы получим доказательство, что твои экспонаты являются всего лишь восковыми фигурами и что тебе нельзя направлять свое необузданное воображение туда, куда оно постоянно устремляется в последнее время. Допустим, я останусь здесь. Если я продержусь до утра, согласишься ли ты посмотреть на вещи новым взгля-

дом — уйти в отпуск месяца на три и позволить Орабоне уничтожить твоё новое произведение? Ну же, разве это не честная сделка?

На лице Роджерса появилось выражение, трудно поддающееся истолкованию. Представлялось очевидным, что он лихорадочно размышляет и что над всеми противоречивыми эмоциями в конечном счете берет верх злорадное торжество.

— Вполне честная! Если ты выдержишься до утра, я последую твоему совету! Но ты должен продержаться. Сейчас мы пойдем поужинаем, а потом вернемся сюда. Я запрю тебя в выставочном зале, а сам уйду домой. Утром я приду раньше Орабоны — а он приходит за полчаса до остальных сотрудников — и посмотрю, как ты тут. Но если ты не вполне тверд в своем скептицизме, откажись от этой затеи. Все прочие смельчаки в последний момент шли на попятный — и у тебя еще есть такая возможность. Полагаю, громкий стук в дверь непременно привлечет внимание какого-нибудь констебля. Возможно, в скором времени тебе станет очень и очень не по себе — ведь ты будешь находиться в одном здании с Ним, хотя и не в одном помещении.

Когда они вышли черным ходом на грязный задний двор, Роджерс нес сверток из мешковины с ужасным содержимым. Посередине двора находился люк, крышку которого хозяин музея бесшумно поднял до жути привычным движением. Мешковина и все прочее бесследно сгнули в лабиринте канализационных катакомб. Джонс содрогнулся всем телом и старался держаться поодаль от своего спутника, когда они выходили на улицу.

По молчаливой договоренности они отправились ужинать порознь, но условились встретиться у музея в одиннадцать часов.

Джонс поймал кеб и только тогда вздохнул посвободнее, когда проехал по мосту Ватерлоо и приблизился к ярко освещенному Стрэнду. Он поужинал в тихом кафе, а потом двинулся домой на Портленд-плейс, чтобы принять ванну и прихватить с собой несколько вещей. Он праздно гадал, чем сейчас занимается Роджерс. По слухам, последний жил в огромном мрачном особняке на Уолворт-роуд, полном таинственных запретных

книг, разных диковинных предметов оккультного свойства и восковых фигур, которые он не хотел выставлять на всеобщее обозрение. Орабона, насколько понял Джонс, жил в том же доме, в отдельных комнатах.

В одиннадцать часов Джонс встретился с Роджерсом, ждавшим у двери подвала на Саутварк-стрит. Они почти не разговаривали, но в обоих чувствовалось злое нервное напряжение. Они договорились, что Джонс проведет ночь в сводчатом демонстрационном зале, и Роджерс не стал требовать, чтобы гость непременно разместился в отгороженной части подвала с самыми жуткими экспонатами, куда допускались только взрослые. Выключив расположенные в мастерской рубильники, хозяин музея погасил повсюду свет и запер дверь склепообразного помещения ключом из увесистой связки. Не подав руки на прощанье, он вышел наружу, запер за собой входную дверь и с топотом поднялся по стертым каменным ступеням, ведущим к тротуару. Когда шаги Роджерса стихли в отдалении, Джонс осознал, что долгое скучное бодрствование началось.

II

Позже, сидя в кромешной тьме огромного сводчатого подвала, Джонс проклинал свою ребяческую дурость, из-за которой оказался здесь. Первые полчаса он время от времени включал карманный фонарик, но теперь, сидя в непроглядном мраке на скамье для посетителей, нервничал все сильнее. Всякий раз луч света выхватывал из темноты какой-нибудь болезненно-гротескный экспонат — гильотину, безымянного гибридного монстра, бледное бородатое лицо со злобным и коварным выражением, безжизненное тело, залитое алой кровью из перерезанного горла. Джонс прекрасно сознавал, что эти неживые предметы не связаны ни с какой злоеющей реальностью, но через полчаса предпочел вообще не видеть их.

Он сам толком не понимал, с чего вдруг решил угодить прихоти безумца. Куда проще было бы просто оставить его в покое или вызвать к нему психиатра. Вероятно, размышлял Джонс, все дело в сочувственном отношении одного художника к другому. Роджерс настолько талантлив, что хочется испытать

все способы спасти его от развивающейся мании, не прибегая к крайним мерам. Художник, способный придумать и создать столь жизнеподобные фантастические скульптуры, безусловно, близок к подлинному величию. Он обладает буйным воображением Сайма или Доре вкупе с высочайшим мастерством стеклодувов Блашка, которых отличает внимание к мельчайшим деталям и научный подход к работе. Несомненно, для мира кошмаров Роджерс сделал столько же, сколько сделали для мира ботаники Блашки со своими поразительно точными моделями растений, искусно изготовленными из разноцветного стекла.

В полночь бой далеких курантов пробился сквозь мрак, и Джонса подбодрила весточка из внешнего мира, продолжавшего жить своей жизнью. Сводчатый музейный зал походил на гробницу, ужасную в своей пустынности. Даже мышь составила бы сейчас приятную компанию, но Роджерс однажды похвастался, что ни одна мышь или даже насекомое — «по известным причинам», как он выразился, — и близко не подходит к подвалу. Полное отсутствие каких-либо признаков жизни и поистине гробовая тишина — хоть бы какой шорох раздался! Джонс шаркнул ногами по полу, и из глубокого безмолвия донеслось призрачное эхо. Он кашлянул, но в дробных отзвуках, прокатившихся по подвалу, послышалась издевательская насмешка. Он твердо решил, что не станет разговаривать сам с собой: это свидетельствовало бы о нервном расстройстве. Время тянулось мучительно медленно, раздражающе медленно. Джонс мог бы поклясться, что с момента, когда он посветил фонариком на свой хронометр, прошел не один час, но далекие куранты пробили всего только полночь.

Он сожалел, что все чувства у него сверхъестественно обострились в темноте и тишине, царивших в музейном зале, и теперь чутко реагировали на любые внешние впечатления, слишком слабые и смутные, чтобы отождествить их с реальностью. Изредка Джонс улавливал слухом едва различимые шорохи, которые не *вполне* соотносились с обычными ночными шумами убогих окрестных улочек, и размышлял о туманных отвлеченных предметах вроде музыки сфер и неведомой, непостижимой жизни в мирах иных измерений, назойливо вторгающейся в земную жизнь. Роджерс часто рассуждал на подобные темы.

Плавающие световые точки перед глазами, затопленными тьмой, казалось, складывались в странные симметричные узоры и двигались согласованно. Джонс нередко задавался вопросом о природе исходящих из бескрайней бездны загадочных лучей, которые мерцают перед нами при полном отсутствии постороннего света, но никогда прежде не видел, чтобы они вели себя таким образом. Не похожие на мирно блуждающие обычные световые точки, они оставляли впечатление некой разумной воли и целеустремленности, недоступных земному пониманию.

Потом возникло ощущение странного, неуловимого движения вокруг. Все окна и двери были наглухо закрыты, но, несмотря на отсутствие хотя бы слабейшего сквозняка, Джонс почувствовал едва заметное возмущение воздушной среды — слабые колебания плотности и давления воздуха, недостаточно явно выраженные, чтобы предположить в них мерзкие прикосновения незримых элементарных сущностей. Вдобавок стало необычайно прохладно. Все это очень не нравилось Джонсу. Воздух отдавал солью, словно насыщенный испарениями неведомого подземного моря, и в нем слышался слабый запах затхлости. В дневное время Джонс ни разу не замечал, чтобы восковые фигуры чем-нибудь пахли. Да и вообще такой затхлый дух свойствен скорее экспонатам естественно-исторического музея, нежели восковым изваяниям. Что наводит на странные мысли в свете утверждения Роджерса о искусственном происхождении ряда фигур — впрочем, вероятно, именно подобные утверждения и будоражат воображение, порождая в нем ложные обонятельные впечатления. Все-таки воображение надо обуздывать — не избыточное ли буйство фантазии довело бедного Роджерса до помешательства?

Но пустынность музея нагоняла страх. Даже отдаленный звон курантов доносился, казалось, из космических бездн. Джонс невольно вспомнил дикую фотографию, которую Роджерс показывал днем: украшенный фантасмагорической каменной резьбой зал с таинственным тронem, являвшийся, по словам этого малого, частью руин трехмиллионотней давности, затерянных среди недоступных безлюдных просторов Аляски. Вероятно, Роджерс действительно был на Аляске, но на фотографии, безусловно, запечатлены всего лишь театральные декорации. Ина-

че и быть не может. Все эти немыслимые резные узоры и ужасные символы... А жуткий монстр, якобы найденный на троне, — какой головокружительный полет больного воображения! Джонс задался вопросом, насколько далеко от него находится в данный момент сей кошмарный восковой шедевр, — вероятно, он хранится за массивной дощатой дверью с висячим замком, ведущей в смежное с мастерской помещение. Но не следует слишком много думать о нем. Разве этот зал не полон подобных экспонатов, иные из которых не менее ужасны, чем чудовищное ОНО? А за тонкой холщовой ширмой слева, снабженной табличкой «Только для взрослых», находятся безымянные бредовые фантомы.

С каждой минутой близость бесчисленных восковых фигур все сильнее действовала Джонсу на нервы. Он знал музей настолько хорошо, что даже в кромешной тьме никаким усилием не мог прогнать прочь знакомые образы, упорно всплывающие перед мысленным взором. Самая эта тьма бредила воображение, побуждая оное расцветивать дополнительными зловещими красками запечатленные в памяти фигуры. Порой казалось, будто гильотина поскрипывает, а бородатое лицо Ландрю — убийцы пятидесяти своих жен — складывается в гнусную устрашающую гримасу. Чудилось, будто из перерезанного горла мадам Демер исходит отвратительный булькающий звук, а обезглавленная, безногая жертва маньяка-расчленителя пытается подобраться поближе, переступая окровавленными обрубками. Джонс крепко зажмуривал глаза в надежде, что жуткие образы потускнеют, но все без толку. Кроме того, когда он зажмуривался, странные узоры из световых точек, совершающих некое целенаправленное движение, обретали тревожную отчетливость.

Но в скором времени Джонс уже, напротив, пытался удерживать в сознании ужасные образы, от которых прежде хотел избавиться. Теперь он отчаянно цеплялся за них, поскольку они начали уступать место образам еще более страшным. Независимо от своей воли он принялся воссоздавать в воображении разных богопротивных монстров, населяя оными самые темные углы зала, и эти глыбообразные гибридные чудовища подползали, подкрадывались, подступали к нему, окружая со всех сторон. Черный Цатогтуа перевоплощался из жабоподобной горгульи

в длинную змеевидную тварь с сотнями рудиментарных ножек, и тощее гибкое порождение ночного мрака угрожающе расправляло кожистые крылья, словно собираясь задушить пришлеца. Джонс с трудом подавил крик. Он понимал, что возвращается к кошмарам своего детства, и исполнился решимости призвать на помощь весь свой зрелый рассудок, чтобы не подпустить к себе бредовых фантомов. Стало немного легче, когда он включил фонарик. Сколь ни страшны были восковые фигуры, выхваченные лучом из мрака, они все же производили не столь жуткое впечатление, как чудовищные видения, вызванные воображением из чернильной тьмы.

Но даже при свете фонарика Джонсу померещилось, будто холщовая ширма, отгораживающая ужасную экспозицию «Только для взрослых», слегка подрагивает. Он знал, что находится за ней, и затрясся от страха. В воображении нарисовался отвратительный образ легендарного Йог-Сотота — всего лишь скопление радужных шаров, но ввергающее в трепет своим зловещим видом, исполненным неведомой угрозы. И что за бесформенная масса медленно плывет по направлению к нему и мягко бьется в перегородку, стоящую на пути? Маленькая выпуклость на холсте, появившаяся правее, наводила на мысль об остром роге Гнопх-Кеха, волосатого мифического существа, обитающего в гренландских льдах, которое ходит иногда на двух ногах, иногда на четырех, а иногда на всех шести. Чтобы выбросить весь этот вздор из головы, Джонс смело прошагал за ширму с включенным фонариком. Разумеется, все страхи оказались беспочвенными. Однако разве не шевелились, медленно и едва заметно, длинные лицевые щупальца могущественного Ктулху? Джонс знал, что они гибкие, но не сообразил, что даже слабого возмущения воздуха, вызванного его приближением, достаточно, чтобы привести их в движение.

Вернувшись на прежнее место, он закрыл глаза, позволив симметричным узорам из световых пятен бесчинствовать всюду. Далекие куранты пробили один удар. Неужели еще только час ночи? Джонс посветил фонариком на свой хронометр и убедился, что так оно и есть. Да, дожждаться утра будет действительно трудно. Роджерс придет примерно в восемь, даже раньше Орабоны. В соседнем подвальном помещении станет светло

задолго до восьми, но ни единый лучик света не проникнет сюда. Все окна здесь заложены кирпичом, кроме трех маленьких, что выходят во двор. В общем, ожидание предстоит претягостное.

Теперь преобладали слуховые галлюцинации: Джонс мог поклясться, что слышит тяжелые крадущиеся шаги за закрытой дверью мастерской. Он гнал прочь всякие мысли о не выставленном на обозрение монстре, которого Роджерс называл «Оно». Это восковое чудище страшнее любой заразы — оно свело с ума своего создателя, и сейчас одно воспоминание о его фотографии порождает мнимые страхи. Оно не может находиться в мастерской, ибо остается, ясное дело, за массивной дощатой дверью с висячим замком. Разумеется, шаги просто померещились.

Потом Джонсу почудилось, будто в дверном замке поворачивается ключ. Поспешно включив фонарик, он не увидел ничего, кроме старинной шестифиленчатой двери, по-прежнему плотно закрытой. Он снова сомкнул веки, погрузившись во мрак, но мгновение спустя послышался леденящий душу скрип — на сей раз скрипела не гильотина, а медленно открывающаяся дверь мастерской. Нет, он не закричит. Стоит только крикнуть — и он пропал. Теперь послышались глухие шаркающие шаги, и они медленно приближались к нему. Нужно сохранять самообладание. Он ведь держал себя в руках, когда порожденные воображением безымянные монстры подступали к нему со всех сторон. Крадущаяся шаркающая поступь все приближалась, и нервы у Джонса не выдержали. Он не завопил, а просто выпалил сдавленным голосом:

— Кто здесь? Кто ты такой? Что тебе надо?

Ответа не последовало, но шарканье продолжалось. Джонс не знал, чего он боится больше: включить фонарик или оставаться в темноте, в то время как незримое существо подкрадывается к нему. Все страхи, пережитые сегодня ночью, не шли ни в какое сравнение с диким ужасом, владевшим им сейчас. Пальцы у него судорожно шевелились, горло перехватывал спазм. Он больше не находил в себе сил молчать, и мучительное ожидание в кромешном мраке становилось невыносимым. Джонс снова истерически выкрикнул: «Стой! Кто здесь?» — и включил

фонарик. В следующий миг, до оцепенения потрясенный увиденным, он выронил фонарик и заорал дурным голосом.

В темноте к нему подкрадывалось богомерзкое гигантское существо, представлявшее собой помесь обезьяны и насекомого. Обвислая черная шкура дрябло болталась на теле, а морщинистая рудиментарная голова с мертвыми глазами пьяно раскачивалась из стороны в сторону. Передние лапы с растопыренными когтями были вытянуты вперед, и напряженная поза свидетельствовала о самых кровавых намерениях, хотя «лицо» хранило совершенно безучастное выражение. Когда вопли стихли и вновь воцарилась непроглядная тьма, существо прыгнуло вперед и в мгновение ока придавило Джонса к полу. Сопротивления не последовало, ибо жертва лишилась чувств.

Очевидно, обморок длился не более минуты: когда Джонс начал приходить в себя, безымянное чудище волокло его по полу в крошечном мраке. Он окончательно вернулся к действительности, едва лишь услышал производимые жутким монстром звуки, а если точнее — голос. Причем голос человеческий и хорошо знакомый. Только одно живое существо на свете могло лихорадочно бубнить таким хриплым речитативом, обращаясь к неведомому ужасному божеству.

— Йа! Йа! — завывало оно. — Я иду, о Ран-Тегот, иду к тебе с пищей! Ты долго ждал и питался скудно, но теперь ты получишь обещанное. Даже больше обещанного, ибо это не Орабона, но один из высокоразвитых представителей рода человеческого, сомневавшихся в твоём существовании. Ты выпьешь из него всю кровь вместе со всеми его сомнениями — и исполнишься силой. И отныне среди людей он вовеки будет почитаться свидетельством твоей славы. Ран-Тегот, бесконечно великий и неуязвимый, я твой раб и верховный жрец. Ты голоден, и я утоляю твой голод. Я прочел твой знак и повел тебя к высотам могущества. Я напитаю тебя кровью, а ты напитаешь меня силой. Йа! Шуб-Нигтурат! Козел с Легионом Младых!

Джонс мгновенно отбросил прочь все ночные страхи, как сбрасывают плащ за ненадобностью. Он снова владел своим рассудком, ибо понял, что имеет дело с совершенно земной и вполне материальной угрозой. Не с неким мифическим монстром, а

с опасным безумцем. То был Роджерс, наряженный в кошмарный маскарадный костюм собственного производства и исполненный намерения совершить ужасное жертвоприношение восковому дьяволобогу. По всей видимости, он вошел в мастерскую с заднего двора, облачился в жуткий наряд, а потом вышел в демонстрационный зал, чтобы схватить свою ловко завлеченную в западню и сломленную страхом жертву. Он обладал недюжинной физической силой, и, чтобы успешно противостоять ему, действовать надо немедленно. Поскольку безумец явно не сомневался, что жертва находится без сознания, Джонс решил напасть на него неожиданно, когда тот немного ослабит хватку. Он проехался спиной по выступу дверного порога и понял, что Роджерс втаскивает его в погруженную в крошечный мрак мастерскую.

Смертельный страх придал Джонсу силы, когда он внезапно вскочил на ноги, в мгновение ока вырвался из рук ошеломленного маньяка, а уже в следующий миг прыгнул вперед в темноте и, по счастью, не промахнулся руками мимо спрятанного под диковинной шкурой горла противника. Роджерс моментально снова вцепился в него, и между ними завязалась ожесточенная борьба не на жизнь, а на смерть. Джонсу приходилось полагаться только на свою хорошую спортивную форму, ибо сумасшедший противник, напрочь игнорирующий всякие правила честной игры, нормы приличия и даже инстинкт самосохранения, являлся сейчас настоящей машиной для убийства, столь же грозной, как волк или пантера.

Яростная схватка в темноте сопровождалась сдавленными вскриками. Лилась кровь, трещала разрываемая ткань, и наконец Джонс почувствовал под руками голую шею маньяка, лишившегося в ходе драки своей фантасмагорической маски. Он не произносил ни слова, отчаянно сражаясь за свою жизнь и не желая расходовать впустую ни капли энергии. Роджерс пинался, молотил кулаками, бил головой, кусался, царапался и плевался — однако находил в себе силы время от времени выкрикивать лающим голосом целые фразы. Главным образом он нес ритуальную тарабарщину, в которой часто поминались «Оно» и Ран-Тегот, и гулкое эхо воплей звучало в измученном мозгу

Джонса подобием демонического воя и лая, доносящихся из бесконечной дали. Они долго катались по полу, опрокидывая скамьи и ударяясь о стены или кирпичное основание плавильной печи. И до последнего момента Джонс не знал, сумеет ли он спастись, но наконец удача улыбнулась ему. Получив сильный удар коленом в грудь, Роджерс весь обмяк, и в следующий миг Джонс понял, что взял верх.

Еле живой от усталости, он с трудом поднялся на ноги и двинулся неверной поступью вдоль стены в поисках выключателя — ибо фонарик он потерял, вместе со значительной частью одежды. Он волок за собой обмякшее тело противника, дабы тот не смог неожиданно наброситься на него, когда очнется. Найдя распределительный щит, он неловко нашарил нужный рубильник. Когда приведенную в жуткий беспорядок мастерскую залил яркий свет, он связал Роджерса всеми веревками и ремнями, какие попались под руку. Бутафорский костюм маньяка (вернее, то, что от него осталось) был изготовлен из кожи паразитительно странного сорта. Непонятно почему, у Джонса по телу бежали мурашки, когда он до нее дотрагивался, и от нее исходил незнакомый затхлый запах. Под маскарадным нарядом Роджерса, в одном из карманов нормальной одежды, отыскалась связка ключей, которую изнуренный победитель схватил, как вожденный пропуск на свободу. Все узкие щелевидные оконца были наглухо зашторены, и он не стал поднимать шторы.

Смыв с себя кровь над раковиной, Джонс облачился в наименее экстравагантный и наиболее подходящий по размеру костюм из развешанных на крюках в мастерской. Попробовав ведущую во двор дверь, он обнаружил, что та заперта на пружинный замок, который изнутри открывается без ключа. Тем не менее он оставил связку ключей у себя, чтобы иметь возможность войти в подвал по своем возвращении с медицинской помощью, ибо необходимость вызвать психиатра представлялась очевидной. Телефона в музее не было, но отыскать поблизости ночной ресторан или аптеку, где таковой имеется, не составит особого труда. Джонс уже начал открывать дверь, когда на него вдруг обрушился град чудовищных ругательств, свидетельствовавший, что Роджерс, чьи видимые телесные повреждения своди-

лись к длинной глубокой царапине на левой щеке, пришел в сознание.

— Болван! Отродье Нот-Йидика, миазм К'тхуна! Сын псов, что воют в бурлящей пучине Азатота! Ты стал бы существом священным и бессмертным, но ты предал Его и Его жреца! Берегись — ибо Оно голодно! На твоём месте должен был быть Орабона — этот вероломный пес, готовый восстать против меня, — но я удостоил тебя великой чести первенства. Теперь вы оба берегитесь, ибо Оно приходит в ярость, когда лишается Своего жреца! Йа! Йа! Возмездие грядет! Понимаешь ли ты, что ты обрел бы бессмертие! Взгляни на печь! Топка заправлена углем, и в баке лежит воск. Я бы сотворил с тобой то же самое, что сотворил с другими некогда живыми существами. Хей! Ты, который утверждал, что все мои экспонаты изготовлены из воска, сам стал бы восковой фигурой! Я все подготовил! Когда Оно насытилось бы и ты превратился бы в подобие той собаки, что я тебе показывал, я бы даровал бессмертие твоим расплюснутым, сплошь искусанным останкам! С помощью воска! Ты же сам называл меня великим художником! Я бы залил воск в каждую твою пору, залепил воском каждый дюйм твоего тела... Йа! Йа! А потом публика смотрела бы на твой изуродованный труп и гадала, как мне удалось придумать и создать такую скульптуру! Хей! Орабона стал бы следующим, а потом я взялся бы за других — и таким образом мое восковое семейство умножалось бы и росло! Презренный пес! Неужто ты по-прежнему считаешь, что я *изготовил* все свои фигуры? Не вернее ли сказать «*сохранил*»? Теперь ты знаешь, в каких странных краях я бывал и какие диковинные находки привозил из экспедиций? Жалкий трус! Ты никогда не посмел бы встретиться лицом к лицу с шамблером, чью шкуру я надел, чтобы испугать тебя! Да ты бы помер от страха, когда бы увидел его живьем или даже просто помыслил о нем толком. Йа! Йа! Оно ждет, Оно жаждет крови, которая есть жизнь!

Связанный Роджерс, посаженный спиной к стене, раскачивался из стороны в сторону.

— Послушай, Джонс, если я отпущу тебя, отпустишь ли и ты меня? О Нем должен заботиться только Его верховный жрец. Орабоны хватит, чтобы поддержать в Нем жизнь, а потом моими

стараниями останки подлого мерзавца обретут бессмертие в воске. На его месте мог бы быть ты, но ты отказался от этой высокой чести. Освободи меня, и я поделюсь с тобой властью, которой Оно наделит меня. Йа! Йа! Поистине велик Ран-Тегот! Освободи меня! Освободи меня! Оно умирает от голода там, за запертой дверью, а если Оно умрет, Древние никогда не вернутся. Хей! Хей! Освободи меня!

Джонс просто помотал головой, хотя бредовые речи хозяина музея вызывали у него глубокое отвращение. Роджерс, теперь вперивший дикий взгляд в дощатую дверь с висячим замком, бился затылком о кирпичную стену и бешено молотил по полу крепко связанными ногами. Джонс испугался, что безумец нанесет себе серьезные телесные повреждения, и двинулся к нему с намерением привязать потуже к какому-нибудь предмету обстановки. Извиваясь и дергаясь всем телом, Роджерс пополз прочь от него, испуская душераздирающие вопли, до жути нечеловеческие и невероятно громкие. Просто в уме не укладывалось, что человеческое горло способно производить звуки столь оглушительные и пронзительные. Коли маньяк будет продолжать в том же духе, подумал Джонс, никакого телефона и не понадобится. Даже здесь, в пустынном нежилом районе города, занятом одними складскими зданиями, столь дикие крики непременно в скором времени привлекут внимание какого-нибудь констебля.

— *Вза-й'ей! Вза-й'ей!* — завывал сумасшедший. — *Й'каа хаа бхо-ии, Ран-Тегот! Ктулху фхтагн! Ей! Ей! Ей! Ран-Тегот, Ран-Тегот, Ран-Тегот!*

Крепко связанный безумец, который все это время продолжал, извиваясь, ползти по замусоренному полу, теперь достиг запертой на висячий замок дощатой двери и принялся с грохотом колотить в нее головой. Джонс, обессиленный жестокой схваткой, просто боялся вновь подступить к нему с веревками и ремнями. Маниакальное неистовство, владевшее пленником, тяжело действовало на его истерзанные нервы, и безотчетные страхи, недавно одолевавшие его в темноте, начали возвращаться. Все связанное с Роджерсом и этим музеем производило впечатление глубокой патологии и наводило на мысль о таинственных черных безднах, разверстых за покровом реальности. Джонс

содрогался от омерзения при одной мысли о восковом шедевре безумного гения, сокрытом в крошечном мраке за массивной дверью с висячим замком.

А потом произошло нечто такое, отчего по спине у Джонса побежали мурашки и все волосы на теле — вплоть до крохотных волосков на запястьях — встали дыбом от смутного страха. Внезапно Роджерс перестал вопить и биться головой о дверь, принял сидячее положение и склонил голову к плечу, словно напряженно прислушиваясь. По лицу его разлилась злобная торжествующая улыбка, и он вновь заговорил на доступном для понимания языке — только теперь хриплым шепотом, резко контрастировавшим с недавними громогласными завываниями:

— Прислушайся, болван! Напряги слух! Оно услышало меня и теперь идет сюда. Разве ты не слышишь, как Оно с плеском вылезает из водоема, расположенного в конце подземного хода? Я вырыл глубокий водоем, поскольку для Него чем глубже, тем лучше. Оно земноводное — ты ведь видел жабры на фотографии. Оно прибыло на Землю со свинцово-серого Юггота, где города лежат на дне глубокого теплого моря. Оно не может выпрямиться там во весь рост — слишком высокое — и потому вынуждено сидеть или ходить на полусогнутых. Отдай мне ключи, мы должны выпустить Его и преклонить колени перед Ним. Потом мы выйдем на улицу и найдем собаку или кота — или, возможно, какого-нибудь пьяного, — чтобы дать Ему пищу, в которой Оно нуждается.

Джонса привели в смятение не столько слова, сколько тон маньяка. Твердая уверенность и искренность, звучавшие в безумном хриплом шепоте, заражали и убеждали. Под воздействием такого стимула воображение легко могло узреть реальную угрозу в сатанинской восковой фигуре, скрытой за массивной дверью с висячим замком. Зачарованно уставившись на нее, Джонс заметил на дощатом дверном полотне несколько отчетливых трещин, хотя с наружной стороны не имелось никаких следов, которые свидетельствовали бы о попытке взлома. Он задался вопросом, какого размера комната или кладовая находится за дверью и каким образом размещена там восковая фигура. Выдумка маньяка про подземный ход и водоем ничем не отличалась от всех прочих его бредовых фантазий.

В следующий ужасный момент у Джонса перехватило дыхание. Кожаный ремень, которым он собирался привязать Роджерса к чему-нибудь, выпал у него из ослабевших рук, и тело сотрясла конвульсивная дрожь. Он давно мог бы понять, что проклятый музей сведет его с ума, как свел с ума Роджерса, — и вот теперь он действительно спятил. Он спятил, ибо сейчас находился в плену еще более диких галлюцинаций, чем все одолевавшие его немногим раньше. Безумец призывал прислушаться и услышать плеск мифического монстра в водоеме за дверью — и теперь, помоги Боже, *он действительно слышал плеск!*

Роджерс увидел, как лицо Джонса судорожно исказилось и превратилось в застывшую маску ужаса. Он издал хриплый смешок.

— Наконец-то ты поверил, болван! Наконец-то все понял. Ты слышишь Его, и Оно идет сюда! Отдай мне ключи, идиот! Мы должны засвидетельствовать поклонение и услужить Ему!

Но Джонс уже лишился способности внимать человеческим речам, безумным ли, разумным ли. Парализованный страхом, он неподвижно застыл на месте в полуобморочном состоянии, не в силах прогнать жуткие видения, фантазмагорически мелькающие перед умственным взором. Он *действительно* слышал плеск. И *действительно* слышал грузную шаркающую поступь огромных мокрых лап по твердой поверхности. Кто-то *действительно* приближался. Из щелей в дощатой двери потянуло тошнотворным звериным запахом, похожим и одновременно не похожим на зловоние, исходящее от клеток с млекопитающими в зоосадах Риджентс-парка.

Джонс уже не сознавал, говорит Роджерс или нет. Он потерял всякую связь с реальностью и обратился в живое извращение, одержимое видениями и галлюцинациями столь противоестественными, что они, казалось, обретали материальность и собственное независимое существование. Он явственно слышал тяжелое сопенье или фырканье, доносившееся из неведомой черной бездны за дощатой дверью, а когда в его слух вторгся трубный лающий звук, он сильно усомнился, что источником последнего является крепко связанный маньяк, чей образ сейчас дрожал и расплывался у него перед глазами. Фотография кошмарной

восковой фигуры упорно всплывала в сознании. Такое творение не имеет права на существование. Разве оно не свело его с ума?

Едва Джонс успел задаться этим вопросом, как получил новое свидетельство своего безумия. Кто-то возился с внутренней шеколкой массивной двери, снаружи запертой на висячий замок. Кто-то шарил, похлопывал, постукивал по доскам. Глухие удары по толстому дверному полотну становились все громче и громче. Зловоние усилилось. И теперь в дверь колотили со злобной решимостью, точно тараном. Раздался зловещий треск... появилась широкая трещина... накатила волна смрада... одна из досок выпала, вышибленная мощным ударом... в проеме *показалась черная лапа с крабьей клешней...*

— Спасите! Помогите! Боже, помоги мне!.. А-а-а-а!..

Ныне Джонсу стоит огромных трудов вспомнить, как он вдруг избавился от паралича, вызванного ужасом, и обратился в паническое бегство, до странности напоминавшее фантасмагорическое стремительное бегство, порой происходящее в самых жутких кошмарных снах, — ибо он чуть ли не одним прыжком пересек мастерскую, рывком распахнул наружную дверь, которая с грохотом за ним захлопнулась и защелкнулась на замок, взлетел по истертой каменной лестнице, прыгая через три ступени, опрометью выбежал из сырого двора, мощенного булыжником, и помчался куда глаза глядят по убогим улочкам Саутварка.

Больше он ничего не помнит. Джонс не знает, как он добрался до дома, и сильно сомневается, что нанимал кеб. Скорее всего, движимый слепым инстинктом, он бежал всю дорогу — через мост Ватерлоо, по Стрэнду и Чаринг-Кросс-роуд, по Хэймаркет и Риджент-стрит до своего квартала. Он все еще был в причудливом наряде, составленном из разных частей музейных костюмов, когда пришел в себя настолько, чтобы вызвать врача.

Через неделю невропатолог разрешил Джонсу встать с постели и выйти на улицу. Врачам он мало чего рассказал. Вся эта дикая история пахла откровенным безумием и бредом, и он счел за лучшее промолчать. Несколько оправившись, он внимательно просмотрел все газеты, скопившиеся в доме с той ужасной ночи, но не нашел ни единого упоминания о каком-либо

странном происшествии в музее. Что из пережитого произошло в действительности? В какой момент кончилась явь и началось кошмарное сновидение? Может, он повредился рассудком в темном выставочном зале и драка с Роджерсом просто привиделась ему в бреду? Он выздоровел бы скорее, если бы нашел ответы на мучительные вопросы такого рода. Он *наверняка* видел проклятую фотографию восковой фигуры, которую Роджерс называл «Оно», ибо только болезненное воображение гениального безумца могло породить столь богомерзкого монстра.

Лишь через две недели Джонс решился снова прийти на Саутварк-стрит. Он явился туда поздним утром, когда вокруг древних лавок и складов наблюдалось наибольшее оживление самой нормальной, обыденной человеческой деятельности. Музейная вывеска оставалась на прежнем месте, и, подойдя ближе, он увидел, что музей открыт. Привратник с улыбкой кивнул Джонсу как старому знакомому, когда он наконец набрался мужества войти внутрь, и один из служителей в сводчатом демонстрационном зале весело козырнул ему. Очевидно, ему действительно все привиделось во сне. Хватит ли у него духу постучать в дверь мастерской и справиться о Роджерсе?

В следующий миг к нему подошел Орабона. Смуглое гладкое лицо иностранца хранило чуть сардоническое выражение, но Джонс почувствовал, что он настроен вполне дружелюбно.

— Доброе утро, мистер Джонс, — с легким акцентом промолвил он. — Давненько вы к нам не заглядывали. Вы желаете увидеться с мистером Роджерсом? Очень жаль, но хозяина сейчас нет. Его срочно вызвали по делам в Америку, и он уехал. Да, совершенно неожиданно. Теперь я за главного — и здесь, и в особенности. Я стараюсь во всем следовать высоким стандартам мистера Роджерса — пока он не вернется.

Иностранец улыбнулся — возможно, единственно из вежливости. Джонс не знал толком, что сказать в ответ, но все же умудрился пролепетать несколько вопросов насчет дня, следовавшего за прошлым его визитом в музей. Казалось, вопросы сильно позабавили Орабону, и он ответил, тщательнейшим образом подбирая слова:

— О да, мистер Джонс, двадцать восьмое число прошлого месяца. Я хорошо помню тот день, по многим причинам. Утром —

еще до прихода мистера Роджерса — я обнаружил в мастерской ужасный беспорядок. Пришлось изрядно повозиться... с уборкой. Накануне хозяин работал там допоздна, видите ли. Требовалось завершить отливку одного важного нового экспоната. Я собственноручно взялся за дело, когда пришел. Скульптура была не из простых, работа сложная — но, разумеется, мистер Роджерс многому научил меня. Вы же знаете, он великий художник. Он помог мне закончить экспонат, когда пришел, — помог весьма существенно, уверяю вас, — но вскоре ушел, даже не дождавшись остальных работников музея. Как я сказал, его неожиданно вызвали в Америку. Технологический процесс включал определенные химические реакции, сопровождавшиеся громким шумом, — каким-то возникшим в наружном дворе даже померещилось, будто они слышали несколько пистолетных выстрелов. Смешно, право слово! Что же касается нового экспоната, с ним вышла печальная история. Это великий шедевр — задуманный и созданный, как вы понимаете, мистером Роджерсом. Он позаботится о нем, когда вернется. — Орабона снова улыбнулся. — Полиция, знаете ли. Мы выставили фигуру на обозрение неделю назад, и несколько посетителей в первый же день упали в обморок при виде ее, а с одним беднягой приключился эпилептический припадок. Понимаете ли, она несколько... ну, посильнее всех прочих. Во-первых, размером побольше. Разумеется, она была помещена в экспозиции, предназначенной только для взрослых. На следующий день явились двое парней из Скотленд-Ярда, осмотрели экспонат и сказали, что столь жуткую скульптуру нельзя показывать публике. Велели ее убрать. Обидно до слез — такой шедевр! Но я не счел себя вправе обращаться в суд в отсутствие мистера Роджерса. Хозяин наверняка не хотел бы, чтобы история с полицией получила широкую огласку сейчас, но когда он вернется... когда он вернется...

По непонятной причине в душе Джонса нарастали тревога и отвращение. Однако Орабона продолжал:

— Вы у нас истинный ценитель искусства, мистер Джонс. Уверен, я не нарушу никакого закона, если предложу вам взглянуть на экспонат в частном порядке. Вполне возможно — коли такова будет воля мистера Роджерса, конечно, — мы в скором

времени уничтожим скульптуру, хотя это будет настоящим преступлением.

Джонс почувствовал острое желание отказаться от предложения и обратиться в поспешное бегство, но Орабона с энтузиазмом подлинного художника уже тащил его за руку. В огороженной ширмой части зала, куда допускались только взрослые, не было ни одного посетителя. Большая ниша в дальнем углу была занавешена, и к ней-то и направился улыбающийся ассистент Роджерса.

— Вам следует знать, мистер Джонс, что экспонат называется «Жертвоприношение Ран-Тегогу».

Джонс сильно вздрогнул, но Орабона, казалось, ничего не заметил.

— Образ бесформенного громадного божества присутствует в целом ряде малоизвестных древних легенд, которые изучал мистер Роджерс. Разумеется, все это чистой воды выдумка, как вы часто уверяли мистера Роджерса. Оно якобы явилось на Землю из космоса и обитало в Арктике три миллиона лет назад. С жертвенными существами, предназначенными для него, оно обходилось весьма странным и ужасным образом, как вы сейчас увидите. Стараниями мистера Роджерса оно получилось прямо как живое — и даже лицо жертвы выполнено с поразительным реализмом.

Дрожа всем телом, Джонс крепко ухватился за медный поручень ограждения перед занавешенной нишей. Когда занавес начал отодвигаться, он хотел было остановить Орабону, но удержался, подчинившись противоположному внутреннему побуждению. Иностранец торжествующе улыбнулся:

— Вот, смотрите!

Джон пошатнулся, хотя и держался за поручень.

— Боже!.. Боже мой!

Внушающее неописуемый ужас чудовище — которое имело в высоту полных десять футов, хотя стояло на полусогнутых ногах, в напряженной сгорбленной позе, выражавшей беспредельную космическую злобу, — было изображено поднимающимся с громадного костяного трона, покрытого фантасмагорической резьбой. Оно было шестилапым, и в средней паре конечностей держало расплющенное, изуродованное, обескровленное

тело, сплошь испещренное точечными ранками и местами словно обожженное едкой кислотой. Только неестественно вывернутая обезображенная голова жертвы свидетельствовала о принадлежности последней к роду человеческому.

Само чудовище не нуждалось в представлении для любого, кто видел прежде кошмарную фотографию. Тот проклятый снимок был до жути достоверен, но все же не передавал в полной мере весь ужас, какой внушал реальный объект. Шарообразное туловище... похожая на пузырь рудиментарная голова... три рыбьих глаза... хобот длиной в фут... раздутые жабры... омерзительное подобие волосяного покрова, состоящее из змееподобных сосательных хоботков... шесть гибких конечностей с черными лапами и крабьими клешнями... Боже, ведь он уже видел прежде такую вот черную лапу с крабьей клешней!..

Орабона улыбался гнуснейшей улыбкой. Джонс задыхался, не в силах отвести взгляд от кошмарного экспоната, словно под гипнозом. Озадаченный и встревоженный этим своим состоянием, он попытался понять, какая неувловимая деталь заставляет его вглядываться все пристальнее в жуткую восковую скульптуру? Она окончательно свела с ума Роджерса... Роджерс, гениальный художник... он говорил, что не все музейные экспонаты имеют искусственное происхождение...

В следующий миг Джонс понял, что именно столь неумолимо притягивает его взгляд. Неестественно вывернутая, полураздавленная голова восковой жертвы, наводившая на самые жуткие предположения. Лицевая часть головы более или менее сохранилась, и лицо это казалось знакомым. Оно походило на безумное лицо бедного Роджерса. Движимый безотчетным порывом, Джонс пригляделся пристальнее. Разве не естественно желание сумасшедшего эгоцентрика запечатлеть собственные черты в своем шедевре? Или все же здесь явлено нечто большее, нежели образ, уловленный подсознательным зрением и воплощенный в сей ужасной форме?

Изуродованное восковое лицо было вылеплено с величайшим мастерством. Все эти крохотные проколы — как они походили на бесчисленные точечные ранки, испещрявшие тело той несчастной собаки! Но это было еще не все. На левой щеке жертвы

угадывался некий изъян, явно не вписывавшийся в общую картину, — такое впечатление, будто скульптор пытался загладить дефект, допущенный при первой отливке. Чем пристальнее Джонс вглядывался, тем сильнее содрогался от безотчетного страха — а потом вдруг вспомнил одно обстоятельство, исполнившее душу беспредельным ужасом. Та кошмарная ночь, яростная схватка, связанный безумец — *и длинная глубокая царапина на левой щеке еще живого Роджерса...*

Джонс бессильно разжал пальцы, стискивавшие медный поручень, и лишился чувств.

Орабона продолжал улыбаться.

КРЫЛАТАЯ СМЕРТЬ

(с Хейзл Хилд)

I

Отель «Оранж» в южноафриканском городе Блумфонтейне расположен на главной улице, неподалеку от железнодорожного вокзала. В воскресенье, 24 января 1932 года, в номере на третьем этаже отеля сидели, содрогаясь от ужаса, четверо мужчин. Одним из них был Джордж К. Титтеридж, владелец отеля; вторым — констебль Ян де Витт из центрального полицейского управления; третьим — Йоханнес Богерт, местный коронер; четвертым — и лучше других владевшим собой — доктор Корнелиус ван Кёлен, судмедэксперт.

На полу комнаты, разительно контрастируя с жарой и духотой летнего дня, застыл холодный труп; но не этот факт вызвал столь сильное потрясение у четверых людей. Взоры их попеременно направлялись то на стол с разложенным там весьма странным набором предметов, то на потолок, гладкую белизну которого нарушала чернильная надпись крупными корявыми буквами; а доктор ван Кёлен, помимо того, тревожно поглядывал на тетрадь в истертой кожаной обложке, которую держал в левой руке. Источниками их страха, похоже, в равной степени были эта тетрадь, каракули на потолке и мертвая муха необычного вида в бутылке с раствором аммиака, стоявшей на столе. Там же находились чернильница со снятой крышкой, перьевая ручка, стопка бумаги, врачебный саквояж, флакон с соляной кислотой и высокий стакан, примерно на четверть заполненный черным порошком — двуокисью марганца.

Тетрадь в истертой обложке оказалась личным дневником распростертого на полу мертвеца; и с первой же страницы стало ясно, что сведения о себе, вписанные им в книгу постояльцев

отеля — «Фредерик Н. Мейсон, горное оборудование, Торонто, Канада», — являются фальшивкой. Одновременно прояснились другие — воистину чудовищные — вещи, но и они всего лишь предваряли нечто куда более жуткое и загадочное, а то и вовсе выходящее за рамки понимания. Пока это были только предчувствия и смутные догадки, но четверо мужчин имели долгий опыт жизни в Африке, так или иначе соприкасаясь с ее древними и мрачными тайнами; вот почему их сейчас была зябкая дрожь, несмотря на изнурительную январскую жару.

Небольшого размера тетрадь содержала записи, сделанные четким красивым почерком, который, однако, ближе к концу становился все более нервным и лихорадочно-торопливым. Записи велись нерегулярно, порой с большими перерывами, и только на последних страницах они стали ежедневными. Собственно, это не был дневник в общепринятом смысле, поскольку он отражал лишь один из аспектов деятельности автора. Доктор ван Кёлен узнал настоящее имя мертвеца, как только взглянул на первый лист. Это имя было ему знакомо, поскольку принадлежало представителю его собственной профессии, давно и тесно связанному с Африканским континентом. А в следующий момент он с ужасом обнаружил свидетельство причастности этого человека к одному гнуснейшему преступлению, которое четыре месяца назад было главной газетной сенсацией и до сих пор официально считалось нераскрытым. И чем дальше он читал, тем глубже проникался страхом и отвращением, которые уже грозили перерасти в панику.

Ниже приводится все самое существенное из текста, прочитанного доктором вслух в этой зловещей и все более зловонной обстановке под аккомпанемент тяжелого дыхания троих слушателей, которые нервно ерзали на стульях, то и дело бросая взгляды на потолок, на стол, на мертвое тело и друг на друга.

ДНЕВНИК ТОМАСА СЛОЭНУАЙТА, ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ

Касательно кары, постигшей Генри Сарджента Мура, доктора философии из Бруклина, г. Нью-Йорк, профессора кафедры биологии беспозвоночных в Колумбийском университете, г. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Предназначается к прочтению

лишь после моей смерти, а пока я могу наслаждаться мыслью о том, что моя месть когда-нибудь станет достоянием гласности; иначе это вряд ли будет доказано, даже если я добьюсь успеха.

5 января 1929 г. Я принял окончательное решение убить доктора Генри Мура, а недавний случай подсказал мне, как это можно сделать. Отныне я буду придерживаться четкого плана действий и с этих пор начинаю вести дневник.

Вряд ли есть необходимость в подробном изложении обстоятельств, направивших меня на этот путь, ибо они хорошо известны заинтересованной части публики. Я родился в Трентоне, штат Нью-Джерси, 12 апреля 1885 года, в семействе доктора Пола Слоэнзуйта, ранее проживавшего в Претории, Трансвааль, Южная Африка. Следуя семейной традиции, я занялся медициной, специализируясь на африканских лихорадках, — тут сказало влияние отца (умершего в 1916 году, когда я служил во Франции в составе Южноафриканского экспедиционного корпуса), — а по окончании Колумбийского университета проводил исследования в разных частях Африки, от Дурбана в Натале до самого экватора.

В Момбасе я начал разрабатывать новую теорию передачи и развития перемежающейся лихорадки. В этом деле мне послужили полезным, хотя и второстепенным, подспорьем записи покойного сэра Нормана Слоуна, врача колониальной администрации, которые я обнаружил в его доме, предоставленном мне для проживания. Публикация результатов моего исследования вмиг сделала меня крупнейшим авторитетом в данной области. Зашла речь о назначении меня на один из высших постов в южноафриканской службе здравоохранения и даже о возведении в рыцарское звание, если я перейду в британское подданство; и я уже предпринял шаги в этом направлении.

Далее случилось то самое, из-за чего я ныне собираюсь убить Генри Мура. Этот человек, мой однокашник, с которым я поддерживал дружескую связь на протяжении многих лет жизни в Америке и Африке, вдруг объявил несостоятельными мои претензии на авторство данной теории. С его слов выходило, что сэр Норман Слоун еще до меня сформулировал все основные положения, а я будто бы позаимствовал из его записей гораздо больше, чем признавался впоследствии. В качестве подтверж-

дения он предъявил несколько писем сэра Нормана, из которых следовало, что старик действительно занимался исследованиями в данной сфере и уже собирался опубликовать свои выводы, когда был настигнут внезапной смертью. Я и не думал отрицать сам факт его научных занятий, искренне сожалел о кончине коллеги. Чего я не могу простить Муру, так это завистливого подозрения, будто моя теория была попросту украдена у покойника. Британское правительство имело достаточно благоразумия, чтобы проигнорировать эти домыслы, однако вопрос о высокой должности и рыцарском звании был снят с повестки дня под тем предлогом, что на момент публикации моей статьи сама идея уже не обладала достаточной новизной.

Очень скоро я обнаружил, что моя карьера в Африке застопорилась; а ведь я возлагал на нее все надежды, ради этого даже отказавшись от американского гражданства. Чиновники в Момбасе держались со мной подчеркнуто холодно — особенно те из них, кто лично знал сэра Нормана. Именно тогда я принял решение поквитаться с Муром, хотя еще не знал, когда и как это можно устроить. Завидуя внезапно свалившейся на меня славе, он воспользовался преимуществом давней переписки с сэром Норманом, чтобы погубить мою репутацию. И это сделал старый друг, которому я привил интерес к Африке, которого я поддерживал и вдохновлял, пока он не достиг определенной известности как эксперт по африканской энтомологии. Даже сейчас я не стану отрицать его достижения. Но ведь это я создал его как ученого, а он в ответ нанес мне удар в спину. И в свою очередь — рано или поздно — я уничтожу его.

Поскольку мое положение в Момбасе становилось все более шатким, я уехал подальше от побережья — в Мгонгу, что всего в пятидесяти милях от границы с Угандой. В этой фактории, торговавшей хлопком и слоновой костью, всего восемь белых людей, помимо меня. Жуткая дыра, почти на линии экватора, терзаемая всеми видами лихорадки, известными человечеству. Тут кишат ядовитые змеи и насекомые, а местные негры страдают экзотическими болезнями, о которых даже понаслышке знают не во всяком медицинском колледже. Но работа моя не из тяжелых, и я имею много свободного времени для планирования мести Генри Муру. По забавному стечению обстоятельств

его «Двукрылые Центральной и Южной Африки» сейчас занимают видное место на моей книжной полке. Впрочем, это действительно добротное пособие — недаром им пользуются в Колумбийском, Гарвардском и Висконсинском университетах. При этом не менее половины самых ценных наблюдений и выводов в его книге сделаны с моей подачи.

И вот на прошлой неделе я столкнулся с одним явлением, подсказавшим мне, как покарать Генри Мура. С очередным караваном из Уганды к нам попал чернокожий, необычное заболевание которого я до их пор не могу диагностировать. Он почти все время без сознания, температура значительно ниже нормы, наблюдаются очень своеобразные конвульсии. Почти все черные испуганно сторонятся больного, утверждая, что на него навел порчу колдун, однако переводчик Гобо упомянул об укусе какого-то насекомого. Что за насекомое, сказать трудно — след от укуса представляет собой лишь небольшое пятнышко на руке. Ярко-красное, с фиолетовым ободком. Выглядит зловеще — неудивительно, что туземцы приписывают это черной магии. Похоже, они видели такое прежде и теперь уверены, что бедняга обречен.

Старый Н'Куру — один из туземцев, живущих при фактории, — говорит, что его укусила «муха-дьявол». В результате такого укуса человек медленно угасает, а после его смерти муха-дьявол якобы завладевает душой и сознанием покойного, и она будет летать повсюду, наделенная его памятью, его привязанностями и антипатиями. Более чем странная легенда; ну а что до реальных симптомов, то мне неизвестны насекомые, чей укус способен их вызвать. Я вколол этому черному — его зовут Мевана — изрядную дозу хинина и взял у него кровь на анализ, но толку от этого мало. В крови обнаружился необычный микроорганизм, однако идентифицировать его не удалось. По типу он ближе всего к бациллам, которые появляются в крови быков, лошадей или собак после укуса мухи цеце, но цеце неспособны заразить человека, да и ареал их расположен намного южнее этих мест.

И все же одно важное открытие было сделано: я нашел способ прикончить Генри Мура. Если туземцы не лгут и в этих краях действительно встречаются столь опасные насекомые, я смогу

утроить так, чтобы Мур получил посылку с живыми экземплярами и уверениями в их абсолютной безвредности от отправителя, которого нельзя заподозрить в подвохе. Это побудит его, забыв об осторожности, сразу же приступить к изучению неизвестного вида — а остальное сделает сама природа! Полагаю, будет нетрудно выявить тот самый вид насекомых, что наводит ужас на черных. Но сначала надо проследить за течением болезни у Меваны, отложив на будущее поиски «посланца смерти» для Мура.

6 января. Состояние Меваны не улучшается, хотя я испробовал все известные мне антитоксины. У него бывают конвульсивные приступы, сопровождаемые истерическими причитаниями насчет его души, которая должна переселиться в муху-дьявола; в остальное время он находится в подобии ступора. Но сердечная деятельность не ослаблена, так что шанс на выздоровление еще есть. Постараюсь его вылечить, так как лучшего проводника в места, где водятся эти твари, мне не найти.

А пока надо написать доктору Линкольну, который работал здесь до меня, — со слов Аллена, начальника фактории, он хорошо изучил все местные болезни. Он должен знать об этой мухе-дьяволе, если о ней вообще ведомо хоть кому-то из белых. Сейчас доктор в Найроби, и черный гонец сможет вернуться с ответом уже через неделю, благо половину пути он проделает по железной дороге.

10 января. Пациент без изменений, но я неожиданно нашел то, что мне нужно! И нашлось это в старом сборнике отчетов местного медпункта, внимательно мною просмотренном в ожидании вестей от Линкольна. Тридцать лет назад в Уганде была эпидемия, унесшая жизни тысяч туземцев, и тогда же удалось выявить разносчика инфекции — редкий вид мухи *Glossina palpalis*, состоящей в родстве с *Glossina marsitans*, или цеце. Этот вид обитает в зарослях по берегам озер и рек, питаясь кровью крокодилов, антилоп и других крупных животных. Если какое-то из укушенных животных заражено трипаносомозом, иначе именуемым сонной болезнью, муха с кровью впитывает возбудителей и после инкубационного периода в тридцать один день становится переносчиком заболевания. В следующие семьдесят пять дней она несет гибель всем, кого укусит.

Без сомнения, это и есть та самая муха-дьявол, о которой говорят негры. Теперь я знаю, что искать. Надеюсь, Мевана поправится. Дней через пять должен прибыть ответ Линкольна — у него репутация отличного практика, добивавшегося успеха в почти безнадежных случаях. Самое трудное в моем плане — сделать так, чтобы Мур не распознал мух по внешнему виду. При его треклятой дотошности можно не сомневаться, что ему известно об этих насекомых, раз уж они фигурируют в медицинских отчетах.

15 января. Только что получил письмо от Линкольна, который подтвердил все, что написано в отчетах о *Glossina palpalis*. У него имеется средство от сонной болезни, которое неоднократно доказывало свою эффективность, если применять его не в крайне запущенной стадии. Это внутримышечная инъекция трипарамида. Мевана был ужален около двух месяцев назад, и я не знаю, поможет ли теперь инъекция. С другой стороны, Линкольн пишет, что период болезни бывает продолжительным — до восемнадцати месяцев, — так что, может быть, еще не поздно. Вместе с письмом Линкольн прислал мне препарат из своих запасов, и я только что ввел Меване ударную дозу. Сейчас он в заторможенном состоянии. Из деревни привели его старшую жену, но он ее даже не узнал. Если Мевана поправится, он наверняка сможет провести меня в места, где водятся эти мухи. Говорят, он великий охотник на крокодилов и знает всю Уганду вдоль и поперек. Завтра введу еще одну дозу лекарства.

16 января. Сегодня Меване, кажется, немного лучше. Однако сердечная деятельность ослаблена. Буду продолжать инъекции, но с осторожностью, чтобы избежать передозировки.

17 января. Пациент определенно идет на поправку. Мевана открыл глаза, и взгляд был осмысленным, но после инъекции он снова впал в забытие. Надеюсь, Мур не знает о трипарамиде. Это вполне возможно, поскольку он никогда не имел склонности к практической медицине. Кажется, у Меваны парализован язык, но я думаю, это пройдет, когда я выведу его из полудремы. Мне и самому не помешало бы хорошенько вздремнуть, но только не таким сном!

25 января. Мевана почти здоров! Уже через неделю он будет в состоянии повести меня в джунгли. Очнувшись, он в первый

момент ужасно перепугался — подумал, что уже умер, а его душой завладела муха-дьявол, — но сразу повеселел, когда я сказал, что он выздоравливает. Его жена, Угове, хорошо о нем заботится, так что я могу немного отдохнуть. И потом наконец-то заняться «посланцами смерти»!

3 февраля. Мевана достаточно окреп, и я завел с ним разговор о походе. Он боится снова идти в те места, где был укушен, но я взываю к его чувству благодарности. Помогает и его вера в то, что я могу отвращать болезнь так же успешно, как излечивать от нее. Он человек редкой отваги, способный в этом посрамить многих белых, и я не сомневаюсь, что в конце концов он согласится. Начальнику фактории я скажу, что экспедиция предпринимается в интересах медико-санитарной службы.

12 марта. И вот я в Уганде! Кроме Меваны, со мной еще пятеро спутников, но все они галла. Местных негров нанять не удалось — они слышаны о случившемся с Меваной и не решаются посещать эти джунгли. Климат здесь нездоровый, воздух насыщен миазматическими испарениями. Вода в озерах кажется застоявшейся и затхлой. Однажды мы наткнулись на останки каких-то циклопических строений, при виде которых даже галла струхнули, так что пришлось делать большой крюк, стороной обходя руины. Туземцы говорят, что эти мегалиты древнее самых первых людей и что они когда-то были прибежищем «Ловцов из иного мира» (как это понимать?), а также страшных богов Цадогуа и Клулу. По сей день руинам приписывают зловещее влияние, а также некую связь с мухами-дьяволами.

15 марта. Этим утром достигли озера Млоло, где был ужален Мевана. Огромная мерзкая лужа, затянутая зеленой тиной и кишущая крокодилами. Мевана смастерил ловушку для мух из мелкой проволочной сетки, используя в качестве приманки кусок крокодильего мяса. Входное отверстие ловушки очень узкое, и муха, забравшись внутрь, уже не найдет выход наружу. Эти твари столь же глупы, сколь смертоносны и прожорливы — всегда готовы накинуться на свежее мясо или пролитую кровь. Надеюсь, они попадутся в немалом количестве. Я собираюсь поэкспериментировать, чтобы сделать их внешний вид неузнаваемым для Мура. Возможно, удастся скрестить их с другими видами, при этом сохранив за полученным гибридом способ-

ность переносить инфекцию. Посмотрим. Надо набраться терпения, но сейчас я уже не спешу. Когда все будет подготовлено, я попрошу Мевану добыть зараженное мясо, чтобы угостить моих посланцев смерти, ну а потом — на почту. Только бы не заразиться самому, ведь эти края воистину рассадник всяческих эпидемий.

16 марта. Удача! Две ловушки заполнены. Среди пойманных мух выделяются пять экземпляров с алмазно-блестящими крыльями. Мевана поместил их в жестяную банку с перетянутым сеткой верхом. Думаю, до Мгонги довезем их без проблем. Запаслись крокодильим мясом для их подкормки. Без сомнения, все это мясо или большая его часть инфицировано.

20 апреля. Вернулись в Мгонгу, работаю в лаборатории. Отправил письмо доктору Йосту в Преторию с просьбой прислать мне партию мух цеце для экспериментов с гибридизацией. Если скрещивание пройдет успешно, его результатом станет нечто неузнаваемое, но притом не менее смертоносное, чем *palpalis*. А если с цеце не выйдет, попробую скрестить их с другими видами, встречающимися в глубине континента. Я уже запросил образцы конголезских двукрылых у доктора Вандервельде в Ньянгве. Теперь уже нет необходимости посылать Мевану за новыми партиями зараженного мяса — мне удалось выделить культуру микробов *Tyranosoma gambiense* из мяса, добытого в прошлом месяце, и я могу сохранять их в колбах почти бесконечно. Когда придет время, я инфицирую свежее мясо и накормлю досыта моих крылатых посланцев перед путешествием — bon voyage!¹

18 июня. Сегодня прибыла партия цеце от Йоста. Садки для скрещивания давно приготовлены, сейчас занимаюсь селекцией. Для ускорения жизненного цикла попробую облучать их ультрафиолетом. По счастью, в моей лаборатории есть нужное оборудование. Разумеется, я никому не сказал о том, что именно делаю. Немногочисленные белые в фактории ничего не смыслят в подобных вещах, и мне не составляет труда скрывать свои намерения, притворяясь, будто изучаю разные виды насекомых в сугубо медицинских целях.

¹ Счастливого пути! (фр.)

29 июня. Скрещивание дало плоды! В прошлую среду были отложены яйца, и сейчас я уже наблюдаю за личинками. Отличные образчики — если взрослые особи будут выглядеть так же своеобразно, мне больше ничего и не потребуется. Сейчас готовлю отдельные пронумерованные садки для различных экзотических мух.

7 июля. Новый гибрид выведен! По форме туловища их не распознать, однако яркий блеск крыльев все же намекает на *palpalis*. На груди слабо проступают полосы, характерные для цеце. Наблюдаются небольшие различия между отдельными особями. Кормлю их зараженным крокодильим мясом, а когда инфекция наберет силу, проведу испытания на ком-нибудь из чернокожих — это должно выглядеть как случайность. Вокруг тучами вьются разные мухи, укусы которых весьма болезненны, так что подозрения ни у кого не возникнет. Выпущу одну особь в своей гостинице, плотно закрытой москитными сетками, перед тем как мой слуга Батта принесет завтрак. А когда муха сделает свое дело, я ее поймаю или просто прихлопну, что будет нетрудно, учитывая глупость этих тварей. В крайнем случае умерщвлю ее, заполнив комнату хлором. Если не получится с первого раза, буду повторять попытки вплоть до успешного результата. Разумеется, надо держать наготове трипарсамид — вдруг буду ужален сам? — но лучше бы этого избежать, не слишком полагаясь на противоядия, которые никогда не бывают стопроцентно надежными.

10 августа. Муха готова к инфицированию, и я очень удачно подстроил укус. После этого поймал муху прямо на Батте и вернул ее в садок. Смазал ранку йодом, осчастливив бедолагу таким проявлением участия. Экземпляр из другого садка завтра опробую на Гамбе, посыльном фактории. И этим в пределах фактории ограничусь; если понадобятся дополнительные испытания, проведу их во время поездки в Укалу, прихватив с собой несколько особей.

11 августа. С Гамбой вышла осечка, но муху я поймал живой. Батта выглядит здоровым, как обычно; и никаких болей в спине, куда он был ужален. Надо выдержать паузу перед новой попыткой с Гамбой.

14 августа. Наконец прибыла партия насекомых от Вандервельде. Семь разных видов, почти все в той или иной степени ядовиты. Держу их в сытости и здравии как запасной вариант, если скрещивание с цеце себя не оправдает. Некоторые виды внешне сильно отличаются от *palpalis*, вот только смогут ли они произвести смешанное потомство?

17 августа. Сегодня после обеда подловил Гамбу, но пришлось убить муху, укусившую его в левое плечо. Ранку обработал и получил такую же горячую благодарность, как и от Батты. С последним никаких перемен.

20 августа. Гамба пока в норме, и Батта тоже. Экспериментирую с новой маскировкой, дополняющей гибридизацию: хочу использовать краску, чтобы скрыть слишком заметный блеск крыльев *palpalis*. Синеватый оттенок подойдет лучше всего, а сделать это можно будет, просто распылив краску внутри садка с мухами. Для начала попробую берлинскую лазурь и турнбуллеву синь — соединения солей железа и цианидов.

25 августа. Сегодня Батта пожаловался на боль в спине — вот уже и первый симптом.

3 сентября. Явный прогресс в моих экспериментах. У Батты признаки сонливости и постоянные боли в спине. У Гамбы начало ныть ужаленное плечо.

24 сентября. Батте становится все хуже, и он заволновался по поводу старого укуса. Подозревает, что это муха-дьявол, и просит меня ее убить — он видел, как я после поимки поместил ее в садок. Я его успокоил, сказав, что та муха давно издохла. Он боится за свою душу, которой после его смерти якобы завладеет укусившая его тварь. Под видом лекарства сделал подкожную инъекцию физраствора, чтобы его подбодрить. Теперь ясно, что гибридная муха сохранила вредоносные свойства *palpalis*. Состояние Гамбы также ухудшается, повторяя все симптомы Батты. Возможно, я дам ему шанс, применив трипарсамид, поскольку способность мух к инфицированию уже доказана. Но Батта должен пройти весь путь до конца — я хочу получить представление о продолжительности цикла.

Эксперименты с окраской также идут успешно. Растворил в спирте изомерную форму ферроцианида железа с добавлением калийных солей и распылил эту жидкость в садке с мухами.

Результат превзошел ожидания. Раствор окрасил крылышки в голубоватый цвет, не повлияв существенно на окрас более темного туловища, и после высыхания краска не смывается — я для проверки опрыскал насекомых водой. При такой маскировке я смогу обойтись уже выведенным гибридом, не затевая новых экспериментов со скрещиванием. Каким бы проницательным ни был Мур, ему не распознать в голубокрылой мухе полукровку-цеце. Разумеется, всю эту возню с красками я держу в тайне от окружающих. Впредь ничто не должно указывать на мою связь с голубыми мухами.

9 октября. Батта впал в протрацию и переведен на постельный режим. Гамбе регулярно вкалываю трипарсамид на протяжении двух недель. Полагаю, он поправится.

25 октября. Батта очень плох, зато Гамба уже почти выздоровел.

18 ноября. Вчера Батта умер, после чего произошло одно странное событие, от которого у меня мороз по коже, ибо это вызывает в памяти туземные легенды и суеверные страхи самого Батты. Установив факт смерти, я вернулся в лабораторию и услышал необычно громкое жужжание в садке номер двенадцать, где находилась ужалившая его муха. Тварь металась по садку как бешеная но, когда я приблизился, внезапно затихла, села на сетчатую стенку и уставилась на меня самым странным образом. Она даже просунула передние лапки в отверстия, как будто пародируя человеческий жест изумления. Позже, вновь появившись в лаборатории после обеда с Алленом, я обнаружил эту муху мертвой. Судя по всему, она в неистовстве билась о стенки садка, пока не забила себя до смерти.

Не может не удивлять тот факт, что случилось это сразу же после смерти Батты. Если бы это видел кто-нибудь из черных, он тотчас приписал бы происшедшее переселению души мертвеца в муху-дьявола. Надо поспешить с отправкой моих голубокрылых посланцев по назначению. Похоже, их укус убивает еще быстрее, чем укус чистокровных *palpalis*. Батта умер всего через три месяца и восемь дней после заражения, — впрочем, нельзя с уверенностью делать выводы на основе единичного случая. Я почти сожалею о том, что не дал болезни Гамбы идти своим чередом.

5 декабря. Строю планы, как доставить моих посланцев Муру. Он должен получить их от какого-нибудь незнакомого энтомолога, якобы читавшего «Двукрылых Центральной и Южной Африки» и решившего послать автору «новый, доселе не классифицированный вид насекомых». В письме должно присутствовать недвусмысленное заверение в том, что голубокрылые совершенно безвредны, со ссылкой на многолетний опыт местных жителей. Тогда Мур не станет осторожничать, и одна из тварей рано или поздно его укусит.

О первых результатах операции я смогу судить лишь по письмам нью-йоркских друзей, которые иногда упоминают Мура, ну а смерть его наверняка не обойдут вниманием газеты. Главное, не выказывать излишнего интереса к его судьбе. Посылку я отправлю не отсюда, а из другого места, где меня ни в коем случае не должны опознать. Самый надежный вариант: взять отпуск, уехать надолго вглубь страны и отрастить бороду, затем отправить свой груз из Укалы под видом проезжего энтомолога, а сюда вернуться уже гладко выбритым.

12 апреля 1930 г. Вернулся в Мгонгу после долгого путешествия. Все прошло как нельзя лучше — в точном соответствии с планом. Взял отпуск накануне Рождества, 15 декабря, и сразу же отбыл с заранее подготовленным багажом. Для моих посланцев сделал добротный почтовый контейнер, поместив туда кусок инфицированного крокодильего мяса им в пищу. К концу февраля моя борода достаточно отросла, и я подстриг ее клинышком а-ля ван Дейк.

9 марта прибыл в Укалу и напечатал письмо Муру на машинке в тамошней фактории. Назвался Невилом Уэйленд-Холлом, энтомологом из Лондона. Думаю, я выбрал верный тон — дружелюбно-деловой, как принято между коллегами-учеными. Очень ловко, как бы вскользь, акцентировал его внимание на «абсолютной безвредности» этих особей. Ни у кого в Укале, похоже, не возникло подозрений на мой счет. Побрился в лесу, едва покинув факторию, чтобы к моменту возвращения подбородок успел загореть, не оставив и намека на бывшую бороду. Почти весь обратный путь, кроме одного заболоченного участка, проделал без местных проводников и носильщиков, — по счастью, я привычен к дальним переходам с рюкзаком за плечами

и хорошо ориентируюсь на местности. Свое долгое отсутствие объяснил приступом лихорадки, а также неверно выбранным маршрутом при путешествии через джунгли.

А теперь начинается самая трудная пора в психологическом плане: дожидаться известий о Муре, при этом ничем не выдавая своей заинтересованности. Правда, он может избежать укуса вскоре по получении посылки, а потом закончится срок, в течение которого мухи способны переносить инфекцию. Однако при его беспечности шансы сто к одному против него. Я не испытываю сожаления — после того, что он сделал со мной, эта кара более чем заслужена.

30 июня 1930 г. Ура! Первый этап моего плана реализован! Только что Дайсон из Колумбийского университета мимоходом упомянул в письме о получении Муром неизвестных голубокрылых мух из Африки, очень его озадачивших! Пока ни слова об укусах — но, насколько я знаю Мура с его рассеянностью и небрежностью, за этим дело не станет!

27 августа 1930 г. Письмо от Мортонa из Кембриджа. Он сообщает, что Мур писал ему о проблемах со здоровьем, а также об укусившем его в шею редком, еще не изученном насекомом из партии особей, полученных им в середине июня. Значит, удалось? Похоже, Мур не ассоциирует этот укус со своим приступом слабости. Если все так и есть, то он был ужален в период наивысшей инфекционной активности вируса.

12 сентября 1930 г. Победа! Из очередного письма от Дайсона следует, что состояние Мура заметно ухудшилось. Только сейчас он задумался о возможной связи между этой болезнью и укусом неизвестного насекомого, случившемся около полудня 19 июня. Он все еще не может классифицировать странную муху. Попытался списаться с «Невилом Уэйленд-Холлом», отправителем посылки. Насколько я понял, из сотни с лишним посланных мною особей примерно двадцать пять добрались до места назначения живыми. Несколько штук ускользнули незадолго до укуса, зато из яиц, отложенных во время путешествия, появились личинки. По словам Дайсона, он держит их под наблюдением в инкубаторе. А с появлением взрослых особей он сможет определить их как гибрид цеце и *palpalis* — но будет уже

поздно. Представляю, как он удивится: почему не передался по наследству голубой окрас крыльев?

8 ноября 1930 г. В письмах полудюжины друзей сообщается о тяжелой болезни Мура. Сегодня пришло письмо от Дайсона. Он говорит, что Мур в полнейшем недоумении относительно гибридных мух, вылупившихся из личинок, и начинает подозревать, что голубой окрас присланных по почте особей имеет искусственное происхождение. Теперь он почти не встает с постели. И ни единого слова о применении трипарсамида.

13 февраля 1931 г. Все не так уж и прекрасно. Мур продолжает угасать и явно не знает, как лечить эту болезнь, однако он, кажется, начал подозревать меня. В прошлом месяце получил очень прохладное послание от Мортон, в котором ни разу не упоминается Мур, а теперь и Дайсон написал — также с холодком, — что Мур строит разные предположения по поводу случившегося. Он попытался отыскать «Уэйленд-Холла», телеграфируя в Лондон, Укалу, Найроби, Момбасу и другие места, — и, естественно, ничего не добился. Полагаю, он рассказал Дайсону о своих подозрениях, но Дайсон еще не готов в это поверить. А вот Мортон, кажется, поверил.

На всякий случай надо быть готовым к тому, чтобы уехать отсюда и формально исчезнуть, навсегда сменив имя. Какой печальный финал карьеры, начинавшейся столь блестяще! И снова виноват Мур — но я уже рассчитался с ним авансом! Подумываю о возвращении в Южную Африку, а пока что понемногу перевожу туда денежные средства, открыв банковский счет на свое новое имя: «Фредерик Нэсмит Мейсон, Торонто, Канада, агент по продаже горного оборудования». Нужно отработать подпись для идентификации. А если в этом не будет надобности, без проблем смогу вернуть деньги на свой прежний счет.

15 августа 1931 г. Прошло еще полгода, ожидание затягивается. Дайсон и Мортон — и еще кое-кто из прежних друзей — более не поддерживают переписку. Доктор Джеймс из Сан-Франциско, иногда получающий известия о Муре через общих знакомых, написал мне, что тот почти все время находится в коме. В мае он слег окончательно и уже не поднимался. Пока мог ворочать языком, все время жаловался на озноб. Теперь он уже не говорит, но, судя по глазам, иногда приходит в сознание.

Дыхание неглубокое, частое и шумное — слышится за несколько шагов от постели. Все симптомы указывают на сонную болезнь, однако он оказался покрепче здешних негров. Болезнь прикончила Батту за три месяца и восемь дней, а Мур продержался уже больше года с момента укуса. Месяц назад прошел слух об активных розысках некоего Уэйленд-Холла в районе Укалы. Впрочем, беспокоиться мне еще рано, поскольку нет никаких улик, указывающих на мою связь с этим делом.

7 октября 1931 г. Ну вот и свершилось! Некролог в «Момбаса газетт». Мур скончался 20 сентября после нескольких конвульсивных приступов при температуре тела значительно ниже нормы. Туда ему и дорога! Я поклялся отомстить, и я это сделал! Газета посвятила три колонки описанию его долгой болезни и смерти, а также рассказу о безрезультатных поисках таинственного Уэйленд-Холла. Оказывается, Мур приобрел в Африке гораздо большую известность, чем я полагал до сих пор. Укусившее его насекомое однозначно идентифицировано по сохранившимся взрослым особям и личинкам; также установлен факт искусственного окрашивания присланных по почте экземпляров. Все сходятся во мнении, что отправка гибридных мух имела целью убийство Мура. У последнего, как выяснилось, были на сей счет определенные подозрения, которыми он поделился с Дайсоном, но тот, как и полиция, не спешит разглашать эти сведения за отсутствием достаточных доказательств. Все недруги Мура взяты на заметку, а Ассошиэйтед Пресс намекает, что «в ходе расследования могут возникнуть вопросы к одному известному медику, ныне проживающему за границей».

Одна деталь в самом конце статьи — при всем моем скептицизме касательно стряпни желтой прессы — заставила меня содрогнуться, напомнив о легендах местных негров и о загадочном поведении мухи после смерти Батты. В статье описано странное событие, случившееся в ту ночь, когда умер Генри Мур: Дайсона разбудило громкое жужжание голубокрылой мухи, которая затем вылетела в окно, а чуть погодя раздался телефонный звонок из дома Мура, расположенного в нескольких милях оттуда, в Бруклине, и сиделка сообщила о его кончине.

Впрочем, куда больше меня заботит африканская часть этой истории. Жители Укалы запомнили бородатого незнакомца, на-

печатавшего на машинке письмо и отправившего посылку; сейчас полиция прочесывает окрестности, разыскивая черных, которые могли быть его носильщиками. Я по возможности обходился без помощи туземцев, но если полицейские найдут и допросят людей из племени убанда, которые провели меня через болотистые джунгли Н'Кини, придется давать объяснения, а это нежелательно. Похоже, пришла пора исчезнуть; завтра же подам заявление об уходе с должности и начну готовиться к отъезду.

9 ноября 1931 г. Оформление моей отставки растянулось надолго, и только сегодня вопрос был решен. Уеду не сразу, чтобы не усиливать подозрения чрезмерной спешкой. На прошлой неделе получил письмо от Джеймса с рассказом о смерти Мура — никаких добавлений к тому, что я уже знаю из газет. Его нью-йоркские знакомые не склонны распространяться о подробностях, хотя все активно обсуждают ход расследования. От моих друзей на восточном побережье ни весточки. Должно быть, Мур успел заронить в них ужасные подозрения еще до того, как утратил дар речи, — но у него не было никаких доказательств.

Однако не стоит искушать судьбу. В четверг я отправляюсь в Момбасу, где сяду на пароход до Дурбана. И там исчезну бесследно — зато вскорости в Йоханнесбурге объявится Фредерик Нэсмит Мейсон, агент по продаже горного оборудования из Торонто.

На этом я заканчиваю свой дневник. Если обвинение против меня так и не будет выдвинуто, он послужит своей изначальной цели: после моей смерти поведаст миру правду о случившемся. С другой стороны, если я буду не только заподозрен, но и прямо обвинен в убийстве, он задним числом подтвердит справедливость обвинений и заодно прольет свет на многие важные детали и туманные обстоятельства этой истории. Разумеется, при угрозе преждевременного разоблачения дневник придется уничтожить.

Итак, Муру конец — получил по заслугам. Теперь пришел конец и личности доктора Томаса Слоэнуайта. А когда скончается физическое тело, прежде ему принадлежавшее, общественность сможет ознакомиться с содержанием этого дневника.

II

15 января 1932 г. Настал новый год — и мне пришлось возобновить свои записи. На сей раз делаю это единственно ради сохранения душевного равновесия, поскольку было бы абсурдно считать эту историю еще не завершенной. Я проживаю в отеле «Вааль» в Йоханнесбурге под своим новым именем, и пока еще никто не усомнился, что я тот, за кого себя выдаю. Веду пустопорожние деловые переговоры, чтобы выглядеть убедительнее в роли торгового агента, но уже подумываю заняться этим делом всерьез. Позже побываю в Торонто и добавлю несколько реальных штрихов к своей фиктивной биографии.

А из равновесия меня вывело насекомое, влетевшее в мой номер сегодня около полудня. Конечно, за последнее время я вдоволь навидался ночных кошмаров, в которых неизменно присутствовали голубые мухи, что можно объяснить нервным перенапряжением. Однако эта тварь объявилась среди бела дня, она реальна, и тут я не нахожу объяснений. Не менее четверти часа она с жужжанием крутилась перед моей книжной полкой, и все мои попытки поймать или убить ее были напрасны. Но самое поразительное — это ее внешний вид и окрас: полная копия моих голубокрылых посланцев смерти. Не понимаю, как такое возможно. Отправив посылку Муру, я уничтожил всех оставшихся — окрашенных и неокрашенных — мух и не заметил, чтобы хоть одной удалось ускользнуть.

Может, это галлюцинация? Или, может, какая-то из тварей, по неосторожности выпущенных Муром (из-за чего он и был укушен), сумела добраться от Бруклина до самой Африки? Вспомнилась абсурдная история про муху, разбудившую Дайсона сразу после кончины Мура. Хотя теоретически не исключена вероятность возвращения уцелевших особей в родные края, пусть даже на другом континенте. А продержавшийся так долго окрас их крыльев меня как раз не удивляет — я создал отличный краситель, по стойкости не уступающий татуировке. За отсутствием других рациональных объяснений придется ограничиться этим, но тогда чем вызвано появление мухи намного южнее родного ареала? Разве что сюда ее завел инстинкт, унаследованный по линии цеце. Как-никак цеце для скрещивания были присланы мне из Южной Африки.

Надо остерегаться ее укуса. Разумеется, изначальная способность к инфицированию (если это действительно одна из мух, побывавших у Мура) давным-давно иссякла, но ей в пути нужно было питаться, и где гарантии, что, пересекая Центральную Африку, она не подцепила свежую заразу? Это более чем вероятно, поскольку наследственный инстинкт по линии *palpalis* прежде всего направил бы ее в болезнетворные угандийские джунгли. У меня осталось некоторое количество трипарсамида — рука не поднялась выбросить врачебный саквояж, хоть он и может явиться уликой против меня, — однако я уже не так уверен в эффективности этого средства, кое-что почитав о нем в медицинских журналах. Оно дает больному шанс на излечение — и Гамбе повезло, — но отнюдь не гарантирует успех.

Дьявольски странно, что муха залетела в мой номер, выбрав именно это место на огромных просторах Африки! Крайне трудно поверить в то, что это всего лишь совпадение. Если муха objavится снова, я ее прикончу. Непонятно, как она уцелела сегодня, — прежде я без проблем прихлопывал этих глупых тварей. Или она мне просто померещилась? Должно быть, сказывается жара — даже в Уганде я переносил ее не так тяжело, как здесь.

16 января. Не схожу ли я с ума? Сегодня в полдень опять появилась муха и вела себя так неординарно, что я был совершенно сбит с толку. Только временным помрачением сознания можно объяснить мое восприятие действий этой жужжащей заразы. Она возникла словно ниоткуда, сразу подлетела к книжной полке и начала виться перед опусом Мура «Двукрылые Центральной и Южной Африки». Раз за разом она присаживалась на корешок или верхний обрез книги, после чего устремлялась ко мне и, ускользнув от удара свернутой газетой, снова возвращалась к полке. Никак не ожидал такой прыти от обычно бестолковых африканских мух. С полчаса я гонялся за проклятой тварью, а затем она вылетела в окно через дырочку в москитной сетке, ранее мною не замеченную. Временами казалось, что она меня дразнит, намеренно подставляясь под удар, чтобы в последний миг ловко увильнуть. Надо будет внимательнее следить за своим психическим состоянием.

17 января. Или я теряю рассудок, или в этом мире вдруг перестали действовать законы вероятности в том виде, как мы их

себе представляли. Перед полуднем все та же чертова муха вновь появилась в моем номере и возобновила свои маневры перед книгой Мура. Как и вчера, мои попытки убить ее не увенчались успехом. В конце концов эта дрянь подлетела к открытой чернильнице на моем рабочем столе и окунулась в чернила — не целиком, а только лапками и грудью, оставив крылья чистыми. Далее она поднялась, села на потолок и поползла, оставляя за собой изогнутый чернильный след, а под конец сделала небольшой перелет и поставила точку отдельно от остальной линии. Затем она с жужжанием спикировала к моему лицу и исчезла из виду прежде, чем я успел нанести удар газетой.

В ее действиях ощущалась какая-то чудовищная противостественность, не поддающаяся здравому осмыслению. Но чем дольше я вглядывался в чернильный след под разными углами, тем больше он казался мне знакомым, и наконец меня осенило: это же был совершенно четкий вопросительный знак! Можно ли было вообразить что-то более зловеще-многозначительное? Удивительно, что я тогда не упал в обморок. Прислуга отеля его пока не заметила. Остаток этого дня и вечер прошли спокойно — муха больше не появлялась, но я на всякий случай держу чернильницу плотно закрытой. Думаю, уничтожение Мура сильно отразилось на моей психике, став причиной болезненных галлюцинаций. Быть может, никакой мухи в реальности не существует.

18 января. Что за адский кошмар наяву меня преследует? Случившемуся сегодня не должно быть места в нормальном, разумном мире — *однако служащий отеля также видел знаки на потолке и подтвердил, что они существуют на самом деле.* Сегодня около одиннадцати часов утра, когда я писал, сидя за столом, что-то пулей метнулось к чернильнице и спустя секунду взлетело вверх. Все произошло очень быстро, и я не успел разглядеть, что это было. Но, подняв глаза к потолку, я увидел проклятую муху, вытворяющую то же, что и в прошлый раз: она ползла, оставляя за собой причудливо изгибающийся след. Достать ее там я не мог и потому, свернув газету, стал ждать, когда она окажется в пределах досягаемости. Между тем она завершила свой путь по потолку и шмыгнула в темный угол, а я уставился на повторно изгаженную побелку — новый черниль-

ный след представлял собой большую, легко распознаваемую цифру 5!

Я едва не лишился чувств, испытав прилив безотчетного страха. Но быстро взял себя в руки и решил предпринять ответные меры. В ближайшей аптеке приобрел все необходимое для изготовления липкой ловушки. По возвращении в номер наполнил новую чернильницу клейкой смесью и подменил ею старую, оставив крышку снятой. Потом заставил себя сесть и уткнуться в книгу. Около трех часов вновь послышалось противное жужжание, и я увидел муху, кружащую над новой чернильницей. Несколько раз она близко подлетала к липкой поверхности, но так до нее и не дотронулась, а затем устремилась прямо на меня — и я в который раз промахнулся. А муха отлетела к полке и стала выписывать пируэты перед трактатом Мура. В ее подчеркнутом интересе к этой книге содержится какой-то дьявольский намек.

Но худшее было еще впереди. Покинув наконец книжную полку, муха переместилась к окну и принялась ритмично биться о проволочную сетку. После каждой серии ударов она выдерживала паузу и затем в точности их повторяла. Озадаченный таким поведением, я минуту-другую не мог сдвинуться с места, но потом устремился к окну, чтобы прибить мерзкую тварь. И вновь меня постигла неудача. А муха перелетела к лампе и начала выстукивать все ту же дробь по ее жесткому картонному абажуру. Отчаявшись до нее добраться, я обошел по кругу комнату, плотно закрыв все двери и одно из окон, в москитной сетке которого ранее обнаружилась прореха. Нужно уничтожить назойливую гадину, пока она не довела меня до умопомешательства. И тут, бессознательно ведя счет, я вдруг понял, что эти повторяющиеся серии состояли из *пяти* ударов каждая.

Пять — именно эту цифру муха ранее изобразила на потолке! Есть ли тут логическая связь? Эта мысль казалась безумной, так как она предполагала наличие интеллекта и умение вести счет у какой-то гибридной мухи. Поверив в такое, разве не опускаюсь я до уровня угандийских негров с их примитивными легендами? Однако же муха, которую мне никак не удастся убить, выказывает дьявольскую изворотливость, совершенно не свойственную этому виду. Когда я выпустил из руки газету и сел,

охваченный все возрастающим ужасом, муха взвилась под потолок и покинула комнату через щель в том месте, где труба от батареи отопления поднимается в номер этажом выше.

Ее исчезновение меня не успокоило — в голове уже выстраивалась цепочка дичайших, пугающих предположений. Если муха обладает разумом, то как она его заполучила? Что, если в туземных сказках о мухе-дьяволе, завладевающей сознанием умерщвленного ею человека, есть доля правды? И чье конкретно сознание могло переместиться в данную муху? По всему выходило, что это одна из тех особей, которые вырвались на свободу в то время, когда был ужален Мур. *Может, эта муха и есть «посланец смерти», его ужаливший? А если так, что ей нужно от меня?* Чего добивается эта тварь? Обливаясь холодным потом, я вспомнил, как странно вела себя ужалившая Батту муха сразу после его смерти. Может, в муху действительно вселилась душа ее жертвы? И еще вспомнилась растиражированная газетами история о необычном насекомом, разбудившем Дайсона после смерти Мура. Что касается мухи, преследующей меня, — возможно ли, чтобы ее действиями управлял человеческий разум, жаждущий мести? Как она крутилась перед книгой Мура! Я постарался прогнать эту мысль, но ее тотчас сменила другая: у меня вдруг возникла уверенность в том, что тварь является переносчиком инфекции, причем самой что ни на есть опасной. Учитывая зловещую целенаправленность ее действий, казалось вполне логичным, что она по пути сюда намеренно подцепила наиболее смертоносные бациллы во всей Африке... Вот до какой степени помутился мой разум: я уже, как нечто само собой разумеющееся, приписывал мухе способность к логическому мышлению.

Я позвонил администратору отеля и попросил прислать человека для заделки отверстия рядом с трубой отопления, а также всех прочих щелей в моем номере. Сослался на досаждающих мне мух, что было воспринято с пониманием и сочувствием. Когда пришел рабочий, я обратил его внимание на потолок, и он сразу увидел чернильные линии. Стало быть, они реальны! Их сходство с вопросительным знаком и цифрой 5 настолько его озадачило, что он долго не мог отвести взгляд, словно за-

вороженный. В конце концов он заделал все щели, какие смог отыскать, и починил проволочную сетку, так что теперь я могу держать открытыми оба окна. Похоже, он счел меня ненормальным и еще больше укрепился в своем мнении, не обнаружив в номере ни единой мухи. Впрочем, его мнение меня нисколько не волнует. Сейчас вечер, муха пока не появлялась. Одному богу ведомо, что это за тварь, чего она хочет и чем все это обернется для меня!

19 января. Я в полном ужасе! *Тварь ко мне прикоснулась!* Нечто жуткое происходит вокруг меня, тогда как мне самому в этом действе отводится роль беспомощной жертвы. Утром, когда я вернулся к себе после завтрака, крылатая мерзость ворвалась в номер, прошмыгнув у меня над головой, и начала ритмично биться о москитную сетку, как это было вчера. Только на сей раз каждая серия состояла из *четырёх* ударов. Я бросился к окну, но все напрасно — она вновь ускользнула и, подлетев к полке, принялась с издевательским жужжанием кружить над книгой Мура. Возможности ее звукового аппарата ограничены, но все же я уловил в этом жужжании повторяющиеся серии из четырех коротких звуков.

К тому моменту я был уже практически невменяем — чем иначе объяснить мой крик, обращенный к мухе: «Мур, Мур, бога ради, что тебе нужно?» И как только я это прокричал, тварь внезапно прекратила жужжание и, подлетев ко мне, исполнила в воздухе плавный глубокий нырок, что можно было расценить как поклон, после чего вернулась к той же книге. По крайней мере, так я это увидел, но доверять своим органам чувств я уже не могу.

А потом случилось самое страшное. Я намеренно оставил дверь номера запахнутой — в надежде, что муха вылетит вон, если только я раньше ее не прикончу. Примерно в половине двенадцатого я решил, что она улетела, затворил дверь, взял книгу и погрузился в чтение. А ровно в полдень я почувствовал, как что-то щекочет мне шею ниже затылка. Дотронулся до этого места, но ничего там не обнаружил. Спустя мгновение щекотка повторилась, и не успел я пошевелиться, как адское отродье появилось у меня из-за спины и повторило свой издевательский

нырок-поклон в воздухе. После этого муха покинула номер через замочную скважину — до того мне и в голову не приходило, что она сможет пролезть в столь крошечное отверстие.

В том, что она ко мне прикоснулась, сомнений не было. Дважды садилась мне на шею, однако не укусила. Внезапно я, холодея от ужаса, вспомнил, что именно так — *сзади в шею, около полудня* — был ужален Мур. До конца этого дня муха больше не появлялась, но я принял меры предосторожности: заткнул клочком бумаги замочную скважину и приготовил свернутую газету, чтобы пустить ее в ход, если замечу муху при открывании двери.

20 января. Я все еще отказываюсь верить в сверхъестественные вещи, но при всем том меня не покидает гибельное предчувствие. Боюсь, мне с этой напастью не справиться. Сегодня перед полуднем муха-дьявол возникла с внешней стороны окна и повторила свой фокус — только теперь она отсчитывала по *три* удара. Когда я приблизился к окну, она улетела. Но я не намерен сдаваться, посему предпринял еще одну попытку. Снял с окон москитные сетки и с обеих сторон намазал их клейким составом — тем самым, который использовал в чернильнице-ловушке, — а затем вернул сетки на место. Как только эта тварь попробует вновь по ним постучать, тут ей и конец!

Остаток дня прошел спокойно. Смогу ли я вынести все это и не сойти с ума?

21 января. Пишу в поезде на пути в Блумфонтейн.

Полный провал. Гнусная тварь берет верх. Она дьявольски хитра, и все мои уловки не срабатывают. Этим утром она появилась снаружи окна, но *не прикоснулась к сетке*. Вместо этого она стала описывать круги перед окном — *по два круга подряд*, перемежаемые зависаниями в воздухе. Прodelав это несколько раз, она улетела вдаль над городскими крышами. Нервы мои на пределе, ибо убывающие числа в этих ее действиях можно истолковать в самом зловещем смысле. В понедельник было «пять», во вторник — «четыре», в среду — «три», а сегодня — «два». Пять, четыре, три, два — что это, как не *обратный отсчет дней*, чудовищный и неумолимый? Цель его может быть ведома разве что вселенским темным силам. Накануне я потратил полдня

на сборы, и сейчас еду ночным экспрессом в Блумфонтейн. Возможно, бегство окажется бесполезным, но что еще я могу сделать?

22 января. По приезде в Блумфонтейн поселился в отеле «Оранж» — в отличном, удобном номере, — но страх преследует меня и здесь. Я закрыл все двери и окна, заткнул все замочные скважины, проверил, нет ли где щелей, и напоследок опустил шторы — но за минуту до полудня услышал глухой стук в одну из оконных сеток. Я подождал — после долгой паузы стук повторился. Снова долгая пауза, а затем одиночный стук. Подняв штору, я увидел все ту же проклятую муху. Она медленно описала в воздухе широкий круг и потом исчезла из виду. Едва держась на ватных ногах, я отошел от окна и прилег на диван. Один день! Несомненно, таков был смысл послания. Одиночный стук, один круг. Значило ли это, что у меня остался только один день до невообразимого, рокового конца? Что мне делать: вновь спастись бегством или держать осаду здесь, наглухо закупорив помещение?

Отдохнув около часа, я немного приободрился и перешел к активным действиям. Заказал по телефону большое количество консервов и других продуктов в герметичной упаковке, а также дополнительное постельное белье и полотенца. Завтра ни при каких обстоятельствах ни на щелочку не приоткрою дверь или окно. Черный слуга доставил провизию и белье, взглянув на меня с любопытством, но мне уже нет дела до того, насколько странным — или даже безумным — я выгляжу в чьих-либо глазах. Мне грозит нечто более страшное, чем насмешки окружающих. После получения припасов я обследовал каждый миллиметр стен и заткнул каждую микроскопическую щелочку, какую сумел найти. Только после этого я почувствовал себя в состоянии заснуть.

[Дальнейший текст написан неровным, торопливым и все менее разборчивым почерком]

23 января. Близится полдень, и я понимаю, что вот-вот должно произойти что-то ужасное. Выспаться как следует не удалось, притом что и предыдущую ночь в поезде я провел почти без сна. Встал очень рано и пытался занять себя чем-нибудь —

чением или письмом, — но не мог сосредоточиться. Этот неторопливый, навязчивый отсчет дней вымотал мне все нервы. Уже и не знаю, кто обезумел — я или сама природа. До одиннадцати часов убивал время, бесцельно расхаживая по комнате.

Затем послышался слабый звук в груди пакетов с доставленной вчера провизией, и оттуда — у меня на глазах — вылезла муха-дьявол. Я схватил что-то плоское и, преодолевая панический страх, попытался ее прихлопнуть, но с тем же успехом, что и прежде. Как только я придвинулся, подлая тварь перелетела к столу, где лежали стопкой мои книги, и пару секунд посидела на «Двукрылых» Мура. Я устремился туда, но она уже перебралась на каминные часы, опустившись на циферблат рядом с цифрой 12. Пока я раздумывал, что бы такое предпринять, она медленно и демонстративно поползла по периметру циферблата. Миновала минутную стрелку, затем часовую и вновь добралась до цифры 12. Тут она остановилась и зажужжала, треща крылышками.

Это что, намек? Я становлюсь таким же суеверным, как черные. Сейчас на часах начало двенадцатого. А ровно в двенадцать что — конец? Погружаясь в бездну отчаяния, я вдруг вспомнил об еще одном, последнем средстве. И почему эта мысль не пришла мне в голову раньше? В моем саквояже есть вещества, необходимые для получения газообразного хлора. Если наполнить комнату этим ядовитым газом, он умертвит муху, тогда как сам я могу спастись, обвязав лицо платком, смоченным в аммиаке. К счастью, аммиак у меня имеется в немалом количестве. Эта примитивная маска сможет нейтрализовать едкие пары хлора, а насекомое меж тем погибнет — или, по крайней мере, ослабнет настолько, что не сумеет от меня увернуться. Но действовать нужно быстро. Вдруг эта тварь попытается ужалить меня прежде, чем я закончу приготовления? Пока прерываю записи, чтобы не отвлекаться.

Чуть позже. Оба вещества — соляная кислота и диоксид марганца — на моем столе, готовые к применению. Я обвязал нос и рот носовым платком и держу под рукой бутылку с раствором аммиака, чтобы смачивать им повязку, пока не выветрится хлор. Оба окна плотно закрыты. Однако мне не нравится поведение гибридного демона. До сих пор муха сидела на каминных

часах, а теперь начала медленно ползти по циферблату навстречу минутной стрелке.

Возможно, это моя последняя запись в дневнике. Нет смысла и далее обманывать себя. Нередко самые невероятные и фантастические легенды таят в себе зерно истины. Возможно ли, что это сам Генри Мур в облиции голубокрылого дьявола явился по мою душу? Возможно ли, что передо мной та самая муха, которая его ужалила и в которую переселилось сознание Мура после его смерти? Если это правда, что случится после того, как она ужалит меня? Придет ли мой разум на смену разуму Генри Мура внутри этой жужжащей твари, когда я умру от последствий укуса? Впрочем, смерть моя отнюдь не предрешена даже в случае укуса — ведь у меня сохранился трипарсамид. И я ни о чем не жалею. Мур должен был умереть, и он умер, а дальше — будь что будет.

Еще чуть позже. Муха замерла на циферблате против отметки, подразумевающей без четверти одиннадцать. Сейчас половина одиннадцатого. Я пропитал самодельную маску аммиаком и оставил бутылку рядом на столе, чтобы воспользоваться ею повторно. Это будет моя последняя запись перед тем, как я смешаю кислоту с двуокисью марганца для получения хлора. Время на исходе, но я тяну до последнего, заканчивая свой отчет. Не будь этого дневника, я бы уже давно потерял рассудок. Похоже, муха зашевелилась, проявляя нетерпение, — минутная стрелка подошла к ней почти вплотную. Теперь дело за хлором...

[Конец дневника]

В воскресенье, 24 января 1932 года, после того как обитатель номера 303 в отеле «Оранж» никак не среагировал на долгий стук, коридорный-негр открыл дверь запасным ключом и сразу же с воплями кинулся вниз, чтобы сообщить об увиденном администратору. Последний вызвал полицию, а также владельца отеля, который поднялся в роковую комнату вместе с констеблем де Виттом, коронером Богертом и доктором ван Кёленом.

Постоялец был мертв: он лежал навзничь на полу, а нижнюю часть его лица закрывал носовой платок, судя по резкому запаху, пропитанный аммиаком. Ткань плотно прилегала к коже, и под ней угадывались черты, искаженные гримасой предельного

ужаса, который подспудно передался и вошедшим. Сзади на шее мертвеца доктор ван Кёлен обнаружил след от укуса — густо-красный с фиолетовым ободком, — оставленный, вероятно, мухой цеце или ей подобным опасным насекомым. Первичный осмотр тела показал, что смерть наступила, скорее всего, в результате остановки сердца, а не вследствие укуса — хотя сделанное позднее вскрытие установило наличие в организме возбудителей сонной болезни.

На столе были обнаружены следующие предметы: тетрадь в истертой кожаной обложке (содержащая вышеприведенные записи), ручка, стопка бумаги, открытая чернильница, врачебный саквояж с золотыми инициалами «Т. С.», флаконы с аммиаком и соляной кислотой, а также стакан, на четверть заполненный порошком диоксида марганца. Емкость с раствором аммиака потребовала более пристального изучения, так как в ней присутствовало еще что-то, помимо жидкости. Приглядевшись, коронер Богерт определил, что этим посторонним предметом была муха.

Судя по внешним признакам, насекомое это являлось каким-то гибридом, имевшим отдаленное сходство с цеце, однако голубой окрас крыльев, сохранившийся даже в крепком аммиачном растворе, объяснению не поддавался. Впрочем, эти крылья пробудили у доктора ван Кёлена смутное воспоминание об одной газетной статье, и его догадка подтвердилась чуть погодя, при чтении дневника. Лапки и грудь насекомого были покрыты чем-то похожим на чернила, причем так основательно, что не отмылись и в аммиаке. По-видимому, муха перед тем побывала в чернильнице и сумела оттуда выбраться, благо крылья ее не намокли. Но как ее угораздило провалиться в узкое горлышко бутылки с аммиаком? Можно было подумать, что она намеренно заползла туда с целью самоубийства!

Однако самая загадочная из всех находок в этой комнате была сделана констеблем де Виттом, когда он поднял взгляд к белому гладкому потолку. Услышав его крик, остальные трое также посмотрели в ту сторону, даже доктор ван Кёлен, который в последние минуты не мог оторваться от тетради в кожаной обложке, бегло просматривая страницы со смесью ужаса, изумления и недоверия на лице. Находка представляла собой мно-

жество черных линий — неровных, изгибающихся и пересекающихся, как будто их оставило, ползая по потолку, измазанное в чернилах насекомое. Все сразу же подумали о странной мухе, обнаруженной в бутылки с аммиаком.

Но это были не просто чернильные следы. Даже случайно брошенный взгляд улавливал в них нечто подозрительно знакомое, а при более внимательном рассмотрении четверо мужчин оторопело разинули рты. Коронер Богерт, следуя профессиональному рефлексу, тотчас окинул взглядом помещение в поисках какого-нибудь удлиненного предмета или нагромождения мебели, с помощью которых человек мог бы оставить на потолке эту надпись. Ничего подобного не обнаружив, он снова устоялся вверх.

Сомнений быть не могло: чернильные мазки образовывали буквы английского алфавита, а из этих букв выстраивались слова. Доктор первым разобрал надпись, и другие мужчины, затаив дыхание, выслушали текст невероятного послания, начертанного там, куда не могла дотянуться рука человека:

СМОТРИТЕ МОЙ ДНЕВНИК — ТВАРЬ МЕНЯ ОПЕРЕДИЛА — Я УМЕР — ПОТОМ ОКАЗАЛСЯ ВНУТРИ НЕЕ — ЧЕРНЫЕ БЫЛИ ПРАВЫ — ТАЙНЫЕ СИЛЫ ПРИРОДЫ — ТЕПЕРЬ ОСТАЛОСЬ УТОПИТЬ ТО, ЧЕМ Я СТАЛ

Вслед за тем при пораженном молчании слушателей доктор ван Кёлен прочел вслух записи из дневника в истертой кожаной обложке.

ВНЕ ВРЕМЕН

(с Зелией Бишоп)

(Рукопись, найденная среди вещей покойного Ричарда Г. Джонсона, доктора философии, хранителя Археологического музея Кабота в Бостоне, штат Массачусетс)

I

Не думаю, что из памяти бостонцев — а равно и всех осведомленных читателей, где бы те ни проживали, — когда-нибудь изглядятся поразительные события, эпицентром коих стал Музей Кабота. Газетная шумиха по поводу дьявольской мумии и связанных с ней древних зловещих преданий, всплеск нездорового интереса к запретным культам и резкая активизация их приверженцев в 1932 году, а также невообразимая участь, постигшая двух чужаков в здании музея 1 декабря того же года, — все это способствовало формированию одной из классических страшных историй, которые становятся частью фольклора и передаются следующим поколениям, обрастая все новыми душевраздирающими подробностями.

В то же время любой вдумчивый человек мог заметить, что официальные отчеты об этом деле намеренно обходят стороной нечто исключительно важное и неизъяснимо ужасное, составляющее самую его суть. Уж очень поспешно были отвергнуты или проигнорированы тревожные намеки свидетелей на *состояние* одного из тел, а также на необычайные *перемены* в облике мумии, что при иных обстоятельствах вызвало бы волну жарких дебатов в прессе. Многих озадачил и тот факт, что мумия впоследствии уже не выставлялась на обозрение публики. В наши дни, когда таксидермия способна творить чудеса, ссылки на

прогрессирующее разрушение тканей выглядят крайне неубедительными.

Как хранитель музея, я мог бы раскрыть публике всю правду о случившемся, но не намерен этого делать, пока я жив. В нашем мире и в бесконечной вселенной существуют тайны, которые лучше не знать большинству людей; и в этом мнении сходимся все мы — персонал музея, врачи, репортеры и полицейские, ставшие свидетелями и участниками тех событий. С другой стороны, нельзя допустить, чтобы информация, имеющая громадную научную и историческую ценность, так и осталась недокументированной. Вот почему я составил данный отчет, адресуемый узкому кругу ученых и специалистов. Я помещу его среди прочих текстов, предназначенных к прочтению после моей смерти, и надеюсь, что душеприказчики распорядятся им с разумной осторожностью. Череда очень странных происшествий, случившихся в последние недели, заставляет думать, что мне — как и другим музейным сотрудникам — грозит опасность со стороны многочисленных приверженцев целого ряда тайных культов азиатского, полинезийского и еще неведомого происхождения. Так что мои душеприказчики, возможно, приступят к исполнению скорбных обязанностей уже в ближайшее время. *[Примечание душеприказчика. Доктор Джонсон умер от внезапного сердечного приступа при весьма подозрительных обстоятельствах 22 апреля 1933 года. Уэнтворт Мур, таксидермист музея, бесследно исчез примерно месяцем ранее. Доктор Уильям Майнот, проводивший вскрытие в связи с этим делом, 18 февраля того же года получил удар ножом в спину и скончался на следующий день.]*

Начало этому кошмару было положено в 1879 году (задолго до моего вступления в должность хранителя), когда музей приобрел у Восточной паровой компании эту загадочную мумию. Мрачна и таинственна уже сама история ее обнаружения среди руин неведомой древней цивилизации на клочке суши, внезапно поднявшемся со дна Тихого океана.

11 мая 1878 года Чарльз Уэзерби, капитан грузового судна «Эридан», державшего курс из новозеландского Веллингтона в чилийский порт Вальпараисо, увидел на горизонте остров — судя по всему, вулканического происхождения, — не указанный

ни на одной карте. Остров имел форму усеченного конуса, круто поднимавшегося из воды. Группа матросов во главе с Уэзерби предприняла высадку и поднялась по скалистому склону, повсюду отмечая признаки длительного пребывания острова под водой. На вершине они обнаружили недавние разрушения, вероятно вызванные тектоническими процессами. Тут и там попадались камни с явными следами искусственной обработки, а еще через некоторое время моряки добрались до развалин монументальной стены, по типу кладки похожей на мегалитические сооружения, найденные на некоторых тихоокеанских островах и до сих пор остающиеся загадкой для археологов.

Продвигаясь далее, они вступили под массивный каменный свод (вероятно, некогда находившийся в подземелье грандиозного архитектурного комплекса) и в дальнем углу наткнулись на скрюченную, донельзя уродливую мумию. В тот же миг у моряков случился приступ паники, отчасти спровоцированной видом чудовищных резных изображений на стенах зала, но они быстро оправились и по приказу капитана доставили мумию на судно, хотя каждое прикосновение к ней вызывало у носильщиков необъяснимый страх и отвращение. Рядом с телом, вероятно выпав из его истлевших одежд, валялся цилиндрический футляр из неизвестного металла, содержавший свиток бледно-голубой пленки с какими-то знаками, нанесенными серым красителем. В полу посреди зала были выявлены контуры огромного люка, накрытого тяжелой каменной плитой, поднять которую они не смогли за отсутствием подходящих приспособлений.

Руководство незадолго перед тем основанного Музея Каботта узнало об этом открытии из не очень вразумительных газетных сообщений и тотчас предприняло шаги по приобретению мумии, а также металлического цилиндра и свитка. Мистер Пикман, тогдашний хранитель музея, лично отправился в Вальпараисо, где снарядил шхуну для плавания к острову, намереваясь обследовать древние руины. Однако его экспедиция потерпела фиаско: в районе с указанными координатами не было ничего, только бескрайний морской простор. Очевидно, те же самые сейсмические силы, которые вознесли остров над поверхностью моря, впоследствии опустили его обратно в темные глубины,

где он покоился с незапамятных времен. Так что тайна каменного люка осталась неразгаданной. Однако цилиндр и мумия сохранились — последняя была выставлена на всеобщее обозрение в составе музейной экспозиции в первых числах ноября 1879 года.

Следует отметить, что Археологический музей Кабота специализируется на реликтах древних и забытых цивилизаций, не обладающих высокой художественной ценностью в общепринятом понимании. Он невелик и малоизвестен среди широкой публики, однако пользуется заслуженным авторитетом в научных кругах. Музей расположен на Маунт-Вернон-стрит в Бикон-хилле, респектабельном районе Бостона, и занимает бывший частный особняк с флигелем во дворе. Это красивое здание являлось предметом гордости окрестных жителей, пока не обрело дурную славу после недавних ужасных событий.

Коллекция мумий размещена на втором этаже западного крыла особняка (построенного в 1819 году по проекту архитектора Булфинча) и справедливо расценивается историками и антропологами как лучшее собрание подобного рода в Америке. Здесь можно увидеть типичные образцы египетского искусства бальзамирования — от древнейших мумий из некрополя Саккары до самых поздних (восьмого века нашей эры) попыток коптов бальзамировать усопших. Представлены и мумии, относящиеся к другим цивилизациям, включая первобытные образцы, недавно обнаруженные в индейских захоронениях на Алеутских островах. Кроме того, посетители могут увидеть застывшие в предсмертной агонии фигуры из Помпеев, полученные путем заполнения гипсом трагических пустот в толще вулканического пепла, а также примеры естественной мумификации: тела, найденные в старых шахтах или при раскопках в разных частях света, — иные в гротескных позах, вызванных ужасом и физическими страданиями в момент, когда их настигла смерть. Словом, здесь есть все, что только можно ожидать от подобных экспозиций. Конечно, в 1879 году она не отличалась таким разнообразием, как в настоящее время, но уже тогда представляла немалый интерес для ученых и знатоков. А главной достопримечательностью — и главной загадкой — музея стала та самая мумия из циклопического, невероятной древности скле-

па на эфемерном острове, лишь ненадолго возникшем из океанских глубин.

Мумифицированное тело принадлежало мужчине среднего роста, представителю какой-то неизвестной расы, который замер в согнутом положении, частично прикрывая лицо клешнеобразными ладонями. Лицо это — сильно усохшее, с выдвинутой далеко вперед нижней челюстью — сохранило выражение такого беспредельного ужаса, что мало кто из посетителей мог смотреть на него без содрогания. Глаза были закрыты, а под веками угадывались большие выпуклые глазные яблоки. На черепе и подбородке сохранились клочки волос того же неопределенно-серого цвета, что и вся мумия в целом. Структура тканей — отчасти кожистая, отчасти окаменелая — поставила в тупик экспертов, пытавшихся определить способ мумификации. Отдельные участки тела повредились под воздействием времени и стихий. От одеяния уцелели только прилипшие к телу кусочки материи со следами каких-то диковинных узоров.

Трудно сказать, что именно в этой мумии порождало в душах людей безотчетный страх и непреодолимое отвращение. От нее веяло какой-то запредельной древностью и абсолютной чужеродностью — это было сродни чувству, которое можно испытать, стоя на самом краю чудовищной, крошечной темной бездны. Но еще более сильный эффект производила гримаса безумного страха, перекосившая это сморщенное, уродливо вытянутое и полускрытое поднятыми клешнями лицо. Такая концентрация нечеловеческого, космического ужаса не могла не отражаться на эмоциональном состоянии зрителя, что усугублялось общей таинственно-тревожной атмосферой, сопутствующей всякой неразгаданной тайне.

Очень скоро немногие постоянные посетители музея начали выделять этот реликт неведомого мира из всех прочих экспонатов, относясь к нему со своеобразной смесью страха и почтения; однако музейные традиции замкнутости и отрешенности от окружающего мира предотвратили возникновение сенсационного ажиотажа, подобного истории с «Кардиффским гигантом». В прошлом столетии люди науки еще не были заражены стремлением к дешевой саморекламе в такой степени, как это имеет место сейчас. Разумеется, всевозможные эксперты и специали-

сты приложили максимум усилий к тому, чтобы классифицировать уникальный экспонат, однако никто из них в этом не преуспел. Зато их исследования поспособствовали популяризации разных теорий о давно исчезнувшей тихоокеанской цивилизации, останками которой могли быть каменные статуи острова Пасхи, мегалиты Понапе и Нан-Мадола. Научные журналы в ту пору пестрели статьями о якобы ушедшем под воду древнем континенте, чьи горные вершины сохранились в виде островов Меланезии и Полинезии. Разброс в датировках существования и гибели гипотетической цивилизации — или континента — в равной мере потрясал и забавлял читателей, а между тем в мифологии Таити и ряда других островов обнаружились мотивы, неожиданным образом подкрепляющие эти умозрительные построения.

Ученые не обделили вниманием и два других артефакта — цилиндрический футляр и свиток с непонятными иероглифами, — помещенных на хранение в библиотеку музея. Их связь с мумией сомнений не вызывала; более того, все были убеждены, что расшифровка древнего текста поможет разгадать и тайну мумии. Цилиндр (около четырех дюймов в длину и чуть меньше дюйма в диаметре) был изготовлен из неизвестного, радужного переливающегося металла, который совершенно не поддавался химическому анализу и воздействию каких бы то ни было реагентов. Он закрывался плотно подогнанной крышкой из того же материала и был испещрен узорами, возможно имевшими не только декоративное, но и символическое значение: сочетания линий и фигур как будто следовали законам иной, парадоксальной геометрии, разрушая привычные нормы восприятия.

Не менее загадочным было и содержимое этого футляра: акkuratный свиток очень тонкой голубоватой пленки неустановленного происхождения, намотанной на стержень из того же металла, что и цилиндр. В развернутом виде свиток достигал в длину примерно двух футов. По его центру, с большими отступами от краев, располагались крупные четкие иероглифы, нанесенные серой краской, состав которой определить не удалось. Эти знаки не походили ни на одну письменность, известную лингвистам и палеографам, — идентифицировать их не смогли

крупнейшие эксперты в данной области, каждому из которых была отправлена фотокопия свитка.

Правда, некоторые специалисты, не чуравшиеся чтения трудов по оккультизму и магии, отметили определенное сходство между этими иероглифами и древними символами, упоминаемыми в двух-трех старинных эзотерических трактатах — вроде «Книги Эйбона», предположительно написанной в легендарной Гиперборее, «Пнакотических рукописей», якобы восходящих к дочеловеческим временам, или нечестивого «Некрономикона», сочиненного безумным арабом Абдулом Альхазредом. Однако эти сопоставления не показались их коллегам убедительными. А поскольку мистические штудии отнюдь не в почете у серьезных ученых, они не сочли нужным консультироваться с какими-то там оккультистами. Будь это сделано тогда же, события могли бы принять совершенно другой оборот — ведь любому человеку, читавшему жуткий опус фон Юнцта «Неименуемые культы», хватило бы одного взгляда на эти иероглифы, чтобы провести аналогию. Но в ту пору лишь очень немногие были знакомы с содержанием этой книги, ибо ее оригинальное дюссельдорфское издание (1839) и английский перевод Брайдуэлла (1845) оказались под запретом сразу после выхода в свет, а следующая (причем сильно купированная) публикация появилась в издательстве «Голден Гоблин» только в 1909 году. Таким образом, никто из оккультистов или знатоков древних эзотерических преданий не имел возможности изучить свиток вплоть до недавнего времени, когда пресса раздула из всего этого сенсацию, тем самым приблизив трагическую развязку данной истории.

II

В течение примерно полувека после прибытия мумии в музей ситуация вокруг нее оставалась почти неизменной. Загадочный экспонат пользовался определенной популярностью среди просвещенной бостонской публики, но не более того; а что до цилиндра и свитка, то после десяти лет безрезультатных исследований их упрятали в хранилище и фактически предали забвению. Музей Кабота слыл учреждением академическим и кон-

сервативным, так что ни одному репортеру или очеркисту не приходило в голову потревожить его спокойное, размеренное существование в поисках «горячих сюжетов».

Всему этому пришел конец весной 1931 года, когда пресса заинтересовалась музеем в связи с пополнением его коллекции несколькими очень странными предметами и неразложившимися телами, которые были найдены в склепах под руинами мрачно-легендарного замка Фоссесфламм во французской провинции Аверуань. Газета «Бостон пиллар», с характерной для нее хваткой и напористостью, тотчас направила в музей ведущего своей воскресной колонки с заданием описать эти раритеты, а заодно — по возможности увлекательно — и всю коллекцию в целом. Случилось так, что сей молодой человек (его звали Стюарт Рейнольдс), наткнувшись при беглом осмотре залов на столь необычную мумию, узрел шанс на сенсацию, далеко превосходящую размахом недавние находки, ради которых он сюда прибыл. Его энтузиазм по поводу мумии с исчезнувшего острова подогревался еще и тем, что Рейнольдс имел некоторое представление о теософии, а на досуге любил полистать труды таких авторов, как полковник Черчуорд и Льюис Спенс, посвященные древним континентам и забытым цивилизациям.

Суетливый репортер изрядно помучил работников музея, забрасывая их бесчисленными, по большей части дурацкими, вопросами и докучая просьбами передвинуть то один, то другой из находившихся поблизости экспонатов, чтобы сфотографировать мумию с разных ракурсов. Далее он отправился в библиотеку, расположенную в полуподвальном этаже музея, где очень долго с глубокомысленным видом разглядывал металлический цилиндр и свиток, а потом сделал множество снимков, поставившись запечатлеть иероглифический текст во всех деталях. Кроме того, он попросил у библиотекаря все книги, имеющие отношение к первобытным культурам и затонувшим континентам, и добрых три часа листал их, делая выписки. А из музея он напрямик помчался в Кембридж с намерением взглянуть (если будет позволено) на хранящийся в библиотеке Уайденера экземпляр кощунственного, запретного «Некрономикона».

5 апреля в воскресном выпуске «Бостон пиллар» появилась большая статья, снабженная снимками мумии, цилиндра и свит-

ка. Примитивный язык и дурашливо-инфантильный стиль изложения были ориентированы на интеллектуально незрелую читательскую аудиторию данной газеты. Подавая информацию в сенсационном ключе, с передержками и преувеличениями, автор имел целью хоть ненадолго привлечь внимание бездумного обывателя. И эта цель была достигнута — еще недавно тихий заштатный музей разом наполнился толпами галдящих зевак, чего здесь не бывало никогда прежде.

Впрочем, среди посетителей попадались и весьма образованные, культурные люди — ведь и таковые могут иной раз мимоходом полистать «Бостон пиллар», а в статье, помимо пошлой болтовни, присутствовали и фотоснимки, говорившие сами за себя. Я хорошо запомнил одного очень странного типа, посетившего нас уже в ноябре, — смуглого бородача в тюрбане, с лишенным всякого выражения лицом и неестественным, как будто механическим, голосом. В ходе визита он не снимал с рук большие белые перчатки, совершенно неуместные в данной обстановке. Назвался он Свами Чандрапутрой, проживавшим, судя по адресу, в трущобном квартале бостонского Вест-Энда. Человек этот выказал потрясающую эрудицию в области оккультных наук и очень заинтересовался свитком, заявив, что обнаружил в иероглифах сходство с некими знаками и символами из древнего забытого мира, о котором он якобы имел интуитивное, но притом довольно отчетливое представление.

К началу июня известность мумии и свитка распространилась далеко за пределы Бостона, и в музей стали приходить письма с разными вопросами и просьбами о высылке фотографий от оккультистов и мистиков со всего света. Нельзя сказать, чтобы музейный персонал был этому рад — наше сугубо научное учреждение не имеет ничего общего с фантастами и мечтателями, — однако мы добросовестно отвечали на каждое письмо. Одним из результатов такой переписки явилась опубликованная в «Оккульт-ревью» высокоученая статья известного новоорлеанского мистика Этьен-Лорана де Мариньи, отметившего разительное совпадение иероглифов и геометрических узоров на цилиндре с некими символами самого зловещего свойства, изображения которых (скопированные с первобытных монолитов и ритуальной атрибутики эзотерических культов) можно найти в дьяволь-

ской «Черной книге» — то есть «Неименуемых культах» фон Юнцта.

Де Мариньи припомнил ужасную смерть фон Юнцта в 1840 году — через год после издания его книги в Дюссельдорфе — и охарактеризовал источники информации, которыми тот пользовался, как «весьма подозрительные и леденящие кровь». Он особо выделил древние предания, с которыми фон Юнцт ассоциировал эти символы и в которых часто упоминались цилиндр и свиток (тут уже напрашивалась связь с экспонатами музея). Однако сами предания казались настолько невероятными — повествуя об умопомрачительных временных периодах и фантастических аномалиях забытых древних миров, — что восхищаться ими было куда легче, чем принять их на веру.

И многие действительно восхищались, судя по публикациям в различных изданиях. Стремительно множились иллюстрированные статьи, авторы которых пересказывали (либо перевирали) легенды из «Черной книги», пытались передать словами внушаемый мумией ужас, вновь и вновь сопоставляли узоры цилиндра и письма свитка с рисунками из книги фон Юнцта, а также наперебой выдвигали все более дикие, нелепые и попросту безумные теории. Число ежедневных посетителей музея утроилось, а масштабы интереса к данной теме убедительно подтверждались количеством приходивших к нам писем — большей частью многословных и вздорных. Можно сказать, что ужасная мумия и загадка ее происхождения создали — по крайней мере, для людей с богатой фантазией — серьезную конкуренцию Великой депрессии как самой обсуждаемой теме на протяжении 1931 и 1932 годов. Лично на мне этот фурор сказался главным образом тем, что побудил-таки осилить мерзкий опус фон Юнцта в издании «Голден Гоблин», каковое чтение обернулось головными болями и дурнотой — хорошо еще, что я ограничился сокращенным вариантом, избежав погружения в омерзительную трясику первоначального текста.

III

Древние предания из «Черной книги», вкуче с рисунками и символами, подобными изображениям на цилиндре и свитке, воистину потрясали и внушали безотчетный страх. Перенося

читателя в невероятно далекое прошлое — по сравнению со всеми известными нам цивилизациями, расами и государствами, — эти предания группировались вокруг одного давно исчезнувшего народа, который населял давно исчезнувший континент на заре существования человечества, в туманной глубине веков. Континент этот в легендах носил название Му, а его обитатели, согласно записям на языке наакаль, создали цивилизацию, процветавшую двести тысяч лет назад, когда Европа служила прибежищем для жалких гибридных тварей, а Гиперборея поклонялась черному аморфному Цаотгугу.

Речь шла о стране либо местности, именуемой К'наа, где первые люди нашли грандиозные руины, покинутые их прежними обитателями — таинственными существами, «спутившими со звезд», чтобы сделать своим домом этот в ту пору пустынный, только-только зародившийся мир. Люди считали К'наа священной областью — в самом центре ее вздымались к небу мрачные базальтовые утесы горы Йаддит-Го, увенчанные гигантской крепостью, бесконечно более древней, чем человечество, ибо построили ее пришельцы с темной планеты Юггот, обосновавшиеся здесь задолго до возникновения земной жизни.

Колонисты с Юггота сгинули много тысячелетий назад, но оставили после себя нечто невыразимо жуткое и неподвластное времени — своего дьявольского бога или демона-покровителя Гатанотоа, затаившегося в подземельях крепости на горе Йаддит-Го. Никто из людей не взбирался на гору и не видел эту крепость — разве что издали, когда ее причудливые, геометрически несообразные очертания вырисовывались на фоне заката, — однако мало кто сомневался, что Гатанотоа по-прежнему находится там, блуждая по бесконечным залам и коридорам в недрах горы, под циклопическими стенами. Были и такие, кто считал необходимым приносить жертвы Гатанотоа, чтобы он не явился из темной бездны в мир людей, неся им погибель, как ранее погубил мир пришельцев с Юггота.

Говорили, что, если очередное жертвоприношение не состоится, разгневанный Гатанотоа покинет подземное логово и спустится с базальтовых утесов Йаддит-Го, истребляя все живое на своем пути. Ибо всякий узревший Гатанотоа — или хотя бы отчетливое изображение этого бога, не важно, какого размера, — обречен на страдания страшнее смерти. Согласно легендам

планеты Юггот, один только взгляд на Гатанотоа (либо на его образ) приводит к параличу и особого рода оцепенению: тело жертвы обретает структуру, подобную окаменевшей коже, тогда как мозг продолжает жить, на долгие века замурованный в этой темнице, с мучительной ясностью осознающий течение времени и собственную беспомощность, пока силы природы или иное внешнее воздействие не разрушат оболочку, даровав ему успокоение в смерти. Разумеется, в большинстве случаев жертвы сходили с ума задолго до физического разрушения тела. И хотя Гатанотоа еще ни разу не являлся землянам, многие верили, что он столь же опасен, как в те легендарные времена.

Вот почему жители К'наа поклонялись Гатанотоа и каждый год приносили ему в жертву дюжину молодых воинов и столько же юных девственниц. Жертвоприношения совершались на ритуальных кострах в мраморном храме у подножия горы, поскольку никто не решался взобраться на базальтовые утесы и приблизиться к исполинской цитадели на вершине. Велика была власть жрецов этого бога, ибо лишь от них зависела судьба страны К'наа и всего континента Му, над которыми постоянно висела угроза губительного появления Гатанотоа.

Сотню жрецов Темного Бога возглавлял Имаш-Мо, верховный жрец, который во время праздника Нат шествовал впереди царя Табона и гордо стоял, не сгибая спину, когда царь преклонял колени перед святилищем Дорик. Жрецы жили в роскоши: каждый имел мраморный дворец, сундук с золотом, двести рабов и сотню наложниц; они были никому не подсудны и вольны распоряжаться жизнью и смертью любого жителя К'наа, за исключением царя и его приближенных. Однако наличие таких влиятельных заступников не избавляло население от страха перед Гатанотоа, который всегда мог явиться из мрака и уничтожить род людской. Со временем жрецы наложили запрет даже на мысли о Гатанотоа и на попытки представить себе его ужасный облик.

В Год Красной Луны (соответствующий, по расчетам фон Юнцта, 173 148 году до н. э.) человек впервые осмелился открыто выступить против чудовищного культа Гатанотоа. Этим отважным вольнодумцем был Т'йог, верховный жрец Шуб-Ниггурата и хранитель медного храма Козла с Легионом Младых.

Т'йог долго размышлял о силах и возможностях разных богов; при этом его посещали странные сны и откровения, касающиеся жизни этого и других миров. В конце концов он уверовал в то, что боги, благоволящие людям, могут быть призваны ими для борьбы с враждебными богами. В числе таких союзников ему представлялись Шуб-Нигтурат, Нуг и Йеб, а также Йиг Змеебог, с помощью которых он рассчитывал низвергнуть тираническую власть Гатанотоа, распространяемую через его высокомерных жрецов.

По внушению Матери-Богини, Т'йог составил на языке наакаль (священном языке его ордена) особое заклинание, которое должно было предохранить человека от окаменения при виде Темного Бога. Под защитой этого заклинания он вознамерился подняться на базальтовый утес и — первым из людей — войти в циклопическую цитадель, под которой таился Гатанотоа. Сойдясь с ним лицом к лицу и опираясь на поддержку Шуб-Нигтурата и его отпрысков, Т'йог рассчитывал взять верх над чудовищем и навсегда избавить род людской от этой угрозы. Далее, уже в роли спасителя, он сможет получить любые награды и почести, какие только пожелает. К нему перейдут все привилегии жрецов Гатанотоа или даже царский трон, а там уже недалеко и до обожествления.

Т'йог написал охранительное заклинание на листе *птагона* (согласно фон Юнцту, так называлась тщательно выделанная кожа ныне ископаемых ящеров-йакитов), свернул его и поместил свиток в резной футляр из металла под названием *лаг*, некогда привезенного на Землю с планеты Юггот. Талисман этот был не только защитой — он еще обладал силой возвращать к жизни окаменевшие жертвы, если Темный Бог все же обрушит свою ярость на людей. Теперь Т'йог был готов к подъему на запретную гору, проникновению в дьявольскую цитадель и встрече с монстром в его логове. О последствиях можно было только гадать, но надежда стать освободителем человечества придавала ему решимости.

Однако он упустил из виду зависть и своекорыстие жрецов культа Гатанотоа. Прослышав о его планах, грозивших им утратой престижа и привилегий в случае низложения Бога-Демона, — жрецы подняли яростный вой, обвиняя его в святотатст-

ве. Они кричали, что никто не может одолеть Гатанотоа и что любая попытка вступить с ним в противоборство обернется страшными карами для всех, отчего не спасут ни заклатья, ни молитвы. Этим они хотели настроить народ против еретика, но так велико было желание людей избавиться от Гатанотоа и так сильна была вера в магические способности Т'йога, что протесты жрецов не возымели эффекта. Даже царь, обычно послушный их воле, на сей раз поддержал Т'йога в его отважном предприятии.

И тогда жрецы Гатанотоа решили хитростью добиться того, что не удалось сделать открыто. Однажды ночью верховный жрец Имаш-Мо пробрался в храмовую келью, где спал Т'йог, и похитил из цилиндрического футляра свиток с заклатьем, подменив его очень похожим, но слегка искаженным текстом, — и этого было достаточно, чтобы магия утратила свою силу. Засунув цилиндр с подделкой обратно в одежды спящего, Имаш-Мо поздравил себя с успехом — он был уверен, что Т'йог не станет перепроверять текст заклинания. Полагая себя защищенным, еретик поднимется на запретную гору, в чертоги зла — и там Темный Бог, не сдерживаемый магией, позаботится об остальном.

Отныне жрецам Гатанотоа незачем было усердствовать, запугивая народ и клеймя еретика. Пусть поступает как хочет, идя навстречу своей гибели. А настоящий талисман будет храниться в глубокой тайне, переходя от одного верховного жреца к другому, — на тот случай, если кому-то из них придется пойти против воли Бога-Демона. Вернувшись в свой храм, Имаш-Мо поместил магический свиток в новый футляр, специально для этого изготовленный, и остаток ночи провел в безмятежном сне.

На рассвете Дня Пламенеющих Небес (датировать его по современным календарям фон Юнцту не удалось) Т'йог в окружении молящихся и распевающих гимны людей получил благословения царя Табона и начал подъем. В правой руке он сжимал посох из дерева тлат, а под плащом нес цилиндр с фальшивым талисманом, ибо так и не обнаружил подмену. Не уловил он и насмешливых интонаций в якобы благожелательных напутственных молитвах, которые нараспев читали Имаш-Мо и другие жрецы Гатанотоа.

Все утро люди стояли у подножия горы, следя за уменьшающейся фигуркой, которая карабкалась по крутому базальтовому склону, где прежде не ступала нога человека. Многие еще долго продолжали смотреть вверх даже после того, как Т'йог преодолел почти отвесный уступ и скрылся от глаз наблюдателей. Ночью некоторые особо чувствительные люди ощутили слабую дрожь, исходящую от ненавистной горы, но поутру соплеменники назвали их смешными фантазерами. Весь следующий день толпа стояла под горой и молилась, гадая, как скоро вернется Т'йог. Так было и на второй день, и на третий. Несколько недель они ждали и надеялись, а потом уже только рыдали, более не надеясь. И с той поры никто не видел героя, обещавшего освободить их от векового страха.

Отныне уstraшенные люди вздрагивали при одном лишь упоминании его имени, стараясь не думать о жуткой участи, постигшей Т'йога в наказание за святотатство. А жрецы Гатанотоа смеялись над самонадеянным глупцом, вздумавшим тягаться с богом и оспаривать его право на жертвоприношения. Спустя много лет открылась правда о подлой уловке Имаш-Мо; однако все уже укрепились во мнении, что Гатанотоа лучше оставить в покое. Никто больше не осмеливался бросить вызов Темному Богу. Так проходили века, сменялись цари и верховные жрецы, расцветали и приходили в упадок государства, отдельные участки суши поднимались из моря или исчезали под водой. И через много тысячелетий настал последний день заповедной страны К'наа — в несказанно свирепую бурю, с оглушительным ревом и грохотом на берег обрушились волны высотой с гору, и весь континент Му навеки опустился в глубины океана.

Но не все древние тайны сгинули безвозвратно — кое-что просочилось за пределы Му благодаря немногим бледным как смерть беглецам, пережившим катастрофу и снова встретившимся уже на дальних берегах. Там, под чужими небесами, вновь заструился дым их алтарей, возведенных в честь богов и демонов прошлого. И хотя никто не знал, в какую бездну погрузился священный пик с циклопической крепостью и чудовищным Гатанотоа, находились еще такие, кто бормотал его имя в молитвах и совершал отвратительные жертвоприношения, дабы Темный Бог не восстал из морских глубин, сея ужас и обращая в камень все живое.

Вокруг рассеянных по миру жрецов формировались секты приверженцев темного и тайного культа — а тайным он был потому, что население новых стран имело свои религии с другими богами и демонами, отвергая всякие чуждые веяния. Ритуалы этих сектантов сопровождались безумными зверствами, а в числе их фетишей было много чрезвычайно странных предметов. Ходили слухи, что в одном из жреческих родов сохранился свиток с действенным заклятием против Гатанотоа — тот самый свиток, что был украден у спящего Т'йога, — но не осталось никого, кто мог бы прочесть загадочные письма или понять их смысл. Более того, никто не знал, в какой части планеты находилась священная страна К'наа с горой Йаддит-Го и исполинской цитаделью Бога-Демона.

Тайный культ был особенно распространен на островах Тихого океана, в центре которого некогда простирался континент Му. Известно было также о поклонниках Гатанотоа в злополучной Атлантиде и на таинственном плато Ленг. Фон Юнцт писал о проникновении этого культа в легендарный подземный мир К'ньяна и указывал на явные следы его присутствия в Египте, Халдее, Персии, Китае, в забытых семитских империях Африки, а также в Мексике и Перу. Не обошлось и без очень прозрачного намека на его связь с колдовскими практиками в средневековой Европе, к искоренению которых тщетно призывали римские папы. Впрочем, западный мир не создал условий и для роста культа; а всеобщее негодование, вызванное свидетельствами жестоких обрядов и садистских жертвоприношений, обернулось массовой охотой на его приверженцев. Как следствие, на Западе этот запрещенный и преследуемый культ ушел в глубокое подполье, хотя ядро его никогда не было полностью уничтожено. Во все времена культ умудрялся выживать, и лучше всего это удавалось на Дальнем Востоке и островах Тихого океана, где он слился с местными тайными обществами вроде полинезийских «ареои».

Судя по ряду намеков фон Юнцта, он непосредственно контактировал со служителями культа; уяснив это, я содрогнулся, вспомнив рассказы о его гибели. Он говорил об активном обсуждении современными сектантами вероятного облика Бога-Дьявола — существа, не виденного никем из людей (разве что

безрассудным Т'йогом, но он так и не вернулся к соплеменникам). Подобные обсуждения шли вразрез с традициями древнего Му, где запрещалось не то чтобы говорить, но даже думать на эту тему. Шепотом, с благоговейным страхом, сектанты строили догадки о природе того существа, с которым мог встретиться Т'йог в ныне сокрытой морскими водами цитадели перед своим, вероятно, ужасным концом. Вся эта информация, поданная немецким ученым посредством намеков и недомолвок, взволновала меня сильнее, чем я мог ожидать.

Не менее тревожащими оказались догадки фон Юнцта насчет теперешнего местопребывания свитка с действенным заклятием против Гатанотоа, а также рассуждения о том, как и при каких обстоятельствах этот талисман может быть использован. Я пытался себя уверить, что это всего-навсего легенды, но сознание настойчиво рисовало картины вторжения в наш мир чудовищного бога и превращения человечества в подобие гигантского паноптикума, где внутри окаменевших фигур будет веками сохраняться сознание, беспомощное и бесполезное. Старый мистик из Дюссельдорфа имел препротивную манеру изъясняться с туманной многозначительностью, заставляя читателя отыскивать в сказанном скрытые смыслы, — неудивительно, что его книга была запрещена во многих странах как нечестивая, кощунственная и попросту опасная.

Меня буквально трясло от омерзения, но в то же время жуткий текст так захватывал и завораживал, что я не мог от него оторваться, пока не дошел до последней страницы. Репродукции узоров и символов, якобы восходящих к древней цивилизации Му, поразительно напоминали те, что я видел на цилиндре и свитке, а само повествование содержало подробности, предполагавшие некую взаимосвязь между этими преданиями и устрашающей мумией в экспозиции музея. Цилиндр и свиток — район Тихого океана — уверенность старого капитана Уэзерби в том, что зал, где нашли мумию, некогда был подземной частью циклопического сооружения... Сопоставив все это, я невольно возрадовался тому, что вулканический остров вновь исчез в пучине прежде, чем исследователи смогли туда добраться и выяснить, какие тайны скрываются под тяжелой каменной крышкой люка.

IV

То, что я узнал из «Черной книги», послужило своеобразной прелюдией к новостям и событиям, которые обрушились на меня весной 1932 года. Не помню точно, с какого момента меня начали всерьез беспокоить все учащающиеся известия о полицейских репрессиях против фанатичных адептов тайных религиозных культов на Востоке и в других частях света, но лишь в мае-июне я пришел к заключению, что повсеместно происходит взрывоподобный рост активности сотен дотоле державшихся в тени мистических обществ.

Вряд ли мне пришлось бы в голову связать эти сообщения с намеками фон Юнцта или недавним ажиотажем вокруг мумии и цилиндра, если бы в описаниях ритуалов, вовсю муссируемых прессой, не обнаружилось удивительное сходство обрядовых действий у самых разных, разбросанных по всему миру сект. Особенно меня поразило одно имя, обозначавшее главный объект их поклонения и произносимое — на разный лад, но вполне узнаваемо — с неизменной смесью почтения и ужаса. Репортеры приводили следующие варианты: Г'танта, Танота, Тан-Та, Гатан и Ктан-Та. Тут не требовалась помощь моих теперь уже многочисленных корреспондентов-окультистов, чтобы увидеть бесспорное родство всех этих вариантов с именем Гатанотоа, фигурирующим в книге фон Юнцта.

Были и другие тревожные признаки. Снова и снова при описании этих шабашей газеты упоминали некий «истинный свиток», которому приписывалось огромное, воистину судьбоносное значение. О том, кто — или что — является хранителем свитка, не было известно ничего, кроме имени Нагоб. И еще одно часто повторявшееся имя фигурировало в разных источниках как Тог, Тиок, Йог, Зоб или Йоб, — и в моем возбужденном сознании тотчас возникла связь с еретиком Т'йогом из «Черной книги». Имя это возникало в сочетании с таинственными фразами: «Это может быть только он», «Он видел Его своими глазами», «Он все сознает, но не может видеть и чувствовать», «Он помнит то, что было сотни веков назад», «Истинный свиток вернет ему свободу», «Нагоб хранит истинный свиток», «Потом он скажет, где найти Его».

Назревало что-то воистину необычайное, и я несколько не удивился, когда мои знакомые оккультисты (от которых не отставали падкие до сенсаций воскресные газеты) начали проводить параллель между активизацией эзотерических сект и древними преданиями о континенте Му, с одной стороны, и поднявшейся в последнее время шумихой вокруг музейной мумии — с другой. Первая волна публикаций о мумии, цилиндре и свитке, сопровождаемых ссылками на «Черную книгу» и множеством самых невероятных измышлений, могла стать импульсом, который пробудил дремавший фанатизм приверженцев разных экзотических культов, которых полным-полно в нашем мире. В дальнейшем пресса еще подлила масла в огонь, со смаком живописуя нечестивые сборища и ритуалы.

С начала лета музейные работники стали все чаще замечать среди посетителей (вновь поваливших толпами после некоторого спада в предыдущие месяцы) людей странной и экзотической внешности. Смуглые азиаты, длинноволосые типы неопределенной национальности и темнокожие бородачи, явно непривычные к европейской одежде, прямоком направлялись в зал с мумиями и там как замороженные взирали на экспонат с затонувшего тихоокеанского острова. При внешнем спокойствии этих визитеров в них чувствовалось что-то затаенное и зловещее, и это очень нервировало зрителей, да и меня, надо признаться, тоже. Уж очень они походили на приверженцев странных культов, о которых писали газеты; и я не мог не думать о связи этих культов с древними мифами, мумией и свитком.

Не раз у меня возникало желание удалить мумию из экспозиции, особенно после сообщения зрителей о том, что некоторые иноземцы — выбирая минуты, когда вокруг поменьше людей, — исполняют перед ней диковинные обряды почитания, нараспев бормоча какие-то молитвы или гимны. У одного из сторожей начались галлюцинации на нервной почве: он якобы замечал происходящие день за днем едва уловимые перемены в положении клешнеобразных рук и в искаженном лице мумии. И он никак не мог избавиться от мысли, что эти выпученные глаза в любой миг могут открыться.

В первых числах сентября, когда поток посетителей пошел на убыль и временами зал на втором этаже пустовал, была предпринята попытка вырезать стекло витрины и добраться до мумии. Нарушитель-полинезиец был вовремя замечен сторожем и схвачен прежде, чем успел нанести существенный вред. Как выяснилось в ходе следствия, он был родом с Гавайев, где не раз подвергался аресту за участие в изуверских религиозных обрядах и жертвоприношениях. При обыске в его комнате были найдены непонятные, но крайне подозрительные документы, в том числе множество листов с иероглифами сродни тем, что были изображены в «Черной книге» фон Юнцта и музейном свитке; однако добиться от него каких-либо пояснений по этому поводу не удалось.

Примерно через неделю до мумии попытались добраться вновь — на сей раз посредством взлома замка на витрине, — но и эта попытка завершилась арестом. Задержанный оказался сингалцем и имел много общего со своим гавайским предшественником, включая причастность к тайным мистическим обществам и категорическое нежелание объяснить полиции причину своих действий. Дополнительную — и весьма мрачную — интригу привнесло заявление зрителя, который ранее несколько раз видел сингалца стоящим перед мумией и напевающим что-то невнятное с частыми повторениями слова «Т'йог». После этих событий я удвоил число охранников в зале и приказал им ни на секунду не спускать глаз со ставшего, пожалуй, чересчур известным экспоната.

Само собой, пресса постаралась выжать максимум из этих двух инцидентов, и в новых статьях о легендарном континенте Му было прямо заявлено, что уродливая мумия представляет собой не что иное, как останки вольнодумца Т'йога, окаменевшего в стенах доисторической цитадели и просуществовавшего в таком виде на протяжении 175 тысяч лет бурной истории нашей планеты. Утверждалось также, что все подозрительные посетители были последователями древних культов Му, поклонявшимися мумии или даже рассчитывавшими вернуть ее к жизни посредством заклинаний и магических действий.

Авторы статей особо упирали на то, что, согласно древним преданиям, мозг окаменевших жертв Гатанотоа оставался жи-

вым и способным мыслить, а это в свою очередь дало пищу для самых невероятных фантазий. Не был забыт и упоминаемый сектантами «истинный свиток» — многие авторы считали, что похищенный у Т'йога свиток с заклятием против Гатанотоа сохранился до сих пор и что адепты тайных культов намеревались с какой-то целью применить заклятие к самому Т'йогу. Такие сенсационные заявления породили третью мощную волну посетителей, подолгу глазевших на мумию, которая вдруг оказалась ключевым элементом во всей этой загадочной истории.

Именно среди зевак последней волны, многие из которых посещали музей неоднократно, начались разговоры о том, что внешность мумии понемногу меняется. Вероятно, музейный персонал, несмотря на предупреждения нервного сторожа несколькими месяцами ранее, слишком привык к виду страшного экспоната, чтобы замечать какие-то мелкие детали. Как бы то ни было, лишь взволнованные разговоры посетителей заставили сотрудников внимательнее присмотреться к мумии и действительно отметить пусть небольшие, но определенные изменения. Практически сразу же эта новость попала в прессу — со вполне ожидаемыми громкими последствиями.

Теперь уже я лично стал наблюдать за состоянием мумии и в середине октября пришел к выводу, что здесь имеет место процесс разложения. Судя по всему, под химическим или физическим воздействием атмосферного воздуха окаменело-кожистая структура тканей начала расслабляться, что проявилось в некотором смещении конечностей и деформации лицевых мышц. После полувекового пребывания мумии в неизменной сохранности это стало очень тревожным сигналом, и по моей просьбе музейный таксидермист мистер Мур несколько раз тщательно обследовал экспонат. Он констатировал общее размягчение тканей и два-три раза обработал поверхность вяжущими препаратами, но не пошел на более радикальные меры, опасаясь побочных эффектов.

А вот на толпах посетителей это явление сказалось весьма неожиданным образом. До той поры каждая газетная сенсация вызывала новый прилив любопытствующих, но теперь, хотя пресса без устали обсуждала перемены в состоянии мумии,

охвативший публику инстинктивный страх оказался сильнее извращенного любопытства. Видимо, людей все больше отпугивала окружающая музей мрачная аура, и посещаемость с рекордных высот упала до уровня намного ниже среднего. На фоне этого запустения стали особенно заметны экзотические иноземные гости, число которых не уменьшалось.

18 ноября у одного из этих чужаков — перуанского индейца — случился истерический либо эпилептический припадок непосредственно перед мумией. Позднее, уже в больнице, бедолага не переставал кричать: «Он пытался открыть глаза! Т'йог пытался открыть глаза и взглянуть на меня!» К тому времени я всерьез настроился удалить экспонат из зала, но не сделал этого, поддавшись на уговоры наших консервативных администраторов. Однако нельзя было не заметить, что за последнее время музей приобрел дурную репутацию среди жителей тихих и благонаправленных окрестных кварталов. После случая с перуанцем я дал строгие указания зрителям: не позволять никому надолго задерживаться перед тихоокеанским реликтом.

24 ноября, сразу после закрытия музея в пять часов пополудни, один из зрителей обнаружил, что веки мумии приподнялись. Самую малость, так что показался только узкий серп роговицы; но само по себе явление, безусловно, представляло интерес. Срочно вызванный доктор Мур собрался изучить с помощью луны открывшиеся участки глазных яблок, но как только он дотронулся до мумии, ее веки снова плотно сомкнулись. Попытки осторожно приподнять их пальцами не удалось, а применить какие-либо инструменты доктор не решился. Узнав о случившемся по телефону, я несколько мгновений испытывал стремительно нарастающий ужас, несоразмерный такому вроде бы простому и рационально объяснимому происшествию. Тем самым я невольно уподобился суеверным простакам, полагавшим, что над музеем довлеет злой рок — порождение неведомых времен и неизмеримых пространств.

Спустя два дня филиппинец весьма подозрительного вида был схвачен при попытке спрятаться в одном из служебных помещений перед самым закрытием музея. В полицейском участке он отказался назвать свое имя, и его задержали до выяснения

личности. Между тем строгий надзор за мумией, похоже, охладил пыл ее иноземных почитателей. Во всяком случае, количество таких визитеров заметно убавилось после введения нового правила: теперь мумию разрешалось осматривать только на ходу, не останавливаясь перед витриной.

Эта история достигла своей кульминации в ночь на четверг, 1 декабря. Примерно в час пополудни всю округу разбудили доносящиеся из музея крики, полные смертельного ужаса и агонии, а телефонные звонки перепуганных соседей повлекли за собой срочное прибытие на место усиленного наряда полиции. Я и еще несколько сотрудников музея появились там почти одновременно с ними. Часть полицейских оцепила здание, а все остальные, включая музейных работников, не без опаски вошли внутрь. В коридоре первого этажа мы наткнулись на задушенного ночного сторожа — его шею стягивала веревка, сплетенная из индийской конопли. Стало быть, несмотря на все принятые меры, один или несколько злоумышленников все же пробрались в музей. Однако сейчас тут царила гробовая тишина, и мы замешкались перед винтовой лестницей в роковом крыле здания, где должны были разыгаться главные события этой ночи. Слегка приободрил нас яркий свет, заливший все вокруг после включения рубильников на электрощите в коридоре; и только тогда мы осторожно двинулись вверх по лестнице, к арочному входу в зал мумий.

V

Я достиг момента, начиная с которого отчеты об этом деле подверглись цензурной обработке, поскольку все мы согласились, что широкую общественность не стоит информировать о некоторых вещах, способных вызвать панику глобального масштаба. Как я сказал, перед подъемом на второй этаж мы включили освещение во всем здании. И вот, в свете ламп, отражавшемся от стеклянных витрин, нам предстало зрелище, далеко выходящее за рамки человеческого понимания. Оба преступника были здесь (вероятно, они спрятались где-то в музее перед его закрытием), но им уже не грозила кара за убийство ночного сторожа. Ибо они получили свое сполна.

Один был родом из Бирмы, другой с островов Фиджи — полицейские их опознали, так как оба ранее задерживались за участие в диких и противоестественных культовых ритуалах. Теперь они были мертвы, и чем дольше мы разглядывали тела, тем яснее становилось, что смерть наступила при каких-то чудовищных, совершенно невероятных обстоятельствах. Оба лица были искажены такими безумными гримасами ужаса, каких не видывал даже самый старый и опытный из полисменов. При этом в состоянии трупов наблюдались очень существенные различия.

Бирманец лежал, скрючившись, перед самой витриной, часть стекла которой была аккуратно вырезана. В правой руке он сжимал свиток из голубоватого материала с надписью серыми иероглифами — на первый взгляд полную копию того, что хранился в музейной библиотеке вместе с цилиндрическим футляром, хотя последующая проверка выявила ряд мелких различий. На теле не было никаких следов насилия, а по виду судорожно перекошенного лица можно было заключить, что причиной смерти стал сильнейший испуг.

Но настоящий шок мы испытали при взгляде на лежавшего рядом с ним фиджийца. А когда один из полисменов до него дотронулся, пронзительный вопль второй раз за эту ночь переполошил обитателей соседних домов. Мы и ранее могли бы догадаться о чудовищном характере случившегося — достаточно было отметить безжизненно-серый цвет некогда черного лица, застывшую на нем гримасу беспредельного ужаса и словно окостеневшие руки (одна из которых все еще сжимала электрический фонарь); однако никто из нас не был готов к тому, что открылось в момент прикосновения полицейского к телу. Даже сейчас, вспоминая об этом, я заново переживаю тот же приступ страха и отвращения. Короче говоря, этот злоумышленник, менее часа назад бывший живым и здоровым меланезийцем, теперь представлял собой пепельно-серую статую из окаменелокожистой субстанции, во всех отношениях идентичную невероятно древнему уродливому созданию за поврежденным стеклом музейной витрины.

Но это было еще не главное. Все кошмары этой ночи безусловно венчало то, что мы увидели в первую очередь, еще до

распростертых на полу трупов, — а именно внешность мумии. Теперь уже никто не назвал бы произошедшие перемены незначительными, ибо поза ее изменилась радикальным образом. Тело сгорбилось и осело, утратив былую жесткость; костистые руки-клешни опустились, полностью открыв искаженное страхом лицо, а глаза — помоги нам, Господи! — *выпученные глаза мумии были широко открыты и, казалось, пристально смотрели на двух чужеземцев, недавно скончавшихся от испуга, если не чего-то похуже.*

Этот застывший, как у мертвой рыбы, взгляд как будто обладал гипнотической силой либо еще каким-то образом действовал на нервы, так что мы испытывали непонятную скованность, когда обследовали тела двух преступников. Каждое движение давалось с большим трудом, однако эта скованность вмиг исчезала, как только вы прикасались к свитку с иероглифами, который мы осматривали по очереди, передавая друг другу. Я то и дело, не удержавшись, косился на эти выпученные глазищи, а когда наконец занялся самой мумией, почти сразу отметил нечто особенное в ее темных, не тронутых разложением зрачках. Чем дольше я вглядывался, тем сильнее ощущал на себе их гипнотическое воздействие. В конце концов я отправился в свой кабинет на первом этаже, с усилием преодолевая все то же необъяснимое оцепенение, и принес оттуда набор увеличительных стекол, чтобы продолжить исследование с их помощью, тогда как все остальные выжидающе сгрудились вокруг.

Я всегда скептически относился к теории, согласно которой на сетчатке глаза могут запечатлеться сцены, увиденные человеком в последний момент перед смертью или впадением в кому; но сейчас, глядя сквозь лупу, я обнаружил в глазу этого монстра не отражение нашего музейного зала, как можно было бы ожидать, а нечто совсем другое. Безусловно, на сетчатке присутствовал какой-то смутный образ, и я теперь уже не сомневался, что именно он был последним, что видели эти глаза при жизни их обладателя — во времена, отделенные от нас неисчислимыми тысячелетиями. Изображение постепенно угасало, и мне пришлось вставить в оптический прибор новую линзу, сильнее предыдущей. Я исходил из предположения, что образ

этот должен быть пусть и микроскопическим, но достаточно ярким и отчетливым, иначе как бы он мог до смерти напугать чужаков, побудивших мумию открыть глаза посредством заклинания или еще каких-то магических действий? Дополнительная линза позволила мне разглядеть много новых, прежде неразличимых деталей, и люди вокруг замерли, внимая моему торопливому описанию.

Ибо в наши дни, в 1932 году, житель почтенного города Бостона лицезрел нечто, принадлежащее к неизвестному и совершенно чуждому нам миру, который исчез с лица земли и из исторической памяти человечества в непостижимо давние времена. Я увидел просторный зал со стенами и сводом из каменных блоков; при этом сам я как будто находился в одном из его углов. Стены зала покрывали барельефы столь пугающего и кошмарного свойства, что мне стало дурно от одного их вида даже при нечетком, расплывающемся изображении. Не верилось, что создатели этих фигур могли принадлежать к человеческой расе; более того, они вряд ли вообще имели представление о людях, когда вырезали чудовищных тварей, теперь взиравших на меня со стен. В центре зала находился огромный люк, каменная крышка которого была сдвинута в сторону, когда некий объект поднимался сюда из помещения внизу. Полагаю, этот объект был отчетливо различим в те первые мгновения, когда глаза мумии открылись перед двумя злосчастными взломщиками, но сейчас я смог разглядеть лишь мутное бесформенное пятно.

До той поры я использовал максимальное увеличение только при осмотре правого глаза мумии. Как было бы хорошо, если бы я этим и ограничился! Однако исследовательский азарт побудил меня перенаправить мощную лупу на левый глаз в надежде, что там картина окажется более четкой. Руки мои дрожали от волнения, а пальцы плохо слушались под все тем же непонятным сковывающим воздействием, так что мне не сразу удалось сфокусироваться на объекте. Затем я понял, что в этом глазу изображение действительно сохранилось лучше. И в какой-то вспышке гибельного полураспознавания мне привиделось нечто абсолютно невообразимое, выдавливающееся из широкого отверстия посреди циклопического зала в том безумно

древнем затерянном мире, — а уже в следующий миг я потерял сознание, издав дикий пронзительный вопль (которого, впрочем, нисколько не стыжусь).

К тому времени, когда я очнулся, в глазах мумии уже не осталось и следа былого отражения. Это подтвердил полицейский сержант Киф, воспользовавшийся моей лупой, поскольку сам я на новую попытку не отважился. И я по сей день благодарен всем богам и силам вселенной, которые уберегли меня от того, чтобы заглянуть в эту бездну минутой-другой раньше. Мне потребовалась вся решимость, подкрепляемая настойчивыми просьбами окружающих, чтобы описать то, что явилось мне в ужасный миг откровения. Но дар речи я обрел лишь после того, как все мы спустились в кабинет на первом этаже, подальше от дьявольского существа, которому не должно быть места в этом мире. По пути туда меня начали одолевать кошмарные фантазии насчет мумии с остекленевшими, выпученными глазами — будто бы она обладала каким-то потусторонним сознанием, видела все происходящее перед ней и даже пыталась подать мне знак из глубины времен. Находясь уже на грани помешательства, я подумал, что смогу избавиться от этого наваждения, если выговорюсь и поведаю другим обо всем увиденном.

Сам рассказ получился недолгим. В отражении на сетчатке я увидел, как над люком в полу поднялось нечто настолько чудовищное, что у меня не возникло ни малейших сомнений в его способности истреблять все живое одним лишь своим видом. Даже сейчас, в спокойной обстановке, мне трудно найти слова для его описания. Гигантский — с хоботом и щупальцами — с глазами спрута — полуаморфный — пластичный — местами покрытый чешуей, местами с морщинистой голой кожей — брр! Но никакие слова не могут даже приблизительно передать отвратительный, нечестивый, немыслимый, вселенский ужас, внушаемый этим исчадием зла, этим порождением мрачного хаоса и непроглядной тьмы, исполненным ненависти ко всему сущему. И в данный момент, когда я пишу эти строки, возникающий в сознании образ вынуждает меня в холодном поту бессильно откинуться на спинку стула. А тогда, в музее, описывая этого монстра стоявшим вокруг меня людям, я прилагал все силы к тому, чтобы вновь не рухнуть на пол без чувств.

Слушатели были потрясены не меньше меня. В течение следующей четверти часа никто из нас не поднял голос выше пугливого шепота, проводя параллели между преданиями из «Черной книги», взбудоражившей прессу активностью тайных сект и последними зловещими событиями в музее. Гатанотоа... Не только он сам, но и его четкое изображение способно обратить созерцателя в камень — Т'йог — фальшивое заклание — он не вернулся из цитадели — истинный свиток может полностью либо частично избавить от окаменения — дошел ли он до наших дней? — запретные культы — туманные высказывания сектантов: «Это может быть только он», «Он видел Его своими глазами», «Он все сознает, но не может видеть и чувствовать», «Он помнит то, что было сотни веков назад», «Истинный свиток вернет ему свободу», «Нагоб хранит истинный свиток», «Потом он скажет, где найти Его». И только забрезживший за окнами рассвет вернул нас к реальности, которая подсказывала, что разумнее всего будет закрыть данную тему, не пытаясь найти объяснения и по возможности не думая об этом вообще.

Мы ограничились лишь кратким заявлением для прессы, договорившись и впредь строго дозировать исходящую информацию. Таким путем нам удалось избежать огласки, когда вскрытие тела фиджийца выявило под окаменелой внешней оболочкой абсолютно неповрежденные внутренние органы, в том числе и мозг. Данная аномалия стала предметом бурных дискуссий среди посвященных в тайну медиков. А если бы об этом пронюхали бульварные писаки, нетрудно представить себе, какой поднялся бы гвалт, с неминуемым привлечением легенд о жертвах Гатанотоа, якобы навеки сохраняющих живой мозг и ясное сознание.

Впрочем, от внимания ушлых репортеров не ускользнул тот факт, что человек, державший в руке свиток с явным намерением просунуть его к мумии через отверстие в стекле, не подвергся окаменению, в отличие от его сообщника, который к свитку не прикасался. Но когда они потребовали провести эксперимент — приложить свиток к окаменевшему телу и к древней мумии, — мы решительно воспротивились, не желая идти на поводу у нелепых суеверий. Разумеется, мумия была удалена из экспозиции; ее поместили в музейную лабораторию, дабы

подвергнуть всестороннему обследованию с участием авторитетных специалистов. Памятуя о прошлых инцидентах, мы усилили охрану, но попытка проникновения в музей все же была предпринята: 5 декабря в 2 часа 25 минут пополуночи сработала сигнализация, что обратило преступника (или преступников) в бегство — к сожалению, еще до прибытия полиции.

Я очень рад, что общественность осталась в неведении относительно многих других обстоятельств данного дела. Как бы я хотел, чтобы этим все и закончилось! Конечно, какие-то утечки неизбежны, в том числе и по моей вине (ибо я не могу знать заранее, как распорядятся этой рукописью душеприказчики), но, по крайней мере, их воздействие на публику будет не столь шокирующим, как могло бы случиться по свежим следам событий. Большинство попросту не поверит рассказанному. Так уж устроены обыватели — они готовы проглотить любой бред желтой прессы, но воистину грандиозные и ошеломляющие откровения вызывают у них лишь недоверчивый смех. Может, так оно и лучше для их психического здоровья.

Как я уже говорил, мы запланировали всестороннее обследование мумии. И оно было проведено 8 декабря (ровно через неделю после ужасной кульминации) под руководством известного медика Уильяма Майнота, которому ассистировал наш таксидермист, доктор Уэнтворт Мур. Ранее доктор Майнот наблюдал и за вскрытием окаменевшего тела фиджийца. Кроме них, присутствовали господа Лоуренс Кабот и Дадли Сэлтон-столл из попечительского совета, музейные сотрудники Мейсон, Уэллс и Карвер, два корреспондента научных журналов и ваш покорный слуга. За последнюю неделю в облике мумии не произошло заметных изменений, разве что ее открытые стеклянистые глаза иногда слегка смещались в орбитах, что можно было объяснить размягчением мышечных волокон. Персонал музея панически боялся смотреть на эту тварь (ощущение, что она осознанно следит за окружающими, было невыносимым), да и сам я с трудом заставил себя принять участие в этой процедуре.

Доктор Майнот прибыл в начале второго пополудни и через несколько минут начал осмотр мумии. С первыми же прикосновениями поверхностные ткани начали распадаться под его паль-

цами. Учитывая этот факт, а также нашу информацию о постепенном размягчении тела после 1 октября, — он решил безотлагательно провести полное вскрытие, пока ткани не разрушились еще больше. Все необходимые инструменты имелись в лаборатории, и он сразу приступил к делу, вслух удивляясь необычной волокнистой структуре мумифицированной кожи.

Его удивленные комментарии зазвучали намного громче после того, как был сделан первый глубокий надрез, сопровождавшийся истечением густой красной жидкости, природа которой — несмотря на бессчетные века, прошедшие со дня гибели ужасного объекта исследования, — не вызвала ни малейших сомнений. Еще несколько быстрых уверенных разрезов — и взорам присутствующих открылись внутренние органы в прекрасно сохранившемся состоянии, исключая лишь те места, где их затронули повреждения внешней оболочки. Состояние это было настолько сходным с результатами вскрытия недавно умершего фиджийца, что маститый хирург не нашел слов и только разинул рот от изумления. Что касается мерзких выпученных глаз мумии, то с виду они сохранились идеально, хотя было трудно определить, в какой степени на них отразилось окаменение.

В половине четвертого была вскрыта черепная коробка, а десять минут спустя все мы, потрясенные до глубины души, поклялись хранить в тайне то, что увидели. Приоткрыть завесу этой тайны когда-нибудь смогут лишь документированные свидетельства очевидцев, к числу которых относится и настоящая рукопись. Даже оба журналиста присоединились к общей клятве без колебаний. Дело в том, что *при вскрытии черепа древней мумии мы обнаружили внутри его пульсирующий, живой мозг.*

УЖАС НА КЛАДБИЩЕ

(с Хейзл Хилд)

Когда главное шоссе на Ратленд закрыто, путешественникам приходится ехать по Стилуотерской дороге через Тонкую Лощину. Данный маршрут в значительной своей части пролегает по живописнейшим местам, но вот уже много лет почему-то не пользуется популярностью. Окрестные пейзажи на всем пути производят тягостное впечатление, особенно близ самого Стилуотера. Автомобилистам становится малость не по себе при виде фермерского дома с наглухо закрытыми ставнями, стоящего на невысоком холме к северу от деревни, и седобородого полудурка, который частенько бродит по старому кладбищу за южной околицей и якобы разговаривает с обитателями могил.

В наши дни Стилуотер пришел в сильный упадок. Почва здесь совсем истощилась, и большинство местных жителей переехали в селения по другую сторону дальней реки или в город за далекими горами. Шпиль старой белой церкви обвалился, и добрая половина из двадцати с лишним беспорядочно разбросанных домишек пустует и находится в той или иной степени обветшания. Привычные признаки жизни наблюдаются лишь возле универсальной лавки Пека и бензоколонки, и именно здесь особо любопытные изредка останавливаются, чтобы расспросить о доме с закрытыми ставнями и помешанном старике, беседующем с мертвецами на кладбище.

Почти все вопрошатели уезжают с чувством легкого отвращения и беспокойства в душе. Досужие деревенские оборванцы, чьи рассказы о событиях давно минувших дней изобилуют туманными намеками на некие невероятные обстоятельства, вызывают странную неприязнь. Они повествуют о самых заурядных происшествиях зловещим, напыщенным тоном, без всякой

необходимости принимая опасливый, многозначительный, таинственный вид и временами понижая голос до боязливого, дрожащего шепота, отчего в сердце слушателя невольно закрадывается тревога. Старожилы-янки питают слабость к подобным драматическим эффектам, но в данном случае унылая атмосфера запустения, витающая над полузаброшенной деревушкой, и мрачный характер самой истории усугубляют жутковатое впечатление, производимое замогильными интонациями и многозначительными недомолвками рассказчика. Слушатель всем нутром ощущает некий безмерный ужас, сокрытый за словами и темными намеками седобородого пуританина, — ощущает и рвется поскорее уехать отсюда в места, где дышится свободнее.

Деревенские праздношатайки выразительным шепотом сообщают, что дом с закрытыми ставнями принадлежит старой мисс Спрэг — Софи Спрэг, чьего брата Тома похоронили 17 июня 1886 года. Софи так никогда и не оправилась после похорон — и другого события, произошедшего в тот же день, — и в конечном счете вообще перестала выходить из дому. Нынче она даже на глаза никому не показывается — оставляет записки под половиком у задней двери, а мальчишка-посылный доставляет ей заказы из лавки Неда Пека. Она чего-то боится, и в первую очередь — местного старого кладбища. С тех пор как там погребли ее брата — и еще одного человека, — Софи туда и силком не затащишь. Впрочем, оно и неудивительно, коли посмотреть на дикое поведение полоумного Джонни Доу. Он целыми днями, а порой и ночами болтается среди могил и упорно твердит, будто разговаривает с Томом — и с тем, другим. С кладбища он частенько отправляется к дому Софи и орет всякий вздор под окнами — вот почему она стала держать ставни закрытыми. Джонни говорит, что однажды за ней явятся кой-откуда и тогда ей не поздоровится. Надо бы, конечно, положить конец этим безобразиям, но не бить же бедного полудурка. Кроме того, Стив Барбур всегда имел свое мнение на сей счет.

Джонни разговаривает лишь с двумя могилами. Одна принадлежит Тому Спрэгу, а другая, расположенная на противоположном конце кладбища, — Генри Торндайку, преданному земле в тот же день. Генри был деревенским гробовщиком, единственным на много миль окрест, и никогда не пользовался симпа-

тием в Стилуютере. Городской малый родом из Ратленда, с университетским прошлым и страшно начитанный. Штудировал всякие диковинные книжки, о каких никто слыхом не слыхивал, и все смешивал разные химикалии почему зря. Пытался изобрести какой-то препарат — новый бальзамирующий состав или очередную дурацкую панацею. По слухам, в свое время он хотел выучиться на врача, но провалился на экзаменах, а потому выбрал ремесло, по части востребованности почти не уступающее врачеванию. Разумеется, в крохотной деревушке вроде Стилуютера работы для гробовщика не так уж много, но Генри заодно обслуживал и всю округу.

Он имел нрав злобный и угрюмый и вдобавок был тайным пьяницей, если судить по количеству пустых бутылок в мусорной куче у него за домом. Неудивительно, что Том на дух не выносил Торндайка, забаллотировал его в масонской ложе и велел держаться от своей сестры подальше, когда тот попытался приударить за ней. Малый проводил над животными изуверские опыты, противные самой природе и Священному Писанию. Возможно ли забыть, в сколь ужасном состоянии нашли ту несчастную овчарку или что случилось с котом старой миссис Экли? Потом еще была история с телянком отца Ливитта — тогда Том с ватагой деревенских парней ходил к Генри разбираться. Странное дело, но телянок в конечном счете ожил, хотя Том нашел его в полном окаменении. Иные посчитали, что Том остался в дураках, но сам Торндайк, вероятно, держался другого мнения, ибо успел крепко схлопотать по зубам от своего врага, прежде чем ошибка обнаружилась.

Том, разумеется, тогда был под мухой. Он был грубой скотиной, если не выразиться сильнее, вечно травил и запугивал почему зря свою бедную сестру. Вот почему, наверное, она до сих пор живет в постоянном страхе. Никакой родни у них не имелось, и Том в жизни не позволил бы Софи выйти замуж, поскольку в таком случае пришлось бы делить имущество. Большинство парней не решались ухаживать за девушкой из страха перед ним — здоровенным детиной шести футов ростом, но Генри Торндайк, пройдошливый малый, умел действовать тихой сапой. Привлекательностью он, прямо скажем, не отличался, но Софи никогда не пыталась отвадить поклонника. Пусть он

низок душой и с виду неказист — она была рада любому, кто смог бы вызволить ее из-под власти брата. Может статься, она с самого начала прикидывала, как избавиться от ухажера, когда он избавит ее от брата.

Таким вот образом обстояли дела к июню 1886 года. До этого места деревенские праздношатайки у лавки Пека рассказывают историю умеренно выразительным шепотом, не особо раздражающим нервы, но по ходу дальнейшего повествования подпускают в голос все больше таинственных, зловещих и напряженных ноток. Том Спрэг, значит, периодически уезжал в Ратленд покутить на всю катушку, каковые отлучки открывали перед Генри Торндайком огромные возможности. Из города Том всегда возвращался еле живой, и старый доктор Пратт — толковый врач, несмотря на глухоту и преслабое зрение, — неустанно предостерегал его об опасности сердечной болезни и белой горячки. По крикам и брани, доносящимся из дома Спрэгов, в деревне сразу понимали: хозяин вернулся.

Том ударился в свой последний и самый долгий загул 9 июня, в среду, на другой день после того, как молодой Джошуа Гудино закончил строительство новомодной силосной башни. Он вернулся лишь утром следующего вторника, и народ в лавке видел, как он хлестал кнутом своего гнедого жеребца с яростью, обычной для него во хмелю. Потом из дома Спрэгов донеслись вопли, визги и проклятия, а через считанные секунды Софи вылетела за порог и со всех ног помчалась к дому старого доктора Пратта.

Поспешивший на зов доктор застал в их доме Торндайка; Том лежал на кровати в своей комнате, с остекленелым взглядом и пеной у рта. Старый Пратт не на шутку разволновался, сразу же пощупал пульс, проверил дыхание, заглянул в зрачки, а потом скорбно покачал головой и сообщил Софи, что она понесла тяжелую утрату: самый близкий и дорогой ей человек перешел в лучший мир сквозь жемчужные ворота — будто вся округа не знала, что лучший мир этому пропойце никак не светит.

Софи немного похлопала носом, шепчут рассказчики, но не особо расстроилась. Торндайк же лишь улыбнулся, вероятно позабавленный мыслью, что он, заклятый враг, теперь стал единственным человеком, который может быть хоть чем-нибудь по-

лезен Томасу Спрэгу. Он прокричал доктору Пратту в то ухо, которым старик еще отчасти слышал, что с погребением следует поторопиться, учитывая состояние покойного. Мол, с пьянчугами вроде него всегда проблемы, и любое промедление — в условиях сельской местности, где нет надлежащего холодильного оборудования, — повлечет за собой последствия, явственные для зрения и обоняния, которые едва ли придутся по вкусу родным и близким усопшего. Доктор пробормотал, что за многие годы запойного пьянства Том, небось, насквозь проспиртовался, но Торндайк заверил старика в обратном и к слову похвалился своим мастерством в похоронном ремесле и отличными профессиональными методами, разработанными опытным путем.

Здесь шепот досужих селян становится совсем уже зловещим. До этого места историю обычно рассказывает Эзра Девенпорт или (если Эзра лежит с простудой, как частенько случается зимой) Лютер Фрай, но дальше повествование продолжает старый Кальвин Уиллер, который умеет ввергнуть слушателей в невольную дрожь своими замогильными интонациями. Если вдруг Джонни Доу случается проходить мимо, рассказчик неизменно умолкает, ибо жителям Стилутера не нравится, когда Джонни болтает с чужаками.

Кальвин бочком подбирается поближе к слушателю и порой хватает его за лацкан пиджака узловатой рукой в старческих пятнах, наполовину прикрывая веками водянистые голубые глаза.

— Так вот, сэр, — шепчет он, — Генри, значит, пошел домой и взял там свои гробовщицкие принадлежности — почти все их, к слову сказать, тащил полоумный Джонни Доу, он ведь всегда состоял при Генри на побегушках, — а потом говорит, мол, хорошо бы док Пратт и дурачок Джонни помогли ему подготовить тело к погребению. Док всегда считал Генри трепачом каких поискать — малый все бахвалился, какой он непревзойденный мастер своего дела да как всем нам повезло, что в Стилутере есть свой гробовщик и нам не приходится хоронить покойников абы как, в отличие от жителей Уитби. «Предположим, — говорил он, — кого-нибудь разобьет глубокий сонный паралич, о каком вы наверняка читали. Представьте, каково будет бедняге, когда его опустят в могилу да начнут засыпать землей? Каково

ему будет, когда он начнет задыхаться там, под надгробной плитой, да биться в гробу, коли паралич отпустил, и притом ясно сознавать всю тщетность своих усилий? Нет, сэр, скажу вам, Стилутеру здорово посчастливилось иметь толкового врача, способного точно определить, помер человек или нет, и искусного мастера гробовых дел, который так упакует покойника, что тот будет лежать в могиле тихо-мирно всю дорогу».

Так повторял Генри при каждом удобном случае и над трупом бедного Тома не преминул толкнуть такую же речь. Старому доктору Пратту шибко не понравилось все, что он сумел расслышать, хоть Генри и назвал его толковым врачом. Полоумный Джонни все смотрел, смотрел на покойного и хнычущим голосом нес всякий вздор, от которого мурашки по коже бежали: «Док, а он чего-то не стынет», или: «У него веки дергаются», или: «У него на руке крохотная дырочка навроде той, что остается у меня, когда Генри делает мне укол, от которого мне становится хорошо». Тут Торндайк велел полудурку заткнуться, хотя все мы прекрасно знали, что он пичкает бедного Джонни наркотиками. Просто удивительно, что бедолага не превратился в законченного наркомана.

Но страшнее всего стало, по словам доктора, когда труп задергался, едва Генри принялся закачивать в него бальзамирующую жидкость. Он как раз похвалялся своим отличным новым составом, опробованным на собаках да кошках, когда вдруг труп Тома начал корчиться, будто живой, и словно бы отбиваться. Силы небесные! Док говорит, он прям остоленел от страха, хотя и знал, что с покойниками такое порой случается на первой стадии окоченения. Короче говоря, сэр, труп приподнялся, вцепился Торндайку в руку да так вывернул, что шприц воткнулся в плечо самого Генри, который мигом получил изрядную дозу своей собственной бальзамирующей жидкости. Генри не на шутку испугался, но живо выдернул иглу, умудрился уложить труп обратно и накачал своим составом до отказа. Он раз за разом набирал в шприц препарат, словно для пущей верности, и все успокаивал себя вслух: мол, в него попало-то всего ничего. Но тут полоумный Джонни принялся вопить: «Ага, ты то же самое вколол собаке Лайджа Хопкинса — и она сперва околела и окоченела, а потом взяла и ожила. Теперь ты тоже помрешь

и окоченеешь, как Том Спрэг! Только твой состав, сам знаешь, действует не сразу, а спустя долгое время, если доза маленькая».

Софи тогда сидела внизу, с соседями — моя жена Матильда, которая вот уж тридцать лет как преставилась, тоже там была. Они все пытались выяснить, находился ли здесь Торндайк, когда Том вернулся, и не оттого ли бедняга дал дуба, что застал здесь своего заклятого врага. Надобно заметить, многих удивляло, что Софи не особо убивается по брату и не обращает внимания на гнусные ухмылки Торндайка. Иные намекали, что Генри пособил Тому отправиться к праотцам при помощи своих диковинных препаратов да шприцев и что Софи будет держать язык за зубами, даже если подозревает такое, но вы ведь знаете: всегда найдутся любители посплетничать за спиной у человека. Мы все знали, что Торндайк ненавидел Тома лютой ненавистью — и, кстати, не без причины. И Эмили Барбур сказала тогда моей Матильде: повезло, мол, Генри, что старый доктор Пратт тотчас явился и засвидетельствовал смерть — по крайней мере, теперь ни у кого и тени сомнения не останется.

Дойдя до этого места рассказа, старый Кальвин обычно начинает неразборчиво бормотать что-то в грязную седую бороду. Почти все слушатели опасливо отодвигаются от него, но он, похоже, ничего не замечает. Как правило, дальше повествование продолжает Фред Пек, который во время описываемых событий еще пешком под стол ходил.

Хоронили Тома Спрэга 17 июня, в четверг, всего через два дня после смерти. В Стиллуотере — глухой деревушке, до которой и из ближайших-то селений путь неблизкий, — подобную спешку сочли почти неприличной, но Торндайк твердо заявил, что ввиду особого состояния тела усопшего медлить никак нельзя. С самого момента обработки трупа гробовщик заметно нервничал и часто щупал свой пульс. Старый доктор Пратт решил, что он беспокоится по поводу случайно полученной инъекции бальзамирующей жидкости. Само собой, история про «ожившего от укола мертвеца» быстро распространилась по всей округе, и потому собравшийся на похороны народ просто горел желанием утолить свое любопытство и нездоровый интерес.

Торндайк, несмотря на явно подавленное настроение, казалось, твердо вознамерился исполнить свои профессиональные

обязанности наилучшим образом. Софи и все прочие обомлели от изумления при виде покойника, что лежал в гробу как живой. А виртуоз погребального дела, дабы закрепить превосходный результат своих усилий, время от времени вкалывал «клиенту» какой-то препарат. Он даже вызвал нечто вроде восхищения у местных жителей и приезжих, хотя и несколько подпортил впечатление своей хвастливой и бестактной болтовней. Подступая со шприцем к своему безмолвному подопечному, он всякий раз пускался в обычные для него дурацкие рассуждения о том, сколь великое благо иметь в своем распоряжении первоклассного гробовщика. «А что, если бы Том, — говорил он, обращаясь словно бы непосредственно к трупу, — попался в руки одному из халтурщиков, которые хоронят своих клиентов живьем?» И он без устали расписывал ужасы погребения заживо, внушая невольным слушателям страх и отвращение.

Заупокойную службу проводили в душевной большой комнате, открытой впервые со времени смерти миссис Спрэг. Заунывно стонала расстроенная фисгармония, и гроб, установленный на козлах близ двери, был сплошь усыпан цветами, источавшими тошнотворно-приторный аромат. На похороны собралось рекордное количество народа со всей округи, и Софи старалась сохранять приличествующий случаю горестный вид, дабы присутствующие не остались разочарованными. Но временами она все же забывалась, и тогда на лице у нее проступали недоумение и тревога, а пристальный взгляд устремлялся то на гробовщика, охваченного нездоровым возбуждением, то на покойного брата, что лежал в гробу ну совсем как живой. Казалось, в душе у нее медленно нарастало отвращение к Торндайку, и соседи в открытую шептались, что теперь, когда Том помер, она даст Генри от ворот поворот — если сумеет, конечно, ибо от таких пройдох отделаться непросто. Но Софи — женщина не бедная и еще вполне привлекательная — наверняка вскорости найдет себе другого мужчину, который и отвадит Генри.

Когда фисгармония прохрипела вступительные такты «Далекого прекрасного острова», к ужасной какофонии присоединились заунывные голоса методистского хора, и все обратили почтительные взоры к отцу Ливитту — все, кроме полоумного

Джонни Доу, который неотрывно смотрел на неподвижное тело под стеклянной крышкой гроба и бормотал что-то себе под нос.

Стивен Барбур, владелец соседней фермы, единственный из всех обратил внимание на Джонни и невольно поежился, увидев, как полудурок разговаривает с трупом и даже делает неприличные знаки пальцами, словно насмехаясь над усопшим. Бедному Джонни, вспомнил он, не раз доставалось от Тома на орехи, хотя и за дело, надо полагать. Все происходящее здорово действовало Стивену на нервы. В воздухе чувствовалось гнетущее нездоровое напряжение, причина которого оставалась непонятной. Зря, наверное, Джонни пустили в дом — и не странно ли, что Торндайк старательно избегает смотреть на труп? Время от времени гробовщик с озабоченным видом щупал свой пульс.

Преподобный Сайлас Этвуд напевным речитативом произнес поминальное слово — о разящем мече Смерти, что обрушился на маленькое семейство и пресек земные узы, связывавшие любящих брата и сестру. Несколько присутствовавших украдкой переглянулись, а Софи вдруг истерически разрыдалась. Торндайк приблизился к ней и попытался успокоить, но она невесть почему отшатнулась от него. Он двигался медленно, скованно и, похоже, остро ощущал нездоровое напряжение, разлитое в воздухе. Наконец, памятуя о своих обязанностях распорядителя, он выступил вперед и замогильным голосом объявил о начале процедуры прощания с телом.

Друзья и соседи покойного потянулись медленной вереницей мимо гроба, от которого Торндайк грубо оттащил полоумного Джонни. Казалось, Том спал мирным сном. При жизни малый был весьма недурен собой. В ходе прощания раздалось несколько неподдельных всхлипов и много притворных, хотя большинство присутствовавших довольствовались тем, что с любопытством гаращились на мертвеца и принимались возбужденно перешептываться друг с другом, едва выйдя за дверь. Стив Барбур долго стоял у гроба, пристально вглядываясь в неподвижное лицо, а потом отошел, с сомнением покачивая головой. Его жена Эмили, следовавшая сразу за ним, по выходе из гостинной шепотом сказала, что Генри Торндайку лучше бы не похваляться столь неумеренно своей работой, ибо глаза у Тома

открылись. В начале поминальной службы они были закрыты — она точно видела. Но спору нет, глаза у него прям как у живого, даром что после смерти прошло целых два дня.

Здесь Фред Пек обычно умолкает, словно не желая продолжать рассказ. У слушателя возникает предчувствие, что дальше последует что-то весьма неприятное, но Пек успокоительным тоном заверяет, что на самом деле развязка истории не такая уж и страшная, как хотят представить иные. Даже Стив никогда не делился своими соображениями на сей счет, а болтовня придурковатого Джонни, разумеется, яйца выеденного не стоит.

Началось все с Луэллы Морс — истеричной старой девы, певшей в хоре. Она проходила мимо гроба в порядке очереди, но остановилась и вгляделась в лицо покойного чуть внимательнее, чем все остальные, кроме супругов Барбур. А потом вдруг пронзительно взвизгнула и упала без чувств.

Ясное дело, в гостинной моментально поднялся страшный переполох. Старый доктор Пратт протолкался к Луэлле и потребовал воды, чтобы плеснуть ей в лицо, а все прочие сгрудились вокруг, с любопытством таращась на нее и на гроб. Джонни Доу принялся бубнить себе под нос: «Он все понимает, он все слышит и все видит, но его все одно схоронят», однако к бормотанию дурачка никто не прислушался, за исключением Стива Барбура.

Буквально через минуту Луэлла начала приходить в сознание. Она не смогла толком объяснить, что именно ее напугало, а лишь повторяла шепотом: «У него был такой вид... такой вид...» Но все остальные не находили в трупe никаких перемен против прежнего — хотя он, надо сказать, с открытыми глазами и румянцем во всю щеку, представлял собой странноватое для покойника зрелище.

А потом озадаченные люди заметили нечто такое, отчего на время забыли и про Луэллу, и про покойника. Речь идет о Генри Торндайке, на которого, похоже, внезапное всеобщее смятение и толчея подействовали самым скверным образом. Очевидно, в суматохе малого сбили с ног, и теперь он корчился на полу, пытаясь приподняться и сесть. Лицо его искажала ужасная гримаса, а глаза начинали стекленеть и тускнеть. Он говорил

с огромным трудом, сдавленным, хриплым голосом, полным невыразимого отчаяния:

— Отнесите меня домой, скорее, и оставьте там. Препарат, случайно введенный мне... действует на сердце... Чертовое волнение... довершило дело... Вы подождите... подождите... не думайте, будто я умер, если я перестану подавать признаки жизни... Это всего лишь препарат... просто отнесите меня домой и подождите... Я потом очнусь, только не знаю когда... но я все время буду в сознании... буду все видеть и слышать... не заблуждайтесь на этот счет...

Когда последние слова замерли у него на устах, старый доктор Пратт склонился над ним, пощупал пульс, долго всматривался в застывшее лицо, а потом наконец покачал головой:

— Ему уже ничем не помочь, он скончался. Сердце слабое, и препарат, инъекцию которого он случайно получил, видимо, оказал губительное действие. Не знаю, что это за вещество такое.

На всех присутствовавших нашло своего рода оцепенение. Не успели предать земле одного мертвеца, как уже второй подошел! И только Стив Барбур вслух задался вопросом о странных словах, произнесенных Торндайком напоследок. Действительно ли он преставился, коли сам сказал, что лишь с виду будет похож на покойника? И коли на то пошло, не стоит ли доку Пратту еще разок хорошенько осмотреть Тома Спрэга перед погребением?

Полоумный Джонни бросился на грудь Торндайку, точно преданный пес, и жалобно заскулил:

— Ой, не закапывайте его, не надо! Он не помер вовсе — ведь собака Лайджа Хопкинса и теленок отца Ливитта не померли навсегда от уколов Генри. У него есть такое специальное лекарство, от которого, если сделать укол, ты становишься совсем как мертвый, хотя на самом деле живехонек! На вид ты мертвяк мертвяком, но все видишь, слышишь и понимаешь, а назавтра очухиваешься — и все в порядке. Не закапывайте Генри — он очнется под землей и не сумеет выбраться из могилы! Он хороший — не то что Том Спрэг! Хоть бы этот противный Том бился в гробу и задыхался много, много часов...

Но никто, кроме Стива Барбура, не обращал внимания на бедного Джонни. Да и слова самого Стива, очевидно, остались не услышанными. Все пребывали в совершенном смятении. Старый доктор Пратт производил окончательный осмотр тела и бормотал что-то насчет бланков свидетельств о смерти, а елейный пресвитер Атвуд призывал решить вопрос со вторыми похоронами. Теперь, когда Торндайк умер, нигде ближе Ратленда гробовщика не найти, но вызов городского гробовщика обойдется в кругленькую сумму, а если Торндайка не забальзамировать, неизвестно, что станет с телом в июньскую-то жару. И за отсутствием родных и близких принять решение некому, если только Софи не пожелает взять на себя такую ответственность, — но Софи неподвижно стояла в другом конце комнаты, пристально, с почти безумным видом взирая на гроб с телом брата.

Отец Ливитт, пытаясь соблюсти видимость приличий, распорядился перенести тело бедного Торндайка в гостиную по другую сторону прихожей и отправил Зинасу Уэллса и Уолтера Перкинса в дом гробовщика с наказом выбрать гроб подходящего размера. Ключ от дома нашли у Генри в кармане брюк. Джонни продолжал горестно стенать и цепляться за труп, а пресвитер Атвуд деловито выяснял вероисповедание Торндайка — ибо тот никогда не посещал местную церковь. Когда наконец собравшиеся сошлись во мнении, что ратлендские родственники Генри, ныне все покойные, были баптистами, преподобный Сайлас решил, что отцу Ливитту надлежит ограничиться короткой молитвой.

Для местных и приезжих любителей похорон тот день стал настоящим праздником. Даже Луэлла оправилась настолько, чтобы остаться. Пока остывающее и коченеющее тело Торндайка приводили в приличествующий случаю вид, дом гудел от сплетен и толков, передававшихся шепотом и полусшепотом. Джонни вытолкали за порог, что, по мнению большинства, давно следовало сделать, но его горестные вопли время от времени доносились наружу.

Когда гроб с телом Торндайка выставили для прощания рядом с гробом Томаса Спрэга, безмолвная Софи вперилась в своего усопшего поклонника столь же странным пристальным взглядом, каким прежде смотрела на брата. Она уже давно не

издавала ни звука, а смешанные чувства, отражавшиеся у нее на лице, не поддавались описанию и истолкованию. Когда все прочие удалились из комнаты, чтобы оставить ее наедине с покойными, к ней наконец вернулась способность говорить, но голос ее был столь безжизненным и невнятным, что никто не разобрал ни слова, — похоже, она обращалась сначала к одному трупу, потом к другому.

Затем присутствовавшие равнодушно разыграли по второму разу недавнее ритуальное представление — сторонний наблюдатель узрел бы в сем действе кульминацию непреднамеренной черной комедии. Снова хрипела фисгармония, снова тоскливо завывал методистский хор, снова преподобный Сайлас бубнил поминальное слово, и снова охваченные нездоровым любопытством зрители потянулись вереницей мимо печального объекта скорби — на сей раз представленного комплектом из двух деревянных пристанищ вечного покоя. Самых впечатлительных все происходящее повергало в невольную дрожь, а Стивен Барбур опять похолодел от смутного ощущения некоего запредельного, противоестественного ужаса. Господи, до чего же цветущий вид у обоих трупов... и как отчаянно бедный Торндайк умолял не принимать его за мертвого... и как он ненавидел Тома Спрэга... Но ведь против здравого смысла не попрешь — мертвец он и есть мертвец, да тут еще старый док Пратт со своей многолетней практикой... К чему беспокоиться, коли все остальные спокойны?... Том, надо думать, получил по заслугам... а если Генри и сотворил с ним какое непотребство, так теперь они квиты... и Софи наконец свободна...

Когда последние зеваки один за другим потянулись в прихожую и за порог дома, Софи снова осталась наедине с покойниками. Пресвитер Атвуд стоял посреди дороги, разговаривая с кучером катафалка с извозничьего двора Ли, а отец Ливитт подыскивал носильщиков для второй похоронной процессии. По счастью, на катафалк свободно поместятся оба гроба. Никакой нужды в спешке нет — Эд Пламмер и Итан Стоун отправятся с лопатами вперед и выроют вторую могилу. Траурный кортеж составят три наемных экипажа и сколько наберется частных повозок — ограничивать доступ народа на кладбище не имеет смысла.

И тут из гостиной, где оставалась Софи с покойниками, раздался дикий вопль. От неожиданности люди застыли на месте и вновь испытали то же чувство, какое у всех возникло, когда Луэлла громко взвизгнула и упала в обморок. Стив Барбур и отец Ливитт двинулись к дому, но еще не успели войти, когда из двери вылетела Софи, истерически рыдая и выкрикивая сдавленным голосом: «Лицо в окне!.. Лицо в окне!..»

В следующий миг из-за угла дома выступил человек с безумными глазами, чье появление не оставило никаких сомнений в причине пронзительных воплей Софи. Это и был, ясное дело, обладатель упомянутого лица — бедный дурачок Джонни, который начал прыгать и орать дурным голосом, показывая пальцем на Софи: «Она знает! Она все знает! По ней было видно, когда она смотрела на них и разговаривала с ними! Она знает, но даст закопать их в землю, чтобы они бились и задыхались в гробу... Но они будут являться ей и говорить с ней... А однажды придут за ней и утащат с собой!»

Зинас Уэллс отволоч визжащего полудурка в дровяной сарай за домом и накрепко запер там. Джонни продолжал истошно вопить и барабанить кулаками в дверь, но никто уже не обращал на него внимания. Похоронный караван построился — Софи сидела в первом по счету экипаже — и медленно тронулся к стилиуотерскому кладбищу, расположенному неподалеку от деревни.

Когда гроб с телом Томаса Спрэга опустили в могилу, пресвитер Атвуд произнес подобающие случаю слова, а ко времени, когда он умолк, Эд и Итан закончили копать могилу для Торндайка на противоположном конце кладбища — туда и переместилась вся толпа. Затем процедуру опускания гроба повторили, и отец Ливитт выступил с витиеватой надгробной речью. Люди группами потянулись прочь, и к моменту, когда мужчины вновь взялись за лопаты, с дороги уже доносился грохот отъезжающих двуколок и экипажей. Едва лишь комья земли глухо застучали по крышке гроба (первым закапывали Торндайка), Стив Барбур заметил, как на лице Софи Спрэг принялись мелькать странные эмоции — не все они поддавались истолкованию, но за всеми ними, похоже, скрывалось своего рода мрачное, извращенное тайное торжество. Стив покачал головой.

Еще до возвращения Софи с похорон Зинас сбегал к дому Спрэггов и выпустил из сарая полоумного Джонни. Бедняга тотчас помчался сломя голову на кладбище, где все еще работали могильщики и оставалось довольно много любопытных из числа участников траурной церемонии. Дожившие до наших дней свидетели и поныне содрогаются при воспоминании о том, что кричал Джонни в полузарытую могилу Тома Спрэга и как он кидался на свеженасыпанный могильный холмик Торндайка на другом конце кладбища. Джотаму Блейку, местному констеблю, пришлось силком отвести полудурка в деревенскую кутузку, и душераздирающие вопли последнего еще долго разносились окрест жутковатым эхом.

Здесь Фред Пек обычно заканчивает свой рассказ. «Вот, собственно, и все, — говорит он. — То была ужасная трагедия, и стоит ли удивляться, что Софи малость повредилась умом после таких событий?» Если к тому времени Кальвин Уилер уже уковылял домой ввиду позднего часа, слушатель больше ничего не узнает, но если старик все еще находится рядом, он непременно продолжает повествование до жути многозначительным злоеющим шепотом. Иные люди потом боятся ходить мимо кладбища и дома с закрытыми ставнями, особенно после наступления темноты.

— О-хо-хо... Фред ведь тогда еще совсем несмышленным мальцом был и ничего толком не помнит! Вы хотите знать, почему Софи держит ставни наглухо закрытыми и почему полоумный Джонни по сей день с покойниками разговаривает да орет у нее под окнами? Не знаю, сэр, досконально ли мне все известно, но что я самолично видел и слышал — про то расскажу. — Тут старик выплевывает жевательный табак, подается вперед и хватает слушателя за лацкан пиджака. — В общем, такой же ночью — уже под утро, то бишь часов через восемь после похорон, — в доме Софи раздался дикий крик. Мы все тотчас проснулись — Стив с Эмили да мы с Матильдой — и мигом примчались туда, прям в исподнем. На полу в гостиной лежала без чувств Софи, полностью одетая. По счастью, дверь оказалась незапертой. Бедняжка дрожала как осиновый лист, когда оклемалась, и не отвечала ни на какие наши вопросы. Матильда и Эмили принялись наперебой ее успокаивать, но Стив промеж

делом нашептал мне такого, отчего мне стало здорово не по себе. Где-то через час, когда мы уже засобирались домой, Софи вдруг наклонила эдак голову набок и вроде как начала прислушиваться. А потом, совершенно неожиданно, опять завопила дурным голосом и хлопнулась в обморок.

Я вам, сэр, рассказываю все как было — я не стану строить разные догадки, как сделал бы Стив Барбур, кабы у него хватило духа. Вот уж кто любил стращать всех туманными намеками да темными недомолвками... он десять лет как помер от воспаления легких.

А напугал Софи до обморока, разумеется, бедный дурачок Джонни. От дома до кладбища не больше мили, и малый, по всему, сбежал из кутузки через окно, хотя констебль Блейк и уверял, что он всю ночь просидел под замком. С той поры горемыка и шастает по кладбищу целыми днями, разговаривая с двумя мертвецами, — могилу Тома топчет ногами да осыпает бранью, а на могилу Генри возлагает цветы и разные прочие подношения. А все остальное время он болтается под наглухо закрытыми окнами Софи и орет, что, мол, скоро за ней кое-кто явится да утащит с собой.

Она никогда больше и близко не подходила к кладбищу, а нынче вообще за порог носу не высовывает и ни с кем не видится. После тех событий она стала говорить, что на Стилуютере лежит проклятие, — и коли посмотришь, как паршиво у нас идут дела в последнее время, поневоле задумаешься, а не права ли она? В доме же самой Софи и вправду постоянно творится что-то странное. Как-то раз — году в девяносто седьмом или девяносто восьмом, кажется, — зашедшая к ней в гости Салли Хопкинс своими ушами слышала, как ставни вдруг загремели, будто по ним кто кулаком колотил. А Джонни тогда сидел под замком — по крайней мере, констебль Додж клялся и божился, что так оно и было. Но я лично не беру на веру бабьи рассказы про всякие там загадочные шорохи и стуки, что раздаются на кладбище каждый год 17 июня, или про тускло светящиеся фигуры, которые пробуют открыть дверь и ставни в доме Софи часа в два пополуночи.

Видите ли, именно около двух часов пополуночи в первую ночь после похорон Софи и услышала звуки, напугавшие ее до

обморока. Мы со Стивом и Матильда с Эмили тоже немного погода слышали какой-то шум, только далекий, слабый, как я уже сказал. Но повторю еще раз: то наверняка полоумный Джонни бесновался на кладбище, что бы там ни говорил Джотам Блейк. Человеческий голос на таком расстоянии не распознать, а поскольку у всех у нас тогда голова была забита несусветной чушью, оно и неудивительно, что нам померещились два голоса — причем такие, которые вроде уже и умолкли на веки.

Стив после утверждал, что расслышал больше моего. Думаю, он все-таки верил в призраков. Матильда и Эмили тогда так перепугались, что потом ничего толком не помнили. И странное дело: кроме нас, ни один человек во всей деревне не слышал ничего особенного — если, конечно, кто-нибудь еще бодрствовал в тот глухой ночной час.

Шум был такой слабый, что сошел бы за шум ветра, когда бы в нем не угадывались слова. Несколько из них я разобрал, но я вовсе не уверен, действительно ли Стив слышал все то, что повторил мне после...

Слова «дьяволица... все время... Генри... живой» я отчетливо расслышал. И еще «ты знаешь... обещала помочь... избавиться от него... меня похоронить», произнесенные уже вроде бы другим голосом. И потом еще такой ужасный, леденящий душу вопль: «Придут за тобой!» — но почему бы не предположить, что то вопил Джонни?

Эй, куда же вы? С чего вдруг так заспешили? Я ведь мог бы еще много чего рассказать...

ДНЕВНИК АЛОНЗО ТАЙПЕРА

(с Уильямом Ламли)

ПРИМЕЧАНИЕ ИЗДАТЕЛЯ. Алонзо Хасбрука Тайпера из Кингстона, штат Нью-Йорк, в последний раз видели и опознали 17 апреля 1908 года, около полудня, в отеле «Ричмонд» в Батавии. Он являлся последним представителем старинного рода из округа Ольстер; к моменту исчезновения ему было пятьдесят три года.

Мистер Тайпер получил домашнее образование и впоследствии окончил Колумбийский и Гейдельбергский университеты. Он всю жизнь занимался наукой, и в сферу его исследовательской деятельности входили различные области тайного пограничного знания, внушающего страх большинству людей. Свои статьи о вампиризме, вурдалаках и феномене полтергейста, отвергнутые многими издателями, сей ученый опубликовал частным порядком. В 1902 году, после ряда ожесточенных дискуссий с коллегами, он вышел из Общества психических исследований.

Мистер Тайпер много путешествовал по миру, порой надолго исчезая из поля зрения. Доподлинно известно, что он посещал малоизвестные области Непала, Индии, Тибета и Индокитая, а почти весь 1899 год провел на загадочном острове Пасхи. Масштабные поиски без вести пропавшего мистера Тайпера остались безрезультатными, и все его состояние было поделено между дальними родственниками, проживавшими в Нью-Йорке.

Представленный здесь дневник был найден, как утверждают, среди развалин большого загородного дома в окрестностях Аттики, штат Нью-Йорк. Дом этот пользовался дурной славой на протяжении многих поколений — построенный в далеком прошлом, еще до массового освоения данной территории белыми поселенцами, он служил обиталищем странного и нелюдимо

семейства Ван дер Хейл, в 1746 году перебравшегося сюда из Олбани, где его не без оснований подозревали в колдовстве. Здание датируется примерно 1760 годом.

О семейной истории Ван дер Хейлов мало чего известно, ибо они совершенно не общались со своими соседями, в слугах держали негров, привезенных прямо из Африки и почти не говоривших по-английски, а детей обучали на дому и впоследствии отсылали в европейские университеты. Члены семейства, покидавшие родной дом, в скором времени пропадали из поля зрения, но прежде успевали приобрести скверную репутацию в силу своей принадлежности к различным сатанинским сектам и еще более нечестивым культам.

С течением лет рядом с мрачным особняком возникла беспорядочно раскинувшаяся деревушка с диковинным названием Чоразин, первоначально населенная индейцами, а позже — разным сбродом со всей округи. Этнологи написали несколько монографий об особых наследственных чертах, после проявившихся у чоразинцев смешанных кровей. Сразу за деревней, в пределах видимости от дома Ван дер Хейлов, возвышается крутой холм, увенчанный странным древним сооружением из вертикально установленных по кругу громадных камней, которое всегда вызывало страх и отвращение у местных ирокезов. Происхождение и назначение сей каменной постройки, возведенной, согласно археологическим и климатологическим данным, в незапамятной древности, и поныне остаются загадкой.

Примерно с 1795 года среди первых поселенцев и жителей округи, обосновавшихся здесь позднее, начали ходить слухи о странных криках и монотонном пении, которые в определенное время года доносятся из Чоразина, из огромного дома и с вершины упомянутого холма, — хотя есть основания полагать, что шумы подобного рода прекратились после 1872 года, когда все семейство Ван дер Хейл — вместе со слугами и домочадцами — внезапно исчезло без следа.

С той поры дом стоял заброшенным, ибо все попытки последующих владельцев или приезжих любителей достопримечательностей остановиться в нем неизбежно заканчивались различными несчастьями, включая три необъяснимых смерти, пять бесследных исчезновений и четыре случая внезапного помеша-

тельства. Дом, деревня и обширные окрестные угодья перешли в собственность штата и были проданы с торгов, когда поиски наследников из рода Ван дер Хейл не дали результата. В 1890 году последние владельцы (Чарльз А. Шилдс, ныне покойный, и его сын Оскар С. Шилдс, уроженцы Буффало) бросили поместье в крайне запущенном состоянии и настойчиво советовали всем, кто про него спрашивал, не соваться в тамошние края.

Насколько известно, в течение последних сорока лет в дом наведывались преимущественно ученые-окультисты, полицейские, газетчики да чудаковатые иностранцы. Среди последних был один таинственный азиат — предположительно родом из Кохинхины, — чье исчезновение и последующее появление с напроць отшибленной памятью и странными телесными увечьями вызвало много шума в прессе в 1903 году.

Дневник мистера Тайпера — книжица размером шесть на три с половиной дюйма, со страницами из плотной бумаги и чрезвычайно прочным переплетом из тонкого листового металла — был обнаружен у одного из чоразинцев 16 ноября 1935 года представителем полицейского управления штата, присланным проверить слухи об обрушении заброшенного особняка Ван дер Хейлов. Здание действительно обвалилось — несомненно, по причине крайней ветхости — во время сильной бури, разыгравшейся 12 ноября. Оно удивительным образом рассыпалось до самого основания, и в течение нескольких последующих недель произвести тщательный осмотр руин не представлялось возможным. Джон Игл — смуглый, обезьянолицый, похожий на индейца мужчина, в чьем владении оказался дневник, — сказал, что нашел книжицу у самой поверхности развалин: видимо, она хранилась в одной из верхних комнат в передней части здания.

Из предметов обстановки и прочих вещей, содержавшихся в доме, в целости не осталось почти ничего, однако огромный подвальный отсек с толстыми и на редкость прочными кирпичными сводами (древнюю железную дверь, ведущую в него, пришлось взорвать, поскольку крепкий замок диковинной конструкции решительно не желал отмыкаться) совершенно не пострадал, и там обнаружилось кое-что странное. Во-первых, стены в нем были испещрены и поныне нерасшифрованными иероглифами, грубо вырезанными на кирпичной кладке. Во-вторых,

в глубине помещения находилось громадное круглое отверстие, заваленное обломками, образовавшимися, по всей видимости, в результате обрушения здания.

Но самое сильное недоумение вызывали явно *свежие* отложения вонючего, слизистого, угольно-черного вещества, которые тянулись по мощенному плитняком полу сплошной неровной полосой шириной в ярд, начинавшейся у края заваленного круглого отверстия. Люди, зашедшие в этот подвальный отсек первыми, говорили, что там пахло, как в серпентарии зоосада.

Дневник, видимо изначально предназначенный единственно для описания предпринятых мистером Тайпером исследований жуткого дома Ван дер Хейлов, был признан подлинным по результатам графологической экспертизы. Почерк свидетельствует о неуклонно возраставшем нервном напряжении автора и ближе к концу местами становится почти неразборчивым. Жители Чоразина — чьи тупость и скрытность сильно осложняют работу всем ученым, исследующим данную местность и ее тайны, — утверждают, что не запомнили мистера Тайпера среди прочих безрассудных посетителей ужасного особняка.

Текст дневника приводится здесь дословно и без каких-либо комментариев. Пусть читатель сам решает, как толковать записи и о чем, помимо безумия автора, они свидетельствуют. Только будущее покажет, имеют ли они значение для разгадки древней тайны. Следует заметить, что специалисты по генеалогии подтверждают правильность запоздалых умозаключений мистера Тайпера относительно личности *Адриана Слейта*.

ДНЕВНИК

17 апреля 1908 г.

Прибыл на место около шести часов вечера. От Аттики пришлось добираться пешком, и я едва успел до начала грозы, ибо никто не согласился дать мне в наем лошадь или конную повозку, а водить автомобиль я не умею. Особняк Ван дер Хейлов оказался даже ужаснее, чем я ожидал, и мысль о грядущих событиях пугает меня, несмотря на мое нетерпеливое желание разгадать тайну. Скоро, очень скоро наступит страшная ночь — Вальпургиева ночь, древний ведьмовской шабаш, — и после той

истории в Уэльсе я знаю, чего ждать. Что бы ни случилось, я не отступлю. Движимый неким непостижимым стремлением, я посвятил всю свою жизнь исследованию нечестивых тайн. Я явился сюда только за этим и безропотно приму любой жребий.

Когда я добрался до Чоразина, уже совсем стемнело, хотя до захода солнца еще оставалось изрядно времени. Никогда прежде я не видел столь плотных грозовых туч, сплошь заволакивающих небо, и, если бы не вспышки молний, я бы наверняка заблудился во мраке. Крохотная глухая деревушка производит отвратительное впечатление, а немногочисленные местные жители смахивают на клинических идиотов. Один из них поприветствовал меня, будто старого знакомого. Окрестности я разглядел плохо — это маленькая заболоченная долина, заросшая странным коричневым тростником да трухлявыми грибами и окруженная чахлыми, кривыми деревьями с голыми ветвями. А за деревней возвышается сумрачный холм, увенчанный загадочным сооружением из установленных по кругу громадных камней, с еще одним камнем в центре. Вне всяких сомнений, это и есть ужасная доисторическая постройка, о которой рассказывал мне В*** при нашей встрече в Н...естбате.

Огромный особняк стоит посреди парка, сплошь заросшего какой-то диковинной разновидностью шиповника. Я с трудом продрался сквозь заросли и при виде древнего ветхого строения на несколько мгновений замер в нерешительности, страшась войти внутрь. Дом казался чудовищно запущенным и грязным, и я подивился, как такое насквозь прогнившее здание до сих пор еще не развалилось. Оно целиком деревянное, и, хотя его первоначальные контуры скрыты за беспорядочным нагромождением разнообразных пристроек, добавленных в позднейшие периоды, мне думается, в свое время оно строилось в традиционном колониальном стиле Новой Англии. Вероятно, соорудить такой дом было проще, чем каменный голландского типа, — к тому же, помнится, жена Дирка Ван дер Хейла являлась уроженкой Салема, дочерью нечестивого Абаддона Кори. Едва я поднялся на маленькую крытую веранду, как разразилась яростная гроза: непроглядная темень, проливной дождь, гром и молния, ураганный ветер, будто когтями рвавший на мне одежду, — в общем, чистое светопреставление. Дверь оказалась незапертой, и, до-

став электрический фонарик, я зашел внутрь. Пыль толстым — в несколько дюймов — слоем покрывала пол и мебель, и там стоял затхлый запах плесени, точно в сыром склепе. Длинный холл тянулся через весь дом, а справа от входа находилась закругленная лестница. Я осторожно поднялся по хлипким ступеням на второй этаж и расположился в одной из комнат в передней части здания. Похоже, дом полностью обставлен, хотя почти вся мебель разваливается от ветхости. Я пишу это в восемь часов вечера, после холодного ужина из прихваченных с собой съестных припасов. В дальнейшем продукты мне будут приносить деревенские жители — правда, они отказались заходить дальше полуразрушенных ворот парка. *Покамест* нельзя, говорят они. Очень хотелось бы избавиться от неприятного ощущения, что все здесь мне знакомо.

Позже вечером

Я чувствую присутствие в доме нескольких таинственных сущностей. Одна из них настроена ко мне явно враждебно — некая злая воля, стремящаяся сломить меня и взять надо мной верх. Я должен собрать все силы и сопротивляться, ни на миг не давая слабину. Мой противник является воплощением безмерного зла и обладает определенно нечеловеческой природой. Думаю, он связан с некими неземными силами, населяющими неведомые пространства вне времени и за пределами Вселенной. Он возвышается подобно могучему колоссу, подтверждая все сказанное о нем в записях на языке Акло. Явственно ощущая громадность его размеров, я не могу понять, каким образом столь гигантское тело вмещается в комнаты — хотя зримо-го тела у него нет. Возраст его, надо полагать, бесконечно древний — чудовищно, невообразимо древний.

18 апреля

Ночью почти не спал. В три часа пополуночи над округой повеял легкий, вкрадчивый ветер, который крепчал с каждой минутой и вскоре достиг ураганной силы, так что стены ветхого дома стали сотрясаться. Когда я пошел вниз с намерением крепко затворить гремющую входную дверь, темнота словно бы сгустилась в полузримые формы — по крайней мере, в моем во-

ображении. Едва начав спускаться по лестнице, я почувствовал сильный толчок в спину — полагаю, то был ветер, хотя я готов поклясться, что различил расплывчатые очертания громадной черной лапы, когда быстро обернулся. Однако я удержался на ногах, благополучно спустился вниз и задвинул тяжелый засов ходящей ходуном двери.

Вообще-то, я собирался обследовать дом только на рассвете, но теперь, оставив всякую надежду заснуть и подстрекаемый смешанным чувством страха и любопытства, я решил приступить к делу безотлагательно. По щиколотку утопая в пыли, я со своим мощным фонарем двинулся к большой гостиной в южной части дома, где с уверенностью рассчитывал найти портреты. Они действительно оказались там — как говорил мне В*** и как мне, похоже, было известно из какого-то другого, ныне забытого источника. Иные холсты потемнели от времени, покрылись плесенью и пылью до такой степени, что разглядеть на них что-либо толком не представлялось возможным, но на портретах, сохранившихся в чуть лучшем состоянии, я безошибочно распознал представителей отвратительного семейства Ван дер Хейл. Лица на нескольких полотнах показались мне смутно знакомыми, но *кому именно* они принадлежали, я так и не вспомнил.

Яснее прочих угадывались черты отвратительного урода Жориса, произведенного на свет в 1773 году младшей дочерью старого Дирка, — я отчетливо разглядел зеленые глаза и по-змеиному сплюснутое жестокое лицо. Каждый раз, когда я выключал фонарик, это лицо продолжало маячить передо мной в темноте бледным пятном, и под конец мне померещилось, будто оно источает слабое зеленоватое сияние. Чем дольше я смотрел на него, тем более злобным оно казалось, и я отвернулся прочь, чтобы избавиться от впечатления, будто оно оживает и меняет выражение.

Но портрет, к которому я повернулся, оказался еще отвратительнее. Вытянутая угрюмая физиономия, близко посаженные крохотные глазки и свиноподобные черты сразу вызвали единственно возможную ассоциацию, хотя художник и постарался придать мерзкому рылу сходство с человеческим лицом. Так вот о чем шептал мне В***. Охваченный ужасом, я устался

на портрет, и мне почудилось, будто глаза на холсте замерцали зловещим красноватым огнем, а традиционный портретный фон на несколько мгновений сменился диковинным и неуместным пейзажем: унылая болотистая пустошь под грязно-желтым небом, покрытая чахлым терновым кустарником. Опасаясь за свой рассудок, я бросился прочь из проклятой галереи и поспешил наверх, в более или менее очищенную от пыли комнату, где я временно обосновался.

Позже днем

Решил обследовать лабиринтообразные флигели при свете дня. Заблудиться здесь я не боюсь: мои следы хорошо видны в глубокой пыли, а при необходимости можно найти и другие ориентиры. Я на удивление быстро запомнил все замысловатые изгибы и повороты коридоров. Дойдя до конца длинного северного крыла дома, я наткнулся на запертую дверь, которую без труда взломал. За ней оказалась тесно заставленная мебелью крохотная комнатка с источенными червем стенными панелями. В наружной стене, за изгнившей деревянной обшивкой, я заметил темный проем и таким образом обнаружил узкий потайной ход, ведущий вниз, в неведомые черные недра. Он представлял собой крутой спускной желоб или туннель без ступенек и поручней, и я задался вопросом о его назначении.

Над камином висела тронутая плесенью картина, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся портретом молодой женщины в платье конца восемнадцатого века. Лицо у нее классически красивое, но имеет чудовищно злое выражение, какого я никогда в жизни не встречал у людей. Тонкие изящные черты не просто отмечены печатью бессердечия, алчности и жестокости, но отражают некое ужасное свойство натуры, недоступное человеческому пониманию. И когда я вгляделся в портрет пристальнее, мне показалось, что художник — или же медленный процесс плесневения и порчи — придал бледному лицу нездоровый зеленоватый оттенок и едва заметную чешуйчатую фактуру. Потом я поднялся на чердак, где обнаружил несколько сундуков со странными книгами — многие из них по внешнему виду и характеру письменных знаков совершенно непохожи на известные нам образцы печатной продукции. В одной из них со-

держались варианты формул на Акло, о существовании которых я даже не догадывался. Я еще не обследовал пыльные книжные полки внизу.

19 апреля

В доме точно обитает еще кто-то или что-то, хотя пока я не видел на пыльных полах никаких следов, кроме своих собственных. Вчера прорубил в зарослях шиповника проход к воротам парка, где местные жители оставляют для меня продукты, но к сегодняшнему утру он зарос. Очень странно, ибо брожение весенних соков в кустах еще толком не началось. И вновь у меня возникло ощущение близкого присутствия некоего гигантского существа, едва уместящегося в комнатах. На сей раз я уверен, что здесь находится несколько существ таких размеров, и теперь я точно знаю, что по совершении третьего ритуала, описанного на Акло (я прочел это в найденной на чердаке книге), они станут осязаемыми и зримыми. Осмелюсь ли я провести подобную материализацию, еще неизвестно. Риск слишком велик.

Сегодня ночью я стал замечать в темных углах коридоров и комнат сотканые из тени лица и фигуры, на миг возникающие и тут же тающие во мраке, — лица и фигуры столь ужасные и отвратительные, что я не смею описать их здесь. Похоже, они обладают той же природой, что и громадная черная лапа, пытавшаяся столкнуть меня с лестницы, и наверняка являются плодом моего взбудораженного воображения. То, что я ищу, определенно выглядит несколько иначе. Я уже не раз замечал лапу — иногда одну, иногда в паре с другой такой же, — но решил впредь не обращать внимания на все явления такого рода.

Сегодня вскоре после полудня я впервые обследовал подвал — спустился туда по приставной лестнице, найденной в кладовой, ибо ведущие вниз деревянные ступени сгнили подчистую. Стены, пол и потолок там сплошь покрыты кристаллической коркой солевых отложений, а на месте различных предметов, подвергшихся процессу разложения, остались лишь бесформенные кучки трухи. В дальнем конце подвала начинается узкий коридор — он тянется, похоже, под северным крылом здания, где я обнаружил и вскрыл загадочную комнатуху, и упирается в толстую кирпичную стену с запертой железной дверью.

Стена с дверью, судя по ряду признаков, датируется восемнадцатым веком и, видимо, возводилась одновременно с самыми первыми пристройками к дому, то есть еще до Революции. На замке — явно более древнем, чем сама дверь, — выгравированы некие символы, расшифровать которые я не в силах.

В*** ничего не говорил мне про запертое подвальное помещение. Оно вызывает у меня больше тревоги, чем все увиденное здесь прежде: каждый раз, приближаясь к нему, я испытываю непреодолимое желание *прислушаться* к чему-то. За все время моего пребывания в этом зловещем доме здесь ни разу еще не раздавалось никаких *посторонних* звуков. Покидая подвал, я сильно пожалел об отсутствии нормальной лестницы — подъем по приставной казался мучительно медленным. У меня нет ни малейшего желания спускаться вниз еще раз — однако какой-то бес будто подталкивает меня навестить туда *ночью*, если я хочу узнать то, что должно знать.

20 апреля

Нынче ночью я погрузился в пучину ужаса — и понял, что она поистине бездонна. Не в силах противиться искушению, я вскоре после полуночи спустился с фонариком в проклятый подвал и, осторожно ступая между бесформенными кучками трухи, прокрался на цыпочках к запертой двери в ужасной кирпичной стене. Я не издал ни звука и не прошептал ни одного из известных мне заклинаний, но весь обратился в слух — и прислушивался напряженно, до звона в ушах.

Наконец за обшитой листовым железом массивной дверью раздался шум: глухие грузные шаги и невнятное ворчанье, словно там пробудились ото сна и зашевелились некие гигантские ночные существа. И еще леденящий душу тяжелый шорох, словно громадная змея или морской дракон волочет по каменному полу свое чудовищное извивающееся тело. Парализованный страхом, я взглянул на огромный ржавый замок с выгравированными на нем таинственными иероглифами. Я в жизни не видел ничего похожего на них, и еле уловимое сходство этих знаков с графемами старомонгольского письма наводило на мысль о невероятной, невыразимой их древности. Порой мне чудилось, будто они источают слабое зеленоватое сияние.

Я повернулся, готовый удариться в бегство, но вдруг увидел перед собой призрачные гигантские лапы — огромные когти, казалось, увеличивались и становились все более осязаемыми у меня на глазах. Они тянулись ко мне из зловещей тьмы, с жуткой целеустремленностью шаря в воздухе, и за ними смутно угадывались чешуйчатые запястья. Потом позади меня — в кошмарном помещении за железной дверью — вдруг раздался приглушенный протяжный рокот, похожий на эхо громовых раскатов, докатившееся от далекого горизонта. Подгоняемый новым, еще более сильным приступом страха, я шагнул навстречу призрачным лапам, вскинув фонарик, и они исчезли в ярком луче электрического света. Потом я торопливо вскарабкался по приставной лестнице, зажав фонарик в зубах, опрометью ринулся прочь и остановился отдышаться только в своем временном убежище на втором этаже.

Чем все закончится для меня, я боюсь даже представить. Я явился сюда как преследователь, но теперь знаю: кто-то или что-то преследует меня. Я не смог бы убраться отсюда при всем своем желании. Сегодня утром хотел пройти к парковым воротам за продуктами, но обнаружил, что частые ветки кустарника плотно переплелись на моем пути. И так оказалось повсюду — позади особняка и со всех сторон от него. Местами коричневые колючие лозы выпрямились и поднялись поразительно высоко, образуя непроходимую живую изгородь, подобную стальной стене. Деревенские жители явно замешаны во всем этом. Вернувшись в дом, я нашел в переднем холле предназначенные мне съестные припасы, но как они сюда попали — ума не приложу. Теперь я жалею, что накануне подмел пол. Я насыплю у входной двери пыли и посмотрю, останутся ли там какие следы.

Сегодня днем просмотрел несколько книг в огромной сумрачной библиотеке, расположенной в глубине дома на первом этаже, и у меня появились кое-какие подозрения, о которых мне боязно даже обмолвиться. Я никогда прежде не видел текстов «Пнакотических рукописей» или «Илтдаунских табличек», и я в жизни не сунулся бы сюда, когда бы знал, что в них содержится. Полагаю, теперь уже слишком поздно — ведь до ужасного шабаша осталось всего десять дней. Именно для той кошмарной ночи *они* и приберегают меня.

21 апреля

Снова рассматривал портреты. Часть из них снабжена табличками с именами, и один — с изображением женщины отталкивающей наружности, написанный лет двести назад, — озадачил меня. Под ним я прочитал имя «Тринтия Ван дер Хейл-Слейт», и у меня возникло четкое ощущение, что фамилия Слейт встречалась мне раньше в связи с какими-то важными обстоятельствами. Только тогда она звучала не столь зловеще, как сейчас. Надо будет хорошенько покопаться в памяти.

Глаза портретов не дают мне покоя. Возможно ли, чтобы на иных холстах они проступали до жути отчетливо из-под покрова пыли и плесени? Змеемордые и свинорылые колдуны и ведьмы пристально и злобно смотрят на меня из своих потемневших рам, и десятки других омерзительных харь выглядывают из-за них, постепенно проявляясь на мрачном портретном фоне. Все они отмечены жуткой печатью фамильного сходства, а человеческое существо в порочности своей всегда страшнее любого нечеловеческого. Хотелось бы, чтобы они не так сильно напоминали мне лица других людей, которых я знал в прошлом. Самым гнусным представителем этого проклятого рода был Корнелис Лейденский. Именно он разрушил запретный барьер, когда его отец нашел тот, другой ключ к тайне. Вне всяких сомнений, В*** знает лишь часть ужасной правды, а значит я совершенно неподготовлен и беззащитен. Что за люди такие были в этом роду до старого Клаэса? То, что он совершил в 1591 году, невозможно было сотворить без темного знания, накопленного многими поколениями предков, или без некой связи с внешними силами. А что случилось с многочисленными потомками этого чудовищного рода? Может, они рассеялись по миру и ныне все нетерпеливо ждут общего страшного наследства? Я непременно должен вспомнить, где именно и в связи с какими обстоятельствами мне встречалась фамилия Слейт.

Хотелось бы знать с уверенностью, что портреты никогда не выйдут из своих рам. Вот уже несколько часов подряд перед моим взором проплывают и исчезают призрачные видения, по природе своей подобные черным лапам да сотканным из тени лицам и фигурам, являвшимся мне прежде, но в точности похожим на людей, изображенных на старинных холстах. Почему-то

мне никак не удастся увидеть одновременно портрет и его призрачного двойника — каждый раз либо один из них оказывается в густой тени, либо они находятся в разных комнатах.

Возможно, как я и надеялся, все эти призраки — просто плод моего воображения, но теперь меня одолевают сомнения на сей счет. Иные из них — женщины, причем красивые той же дьявольской красотой, что и особа, изображенная на холсте в запертой комнатушке. Другие же не походят ни на один из виденных мной портретов, но у меня такое ощущение, будто именно их запечатленные в красках черты скрываются под слоем плесени и копоти на полотнах, которые мне не удалось разглядеть толком. Складывается жуткое впечатление, что несколько из них уже готовы материализоваться в осязаемой или полусоздаваемой форме, а иные неведь почему кажутся пугающе знакомыми.

Одна женщина своей демонической красотой превосходит всех прочих. Она со своим губительным очарованием подобна медоносному цветку, растущему на самой границе ада. Когда я пытаюсь пристально всмотреться в нее, она сразу исчезает, но немного погодя вновь появляется. Лицо у нее зеленоватого оттенка, и порой мне чудится, будто ее гладкая кожа имеет слабо выраженную чешуйчатую фактуру. Кто она такая? Не она ли жила в маленькой запертой комнате сто с лишним лет назад?

В переднем холле снова оставлены съестные припасы для меня, — несомненно, так будет продолжаться и впредь. Вчера вечером я посыпал весь пол пылью в надежде позже обнаружить там следы, но к утру холл оказался тщательно подметен неведомо чьими стараниями.

22 апреля

Сегодняшний день ознаменовался ужасным открытием. Я еще раз обследовал затянутый паутиной чердак и нашел там растрескавшийся резной сундук (явно голландской работы), полный богопротивных книг и манускриптов, гораздо более древних, чем все попадавшиеся мне здесь до сих пор. Среди них «Некрономикон» на греческом, «Livre d'Eibon» на нормандском французском и первое издание «De Vermis Mysteris» старого Людвига Принна. Но страшнее всех них — старинный манускрипт в переплете. Он написан на вульгарной латыни стран-

ным, неразборчивым почерком Клаэса Ван дер Хейла и представляет собой собрание дневниковых записей, которые последний вел в период между 1560 и 1580 годом. Когда я отомкнул застежку темного серебра и стал листать пожелтевшие страницы, из книжки выпал цветной рисунок с изображением чудовищного существа, более всего похожего на кальмара с щупальцами, клювом и огромными желтыми глазами, общие очертания которого являют собой отвратительную пародию на человеческую фигуру.

Никогда прежде не видел я столь омерзительного, столь кошмарного монстра. На верхних и нижних конечностях, а равно на головных щупальцах у него диковинные когти — при виде них мне невольно вспомнились сотканные из тени гигантские призраки, что постоянно возникали передо мной, угрожающе шаря в воздухе лапами. Само же чудовище восседает на громадном троподобном пьедестале, испещренном неведомыми иероглифами, отдаленно напоминающими китайские. И письмена, и изображенное на бумаге существо дышат злом столь безмерным и всепроникающим, что я нахожу невозможным отнести рисунок к какой-либо определенной эпохе или культуре. Скорее, этот монстр является средоточием и воплощением вселенского зла, разлитого в бескрайних пространствах прошлых и грядущих тысячелетий, а жуткие иероглифы — суть наделенные разумом гнусные символы, живущие своей собственной нечестивой жизнью и готовые в любой момент сорваться с пергамента, дабы уничтожить читателя. Что означает это чудовищное существо и каков смысл этих иероглифов, я не имею понятия, но и первое, и вторые прорисованы столь тщательно не иначе как с некой богомерзкой целью. Внимательно рассматривая зловещие знаки, я обнаруживал в них все больше сходства с наводящими ужас иероглифами, выгравированными на железном замке в подвале. Я оставил рисунок на чердаке, ибо при всем желании не смог бы заснуть, находясь он в одной комнате со мной.

Весь день и вечер читал дневник старого Клаэса Ван дер Хейла, и открывшееся мне знание омрачит и отравит непреходящим ужасом все оставшиеся дни моей жизни. Картины зарождения нашего мира и предшествовавших миров разворачивались перед

моим умственным взором. Я узнал о городе Шамбала, построенном лемурийцами пятьдесят миллионов лет назад, — защищенный мощными барьерами психической энергии, он и поныне стоит в целости и сохранности среди диких гор Востока. Я узнал о Книге «Дзиан», первые шесть глав которой написаны еще до образования Земли и которая уже была древней в незапамятные времена, когда правители Венеры преодолели космические бездны на своих кораблях, дабы принести цивилизацию на нашу планету. Я впервые увидел запечатленным на бумаге название, которое люди всегда произносят опасливым шепотом и которое я узнал лучше других и при более жутких обстоятельствах, — внушающее безмерный страх и отвращение название *Ян-Хо*.

По ходу чтения мне несколько раз приходилось останавливаться и ломать голову над темными местами, не поддающимися пониманию без ключа к смыслу написанного. В конце концов, по разным намекам и косвенным указаниям я пришел к заключению, что старый Клаэс не решился изложить все свои знания в одной книжке, но приберег ряд существенных моментов для второй. Ни один из манускриптов не понять без другого, а потому я принял твердое намерение отыскать недостающий дневник, если только он находится где-то здесь, в пределах проклятого особняка. Несмотря на свое положение пленника, я не утратил присущей мне от природы страсти к исследованию всего неизвестного и исполнен решимости возможно глубже проникнуть в тайны Вселенной, прежде чем свершится мой жребий.

23 апреля

Все утро искал второй дневник и к полудню нашел его в письменном столе в запертой комнатухе. Он также написан на вульгарной латыни и состоит, похоже, из разрозненных замечаний, относящихся к различным разделам первой части. Пролистав страницы, я мгновенно заметил ненавистное имя Ян-Хо — название канувшего в забвение, скрытого от взоров людских города, построенного в дочеловеческие времена, хранилища бесконечно древних тайн, смутные воспоминания о котором таятся в подсознании каждого человека. Оно повторяется там многократно, и текст вокруг него всякий раз испещрен грубо начер-

танными иероглифами, имеющими явное сходство с теми, что покрывают пьедестал, изображенный на найденном мной кошмарном рисунке. Очевидно, именно во втором дневнике кроется ключ к ответу на вопросы, касающиеся многощупальцевого чудовища и его запретного послания. Придя к такому заключению, я поднялся по скрипучим ступенькам на затянутый паутиной, внушающий ужас чердак.

Дверь чердака заклинило, чего не случалось прежде. Я несколько раз со всей силы наваливался на нее плечом, но все без толку, а когда она наконец подалась, у меня возникло четкое ощущение, будто некое гигантское незримое существо вдруг перестало придерживать ее изнутри — существо, которое улетело прочь на нематериальных, но шумно хлопающих по воздуху крыльях. Жуткий рисунок определенно лежал не на том месте, где я его оставил. Применив ключ, обнаруженный во второй записной книжке, я вскоре понял, что он не ведет прямиком к разгадке тайны. Это всего лишь ключ — ключ к тайне слишком страшной, чтобы оставлять ее без надежной охраны. Потребуются многие часы, если не дни, чтобы расшифровать ужасное послание.

Успею ли я разгадать тайну до своей смерти? Призрачные черные лапы все чаще и чаще возникают перед моим взором, и мне кажется, они увеличились против прежнего. И теперь меня неотступно преследуют туманные призраки чудовищных существ, чьи нематериальные тела кажутся слишком громадными, чтобы помещаться в комнатах. Время от времени передо мной проплывают беспорядочной вереницей уродливые лица и фигуры или издевательски ухмыляющиеся двойники портретов.

Воистину многие ужасные древние тайны Земли лучше оставить неразгаданными — кошмарные тайны, которые не имеют никакого отношения к роду человеческому и которые человек может постигнуть лишь ценой своего покоя и рассудка; сокровенные страшные истины, знание которых превращает любого в чужака среди людей, вершащего свой путь в одиночестве. То же касается и жутких существ, более древних и могущественных, чем человек; богомерзких существ, преодолевших безбрежные бездны времени и достигших эпох, для них не предназначенных; кошмарных монстров, что тысячелетиями дремали в немысли-

мых тайных логовах и глубоких подземных пещерах, неподвластные законам разума и причинной обусловленности, а ныне готовы пробудиться по воле кощунников, постигших их темные запретные символы и секретные пароли.

24 апреля

Весь день изучал на чердаке рисунок и ключ к загадочным письмам. На закате услышал странные незнакомые звуки, долетавшие, казалось, откуда-то издалека. Прислушавшись, я понял, что они доносятся с увенчанного кромlexом крутого холма, который возвышается за деревней к северу от особняка. Со слов В*** я знал о существовании тропы, ведущей от дома к холму с доисторическим каменным сооружением, и подозревал, что Ван дер Хейлы имели все основания пользоваться ею по определенным датам, но до сих пор особо не задумывался на сей счет. Вновь услышанные звуки представляли собой сочетание пронзительного, резкого голоса свирели с отвратительным шипением или свистом — диковинная, чуждая слуху музыка, не похожая ни на что из описанного в анналах земной истории. Она звучала чуть слышно и вскоре стихла, но данное обстоятельство заставило меня задуматься. Именно в сторону холма тянется длинное северное крыло дома с потайным спускным желобом и запертым подвальным помещением под ним. Не кроется ли здесь некий важный момент, до сих пор ускользавший от моего внимания?

25 апреля

Сделал странное и тревожное открытие, касающееся характера моего заточения здесь. Влекомый некой зловещей притягательной силой, я двинулся в сторону холма и обнаружил, что колючий кустарник расступается передо мной, *но только в одном этом направлении*. Чуть поодаль там находятся полуразрушенные ворота, а среди зарослей явственно угадываются следы старой тропы. Кустарник густо растет вокруг холма и частично покрывает склоны, но на увенчанной кромlexом вершине нет никакой растительности, помимо необычного вида мха да чахлой травы. Я поднялся на холм и провел там несколько часов; внимание мое привлек странный ветер, который, похоже, непрерывно овеивает угрюмые каменные глыбы и порой будто бы

шепчет на удивление отчетливо какие-то непонятные, загадочные слова.

Камни эти по цвету и текстуре не похожи ни на один из минералов, виденных мной прежде. Они не коричневые и не серые, но скорее грязно-желтые с тускло-зелеными наплывами и, кажется, способны менять цвет, подобно хамелеону. Текстура камней странным образом напоминает чешуйчатую змеиную кожу и вызывает необъяснимое омерзение при прикосновении — на ощупь они холодные и липкие, точно жаба или какая-нибудь рептилия. Возле центрального менгира находится обложенная булыжниками яма, назначение которой мне непонятно, — возможно, это горло давно заваленного колодца или туннеля. Когда я в нескольких разных местах попытался спуститься с холма не по направлению к дому, кустарник по-прежнему преграждал мне путь, но ведущая к особняку тропа осталась легкопроходимой.

26 апреля

Нынче вечером снова поднимался на холм и обнаружил, что шепот ветра стал гораздо отчетливее. Его почти сердитое гудение близко походило на диковинную речь, изобилующую свистящими и шипящими звуками, и напомнило мне странный свирельный напев, который позавчера я слышал издалека. После заката на северном горизонте полыхнула не по сезону яркая зарница, а мгновение спустя высоко в темнеющем небе прогрехотал гром. Что-то в этом природном явлении не на шутку встревожило меня, и я не мог отделаться от впечатления, что громовый раскат завершился звуками шипящей нечеловеческой речи, которая под конец перешла в оглушительный гортанный хохот, сотрясший небесную твердь. Неужто я начинаю сходить с ума? Или же мое недозволенное любопытство вызвало неслыханные ужасы из сумеречных сфер? До Вальпургиевой ночи осталось совсем недолго. Чем все закончится для меня?

27 апреля

Наконец-то сбудутся мои мечты! Не знаю, придется ли мне отдать взамен свою жизнь, душу или тело, но я войду в запретные врата! Расшифровка иероглифов на рисунке продвигалась медленно, но сегодня днем я напал на окончательный ключ к разгадке. К вечеру я знал смысл таинственных знаков — и суще-

существует один-единственный способ применить обретенное знание к сущностям, населяющим особняк.

Где-то под домом погребено древнее, забвенное Существо, которое покажет мне врата и подскажет все необходимые знаки и слова, давно утраченные. Я и близко не представляю, сколько времени Оно пролежало там, забытое всеми, кроме тех, кто воздвиг кромлех на холме, и тех, кто впоследствии отыскал это место и построил здесь дом. Вне всяких сомнений, именно поиски этого Существа привели Хендрика Ван дер Хейла в Новые Нидерланды в 1638 году. Жителям Земли Оно неизвестно — лишь немногие, потрясенные страхом люди, нашедшие или унаследовавшие ключ к тайне, говорили о Нем боязливым шепотом. До сих пор никто из смертных даже мельком не видел Его — если только бесследно исчезнувшие колдуны, в прошлом жившие здесь, не продвинулись в своих изысканиях дальше, чем принято считать.

Постигнув смысл иероглифов, я овладел Семью Утраченными Знаками Ужаса и познал леденящие душу непроизносимые Слова Страха. Мне остается лишь прочитать заклинание, которое преобразит Забвенного, являющегося Стражем Древних Врат. Я премного дивлюсь заклинанию — оно состоит из странных, крайне неблагозвучных гортанных и жутковатых шипящих звуков, каких я не встречал ни в одном известном мне языке — даже в самых страшных главах «*Livre d'Eibon*». Поднявшись на холм на закате, я попробовал произнести заклинание вслух, но ответом мне служили лишь приглушенный зловещий рокот далеко за горизонтом да легкое облачко тончайшей пыли, которое корчило и кружилось в воздухе, точно богомерзкое живое существо. Возможно, я неверно произношу незнакомые слоги, а возможно, великое преобразование может произойти только в Вальпургиеву ночь — во время ужасного шабаша, для которого, несомненно, меня и удерживают здесь обитающие в доме Силы.

Сегодня утром испытал необъяснимый приступ страха. На мгновение мне показалось, будто я вспомнил, где встречал прежде фамилию Слейт, не дающую мне покоя, и перспектива вспомнить все с полной ясностью привела меня в неописуемый ужас.

28 апреля

Сегодня над менгирами на холме периодически сгущались зловещие темные облака. Я уже несколько раз прежде замечал такие, но теперь в их очертаниях и перемещениях угадывается некий смысл. Они имеют причудливую змеевидную форму и до странности похожи на ужасных призраков, обитающих в доме. Облака кружат над доисторическим кромлехом, описывают круг за кругом, словно живые существа, обладающие злой волей и преследующие некую цель. Я готов поклясться, что они издают невнятные глухие звуки, похожие на раздраженное ворчание. Примерно через четверть часа они медленно уплывают прочь, неизменно в восточном направлении, точно подразделения беспорядочно отступающего батальона. Неужели это и есть силы тьмы, известные еще царю Соломону в глубокой древности, — гигантские черные существа, имя которым легион и от поступи которых содрогается земная твердь?

Репетировал заклинание, призванное преобразовать Безымянное Существо, но даже когда я чуть слышно шепчу диковинные слоги, меня охватывает безотчетный страх. Проанализировав все имеющиеся в моем распоряжении данные, я пришел к выводу, что единственный путь к Нему лежит через запертое подвальное помещение. Оно явно построено с некой богопротивной целью, и там наверняка скрыт потайной ход, ведущий к Древнейшему Логову. Лишь безумец в больном своем воображении в силах представить, что за стражи обитают там с незапамятных времен, из века в век оставаясь в добром здравии благодаря обильному питанию неизвестной пищей. Колдуны из рода Ван дер Хейлов, призывавшие стражей из земных недр, общались с ними весьма и весьма тесно, о чем свидетельствуют ужасные портреты в гостиной и жуткие истории, связанные с этим особняком.

Сильнее всего меня тревожит ограниченность действия заклинания. Оно вызывает Безымянного, но не дает власти над Ним. Разумеется, есть общепринятые знаки и жесты, но подействуют ли они в случае с подобным Существом, еще неизвестно. И все же возможная награда достаточно велика, чтобы оправдать любой риск, — вдобавок я при всем желании уже не смог

бы пойти на попятный, ибо некая неведомая сила неумолимо подгоняет меня вперед.

Обнаружил еще одно препятствие. Чтобы проникнуть в запертое подвальное помещение, необходимо найти ключ от него. Столь прочный замок не взломать никакими усилиями. Вне всяких сомнений, ключ находится где-то в доме, но до Вальпургиевой ночи осталось совсем мало времени. Нужно искать усердно и тщательно. Чтобы отомкнуть железную дверь, мне потребуется собрать все свое мужество — ибо кто знает, какие ужасы таятся за ней?

Позже вечером

Последние день-два я обходил подвал стороной, но сегодня вечером снова спустился в жуткое подземелье. Поначалу все было тихо, но уже через пять минут за железной дверью опять раздались глухие шаги и угрожающее ворчанье — на сей раз они звучали громче и страшнее, чем во всех предыдущих случаях. И еще я услышал тяжелый шорох, производимый некой чудовищной ползучей тварью, которая теперь двигалась быстрее, с лихорадочным напряжением, словно пытаясь пробиться ко мне сквозь разделяющую нас преграду.

Шаги учащались, становились все громче и жутче, а потом до меня донесся леденящий кровь непонятный рокот, какой я слышал во время второго посещения подвала, — гулкий рокот, похожий на эхо далеких громовых раскатов. Однако сейчас он звучал стократ громче, и в нем явственно слышались новые, зловещие нотки. Наиболее удачным мне представляется сравнение с ревом какого-нибудь страшного монстра мезозойской эры, когда по земле бродили первобытные ужасы и обитавшие в Валузии змеелюди закладывали основы черной магии. Такому вот реву — только усиленному до оглушительной мощи, неподвластной глотке ни одного известного животного, — был подобен сей жуткий рокот.

29 апреля

Ключ от железной двери найден. Я обнаружил его сегодня около полудня в запертой комнатке — он лежал под кучей разного хлама в ящике старинного письменного стола, спрятанный

там явно наспех. Ключ был завернут в истлевшую газету от 31 октября 1872 года, под которой оказалась еще одна обертка — из высушенной кожи (очевидно, шкурки какой-то рептилии неизвестного вида), сплошь исписанной на вульгарной латыни неразборчивым почерком, знакомым мне по найденным в доме дневникам. Как я и предполагал, замок и ключ значительно древнее железной двери и кирпичных стен запертого подвального отсека. Старый Клаэс Ван дер Хейл приготовил их для какого-то дела, которое предстояло сотворить ему или его потомкам; а за сколько веков или тысячелетий до рождения самого Клаэса они изготовлены — трудно сказать. Разобрав латинский текст, я задрожал всем телом, охваченный новым приступом неизъяснимого ужаса.

«Тайны чудовищных Древних, — гласили коряво нацарапанные строки, — чьи загадочные письма повествуют о сокровенном знании, существовавшем на земле еще до появления человека, о страшном знании, которое губительно для разума, а посему должно оставаться недоступным простым смертным, — тайны эти я никогда не раскрою. В Ян-Хо — преданном забвению запретном городе, чей возраст исчисляется многими миллионами лет и чье местоположение надлежит скрывать от людей, — я единственный среди живых носил материальную телесную оболочку. Там я обрел и оттуда унес с собой знание, от которого с радостью избавился бы, когда бы мог. Я научился устанавливать связь с миром, в который лучше не проникать, и теперь должен вызвать из земных недр Того, Кого лучше не пробуждать и не призывать. А силы, посланные следить за мной, не угомонятся до тех пор, покуда я или мои потомки не найдут и не сделают то, что необходимо найти и сделать.

С темной силой, что я пробудил и унес с собой, мне уже никогда не расстаться. Так написано в „Книге сокровенных истин“. Сила, вызванная мной к жизни, уловила меня в свои ужасные тенета и — коли я не успею выполнить приказ до своей кончины — будет держать в плену всех моих потомков, ныне живущих и еще не рожденных, покуда приказ не исполнится. Странными будут их союзы, и ужасными — пособники, коих они станут

призывать для достижения цели. В далеких, неведомых мне землях предстоит вершить поиски, и для наружных Стражей потребуется построить дом.

Вот ключ к замку, врученному мне в ужасном, бесконечно древнем, запретном городе Ян-Хо. Сей замок я или один из моих потомков должен навесить при входе в обиталище Того, Кого надобно найти. И да помогут Владыки Яддита мне — или моему неизвестному потомку, — когда настанет момент навесить замок или повернуть в нем ключ».

Такое вот послание я прочитал — послание, показавшееся мне знакомым, едва я закончил чтение. Сейчас, когда я пишу эти строки, ключ лежит на столе передо мной. Я смотрю на него со смешанным чувством страха и пылкого нетерпения — и не в силах подобрать слова, чтобы описать толком сей предмет. Он изготовлен из того же неизвестного, подернутого зеленоватой патиной металла, что и замок; металл этот более всего походит на медь, покрытую налетом яри-медянки. Увесистый ключ имеет форму необычную и весьма причудливую, а выполненная в виде гроба бородка не оставляет никаких сомнений относительно замка, к которому он подходит. Ушко ключа представляет собой грубо стилизованную фигуру странного нечеловеческого существа, чей первозданный облик теперь уже невозможно восстановить. Стоит мне взять ключ в руку, пусть даже на несколько секунд, я чувствую слабое биение чуждой, непостижимой *жизни* в холодном металле — почти неуловимые для восприятия вибрации или пульсации. Полустертая временем гравированная надпись под ушком ключа выполнена теми же похожими на китайские иероглифами, что мне уже хорошо знакомы. Я разобрал только первые несколько слов — «месья моя ждет своего часа», — а дальше текст не поддается прочтению. Есть что-то фатальное в том, что я нашел ключ именно сегодня — *ведь завтра наступает ночь ведьмовского шабаша*. Странное дело, но меня, в моем состоянии мучительного ожидания, все сильнее и сильнее тревожит фамилия Слейт. Почему я содрогаюсь при мысли о возможной ее связи с именем Ван дер Хейл?!

Канун Вальпургиевой ночи — 30 апреля

Час пробил. Сегодня я проснулся среди ночи и увидел в небе зловещее зеленоватое сияние — то же самое тошнотворно-зеленое сияние, какое источают глаза и кожа многих портретов здесь, иероглифы на ужасном замке и ключе, чудовищные менгиры на холме и бесчисленные образы, населяющие укромные уголки моего сознания. В воздухе слышался резкий шепот — пронзительный, свистящий шепот, похожий на шум ветра, пронсящегося над мрачным кромлехом. Из ледяного бесплотного космоса некий голос молвил мне: «Близится роковой час». Это знамение свыше, и теперь я смеюсь над своими страхами. Разве я не владею страшным заклинанием и Семью Утраченными Знаками Ужаса — могущественными средствами, дающими власть над любым обитателем Вселенной или неведомых темных миров? Со всеми сомнениями покончено.

Небо потемнело до черноты, словно перед яростной грозой, превосходящей по силе даже неистовую грозу, разразившуюся в первый вечер моего пребывания здесь, почти две недели назад. Со стороны деревни (до нее отсюда меньше миль) доносится странный нестройный гул голосов. Я не ошибся в своем предположении: эти жалкие идиоты посвящены в тайну и проводят ужасный шабаш на холме. Здесь, в доме, быстро сгущаются тени. Ключ на столе передо мной мерцает в темноте зеленоватым светом. Я еще не спускался в подвал. Лучше немного подождать, чтобы все эти звуки — глухие шаги, невнятное ворчание, тяжелый шорох и приглушенный рокот — не лишили меня мужества, прежде чем я отомкну роковую дверь.

С чем я столкнусь там и что мне предстоит сделать, я представляю весьма и весьма смутно. Находится ли цель моих поисков непосредственно за железной дверью, или же мне придется спуститься глубже в черные недра планеты? Я пока еще многого не понимаю — или предпочитаю не понимать, — несмотря на мучительное, необъяснимое, переходящее в уверенность ощущение, что в далеком прошлом я хорошо знал этот ужасный дом. Знал, например, назначение спускного желоба, ведущего вниз из запертой комнатухи. Но мне кажется, теперь я понимаю, почему крыло здания, где расположено запертое подвальное помещение, вытянуто в сторону холма.

6 часов вечера

Из выходящих на север окон я вижу группу деревенских жителей на вершине холма. Они как будто не замечают грозных признаков надвигающегося ненастья и усердно копают землю рядом с центральным менгиром. По-моему, они углубляют обложенную камнями яму, похожую на вход в давно заваленный туннель. Что будет дальше? Все ли ритуалы древнего шабаша сохранились и отправляются здесь? Ключ зловеще светится в темноте — и это не игра моего воображения. Хватит ли у меня духу применить его по назначению? Еще одно обстоятельство премного встревожило меня. Нервно просматривая одну из книг в библиотеке, я наткнулся на расширенный вариант имени, не дававшего мне покоя: Тринтия, жена Адриана Слейта. Имя *Адриан* вплотную подводит меня к тому, чтобы все вспомнить.

Полночь

Ужас вырвался на волю, но мне нельзя поддаваться малодушию. Гроза разразилась с демонической яростью, и молния трижды ударила в холм, но уродливые, дефективные селяне сбиваются в кучу посреди кромлеха. Гигантские каменные глыбы зловеще вырисовываются во мраке, источая тускло-зеленое сияние, благодаря которому они видны, даже когда не сверкают молнии. От громовых раскатов закладывает уши, и каждому из них вторит *ответный* грохот, доносящийся неведомо откуда. Сейчас, когда я пишу эти строки, существа на холме начинают петь, завывать на все лады, испускать пронзительные вопли, творя жалкое подобие древнего ритуала на обезьяний манер. Дождь льет сплошным потоком, но они прыгают и орут дурными голосами в каком-то бесовском экстазе:

— *Йа! Шуб-Ниггурат! Козел с Легионом Младых!*

Но самое страшное происходит в доме. Даже здесь, на втором этаже, я слышу звуки, раздающиеся в подвале. *Глухие шаги, невнятное ворчание, тяжелый шорох скользящего по полу грузного тела и приглушенный рокот в таинственном помещении за железной дверью...*

Воспоминания проносятся в уме и исчезают. Имя *Адриан Слейт* неистово бьется в мозгу. Зять Дирка Ван дер Хейла... чья дочь приходится внучкой старому Дирку и правнучкой Аббадо-ну Кори...

Позже той же ночью

Боже милосердный! *Наконец-то я вспомнил, где видел это имя.* Вспомнил — и окаменел от ужаса.

Все пропало...

В левой руке я судорожно сжимаю ключ, и он постепенно нагревается. Порой странные вибрации или пульсация становятся настолько ощутимыми, что я почти чувствую движение живого металла в стиснутом кулаке. Ключ, изготовленный в Ян-Хо для некой чудовищной цели, в конечном счете оказался у меня, и ко мне — который слишком поздно понял, что кровь Ван дер Хейлов, смешавшись с кровью Слейтов, влилась в жилы моих собственных предков, — перешла страшная обязанность осуществить означенную цель...

Мужество покинуло меня, любопытство иссякло. Теперь я знаю, что за ужас таится за запертой железной дверью. Даже если Клаэс Ван дер Хейл является моим дальним предком — разве я должен искупать его гнусный грех? *Нет, я не стану... клянусь, не стану!..*

[Дальше почерк становится неразборчивым]

Слишком поздно... уже не спастись... черные лапы материализуются... хватают меня и тащат вниз, в подвал...

УЖАСНЫЙ СЛУЧАЙ В МАРТИНЗ-БИЧ

(с Соней Х. Грин)

Я еще ни разу не слышал ни одного хотя бы мало-мальски убедительного объяснения жуткого случая, произошедшего в Мартинз-Бич. Среди рассказов многочисленных очевидцев не найдется двух одинаковых, а свидетельские показания, собранные представителями местной власти, содержат в высшей степени удивительные расхождения.

Впрочем, такое положение вещей кажется вполне естественным, если учесть неслыханный характер самого происшествия, не вполне вменяемое на тот момент состояние парализованных ужасом очевидцев и немалые усилия, приложенные администрацией фешенебельной гостиницы «Гребень волны» к тому, чтобы замять дело, получившее широкую огласку после статьи профессора Алтона «Только ли человек обладает гипнотическими способностями?».

Несмотря на все перечисленные препятствия, я попробую изложить здесь вразумительную версию произошедшего, ибо самолично присутствовал при страшном событии и считаю, что людям следует знать о подобных фактах, наводящих на крайне неприятные предположения. В наши дни морской курорт Мартинз-Бич снова пользуется популярностью, но я содрогаюсь при одной мысли о нем. Собственно говоря, теперь я вообще не могу смотреть на океан без содрогания.

Порой судьба выстраивает сюжеты в полном соответствии с канонами драматургии, и на сей раз кульминационному моменту — кошмарному событию, имевшему место 8 августа 1922 года, — предшествовал период легкого ажиотажа, ненадолго воцарившегося в Мартинз-Бич. 17 мая команда глостерского рыболовного смэка «Альма» под началом капитана Джеймса П. Орна

после сорокачасовой борьбы убила морского монстра, чьи размеры и внешний облик произвели настоящий фурор в научных кругах и побудили бостонских натуралистов принять все меры к увековечению диковинного трофея в виде таксидермического изделия.

Туловище означенного существа имело форму, близкую к цилиндрической, при длине около пятидесяти футов и десяти футах в поперечнике. По основным признакам, в том числе наличию жабр, оно явно относилось к классу рыб, но при этом обладало странными отличительными особенностями — рудиментарными передними лапами и шестипалыми конечностями на месте грудных плавников, которые наводили на самые дикие предположения. Невероятно широкая пасть, толстая чешуйчатая кожа и единственный глубоко посаженный глаз поражали воображение не меньше, чем колоссальные размеры морского чудовища, а когда ученые объявили, что оно является новорожденной особью не более нескольких дней от роду, общественный интерес возрос до степени чрезвычайной.

Капитан Орн, проявив типично американскую предприимчивость, нанял судно покрупнее, способное свободно вместить огромное чучело, и организовал показ своего трофея за деньги. Усилиями искусных плотников судно превратилось в превосходный морской музей и, взяв курс на юг, к богатому курортному району Мартинз-Бич, в скором времени пришвартовалось у гостиничного причала, где публика была готова хорошо платить за доступ к экспонату.

Благодаря своему воистину впечатляющему виду, а также острому интересу, проявленному многочисленными учеными мужами из ближних и дальних краев, диковинное существо стало гвоздем сезона. Все ясно понимали: оно абсолютно уникально — уникально до такой степени, что способно произвести настоящий переворот в науке. Натуралисты убедительно доказали, что оно принципиально отличается от рыбы равно огромных размеров, пойманной у побережья Флориды: являясь обитателем почти немыслимых глубин (чуть ли не в десятки тысяч футов), данное существо обладает мозгом и внутренними органами, свидетельствующими о поразительно высоком уровне эво-

люционного развития, до которого очень и очень далеко любому известному современной науке представителю класса рыб.

Утром 20 июля ажиотаж общественности усилился в связи с исчезновением судна со странным сокровищем. Во время ночного шторма оно сорвалось со швартовых и бесследно сгинуло в открытом море, вместе со сторожем, оставшимся ночевать на борту, несмотря на грозные признаки близкого ненастья. Капитан Орн, при финансовой поддержке научных кругов и содействии многочисленных рыболовных судов из Глостера, предпринял широкомасштабную поисковую операцию, единственным результатом которой стала новая волна интереса и разнотолков. К 7 августа надежда окончательно угасла, и капитан Орн вернулся в гостиницу «Гребень волны», чтобы завершить свои дела в Мартинз-Бич и переговорить с несколькими учеными мужами, еще остававшимися там. Трагедия разыгралась 8 августа.

Все случилось в сумерках, когда серые морские птицы кружили низко у самого берега и восходящая луна уже начала прокладывать свою сверкающую дорожку на подернутой рябью водной глади. Эту картину важно держать перед мысленным взором, чтобы получить полное впечатление о жутком происшествии. На пляже находились несколько гуляющих да поздних купальщиков, которые задержались с возвращением в неприятельный коттеджный поселок, приютившийся на склоне отдаленного зеленого холма к северу, или в расположенную на ближайшей скале гостиницу, чьи величественные башни свидетельствовали о преданном служении богатству и роскоши.

В пределах хорошей видимости от берега находилась еще одна группа очевидцев — постояльцы «Гребня волны», которые сидели на освещенной фонарями просторной веранде, наслаждаясь танцевальной музыкой, доносившейся из шикарного балльного зала. Эти очевидцы — включая капитана Орна с группой ученых мужей — присоединились к людям на пляже, прежде чем события приняли трагический оборот; своевременно подоспели к месту происшествия и многие другие обитатели гостиницы. Словом, в свидетелях недостатка не было, пусть впоследствии они, полные страха и сомнений в реальности увиденного, давали весьма путанные, противоречивые показания.

Точное время, когда все началось, не установлено, но почти все говорят, что полная луна стояла «примерно в футе» над окутанным туманной дымкой горизонтом. Очевидцы упоминают о луне, поскольку усматривают некую неуловимую связь между ней и предварившим трагедию загадочным явлением — тихой зловещей зыбью, которая целенаправленно прокатилась по мерцающей лунной дорожке от далекого горизонта и улеглась, не достигнув берега.

Многие не обратили на зыбь особого внимания и вспомнили о ней лишь в ходе дальнейших событий, а между тем она резко отличалась по высоте и скорости движения от обычных мелких волн вокруг. Иные впоследствии передавали свое впечатление о ней словами *коварная* и *злонамеренная*. И вот, когда странная зыбь стихла у черных рифов в отдалении от берега, из недр сверкающего под луной океана исторгся душераздирающий крик — исполненный муки и отчаяния вопль, вызывавший невольное сострадание.

Первыми отреагировали два дежурных спасателя — крепкие парни в белых купальных костюмах с броской красной надписью на груди, обозначающей род их занятий. Давно привыкшие к воплям утопающих, они на сей раз не слышали ничего знакомого в потусторонних завываниях, однако, верные чувству долга, стали действовать обычным порядком, не мешкая ни минуты.

Поспешно схватив надувной круг с привязанной к нему бухтой прочной веревки, один из парней быстро подбежал к месту, где начинала собираться толпа, и швырнул спасательное средство далеко в море — в направлении, откуда донесся крик, — предварительно раскрутив над головой для придания большего ускорения. Круг скрылся в волнах, и зрители с любопытством уставились на подернутую крупной рябью воду, готовые вот-вот увидеть горемыку, обезумевшего от страха и отчаяния, и стать свидетелями счастливого спасения.

Но вскоре стало ясно, что справиться с делом легко и быстро не получится, ибо двое здоровенных малых никакими усилиями не могли сдвинуть с места тяжелое тело на другом конце веревки. Напротив, они вдруг почувствовали, что оно с равной или даже большей силой тянет веревку в противоположном направлении, и уже через несколько секунд осели на песок и нача-

ли медленно съезжать в воду, влекомые неведомым существом, ухватившимся за спасательный круг.

Один из парней, опомнившись наконец от изумления, немедленно воззвал о помощи к толпе наблюдателей и бросил на берег оставшиеся кольца веревки. В следующий миг спасатели получили поддержку в лице самых крепких мужчин во главе с капитаном Орном. Теперь уже дюжина мускулистых рук отчаянно тянула за толстую веревку, но по-прежнему без малейшего успеха.

Как ни старались, как ни тужились мужчины, незримый соперник явно брал над ними верх, а поскольку обе стороны ни на секунду не ослабляли своих усилий, веревка туго натянулась, обратившись в подобие стального стержня. К данному моменту как непосредственные участники событий, так и зрители изнемогали от любопытства, гадая о природе странной силы, скрытой под водой. Давно отвергнув предположение о тонущем человеке, все наперебой строили разные догадки, упоминая о китах, подводных лодках, морских чудовищах и демонах. И если поначалу спасателями двигали исключительно гуманистические соображения, то теперь в них возобладало любопытство, и они продолжали со всей мочи тянуть веревку, исполненные мрачной решимости разгадать тайну.

Когда наконец все сошлись во мнении, что надувной круг, скорее всего, проглочен китом, капитан Орн, как прирожденный лидер, прокричал людям на берегу распоряжение раздобыть лодку, чтобы подплыть к невидимому левиафану, загарпунить и вытащить на сушу. Несколько мужчин тотчас же вызвались отправиться на поиски подходящего судна, а другие приблизились к кромке воды с намерением заменить капитана у веревки, поскольку по логике вещей именно ему надлежало возглавить любую команду добровольцев, набранную на лодку. Сам капитан оценивал ситуацию неоднозначно, отнюдь не ограничиваясь единственно предположением о ките, ибо совсем недавно имел дело с гораздо более диковинным чудовищем. Он задавался вопросом о возможных реакциях и поведении взрослой особи такого представителя фауны, чей новорожденный детеныш достигает пятидесяти футов в длину.

В следующую минуту неожиданно-негаданно обнаружилось кошмарное обстоятельство, которое превратило разыгрывавшуюся на берегу сцену из занимательной в поистине ужасную и заставило оцепенеть от страха как непосредственных участников событий, так и наблюдателей. Капитан Орн, собравшись отойти прочь, внезапно почувствовал, что не в состоянии разжать пальцы и отпустить веревку. Увидев такое дело, каждый из мужчин в свою очередь попробовал отнять руки от веревки и понял, что находится в аналогичном положении. Представлялось совершенно очевидным: некая неодолимая таинственная сила намертво приковала всех их к пеньковому тросу и медленно, неумолимо увлекала в море.

Воцарилась жуткая тишина; объятые смятением зрители окаменели от ужаса и недвижно стояли на месте, не в состоянии пошевелиться. О крайней степени деморализации очевидцев свидетельствуют противоречивые показания, впоследствии ими данные, и жалкие доводы, которые они приводили в оправдание своего бездействия, лишь с виду равнодушного. Я знаю, о чем говорю, ибо был одним из них.

Даже прикованные к веревке мужчины, испутив несколько истошных воплей и страдальческих стонов, впали в подобие гипнотического транса и хранили гробовое молчание, покорные воле неведомых сил. Они стояли в бледном лунном свете, машинально продолжая состязаться в перетягивании каната с неким призрачным воплощением рока, мерно раскачиваясь взад-вперед в прибывающей воде, что сначала достигла колен, а вскоре поднялась уже до бедер. Луна частично скрылась за облаком, и в полумраке шевелящаяся вереница людей стала похожа на жуткую гигантскую многоножку, что судорожно извивается в цепких лапах страшной ползучей смерти.

Все туже и туже натягивалась веревка по мере того, как возрастали усилия противоборствующих сторон, и все сильнее разбухали пеньковые пряди, намокая в волнах прилива. Песчаный пляж, где совсем недавно резвились дети и шептались влюбленные парочки, теперь медленно, но неумолимо поглощало наступающее море. Толпа охваченных паникой наблюдателей машинально попятилась назад, когда прилив подобрался к самым ногам, а вереница мужчин, стоявших уже по пояс в воде, про-

должала монотонно раскачиваться взад-вперед — теперь на значительном расстоянии от зрителей.

Очевидцы, струсившиеся на берегу вне досягаемости приливных волн, оцепенело смотрели на несчастных, не произнося ни слова и никак не пытаясь помочь. В воздухе витала атмосфера дикого страха перед чудовищным злом, какого еще не ведал мир.

Минуты, казалось, уже складывались в часы, а змееподобная вереница раскачивающихся торсов по-прежнему виднелась над быстро прибывающей водой, и на медленных, ритмичных ее колебаниях лежала печать обреченности. Теперь на восходящую луну набежали плотные грозовые облака, и сверкающая дорожка на волнах померкла.

Цепочка мерно ходящих вперед-назад голов стала едва различимой, и изредка пепельно-серое лицо какого-нибудь обернувшегося страдальца смутно проступало бледным пятном во мраке. Все быстрее и быстрее сгущались тучи, и наконец из черных, грозных их чрев выстрелили вниз острые языки зловещего пламени. Загрохотал гром, сначала глухо, но потом все сильнее, все яростнее, и вскоре от него уже закладывало уши. Затем грянул самый страшный раскат грома, от которого сотряслась земля и взволновался океан, и секунду спустя на погруженный во тьму мир обрушился неистовый ливень такой мощи, что казалось, самые небеса разверзлись и исторгли из недр своих бурный поток, призванный свершить возмездие.

Повинуясь исключительно инстинкту самосохранения, ничего не соображающие от страха зрители поднялись по вырубленным в скале ступеням на веранду отеля. Слухи о кошмарном происшествии уже распространились среди постояльцев, и все они пребывали почти в таком же ужасе, как и вернувшиеся с берега люди. Кажется, кто-то испуганно пролепетал несколько слов, но утверждать не берусь.

Иные постояльцы, объятые паникой, удалились в свои номера, а другие остались на веранде и продолжали следить за обреченными жертвами, чьи головы еще виднелись над волнами при вспышках молний. Помнится, я неотрывно смотрел на эти головы и все представлял себе вылезавшие из орбит глаза несчастных — глаза, в которых наверняка отражались весь страх, ужас

и безумие, властвующие в жестоком мире, вся скорбь, греховность и страдание, рухнувшие надежды и несбывшиеся мечты, вся ненависть и боль тысячелетий, минувших с начала времен; горящие глаза, исполненные безмерной муки ада, где пылает вечный огонь возмездия.

А когда я перевел взгляд чуть дальше, мне померещился в темноте еще один глаз — единственный глаз, тоже горящий, но лютой злобой, столь противной человеческой природе, что я усилием воли прогнал видение прочь. Зажатая в тисках неведомого, неодолимого зла, вереница несчастных медленно погружалась в воду, и о чем зывали они в своих безмолвных воплях и немых мольбах, знают лишь демоны черных волн и ночного ветра.

В следующую минуту разъяренное небо взорвалось диким, дьявольским грохотом, с которым предыдущий громовой раскат не шел ни в какое сравнение. Ослепительно полыхнула молния, небесная твердь содрогнулась, изрыгая адские богохульства, и душераздирающие агонические вопли всех обреченных слились с апокалипсическим ревом, сотрясшим самые недра планеты. Но на этом гроза закончилась: ливень разом прекратился, и луна вновь озарила бледными лучами поразительно быстро притихшее море.

Цепочка голов, подобных пляшущим на волнах поплавам, бесследно исчезла. Передо мной простиралась пустынная морская гладь, спокойствие которой нарушалось лишь легкой рябью, расходящейся кругами на лунной дорожке поодаль от берега, в том самом месте, откуда донесся загадочный жуткий вой, ознаменовавший начало трагедии. Но когда я — с обостренными до предела чувствами и болезненно возбужденным воображением — вглядывался в сотканную из лунного блеска призрачную тропу, слуха моего коснулись слабые отзвуки зловещего смеха, донесшиеся из бездонной океанской пучины.

ПЕПЕЛ

(с К. М. Эдди-младшим)

— Привет, Брюс. Сто лет не виделись. Заходи.

Я широко распахнул дверь, и он проследовал за мной в гостиную. Высокий, тощий и нескладный, он неуклюже развалился в кресле, указанном мной, и принялся нервно вертеть в руках шляпу. В его глубоко посаженных глазах застыло тревожное, затравленное выражение, и он поминутно озибался по сторонам, словно опасаясь чьего-то внезапного нападения. Мертвенно-бледное лицо казалось изможденным, и уголки губ судорожно подергивались.

— В чем дело, старина? У тебя такой вид, будто тебе только что явилось привидение. А ну-ка, возьми себя руки! — Я подошел к буфету и налил в бокал вина из графина. — Вот, выпей.

Он залпом осушил бокал и вновь принялся терзать свою шляпу трясущимися пальцами.

— Спасибо, Прэг... мне нынче что-то не по себе.

— Оно и видно. Что случилось?

Малкольм Брюс неловко поерзал в кресле.

Несколько мгновений я молча смотрел на него, задаваясь вопросом, что же могло так сильно потрясти моего приятеля. Я знал Брюса как человека со стальными нервами и железной волей, и видеть его в столь явном смятении было само по себе неординарным событием. Я протянул коробку с сигарами, и он машинально взял одну.

Только раскурив вторую сигару, Брюс наконец нарушил молчание. Он уже овладел собой и вновь стал решительным, уверенным в себе человеком, каким я его знал.

— Прэг, — начал он, — сегодня со мной приключился самый дикий, самый жуткий случай из всех, какие только можно пред-

ставить. Не знаю, решусь ли я рассказать тебе все, ибо, боюсь, ты сочтешь меня сумасшедшим, — и я не стану тебя винить, коли ты придешь к такому мнению! Но в моей истории нет ни слова вымысла, клянусь.

Он умолк с драматическим видом и выпустил несколько колечек дыма.

Я улыбнулся. Мне не раз доводилось выслушивать предиквинные повествования, сидя за этим самым столом. Вероятно, я внушал людям доверие в силу некой особенности своей натуры, ибо порой мне рассказывали такие истории, за возможность услышать которые иные отдали бы полжизни. И все же, несмотря на свою любовь ко всему странному и опасному, несмотря на свою тягу к исследованию глухих уголков малоизвестных стран, я был обречен на прозаичную, однообразную, бедную событиями жизнь простого коммерсанта.

— Тебе приходилось слышать о профессоре ван Алистере? — спросил Брюс.

— Ты имеешь в виду Артура ван Алистера?

— Его самого! Так ты *знаком* с ним?

— Еще бы! Мы знакомы не один год — с той поры, как он оставил должность преподавателя химии в университете, чтобы сосредоточиться на своих экспериментах. Я даже помог Артуру с выбором проекта звуконепроницаемой лаборатории, впоследствии оборудованной на верхнем этаже его дома. Потом он настолько погрузился в научные изыскания, что уже не находил времени для общения.

— Наверное, ты помнишь, Прэг, что в годы нашей учебы в университете я увлекался химией?

Я кивнул, и Брюс продолжал:

— Около четырех месяцев назад я потерял работу. Как раз тогда ван Алистер поместил в газете объявление об ассистенте, и я откликнулся. Он помнил меня по университету, и мне удалось убедить его, что я достаточно сведущ в химии, чтобы попробовать свои силы в качестве ассистента. Секретаршей у него работала молодая женщина по имени мисс Марджори Парди — чрезвычайно ответственная и обязательная особа, причем столь же привлекательная, сколь компетентная. Она немного помогала ван Алистеру в лаборатории, и вскоре я обнаружил,

что она проявляет неподдельный интерес к научным исследованиям и ставит свои собственные опыты. Собственно говоря, она почти все свое свободное время проводила с нами в лаборатории. Ясное дело, подобное тесное общение не могло не перерасти в близкую дружбу, и вскоре я начал обращаться к ней за помощью при проведении сложных экспериментов всякий раз, когда профессор был занят. Казалось, для нее вообще не существует неразрешимых проблем. В области химии она чувствовала себя как рыба в воде!

Примерно два месяца назад ван Алистер отделил перегородкой часть лаборатории и оборудовал там отдельный рабочий кабинет для себя. Он сказал, что собирается провести серию экспериментов, которые в случае успеха принесут ему вечную славу, но категорически отказался посвящать нас в подробности. С тех пор мы с мисс Парди все чаще и чаще оставались наедине, предоставленные сами себе. Порой профессор по нескольку дней кряду безвылазно сидел в своей новой лаборатории, даже не выходя перекусить. Как следствие, у нас появилось больше свободного времени и наша дружба окрепла. Я все сильнее восхищался опрятной миловидной девушкой, одетой во все белое вплоть до резиновых перчаток, которая находила неподдельное удовольствие в возне с вонючими колбами и липкими химикалиями. Позавчера ван Алистер пригласил нас в свой рабочий кабинет.

— Наконец-то я достиг успеха, — провозгласил он, показывая нам бутылочку с бесцветной жидкостью. — Вот препарат, который будет признан величайшим из всех известных открытием в области химии. Я хочу прямо сейчас, у вас на глазах, проверить его эффективность. Брюс, будьте любезны, принесите мне кролика.

Я выполнил просьбу, сходяв в соседнее помещение, где мы держали кроликов и морских свинок, предназначенных для опытов.

Ван Алистер посадил животное в небольшой стеклянный ящик, где оно едва поместилось, и накрыл крышкой. Потом он вставил в отверстие в крышке стеклянную воронку, и мы с мисс Парди подступили ближе, приготовившись внимательно наблюдать за экспериментом.

Профессор откупорил бутылочку и занес руку с ней над узилищем бедного зверька.

— Теперь посмотрим, увенчался мой многонедельный труд успехом или нет!

Медленно, аккуратно он вылил в воронку содержимое бутылочки, и мы увидели, как тонкая струйка жидкости потекла в ящик с испуганным животным.

Мисс Парди сдавленно вскрикнула, а я протер глаза, чтобы убедиться, что зрение меня не обманывает. В ящике, где еще секунду назад сидел живой, дрожащий от страха кролик, *теперь осталась лишь кучка тонкого белого пепла!*

Профессор ван Алистер повернулся к нам с глубоко удовлетворенным видом. Лицо его сияло омерзительным ликованием, а в глазах горел странный, безумный огонь. Он заговорил с нотками превосходства в голосе:

— Вам, Брюс, и вам, мисс Парди, выпала великая честь присутствовать при первом успешном испытании препарата, который произведет настоящий переворот в мире. Он моментально превращает в пепел все, с чем вступает в контакт, кроме стекла! Только подумайте, что это значит! Армия, вооруженная стеклянными бомбами, наполненными моим составом, сможет уничтожить весь мир! Дерево, металл, камень, кирпич — *все*, решительно *все* исчезнет под воздействием такого химического оружия, оставив после себя не больше, чем осталось от нашего подопытного кролика, обратившегося в горстку тончайшего белого пепла!

Я бросил взгляд на мисс Парди. Лицо у нее было белое, как ее рабочий фартук.

Ван Алистер пересыпал то, что осталось от кролика, в бутылочку и аккуратно прикрепил к ней этикетку. Признаться, меня самого била нервная дрожь ко времени, когда он отпустил нас и мы удалились, оставив его одного за плотно закрытыми дверями кабинета.

Как только мы вышли оттуда, нервы у мисс Парди окончательно сдали. Она пошатнулась и наверняка упала бы, если бы я ее не подхватил. Едва ее мягкое расслабленное тело оказалось в моих руках, я не выдержал и, отбросив всякое благоразумие,

крепко прижал девушку к груди. Я запечатлевал на ее прелестных алых устах поцелуй за поцелуем, пока она не открыла глаза, в которых сиял свет любви. После бесконечно долгой минуты блаженства мы спустились с небес на землю, осознав, что лаборатория совсем не то место, где можно изливать свои чувства. Ван Алистер в любой момент мог выйти из кабинета, а если бы он, в нынешнем своем душевном состоянии, застал нас в объятиях друг друга — даже представить страшно, что могло бы произойти.

Оставшуюся часть дня я провел как во сне. До сих пор не понимаю, как мне вообще удалось справиться хоть с какими-то делами. Я автоматически выполнял порученные мне задания, обратившись в подобие хорошо отлаженного механизма, а мысли мои витали далеко-далеко, в царстве сладостных грез.

Марджори до конца дня занималась своими секретарскими обязанностями, и я постоянно поглядывал на нее, спеша поскорее управиться с работой.

Той ночью мы предались восторгам вновь обретенного счастья. Эту ночь я буду помнить до конца своей жизни, Прэг! Никогда прежде я не испытывал такой безумной радости, как в тот момент, когда Марджори Парди согласилась стать моей женой.

Вчера был еще один день ничем не омраченного блаженства. Мы с моей возлюбленной работали бок о бок до самого вечера, а потом наступила еще одна ночь любви. Если ты никогда не любил единственную и неповторимую женщину, Прэг, тебе не понять тот неистовый восторг, что заполняет душу при одной мысли о ней! И Марджори возвращала любовь сторицей. Она вся, без остатка, принадлежала мне.

Сегодня около полудня мне понадобились кое-какие реакции для завершения опыта, и я вышел в аптеку. По возвращении я не застал Марджори в лаборатории и не нашел на обычном месте ее пальто и шляпу. Профессор с позавчерашнего дня безвылазно сидел в своем кабинете за запертыми дверями.

Я справился у слуг, но никто из них не видел, чтобы мисс Парди выходила из дома, и она не просила ничего передать мне.

С течением времени я нервничал все сильнее и вскоре просто с ума сходил от тревоги. Уже наступил вечер, а моя милая

девочка так и не объявилась. Напрочь забыв о работе, я расхаживал по своей комнате, точно тигр в клетке. При каждом звонке телефона или дверного колокольчика угасающая надежда получить весточку от нее вспыхивала в моем сердце с новой силой, но всякий раз меня ждало разочарование. Каждая минута казалась мне часом, а каждый час — вечностью.

О господи, Прэг! Ты не представляешь, как я страдал! С головокружительных высот любви я низвергался в самые темные пучины отчаяния. В моем воображении рисовались разного рода несчастья, которые могли приключиться с Марджори. Однако я по-прежнему оставался в мучительной неизвестности.

Мне казалось, я прожил целую жизнь, но стрелки моих часов показывали только половину восьмого, когда лакей доложил мне, что хозяин вызывает меня в лабораторию.

Мне было совершенно не до экспериментов, но, пока я жил в доме ван Алистера, он был вправе требовать от меня повиновения.

Профессор сидел в своем рабочем кабинете, за приоткрытой дверью. Он велел мне затворить дверь лаборатории и пройти к нему. Я пребывал в столь взвинченном состоянии, что явившаяся моему взору картина — вплоть до мельчайших деталей — запечатлелась в моем сознании с фотографической точностью. В центре помещения, на столе с мраморной столешницей, стоял стеклянный ящик, по форме и размерам похожий на гроб. Он был почти до краев наполнен той самой бесцветной жидкостью, которую я двумя днями ранее видел в маленькой бутылке.

Слева, на табурете со стеклянной крышкой, стояла стеклянная банка со свеженаклеенным ярлыком. Я невольно содрогнулся, когда осознал, что она наполнена тонким белым пеплом. А потом я увидел нечто такое, отчего у меня едва не остановилось сердце!

На кресле в дальнем углу комнаты лежали пальто и шляпа девушки, которая вверила мне свою жизнь, — девушки, которую я поклялся любить и оберегать до скончания дней!

Я оцепенел, невыразимый ужас захлестнул мою душу, когда страшная догадка полыхнула в мозгу. Объяснение могло быть только одно: *в банке находился пепел Марджори Парди!*

На несколько долгих ужасных мгновений весь мир словно застыл, а потом я впал в безумие — в дикое, неистовое безумие!

Следующее, что я помню, — мы с профессором сцепились в яростной схватке. Несмотря на преклонный возраст, он почти не уступал мне в силе, а хладнокровное самообладание давало ему известное преимущество надо мной.

Все ближе и ближе оттеснял он меня к стеклянному гробу. Еще несколько секунд — и мой пепел смешается с пеплом девушки, которую я любил! Я наткнулся на табурет и одной рукой судорожно вцепился в банку с пеплом. Последним сверхчеловеческим усилием я вскинул банку высоко над головой и нанес противнику сокрушительный удар по темени! Хватка его разжалась, и он рухнул на пол без чувств.

Повинуясь слепому порыву, я поднял недвижимое тело профессора и осторожно — чтобы ни капли жидкости не выплеснулось на пол — опустил в ящик смерти!

Мгновение спустя все было кончено. И тело ван Алистера, и губительная жидкость бесследно исчезли — и в стеклянном гробу осталась лишь россыпь тонкого белого пепла!

Пока я стоял, оцепенело глядя на дело своих рук, припадок безумия миновал, и я оказался лицом к лицу с простым и непреложным фактом: я убил человека. Мной овладело неестественное спокойствие. Я знал: против меня нет ни единой улики, если не считать того обстоятельства, что я последний виделся с профессором наедине. Ведь от него ничего не осталось, кроме пригоршни пепла!

Я надел пальто и шляпу, сказал дворецкому, что профессор велел не беспокоить его и что я ухожу на весь вечер. Едва я вышел за порог, самообладание покинуло меня. Не помню, куда я направился, — помню только, что бесцельно бродил по улицам, пока вдруг не оказался у твоего дома.

Прэг, мне нужно было поговорить с кем-нибудь, облегчить истерзанную душу. Я знал, что могу доверять тебе, старина, и потому рассказал тебе все как на духу. Вот он я — поступай со мной, как сочтешь нужным. Жизнь потеряла для меня всякий смысл теперь, когда... Марджори... умерла!

Голос Брюса задрожал от горя и пресекся, когда он произнес имя своей возлюбленной.

Я подался вперед через стол и пытливо заглянул в глаза раздавленному отчаянием бедняге, бессильно сгорбившемуся в кресле. Потом я встал, надел пальто и шляпу и вновь подошел к Брюсу, который теперь обхватил голову руками и сотрясался всем телом от беззвучных рыданий.

— Брюс!

Малкольм Брюс поднял на меня глаза.

— Брюс, послушай меня. *Ты уверен, что Марджори Парди умерла?*

— Уверен ли я?.. — Он резко выпрямился в кресле и уставился на меня широко раскрытыми глазами, когда смысл вопроса дошел до него.

— Вот именно, — продолжал я. — Ты абсолютно уверен, что в банке находился пепел *Марджори Парди*?

— Но ведь... я... послушай, Прэг! К чему ты клонишь?

— Значит, ты *не* уверен. Ты увидел на кресле пальто и шляпу девушки и в своем взвинченном состоянии сделал поспешные выводы: «Это пепел пропавшей девушки... Профессор испытал на ней свой кошмарный препарат...» — и все такое прочее. Ван Алистер *говорил* тебе хоть что-нибудь?

— Не помню. Я же сказал, я впал в неистовство — в совершенное безумие!

— Тогда вставай и пойдем со мной. Если Марджори жива, она наверняка находится где-то в доме, а если она *там*, мы непременно найдем ее.

На улице мы поймали такси, и через несколько минут дворецкий впустил нас в дом ван Алистера. Брюс отпер лабораторию своим ключом. Дверь рабочего кабинета профессора по-прежнему была приоткрыта. Я обвел внимательным взглядом помещение и увидел слева, возле окна, еще одну дверь. Я быстро подошел к ней и подергал ручку, но безрезультатно.

— Куда ведет эта дверь?

— Там просто кладовая, где профессор хранит химическую аппаратуру.

— Все равно ее надо открыть, — твердо сказал я.

Отступив на пару шагов назад, я со всей мочи прицельно ударил ногой в дверь, потом еще раз, еще — и наконец вышиб замок.

Брюс с нечленораздельным криком бросился в глубину кладовой, к огромному сундуку красного дерева. Выбрав один из ключей в связке, он отомкнул замок и трясущимися руками откинул крышку.

— Она здесь, Прэг... скорее! Вынесем ее на воздух.

Мы вдвоем перенесли недвижимое тело в лабораторию. Брюс торопливо приготовил какую-то микстуру, которую влил девушке в рот. После второй дозы она медленно открыла глаза и недоуменно осмотрелась по сторонам. Потом ее взгляд остановился на Брюсе, и глаза вспыхнули радостью узнавания. Чуть позже, отдышавшись от страстных объятий с вновь обретенным возлюбленным, девушка поведала нам свою историю:

— Вскоре после того, как Малкольм вышел в аптеку, профессор попросил меня зайти к нему. Поскольку он часто посылал меня в город с разными поручениями, я ничего не заподозрила и, чтобы сэкономить время, прихватила с собой пальто и шляпу. Затворив за мной дверь кабинета, он неожиданно набросился на меня сзади, повалил на пол и связал по рукам и ногам. Затыкать мне рот не было необходимости — ведь лаборатория звуконепроницаемая... Потом он привел огромного ньюфаундленда, невесть где раздобытого, и на моих глазах превратил пса в пепел, а пепел ссыпал в стеклянную банку, стоявшую на табурете. Затем ван Алистер отправился в кладовую и из сундука, где вы нашли меня, вытащил стеклянный гроб — по крайней мере мне, пораженной диким ужасом, этот ящик показался именно гробом. Он приготовил достаточное количество своего кошмарного препарата, чтобы наполнить ящик почти до краев. Далее он заявил, что теперь осталось только одно: провести эксперимент на человеческом существе!

Марджори содрогнулась при этом воспоминании.

— Безумец разразился пространной речью о том, сколь великая честь для любого человека пожертвовать своей жизнью во имя науки, а потом хладнокровно сообщил, что в качестве объекта эксперимента он выбрал тебя, Малкольм, а мне отведена роль наблюдателя! Я лишилась чувств... Видимо, профессор опасался, как бы в лабораторию не вошел кто посторонний, ибо очнувшись я уже в сундуке, где вы меня нашли. Духотища там была страшная! С каждой минутой дышать становилось все

труднее и труднее. Я думала о тебе, Малкольм... думала о чудесных, счастливых часах, что мы провели вместе в последние несколько дней. Я не представляла, как я буду жить без тебя! Я даже молилась, чтобы он убил и меня тоже! Губы у меня запеклись, в горле пересохло... и я провалилась в беспамятство. Очнулась я уже здесь, рядом с тобой, Малкольм.

Голос Марджори упал до хриплого, нервного шепота.

— А где... где профессор?

Брюс молча провел девушку в рабочий кабинет ван Алистера. При виде стеклянного гроба она сильно вздрогнула. По-прежнему не произнося ни слова, Брюс подошел к гробу, зачерпнул пригоршню тонкого белого пепла и медленно пропустил его сквозь пальцы.

ПОЖИРАТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ

(с К. М. Эдди-младшим)

I

Помешательство? Горячный бред? Очень хотелось бы так думать! Но когда в ходе моих странствий тьма застигает меня одного вдали от человеческого жилья и в ушах звучит жуткое эхо пронзительных воплей, злобного рычания и отвратительного хруста костей, долетающее из бескрайней дали, я содрогаюсь при воспоминании о той кошмарной ночи.

В ту пору я еще недостаточно свободно ориентировался в лесу, хотя дикая, девственная природа влекла меня столь же сильно, как сейчас. До упомянутой ночи я никогда не путешествовал без проводника, но на сей раз обстоятельства вынудили меня положиться на собственные силы. Дело было в середине лета, в штате Мэн; мне позарез нужно было добраться из Мейфэра до Глендейла к полудню следующего дня, но никто из местных жителей не соглашался стать моим проводником. Если бы я двинулся окружным путем через Потовиссет, я бы точно не поспел в Глендейл к нужному часу, а кратчайший путь пролегал через густую лесную чащу, — но все до единого, к кому я обращался с просьбой провести меня лесом, отвечали категорическим отказом или уклончивыми отговорками.

Мне, человеку пришлому, показалось странным, что у всех и каждого мигом находится благовидный предлог для отказа. В такое количество «важных неотложных дел» в паршивой сонной деревушке просто не верилось, и я понимал, что местные лгут. Однако все они ссылались на «крайнюю занятость» и заверяли, что нужная мне тропа, ведущая строго на север, легкопроходима и крепкому малому вроде меня преодолеть путь через лес — раз плюнуть. Коли выйдешь с утра пораньше, говорили

они, доберешься до Глендейла к закату, и тебе не придется ночевать под открытым небом. Но даже тогда я ничего не заподозрил. Дело представлялось вполне посильным, и я решил отправиться в одиночку, махнув рукой на ленивых селян. Возможно, я принял бы такое решение, даже если бы что-то заподозрил, ибо молодости свойственно упрямство, а я вдобавок ко всему с малых лет смеялся над разными суевериями и бабьими россказнями.

Итак, на рассвете следующего дня я бодро пустился в путь, с пакетом провизии в руке, автоматическим пистолетом в кармане и пачками хрустящих купюр крупного достоинства в денежном поясе. Зная расстояние, которое предстоит пройти, и скорость собственного шага, я рассчитывал достичь Глендейла вскоре после захода солнца, и даже в случае непредвиденной задержки оказаться застигнутым тьмой в лесу я не боялся, поскольку имел немалый опыт ночевки под открытым небом. К тому же мое присутствие в городе требовалось не раньше полудня.

Планы мои нарушила погода. Поднявшись выше над горизонтом, солнце стало немилосердно припекать даже сквозь густую листву, и я с каждым шагом терял силы. К полудню одежда на мне насквозь промокла от пота, и я еле передвигал ноги, несмотря на всю свою решимость. По мере того как я углублялся в лес, заросшая подлеском тропа становилась все более труднопроходимой и местами почти терялась в густых зарослях. Сквозь них явно никто не продирался уже много недель, если не месяцев, и постепенно я начал сомневаться, что доберусь до Глендейла к ночи.

Наконец, изрядно проголодавшись, я устроил привал в тени погуще и принялся за ланч, приготовленный мне в дорогу в деревенской гостинице. Он состоял из нескольких безвкусных сэндвичей, куска черствого пирога и бутылки слабенького вина — трапеза отнюдь не роскошная, но вполне удовлетворяющая потребностям человека, изнуренного долгим переходом по страшному пеклу.

Курение в такую жару не принесло бы никакого удовольствия, и потому по завершении ланча я не стал вынимать трубку, а растянулся в тени деревьев, намереваясь немного вздремнуть, перед тем как снова пуститься в путь. Полагаю, вино я выпил

зря, ибо даже такого слабого напитка оказалось достаточно, чтобы довершить дело, начатое томительным зноем. Я рассчитывал просто передохнуть несколько минут, но неожиданно, даже не успев зевнуть, провалился в глубокий сон.

II

Когда я открыл глаза, вокруг уже сгушались сумерки. Легкий порыв ветра, овевший мое лицо, пробудил меня окончательно, и я внутренне похолодел, увидев в небе быстро бегущие черные облака, за которыми стеной надвигалась крошечная тьма, предвещающая сильную грозу. Теперь я ясно понимал, что раньше следующего утра до Глендейла мне никак не добраться, но перспектива ночевки в глухом лесу — первой в жизни одинокой ночевки — при таких погодных условиях привела меня в содрогание. Я тут же решил двинуться дальше в надежде найти какое-нибудь убежище до начала грозы.

Тьма накрыла лес подобием толстого одеяла. Угрюмые тучи сгустились с самым угрожающим видом, и ветер усилился почти до ураганного. Далекая вспышка молнии озарила небо, и в следующий миг зловеще пророкотал громовой раскат. Капелька дождя упала на мою повернутую вверх ладонь, и я покорился неизбежному, хотя и продолжал машинально шагать дальше. Минуту спустя я увидел впереди свет — горящее окно за деревьями в густом мраке. Движимый желанием укрыться от ненастья, я поспешно устремился к нему — но, ей-богу, лучше бы я развернулся и обратился в бегство!

Я вышел на заросшую бурьяном широкую поляну, на противоположной стороне которой, задом к девственному лесу, стоял дом. Я ожидал увидеть какую-нибудь убогую лачугу или бревенчатую хижину и прямо-таки обомлел при виде опрятного, ладного двухэтажного особнячка, построенного, судя по архитектуре, лет семьдесят назад, но явно ухоженного со всем тщанием. Сквозь одно из нижних окон лился свет, и я, подстегнутый очередной дождевой каплей, бегом пересек поляну и, взлетев по ступеням крыльца, громко постучал в дверь.

На мой стук удивительно быстро откликнулся приятный звучный баритон: «Войдите!»

Толкнув незапертую дверь, я вошел в полутемный холл, куда проникал свет из открытого дверного проема справа, за которым я увидел комнату со стенами, сплошь заставленными книжными стеллажами. Затворив за собой входную дверь, я моментально почувствовал витающий в воздухе специфический запах — слабый, едва уловимый запах дикого зверя — и предположил, что хозяин дома, вероятно, промышляет охотой или трапперством, причем свежует туши, выделявает шкуры и все такое прочее прямо в стенах особняка.

Человек, пригласивший меня войти, сидел в просторном мягком кресле у стола с мраморной столешницей, закутанный в длинный серый халат. Черты его лица резко выделялись при свете мощной аргандовой лампы, и несколько мгновений мы с одинаковым любопытством молча разглядывали друг друга. Он был на редкость хорош собой: тонкое, чисто выбритое лицо, аккуратно зачесанные назад золотистые волосы, красивые брови, сходящиеся на переносице под небольшим углом, правильной формы уши, низко посаженные и плотно прилегающие к черепу, и выразительные серые глаза, возбужденно сверкающие почти фосфоресцирующим блеском. Приветственно улыбнувшись, мужчина обнажил изумительно ровные крепкие белые зубы, а когда он жестом предложил мне сесть в кресло напротив, я подивился изяществу узкой кисти с длинными пальцами и тщательно ухоженными, слегка загнутыми розовыми ногтями миндалевидной формы. Я невольно задался вопросом, почему столь утонченный и изысканный джентльмен предпочитает вести отшельническую жизнь.

— Извините за вторжение, — наконец промолвил я, — но я уже оставил надежду добраться до Глендейла сегодня, и мне пришлось искать укрытия, поскольку надвигается гроза.

Словно в подтверждение последних моих слов, за окном полыхнула молния, оглушительно прогрохотал гром и первые струи проливного дождя неистово забарабанили по стеклам.

Хозяин дома, казалось, не обратил ни малейшего внимания на разбушевавшуюся стихию и вновь одарил меня улыбкой, когда успокоительно заговорил хорошо поставленным голосом, устремив на меня невозмутимый, почти гипнотический взгляд:

— Я рад оказать вам гостеприимство, но боюсь, роль радушного хозяина мне не по силам. У меня покалечена нога, поэтому

вам придется самому обслуживать себя. Если вы голодны, на кухне полно всякой еды. С едой дела здесь обстоят лучше, чем с правилами этикета.

В голосе мужчины мне послышался едва уловимый иностранный акцент, хотя речь у него была беглая, грамотная и изысканная.

Поднявшись во весь свой внушительный рост, он широким шагом направился к двери, сильно припадая на одну ногу и при взмахе обнажив мускулистые волосатые руки, совершенно не ввязавшиеся с изящными узкими кистями.

— Пойдемте, — пригласил он. — Прихватите с собой лампу. Я вполне могу посидеть и на кухне.

Я проследовал за ним в помещение, расположенное через холл, и, повинуясь его указаниям, набрал дров из поленницы в углу и достал продукты из буфета. Через несколько минут, когда огонь в печи разгорелся, я спросил, не приготовить ли мне ужин на двоих, но он вежливо отказался.

— У меня по такой жаре совершенно нет аппетита, — сказал он. — Кроме того, я слегка перекусил незадолго до вашего появления.

Отужинав в одиночестве и помыв за собой посуду, я присел и с наслаждением закурил трубку. Хозяин задал мне несколько вопросов насчет местных новостей, но погрузился в мрачное молчание, узнав, что я впервые в здешних краях. Незаметно наблюдая за ним, я явственно чувствовал в нем какую-то странную холодность, какую-то неуловимую, недобрую отчужденность, не поддающуюся анализу. Я почти не сомневался, что он терпит мое присутствие только из-за грозы и на самом деле несколько не рад гостю.

Гроза же мало-помалу стихала. За окнами стало светлее, ибо сквозь облачную пелену проглядывала полная луна, и ливень сменился обычным мелким дождичком. Я решил, что, пожалуй, вполне могу продолжить путь, каковой мыслью поделился с хозяином.

— Лучше все-таки подождать до утра, — заметил он. — Вы ведь путешествуете пешком, а до Глендейла добрых три часа хода. У меня наверху две спальни, и вы можете расположиться в любой из них, коли пожелаете остаться.

Приглашение прозвучало столь искренне, что все мои сомнения относительно гостеприимства хозяина мигом рассеялись. По всей видимости, заключил я, склонность к угрюмой молчаливости развилась в нем за годы уединенной жизни в глухом лесу, вдали от людей. Выкурив в полном молчании еще три трубки, я наконец начал зевать.

— День сегодня выдался не из легких, — признался я. — Полагаю, мне лучше отправиться на боковую. Я хочу тронуться в путь с первыми лучами солнца.

Хозяин указал рукой на открытую дверь, за которой виднелся темный холл с ведущей наверх лестницей.

— Возьмите с собой лампу, — велел он. — Другой у меня нет, но я вполне могу посидеть в темноте. Зачастую я вообще обхожусь без света по вечерам. Ламповое масло здесь достать очень трудно, а в деревню я навещаюсь крайне редко. Ваша комната справа от лестничной площадки.

Когда я вышел с лампой в холл и обернулся, чтобы пожелать спокойной ночи, я увидел в темноте сверкнувшие почти фосфоресцирующим блеском глаза, и мне невольно вспомнились ночные привалы в джунглях и глаза неведомых хищников, порой мерцавшие сразу за границей освещенного костром круга. Потом я двинулся вверх по лестнице.

Поднявшись на второй этаж, я услышал, как хозяин ковыляет через холл в комнату напротив кухни, двигаясь во мраке с уверенностью ночного животного. Он и вправду не испытывал особой нужды в лампе. Гроза закончилась, и отведенную мне комнату озарял свет полной луны, льющий на кровать через окно без занавесок. Задув лампу и оставшись в темноте, которую рассеивали лишь лунные лучи, я принялся к специфичному едкому запаху, перебивающему керосинный дух, — звериному запаху, что ударил мне в ноздри, едва я вошел в дом. Я распахнул настежь окно и вдохнул полной грудью свежий ночной воздух.

Я начал было раздеваться, но почти сразу остановился, вспомнив о своем денежном поясе, спрятанном под одеждой. Наверное, подумал я, со сном лучше повременить, не стоит терять бдительность: ведь мне не раз доводилось читать о людях, которые пользовались подобной ситуацией, чтобы ограбить, а порой

даже убить путника, остановившегося у них на ночлег. Посему, соорудив из одеяла подобие человеческой фигуры, лежащей на кровати, я передвинул единственное в комнате кресло в густую тень, снова набил и зажег трубку и уселся, приготовившись дремать или бодрствовать в зависимости от обстоятельств.

III

Довольно скоро мой чуткий слух уловил звук шагов на лестнице. В памяти моей разом всплыли все старинные предания о феодалах-разбойниках, когда в следующий миг я осознал, что слышу твердую, громкую поступь человека, явно не пытающегося скрыть свое приближение. Она нисколько не походила на мягкую, прихрамывающую поступь хозяина дома. Вытряхнув пепел из трубки, я сунул ее в карман, а затем вытащил пистолет, на цыпочках пересек комнату и замер в напряженной позе у стены за дверью.

Дверь открылась, и в луч лунного света вступил совершенно незнакомый мне человек. Высокий, широкоплечий мужчина внушительной наружности, с густой бородой лопатой, в подпиравшем подбородок высоком черном галстуке, давным-давно вышедшем из моды в Америке, — явно иностранец. Как он умудрился войти в дом незаметно для меня, я, хоть убей, не понимал — и я ни на миг не допускал, что все это время он скрывался в одной из комнат или в холле внизу. Когда я взгляделся пристальнее в озаренную зыбким лунным светом плотно сбитую фигуру, мне показалось, будто я вижу сквозь нее, — впрочем, я тотчас решил, что это оптическая иллюзия, возникшая у меня от потрясения.

Заметив беспорядок на постели, но явно не придав ему должного значения, незнакомец пробормотал несколько слов на иностранном языке и принялся раздеваться. Бросив одежду в кресло, недавно покинутое мной, он забрался под одеяло и в два счета заснул крепким сном, о чем свидетельствовало ровное, медленное дыхание.

Первым моим побуждением было разыскать хозяина и потребовать объяснений, но буквально секунду спустя я рассудил, что сперва хорошо бы убедиться, не является ли все происходящее

лишь галлюцинацией как следствие моего тяжелого хмельного сна в лесу. Меня все еще пошатывало от слабости, и, несмотря на недавно поглощенный ужин, я чувствовал такой голод, словно ничего не ел с полуденного ланча.

Я подошел к кровати и схватил спящего мужчину за плечо. В следующий миг, с трудом подавив крик ужаса и изумления, я отпрянул назад с бешено колотящимся сердцем и вытаращенными глазами. *Ибо пальцы мои беспрепятственно прошли сквозь плечо спящего и ухватились за простыню!*

Я не в силах описать смятение, охватившее мою душу. Человек был неосязаем, бесплотен, однако я явственно видел его — он пошевелился и повернулся на бок под одеялом — и слышал его ровное дыхание. А потом я — уже вполне уверенный, что нахожусь во власти безумия или неких гипнотических чар, — услышал на лестнице другие шаги: мягкую, дробную, прихрамывающую поступь, похожую на собачью... Знакомый звериный запах ударил мне в ноздри с новой силой. Чувствуя себя как в кошмарном сне, я на цыпочках отбежал от кровати и снова спрятался за открытой дверью, потрясенный до глубины души, но готовый смиренно принять любой, сколь угодно страшный жребий.

Мгновение спустя в столб лунного света вступил огромный тощий волк — он, следует заметить, сильно прихрамывал, ибо одна задняя нога у него была скрючена и поджата, словно перебитая в прошлом охотничьей пулей. Когда зверь повернул голову в мою сторону, пистолет выскользнул из моих ослабших пальцев и с громким стуком упал на пол. Приступ еще более сильного ужаса парализовал мою волю и сознание, *ибо устремленные на меня глаза жуткого хищника в точности походили на серые фосфоресцирующие глаза хозяина дома, что недавно пристально смотрели на меня из темной кухни.*

До сих пор не знаю, заметил ли волк меня. Он перевел взгляд на кровать и кровожадно уставился на призрачную фигуру спящего мужчины. Потом зверь запрокинул голову, и из дьявольской глотки исторгся жуткий вой, какого мне не доводилось слышать никогда прежде: омерзительный, хриплый волчий вой, от которого у меня кровь заледенела в жилах. Человек на кровати пошевелился, открыл глаза и резко отпрянул при виде чу-

довища. Дрожа от возбуждения, зверь припал на задние лапы и в следующий миг — когда бесплотная фигура испустила душе-раздирающий вопль, исполненный невыразимой муки и ужа-са, — прыгнул вперед и сомкнул на горле несчастного фантома белые крепкие ровные зубы, блестящие в лунном свете. Вопль закончился булькающим хрипом, и полные дикого страха глаза жертвы остекленели.

Побужденный к действию предсмертным криком призрачного мужчины, я молниеносно подхватил с пола пистолет и выпустил всю обойму в чудовищного волка. *Но все до единой пули беспрепятственно прошли сквозь зверя и с глухим стуком вонзились в противоположную стену.*

Нервы у меня окончательно сдали. Объятый слепым страхом, я выскочил за дверь и, бросив последний взгляд назад, увидел, как волк впивается острыми зубами в тело своей жертвы. А потом я испытал еще более жуткое потрясение, породившее во мне самые дикие мысли. На кровати лежало то самое тело, сквозь которое буквально минуту назад свободно прошла моя рука... и тем не менее, ринувшись вниз по темной лестнице, *я отчетливо услышал позади тошнотворный хруст костей.*

IV

Как я нашел тропу и добрался до Глендейла — одному богу ведомо. Помню только, что восход солнца застал меня на опушке леса, на холме, с которого были видны раскинувшийся внизу городок и сверкающая голубая лента реки Катаквы в отдалении. В своем плачевном состоянии — с мертвенно-бледным лицом, без куртки и головного убора, в рубашке, промокшей от пота до такой степени, будто я всю ночь провел под проливным дождем, — я не решился войти в Глендейл, пока не обрету хотя бы видимость самообладания. Наконец я спустился по склону холма и зашагал по мощеным тротуарам узких улочек, застроенных особнячками колониальной архитектуры, направляясь к гостинице «Лафайет-Хаус».

— Откуда в такую рань, сынок? — поинтересовался хозяин гостиницы, с подозрением меня рассматривая. — Да еще в таком взъерошенном виде?

— Пришел лесом из Мейфэра.

— Ты... шел через Дьяволов лес... *сегодня ночью...* один? — Старик уставился на меня со смешанным выражением ужаса и недоверия.

— Почему бы и нет? Путь через Потовиссет занял бы у меня слишком много времени, чтобы успеть сюда к назначенному часу, то есть к полудню.

— Но ведь нынче ночью было *полнолуние!*.. Боже мой! — Он с любопытством разглядывал меня. — Ну как, повстречался с Василием Украниковым или с графом?

— Я что, похож на легковерного простачка? Вы меня разыграть пытаетесь?

Но он ответил серьезным, как у священника, тоном:

— Видать, ты впервые в здешних краях, сынок, раз ничего не знаешь про Дьяволов лес, полнолуние, Василия и все остальное.

Я был настроен отнюдь не на легкомысленный лад, но понимал, что после предыдущих своих ироничных высказываний не должен обнаруживать неподдельный интерес к делу.

— Продолжайте — вижу, вам до смерти хочется рассказать. Я весь внимание — ушки на макушке, прям как у осла.

Затем старик в скупой, сдержанной манере поведал мне местную легенду, не вдаваясь в живописные подробности, ничего не приукрашивая и не домысливая для пущего эффекта. Но мне в моем взбудораженном состоянии и не требовалось никаких стилистических изысков, которыми непременно расцветил бы данную историю любой поэт. Не забывайте, свидетелем каких событий я стал ночью, притом что впервые я услышал легенду уже *после* того, как пережил кошмарное приключение и в панике бежал из страшного дома, напоследок повергнутый в ужас отвратительным хрустом костей призрака.

— Здесь, между Глендейлом и Мейфэром, в прошлом жили несколько русских — нигилисты, перебравшиеся в Америку после каких-то неприятностей у себя на родине. Среди них Василий Украников — высокий, худой, привлекательный парень с золотистыми волосами и изысканными манерами. Однако ходили слухи, будто он слуга дьявола — оборотень и людоед.

Он построил дом в лесу — в нескольких часах ходу от Глендейла — и поселился там совсем один. Время от времени из леса приходили путники, которые все рассказывали одну и ту же диковинную историю — про гнавшегося за ними огромного волка со сверкающими человеческими глазами, ну в точности как у Украникова. Однажды ночью кто-то пальнул в волка с близкого расстояния, и когда Украников в следующий раз появился в Глендейл, он здорово припадал на одну ногу. Все стало ясно как день. Теперь речь шла уже не о подозрениях, а о голых фактах.

Немного погодя он пригласил к себе в гости графа — звали его Федор Черневский, и он жил в Мейфэре, в доме Фаулера на Стейт-стрит. Все предостерегали графа, ибо он был славным малым и пользовался всеобщей любовью, но он сказал, что вполне в состоянии за себя постоять. Тогда было полнолуние. Храбрец, каких поискать, Черневский единственно велел своим слугам наведаться к Василию в случае, если он не вернется к условленному сроку. Они так и сделали... Да неужто, сынок, ты и вправду прошел через лес нынче ночью?

— Ну да... — Я постарался принять беззаботный вид. — Коли я не граф, так, по-вашему, непременно врун? Но что же обнаружили слуги в доме Украникова?

— Растерзанное тело графа, сынок, и стоящего над ним тощего волка с окровавленной пастью. Нетрудно догадаться, кто был этим волком. И говорят, с той поры каждое полнолуние... но неужто, сынок, ты не видел и не слышал ничего необычного?

— Ровным счетом ничего, папаша! А скажите, что стало с волком — или Василием Украниковым?

— Так они его убили, сынок, — нашили свинцом, зарыли в подвале дома, а дом спалили дотла. Случилось это лет шестьдесят назад, когда я был еще совсем мальчишкой, но я помню все так живо, словно все было только вчера.

Я пожал плечами и отвернулся. Сейчас, при свете дня, вся эта история казалась дурацкой выдумкой. Но порой, когда тьма застигает меня одного вдаль от человеческого жилья и в ушах звучит жуткое эхо пронзительных воплей, злобного рычания и отвратительного хруста костей, я содрогаюсь при воспоминании о той кошмарной ночи.

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ МЕРТВЕЦЫ

(с К. М. Эдди-младшим)

Сейчас полночь. Еще до рассвета меня найдут и заточат в тюремную камеру, где я буду чахнуть до скончания дней, снедаемый неутолимыми желаниями, покуда не присоединюсь наконец к своим возлюбленным мертвецам.

Я сижу в зловонной яме, образовавшейся на месте древней могилы; письменным столом мне служит упавший надгробный камень, истертый всеуничтожающим временем; ночную тьму рассеивает лишь свет звезд да тонкого месяца, однако я вижу все ясно, как днем. Повсюду вокруг, подобные мрачным часовым, стерегущим заброшенные могилы, стоят покосившиеся, выщербленные надгробия, наполовину скрытые в густых зарослях смрадного кладбищенского бурьяна. Над всеми ними величественно врезается в серовато-синее небо сужающаяся кверху стела — словно призрачный вождь лемурийской орды. В воздухе висит вредоносный запах плесени и сырой перегнойной земли, но мне он кажется райским благоуханием. Здесь царит мертвая тишина, торжественная и страшная. Имей я возможность выбрать место обитания, я бы поселился в самом центре такого вот города мертвых, ибо близость гниющей плоти и рассыпающихся в прах костей исполняет мою душу экстатическим восторгом, заставляя застойную кровь стремительно бежать по жилам и вялое сердце бешено колотиться от безумной радости — ибо только в смерти я черпаю жизненные силы!

Детство вспоминается мне как затяжной период унылого, однообразного прозябания. Бледный, болезненный, тщедушный ребенок, подверженный длительным приступам угрюмой меланхолии, я вызывал острую неприязнь у своих здоровых, жизнерадостных сверстников. Они обзывали меня занудой и бабой,

поскольку я совершенно не интересовался их шумными подвижными играми и даже при желании не смог бы участвовать в них по причине физической немощи.

Как во всех провинциальных городках, в Фенхэме водились свои злые языки. Досужие кумушки, падкие на все необычное, объявили мой апатичный темперамент некой отвратительной патологией; они сравнивали меня с моими родителями и многозначительно, даже зловеще качали головой, не находя между нами ничего общего. Самые суеверные открыто называли меня подменным, а люди, имевшие представление о моей родословной, указывали на загадочные смутные слухи, касающиеся моего двоюродного прапрадеда, сожженного на костре по обвинению в колдовстве.

Живи я в городе покрупнее, где выше вероятность найти родственную душу для дружеского общения, возможно, я бы преодолел свою раннюю склонность к жизни замкнутой и уединенной. В отроческом возрасте я стал еще более угрюмым, меланхоличным и апатичным. Я не видел смысла в своем существовании. Я словно находился во власти некой неодолимой силы, что притупляла мои чувства, препятствовала моему развитию, парализовывала мою волю и исполняла меня чувством безотчетной тоски и неудовлетворенности.

Мне было шестнадцать, когда я впервые побывал на похоронах. В Фенхэме любые похороны вызвали живейший общественный интерес, ибо наш городок славился долголетием своих жителей. А уж когда преставилась такая известная личность, как мой дед, можно было не сомневаться, что весь город придет отдать дань уважения покойному. У меня, однако, предстоящая погребальная церемония не вызывала ни малейшего интереса. Любое событие, нарушавшее привычное сонное течение моей жизни, не сулило мне ничего, кроме физического и психического переутомления. Уступив назойливым настояниям родителей — главным образом для того, чтобы они хотя бы на время отстали от меня со своими язвительными упреками в «несыновнем отношении», — я согласился пойти с ними.

В похоронах деда не было ничего из ряда вон выходящего, если не считать обилия цветов и венков, но ведь я, не следует забывать, впервые принимал участие в подобного рода торже-

ственном ритуале. Самая атмосфера сумрачной залы, где стоял обитый темной тканью гроб, заваленный благоухающими цветами, и собравшиеся горожане на все лады выказывали скорбь по усопшему, мигом вывела меня из обычного состояния апатии и буквально заворожила. Толчком острого локтя мать вернула меня, впавшего в мечтательное оцепенение, к действительности, и я проследовал за ней к гробу с телом деда.

Я впервые увидел Смерть так близко. Я смотрел на это спокойное, безмятежное лицо, сплошь изрезанное морщинами, и не мог взять в толк, с чего все так убиваются. Дед казался безмерно счастливым и глубоко удовлетворенным. Я почувствовал, как во мне поднимается волна странного, неуместного восторга, который нарастал исподволь и столь медленно, что я не сразу распознал характер сей эмоции. Сейчас, когда я мысленно возвращаюсь к тому знаменательному моменту своей жизни, мне кажется, что восторг зародился в моей душе сразу, как только сцена погребальной церемонии явилась моему взору, а потом незаметно и коварно завладел всем моим существом. Некие пагубные, зловещие токи, исходившие от трупа, оказывали на меня поистине гипнотическое влияние. Словно наэлектризованный неведомой экстатической силой, я помимо воли выпрямился и расправил плечи. Я пытался прожечь взглядом сомкнутые веки мертвеца, дабы прочесть тайное послание, сокрытое под ними. Сердце мое вдруг подпрыгнуло в груди от прилива нечестивой радости и бешено заколотилось о ребра, словно сию секунду вырваться из брэнной телесной оболочки. Душа моя содрогнулась и затрепетала в приступе безудержного, дикого сладострастия. Крепкий толчок материнского локтя снова вернул меня к действительности. Я приближался к черному гробу вялой, медлительной поступью, а отошел прочь пружинистым энергичным шагом.

Я проследовал с траурным кортежем на кладбище, по-прежнему пронизанный таинственными живительными токами. Я чувствовал себя так, словно залпом выпил чашу некоего диковинного эликсира — отвратительного зелья, изготовленного по рецепту самого Сатаны.

Все присутствующие были всецело поглощены траурной церемонией, и резкой перемены в моем поведении не заметил ни-

кто, кроме моих родителей. Но в течение следующих двух недель злоязыкие кумушки только и судачили что о произошедшей со мной метаморфозе. К концу означенного срока, однако, полученный мной заряд энергии начал истощаться, и через пару дней я вернулся к обычному своему меланхолическому состоянию, хотя уже не к прежней беспросветной, всепоглощающей апатии. Если раньше меня вполне устраивало мое инертное существование, то теперь я постоянно испытывал смутное, безотчетное беспокойство. Внешне я снова стал самим собой, и местные сплетники обратились к более занимательным предметам. Когда бы окружающие хоть на миг заподозрили истинную причину моего внезапного оживления, все разом шарахнулись бы от меня, как от чумного. Когда бы я догадывался об отвратительной природе безудержной страсти, крившейся за кратким периодом моего воодушевления, я бы навек удалился от мира и провел остаток жизни в покаянном одиночестве.

Для трагедий характерна форма трилогии: несмотря на пресловутое долголетие жителей нашего городка, в течение следующих пяти лет умерли оба моих родителя. Сначала в результате нелепого несчастного случая погибла мать, и горе мое было столь искренним, что я несказанно изумился, когда наряду с мучительной болью утраты вдруг испытал почти забытое чувство головокружительного, дьявольского восторга, вступавшего в издевательское противоречие с глубокой скорбью. Снова сердце мое подпрыгнуло и часто забухало в груди подобием парового молота, стремительно разгоняя горячую кровь по жилам. Я сбросил тяжкие оковы дремотного оцепенения для того лишь, чтобы взвалить на свои плечи бесконечно более тяжелое бремя отвратительной, богомерзкой страсти. Я по многу часов кряду проводил в комнате, где лежало тело матери, утоляя неугасимую жажду своей души дьявольским нектаром, разлитым в воздухе полутемного помещения. С каждым вздохом я ощущал прилив свежих сил, возносился к новым высотам небесного блаженства. Теперь я знал, что это всего лишь своего рода наркотическое забытие, которое скоро пройдет, оставив меня в плачевном состоянии телесной и душевной немощи, но не мог противиться своей извращенной страсти, как не мог распутать гордые узлы в уже сплетенном клубке своей судьбы.

Я понимал также, что вследствие странного сатанинского проклятия качество моей жизни зависит от мертвецов, что в силу некой специфической особенности своей натуры я способен на эмоциональное возбуждение лишь в присутствии бездыханных тел. Через несколько дней, движимый непреодолимой тягой к жуткому наркотику, от которого зависела полноценность моего существования, я уговорил единственного в Фенхэме гробовщика взять меня в подмастерья.

Потрясение, вызванное смертью моей матери, заметно повлияло на отца. Думаю, если бы я завел речь об устройстве на столь экстравагантную работу в любое другое время, он ответил бы мне категорическим отказом. Теперь же, после минутного раздумья, он просто кивнул в знак согласия. Тогда мне и в голову не могло прийти, что именно он станет первым моим «клиентом»!

Отец тоже скончался совершенно неожиданно — в результате резкого обострения сердечной болезни, которой у него не подозревали. Мой восьмидесятилетний работодатель изо всех сил отговаривал меня от немыслимой затеи забальзамировать тело и не заметил восторженного блеска, вспыхнувшего в моих глазах, когда я наконец вытянул из него согласие. Словами невозможно описать предосудительные, невыразимые чувства, что захлестывали жаркими волнами мое бешено стучащее сердце, когда я трудился над трупом. Преобладало чувство глубочайшей любви — безграничной любви, какой я никогда не испытывал к отцу при жизни.

Отец не был богатым человеком, однако обладал всеми земными благами, необходимыми для безбедного независимого существования. Будучи единственным наследником, я оказался в довольно сложной ситуации. Детские и отроческие годы ни в малой мере не подготовили меня к контакту с современным миром, но старомодный жизненный уклад Фенхэма, изолированного от внешнего мира, мне совершенно опостылел. К тому же долгожительство горожан сводило на нет единственный мотив, побудивший меня заключить ученический договор с гробовщиком.

Уладив дела с наследством, я без всяких проблем уволился с работы и отправился в Бэйборо — город, расположенный ми-

лях в пятидесяти от Фенхэма. Я устроился в «Корпорацию Грешэма» — предприятие, контролировавшее крупнейшие похоронные конторы города, — и в два счета обзавелся широкой клиентурой. Мне даже удалось получить разрешение ночевать в здании фирмы, ибо пребывание рядом с мертвецами уже стало для меня навязчивой потребностью.

Я принялся за работу с редкостным рвением. Любой труп, даже самый безобразный, неизменно приводил меня в нечестивый восторг, и вскоре я стал признанным мастером своего дела. Каждый очередной покойник, поступавший в наше заведение, являлся для меня источником кощунственной радости, извращенного наслаждения, головокружительного возбуждения, которые превращали мое неприятное ремесло в упоительнейшее занятие, составлявшее для меня весь смысл жизни. Но за каждым приливом чувственного блаженства следовал период глубокого упадка. Я начал испытывать жестокие муки в те дни, когда за отсутствием новых мертвецов не мог предаться привычной радости, и молил всех богомерзких демонов преисподней насладиться скорую и верную смерть на жителей города.

Потом наступили памятные ночи, когда по темным улочкам городских окраин начал рыскать некий человек; черные ночи, когда плотная пелена хмурых облаков заволакивала луну. Человек этот крадучись пробирался за деревьями, прячась в густой тени, и поминутно опасливо оглядывался через плечо — он явно замышлял недоброе. После каждой такой ночной прогулки утренние газеты взхлеб живописали своим падким на сенсации читателям подробности очередного кошмарного преступления — репортеры наперебой смаковали чудовищные зверства, предлагали самые несуразные меры противодействия, высказывали самые дикие и противоречивые догадки. Я же между тем чувствовал себя совершенно спокойно — ибо кто хоть на миг заподозрил бы работника похоронной конторы, ежедневно имеющего дело со Смертью, в стремлении утолять противоестественную страсть преднамеренным убийством своих ближних? Каждое преступление я планировал с маниакальной изобретательностью, от раза к разу меняя способы убийства, чтобы никому даже в голову не пришло, что все они являются делом одних и тех же обгаренных кровью рук. Результатом каждой из

таких рискованных ночных вылазок становились минуты экзотического наслаждения, скоротечного и ничем не омраченного, — наслаждения, которое всегда усугублялось надеждой, что восхитительный источник моего блаженства впоследствии будет поручен моим же сладострастным заботам в ходе моей профессиональной деятельности. Порой я и вправду испытывал такое вот двойное, запредельное наслаждение... О бесценные воспоминания!

Долгими ночами, когда я уединялся под кровом своего святилища, мавзолейная тишина вдохновляла меня на измышление новых и самых изощренных способов проявления своей страсти к возлюбленным мертвецам — мертвецам, дававшим мне жизнь!

Однажды утром мистер Грешэм пришел раньше обычного и обнаружил меня лежащим на холодном мраморном столе — я спал глубоким сном, сжимая в объятиях голый, очоченный, зловонный труп. Он пробудил меня от сладострастных грез и, глядя на меня со смешанным чувством отвращения и жалости, вежливо, но твердо велел мне уволиться: мол, нервы мои расшатаны и я нуждаюсь в длительном отдыхе от неприятных обязанностей, сопряженных с моим ремеслом, поскольку тягостная атмосфера похоронного бюро пагубно повлияла на мою юную впечатлительную натуру. Он не имел ни малейшего представления о неодолимой дьявольской страсти, побуждавшей меня к утолению порочных вожделений! У меня хватило ума понять, что любые возражения только укрепят его уверенность в моем сумасшествии — лучше было просто уйти, пока никто не догадался о подлинных мотивах моего поведения.

После этого я нигде не задерживался подолгу, ибо боялся каким-нибудь неосторожным поступком выдать свою постыдную тайну враждебному миру. Я переезжал из города в город, из поселка в поселок. Работал в моргах, на кладбищах, один раз в крематории — то есть везде, где мне представлялась возможность находиться рядом с мертвецами, без которых я не мыслил жизни.

Потом началась мировая война. Я отправился за океан одним из первых и вернулся одним из последних. Четыре года кровавой бойни! Кромешный ад... мерзкая слякоть размытых дождями траншей... оглушительные взрывы истеричных снарядов... монотонный свист разящих пуль... клубы черного дыма

над огненными фонтанами... удушливый смрад смертоносных газов... гротескные останки изуродованных тел... Четыре года запредельного блаженства.

В каждом скитальце живет подсознательная тяга к местам своего детства, и вот уже через несколько месяцев я шагал по знакомому проселку, ведущему в Фенхэм. По обочинам дороги стояли обветшалые фермерские домики, давно покинутые жильцами, и сам город тоже пришел в упадок и запустение за минувшие годы. Лишь несколько домов казались обитаемыми — среди них и тот, что некогда я называл родным. Заросшая бурьяном дорожка, разбитые окна, запущенные сад и огород — все это подтверждало сведения, полученные мной в ходе осторожных расспросов: ныне здесь живет беспутный пьяница, кое-как перебивающийся за счет поденной работы, которую ему дают немногочисленные соседи из сострадания к его забитой жене и вечно голодному, хилому ребенку. В общем, романтический ореол, окружавший город моей юности, бесследно развеялся, и я, повинувшись случайному порыву, направил свои стопы в Бэйборо.

Здесь тоже за минувшие годы произошли перемены, но противоположного порядка. Небольшой городок, каким мне запомнился Бэйборо, разросся почти вдвое, несмотря на отток населения во время войны. Ноги сами привели меня к бывшему месту работы. Похоронная фирма по-прежнему существовала, но на вывеске над дверью значилось незнакомое имя преемника, ибо, пока молодые люди воевали за океаном, эпидемия гриппа забрала жизнь мистера Грешэма. Поддавшись роковому побуждению, я предложил свои услуги новому владельцу фирмы. Я упомянул о своем ученичестве у мистера Грешэма с внутренней дрожью, но мои опасения оказались напрасными — мой покойный работодатель унес тайну моего неэтичного поведения с собой в могилу. У них как раз имелась подходящая вакансия, и меня тотчас восстановили в должности.

В самом скором времени меня стали мучить навязчивые воспоминания о греховных ночных паломничествах и неодолимое желание вновь предаться запретным наслаждениям. Отбросив всякую осторожность, я взялся за старое. И снова бульварные листки принялись с упоением смаковать жуткие подробности моих преступлений, сравнивая нынешнюю ситуацию с неделями

кровавых бесчинств, потрясших город много лет назад. И снова полиция расставила свои сети — но не поймала в них ничего!

Жажда отравного нектара смерти пылала всепожирающим огнем в моей груди, и я начал сокращать перерывы между своими гнусными подвигами. Я понимал, что сильно рискую, но дьявольская страсть крепко держала меня в своих щупальцах, побуждая творить все новые и новые злодеяния.

Ум мой постепенно притуплялся, всецело сосредоточенный на утолении противоестественных вожделений. Мелочи, жизненно важные для любого преступника, стали ускользать от моего внимания. Каким-то образом где-то я оставил слабый след, незначительную улику, которой было недостаточно, чтобы арестовать меня, но хватило, чтобы на меня пало сильное подозрение. Я почувствовал за собой слежку, однако никак не мог подавить острую потребность в новых мертвецах, необходимых для возбуждения моей дряблой, сонной души.

Потом наступила ночь, когда пронзительный полицейский свисток пробудил меня от сладострастных грез над телом очередной жертвы. Одним молниеносным движением я сложил окровавленную бритву, которую все еще сжимал в руке, и сунул в карман куртки. Полицейские дубинки выбили громкую барабанную дробь на двери. Я разбил окно стулом, благодаря судьбу за то, что выбрал в качестве места преступления один из беднейших кварталов, и спрыгнул в темный переулок как раз в тот момент, когда люди в синих мундирах ворвались в комнату, вышибив дверь. Я мчался по тускло освещенным узким улочкам, перемахивая через шаткие изгороди, пробегая через грязные задние дворы, мимо убогих ветхих домишек. Я сразу подумал о заболоченных лесах, что начинались за городской чертой и простирались на добрых полсотни миль вплоть до самого Фенхэма. Если мне удастся добраться до них, я на время окажусь в сравнительной безопасности. Задолго до рассвета я уже несея голову по зловещей пустоши, спотыкаясь о гниющие корни полумертвых деревьев, чьи голые ветви тянулись ко мне из темноты, точно уродливые руки, стремящиеся остановить меня, заключив в издевательские объятия.

Видимо, приспешники нечестивых богов, к которым я обращал свои идолопоклоннические молитвы, направляли мои ша-

ги по гибельным болотам. Неделю спустя — изнуренный, оборванный и грязный — я уже прятался в лесах в миле от Фенхэ-ма. Мне удалось ускользнуть от погони, но я не осмеливался выйти из укрытия, поскольку сведения обо мне наверняка передали по радио. Я слабо надеялся, что сбил преследователей со следа. После первой кошмарной ночи я ни разу не слышал ни голосов, ни треска кустов под натиском крупных тел. Возможно, полицейские решили, что труп мой уже покоится на дне какого-нибудь стоячего омута или сгинул навеки в вязкой трясине.

Жестокий голод терзал мои внутренности, пересохшее горло горело огнем. Но гораздо более сильные муки претерпевала моя душа, изголодавшаяся по мертвецам, в которых находила единственный источник жизни. Ноздри мои трепетали при сладостных воспоминаниях. Я больше не обманывал себя мыслью, что моя противоестественная страсть является просто прихотью воспаленного воображения. Теперь я понимал, что она — неотъемлемая часть моего существа и без нее я угасну, как лампа, в которой выгорел керосин. Я собрал все оставшиеся силы, исполненный решимости любой ценой утолить свой проклятый аппетит. Несмотря на риск, сопряженный с замышленным делом, я отправился на разведку, мрачным призраком скользя в спасительно густых тенях. У меня снова возникло странное ощущение, будто меня ведет некий незримый приспешник Сатаны. Но даже моя погрязшая во грехе душа на миг возропала, когда я очутился перед родным домом, местом моего отроческого затворничества.

Потом минутное смятение, вызванное воспоминаниями детства, улеглось, и на смену ему пришло всепоглощающее сладострастное желание. За ветхими стенами старого дома скрывалась моя добыча. Секунду спустя я поднял расхлябанную оконную раму и перелез через подоконник. Несколько мгновений я стоял неподвижно в напряженной позе, прислушиваясь и вглядываясь в темноту. Тишина придавала мне уверенности. Покошачьи бесшумной поступью я двинулся по знакомым комнатам — и вскоре раскатистый храп указал мне на место, где я обрету исцеление от страданий. Я позволил себе шумный вздох сладостного предвкушения, когда распахнул дверь спальни. Точно пантера, подкрался я к простертому навзничь человеку, погру-

женному в тяжелый хмельной сон. Жена и ребенок — где они? Ладно, они подождут. Мои цепкие пальцы нащупали горло спящего...

Через несколько часов я снова прятался в лесу, но теперь украденная сила наполняла мое тело. Три мои безмолвные жертвы спали вечным сном. Только когда яркие солнечные лучи проникли в мое укрытие, я осознал последствия своего безрассудного поступка, вызванного неодолимым желанием получить облегчение от мук. Тела уже, должно быть, обнаружены. Даже самые тупые из местных полицейских наверняка усмотрят связь между произошедшей трагедией и моим бегством из соседнего города. Кроме того, я впервые забыл об осторожности и оставил на месте преступления вполне осязаемую улику, указывающую на меня: отпечатки пальцев на горле убитых. Весь день я трясся от страха. Обычный хруст сухой ветки под моей ногой вызывал в воображении самые жуткие картины. Ночью, под покровом темноты, я обогнул Фенхэм и направился к лесу, простиравшемуся по другую сторону от города. Еще до рассвета мой слух уловил далекий лай гончих псов, недвусмысленно свидетельствовавший о возобновлении погони.

Всю долгую ночь я шел быстрым шагом, но к утру силы мои начали убывать. В полдень я почувствовал очередной властный зов гибельного проклятия и понял, что скоро свалюсь с ног от слабости, если не испытаю снова отравного блаженства, которое черпаю лишь в близости возлюбленных мертвецов. До сих пор я двигался по широкой дуге. Коли пойти напрямик, к полуночи я доберусь до кладбища, где много лет назад похоронил своих родителей. Я мог надеяться на спасение только в случае, если достигну сей цели прежде, чем преследователи нагонят меня. Обратившись с немой мольбой к демонам, что правили моей судьбой, я, с трудом переставляя словно налитые свинцом ноги, двинулся в сторону последнего своего убежища.

Господи! Неужто прошло всего двенадцать часов с момента, как я покинул свое ужасное святилище? Каждый мучительно долгий час показался мне вечностью. Но я щедро вознагражден. Тлетворные ароматы, витающие над заброшенным кладбищем, проливаются целительным бальзамом в мою истерзанную душу.

Небо над горизонтом побледнело в преддверии рассвета. Они приближаются! Чутким слухом я улавливаю далекий лай псов! Через считанные минуты меня найдут и навсегда упрячут в тюрьму, где мне суждено изнемогать от неутолимой, всепоглощающей страсти, куда я не присоединюсь к своим возлюбленным мертвецам!

Нет, я не дамся! Путь к спасению открыт! Пускай это выбор труса, но такой исход лучше, гораздо лучше, чем бесконечные месяцы невыразимых страданий. Я оставлю здесь эти записи в надежде, что кто-нибудь поймет, почему я сделал такой выбор.

Бритва! Она так и лежит у меня в кармане со дня моего бегства из Бэйборо. Испачканное кровью лезвие странно поблескивает в меркнувшем свете тонкого месяца. Один полосующий удар по левому запястью — и я спасен...

Брызги теплой, свежей крови ложатся причудливыми узорами на грязные, выщербленные могильные плиты... сонмы призраков вьются над смрадными могилами... бесплотные пальцы манят меня... упоительные фрагменты ненаписанных мелодий звучат неземным крещендо... далекие звезды кружатся в пьяном танце под демонический аккомпанемент... тысячи крохотных молоточков колотят вразнобой по наковальням в моем затуманенном мозгу... Серые призраки зверски убитых жертв проплывают передо мной в издевательском молчании... палящие языки незримого пламени выжигают клеймо ада на моей измученной душе... Больше... не могу... писать...

СЛЕПОГЛУХОНЕМОЙ

(с К. М. Эдди-младшим)

28 июня 1924 года, вскоре после полудня, доктор Морхаус остановил свой автомобиль с тремя пассажирами возле усадьбы Таннера. Недавно отремонтированное и свежеекрашенное каменное здание, стоявшее близ дороги, производило бы самое благоприятное впечатление, если бы не обширное мрачное болото позади него. Поодаль от обочины, за аккуратной подстриженной лужайкой, виднелась массивная белоснежная дверь; приблизившись, доктор и его спутники обнаружили ее распахнутой настежь. Только сетчатая дверь оставалась закрытой. Четверо мужчин хранили напряженное молчание, ибо при одной мысли о том, что скрывается в стенах дома, каждый из них испытывал смутный страх. Напряжение заметно спало, когда до слуха визитеров явственно донесся стук пишущей машинки Ричарда Блейка.

Примерно часом раньше из этого особняка с дикими воплями вылетел мужчина без головного убора и верхней одежды — он опрометью пробежал полмили и рухнул на крыльце ближайшего соседа, бессвязно бормоча что-то про «дом», «темноту», «болото» и «комнату». Доктору Морхаусу не понадобилось никаких дополнительных поводов для безотлагательных действий, когда он узнал, что из старой усадьбы Таннера, расположенной на краю болота, недавно примчался близкий к помешательству человек. Он предвидел нечто подобное с тех самых пор, когда в проклятом каменном особняке поселились двое мужчин: слуга, сбежавший оттуда час назад, и его хозяин Ричард Блейк, гениальный поэт из Бостона, который, пройдя через пекло войны с обостренными до предела чувствами и обнаженными нервами, вернулся в своем теперешнем состоянии: по-прежнему жизнера-

достным, хотя и полупарализованным, по-прежнему слагающим песни в многозвучном, многокрасочном царстве своей буйной фантазии, хотя и полностью отгороженным от внешнего мира глухотой, немотой и слепотой!

Блейк всегда приходил в восторг от странных преданий и зловещих слухов, связанных с домом Таннера и прежними его обитателями. Подобные жуткие истории и темные недомолвки давали воображению богатую пищу, наслаждаться которой он мог независимо от своего физического состояния. Мрачные предсказания суеверных местных жителей не вызывали у него ничего, кроме насмешливой улыбки. Теперь, когда его единственный слуга сбежал в диком приступе панического страха, бросив своего беспомощного хозяина наедине с неведомой причиной этого страха, у Блейка осталось куда меньше оснований для восторгов и насмешливых улыбок! Так, во всяком случае, подумал доктор Морхаус, когда осмотрел невменяемого беглеца и призвал озадаченного фермера, обнаружившего беднягу у своего порога, наведаться вместе с ним в зловещий дом и выяснить, в чем там дело. Морхаусы жили в Фенхэме на протяжении многих поколений, и дед доктора участвовал в сожжении тела затворника Симеона Таннера в 1819 году. Даже по прошествии века с лишним профессиональный врач невольно пожегся при мысли о слухах, связанных с упомянутым сожжением, — о наивном умозаключении, сделанном невежественными селянами на основании одной несущественной особенности внешнего облика усопшего. Он сам понимал абсурдность такой своей реакции — ибо крохотные костные шишечки на лобной части черепа ровным счетом ничего не значат и часто наблюдаются у плешивых людей.

Четверо мужчин, в конечном счете отправившихся к зловещему дому, по дороге вполголоса обменивались смутными легендами и темными слухами, почерпнутыми от своих любознательных бабок и прабабок, — легендами и слухами, которые чаще всего расходились по содержанию и почти никогда не подвергались систематическому сравнению. Самые ранние предания подобного толка относились к 1692 году, когда один из Таннеров был казнен на Висельном холме в Салеме по обвинению в колдовстве, но по-настоящему жуткий оттенок эта история начала

приобретать лишь к 1747 году, когда был возведен упомянутый особняк (за исключением флигеля, пристроенного значительно позднее). Но даже в то время слухов такого рода ходило довольно мало, поскольку из всех Таннеров, слывших людьми странными, местные жители до смерти боялись лишь последнего, старого Симеона. Он произвел кое-какие работы на территории унаследованной собственности (работы самого ужасного свойства, шептались все соседи) и заложил кирпичом окна угловой юго-восточной комнаты, восточная стена которой выходила на болото. Эта комната служила Симеону рабочим кабинетом и библиотекой, и в нее вела дверь двойной толщины, окованная железом. Памятной зимней ночью в 1819 году, когда из печной трубы повалил омерзительно вонючий дым, прочную дверь взломали топорами и обнаружили за ней бездыханного Таннера с застывшей на лице жуткой гримасой. Именно из-за нее — а не из-за двух костных наростов под линией густых седых волос — тело старого Симеона сожгли вместе со всеми книгами и рукописями, найденными в кабинете... Однако автомобиль преодолел короткое расстояние до усадьбы Таннера слишком быстро, чтобы мужчины успели вспомнить и сопоставить все известные исторические факты.

Когда шедший впереди доктор открыл сетчатую дверь и вступил под своды холла, стрекот пишущей машинки внезапно прекратился. В следующий миг двоим из мужчин показалось, будто на них слабо повеяло холодным сквозняком, несовместным с исключительно жаркой погодой, хотя впоследствии они усомнились в истинности такого своего ощущения. В холле царил безупречный порядок, как и во всех комнатах, куда визитеры заглянули в поисках кабинета, где предположительно находился хозяин. Блейк обставил дом в изысканном колониальном стиле и умудрялся содержать жилье в похвальной чистоте и опрятности, хотя имел в своем распоряжении всего одного слугу.

Доктор Морхаус в сопровождении своих спутников переходил из одного помещения в другое через широко распахнутые двери и арочные проемы и наконец нашел совмещенный с библиотекой кабинет поэта — расположенную на первом этаже уютную комнату с окнами на юг, смежную со зловещим кабинетом Симеона Таннера. Вдоль стен здесь стояли стеллажи с книгами,

содержание которых слуга передавал Блейку с помощью хитроумного языка прикосновений, а также толстые брайлевские тома, которые хозяин читал сам кончиками чувствительных пальцев. Ричард Блейк, разумеется, находился на своем рабочем месте: сидел за пишущей машинкой с заправленным в каретку листом бумаги, а на полу вокруг него валялось несколько свежее отпечатанных страниц, сдутых со стола сквозняком. Похоже, он прервал работу внезапно — вероятно, из-за дуновения холодного воздуха, заставившего его плотно запахнуть ворот домашнего халата. Он повернул голову к распахнутой настежь двери, ведущей в залитую солнечным светом смежную комнату, и застыл в напряженной позе, характерной для человека, полностью изолированного от внешнего мира за отсутствием зрения и слуха.

Сделав несколько шагов вперед и увидев лицо писателя, доктор Морхаус вдруг страшно побледнел и знаком велел своим спутникам оставаться на месте. Лишь спустя несколько мгновений он овладел собой и окончательно убедился, что зрение его не обманывает. Теперь он уже не находил странным, что памятной зимней ночью труп старого Симеона Таннера сожгли из-за *выражения лица*, ибо сейчас перед ним предстало зрелище не для слабонервных. Покойный Ричард Блейк — чья беззаботно стрекотавшая печатная машинка стихла, едва незваные гости переступили порог дома, — перед самой смертью, невзирая на свою слепоту, увидел нечто, потрясшее его до глубины души. Ничего человеческого не было в гримасе, застывшей на лице инвалида, и в остекленелом незрячем взгляде налитых кровью голубых глаз, шесть лет назад утративших способность воспринимать образы внешнего мира. Глаза эти, полные невыразимого ужаса, были устремлены на распахнутую дверь в кабинет Симеона Таннера, некогда погруженный во мрак, а ныне озаренный яркими солнечными лучами, льющимися в размурованные окна. Доктор Арло Морхаус пошатнулся от легкого головокружения, когда увидел, что даже при ослепительном свете дня чернильно-черные зрачки мертвых глаз расширены, как у кота в темноте.

Доктор закрыл эти вперенные в пустоту незрячие глаза и только потом позволил остальным войти в комнату. Он с лихо-

рабочим усердием обследовал бездыханное тело по всем правилам, несмотря на нервное возбуждение и дрожь в руках. Об иных своих заключениях он время от времени сообщал троим спутникам, охваченным страхом и любопытством, а о других благоразумно умолчал, дабы не наводить их на тревожные размышления, каким не стоит предаваться простому смертному. Но и без доктора один из мужчин обратил внимание на растрепанные черные волосы мертвеца да разметанные по полу страницы и тихо пробормотал, что складывается впечатление, будто из смежного помещения, к которому обращено лицо покойника, сюда ворвался сильный порыв ветра — а между тем, хотя некогда замурованные окна соседнего кабинета сейчас действительно были распахнуты настежь, на протяжении всего жаркого июньского дня царил полное безветрие.

Когда один из мужчин принялся подбирать с пола свежее отпечатанные страницы, доктор Морхаус остановил его резким жестом. Он уже успел прочитать пару фраз на заправленном в каретку листе бумаги, после чего, снова смертельно побледнев, торопливо вытащил его из машинки и спрятал в карман. Теперь он почел за нужное самолично собрать все разбросанные страницы и затолкать во внутренний карман пиджака, не раскладывая в порядке нумерации. Доктора испугало не столько то, что он прочитал, сколько то, что он заметил сейчас: печать на листе бумаги, найденном в машинке, на вид несколько отличалась от печати на всех остальных страницах, каковая разница объяснялась разной силой удара по клавишам. Это смутное впечатление напрямую увязывалось в сознании доктора с другим ужасным обстоятельством, которое он старательно скрывал от своих спутников, слышавших стук пишущей машинки всего десять минут назад, и пытался изгнать даже из собственного ума до поры, когда он останется наедине с самим собой и удобно расположится в глубоком кресле, чтобы хорошенько над всем поразмыслить. О том, какой страх вызвало у него данное обстоятельство, можно судить хотя бы по тому, что он решил его замалчивать. Все тридцать с лишним лет своей профессиональной деятельности он твердо держался того правила, что от медицинских экспертов нельзя утаивать никакие факты, — однако впоследствии никто так и не узнал, что, едва приступив к осмотру мерт-

вого слепца с искаженным от ужаса лицом и вытаращенными глазами, он моментально понял: *смерть наступила по меньшей мере за полчаса до обнаружения тела.*

Покинув кабинет и затворив за собой дверь, доктор Морхаус в сопровождении своих спутников обошел все до единого помещения древнего здания в поисках улик, способных пролить свет на разыгравшуюся здесь трагедию. Они не нашли ровным счетом ничего. Доктор знал, что люк в кабинете старого Симеона Таннера был замурован той же ночью, когда тело затворника вместе со всеми найденными в библиотеке книгами и рукописями предали огню, и что нижний подвал и извилистый туннель под болотом были затоплены примерно тридцатью пятью годами позже, как только их обнаружили. Теперь он убедился, что никаких новых потайных помещений и ходов не появилось в этом старом доме, отреставрированном на современный лад и со вкусом обставленном.

Позвонив шерифу в Фенхэм и окружному медэксперту в Бэйборо, доктор Морхаус дождался прибытия первого. Шериф сразу же настоял на том, чтобы привести к присяге в качестве своих помощников двоих из четверых мужчин и приступить к расследованию, не дожидаясь судебного медика. Доктор, уверенный в беспомощности представителей власти перед лицом потусторонней тайны, не мог сдержать иронической усмешки, когда отъезжал от особняка вместе с фермером, в чьем доме по-прежнему оставался сбежавший слуга Блейка.

Пациент был чрезвычайно слаб, но находился в сознании и уже более или менее владел собой. Доктор Морхаус, пообещавший шерифу вытянуть из беглеца максимум информации, спокойно и тактично приступил к расспросам, на которые мужчина отвечал с готовностью и вполне разумно, затрудняясь с некоторыми ответами единственно по причине провала в памяти. Нынешнее его спокойствие, видимо, во многом объяснялось именно неспособностью вспомнить все случившееся, ибо теперь он мог рассказать лишь следующее: он находился в рабочем кабинете вместе с хозяином, когда вдруг в соседней комнате стало темным-темно — хотя еще сто с лишним лет назад окна там размуровали и крошечный мрак сменился ярким светом дня. При одном этом воспоминании, пусть даже не вполне отчетливом,

пациент пришел в состояние крайнего нервного возбуждения, и доктор Морхаус был вынужден тщательнейшим образом подбирать слова, чтобы деликатно сообщить ему о смерти хозяина, вызванной сердечной недостаточностью, которая у него развилась в результате тяжелых ранений, полученных на войне. Слуга, искренне преданный увечному писателю, впал в глубокую скорбь, но пообещал сослужить ему последнюю службу, отвезя тело покойного к родственникам в Бостон по завершении официальной медицинской экспертизы.

Весьма уклончиво ответив на расспросы любопытных хозяев дома, доктор настоятельно попросил их временно приютить пациента и не подпускать его к особняку Таннера вплоть до дня отправки в Бостон тела Блейка, а потом поехал домой, дрожа от возбуждения. Наконец-то он прочитает машинописные заметки покойного поэта и получит хоть какое-то представление о кошмаре, который, преодолев преграды слепоты и глухоты, проник столь губительно в утонченный живой ум, напрочь изолированный от образов и звуков внешнего мира. Он знал на верное, что содержание рукописи фантастично и ужасно, и не спешил приступать к чтению. Аккуратно поставив машину в гараж, доктор переоделся в уютный домашний халат и расставил склянки с успокоительными и укрепляющими микстурами на столике рядом с удобным глубоким креслом, где собирался разместиться. Потом он еще немного потянул время, медленно раскладывая страницы в порядке нумерации, но не позволяя себе даже мельком взглянуть на текст по ходу дела.

Все мы знаем, как подействовала рукопись на доктора Морхауса. Никому больше не довелось бы ознакомиться с ней, если бы жена доктора не подобрала с пола рассыпавшиеся страницы часом позже, когда сам он неподвижно лежал в кресле, тяжело дыша и никак не реагируя на оглушительный стук в дверь, способный разбудить даже мумию фараона. Сколь бы жуткое впечатление ни производил сей документ — особенно ввиду явного *изменения стиля* в самом конце, — нельзя не предположить, что сведущий в местном фольклоре врач узрел в нем некий *тайный ужасный смысл*, который, к счастью, навеки останется недоступным пониманию простых смертных. Все жители Фенхэма сходятся во мнении, что из рассказней старожилов и историй,

услышанных в детстве от собственного деда, доктор Морхаус почерпнул некие особые сведения, в свете которых жуткие записи Ричарда Блейка приобрели новое, совершенно определенное значение, опасное для человеческого рассудка. Тогда становится понятно, почему он так долго не мог прийти в себя тем июньским вечером, почему столь упорно пытался воспрепятствовать своим жене и сыну прочесть рукопись, почему с такой неохотой поддался на уговоры последних не сжигать зловещий документ и — самое главное — почему он столь поспешно купил усадьбу старого Таннера, взорвал дом динамитом и вырубил все деревья на болоте в пределах доброй полумили от дороги. Ныне доктор категорически отказывается от любых разговоров на данную тему, и представляется очевидным, что он унесет с собой в могилу некую страшную тайну, которую миру лучше не знать.

Приведенный ниже текст рукописи скопирован с оригинала, любезно предоставленного нам Флойдом Морхаусом, сыном доктора. Несколько пропусков, отмеченных звездочками, сделаны в интересах душевного спокойствия читателей, а все прочие объясняются невразумительностью изложения в отдельных местах, где потрясенный автор, с бешеной скоростью печатавший вслепую, впадал в бессвязность или двусмысленность. В трех местах, где лакуны можно восполнить по контексту, приняты попытки реконструкции. Об *изменении стиля* в конце документа лучше и не говорить вовсе. Безусловно, подобную перемену — как в части содержания рукописи, так и в части характера печати — запросто можно объяснить душевным смятением жертвы, столкнувшейся с неким ужасом, перед которым померкли все предыдущие. Умы посмелее вправе строить свои догадки на сей счет.

Итак, вот текст, написанный в проклятом доме человеком, отгороженным глухотой и слепотой от внешнего мира и оставленным на произвол неведомых сил, с какими не доводилось встречаться ни одному слышащему и зрячему. Сей текст, противоречащий всем нашим знаниям о мире, почерпнутым из физики, химии и биологии, любой логический ум сочтет плодом помешательства — помешательства, которое неким симпатическим образом передалось мужчине, успевшему вовремя выбежать из

означенного дома. Нижеприведенную рукопись и вправду вполне можно считать бредом сумасшедшего, покуда доктор Арло Морхаус хранит молчание.

РУКОПИСЬ

Смутные дурные предчувствия, одолевавшие меня последнюю четверть часа, теперь перерастают в отчетливый страх. Прежде всего я твердо уверен, что с Доббсом что-то стряслось. Впервые за все время нашего совместного проживания он не ответил на мой зов. Когда он не откликнулся и на повторный звонок, я решил, что колокольчик вышел из строя, но я колотил кулаками по столу достаточно громко, чтобы разбудить даже подопечного Харона. Поначалу я предположил, что он вышел из дома подышать свежим воздухом, ибо сегодня с утра стоит страшная жара и духота, но Доббс никогда не отлучается надолго, не убедившись предварительно, что мне ничего не понадобится в ближайшее время. Странное явление, произошедшее несколько минут назад, подтверждает мои подозрения, что отсутствие Доббса вызвано не зависящими от него обстоятельствами. Именно это явление побуждает меня излагать свои впечатления и догадки на бумаге в надежде таким образом избавиться от тягостного предчувствия надвигающейся трагедии. Несмотря на все старания, мне никак не удастся выбросить из головы легенды, связанные с этим старым домом, — глупые суеверия, которыми упиваются умы неразвитые и о которых я даже не вспомнил бы, находишь Доббс рядом.

На протяжении всех лет моей изоляции от внешнего мира Доббс оставался моим шестым чувством. Сейчас, впервые за долгое время моей недееспособности, я ясно сознаю всю меру своей беспомощности. Именно Доббс заменил мне мои незрячие глаза, мои бесполезные уши, мое безгласное горло, мои парализованные ноги. На письменном столе стоит стакан воды. Без Доббса я окажусь в мучительном положении Тантала, когда мне понадобится вновь его наполнить. Гости в нашем доме большая редкость: между болтливыми сельскими жителями и слепоглухонемым паралитиком, неспособным вести с ними разговоры, мало общего, — и, вероятно, пройдет не один день, прежде чем кто-нибудь из соседей заглянет сюда. Я совсем один... ком-

панию мне составляют лишь мои мысли — тревожные мысли, избавлению от которых ни в коей мере не способствуют ощущения, что я испытываю последние несколько минут. И сами ощущения мне не нравятся, ибо из-за них дурацкие деревенские слухи и сплетни постепенно трансформируются в моем сознании в фантастические видения, воздействующие на мои эмоции самым странным и беспримерным образом.

Такое впечатление, будто я начал писать сей текст много часов назад, но в действительности прошло всего несколько минут, ибо я только что заправил в каретку следующий лист бумаги. Привычное машинальное действие — замена отпечатанной страницы на чистую — позволило мне отвлечься от тревожных мыслей, пусть на считанные секунды, и овладеть собой. Возможно, мне удастся отрешиться от ощущения близкой опасности на время, пока я описываю события, уже произошедшие.

Сначала по дому пробежала легкая дрожь вроде той, что сотрясает дешевые многоквартирные дома, когда по мостовой с грохотом проезжает тяжелый грузовик, — но ведь это не хлипкое каркасное строение. Возможно, я просто сверхчувствителен к подобным вещам и позволяю воображению играть со мной шутки, но мне показалось, что источник вибрации находится прямо передо мной — а я сижу лицом к юго-восточному крылу особняка и простирающемуся за ним болоту! Но даже если допустить, что в первый момент имел место обман чувств, то в истинности последующих своих ощущений я нисколько не сомневаюсь. Мне вспомнились моменты, когда земля дрожала у меня под ногами при взрывах тяжелых снарядов и когда на моих глазах яростный тайфун швырял по волнам корабли, как щепки. Дом заходил ходуном, словно нифльхеймские грохоты, просеивающие уголь дуэргаров. Каждая половица под моими ногами тряслась, точно живое существо, претерпевающее невыносимые муки. Печатная машинка подпрыгивала на столе, и мне даже почудилось, будто клавиши испуганно стрекочут сами по себе.

Мгновение спустя все закончилось. В доме снова воцарился покой. Подозрительно глубокий покой! Трудно поверить, что после подобного явления в доме все осталось как прежде. Нет, не как прежде, — я абсолютно уверен: с Доббсом что-то случилось!

Именно эта уверенность вкупе с царящим в доме неестественным покоем усугубляет страх, неотвратимо нарастающий в душе. Страх? Да, он самый — хотя я и пытаюсь убедить себя, что мне нечего бояться. Литературные критики и хвалили, и ругали мою поэзию за «пылкость воображения», как они выражались. В данный момент я готов искренне согласиться с теми, кто говорит об «излишней пылкости». Наверняка ничего особенного не произошло, иначе...

Дым! То есть слабый едкий запах, едва уловимый, но явственно различимый для моего обостренного нюха. Настолько слабый, что мне не определить, доносится ли он из какого-то помещения в доме или же втекает в открытое окно смежной комнаты, выходящее на болото. В следующий миг ощущение становится более отчетливым: теперь я уверен, что запах дыма доносится не снаружи. Обрывочные видения прошлого, страшные картины былых дней вереницей проносятся передо мной. Пожар на фабрике... истерические вопли объятых ужасом женщин, окруженных сплошной стеной огня... горящая школа... душераздирающие крики беспомощных детей, оказавшихся в огненной ловушке из-за обрушения лестниц... охваченный пламенем театр... дикое столпотворение обезумевших от паники людей, пробивающихся к выходам... и над всем этим — густые клубы черного, удушливого, губительного дыма, заволакивающие ясное небо. Тяжелые угарные волны накатывают на меня... я каждую секунду ожидаю, что вот-вот языки пламени начнут жадно лизать мои бездвижные, бесполезные ноги... у меня щиплет и жжет глаза... кровь стучит в висках... Я задыхаюсь и кашляю, пытаюсь изгнать из легких ядовитые Окипетовы миазмы... такой дым сопутствует лишь чудовищным катастрофам... едкий, смрадный, отравный, насыщенный тошнотворным запахом горелой плоти***

И вновь я остался наедине со зловещим мертвым затишьем. Свежий ветерок, овевающий мое лицо, быстро возвращает мне утраченное самообладание. Совершенно очевидно, что никакого пожара в доме нет, ибо зловонный дым бесследно рассеялся. Я не чувствую даже самого слабого запаха гари, хотя принимаюсь, точно охотничий пес. Я задаюсь вопросом, не сошел ли я с ума, не оказали ли годы одиночества пагубное воздействие

на мой рассудок — но я слишком уверен в подлинности своих ощущений, чтобы счесть описанное выше явление простой галлюцинацией. Безумен я или нормален, я не могу воспринимать происходящие события иначе как реальность, а признание их таковой ведет лишь к одному-единственному логическому заключению, которого самого по себе вполне достаточно, чтобы вызвать психическое расстройство. Согласиться с подобным выводом — значит признать истинность суеверных слухов, которые Доббс собирал у местных жителей и записывал рельефно-точечным шрифтом, позволяющим мне читать чувствительными кончиками пальцев, — дурацких рассказней, представляющих моему материалистическому уму полнейшим вздором!

Господи, хоть бы прекратился этот невыносимый стук в ушах! Такое впечатление, будто пара призрачных барабанщиков бешено колотит по моим ноющим перепонкам. Наверное, это просто реакция на удушье, испытанное мной минуту назад. Еще несколько сильных дуновений свежего воздуха...

Я в комнате не один! Я чувствую чье-то близкое присутствие столь явственно, словно вижу воочию. Подобное ощущение порой возникало у меня, когда я прокладывал себе путь по запруженной народом улице и вдруг нутром чуял, как чей-то цепкий взгляд выхватывает меня из толпы и пристально впериается в меня, воздействуя на мое подсознание. Да, сейчас у меня точно такое же ощущение — только тысячекратно усиленное! Кто... что... это может быть? В конечном счете, возможно, страхи мои беспочвенны — наверно, это просто Доббс вернулся. Нет... это не Доббс. Как я и ожидал, стук в ушах прекратился, и внимание мое привлек тихий шепот... только сейчас до моего смятенного ума дошло поразительное значение сего факта... *Я стал слышать!*

Я слышу не один шепчущий голос, но множество!*** Развратное жужжание мерзких мясных мух... сатанинское гудение сладострастных пчел... протяжное шипение отвратительных рептилий... приглушенный хор нечеловеческих голосов! Он звучит все громче... вся комната дрожит от демонического пения, немелодичного, монотонного, гротескно-мрачного... дьявольский хор, исполняющий нечестивые литании... хвалебные оды

мефистофельским непотребствам, положенные на музыку, сотканную из стонущих воплей погибших душ... кошмарное крес-
сцендо языческого пандемониума***

Голоса, доносящиеся со всех сторон, приближаются к моему креслу. Пение резко оборвалось, и сейчас в невнятном шепоте угадываются членораздельные звуки. Я напрягаю слух, силясь разобрать слова. Ближе... еще ближе. Теперь слова звучат отчетливо — слишком отчетливо! Лучше бы мне навсегда остаться глухим и ввек не слышать сих ужасных речей***

Богомерзкие откровения разлагающих душу сатурналий*** отвратительные сцены диких кутежей*** греховная скверна кабацких оргий*** злобные угрозы немислимых кар***

Стало холодно. Не по-летнему холодно! Словно воодушевленный присутствием бесчисленных демонических существ, досаждающих мне, ветер, всего минуто назад ласково овеивавший мое лицо, теперь яростно воеет у меня над ухом — ледяной ветер с болота, что врывается в открытое окно и пробирает до костей.

Если Доббс сбежал, я его не виню. Я отнюдь не оправдываю трусость или малодушный страх, но есть вещи*** Надеюсь лишь, что он покинул дом вовремя, не успев натерпеться подлинного ужаса!

Последние сомнения рассеялись. Теперь я вдвойне рад, что все это время продолжал записывать свои впечатления... нет, я вовсе не рассчитываю, что кто-нибудь поймет... или поверит... Таким образом я просто облегчал мучительное ожидание каждого следующего симптома психического расстройства. Насколько я понимаю, сейчас у меня есть всего три выхода. Первый: бежать из проклятого дома и провести остаток дней в отчаянных, но безуспешных попытках забыть пережитый кошмар, — но ведь бежать я *не могу*. Второй: вступить в гнусный союз с силами столь злыми, что для них и преисподняя краше райских кущ, — но на такое я *никогда не пойду*. И третий: умереть — да, я скорее отдам свое тело на медленное растерзание, нежели оскверню свою душу гнусной сделкой с приспешниками Вельзевула.

Мне пришлось на миг прерваться, чтобы подышать на окочевевшие пальцы. В комнате холодно, как в зловонном склепе...

блаженное оцепенение охватывает меня... Надо собраться с силами и стряхнуть дремотную вялость, ибо она подрывает мою решимость умереть, — но не поддаться коварным посягательствам на мою душу... Клянусь, я буду сопротивляться до самого конца... До конца, который, я знаю, уже близок***

Ветер стал холоднее прежнего, если такое вообще возможно... ветер, насыщенный смрадом живых мертвецов*** О милосердный Боже, отнявший у меня зрение!*** Ветер такой холодный, что уже обжигает, а не студит... он превращается в палящий сирокко***

Незримые пальцы вцепляются в меня... призрачные пальцы, лишенные физической силы, а потому неспособные оторвать меня от машинки... ледяные пальцы, увлекающие меня в мерзкий водоворот порока... дьявольские пальцы, неумолимо тянущие меня в клоаку вечного зла... пальцы смерти тесно смыкаются на моем горле — у меня пресекается дыхание и незрячие глаза вылезают из орбит от дикой боли*** раскаленные иглы впиваются в виски*** твердые костяные наросты, похожие на рога*** студеное дыхание некоего давно умершего существа касается моих воспаленных губ и обжигает горящее горло холодным пламенем***

Стало темно*** но тьма эта непохожа на мрак слепоты, в котором я прожил последние годы*** непроглядная тьма вечной ночи, исполненной греха*** чернильная тьма чистилища***

Я вижу*** *spes mea Christus!*¹ *** Это конец***

* * *

Смертному уму не дано противиться силам, неподвластным человеческому воображению. Бессмертной душе не дано одолеть то, что извело бездонные глубины и обратило бессмертие в мимолетный миг. Конец? О нет! Всего лишь блаженное начало...

¹ Уповаю на тебя, Христос! (лат.)

ДВЕ ЧЕРНЫЕ БУТЫЛКИ

(с Уилфредом Бланиш Талменом)

Далеко не все немногочисленные жители Даальбергена — унылой деревеньки в горах Рамапо — верят, что мой дядя, пастор Вандерхооф, действительно умер. Иные считают, что он завис где-то между небесами и преисподней из-за проклятия старого церковного сторожа. Если бы не этот колдун, вполне возможно, он бы до сих пор проповедовал в маленькой, замшелой от сырости церквушке за болотистой пустошью.

После всего, что со мной приключилось в Даальбергене, я почти готов разделить мнение тамошних жителей. Я не уверен, что мой дядя умер, но абсолютно уверен, что его нет среди живых на этой земле. В том, что старый пономарь похоронил его, сомневаться не приходится, но он не покоится в своей могиле ныне. Сейчас, когда я пишу эти строки, у меня такое ощущение, будто он стоит за моей спиной, побуждая поведать правду о странных событиях, произошедших в Даальбергене много лет назад.

Я прибыл в Даальберген 4 октября, по вызову одного из бывших прихожан моего дяди. В своем письме он сообщал, что старый пастор скончался и что я, будучи единственным его живым родственником, вправе вступить во владение небогатым имуществом покойного. Добравшись до глухой деревушки после множества утомительных пересадок с одной железнодорожной ветки на другую, я безотлагательно направился в бакалейную лавку Марка Хайнса, автора письма, который отвел меня в душную заднюю комнатку и рассказал диковинную историю, связанную со смертью пастора Вандерхоофа.

— Со старым сторожем Абелем Фостером надо держать ухо востро, Хофман, — предупредил Хайнс. — Он в сговоре с дьяво-

лом, точно тебе говорю. Недели две назад Сэм Прайор, проходя мимо церковного кладбища, слышал, как он разговаривает там с мертвецами. Виданное ли дело, чтобы болтать с покойниками? И Сэм клянется, что ему отвечал какой-то голос — гулкий такой, приглушенный, словно из-под земли. Да и другие тоже не раз видели, как он стоит у могилы преподобного Слотта, что возле самой церковной ограды, и заламывая эдак руки, обращается с какими-то речами к замшелому надгробью, словно перед ним старый пастор собственной персоной.

Старый Фостер, по словам Хайнса, появился в Даальбергене лет десять назад и сразу же поступил в услужение к Вандерхоофу, чтобы присматривать за сырой каменной церквушкой, которую посещало большинство местных жителей. Никто, кроме Вандерхоофа, не питал к нему приязни, ибо одним своим присутствием он внушал смутный, безотчетный страх. Порой, когда прихожане собирались на богослужение, он стоял у входа в храм, и обычно мужчины холодно отвечали на его подобострастные поклоны, а женщины спешили поскорее пройти мимо, придерживая подол платья, чтобы ненароком не прикоснуться к нему. По будним дням он косил траву на кладбище и поливал цветы вокруг могил, часто напевая и бормоча себе под нос. Почти все заметили, что особое внимание он уделяет могиле преподобного Гильяма Слотта, первого пастора церкви, построенной в 1701 году.

Вскоре после того, как Фостер обосновался здесь, дела в деревне покатились под гору. Сначала закрылся рудник, где работало большинство мужчин. Железородная жила иссякла, и многие люди перебрались в края получше, а владельцы относительно крупных земельных наделов занялись сельским хозяйством и с трудом перебивались, выращивая скудные урожаи на каменистых склонах. Потом началось неладное в церкви. Пошли слухи, что преподобный Йоханнес Вандерхооф заключил сделку с дьяволом и проповедует слово дьявола в Божьем храме. Его проповеди стали какими-то странными и чересчур заушными, изобилуя зловещими откровениями, недоступными пониманию невежественных жителей Даальбергена. Пастор переносил своих слушателей в далекое прошлое, предшествовавшее векам страха и суеверия, в царство ужасных незримых духов,

и заполнял воображение простодушных селян образами жутких ночных кровопийц. Круг прихожан редел с каждым днем, но Вандерхооф игнорировал настойчивые призывы деревенских старейшин и дьяконов сменить тему проповедей. Правда, старик постоянно обещал внять просьбам, но казалось, он всецело находился во власти некой высшей силы, навязывавшей ему свою волю.

Несмотря на могучее телосложение, Йоханнес Вандерхооф слыл человеком слабохарактерным и робким, но тем не менее даже под угрозой увольнения с должности он продолжал читать жуткие проповеди — и в конце концов число прихожан, посещавших воскресные утренние службы, сократилось до считанных единиц. На приглашение нового пастора у деревенской общины не хватало денег, и вскоре уже никто из местных жителей не осмеливался и близко подойти к церкви или расположенному рядом приходскому дому. Все испытывали неодолимый страх перед злыми духами, в союзе с которыми явно состоял Вандерхооф.

Мой дядя, по словам Марка Хайнса, продолжал жить в приходском доме, поскольку никому не доставало решимости выгнать его оттуда. Он больше не появлялся на людях, но по ночам у него в доме — а порой и в самой церкви — горел свет. Ходили слухи, будто он по-прежнему регулярно читает воскресные проповеди, не замечая отсутствия прихожан. Один только старый сторож, живший в церковном подвале, заботился о нем и раз в неделю навещался за продуктами в торговый квартал городка, ныне пришедший в упадок. Теперь он перестал угодливо кланяться каждому встречному, но, напротив, всем своим видом излучал лютую ненависть. Он не заговаривал ни с кем, кроме лавочников, и неизменно бросал по сторонам злобные взгляды, когда шагал по разбитым мощеным тротуарам, громко стуча тростью. Всякий, кто оказывался рядом с этим морщинистым, согбенным летами старцем, буквально физически ощущал его присутствие — столь великой внутренней силой обладал этот человек, заставивший Вандерхоофа (по мнению местных жителей) продать душу дьяволу. Никто в Даальбергене не сомневался, что именно он повинен во всех бедах, постигших деревню, но никто не смел выступить против него, даже не мог просто

подойти к нему без страха. Его имя, как и имя Вандерхоофа, никогда не произносилось вслух. Любые разговоры о церкви за болотом велись исключительно шепотом, а если дело происходило ближе к ночи, собеседники поминутно пугливо озирались через плечо, проверяя, не подкрадывается ли к ним в темноте какая-нибудь бесформенная зловещая тварь с целью тут же подтвердить их опасения.

Погост оставался таким же зеленым и ухоженным, как в былые дни, когда церковь посещалась, и цветы вокруг могил регулярно пропалывались и поливались. Порой местные жители видели там старого сторожа, который продолжал исправно выполнять свои обязанности, хотя уже давно не получал денег за работу, и немногие смельчаки, отваживавшиеся подойти поближе, говорили, что он ведет нескончаемую беседу с дьяволом и злыми духами, обитающими на кладбище.

Однажды утром, поведал далее Хайнс, кто-то увидел, как Фостер копает могилу на месте, куда здание церкви отбрасывает густую тень ближе к вечеру, когда солнце вот-вот скроется за горой и деревня погрузится в сумерки. Днем церковный колокол, уже много месяцев молчавший, зазвонил и не умолкал в течение доброго получаса. А на закате наблюдатели, державшиеся на безопасном расстоянии, увидели, как Фостер выкатывает из дома тачку с установленным на ней гробом, вываливает его в могилу без особых церемоний и засыпает землей.

На следующее утро церковный сторож появился в деревне — раньше обычного срока его еженедельных посещений и в гораздо лучшем, чем прежде, расположении духа. Обнаружив удивительную для него словоохотливость, старик сообщил, что Вандерхооф накануне скончался и что он похоронил его рядом с могилой преподобного Слотта близ церковной ограды. Фостер поминутно улыбался и довольно потирал руки, исполненный неуместной, необъяснимой веселости. Он явно испытывал извращенную, дьявольскую радость по поводу кончины Вандерхоофа. Деревенские жители, почувствовавшие перед ним еще более сильный страх против прежнего, старались по возможности держаться от него подальше. После смерти Вандерхоофа они совсем пали духом, ибо теперь старый сторож, обитающий в церкви за болотом, запросто мог насладиться на них любую порчу.

Бормоча себе под нос что-то на неведомом никому языке, Фостер ушел восвояси по дороге через болото.

Именно тогда Марк Хайнс вспомнил, что пастор Вандерхооф как-то упоминал обо мне, своем племяннике. Посему он вызвал меня письмом в надежде, что мне известны какие-либо обстоятельства, способные пролить свет на тайну последних лет жизни моего дяди. Однако я заверил собеседника, что почти ничего не знаю о своем родственнике и его прошлом — знаю лишь со слов моей матери, что он был человеком недюжинной физической силы, но малодушным и безвольным.

Выслушав Хайнса, я перестал раскачиваться на стуле и взглянул на часы. Дело шло к вечеру.

— А далеко ли до церкви? — спросил я. — Я успею добраться до нее засветло?

— Но ты ж не попрешься туда на ночь глядя, парень! В такое-то проклятое место! — Старик затрясся всем телом и приподнялся с кресла, вытягивая вперед костлявую руку словно в попытке остановить меня. — Это же чистое безумие!

Я от души рассмеялся, позабавленный его страхами, и сказал, мол, будь что будет, но я твердо намерен повидаться со старым сторожем сегодня же вечером и по возможности скорее разобраться с этим делом. Я не собирался принимать на веру дурацкие рассказы невежественных селян, ибо нисколько не сомневался, что все поведенное мне Хайнсом является всего лишь рядом случайных событий, в которых жители Даальбергена, обладающие излишне пылким воображением, усмотрели причину своих бед. Лично я не испытывал ни малейшего страха.

Поняв, что я не откажусь от намерения посетить дядин дом засветло, Хайнс проводил меня до дверей и неохотно объяснил дорогу, через каждое слово призывая меня одуматься. На прощание он пожал мне руку с таким скорбным выражением лица, словно уже не надеялся увидеть меня впредь.

— Будь осторожен, не дайся в лапы этому старому дьяволу Фостеру! — снова и снова предостерегал он. — Я бы ни за какие коврижки не сунулся к нему после наступления темноты. Нет уж, благодарю покорно! — Он вернулся в лавку, мрачно качая головой, а я зашагал по дороге, ведущей к окраине деревни.

Не прошло и двух минут, как я увидел впереди болото, о котором говорил Хайнс. Дорога, с обеих сторон огороженная побеленным штакетником, тянулась через обширную топь с островками редких кустов и чахлах деревьев, утопающих в вязкой жиже. В воздухе витал запах гнили и тлена, и даже сейчас, сухим солнечным вечером, над гиблой трясинной поднимались тонкие струйки вредоносных испарений.

Перейдя через болото, я, согласно полученным указаниям, свернул налево и зашагал по широкой тропе, ответвлявшейся от главной дороги. Поблизости я увидел несколько домишек — убогих лачуг, вид которых свидетельствовал о крайней бедности хозяев. Над тропой здесь низко нависали ветви громадных ив, почти не пропускавшие солнечных лучей. Гнилостный болотный запах по-прежнему стоял у меня в ноздрях, и воздух был сырой и промозглый. Я прибавил шагу, спеша поскорее выбраться из этого сумрачного туннеля.

Вскоре я снова вышел на открытое место. Красный шар солнца уже начинал опускаться за гребень горы, и поодаль впереди стояла одинокая церковь, омытая кровавым светом. Я почувствовал смутную тревогу, о какой упоминал Хайнс, — тот самый безотчетный страх, что заставлял жителей Даальбергена держаться подальше от этого места. Приземистое каменное здание церкви с невысокой колокольной казалось чем-то вроде идола, которому поклонялись расположенные вокруг надгробия с закругленными навершиями, похожими на плечи коленопреклоненных людей, и над этим собранием идолопоклонников возвышался мрачный приходской дом, подобный зловещему призраку.

Исследуя взором открывшуюся мне картину, я несколько замедлил шаг. Солнце стремительно опускалось за гору, и влажный воздух стал студеным. Подняв воротник куртки, я потащился дальше. Когда я снова вскинул глаза, внимание мое привлек какой-то белый предмет в тени кладбищенской ограды — предмет неясных очертаний. Напрягши зрение, я разглядел свежесрубленный крест, установленный на свежем могильном холмике, и у меня опять захолонуло сердце. Я понял, что это могила моего дяди, но у меня возникло странное ощущение, будто она отличается от всех прочих могил. Она не казалась *мертвой*.

Непонятно почему, она производила впечатление *живой*, если такое слово вообще применимо к могиле. Подойдя ближе, я увидел рядом с ней другую могилу — явно древнюю, с замшелым выщербленным надгробием.

Я не замечал нигде вокруг никаких признаков жизни. В бледных сумерках я вззошел на пригорок, где стоял приходской дом, и громко постучал в дверь. Ответа не последовало. Я двинулся вокруг дома, поочередно заглядывая во все окна. Он казался необитаемым.

Здесь, в долине, накрытой тенью угрюмых гор, ночная тьма сгустилась сразу, едва солнце полностью скрылось за грядой. Я видел всего на несколько футов перед собой. Пробравшись ощупью вдоль стены, я вернулся к входной двери и остановился, соображая, что делать дальше.

Вокруг царил мертвая тишина — ни легчайшего шепота ветра, ни даже обычных звуков ночной жизни животных и насекомых. Тревога и страх, на время забытые, вновь заползли в душу, ввергнутую в трепет этим могильным безмолвием. Мне почудилось, будто меня со всех сторон тесно обступают сонмы ужасных призраков, не давая мне ни вдохнуть, ни выдохнуть. Я в сотый раз задался вопросом, где же старый сторож.

С минуту я стоял неподвижно, готовый вот-вот увидеть какого-нибудь зловещего демона, выступающего из тьмы, а потом вдруг заметил два горящих окошка на колокольне и сразу вспомнил, что Фостер, по словам Хайнса, живет в церковном подвале. Я осторожно двинулся вперед в крошечной тьме и отыскал боковую дверь церкви, оказавшуюся приоткрытой.

Внутри пахло пылью и плесенью. Все, к чему я прикасался, было покрыто холодной, липкой влагой. Я зажег спичку и принялся озираться по сторонам в поисках лестницы, ведущей на колокольню. В следующий миг я застыл как вкопанный.

Откуда-то сверху до меня долетел обрывок похабной песни, громко пропетый хриплым пьяным голосом. Догоравшая спичка обожгла мне пальцы, и я уронил ее на пол. В крошечной тьме я увидел две светящиеся точки на дальней стене, а наискось под ними — дверь, очерченную по контуру светом, пробивающимся сквозь щели. Песня оборвалась так же неожиданно, как началась, и вокруг вновь воцарилась гробовая тишина. У меня беше-

но колотилось сердце, и кровь стучала в висках. Если бы я не окаменел от страха, я бы тотчас ударился в бегство.

Не зажигая второй спички, я ощупью пробрался между скамьями и приблизился к двери. Охваченный гнетущей тревогой, я действовал как во сне, почти непроизвольно.

Я попробовал дверь — она оказалась запертой. На мой настойчивый стук никто не откликнулся. В церкви по-прежнему стояла полная тишина. Нашарив дверные петли и вынув из них штифты, я подхватил и отставил в сторону дверное полотно, выпавшее на меня из проема. Я увидел перед собой крутую лестницу, залитую тусклым светом. В ноздри ударил тошнотворный запах виски. Теперь я слышал звуки возни в помещении наверху. Отважившись оповестить о своем присутствии негромким возгласом и услышав в ответ протяжный стон, я осторожно поднялся по ступеням и заглянул в маленькую комнатку.

Явившееся моему взору непотребное зрелище поразило меня до глубины души. По всей комнате были разбросаны странного вида пыльные книги и манускрипты — явно невообразимо древние. На стеллажах, достигающих потолка, теснились стеклянные банки и бутылки с разными омерзительными тварями — змеями, ящерицами, летучими мышами. Пыль, плесень и паутина покрывали все вокруг. В центре помещения, за столом, на котором стояли зажженная свеча, почти пустая бутылка виски и стакан, неподвижно сидел старик с костлявым морщинистым лицом и безумными глазами, смотревшими сквозь меня невидящим взглядом. Я мигом признал в нем Абея Фостера, старого церковного сторожа. Он не пошевелился и не промолвил ни слова, когда я медленно, с опаской приблизился.

— Мистер Фостер? — спросил я и затрепетал от безотчетного страха, когда эхо моего голоса отразилось гулким эхом от стен комнатки.

Человек за столом не ответил и даже не шелохнулся. Решив, что он напился до бессознательного состояния, я обогнул стол и подошел к нему с намерением тряхнуть за плечо.

Едва я до него дотронулся, чудной старик вскочил с кресла, словно обуянный смертельным ужасом. Вперив в меня по-прежнему бессмысленный взгляд, он замахал руками и попятился.

— Нет! — истошно выкрикнул он. — Не прикасайся ко мне! Убирайся... убирайся прочь!

Мне стало ясно, что Фостер не только пьян, но и невесть почему объят диким страхом. Успокоительным тоном я объяснил, кто я такой и зачем явился. Похоже, он смутно понял меня, ибо бессильно рухнул обратно в кресло и застыл в сгорбленной позе.

— Я принял вас за него! — пробормотал старик. — Решил, что он явился за ней. Он все пытается выбраться оттуда — пытается с того самого дня, как я упрятал его туда. — Он снова возвысил голос до крика и судорожно вцепился в ручки кресла. — Может, он уже выбрался! Выбрался и идет сюда!

Я оглянулся через плечо, почти ожидая увидеть какую-нибудь призрачную фигуру, поднимающуюся по лестнице.

— *Кто* идет сюда? — спросил я.

— Вандерхооф! — провизжал старик. — Крест на его могиле падает каждую ночь! Каждое утро земля там разрыхлена, и от раза к разу утапывать ее становится все труднее! Рано или поздно он выберется оттуда, и я ничего не смогу поделаться!

Заставив Фостера опуститься обратно в кресло, я присел на ящик рядом. Старика трясло от ужаса, и из уголков рта у него стекала слюна. На меня поминутно накатывали волны душного страха, который описывал мне Хайнс, рассказывая о старом стороже. Действительно, от него веяло необъяснимой жутью. Сейчас он уронил голову на грудь и беззвучно шевелил губами, несколько успокоившись.

Я тихо встал и распахнул окно, чтобы выветрился тяжелый дух виски и затхлый запах пыли и тлена. Бледный свет только что взошедшей луны рассеял кромешную тьму, и из окна колокольни я различал внизу могилу пастора Вандерхоофа. Я пригляделся и растерянно поморгал, не веря своим глазам: крест на могиле *покоился*! Но ведь час назад он стоял вертикально! Меня снова охватил страх. Я резко повернулся. Фостер пристально смотрел на меня — более осмысленным взглядом, чем прежде.

— Так, значит, вы племянник Вандерхоофа, — гнусаво протянул он. — В таком случае вам, надо думать, все известно. Скоро он явится за мной — сразу, как только выберется из могилы. Да вы наверняка и сами все знаете.

Казалось, страх покинул его и он смирился с некой ужасной участью, которой ждал с минуты на минуты. Он снова уронил

голову на грудь и продолжал монотонно бубнить гнусавым голосом:

— Видите все эти книги и рукописи? Так вот, в свое время они принадлежали пастору Слотту — пастору Слотту, что обрелся здесь много лет назад. Все они про магию — про черную магию, которую старый пастор знал еще прежде, чем перебрался в эту страну. У него на родине за такие знания сжигали на костре или варили в кипящем масле. А старый Слотт все это знал, но держал язык за зубами. Он читал здесь проповеди много поколений назад, а по ночам, поднявшись на колокольню, изучал свои книги, и колдовал над дохлыми тварями из банок, и произносил магические проклятия и заклинания, но хранил это дело в тайне. Нет, никто ничего не знал, кроме самого пастора Слотта да меня.

— Вас? — воскликнул я, подаваясь к нему через стол.

— Ну да, только я узнал все сравнительно недавно. — Лицо Фостера приняло лукавое выражение. — Я нашел все это здесь, когда устроился в церковь сторожем. Я стал читать книги на досуге и вскорости постиг тайное знание.

Старик продолжал монотонно бубнить, а я заворуженно слушал. Он рассказал, как заучивал сложные магические формулы, чтобы посредством заклинаний насылать порчу на людей. Он отправлял жуткие нечестивые обряды, предписанные сатанинским вероучением, призывая проклятия на селение и его обитателей. Одержимый бесовской страстью, он пытался подчинить своим злым чарам и церковь, но сила Господа оказалась неодолимой. Воспользовавшись слабоволием Йоханнеса Вандерхоофа, он околдовал беднягу и заставил читать странные, богопротивные проповеди, вселявшие страх в сердца простодушных деревенских жителей. В часы воскресных богослужений он неизменно находился здесь, в верхней комнате, и сквозь дырочки, проделанные в стене — прямо в глазах дьявола, изображенного на росписи со сценой искушения Христа, что находилась с другой стороны, — пристально смотрел на Вандерхоофа. Прихожане, до смерти напуганные сыпавшимися на них бедами, один за другим перестали посещать службы, и теперь Фостер спокойно мог сделать с церковью и Вандерхоофом все, что пожелает.

— И что же вы с ним сделали? — глухо спросил я, когда старый сторож на миг умолк. Он разразился кудачущим смехом, запрокинув голову в приступе хмельного веселья.

— Я забрал у него душу! — провыл он жутким голосом, повергшим меня в трепет. — Забрал и упрятал в бутылку — в маленькую черную бутылку! А потом похоронил бедолагу! Но без души он не может попасть ни в рай, ни в ад! А значит, он непременно придет за ней. Он все пытается выбраться из могилы. Я слышу, как он ворочается там, пробиваясь сквозь толщу земли, — он ведь страсть какой сильный!

С каждой минутой я все больше убеждался, что Фостер говорит правду, а не болтает вздор с пьяных глаз. Его рассказ во всех деталях совпадал с историей, поведанной мне Хайнсом. Во мне постепенно нарастал страх. Сейчас, когда старый колдун зашелся демоническим хохотом, я испытал острое искушение броситься вниз по лестнице и срочно убраться подальше от этого проклятого места. Чтобы успокоиться, я встал и снова подошел к окну. Глаза у меня буквально полезли на лоб, когда я увидел, что крест на могиле Вандерхоофа накренился еще сильнее против прежнего. Теперь он стоял под углом в сорок пять градусов!

— Может, нам стоит выкопать Вандерхоофа и вернуть ему душу? — сдавленным от волнения голосом спросил я, чувствуя необходимость срочно предпринять что-то. Старик в ужасе вскочил с кресла и истошно заверещал:

— Нет, нет, нет! Он убьет меня! Я забыл нужную формулу, а живой мертвец без души непременно убьет нас обоих, коли выберется из могилы!

— Где бутылка с душой? — осведомился я, с угрожающим видом подступая к Фостеру. Я почувствовал, что вот-вот произойдет нечто ужасное, и исполнился решимости сделать все возможное, чтобы предотвратить беду.

— Ничего я тебе не скажу, щенок! — прорычал старик. — А если тронешь меня хоть пальцем — сильно об этом пожалеешь!

Я шагнул вперед, заметив на низком табурете позади него две черные бутылки. Фостер монотонно пробубнил несколько диковинных слов. В глазах у меня потемнело, и мне показалось,

будто незримая рука вытягивает что-то у меня из груди, пытаюсь протащить через горло. Колени подкашивались.

Сделав несколько шатких шагов, я схватил сторожа за горло, а свободной рукой потянулся к бутылкам. Но старик, отступая назад, зацепил табурет ногой, и одна из бутылок упала на пол, а вторую я успел поймать. Раздался звон разбитого стекла, вспыхнуло голубое пламя, и комната наполнилась мерзким запахом серы. Над россыпью осколков поднялось крохотное белое облачко и, подхваченное сквозняком, уплыло в окно.

— Будь ты проклят, ублюдок! — послышался слабый голос, донесшийся словно издалека.

Фостер, которого я отпустил, когда бутылка разбилась, тесно прижимался спиной к стене и казался сейчас сжавшимся и усохшим пуще прежнего. Лицо его постепенно приобретало темно-зеленый оттенок.

— Будь ты проклят! — повторил голос, на сей раз как будто исходивший из уст Фостера. — Теперь мне конец! В той бутылке была моя душа! *Пастор Слотт забрал ее у меня двести лет назад!*

Старик медленно сполз по стене, не сводя с меня тускнеющих глаз, полных лютой ненависти. Кожа у него почернела, потом пожелтела. Я с ужасом увидел, как тело его рассыпается в прах и одежда падает на пол бесформенной грудой.

Бутылка в моей руке стала горячее. Я испуганно взглянул на нее — она источала слабое фосфоресцирующее сияние. Еле живой от страха, я поставил бутылку на стол, но продолжал зачарованно смотреть на нее. В течение нескольких мучительно долгих минут зловещей тишины загадочное свечение усиливалось, а потом до моего слуха явственно донесся шорох осыпающейся земли. Задышавшись от ужаса, я выглянул из окна. Луна уже стояла высоко в небе, и при ее свете я увидел, что свежесрубленный крест на могиле Вандерхоофа упал наземь. Снова раздался шорох сухой земли — и я, потеряв остатки самообладания, с грохотом скатился по лестнице и стремглав вылетел из церкви. Объятый диким страхом, я мчался во весь дух по ухабистой тропе, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь. Достигнув входа в мрачный туннель, образованный ветвями громадных ив, я услышал жуткий рев позади. Оглянувшись через плечо на

церковь, я увидел на фоне озаренной лунным светом стены гигантскую черную тень, которая вылезла из могилы моего дяди и медленной, неверной поступью направилась ко входу в здание.

На следующее утро в лавке Хайнса я рассказал о своем ночном приключении группе местных жителей. По ходу моего повествования они то и дело обменивались насмешливыми взглядами, но когда я предложил навестить со мной в церковь, все до единого отказались под разными предлогами. При всем своем легковерии они явно усомнились в правдивости моего рассказа, но все же предпочли не рисковать. Я заявил, что в таком случае пойду один, хотя должен признаться, я не горел желанием отправляться туда в одиночку.

Я еще не успел далеко отойти от лавки, когда меня нагнал и схватил за руку седобородый старик.

— Я пойду с тобой, парень, — просипел он. — Помнится, отец как-то рассказывал мне что-то подобное про старого пастора Слотта. Говорят, он был престранным типом, но Вандерхооф был еще хуже.

Могила Вандерхоофа оказалась разрытой и пустой. Мы с моим спутником сошлись во мнении, что здесь вполне могли поработать кладбищенские воры, и все же... Бутылка, оставленная мной на столе в колокольне, исчезла, хотя осколки другой бутылки по-прежнему валялись на полу. А на груде желтой пыли и мятого тряпья, в которую обратился Абель Фостер, мы обнаружили отпечатки громадных ступней.

Заглянув в некоторые из разбросанных по комнате книг и рукописей, мы снесли все до единой вниз и предали огню, как нечто нечистое и богопротивное. Отыскав в церковном подвале лопату, мы засыпали землей могилу Йоханнеса Вандерхоофа, а потом, спохватившись, бросили упавший крест в костер.

Если верить слухам, с той поры каждое полнолуние по кладбищу потерянно бродит громадная призрачная фигура с бутылкой в руке — словно в поисках чего-то ею забытого.

ЛОВУШКА

(с Генри С. Уайтхедом)

История эта началась незадолго до Рождества, когда однажды утром (а это был обычный будний день — четверг, если мне не изменяет память), стоя перед старинным зеркалом копенгагенского стекла, я уловил в нем какое-то мельгешение. Кроме меня, дома тогда никого не было, и это шевеление в зеркале показалось мне несколько странным; впрочем, в следующую минуту, пристально взглядевшись в затуманенную гладь стекла и не обнаружив там ничего необычного, я решил, что это всего-навсего оптическая иллюзия.

Это старинное зеркало я когда-то нашел в заброшенном особняке на северном побережье острова Санта-Крус. После нескольких лет жизни на Виргинских островах я перебрался оттуда в Соединенные Штаты. От более чем двухсотлетнего пребывания в тропическом климате старинное стекло помутнело; была сильно повреждена верхняя часть изящной резной рамы из позолоченного дерева, и мне пришлось обратиться к мастеру для восстановления ее в прежнем виде.

С тех пор минуло несколько лет. События, о которых пойдет речь, случились во время моего пребывания в частной школе, принадлежавшей моему давнему приятелю Брауну, — я был там на положении гостя и наставника одновременно. Школа располагалась в глубине штата Коннектикут, в холмистой, открытой всем ветрам местности. Я жил в пустующем крыле одного из спальных корпусов, где занимал две комнаты и разделявший их холл. Въехав сюда, я первым делом распаковал зеркало, которое было тщательно увязано мною в матрац, и торжественно водрузил его на пристенный столик из красного дерева — еще

один предмет антиквариата, принадлежавший некогда моей прабабке.

Дверь моей спальни находилась как раз напротив входа в гостиную; эти помещения, как я уже говорил, разделялись небольшим холлом. В одной из комнат стоял шифоньер; зеркало в его дверце было обращено прямо к дверному проему — и точно так же было обращено к двери другой комнаты старое зеркало, стоявшее на столике у стены, так что когда я бросал взгляд на дверь шифоньера, через оба сквозных прохода я видел бесконечный оптический коридор, образованный взаимным отражением двух зеркальных поверхностей, размещенных одна против другой. Иллюзорное движение в зеркальном стекле, привидевшееся мне в то утро, происходило именно в этом обычно пустом оптическом туннеле.

Придя в столовую, я застал там съезжившихся от холода воспитанников — оказалось, что школьная система отопления временно вышла из строя. Я совершенно не переношу холода и потому предложил ученикам моего класса провести занятия в менее официальной обстановке, у огня моего камина, — с чем мальчики радостно согласились.

По окончании урока один из учеников по имени Роберт Грандисон изъявил желание остаться, поскольку следующий час у него не был занят. Я не возражал, и Роберт, устроившись у самого камина, углубился в чтение. Однако довольно скоро он пересел на другой стул, подальше от жаркого огня, и оказался прямо напротив старого зеркала. Я сидел в противоположном от него углу комнаты и хорошо видел, как он вдруг напрягся, вглядываясь в затуманенную поверхность стекла. Что могло так заинтересовать его — уж не то ли самое мельтешение в зеркале, что почудилось мне нынче утром? Роберт между тем не сводил глаз с зеркала; брови его слегка нахмурились.

— Что ты там увидел, Роберт? — спросил я его.

Роберт ответил не сразу. Еще некоторое время он не сводил с зеркала глаз, а потом, переведя взгляд на меня, проговорил, медленно подбирая слова:

— Волнистость стекла — кажется, так это называется, мистер Кэневин. Из-за нее мне показалось, что там, в зеркале, движут-

ся какие-то фигурки, причем все они выбегают из одной точки. Вот, смотрите сами!

С этими словами он вскочил со стула, приблизился к зеркалу и прижал кончик указательного пальца к поверхности стекла недалеко от левого нижнего угла.

— Вот здесь, сэр, — сказал он, глядя на меня и не отрывая палец от стекла.

Должно быть, в тот момент, когда он повернулся ко мне, его палец слишком сильно вжался в стекло, потому что он тут же резким движением отдернул руку от зеркала, тихо вскрикнул «ой!» и в изумлении уставился на него.

— Что случилось? — встревожился я.

— Я... мне... — Он выглядел смущенным. — Понимаете, сэр... В общем, мне показалось, что кто-то... или что-то... пыталось втянуть меня за палец туда, внутрь. Конечно, это звучит смешно, но именно таким было ощущение, только что мной испытанное... — Роберт иной раз выражался в манере, нехарактерной для пятнадцатилетнего мальчика.

Заинтригованный таким объяснением, я подошел к нему и попросил еще раз показать тот участок зеркала, где он только что держал свой палец.

— Наверное, вы считаете, что я не в своем уме, сэр, — ответил Роберт, зардевшись, — но... В общем, отсюда я не смогу показать это место наверняка. Зато издали определю его безошибочно.

Усевшись на стул рядом с Робертом, я уставился на маленький участок зеркала в левом нижнем углу — и тут же взору моему открылось нечто необыкновенное. Нет, даже не открылось, а буквально «выпрыгнуло» на меня из зеркала в том месте, где брали свое начало отчетливо видные под определенным углом зрения многочисленные завитки старого стекла: криволинейные, радиально расходящиеся линии, берущие начало в одной точке — подобно мотку струн, пережатому рукой посередине.

Встав со стула и подойдя к зеркалу поближе, я убедился, что необычный оптический эффект бесследно исчез — он и в самом деле наблюдался только при взгляде под определенным углом. А когда я смотрел на указанный Робертом участок зеркала

прямо, он вообще не давал никакого отражения — еще один странный феномен.

Прозвучал школьный гонг, извещавший о начале следующего часа занятий, и Роберт Грандисон поспешил в учебный корпус, оставив меня один на один с загадкой старого зеркала. Когда он ушел, я поднял шторы в обеих комнатах и, миновав холл, подошел к шифоньеру, пытаясь обнаружить искомый участок поверхности старого зеркала в его отражении на дверце шифоньера. Довольно легко отыскав его, я впился в это место глазами и опять, как мне показалось, уловил некоторое мельтешение; а когда, вытянув шею, добился нужного угла зрения, это «нечто» снова «прыгнуло» на меня.

То, что я назвал мельтешением, сейчас можно было с большой долей уверенности определить как некое вихревое движение. Оно напоминало миниатюрный и в то же время весьма интенсивный круговорот, похожий, скажем, на водяную воронку или пылевой вихрь. Подобно перемещению Земли в пространстве, движение это было двойственным — круговым и одновременно направленным *внутрь* зазеркального пространства, словно нескончаемый поток, устремленный к какой-то точке по ту сторону стекла. Я был зачарован этим движением и, хотя понимал, что это не более чем иллюзия, из головы у меня не шли слова Роберта: «Мне показалось, что меня хотели втянуть за палец туда, внутрь». И действительно, когда я смотрел на ни на секунду не останавливающийся вихрь за стеклом, меня не покидало ощущение, что он и в самом деле обладает *засасывающим* действием.

По спине у меня пробежал неприятный холодок. Обнаруженный мною таинственный феномен, несомненно, заслуживал самого тщательного исследования; и едва я успел подумать об этом, как тут же вспомнил взгляд, который бросил на старое зеркало Роберт Грандисон, уходя на урок. Этого наблюдательного и сообразительного малого следует обязательно привлечь к разгадке тайны копенгагенского стекла, решил я тогда про себя.

Увы, случившееся вскоре после того событие на некоторое время заставило меня забыть о зеркале — и по иронии судьбы виновником тому стал именно Роберт Грандисон. После его

ухода я отлучился из школы и вернулся только к вечерней перекличке, которая производилась ежедневно в четверть шестого пополудни и являлась обязательной для всех воспитанников школы. Роберта на ней не оказалось — что, учитывая его дисциплинированность, было более чем странно. Встревоженный этим обстоятельством, я тут же разыскал Брауна и услышал от него, что мальчик бесследно исчез. Лихорадочные поиски не дали никаких результатов: его не было ни в его комнате, ни в классах, ни в спортивном зале, ни во всех других вообразимых и невообразимых местах, хотя все его вещи, включая верхнюю одежду, пребывали в целости и сохранности там, где им надлежало быть.

В тот же вечер мы опросили всю округу, но это не дало нам ровным счетом ничего. Никто из местных жителей его не видел; мы позвонили всем жившим поблизости торговцам, что снабжали нашу школу продуктами, но и они не располагали никакой информацией об исчезнувшем воспитаннике. В последний раз его видели на перемене после урока, закончившегося в два пятнадцать пополудни, — он направлялся вверх по лестнице спального корпуса номер три, где располагалась его комната.

Когда слух о его пропаже разнесся по всей школе, он произвел эффект разорвавшейся бомбы. Бедняга Браун ходил сам не свой — в его долгой практике директора и владельца частной школы, которая всегда славилась дисциплиной и порядком, ни разу не случалось столь экстраординарного происшествия. Была, впрочем, слабая надежда, что мальчик объявится у себя дома в западной Пенсильвании, — но время шло, а Роберта так и не дождались в родительском доме, да и немудрено: на свежем снегу вокруг школы не было никаких следов — стало быть, за последние несколько дней никто не покидал пределов учебного заведения. Это было невероятно, но мальчик исчез — исчез абсолютно бесследно.

Родители Роберта приехали в школу на второй день после его исчезновения. Они держались мужественно, хотя, конечно, это стоило им огромных усилий — видно было, что неожиданное горе буквально надломило их обоих. Браун тоже выглядел постаревшим лет на десять, но он, как и убитые горем родители, был бессилен что-либо сделать. На четвертый день вся школа

утвердилась во мнении, что исчезновение Роберта Грандисона является абсолютно неразрешимой загадкой и что школьной администрации только и остается, что констатировать бесследную пропажу несчастного подростка. Мистер Грандисон и его жена были вынуждены уехать домой, и их отъезд как раз совпал с началом десятидневных рождественских каникул.

Школа быстро опустела — разъехались и ученики, и учителя, так что в огромном здании, кроме меня, остались лишь Браун с женой да обслуживающий персонал.

Я хорошо помню тот день. Я долго сидел у растопленного камина, размышляя об исчезновении Роберта и прокручивая в уме все мыслимые и немыслимые теории на этот счет. К вечеру — то ли от напряженных раздумий, то ли от жаркого огня — у меня разболелась голова, да так сильно, что я не смог справиться даже с легким ужином. Пройдясь немного по длинным пустым коридорам, я вернулся к себе и снова погрузился в раздумья.

Когда часы пробили десять, я очнулся, обнаружив себя сидящим в кресле посреди холодной комнаты — пока я спал, огонь в камине угас совершенно. Чувствовал я себя неважно, если говорить о физическом состоянии, тогда как мой мозг, напротив, работал в полную силу: я вдруг понял, что мои шансы на разгадку судьбы Роберта Грандисона не так уж ничтожны. Дело в том, что видения моего давешнего сна позволяли (разумеется, с известной долей осторожности) предположить, что Роберт отчаянно пытался наладить со мною связь. Во всяком случае, я был твердо уверен в том, что явившаяся мне во сне бледная тень была не чем иным, как тенью пропавшего Роберта Грандисона, и это вселяло в меня надежду, что Роберт жив и что его можно спасти.

Такая уверенность может показаться вам странной, но не следует забывать, что я много лет провел в Вест-Индии, где мне доводилось не раз соприкасаться с разного рода необъяснимыми явлениями. Скажу и то, что, прежде чем заснуть, я сознательно напрягал свой мозг, пытаясь установить нечто вроде мысленного контакта с исчезнувшим воспитанником. Даже самый посредственный ученый, опираясь на труды Фрейда, Юнга и Адлера, может подтвердить, что подсознание спящего человека наибо-

лее восприимчиво к впечатлениям извне, хотя впечатления эти, как правило, бесследно исчезают при пробуждении.

Допустим, телепатия и в самом деле существует — отсюда следует, что на спящего человека можно оказывать довольно сильное телепатическое воздействие. Так что если я надеялся получить какую-то весточку от Роберта, то это должно было произойти в состоянии глубокого сна. Разумеется, по пробуждении мой мозг мог и не сохранить это послание, но втайне я надеялся на свою способность удерживать в памяти содержание снов — она была выработана мною путем неустанных умственных упражнений, которыми я скрашивал свое одиночество в тех случаях, когда судьба заносила меня в какой-нибудь унылый и пустынный уголок земного шара.

В тот раз я, должно быть, заснул мгновенно, и, судя по необычайной живописности и непрерывности видений, мой сон был очень глубок. Когда я проснулся, часы показывали без четверти семь, и смутные ощущения, испытываемые мною в тот момент, были явно навеяны недавним сном. Я все еще видел перед собой фигуру Роберта Грандисона, окрашенную в необычные темно-сине-зеленые тона. Он отчаянно пытался заговорить со мной, но в силу каких-то неведомых причин это ему было не под силу. Казалось, нас разделяла некая пространственная преграда — таинственная, невидимая стена, природа которой была в одинаковой степени загадочной для нас обоих.

Да, я действительно видел Роберта, и — странное дело! — он находился на значительном расстоянии и в то же время как будто рядом со мной. Хотя и не сразу, но я нашел этому объяснение — размеры его тела непонятным образом изменялись в *прямой*, а не в *обратной* зависимости от разделяющего нас расстояния: чем оно было больше, тем крупнее казался Роберт, и наоборот. Законы перспективы в данном случае были явно поставлены с ног на голову. Очертания его фигуры были туманными и расплывчатыми, но более всего меня озадачила, скажем так, аномальная расцветка его одежды и тела.

В один из моментов моего сна усилия Роберта наконец-то оформились в слышимую — хотя и в высшей степени нечленораздельную — речь. Голос мальчика звучал настолько глухо и басовито, что первое время я не мог понять из сказанного ров-

ным счетом ничего. Напрягая мозг в тщетных попытках уловить в этом мычании хоть какой-нибудь смысл, я во сне обращался к нему с вопросами и спустя некоторое время стал понемногу различать отдельные слова и фразы, уже первой из которых было достаточно для того, чтобы привести мое блуждающее во сне сознание в состояние величайшего возбуждения, после чего между нами установилось нечто вроде телепатического контакта.

Не знаю, как долго вслушивался я в эти отрывистые фразы — наверное, в течение нескольких часов. Станный, отделенный от меня невидимой стеной рассказчик пытался донести до моего сознания суть своего сообщения. Возможно, читатель скептически пожмет плечами, пробегая глазами эти строки, но я уже имел опыт знакомства с явлениями, выходящими за рамки нашего обычного физического мира, и был в какой-то мере к этому подготовлен. Во всяком случае, одно обстоятельство особенно порадовало меня — я заметил, что, общаясь со мной, мальчик направлял свой взгляд прямо мне в глаза, а когда я наконец начал понимать его речь, на его тотчас просветлевшем лице появилось выражение благодарности и надежды.

Теперь, переходя к попытке пересказать послание Роберта в словах, понятных обычному человеку, мне придется подбирать их с величайшей осторожностью — слишком трудно поддается определению все то, что связано с этой историей. Я уже говорил о том, что благодаря посетившему меня во сне откровению в сознании моем зафиксировалась совершенно четкая связь, природа коей не позволяла мне постичь ее ранее, — связь вихреобразных завитков старинного копенгагенского стекла, из которого было сделано зеркало, с той иллюзией «засасывания», что так удивила и встревожила нас с Робертом в то памятное утро. В конце концов я решил полагаться более на интуицию, нежели на разум, и пришел к твердому мнению, что фантазии Кэрролла, изложенные им в истории об Алисе, стали сейчас для Роберта самой что ни на есть реальной и неотвратимой действительностью. Старинное зеркало и в самом деле обладало способностью засасывать людей в чрево своего внутреннего пространства, в котором, как явствовало из объяснений привидевшегося мне

во сне Роберта, нарушались все известные законы, присущие обычному трехмерному пространству. Это было не просто зеркало — это была ловушка, дверь, ведущая к тайникам сознания, что совершенно неведомы обитателям нашего нормального мира и могут быть описаны разве что с опорой на постулаты сложнейших неэвклидовых геометрий. *И вот каким-то непостижимым образом Роберт Грандисон попал из мира людей в зазеркальное пространство и оказался его пленником.*

Следует отметить следующий немаловажный факт: по пробуждении у меня не оставалось ни малейших сомнений в реальности того, что открылось моему сознанию, то есть я был твердо уверен, что у меня действительно состоялась беседа с потусторонним Робертом и что этот эпизод отнюдь не был навеян моими непрерывными размышлениями об исчезновении мальчика и об оптических странностях старого зеркала. Можно сказать, что эта моя уверенность была в какой-то степени инстинктивной — в том смысле, что я совершенно бессознательно, на уровне инстинкта, воспринимал образы моих сновидений как действительные, подобно тому как мы воспринимаем повседневные явления окружающего нас мира, нимало не задумываясь над их реальностью.

Представленная моему сознанию версия отличалась, мягко говоря, некоторой несопоставимостью с привычной физической картиной мира и происходящими в нем процессами. Итак, Роберт, будучи совершенно очарован загадкой старинного зеркала, ушел от меня на урок и просидел его как на иголках, с нетерпением ожидая того момента, когда можно будет вернуться в мою комнату и предпринять более тщательное исследование предмета, так его заинтересовавшего. Он появился у меня примерно в 2:20 пополудни, когда я был еще в городе. Войдя в комнату и приблизившись к зеркалу на расстояние вытянутой руки, он некоторое время не отрываясь смотрел на загадочные, сходящиеся в одной точке завитки, а затем, едва ли отдавая себе отчет в своих действиях, протянул руку к затуманенной поверхности стекла и ткнул кончиками пальцев в самый центр завихрения. Он сделал это помимо своей воли — и сразу же почувствовал на себе странное всасывающее действие старого стекла, испытанное им еще утром. И тут же, без какого-либо знака

или сигнала, который можно было бы расценить как предостережение, его рука оказалась втянутой внутрь зеркала. Но это было только начало — он почувствовал, что вслед за рукой зеркало втягивает и его самого. Сопротивляться этому дьявольскому втягиванию Роберт не мог — его тело вдруг пронзила адская, совершенно нестерпимая боль, которая отпустила его лишь тогда, когда он полностью оказался *внутри* стекла.

С первых же секунд он почувствовал себя так, словно только что родился. Обычные, повседневные телодвижения не то что были затруднены — нет, ему вообще пришлось заново осваивать их, в том числе такие элементарные действия, как ходьба, движения корпусом, повороты головы. Собственное тело казалось ему чужим и нелепым нагромождением ненужных, беспомощных органов. Впрочем, довольно скоро ему удалось добиться согласованных движений рук, ног и туловища. Гораздо хуже дело обстояло с речью, и это неудивительно, ибо при работе речевого аппарата одновременно задействуется множество различных систем человеческого организма.

Проснувшись, я все утро раздумывал над тем, что узнал от Роберта. По большому счету такое положение вещей было вызовом здравому смыслу; однако, соотнеся полученные сведения с собственными соображениями на этот счет и отбросив на время скептицизм, присущий нормальному трезвомыслящему человеку, я попытался набросать в уме план возможного освобождения Роберта из зазеркальной тюрьмы, причем при обдумывании этого плана я попутно нашел объяснения некоторым загадочным явлениям, из совокупности которых и складывался феномен старинного копенгагенского зеркала, непостижимый пока моему сознанию. В первую очередь мне удалось разрешить загадку необычной цветовой гаммы зазеркального мира. Например, лицо и руки Роберта, как я уже говорил, были окрашены в некую странную смесь темно-зеленого и синего цветов, его хорошо знакомая мне куртка — изначально синяя — стала бледно-желтой, а вот его брюки нейтрального серого цвета так и остались серыми. Поразмыслив по пробуждении над этой трансформацией, я довольно быстро пришел к выводу, что она является проявлением той присущей четвертому измерению странной закономерности, в соответствии с которой законы перспекти-

вы в нем обладают обратным действием. В данном же случае наблюдалось обратное действие другого ряда физических законов — тех, что описывают спектральные составляющие света. Напомню, что основными цветами спектра являются желтый, красный, синий и зеленый, при этом желтый цвет является физическим антиподом синего, а красный — зеленого. Таким образом, спектральная картина четвертого измерения тоже оказалась перевернутой вверх тормашками: синее в нем было желтым, зеленое — красным, а многочисленные промежуточные оттенки заменялись соответствующими им цветовыми антиподами. Вспомнив цвет лица Роберта, я убедился в правильности моей гипотезы — противоположностью нежному розоватому оттенку как раз должен был являться зеленовато-синий, а именно такого цвета было явившееся мне во сне лицо мальчика. Синяя куртка стала желтой — еще одно подтверждение моей догадки. Непонятно, правда, почему не изменился цвет серых брюк — над этим обстоятельством мне пришлось немного поломать голову, пока я не вспомнил, что серый цвет образуется при смешении спектрально противоположных цветов, и по этой причине у него нет противоположности как таковой — или, если угодно, он противоположен сам себе.

Что же касается глухого, басовитого голоса Роберта и его невнятной речи, то это было явлением того же плана, что и некоординированность его органов тела. Подобно тому как красное заменялось в зазеркалье зеленым, белое — черным, а большое — маленьким, организм человека оказывался там, если так можно выразиться, *перевернутым наоборот* — в первую очередь это относилось к парным органам, таким как руки, ноги, глаза, уши, ноздри. Поэтому, разговаривая со мной, Роберт вынужден был изо всех сил напрягать свой непослушный речевой аппарат — учитывая это, неуклюжести его речи удивляться не приходилось.

Все утро меня не покидала мысль о необходимости срочного вмешательства в создавшуюся ситуацию, суть которой открылась мне во сне. С одной стороны, я нутром чувствовал, что нужно что-то делать, а с другой — понимал, что не могу сейчас помочь Роберту ничем — ни советом, ни действием. Помощи со стороны тоже ждать не приходилось — расскажи я кому-нибудь

эту историю, и меня тут же упекли бы в сумасшедший дом или по меньшей мере подняли бы на смех. Да и что вы хотите, если теория основывалась на моих сновидениях, пусть и весьма достоверных для меня самого, но более чем сомнительных для людей посторонних? Кроме того, сведения, почерпнутые мною из сновидений, были еще слишком скудными, чтобы, исходя из них, я мог предпринять какие-то активные действия. В общем, мне требовалась дополнительная информация, без которой нечего было и думать о высвобождении Роберта, а получить ее по-прежнему можно было одним-единственным способом: устанавливая с ним телепатический контакт в состоянии глубокого сна.

Сразу после обеда (во время которого я скрывал одолевавшие меня беспокойные мысли от Брауна и его жены) мне удалось крепко заснуть. Едва лишь я смежил веки, как в моем сознании тут же появился неясный телепатический образ, и я, охваченный неопишуемым волнением, увидел, что он совершенно идентичен тому, что являлся мне сегодня ночью, хотя на этот раз его контуры были более отчетливыми, а когда он заговорил со мной, я был приятно удивлен той легкостью, с какой до меня доходил смысл произносимых слов.

Содержание этого сна подтвердило многие из моих прежних выводов, сделанных умозрительно. К сожалению, на этот раз наше с Робертом общение отчего-то прервалось задолго до моего пробуждения. Я заметил, что за несколько секунд до исчезновения из моего сна Роберта что-то основательно напугало, и тем не менее он успел сказать мне достаточно много, в том числе и то, о чем я уже догадывался сам, — цвета и пространственные пропорции в этом четвертом измерении действительно являлись перевернутыми в сравнении с привычными нам пропорциями и красками: черное было белым, при удалении предметы зрительно увеличивались и т. п. Роберт также поведал мне о том, что физиологическая деятельность оказавшегося в зазеркалье человеческого организма коренным образом отличается от таковой в нормальной жизни. Пища, например, была там совершенно ненужной, каковой феномен показался мне еще более странным, нежели обратное действие физических законов, которое, как я думал, все же поддавалось теоретическому обосно-

ванию с помощью соответствующих математических выкладок. Но, наверное, самым важным из сказанного тогда было то, что единственным выходом из этой дьявольской зеркальной тюрьмы является вход в нее и что выйти оттуда без помощи извне практически невозможно.

Следующей ночью я опять встретился во сне с Робертом. Сейчас он являлся мне постоянно, каждый раз сообщая что-нибудь новое о месте своего заточения, хотя порою его попытки общения со мной терпели неудачу, что приводило его в настоящее отчаяние. Видимо, сказывались усталость, волнение или боязнь чьего-либо вмешательства — все это делало его речь неуклюжей, сумбурной и затрудняло ее понимание.

Сразу оговорюсь, что, излагая сейчас вам все детали этой истории, я вынужден дополнять сведения, полученные мною от Роберта во время наших быстротечных умственных контактов, некоторыми фактами, прояснившимися позже, ибо без них мой рассказ будет неполным. Передаваемая при посредстве телепатии информация была фрагментарной и порою маловразумительной, но я с маниакальным упорством анализировал каждую запечатлевшуюся в моей памяти мелочь, классифицируя и сопоставляя все то, что было мне известно из прошлого опыта, со сведениями, почерпнутыми во время сеансов телепатической связи с моим воспитанником. Все эти три незабываемых дня мой мозг был загружен исключительно анализом ситуации, в которой оказался Роберт, ибо, как я твердо знал, только мои неустанные усилия в этом направлении могли спасти мальчика и вернуть его в мир людей.

Четвертое измерение, чьим пленником стал Роберт, совсем не походило на то, что обычно описывают в своих произведениях фантасты-романтики, — неведомые бесконечные миры, их причудливые обитатели... Нет, то была проекция различных участков нашего земного мира, которые лежали в неизвестных нам пространственных областях и могли быть обнаружены только при строго определенных условиях. Это был совершенно непривычный для нас фрагментарный, неосозаемый и разнородный мир: скопление невзаимосвязанных, беспорядочно накладываются одна на другую декораций, которые напоминали образы смутных сновидений или, если угодно, проекции

нечетко настроенного волшебного фонаря — ускользающие визуальные образы, на фоне которых происходила зазеркальная жизнь Роберта Грандисона.

Это фоновое оформление было совершенно эфемерным — все эти стены, мебель, деревья и прочее мальчик не мог потрогать: стоило ему только протянуть к ним руку, как они тут же как будто отодвигались в пространстве. Все, что окружало Роберта, было текучим, переменчивым и нематериальным. При ходьбе, например, он видел поверхность, на которую опирались его ноги, будь то пол, тропинка или зеленый газон, но когда он наклонялся, чтобы потрогать рукой поверхность опоры, она непостижимым образом ускользала от него. При этом сила сопротивления поверхности — независимо от ее облика — всегда была примерно одинакова: это было некое давление, уравновешивающее то усилие, с которым тело давило на опору своим весом. Что касается перемещений с одного уровня высоты на другой, то они осуществлялись при помощи определенной балансирующей силы — то есть, когда Роберту нужно было подняться вверх, он не преодолевал ступеньку за ступенькой, как это делаем мы, а просто плавно всходил вверх по невидимому пандусу; аналогичным образом осуществлялось и движение вниз.

При движении по горизонтали переход от одной декорации к другой представлял собой нечто вроде плавного скольжения сквозь затененные участки пространства, где были сфокусированы нагроможденные один на другой размытые контуры деталей интерьера или пейзажа. Отличительной чертой всех перспектив зазеркального мира являлось отсутствие каких бы то ни было промежуточных объектов, а такие предметы, как мебель или растения, вызывали странное, неприятное чувство — настолько неоднозначным и нечетким был их облик. Декорации освещались рассеянным, непонятно откуда берущимся светом; что касается цветовой гаммы картин этого странного мира, то она была, конечно же, перевернутой — ярко-красная трава, желтое небо с плывущими по нему черно-серыми облаками, белые стволы деревьев, стены из зеленого кирпича... Все это придавало зазеркальным пейзажам вид совершеннейшего гротеска. Происходившая с обычной регулярностью смена времени суток представляла собой — в полном соответствии с обратным действием

физических законов — чередование дневного мрака со светом ночи.

Непонятная разнородность декораций долго сбивала с толку бедного Роберта, пока он наконец не понял, что они представляли собой не что иное, как зеркальное отражение всех тех мест, в которых старинное зеркало побывало более чем за двести лет своего существования. Этим, кстати, и объяснялись такие странные феномены, как отсутствие в перспективах промежуточных объектов, довольно произвольный характер связи декораций между собой и, наконец, неизменное окаймление пейзажей контурами оконных рам или дверных проемов. Несомненным было то, что зеркало обладало магической способностью запечатлевать те неосязаемые сейчас картины, что были некогда отражены его поверхностью. А неосязаемыми они были потому, что зеркало поглощало внутрь своего пространства не сами объекты в их материальном воплощении, а только их эфемерные образы. Правда, Роберт был захвачен им во плоти и крови — но в этом случае имел место другой, совершенно особенный процесс.

Однако самой невероятной чертой этого феномена — по крайней мере, для меня — было то чудовищное извращение известных нам пространственных законов, которое проявлялось при сопоставлении различных иллюзорных сцен зазеркального мира с их реальными земными двойниками. Упомянув о том, что это магическое стекло сохраняло внутри себя образы земных пейзажей, я позволил себе несколько упростить истинное положение вещей. На самом же деле каждая из декораций зеркала представляла собой неискаженную квазиперманентную проекцию четвертого измерения соответствующего земного участка — и потому, когда я видел Роберта в пределах той или иной декорации, например внутри образа моей комнаты, где он неизменно оказывался во время наших сеансов телепатической связи, *он действительно пребывал именно в этом месте реального земного мира*, — хотя происходило это в условиях, исключающих возможность какого бы то ни было физического контакта между ним и объектами обычного трехмерного пространства.

Теоретически узник зеркала мог буквально в считанные секунды оказаться в любом месте нашей планеты, которое было

когда-либо отражено поверхностью старинного стекла. Это, вероятно, было справедливо даже для земных сцен, отражавшихся в зеркале недостаточно долго, чтобы отчетливо запечатлеться в его памяти, — эти сцены были представлены в виде сочетаний расплывчатых, сильно затененных контуров. Что же касается пространства за пределами декораций, то оно было заполнено уходящей в бесконечность серой пеленой, о которой Роберт не мог сообщить мне ничего определенного, поскольку он не отваживался углубляться в эту неведомую, лишенную зрительных образов зазеркальную пустыню.

Еще из первых наших бесед мне удалось выяснить, что в заточении он находится не один. Позже я увидел его компаньонов. Все они были облачены в одежды примерно двухсотлетней давности и представляли собой довольно разношерстную публику: дородный господин средних лет в парике с косичкой — он носил бархатные бриджи и говорил по-английски с сильным скандинавским акцентом, хотя и достаточно бегло; красивая девочка лет восьми-десяти с очень светлыми волосами, которые здесь, естественно, казались иссиня-черными; двое негров, по всей вероятности немых, — черты их лиц являли совершенно дикий контраст с неестественной бледностью их кожного покрова. Были здесь также три молодых человека, одна молодая женщина, совсем еще маленькое дитя — почти младенец — и, наконец, пожилой худощавый датчанин с умным и в то же время каким-то недобрый выражением лица.

Звали этого датчанина Алекс Хольм; в полном соответствии с модой двухсотлетней давности он носил короткие сатиновые штаны в обтяжку, широкополый сюртук и пудренный завитой парик. На его личности стоит остановиться подробнее, ибо не кто иной, как Алекс Хольм, став некогда искусным стеклодувом и тогда же получив глубокие познания в области магии, изобрел эту странную многомерную тюрьму, где были сейчас заключены те, кого он завлек силой либо обманом и обрек находиться там в неизменном виде все время, пока существует зеркало.

Хольм родился в начале семнадцатого века и уже в молодости добился больших успехов в освоении ремесла стеклодува

и формовщика. Учился он в Копенгагене, там же и остался работать. Его изделия из стекла, в особенности большие зеркала для гостиных, пользовались хорошим спросом и прославили его по всей Европе. Однако он не удовлетворился одним лишь материальным процветанием. Пытливо изучая законы окружающего мира, он достиг на этом поприще высот, с коих достижения тогдашней науки казались просто ничтожными.

Он стремился обрести бессмертие, и волшебное зеркало должно было помочь ему в этом намерении. Для того далекого времени, более чем за два века до Эйнштейна с его теорией относительности, проводимые Хольмом исследования четвертого измерения являлись чудом изобретательности. Их результаты убедили его, что смерть как биологический процесс принципиально невозможна в зазеркальном мире и, следовательно, физическое вхождение в эту скрытую от простых смертных фазу пространства может означать для вошедшего подлинное бессмертие. Хольм пришел к выводу, что благодаря явлению оптического отражения можно получить универсальный вход во все измерения пространства помимо наших обычных трех; и случай вложил в его руки маленький кусочек старинного стекла, тайные свойства которого Хольм надеялся обратить себе на пользу. По его мнению, жизнь в зазеркалье (а под жизнью он понимал сознательное физическое существование индивидов) могла продолжаться практически бесконечно при условии, что поверхность зеркального стекла всегда оставалась бы неповрежденной.

Специально для этой цели Хольм изготовил зеркало, превосходящее по своему качеству все предыдущие его изделия, — такое произведение искусства должно было иметь немалую художественную ценность, что гарантировало бы его сохранность в течение многих столетий. В это свое зеркало Хольм искусно встроил тот самый кусочек странного реликтового стекла с завихряющимися линиями, который волею случая оказался у него в руках. Подготовив таким образом убежище для себя и ловушку для других, он приступил к осуществлению пробных вхождений в созданную им четырехмерную обитель. Первыми ее жителями стали двое привезенных из Вест-Индии негров-рабов, которые по воле своего хозяина вошли в зазеркалье, чтобы

навсегда остаться там. Можно только догадываться, что он почувствовал, наяву увидев практические результаты своих теоретических изысканий.

Разумеется, он не мог не понимать, что его отсутствие в нормальном мире, по длительности своей значительно превышающее естественную продолжительность обычной человеческой жизни, должно повлечь за собой мгновенное обращение в прах его телесной оболочки при первой же попытке возвратиться в этот мир. В связи с этим, разумеется, он изначально надеялся на то, что зеркало останется навечно целым и неизменным — так же как и он сам, и его будущие пленники, которые должны были навсегда оставаться в том же состоянии, в каком они угодили в это зеркало. Им не должна была грозить смерть от старости, а равным образом и гибель от голода и жажды — в зазеркалье они могли свободно обходиться без пищи и воды.

Чтобы как-то скрасить зазеркальное существование, он переправил туда кое-какие книги и письменные принадлежности, а также добротную мебель и другие предметы привычной ему обстановки. Образы поглощенных или отраженных предметов должны были быть неосязаемыми и просто составлять фон этого фантастического мира, в который он вошел собственной персоной в 1687 году. Переход был столь же мгновенным, сколь и болезненным; более чем вероятно, что, оказавшись по ту сторону зеркала, он ощутил чувство триумфа вперемешку с ужасом — ибо если бы в его планы вмешалось что-то непредвиденное, он мог бесследно исчезнуть в темных и непостижимых многомерных мирах.

Первые пятьдесят лет он довольствовался обществом своих невольников, но затем, в совершенстве овладев методом телепатической визуализации прилежавших к отражающей поверхности зеркала сегментов внешнего мира, он сумел постепенно завлечь в свое четырехмерное пристанище нескольких оказавшихся рядом с зеркалом людей — завлечь сквозь тот же самый вход, сквозь который он проник сюда полвека тому назад и который представлял собой таинственный кусочек стекла с движущимися в нем вихревыми линиями. Именно таким образом несчастный Роберт, обуреваемый непонятным желанием нажать пальцем на эту «дверь», был втянут внутрь. Обнаружение потенциальных

жертв строилось у Хольма на чистойшей телепатии, поскольку — это я узнал от Роберта — никто из обитателей зазеркалья не мог видеть того, что происходило за его пределами.

Странной была жизнь, которую вели внутри зеркала Хольм и его окружение. Так как в течение последних ста лет зеркало стояло обращенным к пыльной каменной стене сарая, где я и раскопал его, Роберт оказался первым, кто попался на удочку коварного датчанина после более чем векового интервала. Разумеется, его появление здесь было весьма заметным событием — помимо того что мальчик был новым человеком в обществе пленников зазеркалья, он еще и принес новости о мире людей, который по сравнению с тем миром, откуда попали сюда его слушатели, изменился настолько, что это вызвало у них едва ли не самый настоящий шок. В свою очередь и Роберту было не по себе от общения с людьми, что появились на свет полтора-два столетия тому назад.

Можно лишь весьма смутно представить себе ту удручающе монотонную картину, какую представляла собой жизнь узников четвертого измерения. Как я уже упоминал, все окружавшие их виды сводились к довольно ограниченному числу пейзажей и интерьеров, которые были когда-либо отражены старинным зеркалом за весь период его существования; многие из них вследствие пагубного воздействия тропического климата на зеркальную поверхность были размытыми и непонятными. Некоторые, однако, сохранили четкие очертания и были даже в какой-то степени живописными — именно на их фоне компания любила собираться вместе; и все же ни один из видов нельзя было назвать полностью безупречным, ибо все видимые предметы раздражали своей безжизненностью, неосязаемостью и нечеткостью очертаний. А когда наступали тягостные периоды темноты, обитателям зазеркалья не оставалось ничего другого, кроме как предаваться многократно повторяемым воспоминаниям, размышлениям и беседам — таким же неизменным, какими в течение многих лет оставались они сами.

Число неодушевленных предметов здесь было очень незначительным и фактически ограничивалось вещами, взятыми с собою Хольмом, да еще, пожалуй, той одеждой, что была на узниках. За исключением датчанина, все они обходились без мебели;

впрочем, она и не была им особо нужна, поскольку сон и усталость были точно так же неведомы им, как голод или жажда. Кстати сказать, неорганические вещества и изготовленные из них вещи были — в одинаковой степени с органическими — полностью предохранены от разложения. При этом низшие формы жизни здесь совершенно отсутствовали.

Большинство этой информации Роберт почерпнул от герра Тиля, того самого господина, который говорил по-английски со скандинавским акцентом. Этот дородный датчанин быстро привязался к мальчику и все свое время проводил в беседах с ним. Впрочем, и другие его товарищи по заточению полюбили Роберта всей душой, и даже сам Алекс Хольм благоволил ему — именно от него мой воспитанник узнал многое о природе этой ловушки, включая сведения о входе в нее. И все же Роберт благоразумно не вступал со мною в телепатическую связь, если Хольм находился неподалеку. Во всяком случае, дважды случилось так, что во время нашего общения в поле зрения возникала фигура датчанина, и Роберт тут же спешил прервать беседу.

Общаясь с Робертом, я не видел того зазеркального мира, в котором ему приходилось обитать. Зрительный облик моего воспитанника, состоявший из контуров его телесной оболочки и одежды, являл собой — подобно акустическому рисунку его запинающегося голоса для меня и моему зрительному образу для него — типичнейший пример телепатической передачи информации, которая является принципиально иным процессом в сравнении с обычным зрительным восприятием трехмерных физических тел. Если бы Роберт был таким же сильным телепатом, каким являлся Хольм, он наверняка мог бы передавать мне помимо облика своей фигуры и некоторые другие образы потустороннего мира.

Нет нужды говорить о том, что все время, в продолжение которого Роберт оставался пленником зазеркалья, я напряженно размышлял над способом его вызволения оттуда. И вот на девятый день со времени исчезновения Роберта меня вдруг посетила догадка. Разработанный план отличался, с одной стороны, удивившей меня самой простотой, а с другой стороны, совершенной непредсказуемостью последствий, которые в случае неудачи могли оказаться непоправимыми.

Я уже знал, что как такового выхода из зазеркалья не существует: туда можно совершенно беспрепятственно войти, но выйти оттуда без посторонней помощи уже невозможно. Это соображение было для меня основным при разработке плана. Я долго думал над тем, как поведут себя узники зазеркалья, если они останутся живы после освобождения. В связи с этим меня особенно интересовал Алекс Хольм — во-первых, из-за того, что именно он был творцом этой стеклянной тюрьмы, и во-вторых, из-за той резко отрицательной оценки, которую дал ему Роберт в одном из наших с ним разговоров. Выпустить на волю Алекса Хольма означало бы выпустить на волю его злой гений, и кто знает, какой катастрофой могло бы это кончиться для нашего мира... И вообще, я слабо представлял себе, чем завершится физическое разрушение зеркала для его пленников. Наконец, последняя проблема заключалась в том, чтобы вернуть Роберта в привычную школьную жизнь, утаив от окружающих суть этой поистине невероятной истории, которая даже мне казалась порою просто безумной.

Обдумав эти вопросы со всем тщанием, я приступил к подготовительной стадии операции. Раздобыв в школьной лаборатории сильное увеличительное стекло, я скрупулезно исследовал каждый квадратный миллиметр вихреобразного центра, который, по всей вероятности, и был тем самым кусочком старинного стекла, что использовал Хольм для входа в свою ловушку. Но даже с помощью увеличительного стекла я не мог поначалу уловить границу между участком старинного стекла и поверхностью более нового, которое сделал уже сам Хольм. Можете представить себе мою радость, когда мне удалось наконец обнаружить приблизительную границу между ними. Она представляла собой правильный эллипс, и, чтобы впоследствии не мучиться вторично с ее поисками, я обвел ее мягким синим карандашом. Съездив в Стэмфорд, я купил там стеклорез, чтобы с его помощью удалить этот колдовской участок стекла из его замаскированной оправы.

Вслед за тем я выбрал оптимальное время суток для проведения эксперимента, исход которого должен был решить судьбу Роберта Грандисона. После долгих раздумий я остановился

на 2:30 ночи — во-первых, столь поздний час был надежной гарантией моего полного уединения, а во-вторых, это время являлось «противоположностью» по отношению к 2:30 пополудни, то есть времени, когда Роберт вошел в зеркало. «Противоположность» такого рода могла и не иметь в данном случае никакого значения, но внутренний голос подсказывал мне, что выбранный мною момент как нельзя лучше подходит для предстоящего эксперимента.

Шел уже одиннадцатый день после пропажи мальчика, когда я решился наконец приступить к непосредственной операции. Дождавшись урочного часа, я закрыл на ключ двери холла и опустил портьеры на всех окнах. После этих приготовлений я достал стеклорез и с замиранием сердца приблизился к стоявшему на пристенном столике зеркалу. Затаив дыхание, я поместил ре�ец инструмента на синюю линию и, налегая на стеклорез изо всех сил, повел его по вычерченному эллипсоидному контуру. Под давлением резца старинное стекло громко захрустело; завершив один полный оборот, я пошел по второму разу, с удовлетворением наблюдая за тем, как углубляется бороздка, едва намеченная на стекле после первого круга.

Когда бороздка стала достаточно глубокой, я отложил стеклорез в сторону, с максимальной осторожностью снял тяжелое зеркало со столика и поставил его на пол, лицевой стороной к стене, после чего оторвал две задние доски и аккуратно стукнул ручкой стеклореза по обведенному участку. Первого же удара оказалось достаточно, чтобы овальный кусочек зеркала вылетел из своей оправы и с глухим стуком упал на специально расстеленный под зеркалом коврик. Это было так неожиданно, что я непроизвольно зажмурил глаза и сделал глубокий вдох. В этот момент я стоял на коленях, а мое лицо находилось совсем рядом с вырезанным в зеркале отверстием — и когда я вдохнул в себя воздух, в ноздри мне ударил чудовищный затхлый запах: ни до, ни после того не доводилось мне ощущать такого омерзительного смрада. Все вокруг внезапно стало серым и поплыло у меня перед глазами, а тело сковала сильнейшая боль, которая буквально парализовала меня. Уже теряя сознание, я сумел ухватиться за край оконной портьеры, но она тут

же оборвалась, не выдержав моего веса. Тело мое медленно сползло на пол, и я погрузился во тьму беспамятства...

Придя в сознание, я обнаружил себя лежащим на спине. Туловище мое располагалось на коврике, а ноги болтались где-то в воздухе. В комнате стоял все тот же жуткий затхлый запах, что ударил мне в нос, едва я вырезал из зеркала кусок стекла; и когда мои глаза стали воспринимать отдельные образы, я увидел стоявшего передо мною Роберта Грандисона, во плоти и крови и в нормальном цвете; он держал мои ноги поднятыми, чтобы кровь прилиwała к голове, — так их учили в школе на уроках по оказанию первой помощи. Какое-то время я не мог вымолвить ни слова от изумления, которое, однако, быстро сменилось радостью и облегчением, после чего я обрел способность двигаться и говорить.

— Все нормально, дружище, — слабым голосом произнес я и, подняв руку, помахал ею в воздухе. — Можешь опустить мои ноги на пол. Кажется, на меня подействовал этот запах. Открой вон то окно в дальнем углу — да, настежь. Вот так... благодарю. Нет-нет, шторы поднимать не надо — оставь их как есть.

Поднявшись на ноги, я ощутил, как застоявшаяся кровь разбегается по моему телу. Я все еще покачивался от слабости, но дуновение свежего, обжигающе холодного воздуха несколько оживило меня. Усевшись на стул, я обратил взгляд на Роберта, который стоял в дальнем от меня углу комнаты.

— Роберт, — произнес я с нетерпением, — а где же все остальные? Где Хольм? Что произошло с *теми*, когда я... когда я открыл выход?

Несколько секунд мальчик ничего не отвечал. Потом, пристально посмотрев на меня, произнес очень серьезным, даже каким-то торжественным голосом:

— Они растворились в пространстве, мистер Кэневин, — обратились в ничто. Я видел это собственными глазами. Вместе с ними исчезло все, что там было. Больше нет никакого зазеркалья — благодаря Господу и вам, сэр!

И тут Роберт, который в продолжение всех этих ужасных одиннадцати дней держался молодцом, неожиданно разрыдался, размазывая по лицу слезы и заходясь в истеричных всхли-

пываниях. Я обнял его за плечи, усадил на кушетку рядом с собой и положил ладонь ему на лоб.

— Ну-ну, приятель, возьми себя в руки, — сказал я успокаивающе.

Истерику Роберта, которая, впрочем, была совершенно естественной, прошла так же внезапно, как и началась. Убедившись в том, что мальчик успокоился, я принялся подробно излагать ему придуманную мною легенду о его исчезновении из стен школы. Внимательно выслушав мои инструкции, он уверенно повторил их, чем я остался очень доволен. После этого Роберт рассказал мне, что, когда я резал стекло, он находился в «проекции» моей спальни, и в тот самый момент, когда я разрушил скрывавшую его зеркальную тюрьму, он оказался в реальной трехмерной комнате — еще не осознавая, что очутился «снаружи». Услышав стук падения моего тела в гостиной, он поспешил туда и нашел меня распростертым на коврике в бессознательном состоянии.

Я не стану слишком подробно останавливаться на той инсценировке, которую устроили мы с Робертом, чтобы скрыть истинную картину его исчезновения. Скажу только, что, когда поздняя ночь сменилась ранним утром, я усадил мальчика в свою машину, отъехал на порядочное расстояние от школы и, повторив по пути выдуманную мною легенду, вернулся обратно и поднял на ноги всю школу — что и говорить, возвращение Роберта, столь неожиданное для всех, произвело среди учителей и учеников настоящий фурор. По моим объяснениям выходило, что в день своего исчезновения Роберт в полном одиночестве гулял в окрестностях школы. Мимо него проезжала машина, и сидевшие в ней двое молодых людей предложили ему покататься с ними. Роберт согласился проехаться только до Стэмфорда и обратно, и молодые люди сказали — «да, конечно», но вместо этого, достигнув Стэмфорда, не останавливаясь, поехали еще дальше за город, в совершенно противоположную от школы сторону. Роберту все же удалось ускользнуть от них, когда машина остановилась из-за какой-то поломки. Скрывшись из виду от своих похитителей, он принялся ловить на дороге попутку, чтобы поспеть к вечерней переключке, и по неосторожности попал под автомобиль. Очнулся он только десять дней

спустя в доме того самого водителя, под колесами чьей машины он оказался. Тут же, посреди ночи, он позвонил в школу, и я, будучи единственным, кто не спал в этот поздний час, приехал и забрал его. Вот такую версию изложил я Брауну. Он принял ее без каких-либо сомнений и тотчас же позвонил родителям мальчика. Самого Роберта он решил пока оставить в покое — на нем и так лица не было от пережитого им испытания. Миссис Браун, которая была когда-то медсестрой, взялась ухаживать за ним до приезда родителей.

Правды об исчезновении Роберта Грандисона так никто и не узнал. Сейчас, вспоминая эту невероятную историю, мы оба начинаем так или иначе сомневаться в ее достоверности и задаемся вопросом — а не является ли правдой выдуманная нами версия о похищении Роберта бесшабашными юнцами? Но стоит только сомнению закрасться в мою душу, как перед глазами у меня тут же возникает фигура Роберта Грандисона, окрашенная в жуткий сине-зеленый цвет, а в ушах начинает звучать его басовитый и глухой, будто из бочки, голос. Я не могу забыть причудливые одеяния пленников зазеркалья и его фантастические декорации — эти видения постоянно донимают меня. И наконец, этот омерзительный затхлый запах, при одном воспоминании о котором меня начинает колотить крупная дрожь... Сейчас я знаю, откуда он взялся: конечно же, он образовался в тот момент, когда компаньоны Роберта, попавшие в чрево волшебного зеркала не одну сотню лет назад, в мгновение ока обратились в прах.

Несколько позже, тщательнейшим образом изучив датские архивы, я окончательно убедился в том, что эта история отнюдь не была навеяна таинственным блеском старого копенгагенского стекла. Разумеется, поиски мои касались материалов об Алексее Хольме, и, надо сказать, мне удалось найти о нем массу сведений — такая незаурядная личность обязательно должна была оставить глубокий след как в фольклоре, так и в письменных свидетельствах. Мои многочасовые бдения в библиотечных залах и дотошные расспросы датских ученых мужей позволили пролить свет на загадочную и зловещую фигуру этого выдающегося мыслителя. Он родился в 1612 году в почтенном семействе, и кто бы мог подумать, что со временем он станет настоящим

исчадием ада, чьи устремления и деяния будут вызывать ужас в душах его сограждан. Снедаемый желанием превзойти все остальное человечество в овладении тайнами Вселенной, он с малых лет окунулся в атмосферу богохульных изысканий и, будучи совсем еще молодым человеком, по праву считался великим знатоком оккультных наук. Он вступил в общество последователей ведьмовских культов и мрачной скандинавской мифологии, включая сказания о Локи и волке Фенрире. Цели и намерения копенгагенского стеклодува неизменно вызывали ужас у всех, кому становилось о них известно, — настолько злонамеренными были они по своей сути. Я нашел запись о том, что два его негра-раба, которых он купил на одном из островов Датской Вест-Индии, стали немыми вскоре после того, как Алекс Хольм сделался их хозяином, и о том, что они бесследно исчезли незадолго до его собственного ухода из мира людей.

Уже на закате своей долгой жизни Хольма посетила идея создания зеркала бессмертия. О том, как он добыл заколдованное, невероятно древнее зеркало, ходили самые противоречивые слухи, но наиболее правдоподобной представляется версия, согласно которой он выпросил его обманным путем у одного знакомого колдуна, пообещав якобы отполировать его поверхность. Легенды наделяли это зеркало такой же волшебной силой, какой обладали щит Минервы или молот Тора. Оно представляло собой маленький овальный предмет и называлось «Зеркалом Локи» — того самого хитреца Локи из скандинавского фольклора. Сделанное из отполированного куска некоего плавкого минерала, оно действительно обладало магическими свойствами — например, могло предсказывать своему хозяину его ближайшее будущее или указывать на его скрытых врагов. Однако в руках такого всезнающего чародея, каким был Хольм, оно должно было обрести гораздо более зловещую силу; во всяком случае, добропорядочные копенгагенцы с тревогой передавали друг другу слухи о попытках Хольма встроить кусок волшебного зеркала в обычное зеркало больших размеров. В 1687 году Хольм бесследно исчез, и это наделало много шума, тем более что вместе с ним таинственным образом пропало и кое-что из его имущества. Конечно, не имея доказательств правдивости этой истории, можно сколько угодно смеяться над нею и счи-

тать ее забавной выдумкой; но как мне забыть видения, что посещали меня во сне на протяжении тех одиннадцати дней, когда Роберта Грандисона не было с нами?

Самое яркое и бесспорное подтверждение тому, что мой воспитанник действительно побывал в чреве волшебного зеркала, я получил два дня спустя после возвращения Роберта в нормальную жизнь. Сидя у меня в комнате перед камином, он подбросил в затухающий огонь полено, а я с удивлением для себя отметил неловкость его движений. В следующую же секунду догадка озарила меня. Подозвав Роберта к своему столу, я с ходу приказал ему взять чернильницу — и не особенно удивился тому, что мгновение спустя она оказалась зажатой в его левой руке. Затем я попросил его расстегнуть рубашку — и когда мальчик, недоуменно глядя на меня, все же исполнил мою просьбу, я прильнул ухом к его грудной клетке и опять же не очень удивился тому, что его сердце колотилось не слева, как у нормальных людей, а с *правой стороны*.

Он покинул нас правой и с нормальным расположением внутренних органов. Он вернулся к нам левой, с перевернутыми органами — и я не сомневался, что таким он останется на всю жизнь. Да, налицо были все признаки того, что Роберт побывал в неведомом нам пространственном измерении, и физические изменения его организма свидетельствовали об этом более чем убедительно. Если бы только из этого дьявольского зеркала был нормальный выход, мальчик успел бы подвергнуться соответствующим процедурам перехода в нормальное состояние и вернулся бы в этот мир точно таким же, каким он его оставил. Слава богу, повторял я про себя, что он успел обрести нормальную цветовую гамму — его кожа и предметы одежды сохранили первоначальную окраску. Разумеется, насильственное вторжение в зазеркальный мир дало себя знать — и если «обратные» частоты спектральных волн успели смениться на изначальные, то с пространственным расположением предметов этого, к сожалению, не произошло.

Я не просто *открыл* ловушку Хольма: я *разрушил* ее, и на какой-то определенной стадии ее разрушения, совпавшей с моментом выхода Роберта наружу, некоторые свойства «перевернутого» мира оказались утраченными. Важно отметить, что во

время выхода из ловушки Роберт почти не чувствовал боли — во всяком случае, те болевые ощущения, что ему пришлось испытать, когда он входил в зазеркалье, были несравненно более сильными. Иногда я содрогаюсь при мысли о том, что, доведись мне разрушить эту дьявольскую западню быстрее, чем я это сделал, — и перевернутая цветовая гамма не успела бы обратиться в нормальную. Бедный Роберт — каково бы ему было жить с таким жутким цветом кожи... Кстати сказать, не только сердце и другие внутренние органы у Роберта сместились в противоположную сторону — то же самое касалось и деталей его одежды, таких как карманы или пуговицы.

Сейчас зеркало Локи хранится у меня дома. Я не стал вставлять его обратно в старинное зеркало, служившее ему оправой. Оно покоится на моем письменном столе, выполняя роль пресс-папье. Заглядывающие ко мне коллекционеры искренне восхищаются им и считают его великолепным образчиком американского стеклянного антиквариата примерно столетней давности. Я-то знаю, что мое пресс-папье представляет собой образчик искусства несоизмеримо более древнего и высокого, но не вижу причин разубеждать эту восторженную публику.

ДЕРЕВО НА ХОЛМЕ

(с Дуэйном У. Раймелом)

I

К юго-востоку от Хэмпдена, рядом с извилистым ущельем, где бьется в теснинах Лососевая река, простирается гряда крутых скалистых холмов, ставшая камнем преткновения для земледельцев. Глубокие каньоны с почти отвесными стенами изрезали эту местность вдоль и поперек, что не позволяет использовать ее иначе как в качестве сезонного пастбища. В мой последний приезд в Хэмпден этот район — его еще называют Наделом Сатаны — входил в состав лесного заповедника. Ввиду отсутствия дорог он практически отрезан от внешнего мира, и местные жители на полном серьезе скажут вам, что в свое время он был собственноручно пожалован нашей грешной земле Его Сатанинским Величеством. Местное поверье гласит, что здесь водятся привидения, но что они собой представляют — этого, похоже, не знает никто.

Коренные поселенцы не отваживаются проникать в эти таинственные дебри, ибо они свято верят тем преданиям, что достались им по наследству от индейцев племени нез-персе, бесчисленные поколения которых избегали этих мест по той причине, что считали их ареной состязаний каких-то гигантских духов, прибывающих Извне. Все эти не лишённые занимательности истории возбудили во мне живейшее любопытство.

Моя первая — и, слава богу, последняя — экскурсия в эти холмы состоялась летом 1938 года, которое я провел в Хэмпдене с Константином Теунисом. Он весь ушел в работу над своей диссертацией по египетской мифологии, и большую часть времени я коротал в одиночестве, несмотря на то что мы жили в одной квартире — в коттедже на Бикон-стрит с видом на печально из-

вестный Пиратский Дом, выстроенный Эксером Джонсом более шестидесяти лет тому назад.

Рассвет 23 июня застал меня среди этих причудливой формы холмов — впрочем, после семи часов утра они выглядели вполне прозаично. Я отошел уже на целых семь миль от Хэмпдена, но до сих пор не видел ничего такого особо примечательного. Взираясь по травянистому откосу над одним особенно глубоким ущельем, я внезапно оказался на участке, абсолютно лишенном растительного покрова. Он простирался далеко на юг, захватывая множество долин и возвышенностей. Поначалу я решил, что прошлой осенью здесь, вероятно, был пожар, но, внимательно обследовав почву, я не обнаружил ни малейших признаков выгорания. Все близлежащие склоны лощины выглядели настолько черными и обезображенными, что казалось, на них дохнуло каким-то гигантским пламенем, уничтожившим всю растительность. Однако следы огня отсутствовали...

Я ступал по жирной, плодородной почве — мечте любого земледельца — и не видел ни травинки. Я взял курс на предполагаемый центр этой грандиозной пустоши — и тут до меня вдруг дошло, какая жуткая и необъяснимая тишина царит вокруг. Здесь не было ни жаворонков, ни кроликов, ни даже насекомых — вся живность, казалось, покинула эти места. Взойдя на пригорок, я попытался определить на глаз размеры этой унылой загадочной зоны. И тут я увидел одиноко стоящее дерево.

Холм, на котором оно росло, чуть возвышался над своими соседями, но дерево бросалось в глаза главным образом потому, что его никак нельзя было ожидать здесь увидеть. Я не встретил ни одного дерева на протяжении многих миль: в неглубоких лощинах мне приходилось продираться сквозь заросли репейника и терновника, но среди них не было деревьев в полном смысле этого слова. Тем более странно было увидеть дерево в этой бесплодной местности, да еще на вершине холма.

Чтобы добраться до него, мне пришлось пересечь два обрывистых ущелья; в конце пути меня ждала еще одна неожиданность. Ибо это дерево не было ни елью, ни сосной, ни чем-либо еще. Никогда в жизни я не встречал деревьев, хотя бы отдаленно напоминавших его; не встретил и по сей день — и вечно буду благословлять за это небеса!

Более всего оно напоминало дуб. У него был мощный искривленный ствол диаметром около ярда, а огромные нижние ветви находились примерно в семи футах над землей. Листья имели округлую форму и были до странности идентичными по размеру и рисунку. Создавалось впечатление, будто дерево нарисовано на холсте кистью неведомого художника, но я готов поклясться, что оно было настоящим. Да-да, настоящим, уж я-то знаю это, что бы там ни говорил Теунис.

Помню, как, не глядя на часы, я определил время по солнцу: было десять утра. Стало припекать, и я присел отдохнуть под гостеприимной сенью огромного дерева. Потом я обратил внимание на траву, что в изобилии росла под ним, — довольно странный феномен посреди этой голой пустоши.

Везде, куда бы я ни кинул взгляд, было беспорядочное нагромождение холмов, лощин и обрывов, но та возвышенность, на которой я сидел, значительно превосходила все остальные в радиусе многих миль. Я поглядел далеко на восток — и тут же вскочил на ноги, пораженный и ослепленный увиденным!

Сквозь сизую дымку на горизонте проступали голубоватые шапки гор Биттеррут, единственной гряды в радиусе трехсот миль от Хэмпдена, вершины которой всегда покрыты снегом. Но, находясь на такой высоте, как сейчас, я никак не должен был ее видеть. В течение нескольких минут я стоял, не шелохнувшись, и все глядел на это чудо; затем меня вдруг одолела сонливость, и я прилег отдохнуть на обильный травяной покров под деревом. Я отложил в сторону фотоаппарат, снял шляпу и расслабился, глядя в небо через сетку зеленых листьев. Потом я закрыл глаза.

И тогда меня посетило довольно странное видение — некая смутная греза, не имевшая сколько-нибудь отчетливой связи с реальностью. Мне чудилось, будто я вижу величественный храм на берегу вязкого, покрытого водорослями моря; три солнца мерцали над ним в бледно-розовом небе. Этот громадный храм, напоминавший древнюю гробницу, имел какой-то неестественный цвет, близкий к сине-лиловому. Огромные бестии парили в облаках — казалось, будто я слышу хлопанье их перепончатых крыльев. Приблизившись к каменной громаде, я увидел черный провал входа. Внутри маячили тени; мельтеша и дразнясь, они,

казалось, хотели заманить меня в этот чудовищный склеп. Хищный блеск трех огромных глаз померещился мне в шевелящемся мраке дверного проема, и я закричал от смертельного страха. Я понял, что в мрачных недрах этого исполинского сооружения кроется нечто такое, что сулит гибель и разрушение всему существу. То была поднявшаяся из бездны преисподняя, и была она страшнее самой смерти. Я снова закричал. Видение померкло.

Надо мной были все те же круглые листья и обычное земное небо. Пытаясь подняться на ноги, я ощутил дрожь во всех членах; холодный пот струился по моему лицу. В первое мгновение я было собрался бежать куда глаза глядят, лишь бы только не видеть этот холм с его ужасным деревом, но затем быстро справился со своим сумасбродным порывом и снова присел, стараясь прийти в себя. Никогда еще я не видел сна, столь схожего с явью и столь кошмарного. Но что же могло послужить причиной такому странному видению? Разве что те книги по Древнему Египту, которые я брал почитать у Теуниса... Я отер пот с лица и подумал, что уже настало время обеда. Однако мне почему-то совсем не хотелось есть.

Потом меня осенило. Я сделаю несколько снимков этого дерева и покажу их Теунису. Быть может, увидев их, он перестанет делать вид, будто ему все безразлично. А если что, я мог бы пересказать ему свой сон... Достав из чехла фотоаппарат, я сделал несколько снимков как самого дерева, так и окружавшего его ландшафта. На всякий случай я также сфотографировал один из сверкавших на солнце снежных пиков. Может быть, я захочу сюда вернуться, и тогда эти снимки пригодятся.

Засунув фотоаппарат в футляр, я вернулся на свое мягкое травянистое ложе. Похоже, что это место под деревом обладало какой-то неведомой чудодейственной силой. Во всяком случае, мне не хотелось его покидать.

Я глянул вверх, на странные листья округлой формы, и снова закрыл глаза. Легкий ветерок играл в ветвях; их мягкий мелодичный шелест навевал на меня сладкую истому, и вскоре я задремал. Внезапно я снова увидел бледно-розовое небо и три солнца. Страна трех теней! И вновь величественный храм предстал перед моим взором. Казалось, будто я лечу по воздуху, как некий бестелесный дух, и разглядываю чудеса этого удивитель-

ного многомерного мира. Причудливо изогнутые карнизы храма вселяли в меня безотчетный страх, и я понял, что эту страну не видел еще ни один смертный даже в своих самых дерзких грезах.

И снова передо мной возникла огромная зияющая дыра входа; меня словно затягивало в это черное клубящееся облако. Казалось, что я гляжу в даль без конца и без края. Я не нахожу слов, чтобы описать это чудовищное Ничто, эту непроницаемую бездонную тьму, кишевшую невообразимыми тенями и предметами, плодами безумия и бреда, столь же неуловимыми и прозрачными, как мгла, скрывающая таинственную Шамбалу.

Душа моя ушла в пятки. Я был смертельно испуган. Я кричал, не переводя дух, и чувствовал, что схожу с ума. Затем, все еще во сне, я бросился бежать — и бежал бесконечно долго, охватенный предельным ужасом, но от чего именно я спасался бегством, я не знал. И хотя я покинул этот храм и адскую бездну, в глубине души я понимал, что мне суждено вернуться сюда и только чудо может меня спасти.

Я открыл глаза. Деревя надо мной не было. Я лежал ничком на каменистом склоне. Одежда моя находилась в самом плачевном состоянии, ладони были исцарапаны в кровь. Я медленно поднялся на ноги, корчась от невыносимой боли. Теперь я узнал то место, где находился, — это был холм, с которого я впервые увидел ту опаленную зону. Выходит, что я проделал не одну милю, находясь в бессознательном состоянии! Деревя не было в поле зрения, и я облегченно вздохнул. Брюки мои были разодраны на коленях, — стало быть, часть пути я проделал на четвереньках.

Я взглянул на солнце — оно клонилось к западу! Где же я все это время был? Я судорожно выхватил часы. Они остановились в 10:34.

II

— Так, значит, ты получил фотографии? — произнес Теунис, лениво растягивая слова.

Я поднял голову и встретил взгляд его серых глаз, направленный с другого конца обеденного стола. Три дня миновало с тех

пор, как я вернулся с Надела Сатаны. Я, конечно, уже успел ему поведать о видении, посетившем меня под деревом, но мой рассказ вызвал у него только смех.

— Да, — ответил я. — Они пришли вчера вечером. Я еще даже не распечатал пакет. Рассмотрю их как следует — если, конечно, они достаточно качественные. Быть может, ты изменишь свое мнение.

Теунис усмехнулся, отхлебнул кофе. Я протянул ему нераспечатанный конверт. Он тут же вскрыл его и достал снимки. Как только он увидел первый из них, улыбка слетела с его лица. Он нервно затушил сигарету.

— Боже праведный, ты только погляди!

Я принял у него из рук гляцевый прямоугольник. Это был самый первый снимок дерева, сделанный мною с расстояния примерно в пятьдесят футов. Я недоумевал, что могло так поразить Теуниса в этом снимке. На переднем плане красовалось дерево, стоящее на холме, под ним — густые заросли травы, где я отдыхал, а вдали — заснеженные вершины гор.

— Вот! — воскликнул я. — Я же говорил...

— Приглядишься получше! — Теунис щелкнул ногтем по фотокарточке. — Взгляни на тени! Каждая скала, куст и дерево отбрасывают по три тени!

Он был прав... Я только теперь заметил, что от дерева падают сразу три тени, перекрывающие одна другую наподобие веера. Меня разом охватило чувство, будто изображение на фотокарточке содержит какую-то несообразность, что-то ненормальное. Листья выглядели какими-то уж чересчур сочными, чтобы быть похожими на настоящие, а ствол был весь в безобразных утолщениях и наростах. Теунис швырнул снимок на стол.

— Здесь что-то не так, — пробормотал я. — То дерево, которое я видел, не было таким отвратительным, как это...

— Ты уверен? — процедил Теунис. — Впрочем, я думаю, что ты видел там много такого, что не попало на эти снимки.

— Но на них попало то, чего я не видел!

— В том-то все и дело. В этом ландшафте как будто что-то не на месте, но что именно — этого я никак не могу ухватить. Дерево как бы наводит на мысль — но мысль эта выше моего по-

нимания! Оно слишком неотчетливо, слишком зыбко, слишком призрачно, чтобы быть настоящим!

Он нервно забарабанил пальцами по столу. Потом схватил остальные фотографии и быстро их просмотрел.

Я взял со стола снимок, оброненный Теунисом, и принялся его разглядывать, стараясь вникнуть в каждую деталь и ощущая при этом какую-то странную неловкость и неуверенность. Верхушки растений торчали в разные стороны; трава в отдельных местах была беспорядочно спутана. Дерево выглядело очень расплывчатым, как бы затянутым пеленой, но я хорошо различал мощные сучья и полусогнутые стебли цветов, что, казалось, вот-вот должны были обломиться, однако каким-то образом все же держались. И еще множество теней, расположенных веером.

Между тем это были очень подозрительные тени — либо слишком короткие, либо слишком длинные в сравнении с объектами, от которых они падали, отчего мне и стало не по себе. Но ведь в тот день я ничего этого не заметил... Станный пейзаж! В нем было что-то до боли знакомое и в то же время столь же далекое и непостижимое, как звезды за пределами галактики.

Теунис первым нарушил молчание:

— Ты, кажется, говорил, что в своем бредовом сне видел три солнца?

Я кивнул, не понимая, к чему он клонит. Потом вдруг меня осенило, и когда я снова взглянул на фото, пальцы мои слегка дрожали. Мой сон! Ну конечно!

— На других снимках то же самое, — сказал Теунис. — Та же неопределенность, тот же намек. Пожалуй, я бы разобрался, в чем тут дело, увидел бы все в истинном свете, но только здесь все слишком... Впрочем, если я погляжу на них подольше, я, конечно, разберусь.

Какое-то время мы сидели, не произнося ни слова. Внезапно ко мне пришла идея, подсказанная странным, необъяснимым желанием снова попасть к тому самому дереву.

— Давай сходим туда вместе. Это займет у нас полдня.

— Будет лучше, если ты останешься здесь, — задумчиво промолвил Теунис. — Сомневаюсь, что тебе удастся отыскать это место.

— Вздор, — сказал я. — Ведь у нас есть фотографии...

— А на этих фотографиях есть какие-нибудь известные тебе ориентиры?

Слова Теуниса заставили меня вздрогнуть. Внимательно проглядев остальные снимки, я вынужден был признать, что никаких ориентиров на них нет.

Теунис еле слышно бормотал и делал одну затяжку за другой:

— Совершенно обычная — или почти обычная — фотография ландшафта, который явно не от мира сего. А чтобы с такой высоты были видны горы — это просто абсурд! Впрочем, погоди-ка!

Он вскочил со стула и бросился вон из комнаты. Я слышал, как он, громко чертыхаясь, возится в нашей временной библиотеке. Не прошло и минуты, как он появился в дверях со старинным фолиантом в кожаном переплете под мышкой. Теунис бережно раскрыл его и стал вглядываться в причудливый шрифт.

— Что это за книга? — поинтересовался я.

— Это староанглийский перевод «Хроник Натха», составленных Рудольфом Йерглером, германским мистиком и алхимиком. Часть своих сведений он позаимствовал у Гермеса Трисмегиста, древнеегипетского чародея. Тут есть один абзац, который может представить для нас определенный интерес, поскольку из него следует, что во всей этой истории намного больше сверхъестественного, нежели ты предполагаешь. Слушай:

«Шел год Черного Козла, когда в Натх явилась тень, которой нет места на Земле и облик которой неуловим для взора смертного. И она питалась душами людей; и тех, кого она глодала, преследовали соблазнительные и ослепительные видения, пока ужас и вечная ночь не настигали их. И они не видели того, что так гложет их, ибо тень принимала ложные обличья, известные людям только из снов, и казалось, что лишь в Стране Трех Солнц можно получить освобождение. Но сказано жрецами Старой Книги, что тот, кто увидит тень в ее подлинном обличье, а увидев, останется в живых, — тот сможет избежать ее чар и вернуть ее в ту черную бездну, откуда она происходит. Совершить же это можно не иначе, как прибегнув к священной Гемме, что

хранится в храме Ка-Нефера, Верховного Жреца. И когда та исчезла вместе с Фрином, тем самым, что бросил вызов ужасу и бесследно сгинул, великий стон стоял в Натхе. Но Тень, насытившись, оставила землю и не проголодается до тех пор, пока вновь не свершится цикл и не настанет год Черного Козла».

Теунис замолчал. Услышанное окончательно сбило меня с толку, и я сидел, широко раскрыв глаза. Наконец он снова заговорил:

— Ну, Сингл, теперь, я думаю, ты понимаешь, как тут все связано. Нам нет необходимости погружаться в эти мифы глубже, чем того требует данный случай, однако я должен заметить, что, согласно древним поверьям, именно сейчас идет так называемый год Черного Козла — год, когда чудовищные ужасы из Потусторонней Бездны якобы насылаются на землю, принося неисчислимые бедствия. Нам не дано знать, как именно они себя проявят, но есть все основания полагать, что в деле будут замешаны всякого рода видения и галлюцинации. Скверно, что ты впутался в эту историю. Она может плохо кончиться, и я умоляю тебя быть настороже. Но прежде всего я хочу воспользоваться советом старины Йерглера и попытаться увидеть это явление в его истинном обличье. К счастью, упомянутая им старинная гемма была-таки найдена, и мне известно, где она хранится. Мы должны испытать ее действие хотя бы на фотографиях. Эта гемма представляет собой нечто вроде линзы или призмы — правда, с ее помощью нельзя фотографировать. Человек с повышенной восприимчивостью, поглядев сквозь нее, пожалуй, смог бы зарисовать увиденное. Правда, эта процедура довольно рискованная — наблюдатель может повредиться в рассудке, ибо облик тени принадлежит к иному миру и вряд ли приятен на вид. Но опасность возрастет стократ, если мы вообще не попытаемся что-либо предпринять. И все же, Сингл, если тебе дороги жизнь и рассудок, держись подальше от этого холма — и от объекта, который ты принимаешь за дерево.

Я чувствовал себя сбитым с толку еще более, нежели прежде.

— Но как могут живые существа Извне существовать среди нас? — воскликнул я. — И откуда нам знать, что они действительно существуют?

— Ты рассуждаешь с точки зрения обитателя нашей крошечной планеты, — возразил Теунис. — Но ты же не станешь утверждать, что известный нам мир является мерилем Вселенной. Перед самым нашим носом мелькают объекты, которые нам и не снились. Современная наука резко расширила границы познания и доказала, что мистики были не так уж далеки от истины...

Неожиданно я понял, что больше не могу глядеть на фотографию; мне захотелось сжечь ее. Меня обуял космический ужас; он гнал меня прочь от этого чудовищного снимка, ибо я смертельно боялся, что смогу узнать какой-нибудь из изображенных на нем объектов.

Я взглянул на Теуниса. Он склонился над старинной книгой с очень странным выражением на лице. Потом выпрямился.

— Давай отложим это дело на завтра. Я устал строить догадки, устал удивляться. Я возьму на время гемму из музея и сделаю все, что в моих силах.

— Как хочешь, — ответил я. — Тебе нужно будет ехать в Кройдон?

Он кивнул.

— В таком случае мы отправимся вместе, — решительно заявил я.

III

Я не вижу никакой необходимости в подробном изложении событий последующих двух недель. Для меня они заключались в непрекращающейся борьбе между безумным желанием вернуться к загадочному древу иллюзий и свободы и не менее безумным страхом перед этим непостижимым феноменом и всем, что с ним связано. То, что возвращение мое так и не состоялось, произошло не столько из-за моего нежелания, сколько по чистой случайности. Между тем я знал, что Теунис проявляет исключительную активность в неких изысканиях самого странного толка — изысканиях, включавших в себя тайную поездку в автомобиле и возвращение в условиях величайшей конспирации. Несколько слов, брошенных им вскользь по телефону, дали мне понять, что ему удалось раздобыть загадочный предмет

весьма древнего происхождения, упоминавшийся в том старинном фолианте как «Гемма», и что он изыскивает средства применения этого предмета к оставленным мною фотографиям. Он также обмолвился о «поляризации», «преломлении» и «неизвестных науке углах времени и пространства» и добавил, что мастерит какой-то аппарат вроде камеры-обскуры для изучения загадочных фотоснимков с помощью геммы.

На шестнадцатый день я получил тревожное известие из кройдонской лечебницы. Теунис находился там и желал немедленно меня видеть. Его хватил какой-то странный удар: друзья нашли его распростертым ниц в бессознательном состоянии у себя в комнате, куда они прибежали, услышав крики, исполненные смертельного ужаса и страдания. Несмотря на слабость и беспомощность, Теунис пришел в сознание и горел нетерпением сообщить мне что-то важное, а также попросить меня о выполнении поручения, не терпящего отлагательства. Вот и все, что мне передали из лечебницы по телефону. Не прошло и часа, как я сидел у постели больного, не переставая удивляться тем изменениям, какие претерпели черты его лица за столь короткое время в результате волнений и нервного напряжения. Теунис начал с того, что попросил сиделок оставить нас вдвоем.

— Сингл! Я видел ее! — Голос его звучал хрипло и неестественно. — Ты должен немедленно уничтожить все снимки. Я взглянул на ее истинный облик и тем самым вернул ее туда, откуда она происходит, но снимки все равно лучше сжечь. То дерево больше никогда не появится на холме — во всяком случае, я надеюсь на это, — пока через многие тысячи веков вновь не наступит год Черного Козла. Теперь ты вне опасности — и человечество тоже.

Он замолчал, переводя дыхание, а потом продолжил:

— Вытащи гемму из камеры и положи ее в сейф — шифр тебе известен. Она должна быть возвращена туда, откуда я ее взял, — ибо наступит время, когда она снова потребует для спасения мира. Пока я нахожусь здесь, мне будет спокойнее, если я буду знать, что она в надежном месте. Не вздумай глядеть в аппарат — иначе она разделается с тобой так же, как со мной. И сожги эти чертовы снимки... тот, что в камере, и все остальные...

На этом месте Теуниса оставили силы, он откинулся на подушку и закрыл глаза. Вошли сиделки и знаками попросили меня удалиться.

Еще через полчаса я уже был у него дома и с любопытством разглядывал продолговатый черный ящик, установленный на столе в библиотеке. Рядом валялся опрокинутый стул. Ветер, врываясь в открытое окно, ворошил и кружил по комнате разрозненные листы бумаги. Рядом с ящиком я заметил конверт из-под фотографий, и странное чувство охватило меня. Всего несколько секунд потребовалось мне для того, чтобы осмотреть аппарат и открепить от одного его конца самый первый снимок дерева, а от другого — небольшой прозрачный кристалл цвета янтаря, обточенный под самыми немислимыми углами. Прикоснувшись к нему, я ощутил неприятные теплоту и покалывание, и мне пришлось побороть отвращение, убирая его с глаз долой в настенный сейф Теуниса. Держа в руках снимок, я испытывал противоречивую гамму чувств. И когда он уже лежал в одном конверте с остальными, меня не оставляло болезненное желание извлечь его оттуда, впиться глазами, броситься вон из комнаты и бежать к холму — туда, где находился изображенный на нем объект. Характерные изображения линий на отдельных деталях снимка то и дело всплывали у меня в памяти... За одними изображениями таились совсем другие... непостижимые тайны в полузнакомых обличьях... Но одновременно во мне действовал и противоположный, более здоровый инстинкт — это был ни с чем не сравнимый страх; именно он дал мне силы поспешно развести огонь в камине и бросить туда проклятый конверт, который вскоре на моих глазах превратился в пепел. При этом я понимал каким-то шестым чувством, что мир наконец-то очистился от ужаса, на краю которого трепетал; ужаса, который не стал менее чудовищным оттого, что я не знал, в чем его суть.

Мне так и не удалось составить себе сколько-нибудь ясного представления о причине постигшего Теуниса удара, да я и не осмеливался как следует задуматься над этим. Примечательно, что у меня не возникло и тени желания поглядеть в камеру, пока я не вынул из нее гемму и фотографию. То, что можно было разглядеть на снимке через древний кристалл, используя его

как своего рода увеличительное стекло, не предназначалось — в этом я почему-то был уверен — для восприятия человеком, желающим остаться в здравом уме. Что до меня, то я уже стоял бок о бок с этим феноменом и находился под воздействием его чар в тот момент, когда он пребывал на том дальнем холме в виде дерева и нездешнего ландшафта. И у меня не возникало ни малейшего желания увидеть подлинный облик того ужаса, которого мне чудом удалось избежать.

Ах, если бы я так и остался в блаженном полуневедении! Я мог бы спокойнее спать по ночам. Однако судьбе было угодно, чтобы, прежде чем выйти из комнаты, я остановил свой взгляд на кипе бумаг, шуршавших на столе возле черного ящика. Все листы были чистыми, за исключением одного — на нем был рисунок, наспех сделанный карандашом. Я сразу вспомнил слова Теуниса о возможности зарисовать тот кошмар, что будет выявлен с помощью геммы, и хотел было отвернуться от рисунка, но мое благоразумное намерение не устояло перед врожденным любопытством. Искоса взглянув на рисунок, я увидел неровные, торопливые штрихи, обрывавшиеся в том месте, где моего приятеля хватил ужасный удар. Потом, как бы назло самому себе, я посмотрел прямо на запретное изображение — и лишился чувств.

Я никогда не смогу дать полного описания того, что предстало моему взору. Придя в себя, я швырнул листок в умирающее пламя и, шатаясь, побрел домой по тихим, безлюдным улицам. В душе я славил Господа за то, что не стал разглядывать снимок через кристалл, и истово молил Его помочь мне забыть сделанный Теунисом набросок, лишь отчасти передававший то, что он увидел своими глазами. Отныне я уже не тот, что прежде. Даже в самых невинных пейзажах мне чудится некий смутный, двусмысленный намек на те богомерзкие явления, что, может статься, лежат в их основе и составляют их истинную сущность. И это притом, что рисунок Теуниса был таким приблизительным, таким неполным — в сравнении с тем, что он видел собственными глазами, если судить по его осторожному рассказу!

На рисунке сохранилось лишь несколько основных элементов ландшафта. Остальная его часть была застлана какой-то странной, невообразимой туманностью. Все более или менее

знакомые предметы составляли здесь часть какого-то непонятного, смутного существа явно неземного свойства — явления, в грандиозности своей недоступного охвату взором смертного, явления бесконечно чуждого, чудовищного и ужасного, если судить по тому его фрагменту, что присутствовал на изображении.

Там, где я своими глазами видел причудливо изгибающийся, словно живой, ствол дерева, на рисунке была изображена какая-то мерзкая бесформенная лапа, пальцы или щупальца которой отвратительно простирались вперед, словно пытаясь нащупать нечто, находившееся на земле под ними. Мне также показалось, что участок травы прямо под этими жирными скрюченными пальцами был примят таким образом, будто на нем незадолго до того лежал человек. Но рисунок был сделан слишком небрежно, а посему я ни в чем не могу быть уверен окончательно.

ЭКСТУМАЦИЯ

(с Дуэйном У. Раймелом)

Вынырнув из кошмарного сна, я потерянно огляделся вокруг. Спустила миг-другой, узнав арочный потолок и узкие витражные окна в комнате моего друга, я со смятением понял, что все задуманное Эндрюсом осуществилось. Я лежал навзничь на широкой кровати, столбики и полог которой смутно рисовались в вышине; на длинных полках вдоль стен были расставлены знакомые книги и антикварные вещицы, привычные моему взору в этом укромном уголке ветхого древнего здания, которое многие годы было нашим общим домом. На пристенном столике стоял внушительных размеров подсвечник старинной работы, а на окнах вместо обычных светлых занавесок висели угрюмые черные портьеры, в щели меж которыми сочился призрачно-бледный свет угасающего дня.

Я с трудом восстановил в памяти события, предшествовавшие моей изоляции в этом подобии средневековой крепости. Воспоминания были не из приятных, и я внутренне содрогнулся при мысли об ином ложе, на котором мое тело покоилось еще совсем недавно и которое все считали моим последним пристанищем в этом мире. Я вновь припомнил обстоятельства, вынудившие меня сделать выбор между действительной и мнимой смертями — с последующим возвращением к жизни посредством особых врачебных методов, секрет которых знал только мой друг, Маршалл Эндрюс. Вся эта история началась год назад, когда я вернулся с Востока и, к ужасу своему, обнаружил, что в ходе поездки заразился проказой. Я знал, что подвергаю себя риску, когда ухаживал за моим больным братом на Филиппинах, но опасные симптомы не проявлялись вплоть до возвращения на родину. Эндрюс первым заметил признаки болезни

и, сколько мог, скрывал это от меня, но при столь частом общении любая тайна рано или поздно становится явью.

С той поры я безвылазно проживал в старинном особняке на вершине скалистого утеса над сонным захолустным Хэмпденом, заточив себя в душных комнатах за массивными арочными дверьми. Это унылое существование еще более омрачалось сознанием собственной обреченности, не покидавшим меня ни на секунду; но Эндрюс не терял надежды и — соблюдая меры предосторожности, чтобы не подхватить заразу, — делал все возможное для облегчения моей участи. Как хирург, Эндрюс пользовался в этих краях широкой и в то же время жутковатой известностью, что держало любопытных на почтительном расстоянии от особняка и способствовало сокрытию моей болезни от властей.

На исходе первого года моего затворничества, в конце августа, Эндрюс отбыл в Вест-Индию, чтобы, по его словам, ознакомиться с методами тамошних врачей-лечителей; я же остался на попечении старого доверенного слуги Саймса. К тому времени внешние признаки болезни еще не проявились, и в отсутствие друга я вел вполне комфортную, хотя и тоскливо-однообразную жизнь взаперти. Именно тогда я прочел многие книги из личной библиотеки Эндрюса, собранной им за двадцать лет хирургической практики, и начал понимать, почему его репутация, в целом высокая, носила несколько сомнительный оттенок. Эти книги зачастую касались тем, не имеющих ничего общего с современной медицинской наукой; среди них были квазиученые трактаты и малодостоверные статьи о чудовищных хирургических экспериментах, отчеты о более чем странных последствиях пересадки желез, об операциях с целью омоложения животных и людей, о попытках трансплантации мозга и многих других предметах, не принимаемых всерьез классической медициной. Как выяснилось, Эндрюс основательно изучал свойства разных экзотических препаратов, а некоторые из осиленных мною книг указывали на его повышенный интерес к химическим опытам с целью получения новых медикаментов и их применения в хирургии. Сейчас, вспоминая об этих опытах, я отчетливо вижу их дьявольскую связь с его позднейшими экспериментами.

Эндрюс отсутствовал дольше, чем я предполагал, и вернулся из-за границы только в ноябре. Я с нетерпением ждал его приезда, поскольку симптомы болезни уже скоро могли стать очевидными и мне пора было полностью отгородиться от мира, дабы избежать насильственного помещения в лепрозорий. Но, как выяснилось, мое тревожное ожидание было несравнимо по накалу с его стремлением скорее поведать мне о новом замысле, созревшем у него в Вест-Индии и основанном на применении уникального препарата, рецепт которого он раздобыл у одного гаитянского знахаря. Узнав, что замысел этот имеет прямое отношение ко мне, я поначалу невольно встревожился, — хотя сложно было представить что-либо способное серьезно ухудшить мое нынешнее положение, при котором я все чаще задумывался о том, чтобы прекратить свои страдания выстрелом из револьвера или прыжком с крыши дома на острые скалы.

На следующий день после прибытия он в полутьме кабинета посвятил меня в суть своего плана. На Гаити ему удалось найти одно средство (химическую формулу которого он собирался выявить экспериментальным путем), погружающее человека в необычайно глубокий транс — с отсутствием мышечных рефлексов, дыхания и сердцебиения. По словам Эндрюса, он неоднократно наблюдал действие этого снадобья на примере туземцев, несколько дней после того пребывавших в состоянии, которое любой врач, не колеблясь, квалифицировал бы как смерть. В одном случае он сам провел тщательный осмотр и был вынужден признать мертвым человека, принявшего этот препарат, поскольку налицо были все признаки смерти, включая даже начальное трупное окоченение.

Когда — признаться, далеко не сразу — я в полной мере постиг суть его замысла, это вызвало у меня приступ слабости и тошноты. Правда, здесь имелась одна безусловно положительная сторона: я мог избежать участи отверженного, проводящего остаток жизни в лепрозории. Согласно плану, Эндрюс должен был дать мне сильную дозу препарата и заявить властям о моей смерти, а после официальной констатации этого факта позаботиться о моем незамедлительном погребении. Он был уверен, что местные служаки, при их обычной профессиональной небрежности, не обнаружат едва заметные симптомы проказы, —

ведь прошло всего пятнадцать месяцев с момента инфицирования, тогда как разложение тканей наступает лишь на седьмом году болезни.

Далее, по его словам, произойдет мое воскресение из мертвых. Я, разумеется, буду погребен на семейном кладбище близ нашей родовой усадьбы, а это всего в четверти мили от особняка Эндрюса. По завершении всех связанных с моей кончиной формальностей он тайком вскроет могилу и доставит меня в свой дом, где я и буду скрываться в дальнейшем. Этот план, при всей его безумной дерзости, давал мне единственный шанс на сохранение хотя бы частичной свободы, и потому я с ним согласился, в то же время испытывая массу опасений и сомнений. Что, если сонное действие снадобья закончится еще до спасительной эксгумации? Что, если обман все же раскроется при осмотре тела и погребение будет отменено? Подобными вопросами я мучился до начала эксперимента. Смерть сулила мне избавление от позорной участи, но страшила меня еще сильнее, чем мой недуг, — даже теперь, когда я, казалось, привык ощущать над собой шелест ее темных крыльев.

По счастью, мне не пришлось быть свидетелем собственных похорон. Все прошло в точном соответствии с планом Эндрюса, включая эксгумацию. Получив дозу этой гаитянской отравы, я сперва впал в полупарализованное состояние, а затем провалился в глубокий черный сон. Это происходило в моей комнате; перед началом процедуры Эндрюс сказал, что при официальном осмотре тела он назовет причиной смерти паралич сердца на фоне нервного перенапряжения и постарается внушить эту точку зрения экспертам. Разумеется, он не допустил бальзамирования, и вся операция уложилась в трое суток. Погребенный вечером на третий день после «смерти», я был той же ночью выкопан и перемещен в дом Эндрюса. Он тщательно скрыл все следы, уложив свежий дерн на могильном холмике точно так же, как это было сделано накануне. Старый Саймс помогал ему в этом кощунственном предприятии, поклявшись держать язык за зубами.

Первую неделю после пробуждения я провел в полной неподвижности. Действие препарата оказалось несколько отлич-

ным от ожидаемого, так что мое тело еще долго оставалось парализованным и я мог лишь слегка двигать головой. При этом сознание мое было ясным, а через какое-то время я уже начал принимать пищу в объемах, достаточных для подкрепления сил. Эндрюс заверял, что понемногу чувствительность тела восстановится, хотя этот процесс может затянуться ввиду осложнений, связанных с моей болезнью. Каждое утро он с жадным интересом изучал симптомы, подробно справляясь о всех моих телесных ощущениях.

Прошло много дней, прежде чем я начал чувствовать все части своего тела, и еще больше — прежде чем в моих ослабленных долгим параличом конечностях начали восстанавливаться двигательные реакции. Когда я лежа смотрел на покрытые одеялом контуры своего онемевшего тела, оно казалось мне находящимся под длительным воздействием анестезии. Я не мог найти более точного сравнения для этого чувства абсолютной чужеродности тела, тогда как лицо и шея мои уже давно пришли в норму.

По словам Эндрюса, он начал процесс моего «оживления» с головы и сам был озадачен затянувшимся параличом тела, однако мне казалось, что в действительности мое здоровье как таковое его мало заботило, в отличие от результатов различных анализов и тестов, которым он с самого начала уделял максимум внимания. Много раз, когда в наших беседах возникали паузы, я замечал, что он смотрит на мое распростертое тело с каким-то особенным блеском в глазах, очень похожим на выражение победного торжества, которое он почему-то избегал высказывать вслух, хотя был, несомненно, доволен моим вызволением из цепких объятий смерти. В эти долгие дни беспомощности, тревоги и уныния я постепенно начал испытывать новый, пока еще неясный страх совершенно иного порядка. Эндрюс меж тем уверял, что со временем я обязательно встану на ноги и обрету новые ощущения, едва ли ведомые кому-либо из людей. Меня не особо впечатляли его заверения, а их истинный злоеущий смысл стал понятен мне лишь много позднее.

В этот тягостный период в моих отношениях с Эндрюсом произошло заметное охлаждение. Теперь он относился ко мне

уже не как к своему другу, а скорее как к инструменту в умелых и жадных до работы руках исследователя. В его характере неожиданно открылись новые черты, чрезвычайно меня беспокоившие, — в частности, его способность к отвратительным и жестоким поступкам, что порой выбивало из колеи даже обычно невозмутимого Саймса. Его обращение с подопытными животными трудно было назвать иначе как садистским, когда в своей лаборатории он кромсал живых кроликов и морских свинок, трансплантируя железы и мышечные ткани. Он также много работал с гаитянским «сонным зельем», проводя разные эксперименты по временному прекращению жизненных функций. Он избегал разговаривать со мной на эти темы, однако я получал о них некоторое представление по отрывочным замечаниям Саймса. Мне неизвестно, в какой мере старый слуга был посвящен во все дела Эндрюса, но он наверняка узнал предостаточно за годы тесного общения с нами обоими.

С течением дней чувствительность моего тела медленно, но верно восстанавливалась, и каждый новый симптом оживления вызывал у Эндрюса буквально фанатический интерес. С чрезвычайным тщанием он проверял мой пульс и сердечный ритм, при этом имея вид холодно-аналитический и уж никак не участливый. Временами в ходе этих проверок я замечал у него легкую дрожь в руках, крайне необычную для столь опытного хирурга; но он, похоже, не обращал внимания на мои испытующие взгляды. Все это время мне не позволялось даже мельком взглянуть на собственное тело, которое с постепенным возвращением чувствительности казалось мне непривычно громоздким и нескладным.

Понемногу я начал шевелить пальцами и двигать руками, но это отнюдь не избавило меня от ужасного ощущения физической чужеродности. Мои конечности плохо подчинялись приказам мозга и двигались неуверенно, судорожными рывками. Руки мои были столь неуклюжими, что мне пришлось заново к ним привыкать, осваивая простейшие движения. Я полагал причиной тому мою болезнь и распространение заразы по всему организму. Но мне было сложно об этом судить, не имея четкого представления о ранних симптомах (своего брата я за-

стал уже на более поздней стадии болезни); Эндрюс же отказывался обсуждать со мной эти вопросы.

Однажды я спросил Эндрюса — тогда уже не считая его своим другом, — можно ли мне приподняться и сесть в постели. Он решительно воспротивился, но еще через несколько дней все же дал разрешение, при этом настояв на том, чтобы я был по самое горло укутан одеялом во избежание простуды. Это требование выглядело довольно нелепым, поскольку в ту пору, с приближением зимы, комната хорошо отапливалась. Вообще говоря, о смене времен года я мог судить лишь по утренней прохладе да по свинцово-серым тучам, которые изредка замечал за окном, поскольку в поле моего зрения не было ни одного настенного календаря. Итак, Саймс осторожно помог мне приподняться, а Эндрюс бесстрастно наблюдал за нами, стоя в дверях своей лаборатории. Когда я наконец принял сидячее положение, по лицу его медленно расплылась зловещая улыбка, и он исчез в темном дверном проеме. В дальнейшем он даже не пытался хоть как-то способствовать моему восстановлению. Более того, старый Саймс, прежде такой внимательный и пунктуальный, также стал манкировать своими обязанностями, и я часами пребывал в полном одиночестве.

В сидячем положении пугающее чувство чужеродности лишь усиливалось. Ноги и руки меня почти не слушались, и каждое целенаправленное движение стоило мне изматывающего усилия воли. Прикосновения к чему-либо моих неловких пальцев совершенно не соответствовали моему внутреннему чувству осязания, и я тоскливо гадал, не придется ли мне прожить весь остаток дней в этом жалком состоянии, вызванном проклятой болезнью.

Сновидения начали посещать меня со следующего вечера после частичного восстановления двигательных функций. Они мучили меня не только по ночам, но и во время дневного сна. С диким воплем пробуждаясь от очередного кошмара, я потом в состоянии бодрствования боялся даже вспоминать увиденное во сне. А виделись мне вещи на редкость омерзительные: ночные кладбища, ходячие мертвецы и призраки посреди хаоса из вспышек слепящего света и провалов непроглядной тьмы. Более всего меня пугала необычайная *реальность* этих образов —

казалось, видения залитых лунным светом надгробий и заполненных ожившими мертвецами бесконечных катакомб не приносились извне, а исходили *изнутри* моего существа. Я не понимал причины появления этих снов и по истечении недели был уже близок к помешательству под натиском жутких мыслей, навязчиво вторгавшихся в мое сознание.

К тому времени у меня уже созрел план бегства из этого ада, куда я столь опрометчиво позволил себя ввергнуть. Эндрюс уделял мне все меньше внимания, ограничиваясь лишь регулярными проверками чувствительности кожи и мышечных реакций. Каждый день приносил новые подтверждения тому, что за дверью лаборатории творятся воистину чудовищные вещи, — доносившиеся оттуда душераздирающие звуки терзали мои и без того перенапряженные нервы. Постепенно у меня складывалось впечатление, что Эндрюс избавил меня от лепрозория не столько ради моего блага, сколько ради каких-то своих нечестивых целей. Саймс навещал меня все реже, и я пришел к выводу, что старый слуга занят другими делами, связанными со всей этой дьявольщиной. Эндрюс давно уже воспринимал меня как один из объектов экспериментирования, и мне очень не нравилось то, как он порой разглядывал меня, стоя в дверях лаборатории и задумчиво вертя в пальцах скальпель. Никогда прежде я не видел, чтобы человек столь разительно менялся за недолгий промежуток времени. Его некогда красивое лицо покрылось морщинами и заросло густой щетиной, а в глазах появился какой-то сатанинский блеск. Натыкаясь порой на его холодный, оценивающий взгляд, я вздрагивал от безотчетного страха и еще более укреплялся в решимости как можно скорее вырваться из этого заточения.

В круговороте дневных и ночных сновидений я потерял счет времени и не имел возможности следить за ходом дней. Портьеры были всегда плотно задернуты, и комната освещалась восковыми свечами в старинном подсвечнике. Мое существование представлялось одним бесконечным кошмаром во сне и наяву, но при всем том я понемногу набирался сил. Отвечая на дежурные вопросы Эндрюса о моем физическом состоянии, я старательно скрывал от него тот факт, что с каждым днем во мне все активнее бурлит новая жизнь. И пусть это была очень странная

и совершенно чуждая мне сила, я рассчитывал на нее, когда придет пора действовать.

И вот однажды вечером, когда свечи были погашены и бледный луч лунного света, проникнув сквозь щель в портьерах, упал на мою постель, я решил наконец подняться и приступить к осуществлению своего плана. Мои тюремщики вот уже несколько часов как не издали ни звука, и я был уверен, что они разошлись по своим спальням и погрузились в сон. Старательно контролируя каждое движение, я перевел свое неподатливое тело в сидячую позицию, а затем осторожно сполз с кровати на пол. У меня сразу закружилась голова, и волна слабости прокатилась по всему телу. Но вскоре силы вернулись ко мне, и, держась за кроватный столбик, я сумел встать на ноги — впервые за много месяцев. Выдержав паузу и почувствовав себя увереннее, я надел темный халат, висевший на спинке стула. Халат был довольно длинный, однако на мне он сидел скорее как плащ, далеко не доставая до нижнего края ночной рубашки. И вновь меня охватило то чувство чужеродности, которое я испытывал, лежа в постели, — чужеродности собственного тела, неспособного нормально выполнять самые обычные движения. Однако мне нужно было спешить, покуда силы не оставили меня окончательно. Попытка надеть старые башмаки, стоявшие у кровати, обернулась неудачей — в первый момент я был готов поклясться, что это мои собственные ботинки, но затем счел их принадлежащими Саймсу, ибо мне они были явно малы.

Не заметив вокруг иных увесистых предметов, я схватил со стола подсвечник, по которому скользнул бледный лунный луч, и, стараясь соблюдать тишину, направился к двери лаборатории.

Первые шаги дались мне с огромным трудом; к тому же стоявший в комнате полумрак заставлял меня двигаться еще медленнее, чем это позволяли мои непослушные ноги. Дойдя наконец до порога и заглянув внутрь лаборатории, я обнаружил там своего бывшего друга — он сидел в большом мягком кресле рядом со столиком, на котором стояли разнокалиберные бутылки и стакан. Голова его была откинута назад, и в падавшем из большого окна лунном свете была хорошо видна застывшая на его лице пьяная ухмылка. На коленях у него лежала раскрытая

книга — наверняка одно из тех мерзких сочинений, что составляли основу его библиотеки.

Несколько долгих секунд я в злорадном предвкушении наблюдал эту картину, а потом шагнул вперед и обрушил свое тяжелое оружие на его незащищенную голову. Послышался глухой хруст, струей хлынула кровь, и негодяй вывалился из кресла на пол с расколотым черепом. Я не испытал ни малейшего раскаяния, лишив человека жизни подобным образом. Множество образчиков дьявольских хирургических извращений в той или иной стадии завершенности, рассеянных по всей лаборатории, убедительно свидетельствовали о том, что душа его давно погибла и без моего вмешательства. Эндрюс зашел слишком далеко в своих экспериментах, чтобы продолжать жить; так что я — в качестве одной из его жертв — был просто обязан уничтожить этого монстра.

Я не рассчитывал так же легко разделаться с Саймсом, ибо только счастливый случай позволил мне застать Эндрюса врасплох. К тому моменту, когда я добрался до двери в спальню слуги, меня покачивало от усталости, и я знал, что потребуется весь остаток моих сил, чтобы успешно завершить начатое.

В спальне старика стояла кромешная тьма, поскольку окна ее выходили на северную, не освещенную луной сторону здания. Однако он, вероятно, разглядел мой силуэт в дверном проеме и хрипло завопил, я же прямо с порога метнул подсвечник в направлении этого вопля. Звук удара был мягкий, но крик не прекратился. Дальнейшие события смешались в моей памяти; помню только, что мы с ним сцепились, я достал его горло и начал капля за каплей выдавливать из него жизнь — в тот безумный момент я не сознавал свою реальную силу. Он успел прохрипеть несколько маловразумительных фраз и просьб о пощаде, прежде чем уйти в небытие вслед за Эндрюсом.

Я выбрался из темной спальни в коридор, ощупью нашел дверь на лестницу и кое-как спустился на первый этаж. Лампы не горели, и мне приходилось ориентироваться при слабом свете луны, проникавшем через узкие окна холла. Рывками передвигая ноги по сырým каменным плитам и пошатываясь от изнеможения, я потратил уйму времени на то, чтобы добраться до парадной двери.

Под сводами древнего холла, некогда столь знакомого и приветливого, ныне таились мрачные тени и смутные воспоминания, столь откровенно чуждые и враждебные, что я перешагнул порог и торопливо проковылял вниз по стертým ступеням крыльца в безумной панике, вызванной чем-то большим, нежели просто страх. На несколько мгновений я задержался в тени огромного каменного здания, глядя на освещенную луной дорогу, которая вела к дому моих предков всего в четверти мили отсюда. Но сейчас этот путь представлялся мне неимоверно длинным, и я не был уверен, что смогу его преодолеть.

Наконец, подобрав с земли какой-то сухой сук и используя его в качестве трости, я двинулся по извилистой дороге вниз с холма. Впереди — казалось, рукой подать — маячил в лунном свете старинный особняк, в котором жили и умирали многие поколения моих предков. Его башенки призрачно вздымались в мерцающем сиянии, а его черная тень на склоне холма слегка колыбалась, словно отбрасываемая неким эфемерным сказочным замком. То было наше родовое гнездо, покинутое мною много лет назад, когда я переселился к этому фанатику Эндрюсу. В ту роковую ночь мой родной дом был пуст и, надеюсь, останется таковым навеки.

Я не помню, как преодолел вторую половину пути, но в конце концов я достиг семейного кладбища, где рассчитывал найти забвение среди крошащихся, замшелых надгробий. Вблизи освещенного луной погоста ко мне странным образом начало возвращаться старое знакомое чувство, словно я обретал нечто, утраченное за период моего ненормального существования. Когда я подошел к собственной могиле, это чувство стало более отчетливым, но одновременно с новой силой нахлынуло и жуткое ощущение чужеродности, преследовавшее меня все последнее время. Я понимал, что конец близок, и радовался этому, не пытаясь разобраться в своих эмоциях, пока — недолгое время спустя — мне не открылся истинный ужас моего положения.

Могилу свою я нашел интуитивно и опознал по недавно уложенным пластам дерна, щели меж которыми еще не заросли травой. В лихорадочной спешке я удалил дерн и принялся разгребать сырую могильную землю. Не знаю, сколько прошло

времени, прежде чем мои пальцы наткнулись на крышку гроба, но помню, что к тому моменту с меня градом лил пот, а кончики пальцев превратились кровоточащие обрубки.

Наконец я отбросил последнюю пригоршню земли и трясущимися руками попытался поднять тяжелую крышку. Она подалась, но тут мне в ноздри ударило такое зловоние, что я бросил крышку и в ужасе отшатнулся. Неужели какой-то идиот по ошибке поставил мое надгробие на чужой могиле и я откопал непонятно чье тело? Ибо этот трупный запах определенно указывал на то, что могила не пуста. Мучимый сомнениями, я выкарабкался из ямы и еще раз взглянул на надгробный камень — там значилось мое имя. Это была несомненно моя могила... но тогда какого растяпу-могильщика угораздило поместить в нее чужой труп?

И тут чудовищная догадка начала формироваться в моем мозгу. Зловоние, каким бы мерзким оно ни было, показалось мне странным образом ужасающе *знакомым*... Но в таком деле я не мог доверять одним лишь смутным ощущениям. С проклятием на устах я развернулся, снова спрыгнул в могилу, зажег спичку и при ее свете откинул вбок крышку гроба. Почти сразу же огонек погас, словно затушенный чьей-то незримой рукой, а еще через миг я, обезумев от ужаса и отвращения, с воплем рванулся прочь из проклятой ямы...

Я пришел в сознание, лежа перед дверью нашего родового особняка, куда я, судя по всему, добрался ползком после кошмарной сцены на кладбище. Заметив, что рассвет уже близок, я кое-как поднялся на ноги, толкнул тяжелую дверь и очутился внутри дома, уже более десяти лет не слышавшего звука человеческих шагов. Тело мое бил сильнейший озноб, ноги подкашивались, но я шаг за шагом продвигался по пыльным сумрачным комнатам, пока не достиг своего кабинета, покинутого много лет назад.

Когда взойдет солнце, я отправлюсь к старому колодцу под огромной ивой, что неподалеку от кладбища, и низвергну в его глубины мое уродливое *существо*. Никто не должен видеть эту богопротивную тварь, прожившую на свете дольше, чем ей следовало. Не знаю, что скажут люди, обнаружив мою разрытую могилу, но меня это мало тревожит, коль скоро я со смертью

обрету забвение и избавлюсь от всего, что видел в том ужасном месте среди крошащихся, замшелых надгробий.

Теперь я знаю, что скрывал от меня Эндрюс и что означало то дьявольское, злорадное торжество в его взоре после моей мнимой смерти и экстумации. Он с самого начала видел во мне лишь подопытный материал — вершину всех его невероятных экспериментов, шедевр его хирургической магии, образчик омерзительного искусства, доступного только ему одному. Вряд ли я узнаю, где именно Эндрюс приобрел то *другое*, соединенное со мной, когда я беспомощно лежал в его доме, — должно быть, он привез *это* с Гаити вместе с проклятым снадобьем. Неудивительно, что мне казались чужеродными эти длинные волосатые руки и слишком короткие кривые ноги — в подобном сочетании они чужды самой природе и человеческому рассудку. Мне мучительно даже мысль о том, что недолгие последние минуты своей жизни я обречен провести вместе с *этим*.

Сейчас мне остается лишь мечтать о том, что было мной утрачено; о том, чем всякий человек милостью Божьей должен обладать вплоть до своей смерти, о том, что я увидел в тот жуткий миг на старом кладбище, когда поднял крышку гроба, — о моем собственном, уже осевшем и разложившемся, безголовом теле.

ПЕРЕЖИВШИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

(с Р. Х. Барлоу)

I

На плоской вершине утеса лежал человек. Он зорко всматривался в даль, пытаясь обнаружить хоть какие-нибудь признаки жизни на просторах раскинувшейся перед ним равнины. Но ничто не нарушало мертвенный покой безотрадной, выжженной пустоши, вдоль и поперек изрезанной пересохшими руслами рек, по которым некогда мчались бурные потоки, омывая юное лицо Земли. Теперь же этот мир был почти лишен растительности — заключительная ступень затянувшегося пребывания человечества на планете. В ходе бесчисленных тысячелетий страшные засухи и пыльные бури поражали и опустошали страны и континенты. Леса и рощи исчахли и выродились в низкорослые скрюченные кустарники, сохранившиеся благодаря своей неприхотливости; но и те в свою очередь уступили место жестким, как проволока, травам и невиданным прежде сорнякам с упругими волокнистыми стеблями.

По мере приближения Земли к Солнцу его лучи безжалостно иссушали и сжигали все живое. Однако катастрофа произошла не в одночасье; многие тысячелетия понадобились для того, чтобы пагубные изменения начали ощутимо сказываться на жизни планеты. И в продолжение всех этих тысячелетий податливый организм человека претерпевал медленные мутации, приспособляясь ко все более раскаляющейся атмосфере. Затем наступил день, когда люди уже не смогли выносить зной своих городов и начали покидать их — медленно, но неудержимо. Прежде всего опустели поселения, расположенные близ экватора; потом пришел черед и остальных. Человеческий организм,

ослабленный и изнуренный, не мог более противостоять неумолимо нараставшей жаре. Эволюция его происходила слишком медленно, не успевая вырабатывать новые формы защиты.

Все вышесказанное не значит, что великие города экватора были так просто, без сожаления отданы во власть пауков и скорпионов. Среди людей нашлось немало таких, кто не торопился покидать обжитые места, а старался возродить в них жизнь, мастеря хитроумные щиты и доспехи для защиты от невыносимого зноя и смертоносной суши. Эти бесстрашные головы возводили над отдельными городскими кварталами специальные купола, предохранявшие от посягательств солнца, и таким образом создавали своего рода миры в миниатюре, где можно было жить без защитных костюмов. Они проявляли чудеса изобретательности, благодаря чему могли безопасно существовать в своих жилищах в надежде на то, что зной когда-нибудь да спадет. Ибо далеко не все верили прогнозам астрономов — многие наделись на возвращение прежнего умеренного климата. Но вот однажды жители Нияры, нового города в стране Датх, попытавшись связаться с Юанарио, древней столицей страны, не дождались ответа от тех немногих жителей, что еще там оставались. Разведчики, посланные в этот невообразимо древний город башен и соединявших их арочных мостов, не обнаружили там ни людей, ни даже их гниющих останков, ибо юркие ящерицы — эти известные пожиратели падали, во множестве сновавшие у разведчиков под ногами, — потрудились на славу.

И только тогда люди окончательно осознали, что города эти потеряны навсегда и что они должны добровольно уступить их природе. Смирившись перед неизбежностью, человечество оставило свои форпосты в жарких странах, и за высокими базальтовыми стенами многих тысяч опустевших городов воцарилась могильная тишина. Веселые шумные толпы, многообразная кипучая деятельность — все это осталось в далеком прошлом. Отныне только потрескавшиеся от зноя шпили покинутых зданий, заброшенные фабрики да прочие теперь уже не ясно для чего предназначавшиеся сооружения уныло маячили посреди безводных пустынь, раскаляясь под лучами не знающего пощады солнца.

По счастью, пагубное влияние зноя распространялось очень медленно, и беженцы с экватора нашли приют в тех странах, куда он еще не добрался. По прошествии многих столетий на удивление благополучной и беспечной жизни печальная участь, постигшая города экваториальной зоны, понемногу была почти вытеснена из памяти живущих, обратившись в фантастические предания. Мало кто думал об их полуразрушенных башнях, нагромождениях расседающихся стен, зловещем безмолвии пустынных улиц, заросших кактусами и колючками...

Между людьми порой случались войны, которые были кровавыми и продолжительными, но периоды мирной жизни тянулись несравненно дольше. Между тем Земля неотвратимо приближалась к своему огнедышащему прародителю, и солнце, казавшееся теперь огромным, жгло все нестерпимее. Создавалось впечатление, что планета вознамерилась вернуться в лоно, из которого она была исторгнута тысячелетия назад в ходе космической метаморфозы.

Шло время, и сушь, словно злокачественная опухоль, расползалась по земной поверхности, захватывая все новые и новые территории. Сначала Южный Ярат превратился в мертвую пустыню, затем настал черед севера. В Перате и Бейлине, этих древних городах, хранивших память о многих веках человеческой истории, отныне можно было встретить лишь змей да саламандр; и только грохот падающих шпилей и обваливающихся куполов нарушал гнетущую тишину, воцарившуюся в Лотоне.

Безостановочным, всеобщим и неудержимым был великий исход людей из тех стран, где издревле жили их предки. Ни одну область в пределах постоянно ширящейся зоны бедствия не миновал этот исход, ни один человек не остался на месте. Разыгрывалась грандиозная всемирная драма, финал которой не был известен самим актерам — им оставалось лишь покорно следовать сюжету, заключававшемуся в массовом дезертирстве людей из их собственных городов. Все это продолжалось не годы и даже не века, но тысячелетия, в течение которых совершались необратимые изменения природы. И не было видно конца этому зловещему, неотвратимому и беспощадному опустошению.

Земледелие заглохло — почва стала слишком сухой, чтобы в ней могли произрастать какие бы то ни было культуры. Прав-

да, вскоре был найден выход, и широкое распространение получили искусственные заменители прежних пищевых продуктов. Не лучше обстояло дело и с великими творениями человеческих рук — их бросали на произвол судьбы, а то немногое, что удавалось спасти, рано или поздно постигала та же участь. Величайшие произведения искусства пылились в музеях, куда веками не ступала нога человека, и в конце концов наследие прошлого было полностью забыто. Постепенное потепление атмосферы сопровождалось духовным и физическим вырождением. Человечество так долго существовало в условиях комфорта и безопасности, что исход из собственного прошлого проходил для него весьма болезненно. Все эти события воспринимались им далеко не хладнокровно — неотвратимость происходящего вселяла ужас в сердца людей. Распушенность и вседозволенность стали нормами жизни. Правительства распадались, и целые народы бездумно скатывались в бездну варварства.

Окончательный хаос воцарился в тот момент, когда спустя сорок девять столетий после наступления зноя со стороны экватора последние люди покинули Западное полушарие. В финальных сценах этой впечатляющей драмы массового переселения народов не было ни намека на порядок — не говоря уже о порядочности. На авансцену вышли безумие и ярость, а фанатики веры принялись вопить о близости Армагеддона.

Нынешнее человечество представляло собой жалкую пародию на некогда благородную расу; ему было впору искать спасения не только от неблагоприятных природных условий, но и от собственного нравственного вырождения. Все, кто только мог, устремились на север и в Антарктику; оставшиеся прожигали жизнь в невообразимых вакханалиях, стараясь не думать о грядущих бедствиях. В городе Борлио состоялась массовая казнь новых пророков, предсказания которых не сбылись после многих месяцев ожидания. Жители города не посчитали нужным отступать на север и с тех пор более не утруждали себя мыслями о предсказанном конце.

Гибель этих людей, вероятно, была ужасной — самонадеянные глупцы, вздумавшие перехитрить судьбу! Но почерневшие, опаленные зноем города хранят о том вечное молчание...

Впрочем, печальные подробности того сложного и затяжного процесса, каким являлась гибель человеческой цивилизации, теряются на фоне куда более значительных событий. Долгое время с трудом выживали те немногие смельчаки, что обосновались на чужих берегах Арктики и Антарктики, где ныне господствовал такой же мягкий климат, какой в безвозвратно ушедшем прошлом был в благословенном Южном Ярате. И все же человечество получило отсрочку. Плодородная почва позволила возродить давно забытое искусство земледелия, и постепенно тот образ жизни, который некогда вело человечество, начал утверждаться на новых территориях — правда, в крайне урезанном виде. Здесь не было ни шумных толп, ни величественных сооружений, ибо лишь жалкой горстке людей удалось пережить гибельные перемены и расселиться небольшими колониями, разбросанными по новым землям. Сколько тысячелетий продолжалась такая жизнь, неизвестно. Солнце не спешило приступить к осаде этого последнего прибежища рода людского, и по прошествии многих эпох здесь сформировалась раса сильных и здоровых людей, утративших не только воспоминания, но и легенды о старых, навеки потерянных землях. Этот новый народ почти не занимался мореходством и не знал, что такое летательный аппарат. Орудия труда были крайне примитивны, а культура, безнадежно деградировав, больше уже не пыталась возродиться. И тем не менее эти люди были довольны своей жизнью и воспринимали теплый климат как нечто само собой разумеющееся.

Простодушные, наивные земледельцы даже не подозревали о тех суровых испытаниях, что ждали их впереди, назревая исподволь в лоне коварной природы. Поколение сменялось поколением, не ведая о том, что запас воды на планете постепенно сокращается и что уровень Мирового океана — пока еще безбрежного и бездонного — понижается с каждым столетием. По-прежнему сверкали и пенились буруны, по-прежнему бурлили водовороты, но дамоклов меч неизбежного высыхания уже навис над океанской гладью. В распоряжении людей не было настолько точных приборов, чтобы с их помощью можно было регистрировать происходящие изменения, но даже если бы они

обнаружили, что размеры океана уменьшаются, то и тогда вряд ли поднялся бы большой переполюх — ведь потери были такими незначительными, а моря такими безбрежными. Вода отступала всего на несколько дюймов за столетие... но столетия сменяли друг друга, и дюймы превращались в мили.

* * *

Наконец пришел тот день, когда океаны исчезли с лица Земли и на планете раскаленных гор и опаленных безжалостным солнцем равнин вода стала величайшей редкостью. Человечество медленно рассредоточивалось по территориям Арктики и Антарктики, а города на линии экватора, равно как и позднейшие места обитания, были так прочно забыты, что о них не сохранилось даже преданий.

И вновь безмятежной жизни пришел конец, ибо запасы воды на Земле остались лишь в глубоких пещерах. Но поскольку и этих скудных источников не хватало, люди отправлялись на поиски воды в дальние края, и многие из них умирали в пути, застигнутые жаждой. Но эти губительные перемены совершались так медленно, что каждое новое поколение с недоверием относилось к рассказам своих отцов. Люди боялись взглянуть в лицо правде и признать, что в былые времена жара не была столь ужасной, а запасы воды — такими скудными, как теперь. Никто не хотел верить предсказаниям о наступлении худших времен, когда засуха и зной станут непереносимыми. Так было вплоть до самого конца, когда на Земле осталось всего несколько сот человек, задыхавшихся под палящим солнцем: кучка жалких, опустившихся созданий, оставшаяся от тех неисчислимых миллионов, что некогда населяли обреченную планету.

Но и эти сотни постепенно сходили на нет, пока наконец количество людей не стало исчисляться десятками — десятками несчастных, припавших к быстро скудеющей влаге пещер и сознающих на этот раз, что конец близок и неотвратим. Столь крохотным было жизненное пространство этих людей, что никто из них ни разу не видел тех небольших пятен льда, что, по преданию, еще оставались близ полюсов. Но даже если бы эти пятна существовали на самом деле и люди знали бы об этом наверняка, то и тогда никто бы не смог до них добраться по бездорожью

бескрайних пустынь. С каждым годом и без того немногочисленное человеческое племя неумолимо сокращалось.

Ужасная катастрофа, в результате которой обезлюдел земной шар, не поддается никакому описанию; размах ее слишком грандиозен, чтобы его можно было выразить словами или хотя бы осмыслить. Из тех людей, что населяли Землю в благополучные эпохи миллиарды лет назад, лишь немногие мудрецы да безумцы могли бы представить себе то, чему надлежало случиться, и вызвать в своем воображении картины безлюдных мертвых пустошей и пересохших морей. Остальные бы просто не поверили — как не верили они первым признакам грядущих перемен и не желали замечать печати обреченности, лежавшей на человечестве. Ибо человеку всегда было свойственно считать себя бессмертным господином всего сущего...

II

Смерть старой женщины, последние минуты которой он облегчил как умел, настолько потрясла Улла, что он даже не заметил, как вышел из хижины и очутился среди раскаленных песков. Женщина была страшна как смертный грех; кожа ее была морщиниста и суха, словно прошлогодние листья. Ее лицо имело цвет жухлой травы, что шелестела под порывами знойного ветра. И наконец, она была чудовищно стара.

Но в то же время она была другом — с ней можно было поделиться своими смутными опасениями, потолковать о тех тревожных предчувствиях, что никак не укладывались в его сознании; ей можно было поверить свои робкие надежды на помощь от жителей поселений, притаившихся по ту сторону высоких гор. Улл не хотел смириться с мыслью о том, что никого не осталось; он был еще молод и не так разуверился в жизни, как старые люди.

Долгие годы он не видел ни единой живой души, кроме этой старухи по имени Младдна. Она появилась в тот злосчастный день, когда все мужчины ушли на поиски пищи и не вернулись. В ту пору ему шел одиннадцатый год. Матери своей Улл не помнил, да и вообще, в их крошечном племени было всего три женщины. Когда стало ясно, что мужчины уже не вернутся, все трое,

среди которых были две пожилые и одна совсем юная, разразились рыданиями и долго стенали и рвали на себе волосы. Молодая лишилась рассудка и заколола себя остро отточенной палкой. Женщины понесли ее хоронить в специально для этого вырытой собственными ногтями неглубокой яме, и Улл сидел совсем один, когда в деревне появилась Младдна, уже тогда бывшая древней старухой.

Она брела, опираясь на толстую сучковатую трость — бесценную память об исчезнувших лесах, — потемневшую и лоснившуюся после долгих лет службы. Она не сказала, откуда пришла, а, проковыляв в хижину, молча уселась на скамью и сидела там до прихода двух женщин, ушедших хоронить самоубийцу. Вернувшись, те приняли ее без лишних расспросов.

Так они прожили много недель, а потом две местные женщины захворали, и Младдна не смогла их выходить. Странно, что недуг поразил этих двух не молодых, но еще не очень старых женщин, в то время как Младдна, дряхлая, немощная старуха, продолжала жить. Младдна ухаживала за ними много дней, но они все-таки умерли, и Улл остался один на один с чужачкой. Он убивался и рыдал всю ночь напролет, и в конце концов его крики вывели Младдну из терпения. Она пригрозила ему, что, если он не успокоится, она тоже умрет. Услышав эти слова, он сразу затих, потому что вовсе не хотел оставаться в одиночестве. С тех пор они жили вместе, питаясь корнями.

Испорченные зубы Младдны были плохо приспособлены для грубой пищи, которую им приходилось собирать целые дни напролет, но они скоро нашли способ измельчать корни до такого состояния, что Младдна могла их разжевать. Все детские годы Улла прошли в непрерывных поисках и поедании пищи.

Теперь он вырос и окреп; ему шел девятнадцатый год, а вот старухи не стало. Задерживаться здесь было незачем, и Улл решил не мешкая отправиться на поиски легендарных поселений по ту сторону гор, чтобы жить вместе с другими людьми. Брать с собой в дорогу ему было нечего. Он затворил дверь своей лачуги — если бы его спросили зачем, он и сам бы не смог ответить, ведь животных в этих краях давно уже не было, — оставив тело старухи внутри. Пугаясь собственной смелости, Улл долгие часы брел по сухой травянистой равнине и наконец добрался

до первого из предгорий. Перевалило за полдень; он карабкался наверх, пока не устал, после чего прилег отдохнуть. Растянувшись на траве, он лежал и думал о многих вещах. Он гадал о том, что ждет его по другую сторону хребта, и страстно хотел отыскать то заветное, затерянное в горах поселение. Потом он уснул.

Проснувшись, он увидел над собой звезды и ощутил прилив новых сил. Теперь, когда солнце на время скрылось, он старался идти как можно быстрее, не тратя времени на еду. Он намеревался достичь своей цели прежде, чем отсутствие воды сделает дальнейший путь невозможным. Воды у него с собой не было, так как последние представители человеческого рода никогда не покидали своих стоянок и, не имея таким образом нужды в переносе драгоценной влаги с места на место, не изготавливали никаких сосудов. Улл рассчитывал добраться до цели за один день — в противном случае он бы умер от жажды. Поэтому, пока стояла ночь и в небе горели яркие звезды, он спешил что было сил, то переходя на бег, то трусая рысцой.

Он шел до самой зари, но все никак не мог выйти из зоны предгорий. Три высоких пика по-прежнему маячили впереди. Он прилег отдохнуть в отбрасываемой ими тени, а потом продолжил восхождение и к полудню одолел первую вершину. Там он снова сделал привал и, улегшись на живот, принялся разглядывать местность, простиравшуюся между ним и следующей грядой гор.

На плоской вершине утеса лежал человек. Он зорко всматривался в даль, пытаясь обнаружить хоть какие-нибудь признаки жизни на просторах раскинувшейся перед ним равнины. Но ничто не нарушало мертвенного покоя безотрадной, выжженной пустоши...

Вторая ночь пути застигла Улла среди скал — равнина, которую он пересек, и то место, где он отдыхал, остались далеко позади. Он почти уже преодолел второй хребет, но, несмотря на это, шел, не сбавляя шага. Накануне его мучила жажда, и он пожалел о той глупой прихоти, что толкнула его на это опасное путешествие. Но в то же время разве мог он оставаться один на один с трупом в той маленькой, выжженной солнцем долине? Пытаясь убедить себя в правильности своего решения, Улл спешил и спешил вперед, напрягая последние силы.

И вот уже осталось всего несколько шагов до прохода между скалами, за которыми открывался вид на земли, лежавшие по ту сторону гор. Улл устало карабкался вверх, то и дело срываясь и ушибаясь о камни. Она была совсем близко — та страна, где, по слухам, живут люди; страна, о которой в пору его детства ходили легенды. Путь был долгим и многотрудным, но цель стояла того. Гигантский валун загородил ему обзор; трепеща от волнения, он взобрался на него и при свете заходящего солнца увидел страну своей мечты; радостно глядя на жалкую кучку домов, прилепившихся к подножию дальнего хребта, он вмиг позабыл и о жажде, и об устало ноющих мышцах.

На этот раз Улл не стал делать передышку. То, что он увидел, дало ему силы кое-как пробежать, проковылять, а под конец и проползти оставшиеся полмили. Ему казалось, будто он различает спящие среди хижин фигуры людей. Тем временем солнце — ненавистное, смертоносное солнце, принесшее гибель человечеству, — почти зашло за цепь гор, и до самого последнего момента Улл не мог быть уверен в деталях той картины, что стояла перед его взором. Но вот наконец и хижины.

Они были очень старыми — глиняные кирпичи веками сохранились в условиях сухой неподвижной атмосферы гибнущей планеты. Вообще-то, она, эта планета, не так уж сильно изменилась, если только не считать ее живой природы — трав да этих жалких последних людей.

Распахнутая настежь дверь ближайшей хижины висела перед ним на грубо сработанных деревянных крючьях. Уже смеркалось, когда Улл, до смерти усталый и разбитый, переступил порог и, до боли напрягая утомленные глаза, принялся искать взглядом долгожданные лица людей.

А спустя мгновение он повалился на пол и зарыдал, ибо за столом, откинувшись к стене, сидел в неестественной позе старый, давным-давно высохший скелет.

* * *

Наконец он встал — изнемогая от жажды, ощущая нестерпимую ломоту во всем теле и испытывая величайшее из разочарований, когда-либо выпадавших на долю смертного. Итак, он был последним живым существом на планете. Вся Земля перешла

к нему в наследство — все страны и континенты, — и все это было ему в равной степени ни к чему. Стараясь не глядеть на белый силуэт, смутно вырисовывавшийся на фоне залитой лунным светом стены, он заковылял к двери и вышел на открытый воздух. Он бродил по пустынной округе в поисках воды и с грустью в душе разглядывал этот давно обезлюдевший поселок-призрак, сохранившийся благодаря неизменности атмосферы. Вон в той лачуге кто-то жил, а вот в этом месте делали сосуды из глины — теперь в этих сосудах была одна пыль. И нигде не было ни капли воды, которой он бы мог утолить свою жгучую жажду.

А потом, в самом центре этого небольшого селения, Улл увидел огражденный камнями провал колодца. Он сразу догадался о том, что это за штука; о таких сооружениях ему рассказывала Младдна. Издав радостный стон, Улл, шатаясь, добрал до колодца и оперся о парапет. Наконец-то он нашел то, что искал. Вода — пусть мутная, пусть стоячая, пусть в малом количестве, но все же вода — была перед ним.

Улл зарычал, как раненый зверь, и потянулся за цепью, на которой висело ведро. И тут рука его соскользнула с гладкой поверхности парапета, и он повалился грудью на предательски скользкий камень. Лишь одно мгновение он оставался в этом положении, а потом бесшумно рухнул в зияющую дыру.

Раздался легкий всплеск — воды внизу почти не было, и он ударился о камень, тысячелетия тому назад свалившийся на дно колодца, оторвавшись от его массивной кладки. Потрясенная вода постепенно затихла.

И только теперь, с уходом последнего человеческого существа — каким бы жалким и ничтожным оно ни было, — наступила окончательная смерть Земли. Все бесчисленные поколения, все исторические эпохи, все империи и цивилизации сосредоточились в одной невзрачной скрюченной фигурке, невидящими глазами уставившейся в небо. Так вот в чем заключался истинный результат свершений человеческих — каким же чудовищным и неправдоподобным он должен был выглядеть в глазах презренных слабоумных мудрецов благополучных времен! Никогда больше не разнесется по планете оглушительный топот миллионов ног — не будет ни шороха ящериц, ни стрекота насе-

комых, ибо и эти твари сгнули бесследно. Отныне настала эра сухих стеблей и бескрайних равнин, заросших жесткой, как про-волока, травой. Земля, равно как и ее холодная невозмутимая спутница Луна, навеки отдана во власть безмолвия и тьмы.

Но звезды мерцают, как встарь, и небрежно составленный план творения будет осуществляться, сколько бы вечностей не потребовалось для этого. Банальная концовка одного из многих эпизодов вселенской истории не возмутила спокойствия далеких туманностей и рождающихся, пылающих и остывающих солнц. А что до рода человеческого, так его как будто никогда и не было. Слишком уж жалок он и преходящ, чтобы иметь истинные цель и предназначение. Длившийся тысячелетия и названный эволюцией жалкий фарс пришел к закономерной развязке.

Но на следующий день, когда солнце вонзило в землю свои смертоносные лучи, они все-таки нашли в темноте провала изнуренное лицо человека, неподвижно распростертого в жидкой грязи.

НОЧНОЙ ОКЕАН

(с *Р. Х. Барлоу*)

В Элстон-Бич я приехал не столько ради прелестей жаркого летнего солнца и океанского прибоя, сколько затем, чтобы дать отдых своему изрядно утомленному рассудку. Ни один человек в этом маленьком городке — типичном курортном поселении, жизнь которого являет собой весьма оживленную картину в летний сезон и почти полностью замирает в остальные месяцы года, — не был мне знаком, и это позволяло надеяться, что мой отдых не будет испорчен чьим-нибудь не в меру докучливым обществом; ибо все, что мне тогда было нужно, — это побыть наедине с собой и не видеть никого и ничего, кроме раскинувшегося перед моим временным жилищем песчаного пляжа и омывавших его океанских волн.

Незадолго до своего появления в Элстон-Бич я завершил и представил на конкурс проект большой настенной росписи. Я приступил к нему почти год тому назад и все это время трудился как проклятый, не зная ни сна ни отдыха. Но едва лишь высохли заключительные мазки и были смыты краски с последней кисти, как мой измученный организм принялся настойчиво напоминать о том, что ему нужна хотя бы краткая передышка. Мне ничего не оставалось, как уступить его призывам и уехать из шумного города, чтобы обрести покой и уединение на песчаных пляжах Элстон-Бич. Океан, солнце и песок благотворно подействовали на мое состояние, и уже по истечении первой недели пребывания в Элстоне я начисто забыл о своем проекте, который еще совсем недавно представлялся мне самым важным делом на свете, — что ни говори, а ведь без малого год я был занят единственно тем, что мучительно ломал голову над сотнями комбинаций цветов и оттенков, впадая в отчаяние от мысли

о полной своей неспособности воплотить в красках образы, рождаемые неукротимой фантазией, или, призвав на помощь все свое мастерство, предпринимал бесчисленные попытки обратиться неясные тени дерзновенных замыслов в точные формы эскиза, из коего должна была родиться будущая композиция. И все же, несмотря на то что все эти мучительные раздумья, приступы отчаянья и опустошающие душу игры с туманными фантастическими образами, казалось бы, стали уже достоянием пусть недалекого, но все же прошлого, именно они и явились в конце концов первопричиной загадочной истории, что произошла со мною на этих пустынных берегах, — ибо мечты и искания, которые в той или иной мере живут в душе каждого из нас, для меня всегда были чем-то особым: я настолько сливался с ними всем своим существом, что в конце концов они вырастали в моем сознании в нечто гораздо большее, нежели обычная игра воображения. Кто станет отрицать, что подобная природа ума более всего способствует открытию неведомых доселе миров и измерений бытия?

Когда я пытаюсь рассказать обо всем, что мне довелось увидеть, на моем пути возникают тысячи самых неожиданных преград: ведь то, что открывается внутреннему зрению, обычно приобретает в глубинах нашего сознания фантастические формы, но попробуйте слить их воедино с реальностью — и они вмиг утратят свою значимость и органичность. В этом смысле они похожи на проблески видений, что сменяются с быстротою молнии, когда мы мягко проваливаемся в черноту сна. О, эти сновидения!.. Возьмите в руки кисть и попытайтесь запечатлеть их на куске холста — и с него ручьями потекут разноцветные краски. Обычная же наша жизнь написана чернилами, которые слишком уж разбавлены тем, что именуется действительностью, и не годятся для того, чтобы очертить ими образы наших уходящих за пределы реального мира воспоминаний, — ибо стоит лишь освободить наше внутреннее «я» от пут скучной повседневности, как оно тут же дает волю надежно сокрытым внутри нас эмоциям, настолько неистовым и не поддающимся никакому описанию, что, будучи переложенными на обычный язык, они, как правило, лишаются самой своей сути. Величайшие творения человеческого духа берут свое начало в мечтах

и видениях, для которых не существует таких понятий, как «линия» или «оттенок». Забытые пейзажи и мрачные земли, так непохожие на сияющий мир детства, вторгаются в наш дремлющий рассудок, чтобы повелевать им до тех пор, пока пробуждение не изгонит их прочь. В иных ночных видениях мы добиваемся для себя вожаемой славы и довоства; в других нам являются неземной красоты образы, что время от времени посещают нас и наяву, — последние приходят лишь на мгновение, а затем улечиваются как дым, очаровывая нас подобно тому, как средневековых рыцарей очаровывал святой Грааль. Нужно обладать немалыми способностями и очень цепкой памятью, чтобы переложить явления такого порядка на язык искусства, перенести тем самым выцветшие трофеи неосязаемого мира теней в лоно реальной жизни, — ибо, хотя видения посещают каждого из нас, лишь очень немногие могут касаться их, не повреждая хрупкие крылья, что возносят их над земной обыденностью.

Таким даром ваш покорный слуга, увы, не обладает. Если бы я только мог, я обязательно поведал бы вам о таинственных смутных видениях, которые открывались иногда моему взору подобно тому, как формы людей и предметов, неясные в своем непрерывном движении, открываются порой наблюдателю, пристально всматривающемуся в темноту ночи. Создавая свою настенную роспись (в то время ее проект, наряду с множеством других, дожидался своей участи в здании, для которого был предназначен), я стремился прежде всего уловить следы этого постоянно ускользающего от нас мира теней и запечатлеть их на полотне, и, по-моему, это удалось мне как нельзя лучше. В ожидании решения жюри я то и дело мысленно возвращался к своей работе и — даже находя в ней всевозможные изъяны, что свойственно критически настроенному художнику, — вновь и вновь убеждался, что в некоторых фрагментах, выхваченных моим сознанием из беспредельного мира фантазии, мне удалось почти идеально подобрать сочетание линии и цвета. Однако это стоило мне огромных трудов: работа серьезно подорвала мое здоровье, которое я и надеялся поправить здесь, на океанском берегу. Как уже было сказано, я стремился к полному одиночеству — и именно поэтому для своего временного проживания выбрал (к не-

описуемой радости домовладельца) маленький домик на довольно-таки почтительном расстоянии от собственно Эллстона. Курортный сезон близился к концу, число туристов в поселке убывало с каждым днем, да и те, кто оставался, не обращали на меня ни малейшего внимания. Некрашенный, потемневший от соленых морских ветров дом, в котором мне предстояло жить, одиноко стоял на песчаном, заросшем бурьяном холме, но, несмотря на значительную свою удаленность от поселка, был все же прочно с ним связан, подобно тому как связан с часами мерно раскачивающийся под ними маятник. Как зверь, нежащийся на солнце, припал он к морскому берегу, а его покрытые толстым слоем пыли окна бесстрастно взирали на пустынную землю, голубое небо и бесконечный океан. Наверное, не пристало рассказчику, стремящемуся донести до сознания своих слушателей суть случившейся с ним истории, так часто прибегать к образным выражениям, излагая относящиеся к ней факты, которые, даже если и не пытаться уложить их в причудливую мозаику фантазий, уже сами по себе будут довольно странны; и все же скажу, что едва лишь я увидел это одинокое строение, как у меня возникла мысль, что его одиночество сродни моему и что дом этот, как и я, должен отчетливо сознавать свою ничтожность перед великим океанским простором.

Я приехал сюда в начале августа, за день до объявленной мною даты. Подойдя к дому, я увидел стоявший рядом с ним грузовик, вокруг которого суетились двое рабочих — они выгружали из машины мебель и таскали ее в помещение. Насчет обстановки я договорился с хозяином дома заблаговременно, а вот чего мы с ним не обсудили, так это срока моего пребывания здесь, который в то время и для меня самого был загадкой. Признаюсь, в моей душе даже шевельнулось нечто похожее на тщеславие — ведь после многомесячного проживания в маленькой тесной комнатухе я становился обитателем целого дома! Дождавшись, когда уедет машина с грузчиками, я оставил свои скромные пожитки в доме, запер его на ключ и спустился по заросшему бурьяном склону холма на пляж. Перетаскивая вещи в дом, я успел лишь мельком осмотреть свое новое жилище, которое состояло всего-навсего из одной квадратной комнаты. Через два окна в противоположных стенах внутрь проникало

много света; дверь же выходила прямо на море. Дом был построен где-то лет десять тому назад, но, похоже, все эти годы нечасто бывал заселенным: из-за удаленности от Эллстона его даже в разгар сезона снимали довольно редко, а уж с октября и до самой поздней весны он попросту стоял заброшенным, поскольку в нем не было камина. Справедливости ради следует отметить, что расстояние, отделявшее мое жилище от Эллстона, не было таким уж значительным — полмили, не больше, — но из-за того, что как раз в этом месте океанский берег выгибался дугой, поселок был отсюда совершенно не виден: поросшие травой дюны полностью скрывали его от взора.

Первый день, наполовину уже прошедший к моменту моего обустройства на новом месте, я занимался исключительно тем, что нежился под лучами солнца и любовался не знавшими устали океанскими волнами. Их спокойное величие сразу же отодвинуло на задний план надоедливые мысли о настенной росписи и мучительных усилиях по ее созданию, которые надолго сделали меня фанатиком, слепо подчиненным одной-единственной цели. Но сейчас все это осталось позади, а впереди был прекрасный отдых — здешняя обстановка, резко контрастировавшая с той, что окружала меня еще недавно, вселяла в меня твердую уверенность в этом. Яркое солнце весело играло на гребнях нескончаемых волн, которые, причудливо изгибаясь, с разгону налетали на берег и разбивались на тысячи блестящих, похожих на осколки горного хрусталя брызг. Свет полуденного солнца был настолько ярок, что казалось, вся его громада обрушивалась на столь же громадную массу воды, чтобы придать ей совершенно непередаваемый цвет — лишь немногие из бесчисленных причудливых оттенков океана были в состоянии пробиться сквозь это ослепительное сияние. Рядом со мной не было ни единой живой души, и я в полнейшем одиночестве наслаждался этим величественным зрелищем, которое по-своему остро воспринималось каждым из моих пяти чувств. Море света и громада воды были совершенно неотделимы друг от друга в моем сознании, и порою мне казалось, что стоявший у меня в ушах нескончаемый рокот исходил от палящих солнечных лучей, а неистовое белое сияние — от неумоимо набегавших на берег волн. Уже в самый день приезда я отметил про себя одно любо-

пытное обстоятельство — вблизи моего крошечного домика не было видно ни единого пловца, и это показалось мне странным, ибо океанский берег изгибался здесь плавной дугой, образуя широкий пляж, гораздо более удобный для отдыха, нежели песчаная полоска, что тянулась в полумиле отсюда вдоль Эллстона. И тем не менее на поверхности пенных волн, омывавших тот пляж, виднелись многочисленные точки человеческих фигур, а здесь, напротив моего дома, не было ни души. Может быть, это объяснялось тем, что жилище мое было отделено от поселка обширным незастроенным пространством, но вот почему оно оставалось незастроенным, честно говоря, являлось для меня загадкой — ведь другая часть побережья, уходившая от Эллстона на север, изобиловала рассеянными вдоль океанского берега коттеджами.

Боже, каким наслаждением показалось мне в тот день купание в ласковых океанских волнах! Вдоволь наплававшись и выбравшись из воды, когда день уже клонился к закату, я вернулся в дом, немного отдохнул и отправился в поселок, куда прибыл уже затемно. И здесь, в тусклом свете уличных фонарей, я с неприятным для себя удивлением обнаружил признаки скучной и убогой жизни, которая никак не вязалась с близостью сокрытого сейчас во мраке ночи великого порождения Творца... Меня окружали женщины в безвкусных, усыпанных блестками нарядах, немолодые мужчины с изможденными лицами — одним словом, то было сборище жалких марионеток, живущих на краю бездны, но неспособных понять ее божественную сущность и восхититься красотой ночного неба с мириадами ярких звезд и беспредельным величием ночного океана. Не помню, сколько времени занял у меня в тот вечер обратный путь. В кромешной темноте я брел вдоль океанского берега, освещая фонариком петлявшую среди голой, неприветливой пустоши тропинку и вслушиваясь в размеренный шум воды. Время от времени луч фонарика соскальзывал на почти отвесные стены неумоимого прибоя, и, глядя на эту могучую стихию, которая поражала уже одними своими размерами, я как никогда остро ощущал свое ничтожество. Бездонный океан раскинул предо мною свои тысячемильные просторы, а я был всего-навсего маленькой темной точкой, притулившейся на земной поверхности, меж тем как

величественный рокот океанских волн напоминал мне раздражающе монотонный гомон толпы, и ощущение это не покидало меня до самого конца прогулки.

На протяжении всего пути туда и обратно (а это была миля, не меньше) мне не встретилось ни одной живой души, но я чувствовал, как дух великого океана неотрывно следовал за мною по пятам: обретая форму, недоступную моему физическому восприятию, он невидимо и неслышимо витал надо мною. Точно так же стоящий в темноте за кулисами актер до поры до времени остается невидимым для зрителя; публика может даже не подозревать о его существовании — и вдруг он появляется на сцене, бросает в лицо залу страстный монолог, и сокрытая за кулисами тайна внезапно обрушивается на зрителя в ослепительном свете рампы... Мне так и не удалось до конца избавиться от этого ощущения преследования, и потому, лишь оказавшись в стенах своего дома, я почувствовал себя в относительной безопасности.

В Элстоне я появлялся каждый вечер. Выходил из дому, когда уже начинало смеркаться, приходил в поселок затемно, ужинал в каком-нибудь ресторане и, побродив немного по улицам, возвращался в свой уединенный домик, который, как мне казалось, тоже был некогда частью Элстона, но потом каким-то непостижимым образом забрел сюда да так и остался стоять на веки вечные, чтобы не слышать гомона праздной толпы... Гуляя по улицам Элстона, я не уставал удивляться обилию антикварных лавок и театров с безвкусными пышными фронтонами. Впрочем, внутрь этих зданий я никогда не заходил, предпочитая посещать исключительно рестораны и осуждая в душе род людской за его склонность к созданию совершенно бесполезных предметов и сооружений.

Первые дни моего пребывания здесь выдались на славу — теплые и солнечные как на подбор. Каждое утро я вставал спозаранку и подолгу смотрел на серое небо, сначала угадывая в нем проблески зари, а затем наблюдая ее во всей красоте и мощи. Огромный огненный диск испускал холодное красное свечение — слишком слабое, впрочем, в сравнении с неистовым сиянием дневного светила, под лучами которого пляж и море к полудню накалялись до белизны. Ближе к вечеру безумное дневное сияние сменялось бронзовым заревом, после чего про-

шедший день мягко растворялся в накатывавшей с востока ночи, чтобы на завтра стать всего-навсего пожелтелой страничкой великой книги Времени.

Я заметил, что большинству отдыхающих было явно не по вкусу это необычайно жаркое солнце, и они старались избегать его. Что до меня, то я, напротив, стремился как можно больше времени проводить под его обжигающими лучами. Нестерпимый зной в сочетании с ослепительным сиянием повергал меня в состояние, близкое к летаргическому сну, и мне казалось невероятным, что после месяцев тяжкого серого существования я наконец-то очутился во власти первобытных стихий — ветра, воды и света. И я покорно отдавался им, веря, что они защитят меня перед темным, хищным ликом грядущей ночи, которая ассоциировалась в моем сознании не иначе как со смертью, подобно тому как свет означал для меня жизнь. Миллионы лет назад существа, от коих произошел в конечном итоге род человеческий и для коих вода была изначально материнской средой, проводили большую часть своей жизни, нежась на мелководье под ласковыми лучами солнца; так и мы, дети современной цивилизации, устав и измучившись от своих земных дел, ищем этих первобытных радостей, устремляясь летом к теплomu морю и с наслаждением погружаясь в его убаюкивающие волны — совсем как те земноводные, что еще не отваживались надолго покидать родную водную стихию, боясь оказаться на непривычной им вязкой илистой почве.

Монотонно бьющие о берег волны действовали на меня усыпляюще, и, чтобы стряхнуть с себя оцепенение, я принимался сосредоточенно наблюдать за мириадами оттенков океана. Картина воды менялась каждую секунду — цвета и межцветия набежали друг на друга и мгновенно преображали облик неторопливо вздымавшейся поверхности, вызывая в моей душе каскад неведомых доселе чувств. Кто знает, может быть, и сам океан испытывал их одновременно со мною? Ведь он волнуется, вспоминая о старинных кораблях, что закончили свой путь в его пучине, — и при виде его волнения в наших сердцах просыпается тоска по необъятным морским просторам, скрывающимся за далеким горизонтом. Но едва океан оставляет свои печальные думы, как глубины нашей памяти тут же успокаиваются. И, прожи-

ви мы рядом с ним хоть всю свою жизнь без остатка, все равно в его величественном облике мы будем всегда ощущать недосказанность, как будто нечто огромное и недоступное нашему восприятию затаилось где-то во Вселенной, дверью в которую служит исполненный великих тайн океан. Поблескивая отраженной дымкой бело-голубых облаков и щедро разбрасывая алмазную пену, он каждое утро широко раскрывает глаза, удивляясь многообразию населяющих его тварей, а хитроумно сплетенная паутина его рифов и водорослей, пронзенная мириадами причудливо раскрашенных рыб, как будто намекает на присутствие какого-то огромного неведомого существа, которое, кажется, вот-вот восстанет из древних седых пучин и неспешно двинется на берег.

С каждым днем мне все больше и больше нравилось мое уединенное жилище, так уютно угнездившееся на округлых песчаных холмах. Здесь, в Элстоне, у меня было не так уж много развлечений, и вскоре прогулки у моря стали моим любимым занятием. Мне нравилось бродить вдоль берега, глядя на очерчиваемый набегавшими волнами неровный контур мокрого песка в окаймлении эфемерной полоски пены. Во время этих прогулок мне иногда попадались на глаза фрагменты каких-то странных раковин, валявшиеся среди самого обыкновенного мусора, выносимого морем на берег; слегка вдающийся в сушу участок побережья, на который открывался вид из окон моего дома, был буквально завален разнообразными обломками, из чего я заключил, что морские течения, огибая поселок, достигали в этом месте моего уединенного уголка. Во всяком случае, после прогулок вдоль берега мои карманы бывали постоянно набиты различного рода находками, хотя большинство их я выбрасывал через час-другой после того, как они оказывались у меня. Но однажды на глаза мне попала небольшая кость, природу которой я так и не смог разгадать, придя тем не менее к твердой убежденности, что принадлежала она не рыбе. Находка очень заинтересовала меня, и я не стал ее выбрасывать. Другой вещицей, которую я тоже решил сохранить, была металлическая бусина; на поверхности ее был выгравирован совершенно необычный, поражавший своим изяществом узор, изображавший некое рыбоподобное существо на фоне морских водорослей (вместо бо-

лее привычных цветов и геометрических фигур). Неутомимый прибор сделал свое дело — узор несколько потерял четкость, но все еще хорошо просматривался. Я никогда не видел ничего подобного раньше и потому пришел к заключению, что, скорее всего, такого рода бусы несколько лет тому назад были в моде среди курортниц Эллстона.

Приближение осени стало чувствоваться уже на исходе первой недели моего пребывания в Эллстоне. Дни становились заметно короче, минуту за минутой уступая темным, тягучим вечерам. Теперь солнце бывало подолгу затянуто облаками — густая серая дымка низко нависала над океаном, в чьи таинственные глубины еще совсем недавно проникали его живительные лучи. Порою пляж на несколько часов становился как бы частью угрюмого, лишённого красок и оттенков подвала, в который превращалось ограниченное серым небосводом пространство. Казалось, ночь простирает темную длань над днем, чтобы увлечь его в свое мрачное лоно. Дувшие с океана ветры заметно усилились. Их неустанные порывы образовывали на поверхности воды пенистые водовороты и лишали ее бывшего тепла; я уже не мог часами купаться в океане, а потому почти весь световой день проводил в прогулках по побережью, которые стали гораздо более далекими и продолжительными. Пляж протянулся на многие мили, и порою, остановившись, чтобы оглядеться и перевести дух, я обнаруживал, что полностью отрезан от мира людей и нахожусь один-одинешенек среди бесконечной песчаной пустыни, граничащей с таким же бескрайним океаном. Чаще всего это случалось в час надвигающихся сумерек, и тогда я быстро устремлялся назад к своему уютному дому. Трогательно маленький и беззащитный перед лицом ветра и океана, он выглядел всего лишь темной точкой на фоне мрачных красок солнечного заката, когда огромный огненный диск, словно немой вопрошающий лик, обращенный ко мне в ожидании защиты и сострадания, медленно погружался в океан.

Я уже говорил об уединенности выбранного мною места жительства и о том, что поначалу это нравилось мне; однако в быстротекущие минуты сумерек, когда кроваво-красное сияние заходящего солнца сменялось темнотой, надвигающейся на океанские просторы и на берег, подобно гигантскому бесформенному

пятну, над местностью вставал дух чьего-то чужеродного присутствия, исходивший от громады ночного неба и обрушивавшихся на берег черных волн; и под воздействием этого неведомого духа мой дом, к которому я уже успел привыкнуть, внезапно делался чужим и неуютным. В такие минуты мне становилось не по себе. Это было странно — ведь моя одинокая душа давно уже находила наслаждение в величественном древнем молчании Природы и в ее столь же величественных и столь же древних голосах... Эти зловещие предчувствия, для которых я не могу подыскать подходящего названия, обычно недолго донимали меня, и все же сознание того, что раскинувший предо мной свои просторы океан является такой же живой субстанцией, что и я, и что, подобно мне, он ощущает свое одиночество в этом мире, медленно вползало в мой мозг, заставляя содрогаться от одного лишь предположения о том, какая жуткая тайна может за всем этим скрываться. Всего каких-нибудь полмили отделяло мой дом от Эллстона, и тем не менее я остро сознавал свою оторванность от шумных, озаренных тусклым желтым светом улиц поселка, куда я ходил каждый вечер, чтобы поужинать в одном из ресторанов (ибо не слишком-то доверял своим кулинарным способностям).

Как-то раз я поймал себя на мысли, что в последнее время стараюсь как можно раньше очутиться в своих четырех стенах. Прежде я обычно приходил к себе уже затемно, часов в десять или что-то около того, но теперь темнота начала вызывать в моей душе смутное, с каждым разом все возрастающее беспокойство. Вы можете сказать, что такая реакция была совершенно нелогичной, что, если уж я так по-детски боялся темноты, я бы избегал ее совсем и что, будучи угнетен уединенностью моего жилища, я мог бы давным-давно оставить его. Это, разумеется, справедливо, но, с другой стороны, все те неясные страхи, что охватывали меня при виде быстро угасавшего солнца и темного беспокойного океана, возникали всего лишь на какие-то мгновения, не оказывая на меня сколько-нибудь длительного воздействия. И когда время от времени солнце брало верх над хмуростью последних дней уходящего лета и на причудливые гребни сапфировых волн обрушивалось алмазное сияние, сама мысль о том, что вечером меня ждут совсем иные переживания,

казалась мне почти невероятной, хотя уже час-другой спустя я мог снова находиться во власти тьмы, доходя порою до грани отчаяния.

Иногда я думал о том, что все эти переживания и эмоции не принадлежат изначально мне, но являются лишь отражением настроений океана. Вещи и предметы, которые мы видим и ощущаем наяву, осознаются нами наполовину ассоциативно, в то время как многие из наших чувств формируются при восприятии внешних, физических признаков предметов и явлений. Так и море — оно ослепляет нас тысячью своих настроений, навевая радость лазурным сиянием волн или повергая в траур своей угрюмой чернотой. Оно постоянно напоминает нам о древности этого мира, и мы невольно проникаемся сознанием этой древности и ощущаем в душе благоговение от того, что являемся малой ее частицей... Даже не знаю, отчего я был так восприимчив к настроениям океана — может быть, оттого, что не был тогда занят работой или общением с окружающими, — но, во всяком случае, загадочные эмоциональные оттенки океана, недоступные менее искушенному наблюдателю, открывались мне во всем своем величии. Океан повелевал моей жизнью, требуя от меня повиновения в награду за исцеление, что он даровал мне тем поздним летом.

В тот год несколько человек из числа отдыхающих утонули. И хотя нас очень редко по-настоящему волнует смерть, которая не касается нас лично и которую мы не видим своими глазами, все же некоторые обстоятельства происшедших несчастных случаев показались мне подозрительно зловещими. Утонувших — а большинство из них были хорошими пловцами — находили по истечении многих дней со времени их исчезновения с распухшими до неузнаваемости телами: такова была страшная месть морской пучины людям, решившим бросить ей вызов. Море увлекало их в свои глубины и там, в кремешной тьме, высасывало из них жизненные соки, а потом равнодушно выбрасывало изуродованные тела обратно на берег. Кажется, никто так и не смог объяснить толком причину этих несчастий. Регулярность, с которой они случались, наводила страх на отдыхающих, тем более что отлив в Эллстоне не очень сильный, да и акулы у здешних берегов как будто не водились. Не знаю, находили ли

на телах погибших следы нападений морских тварей, — но кому из обитателей затерянных прибрежных поселений не ведом страх перед смертью, что бродит где-то среди волн и может в любую минуту снизойти на кого угодно? Страх этот ненавистен людям, ставшим его жертвой. В любом случае они находят более или менее правдоподобное объяснение таким несчастным случаям, даже если рядом нет явных источников опасности — например, тех же акул, наличие которых только подозревалось, ибо не было равным счетом никаких доказательств того, что они обитают в прибрежных водах Эллстона. Все же были приняты кое-какие меры, и за пловцами стали наблюдать отряды спасателей, оберегая их скорее от предательских отливов, нежели от нападений морских животных. Осень была уже не за горами, и под этим предлогом многие стали покидать курорт, уезжая подальше от негостеприимных океанских берегов.

Август сменился сентябрем, и уже на четвертый его день я почувствовал приближение бури. 6 сентября, в сырое, промозглое утро, я вышел из дому и, по своему обыкновению, отправился перекусить в поселок. Небо, сплошь затянутое скоплением бесформенных, низко нависших над рябью свинцового моря облаков, производило гнетущее впечатление. Беспорядочные порывы ветра свидетельствовали о приближавшемся шторме — он, казалось, оживал в них, напоминая о своей одушевленной природе. Дойдя до Эллстона, я не торопясь позавтракал в кафе и двинулся обратно, однако домой заходить не стал, а решил продолжить прогулку, несмотря на то что небо с каждой минутой все больше и больше походило на медленно опускающуюся крышку огромного гроба. Домик мой уже совершенно скрылся из виду, когда на монотонно-сером небесном фоне стали понемногу проступать мертвенные пурпурные пятна, необычно яркие и потому выглядевшие особенно зловеще. Вот-вот должен был разразиться проливной дождь, а от ближайшего укрытия меня отделяла по меньшей мере миля. Но насколько я помню, тогда это обстоятельство не очень встревожило меня; темное небо с его неестественно-багровыми вкраплениями вызвало во мне неожиданный прилив вдохновения, и смутные доселе контуры пейзажа с их тайным смыслом вдруг открылись моему внутреннему взору. Мне пришла на ум одна старая сказка,

которую взрослые рассказывали в пору, когда я был еще ребенком, и которую я не вспоминал уже много лет. В ней говорилось о темнобородом властелине подводного царства, где среди морских скал и рифов обитали его рыбоподобные подданные. Этот всемогущий, похожий на коронованную митрой первосвященника обезьяну правитель влюбился в прекрасную девушку, похитил ее у златовласого юноши, с которым она была обручена, и увлек в свои владения. В тайниках моей памяти осталась картина мрачных подводных скал, возвышавшихся посреди холодного, неуютного пространства, где нет и не может быть неба и солнца. Хотя я совершенно не помнил финала этой истории, завязка ее сразу же всплыла в моем сознании, едва я увидел громоzdившиеся под угрюмым небосводом безликие серые утесы. Трудно сказать, почему я вспомнил тогда эту легенду. Наверное, в памяти моей оставались какие-то смутные ассоциации, связанные с нею и ожившие под впечатлением того, что открылось в тот момент моему взору. Порою мимолетные, не представляющие для нас абсолютно никакой ценности картины вызывают в нашей душе воспоминания о чем-то светлом и дорогом нашему сердцу. Бывают моменты, когда при виде какого-нибудь совершенно заурядного зрелища — например, женской фигуры, маячащей в полдень на обочине дороги, или одинокого кряжистого дерева на фоне бледного утреннего неба (при этом сама обстановка, в которой мы наблюдаем эти картины, является гораздо более значимым фактором, нежели ее содержание) — нас охватывает чувство соприкосновения с чем-то бесконечно дорогим и нам до безумия хочется обладать этим сокровищем. Но стоит нам увидеть его еще раз — в другое время, с другого расстояния, — как мы с разочарованием убеждаемся, что поразившая наше воображение сцена удручающе банальна и не может представлять в наших глазах какой-либо ценности. Наверное, это происходит потому, что сцена или картина, завладевшая на время нашим воображением, на деле зачастую не обладает теми неуловимыми качествами, которые могли бы придавать ей особую значимость, — она лишь вызывает из тайников нашей памяти проблески воспоминаний о других предметах и явлениях, не имеющих никакого отношения к увиденному нами. И наш озадаченный рассудок, будучи не в силах уловить причину этой

вспышки необъяснимых ассоциаций, сосредоточивается на породившем их предмете, чтобы спустя некоторое время с удивлением обнаружить его полнейшую никчемность. Примерно то же самое происходило в моем мозгу, когда я наблюдал за исполненными таинственности и величия пурпурными облаками, напоминавшими мне сумрачные башни старого монастыря; и конечно, было в них что-то и от тех угрюмых скал, среди которых обитали подданные подводного царя из сказки моего детства. Оторвав взгляд от облаков и переведя его на грязную пену прибоя, я вдруг отчетливо, будто наяву, представил себе, как возникает из воды отвратительная фигура увенчанного позеленевшей митрой обезьяноподобного существа и как, рассекая волны, движется она в направлении какой-нибудь затерянной бухты, чтобы отдохнуть там от своих монарших забот.

Конечно, это была всего-навсего игра воображения. Никакого сказочного чудовища не было и в помине — вдали на поверхности моря болтался совершенно прозаический предмет неопределенно-серого цвета. Разделявшее нас расстояние не позволяло сказать со всей уверенностью, что он представлял собою, — с одинаковым успехом он мог быть дельфином или просто бревном. Но он так приковал мое внимание, что, уставившись на него и предаваясь своим необузданным фантазиям, я совершенно позабыл о грядущей буре, и только ледяной поток внезапно хлынувшего дождя вывел меня из состояния задумчивости. Я попытался было спастись от ливня бегством, но очень скоро вымок до нитки, после чего решил не тратить силы напрасну и до самого дома шел неторопливой размеренной походкой, будто прогуливался не под проливным дождем, а под ясным безоблачным небом. Холодная мокрая одежда липла к телу, и я не смог сдержать дрожи под порывами налетавшего с океана ветра, да и резко сгустившаяся темнота отнюдь не действовала успокаивающе на мои нервы. И все же, несмотря на это, душа моя ликovala и пела при виде величественных туч, тоскливая свинцовая мертвенность которых была уже полностью вытеснена ярчайшим пурпурным окрасом. Тело стало легким, почти невесомым, оно как будто находило удовольствие в сопротивлении бешеному ливню, и даже холодная вода, стекавшая мне за шиворот и в башмаки, уже не могла вывести меня

из этого удивительного состояния. Я медленно шел вдоль берега и как замороженный смотрел на нескончаемое багровое небо над волнующимся океаном... Мой дом на берегу неожиданно быстро показался в густой сетке косого дождя; травы, что росли на приютившем его песчаном холме, беспорядочно спутались под напором неистового ветра, словно собирались оторваться от своих корней и взвиться высоко в небо. Взмывав по ступеням крыльца, я в следующую секунду очутился в своей уютной комнате. С моего тела и одежды ручьями стекала вода, но теперь я уже был недосыгаем для дождя и ветра. Переодевшись в сухую одежду, я припал к оконному стеклу и принялся неотрывно взирать на темные океанские волны, наполовину скрытые от моих глаз плотной завесой дождя и надвигавшихся сумерек. Я вдруг почувствовал себя пленником темноты — мягко опускаясь на землю под покровом бушевавшего снаружи шторма, она плотно охватывала дом со всех четырех сторон. Тогда я даже приблизительно не представлял себе времени суток, и, лишь обнаружив свои часы, которые, к счастью, не взял с собой на прогулку (благодаря чему они продолжали исправно функционировать), я увидел, что они показывают без четверти семь.

В продолжение всей прогулки я не встретил ни души, да и странно было бы увидеть здесь кого-нибудь в такую непогоду, когда и в прекрасные солнечные дни люди избегали этих мест. Тем большим было мое удивление, когда, выглянув в окно, я увидел в сырой вечерней мгле несколько силуэтов, которые, несомненно, принадлежали людям. Я насчитал четыре беспорядочно движущиеся фигуры — три из них были достаточно далеко от дома, а четвертая несколько ближе. Впрочем, присмотревшись как следует, я решил, что с таким же успехом это могло быть и подбрасываемое прибоем бревно, — шторм к тому времени разыгрался не на шутку. Изрядно напуганный неожиданным появлением незнакомцев, я лихорадочно соображал, какая сила могла заставить этих смельчаков торчать в такую бурю под открытым небом. Наверное, решил я, шторм захватил их врасплох — как, впрочем, и меня — и им ничего не оставалось, как брести вдоль берега в поисках укрытия. Придя к такому выводу, я двинулся к двери и, выйдя на крыльцо, принялся отчаянно жестикулировать обеими руками, делая прищельцам знаки

подойти к моему дому. Гостеприимство не очень-то свойственно мне, но, рассудив, что сейчас эти люди нуждаются в моей помощи, я решил на время позабыть о своей любви к одиночеству. Странники, однако, никак не отреагировали на мои призывы — то ли они не поняли меня, то ли просто не заметили, — и все же от меня не ускользнуло то обстоятельство, что все четыре точки внезапно прекратили свое движение, будто ожидая с моей стороны дальнейших действий. Что-то непередаваемо зловещее таилось за этими неподвижными силуэтами, и, войдя обратно в дом, я захлопнул за собою дверь с раздражением, которое, однако, не могло заглушить страха, поднявшегося из самых глубин моего сознания. Мгновением позже, когда, шагнув к оконному проему, я припал к холодному стеклу, мне уже не удалось ничего разглядеть — за окном была одна лишь безлунная ночь. Я был озадачен и даже слегка напуган, как человек, не видящий источника опасности, но ощущающий ее. Меня охватило примерно такое же чувство, какое заставляет идущего по темной улице прохожего без всяких видимых причин перейти на другую ее сторону. В конце концов я решил, что все это мне просто почудилось — атмосфера грозowych сумерек нередко бывает обманчивой и коварной.

В ту ночь я особенно остро ощутил витавший над моим домом дух одиночества — ощутил, несмотря на то что в полумиле к северу от меня сотни домов сияли пробивавшимися сквозь пелену дождя огнями. Да, Элстон был рядом, но я не мог даже видеть его, не говоря уже о том, чтобы добраться туда в такую непогоду, — ведь у меня не было ни машины, ни иного средства, которое гарантировало бы мне безопасность в этой кромешной тьме, скрывавшей таинственные фигуры, увиденные мною из окна дома. Я остался один на один с безжалостной морской стихией, и ни одна живая душа не знала сейчас о моем существовании. Голос моря постепенно перерастал в леденящий душу стон, похожий на стенания раненого великана, который, истекая кровью, пытается все же подняться на ноги, чтобы поразить своего противника.

Тем временем в доме стало совсем темно, и мне начало чудиться, будто во всех его углах затаились готовые напасть на меня неведомые твари. Это наваждение донимало меня до тех

пор, пока я не зажег выдавшую виды лампу, чтобы приготовить в ее свете ужин, — нечего было и думать о том, чтобы идти в поселок в такую ночь. Когда я отправился спать, не было еще и девяти часов, но мне казалось, что уже наступили новые сутки, ибо темнота давным-давно — мягко и незаметно — прокралась ко мне в дом. Эта ночь дала жизнь чему-то неопределенному и неименованному, повергнув меня в то состояние, которое, должно быть, испытывает беззащитная лань, вслушиваясь в тишину и пытаясь уловить в ней мягкую поступь крадущегося хищника.

Ветер не стихал в течение нескольких часов; нескончаемые ливневые потоки обрушивались на хлипкие стены моего убежища. Потом наступило затишье. До меня донесся размеренный рокот моря, и я будто воочию увидел лавину бесформенных волн. Накатываясь одна на другую, они стеной падали на берег и разбрасывали во все стороны соленые брызги. Неустанное однообразие звуков, издаваемых дождем, волнами и ветром, постепенно повергло меня в состояние бесцветной, как сама ночь, дремы. Море и ветер продолжали свой безумный диалог, но он уже не доходил до моего понемногу отключавшегося мозга, и некоторое время спустя картина ночного океана мягко угасла в моем сознании.

Взошедшее утром следующего дня солнце привычно озарило окрестности Эллстона, но на этот раз оно выглядело каким-то ослабевшим, — наверное, такое светило увидят люди, доведись им дожить до того времени, когда состарится населенная ими планета. И солнце, и затянутое саваном облаков небо производили впечатление некоей, если так можно выразиться, изнуренности. Светлоликий Феб, выглядевший слабым подобием своего бывшего образа, время от времени пронзал лучами скопления причудливых клочковатых облаков, отбрасывая дрожащие бледно-золотистые блики на северо-западный угол моего дома, но тут же затухал и превращался в тусклый светящийся шар, похожий на гигантскую игрушку, забытую кем-то на небесной лужайке. Затем очередной дождь смыл с неба остатки пурпурных облаков, так напоминавших мне подводные утесы из старой сказки. Схожесть заката и восхода навеяла на меня обманчивое чувство нескончаемости вчерашних суток: они влились в сегодняшний день, как если бы ворвавшийся в них накануне шторм

поглотил длинную черноту ночи, превратив два дня в одни неделимые сутки. Слабеющее солнце из последних сил старалось рассеять нависшую над океаном дымку, которая понемногу уступала место бледной голубизне неба. Вместе с рассеивающимся туманом угасало чувство одиночества, однако я хорошо знал, что оно не покинуло меня навсегда, а просто затаилось где-нибудь в недоступных уголках моей души, чтобы при первом же удобном случае опять напомнить о себе.

Поднявшись выше, дневное светило вновь обрело свой прежний блеск. При виде ярких солнечных лучей, ласкающих морские волны, я окончательно успокоился — хотя такие эфемерные свидетельства милости Природы бывают порой не менее обманчивы, чем дружелюбные улыбки на лицах наших врагов, — и решился покинуть пределы моего убежища. Распахнув двери настежь, я увидел полоску пляжа, на поверхности которого не было ни единого следа, как будто ничья нога не ступала по этому гладкому песку вот уже целое столетие. Все страхи и подозрения мигом улетучились из моей души — точно так же грязь, что скапливается на пенном стыке воды и суши, за одну минуту смывается высоким приливом. Мои ноздри уловили терпкий запах водорослей, смешанный со сладковатым ароматом, какой рождается полуденным жаром где-нибудь в альпийских лугах. Все это действовало на меня подобно какому-то бодрящему напитку, что проникает в каждую клеточку тела, а вездесущий бриз вызвал у меня легкое приятное головокружение. Словно вступив в заговор с прочими силами природы, солнце обрушило на меня поток света, по силе не уступавший вчерашнему ливню. Казалось, оно хотело скрыть от меня присутствие неведомых мне субстанций, которые перемещались за пределами моего зрения и выдавали себя лишь некими неуловимо легкими импульсами на границах моего сознания либо призраками фантастических белых фигур, выглядывающих из океанских глубин. Лучи солнца, этого одиноко светящегося в водовороте бесконечности шара, устремлялись мне в лицо, словно стая мотыльков. Ярчайшее светило, подобно огромной, полной божественного белого огня чаше, озаряло мириады путей, уходящих в неведомые мне чудесно-безмятежные царства. С каким восторгом отправился бы я туда, представься мне такая возмож-

ность!.. Внезапно мне открылось происхождение этих миражей — они возникают внутри нас, поднимаясь из глубин нашего сознания, ибо жизнь никогда не раскрывает всех своих секретов в одночасье, и истолковывать посетившие нас загадочные образы приходится чаще всего нам самим, приводя себя — в зависимости от настроения наших умов — либо в состояние апатии, либо в бешеный экстаз. Раз за разом мы становимся доверчивыми жертвами обмана, поддаваясь на приманки, расставляемые для нас жизнью, и постоянно надеясь на обретение радостей, так долго ускользавших из наших рук. Сладкая свежесть утреннего ветра, сменившая зловещую ночную тьму (последняя, будучи вместилищем сил зла, внушала мне гораздо больший страх, нежели любая материальная угроза моему существованию), нашептывала мне сказания о древних тайнах, не связанных напрямую с жизнью этой планеты. Солнце, ветер и сама атмосфера того утра как будто намекали на близость богов, устроивших свой праздник где-то неподалеку; богов, способных испытывать чувства блаженства и радости в миллион раз острее, утонченнее и продолжительнее неразвитых человеческих ощущений. Эти чувства, вкрадчиво шептал мне внутренний голос, могут быть ниспосланы и тебе: нужно лишь безоговорочно отдаться коварной лучезарной власти солнца и союзных ему стихий. Могущественное, излучающее свет, несущее жизнь солнце заставляет все живое трепетно преклоняться пред своим золотым ликом — и все же когда-нибудь оно навсегда исчезнет в далеких владениях вечности, и тогда Земля погибнет и станет просто черным шаром в бесконечном космическом пространстве... Утро, в продолжение которого я наслаждался ощущением неземного блаженства — ощущением, способным стать надежной защитой от бесконечной череды мрачных лет, — вызвало у меня в памяти ассоциации с некими вещами и явлениями, названия которых никогда не обретут окончательного словесного выражения.

По пути в поселок я размышлял о том, во что же превратил его вчерашний ливень, разразившийся после столь долгого отсутствия осадков. Поглощенный этими мыслями, я не сразу заметил небольшой, похожий на кисть человеческой руки предмет, лежавший в полосе пены футах в двадцати от меня. Это

действительно могла быть человеческая рука — и при этой мысли меня охватило инстинктивное отвращение. Ни рыба, ни другое живое существо не могли иметь таких форм — это и в самом деле была человеческая рука с распухшими, полуразложившимися пальцами... Приблизившись к ужасному предмету, я перевернул его концом ботинка, не желая прикасаться руками к этой гадости; но она прилипла к подошве, будто стремясь намертво присосаться ко мне и заразить меня мерзостью разложения. Движением ноги я поспешил отшвырнуть зловещую находку в воду, где она и исчезла в набегавших на берег волнах.

Пожалуй, учитывая несомненное сходство моей находки с человеческой рукой, мне следовало бы сообщить о ней властям. С другой стороны, принимая во внимание ее довольно-таки двусмысленную природу, этого как раз и не следовало делать. Обнаруженная мною кисть являлась уцелевшей частью чьей-то руки, которая, в свою очередь, была явно съедена неким обитающим в море чудовищем; но все же не думаю, что мою находку можно было бы с полной уверенностью идентифицировать как свидетельство возможной трагедии. Разумеется, я вспомнил и о многочисленных утонувших в этом сезоне, и о некоторых других загадочных и необъяснимых явлениях — и тем не менее решил хранить молчание об увиденном мною зловещем предмете. Самый факт его присутствия посреди чарующего, девственно чистого после штормового дождя пляжа подействовал на меня не лучшим образом. Я еще раз убедился в том, что смерть совершенно безразлична к красоте и зачастую не отличает ее от мерзости разложившейся плоти, а иногда так и просто предпочитает последнюю. Впрочем, добравшись наконец до Эллстона, я не услышал никаких разговоров о новых несчастных случаях на море; не было ничего такого и в местной газете — к слову сказать, единственной, которую я здесь изредка почитывал.

Не берусь описать то умственное состояние, в котором я пребывал в продолжение нескольких последующих дней. Всегда чересчур восприимчивый к воздействию мрачных эмоций, источником которых могло быть как мое собственное душевное состояние, так и какие-нибудь внешние факторы, я был охвачен чувством, которое ничем не напоминало страх или отчаяние; нет, скорее это было осознание ужаса и даже какой-то изначаль-

ной мерзости жизни — чувство, отчасти отражавшее особенности моей психики, отчасти являвшееся результатом неустанных размышлений о том полуразложившемся предмете, что мог быть человеческой рукой. В те дни меня постоянно посещали видения, в которых фигурировали угрюмые утесы и движущиеся на их фоне темные силуэты из сказки моего детства. В иные минуты я ощущал всем своим существом гигантскую черноту, владычествующую в равнодушной к человеческим страстям Вселенной... Приподнятое настроение последних дней сменилось ленью и апатией — я чувствовал, что жизнь утомляет меня и что лучше бы ей вообще прервать свой бег. Безотчетный страх сковывал мое сознание. Непонятно, чего я так боялся — то ли ненависти взиравших на меня сверху вниз звезд, то ли огромных черных волн, что стремились поглотить меня и увлечь в свои пучины, преподав мне урок мести равнодушного и ужасного в своем непревзойденном величии ночного океана.

Нечто такое, что скрывалось во тьме за неустанным движением морской стихии, вызывало в моей душе сначала едва ощутимую, а затем все более острую боль, и вскоре у меня перед глазами возникла фантасмагорическая картина, где причудливо перемешались пурпурные облака, застывшая морская пена, одиноко стоящий на пустынном берегу дом и шутовские, гротескные фигуры на грязных улицах Эллстона, куда с некоторых пор я совсем перестал ходить, не желая больше сталкиваться с этой жалкой пародией на курортную жизнь. Подобно моей одинокой душе, поселок возвышался над окружавшим его со всех сторон темным морем, к которому у меня постепенно нарастала глухая ненависть. Неоднократно за это время я вспоминал найденный мною на пляже предмет, и у меня уже почти не оставалось сомнений в том, что некогда он был частью человеческой руки.

Эти написанные второпях строки не в силах передать то ужасное одиночество, пленником которого я стал здесь, на пустынном океанском берегу. Это было не сумасшествие — скорее, тут имело место донельзя обнаженное восприятие того, что скрывала в себе темнота, или дарованное очень немногим понимание непрочности нашего бытия; это была попытка постижения Вселенной, которая не желала ни на дюйм приподнять

завесу, скрывавшую ее тайны. Обремененный страхом — как перед жизнью, так и перед ее антиподом, — я все же не хотел покинуть сцену, где разыгрывалась эта драма, и ожидал дальнейшего развития событий, а сгустившийся ужас смещался тем временем за пределы моего сознания.

Так встретил я осень, и все то, что я получил от моря летом, теперь безвозвратно кануло в его пучину. Осенняя пора на морском берегу — скучнейшее время, не отмеченное ни буйным разноцветьем листьев, ни какими-либо другими характерными признаками этого времени года. Море совсем не изменилось — разве что его волны стали настолько холодными, что я уже не мог в них окунаться. Небо становилось все более мрачным — казалось, еще немного, и на эти ледяные волны опустятся вечные снега, которые будут падать до тех пор, пока ослепительная белизна солнца не перейдет в скучное желтое, а затем и кроваво-красное свечение, которое в свою очередь сменится тусклым рубиновым отблеском во тьме грядущей вечной ночи... В бормотании некогда ласковых волн мне чудилось подтверждение собственным мрачным мыслям. Пляж накрыла тень, похожая на тень птицы, что тихо скользит у нас над головами, в то время как мы и не подозреваем о ее присутствии — до тех пор, пока не увидим на земле ее образ, который заставит нас поднять глаза и уставиться на не замеченную до сих пор летунью.

Дело шло уже к концу сентября, и легкомысленный курортный дух стал быстро улечиваться из Эллстона вместе с покидавшими его гостями. Поселок, такой многолюдный еще каких-нибудь два-три десятка дней тому назад, теперь насчитывал не более сотни обитателей; и чем меньше времени оставалось до того самого дня, о коем пойдет речь ниже, тем больше меня охватывало предчувствие приближавшегося чуда, что должно было свершиться у меня на глазах.

Это произошло, как я уже говорил, ближе к концу сентября — числа 22-го или 23-го. Со времени случившегося в начале месяца шторма прошло уже немало дней, и я наконец-то принял решение покинуть Эллстон, тем более что холода были уже не за горами, а мой дом не отапливался. С датой отъезда я определился, получив телеграмму, извещавшую меня о том, что мой проект занял первое место на конкурсе. Впрочем, это известие

меня совершенно не обрадовало — узнав о своем успехе, я не почувствовал ничего, кроме какой-то странной апатии. Мне казалось, что выигравший на конкурсе проект не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к окружавшей меня полуфантастической действительности, и я никак не мог отделаться от чувства, что телеграмма предназначалась для совершенно другого человека, а я получил ее просто по ошибке. Тем не менее она побудила меня к отъезду из этого богом забытого места.

Мне оставалось жить на побережье всего четыре дня, как вдруг произошло то самое загадочное событие, подробности которого накрепко запечатлелись в моем сознании, поразив меня скорее своей зловещей таинственностью, нежели какой бы то ни было реальной угрозой. Над морем и поселком сгустилась ночь; я сидел в своей холодной хибарке, задумчиво взирая на груды немытых тарелок, свидетельствовавших о недавней трапезе и в равной степени о моей нелюбви к домашней работе. Затем, закурив сигарету, я устался в окно, из которого были видны океан и взошедшая над ним полная луна. Раскинувшаяся предо мною водная гладь и поблескивающий в лунном свете песок навевали на меня ощущение полного одиночества — вокруг не было ни единой живой души, ни даже деревца, — и только звезды, такие маленькие в сравнении с внушительным лунным диском и плещущейся громадой океана, холодно мерцали в ночном небе.

Не решаясь выйти за пределы своего убежища, я внимал тихому говору ночного океана, открывавшего мне неведомые доселе тайны. Какой-то странный ветер — ветер ниоткуда — донес до меня трепетное дыхание неизвестной, ни на что не похожей жизни, в которой сосредоточились все мои прежние предчувствия и прозрения и течение которой происходило где-то в заоблачных далях или в толще океанских вод. Я не могу сказать, в каком месте посетившего меня кошмара открылась эта тайна, — помню только, как в каком-то полузабытьи я стоял у окна и, сжимая в пальцах сигарету, смотрел на восходящую луну.

Постепенно недвижимый ландшафт окрасился серебристым сиянием, которое наполнило меня предчувствием близости чего-то совершенно необычного. По пляжу растекались причудливые тени, созерцание которых могло бы отвлечь мои мысли

в случае встречи с чем-то воистину непознаваемым. Бугристая поверхность Луны — абсолютно неживая и холодная, как захоронения ее обитателей, что жили там еще задолго до появления морей и живых организмов на Земле, — наводила на меня ужас своим неумолимо-зловещим свечением, и я нервно захлопнул окно, чтобы не видеть ее совсем. Это движение было чисто импульсивным, хотя в основном оно было направлено на то, чтобы унять пронесшийся у меня в голове поток тревожных мыслей. В доме воцарилась гробовая тишина, и я совершенно утратил чувство времени — быстротекущие минуты казались мне бесконечно долгими. С замиранием сердца я ждал появления свидетельств неведомой мне жизни. В углу дома, что был обращен на запад, я установил зажженную лампу, но свет от луны был гораздо ярче, и ее голубоватые лучи перебивали слабое мерцание лампы. Вечное, как сама Вселенная, сияние безмолвного ночного светила разлилось над окрестностями, и я, снедаемый нетерпением, ждал свершения чуда.

За пределами моего жалкого убежища, в серебристом сиянии лунного диска, я разглядел смутные силуэты, чьи нелепые фантазмагорические кривляния, казалось, были призваны высмеять мою слепоту. В ушах у меня отдавались эхом потусторонние издевательские голоса. Наверное, целую вечность я оставался недвижим, внимая постепенно замолкавшему звону великих колоколов Времени. Я не видел и не слышал ничего, что могло бы внушать тревогу, однако высеченные лунными лучами тени выглядели неестественно бесформенными — непонятно, что могло их отбрасывать. Ночь была безмолвна — я прямо-таки ощущал ее беззвучие, несмотря на плотно закрытые оконные проемы, — и рассыпавшиеся по небосводу звезды печально взирали вниз с внимающих этой тишине величественных ночных небес. Я тоже оставался безмолвен и недвижим, боясь нарушить то неповторимое состояние, в котором пребывала сейчас моя душа; мой мозг словно оцепенел и не решался отдать приказ нарушить эту тишину, невзирая на все те муки, что она причиняла моей плоти. Словно ожидая смерти и будучи совершенно уверен, что ничто не в силах предотвратить мою гибель, я сжался в комок, смяв в кулаке потухшую сигарету. За грязными оконцами моей хибарки простирался во всем своем мрачном

великолепии мир безмолвия. Тусклый свет лампы, коптящей в углу, окрашивал стены в жуткие трупные тона. Я оцепенело наблюдал, как проходят сквозь слой керосина быстрые пузырьки воздуха; затем, протянув руку к фитилю, с удивлением обнаружил, что он совсем не дает тепла — и тут же соотнес это с тем, что и сама ночь не была ни теплой, ни холодной, но странно нейтральной, словно все известные нам физические законы на время утратили силу, уступив место неведомым законам мирового покоя.

Неожиданно раздался всплеск воды. Наверное, будет даже не совсем точно сказать «раздался», ибо я не слышал его, а лишь увидел, как по серебристой глади воды пошли ровные круги, заставив мое сердце сжаться от страха, — и вслед за этим на поверхности показалось некое существо. Оно быстро заскользило по воде, оставляя позади себя белую полосу бурунов. Я глядел на это существо во все глаза, но идентифицировать его мне так и не удалось — оно могло быть и собакой, и человеком, а то и вообще каким-нибудь неведомым творением Бога или дьявола. Судя по всему, появившееся из морских глубин создание не подозревало, что я наблюдаю за ним, или же просто не придавало этому значения. То скрываясь на короткое время под водой, то вновь выныривая на поверхность, оно быстро приближалось к берегу. Когда между нами осталось совсем уже небольшое расстояние, я увидел, что на плечах его покоится какая-то ноша, и это вселило в меня уверенность, что существо, явившееся мне из темных океанских вод, было человеком или по меньшей мере человекообразным — хотя та легкость, с какой оно передвигалось в воде, и заставляла в этом усомниться.

Застыв в прежней позе и уставившись на плывущую фигуру тем взглядом, каким, осознавая собственное бессилие, наблюдает за чужой смертью невольный свидетель, я видел, как объект моего наблюдения приблизился к самому берегу — однако слишком далеко от моего дома, чтобы я мог разглядеть его достаточно отчетливо. Когда он выходил из воды, пена вокруг его ног отбрасывала быстрые блики отраженного лунного света. Еще несколько мгновений — и загадочная фигура растаяла в черных тенях бесчисленных дюн. И едва я потерял ее из виду, как ко мне вернулся отступивший было прежний страх. Я покрылся

холодным потом, хотя в комнате было довольно-таки душно — открыть окно я так и не решился, опасаясь, что кто-нибудь проникнет внутрь дома. Теперь, когда жуткий морской гость исчез из поля моего зрения, я не мог отделаться от чувства, что он смотрит на меня своим леденящим взглядом — взирает сквозь стены и окна моего хлипкого убежища. В каком-то диком исступлении я метался от окна к окну в надежде разглядеть лик неведомого пришельца и обмирая от страха при одной только мысли, что вот-вот увижу его глаза... Но тщетно — пляж так и остался пустым.

Ночь прошла, унеся с собой дух той необъяснимой чужеродности, который, подобно некоему дьявольскому снадобью, кипел в ее адском котле, а затем дошел до его краев и, на некоторое время задержавшись на этом уровне, успокоился и постепенно улетучился в никуда, так и не раскрыв секрета, носителем коего являлся. Ужасающе ничтожный отрезок отделял меня от древней как мир тайны, что витала над самой гранью человеческого познания, — и все же в конце концов она ускользнула от меня: я увидел только ее проблеск, затуманенный дымкой моего неведения. Не берусь даже гадать, что открылось бы моему взору, окажись я рядом с таинственной фигурой, вышедшей на берег из океанских вод. Что могло бы произойти, если бы дьявольское снадобье перекинулось через край котла и излило на меня поток откровений? Однако этого не случилось: ночной океан не выдал мне тайну своего детища.

Я никак не соображу, отчего именно мне ночной океан послал это видение. Впрочем, этому и нельзя найти объяснение — такие явления существуют независимо от наших логических оценок. Но как объяснить то, что многие умудренные жизнью люди не любят море с его пенным прибоем, что обрушивается на прибрежные желтые пески, а нас, влюбленных в древние тайны океанских глубин, они просто отказываются понять? И все равно я всегда восторгаюсь непостижимым величием океана во всех его настроениях. Иногда он впадает в меланхолию — и тогда зыбкая его поверхность серебрится под светом воскового лунного диска. Иногда он бывает грозен — и вздымается, обрушивая мощь своих волн на незащитные берега, и все живое в его водах замирает, боясь оказаться на пути страшных неведо-

мых тварей, рассекающих толщу мрачных морских глубин. При виде бесконечной череды громадных, исполненных величественной мощи волн меня охватывает экстаз, граничащий с суевверным страхом, и в такие минуты я ощущаю свое полное ничтожество перед этой всемогущей стихией. И тогда я думаю о том, что наступит время, когда океан, эта громадная водная пустыня, праматерь всего живого, захватит все ипостаси существующей на суше жизни в свои пучины. И в невидимых хранилищах Времени вы не найдете ничего, что могло бы в полной мере властвовать над этим миром, — ничего, кроме ниспосланных вечностью океанских вод. Разбрасывая белоснежную пену, они обрушиваются на сумрачные берега, и мне становится неуютно при мысли о том, что наступит время, когда некому будет любоваться этим непреходящим великолепием бескрайних просторов, бурлящих под желтым ликом холодной луны. И только осколки раковин да останки населявших некогда морские глубины живых организмов послужат недолгим напоминанием об ушедшей жизни. А затем, когда навеки угаснет луна, над морем воцарится полный мрак, и на планете не останется ничего, кроме сумрачной водной пустыни, которая в течение отпущенных ей бесчисленных тысячелетий будет наполнять ревом и рокотом темноту вечной ночи.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ

Рассказ написан Г. Ф. Лавкрафтом в 1918–1919 гг. в соавторстве с Уинифред Вирджинией Джексон и опубликован в весеннем, 1927 г. выпуске журнала «The Vagrant». Участие У. В. Джексон в данном случае свелось к использованию ее идеи и псевдонима. В своем письме Ф. Б. Лонгу от 4 июня 1921 г. Лавкрафт писал: «Посылаю (с возвратом) две работы, написанные в соавторстве, которые Вы еще не видели. Оба рассказа, „Зеленый луг“ и „Ползучий хаос“, вдохновлены некоторыми идеями Уинифред В. Джексон — поэтессы-любительницы, обладающей исключительным воображением, которое снискало ей успех в любительской журналистике. Что же касается прозы, то здесь она не оправдала возлагаемых на нее надежд. Она способна реализовать свои идеи только в паре с каким-нибудь профессионалом».

С. 12. *Мероитский* — т. е. происходящий из Мероз, древней столицы царства Куш на территории современного Судана, существовавшего с VIII в. до Р. Х. по IV в. н. э. В некоторых источниках эта страна именуется Мероитским царством по названию ее главного города.

ПОЛЗУЧИЙ ХАОС

Рассказ написан в 1920–1921 гг. в соавторстве с Уинифред Вирджинией Джексон и опубликован в любительском журнале «United Cooperative» в апреле 1921 г. См. тж. прим. к рассказу «Зеленый луг».

С. 14. *Де Квинси*, Томас (1785–1859) — английский писатель-романтик, известный прежде всего своей автобиографической повестью «Исповедь англичанина-опиомана» (1822).

Paradis artificiels — книга французского поэта Шарля Бодлера «Les paradis artificiels» («Искусственный рай», 1860), в которой описывается влияние наркотиков на человеческую психику.

...во время страшной эпидемии... — Вероятно, речь идет о пандемии гриппа «испанки», в 1918–1919 гг. (незадолго до написания рассказа) уничтожившей от 50 до 100 миллионов человек по всему миру.

С. 19. ...классическая история про тигров... — Имеется в виду рассказ Редьярда Киплинга «Звериное пятно» (1891).

ПОСЛЕДНИЙ ОПЫТ

Рассказы «Последний опыт» и «Электрический палач» были впервые опубликованы литератором и юристом Адольфом де Кастро (1859–1959) еще в 1893 г. под названиями «Жертвоприношение науке» и «Автоматический палач» соответственно. В 1927 г. Лавкрафт по просьбе де Кастро взялся отредактировать «Последний опыт» и в результате полностью его переписал, сохранив лишь общую идею и скелет повествования. В новом виде и под измененным названием рассказ был опубликован в ноябре 1928 г. в журнале «Weird Tales».

С. 23. *Великий пожар*. — В апреле 1906 г. мощное землетрясение и сопровождавшие его пожары разрушили до восьмидесяти процентов зданий в Сан-Франциско.

С. 24. *Пиемия* — гнойная инфекция организма, характеризующаяся образованием множественных очагов гнойного воспаления в различных органах.

С. 26. *У-Цанг* — общее название центральных и западных областей Тибета.

Бонпо (тж. бон) — древняя тибетская религия, в VII–XIII вв. тесненная буддизмом, но по сей день сохранившая немало приверженцев (ее исповедуют до десяти процентов населения Тибета).

С. 27. «*Ватек*» — насыщенный восточной экзотикой готический роман (изд. 1782 г.) английского писателя Уильяма Бекфорда (1759–1844).

С. 39. *Дженнер*, Эдвард (1749–1823) — английский врач, разработавший первую вакцину против оспы.

Листер, Джозеф (1827–1912) — английский хирург, впервые применивший антисептик при операциях.

Кох, Роберт (1843–1910) — немецкий бактериолог, открывший возбудителей туберкулеза и холеры, а затем (во главе группы ученых) — дифтерии и брюшного тифа.

Пастер, Луи (1822–1895) — французский химик и бактериолог, среди прочего открывший молочнокислые бактерии и создавший названную в его честь технологию пастеризации.

Мечников, Илья Ильич (1845–1916) — русский эмбриолог и бактериолог, создатель сравнительной патологии воспалительных процессов и фагоцитарной теории, основатель научной геронтологии. В 1908 г. получил Нобелевскую премию по медицине.

С. 61. ...в «*Азифе*» *Альхазреда*... — «Азиф» (тж. «Аль-Азиф») — арабское название «Некрономикона», как следует из эссе Г. Ф. Лавкрафта «История Некрономикона» (1927).

С. 77. *Аполлоний Тианский* — греческий философ-неопифагореец, современник Иисуса Христа, проведший жизнь в странствиях — от Испании до Индии — и прославивший колдуном и чародеем, способным предсказывать будущее, летать по воздуху и т. п.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАЛАЧ

Этот рассказ Адольфа де Кастро, изначально именовавшийся «Автоматический палач», был переработан Лавкрафтом в июле 1929 г. и спустя год опубликован в журнале «Weird Tales». См. тж. прим. к рассказу «Последний опыт».

С. 87. *Кетцалькоатль* («Пернатый змей») — одно из главных божеств ацтеков и других индейцев Центральной Америки, творец мира, человека и культуры, владыка стихий и покровитель наук. Согласно легенде, Кетцалькоатль покинул людей, уплыв в океан на змеином плоту, а его возвращение ознаменует собой начало новой эпохи в истории мира.

«*Ракета*» — одна из первых моделей паровоза, созданная в 1829 г. английским изобретателем Д. Стефенсоном (1781–1848).

Девенпорт, Томас (1802–1851) — американский изобретатель, в 1833 г. сконструировавший первый роторный электродвигатель постоянного тока.

Максимилиан Габсбург (1832–1867) — австрийский эрцгерцог, император Мексики с 1864 г., возведенный на престол при поддержке Наполеона III; после вывода из страны французского экспедиционного корпуса он был взят в плен и расстрелян республиканцами.

С. 88. *Анауак* («Земля между водами») — ацтекское название долины Мехико.

Теночитлан — столица ацтеков, существовавшая на месте современного Мехико.

Уицилопочтли — один из главных богов в ацтекском пантеоне; бог солнца, войны и охоты. В честь Уицилопочтли приносились человеческие жертвы.

Науатлакатль — общее наименование людей, говорящих на языке науатль, т. е. ацтеков и родственных им народов Центральной Америки.

Шочимилька, чальча, тепанеки, акольхуа, тлауика, тлашкальтеки — индейские народы Центральной Америки, покоренные ацтеками либо (как тлашкальтеки) воевавшие с ними к моменту прибытия испанских конкистадоров.

Чикомоцток («Семь пещер») — в мифах ацтеков так именуется их прародина, расположенная где-то к северо-западу от долины Мехико.

Готорн, Натаниэль (1804–1864) — американский писатель-романтик, в творчестве которого отражены традиции раннего новоанглийского пуританизма, на что в данном случае намекает герой рассказа.

С. 89. *Нецауальпилли* (1464–1515) — правитель крупного индейского города-государства Тешкоко, имевший репутацию мудреца, поэта и провидца.

С. 90. *Сыны Пернатого змея* — т. е. Кетцалькоатля (см. выше).

Мистагоги и *иерофанты* — жрецы, руководившие проведением древнегреческих мистерий.

Лин — в греческой мифологии сын Аполлона и дочери аргосского царя Псамафы; был разорван псами.

Иакх — культовое имя Диониса в Элевсинских мистериях.

Иалмен. — Возможно, здесь имеется в виду греческий бог Иалем, сын Аполлона и Калиопы, олицетворение рыданий и плачей.

Загрей — у греков одна из архаических ипостасей Диониса.

Атис — фригийский бог плодородия, учредитель священных оргий в Лидии.

Гилас — в греческой мифологии любимец Геракла, сопровождавший его в походе аргонавтов и на одной из стоянок похищенный нимфами, которые соблазнились красотой юноши.

...растерзанный аргосскими псами... сын Псамафы... — эти слова относятся к ранее упомянутому Лину (см. выше).

Эвоз — ритуальный призывный клич у эллинов.

С. 95. *Тлокенауак* («Владыка ближних пределов и тьмы») и *Ипальнемоан* («Тот, кем мы живем») — ритуальные имена верховного ацтекского бога Тескатлипоки, повелевающего четырьмя сторонами света.

Миктлантекутли — ацтекский бог мертвых, властитель подземного мира.

Тонатлиу-Мецтли — в этом имени объединены два ацтекских бога, олицетворяющих небесные светила: Тонатлиу — бог солнца и Мецтли — бог луны.

ПРОКЛЯТИЕ ЙИГА

Рассказ написан Лавкрафтом в сентябре 1928 г. по заказу писательницы Зелии Бишоп (1897–1968), которая ограничилась заданием темы и несколькими краткими набросками. В ноябре 1929 г. рассказ был опубликован в журнале «Weird Tales» под именем Бишоп. Аналогичным образом были созданы повести «Курган» и «Волосы Медузы».

С. 103. *Кетцалькоатль* — см. прим. к рассказу «Электрический па-лач».

С. 105. *Кукулькан* — один из главных богов в пантеоне индейцев майя, традиционно изображаемый в виде пернатого змея с человеческой головой.

С. 106. *Индийская территория* — так с 1830 г. официально именовались земли нынешних штатов Арканзас и Оклахома, куда были насильственно переселены многие индейские племена с Великих равнин и из районов восточнее Миссисипи. На протяжении XIX в. Индейская территория постепенно сокращалась, а в 1907 г. она была окончательно упразднена.

КУРГАН

Повесть написана Лавкрафтом в декабре 1929 — январе 1930 г. Вклад Зелии Бишоп ограничился скупым синопсисом следующего содержания: «В этих местах есть древний индейский курган, где обитает безголовое привидение. Порой оно принимает женский облик». Столь лаконично сформулированная задача оставила Лавкрафту широкий простор для интерпретации, чем он и воспользовался. Повесть не публиковалась при жизни ее реального автора; позднее А. Дерлет подготовил сокращенную версию для журнала «Weird Tales», на страницах которого она появилась в ноябре 1940 г. Изначальный текст Лавкрафта был впервые опубликован в сборнике «Ужас в музее» (1989).

С. 122. *Пуэбло* (от исп. *pueblo* — «большой поселок») — группа индейских племен на юго-западе США, названных так в 1540 г. испанскими конкистадорами, поскольку, в отличие от других североамериканских индейцев, они жили в сравнительно крупных поселениях с домами из камня и глины, ступенчато расположенными на склонах гор.

С. 124. *Кивира* — легендарная богатая золотом страна к северо-востоку от Мексики, о которой испанцы впервые услышали от провод-

ника-индейца в 1541 г., но все их попытки найти Кивиру обернулись неудачей.

...происшествию, связанному с мифом о змебоге. — См. рассказ «Проклятие Йига».

С. 141. *Коронадо*, Франсиско Васкес де (1510–1544) — испанский конкистадор, в 1540–1542 гг. возглавлявший экспедицию во внутренние области Северной Америки, главной целью которой была сказочно богатая Сивола, Страна Семи Золотых Городов. Ничего похожего на цветущие многолюдные города найти не удалось, как не была найдена и страна Кивира (см. выше), и по возвращении в Мексику Коронадо подвергся опале.

С. 142. *Кетцалькоатль*, *Кукулькан* — см. прим. к рассказам «Электрический палач» и «Проклятие Йига».

Новая Испания — вице-королевство с центром в Мехико, основанное в 1535 г. и включавшее все владения испанской короны в Центральной и Северной Америке.

С. 143. *Маркос де Низа* (ок. 1495–1558) — францисканский монах, в 1539 г. совершивший путешествие к северу от Мексики и принеший весть о Стране Семи Золотых Городов, один из которых он якобы видел издали. Это известие подвигло испанцев на снаряжение большой экспедиции во главе с Коронадо (см. выше).

Луговые собачки — грызуны из семейства беличьих, обитающие в североамериканских прериях.

С. 149. *Бальбоа*, Васко Нуньес де (1474–1519) — испанский конкистадор, в 1513 г. первым из европейцев пересекший Панамский перешеек и вышедший к Тихому океану.

ЛОКОНЫ МЕДУЗЫ

Это третье из произведений Лавкрафта, созданных по заказу Зелии Бишоп. Написанная Лавкрафтом в мае—августе 1930 г., повесть была существенно сокращена А. Дерлетом для публикации в журнале «Weird Tales» (январь 1939 г.), а в полном виде она впервые появилась в сборнике «Ужас в музее» (1989).

С. 193. *Палладианское окно* — арочное окно в раннеклассическом стиле, названном по имени итальянского архитектора Андреа Палладио (1508–1580). Особняки в этом стиле были распространены в Америке конца XVIII — начала XIX в.; образчиком таковых является Белый дом в Вашингтоне.

С. 197. *...погиб на войне, в шестьдесят четвертом году...* — Речь идет о Гражданской войне в США (1861–1865), в которой отец рассказчика участвовал на стороне южан.

С. 198. *Испанская война* — т. е. испано-американская война 1898 г.

С. 199. *Лафкадио Хирн* (1850–1904) — писатель, журналист и ученый-востоковед ирландско-греческого происхождения, с 1869 г. проживавший в США, а с 1890 г. — в Японии.

...представители левобережной богемы... — Латинский квартал расположен на левом берегу Сены.

Великое Зимбабве (Большое Зимбабве) — название, данное древнему каменному городу, руины которого расположены на территории современного Зимбабве. Период расцвета этого поселения приходится на XIII — начало XV в.

Хоггар (Ахагар) — нагорье в центральной Сахаре, где обнаружены доисторические наскальные рисунки, но не остатки древних городов, упоминаемых в рассказе.

С. 200. *Береника*, тж. Вероника (ок. 266–221 до Р. Х.) — жена египетского царя Птолемея III, которая во время похода мужа в Азию обрезала волосы и посвятила их Афродите, моля богиню вернуть ей супруга живым и здоровым. Помещенные в храм волосы загадочным образом исчезли, а вскоре придворный астроном заявил, что обнаружил их на небе, где они превратились в созвездие, с той поры именуемое Волосы Береники (Вероники).

Танит — финикийская богиня любви и плодородия, почитавшаяся в образе луны.

Исида — египетская богиня, культ которой позднее распространился на все античное Средиземноморье; покровительница плодородия, магии и супружества.

С. 202. *Обри Бердслей* (1872–1898) — английский художник-график, автор изысканных иллюстраций к поэме А. Поупа «Похищение локона» и трагедии О. Уайльда «Саломея».

С. 203. *Лемурия* — термин, введенный в 1864 г. английским зоологом Ф. Склэтером для обозначения гипотетического древнего континента, якобы простиравшегося от Мадагаскара на западе до Зондского архипелага на востоке и п-ова Индостан на севере. Этим он хотел объяснить тот факт, что ископаемые останки лемуринов, ныне характерных только для фауны Мадагаскара, встречаются также в Индии и Юго-Восточной Азии. Лемурия и ее древние обитатели фигурируют также в сочинениях теософов и писателей-фантастов.

С. 205. *Рембо*, Артю́р (1854–1891), *Бодлер*, Шарль (1821–1867), *Лотреамон* (настоящее имя Изидор Дюкасс, 1846–1870) — французские поэты, предтечи символизма и сюрреализма.

С. 206. *Фюссли*, Иоганн Генрих (1741–1825) — швейцарский живописец, писатель и теоретик искусства. Для его картин характерны мрачно-фантастические мотивы, изображение демонических существ и сверхъестественных явлений.

Сайм, Сидни (1867–1941) — английский художник, известный своими фантастическими картинами и книжными иллюстрациями. Он регулярно переписывался с Лавкрафтом с 1922 г. вплоть до смерти последнего в 1937 г.

Кларк Эштон Смит (1893–1961) — американский поэт, скульптор, художник и автор фантастических рассказов.

Дюрталь и *Дезэссент* — герои произведений Ж.-К. Гюисманса (1848–1907), классические образчики декадентов последней четверти XIX в.

С. 213. *Отей* — фешенебельный район на западной окраине Парижа.

С. 220. *Ламия* — в греческой мифологии кровожадное чудовище, дочь Посейдона и Либии, по ночам пожиравшая детей и высасывавшая кровь у мужчин. В средневековых поверьях ламия предстает в виде огромной змеи с головой и грудью женщины.

С. 228. *Му* — гипотетический континент в Тихом океане, подобно Атлантиде или Лемурии, затонувший в результате грандиозной тектонической катастрофы.

КАМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Рассказ написан летом 1932 г. и опубликован в октябре того же года в журнале «Weird Tales». Это одно из пяти произведений, созданных Лавкрафтом совместно с Хейзл Хилд, притом что вклад Лавкрафта во всех случаях был определяющим (правда, Хилд позднее заявляла, что большая часть «Каменного человека» была написана ею самой, но это заявление не подтверждается результатами текстологического анализа).

С. 238. *Адирондак* — горный массив в системе Аппалачей, на севере штата Нью-Йорк.

Дамон и *Финтий* (IV в. до Р. Х.) — греческие философы-пифагорейцы из Сиракуз, чьи имена стали символом верной и преданной дружбы.

С. 248. *Катскиллы* — один из отрогов системы Аппалачей, к западу от реки Гудзон, в центральной части штата Нью-Йорк.

УЖАС В МУЗЕЕ

Рассказ написан в октябре 1932 г. и опубликован в июле 1933 г. в журнале «Weird Tales». См. тж. прим. к рассказу «Каменный человек».

С. 256. *Ландрю*, Анри Дезире (1869–1922) — французский серийный убийца, современный вариант Синей Бороды, «специализировавшийся» на состоятельных вдовушках.

Криппен, Хаули Харви (1862–1910) — американский врач-гомеопат, который убил свою жену, разрубил труп на куски и закопал их в подвале лондонского дома, где он в то время проживал. Убийца успел бежать за океан, но был арестован по прибытии в канадский порт.

Риццио (Риччио), Давид (ок. 1533–1566) — итальянский музыкант, фаворит Марии Стюарт, зверски убитый в ее присутствии лордами-заговорщиками, среди которых был и супруг королевы, Генри Дарнлей.

Леди Джейн Грей (1537–1554) — правнучка английского короля Генриха VII, возведенная на трон в июле 1553 г., но успевшая процарствовать чуть более недели; осуждена и обезглавлена по приказу сменившей ее на престоле Марии Тюдор.

Жиль де Рэ (1404–1440) — французский барон, маршал и один из соратников Жанны д'Арк, после пленения и казни которой он занялся алхимией и черной магией, принося в жертву Сатане детей, захваченных в окрестностях его замка. В конце концов был арестован, предан суду инквизиции и казнен.

Тератология — здесь: старинный графический стиль, основанный на использовании чудовищно-фантастических образов.

С. 257. «*Книга Эйбона*» (тж. «*Livre d'Eibon*»), «*Unaussprechlichen Kulten*» («Неименуемые культы») фон *Юнцта*, а также упоминаемые ниже «*Пнакотические рукописи*», «*Песни дхолов*», «*De Vermis Mysteris*» («Тайны Червя») *Людвига Принна* — сочинения, вымышленные Г. Ф. Лавкрафтом и его последователями.

С. 266. *Лемуры* (ларвы) — в римской мифологии вредоносные духи мертвецов, не получивших должного погребения; они бродят по ночам и насылают на людей безумие.

С. 273. *Доре*, Гюстав (1832–1883) — французский художник, выдающийся иллюстратор Библии и многих классических литературных произведений.

Блашка, Леопольд (1822–1895) и Рудольф (1857–1939) — отец и сын, стеклодувы-художники из Чехии, работавшие в Дрездене; прославились искусно выполненными стеклянными моделями морских животных и экзотических цветов.

КРЫЛАТАЯ СМЕРТЬ

Рассказ написан летом 1932 г. и опубликован в марте 1934 г. в журнале «Weird Tales». См. тж. прим. к рассказу «Каменный человек».

С. 293. *Момбаса* — главный порт Кении, в ту пору британской колонии.

С. 295. ...*цеце* *неспособны заразить человека, да и ареал их расположен много южнее этих мест.* — Ошибочное утверждение. От болезней, вызванных укусами цеце, ежегодно умирают тысячи людей (ранее умирали десятки тысяч). Ареал цеце среди прочего охватывает всю территорию Уганды и большую часть Кении.

С. 296. ...*редкий вид мухи Glossina palpalis, состоящей в родстве с Glossina morsitans* [правильно — *morsitans*], *или цеце.* — В действительности это две разновидности все той же мухи цеце.

С. 298. ...*все они галла.* — Галла (тж. оромо) — кочевой народ, большей частью проживающий на территории Эфиопии.

ВНЕ ВРЕМЕН

Рассказ написан в августе 1933 г. и опубликован в апрельском выпуске журнала «Weird Tales» в 1935 г. Связь с другими произведениями Лавкрафта здесь, помимо упоминания представителей «ктулхуанского пантеона», прослеживается в имени хранителя музея Пикмана (намек на рассказ «Модель Пикмана») и ссылках на псевдоиндийца Свами Чандрапутру (он же трансформированный Рэндольф Картер) и Этьен-Лорана де Мариньи — героев рассказа «Врата серебряного ключа». См. тж. прим. к рассказу «Каменный человек».

С. 323. *Саккара* — древнейший некрополь долины Нила, расположенный близ Мемфиса — египетской столицы в эпоху Древнего царства (XXVIII–XXII вв. до Р. Х.).

Копты — потомки древних египтян, исповедующие христианство (монофизиты).

С. 324. «*Кардиффский гигант*» — В 1869 г. американец Джордж Халл заявил о находке «окаменелых останков древнего гиганта» в про-

цессе рытья колодца близ городка Кардифф в штате Нью-Йорк (трехметровая скульптура была загодя тайком отлита из гипса и доставлена на место). «Гигант» вызвал сенсацию и привлек толпы зевак, плативших по 50 центов за право взглянуть на чудо. Спустя два месяца Халл сознался в мистификации. Эта история легла в основу романа Харви Джейкобса «Американский голиаф» (1997; рус. пер. — 2009).

С. 325. *Понапе* — остров в Микронезии, близ побережья которого сохранились развалины *Нан-Мадола* — ныне мертвого города, возведенного из базальтовых блоков на 92 искусственных островках. Происхождение строителей города, так же как и назначение некоторых сооружений, до сих пор остается загадкой для ученых. По вскрытии гробницы Сауделеров — древних правителей Нан-Мадола — выяснилось, что они по своему антропологическому типу отличались от микронезийского населения архипелага.

С. 326. *Гиперборея* — в греческой мифологии страна, расположенная на крайнем севере, «за Бореем», т. е. за тем местом, откуда берет начало северный ветер, и потому не знающая холодов и ненастья. Населявшие ее гиперборейцы («люди по ту сторону северного ветра») жили добродетельно и счастливо, не зная болезней и войн.

«*Голден Гоблин*» — вымышленное издательство, специализирующееся на эзотерической литературе; впервые упомянуто в рассказе Роберта Говарда «Черный камень» (1931).

С. 327. *Аверуань* — несуществующая историческая провинция во Франции, созданная воображением К. Э. Смита (о нем см. прим. к повести «Локоны Медузы») и географически примерно совпадающая с реальной провинцией Овернь. Соответственно вымышлен и замок *Фоссесфлам* (букв. «ложный огонь»).

Черчурд, Джеймс (1851–1936) — англо-американский писатель-окультист, известный прежде всего как популяризатор учения о древнем континенте Му.

Льюис Спенс (1874–1955) — шотландский журналист, историк и антрополог, автор книг о культуре доколумбовой Америки, о мифах разных народов, а также об Атлантиде и других затерянных цивилизациях.

С. 330. *Наакаль* — гипотетическая цивилизация в Центральной Америке или на континенте Му, существовавшая ок. 50 тысяч лет назад и ставшая культурной прародительницей всех последующих цивилизаций: Индии, Вавилона, Египта, майя и т. д. Эта идея была впервые выдвинута в 1896 г. археологом-любителем Огюстом Ле Плонжоном (1825–1908).

С. 331. *Континент Му* — см. прим. к повести «Локоны Медузы».

С. 335. «*Ареои*» — на полинезийских островах Туамоту так именовался тайный союз воинов-аристократов, по преданию основанный двумя божественными братьями.

УЖАС НА КЛАДБИЩЕ

Рассказ написан в 1933 или 1934 г. и опубликован в мае 1937 г. в журнале «Weird Tales». См. тж. прим. к рассказу «Каменный человек».

ДНЕВНИК АЛОНЗО ТАЙПЕРА

Рассказ написан Лавкрафтом совместно с Уильямом Ламли в октябре 1935 г. и опубликован в феврале 1938 г. в журнале «Weird Tales». Сохранившийся черновик Ламли свидетельствует о том, что Лавкрафт оставил лишь зародыш сюжета и полностью переписал весь текст.

С. 369. *Кохинхина* — название Южного Вьетнама в период французского колониального господства.

С. 372. *Акло* — вымышленный язык, ассоциируемый с различными таинственными и запретными текстами. Впервые упомянут в рассказе Артура Мейчена «Белые люди» (1899).

С. 376. *Революция — здесь*: война за независимость английских колоний в Северной Америке (1775–1783).

Старомонгольское письмо — возникло в конце XII — начале XIII в. на основе уйгурского алфавита, в свою очередь восходящего к одному из вариантов арамейского письма. Знаки монгольского письма пишутся сверху вниз и слева направо.

С. 377. «*Илтдаунские таблички*» — вымышлены Ричардом Ф. Сайрайтом, одним из корреспондентов Г. Ф. Лавкрафта. Представляют собой таинственные письма на глиняных табличках, обнаруженных в 1882 г. близ местечка Илтдаун на юге Англии.

С. 381. *Книга «Дзиан»* — легендарная книга, которая, по утверждениям некоторых теософов, является древнейшим текстом, написанным человеком, и содержит сведения по истории Земли первобытного периода.

С. 383. *Кромлех (бретон. «каменный круг»)* — культовое сооружение эпохи неолита и бронзового века в виде круговых оград из огромных камней; остатки кромлехов сохранились в Северной Франции, Великобритании и ряде других стран. В Соединенных Штатах — особенно на территории Великих равнин — также имеется много сооружений подобного типа.

С. 384. *Менгир* (*бретон* «длинный камень») — простейшее мегалитическое сооружение в виде грубо отесанного и поставленного вертикально большого камня (высотой до 20 метров).

С. 385. *Новые Нидерланды* — голландская колония на побережье Северной Америки с центром в г. Новый Амстердам (впоследствии Нью-Йорк), просуществовавшая с 1614 по 1674 г.

С. 387. *Валузия* — вымышленное древнее королевство в фантастическом цикле Роберта Говарда (1906–1936) о герое Кулле. Аллюзия на Говарда здесь не случайна — он дружил по переписке с Лавкрафтом и создал несколько произведений, продолжающих лавкрафтовские «Мифы Ктулху».

УЖАСНЫЙ СЛУЧАЙ В MARTINZ-BICH

Рассказ написан Лавкрафтом совместно с Соней Хафт Грин (1883–1972) в июне 1922 г. и опубликован в журнале «Weird Tales» в ноябре 1923 г. под названием «Невидимый монстр». В следующем году соавторы обвенчались, но этот брак оказался недолговечным.

С. 393. *Смэк* — одномачтовое парусное судно.

ПЕПЕЛ

Это самый ранний (1923) из четырех рассказов, созданных Лавкрафтом совместно с Клиффордом Мартином Эдди-младшим (1896–1967), который сам по себе был весьма плодовитым писателем и сотрудничал с несколькими литературными журналами, включая «Weird Tales». Участие Лавкрафта в данном рассказе ограничено редакторской правкой и добавлением некоторых деталей, тогда как в других их совместных произведениях — «Пожиратель призраков», «Возлюбленные мертвецы» и «Слепоглухонемой» — вклад соавторов оценивается исследователями как примерно равный.

ПОЖИРАТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ

Рассказ написан в 1923 г. См. прим. к рассказу «Пепел».

С. 414. *Аргандова лампа* — масляная лампа, изобретенная в 1780 г. швейцарцем Эме Аргандом и имевшая широкое распространение вплоть до второй половины XIX в., когда ей на смену пришли керосиновые лампы.

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ МЕРТВЕЦЫ

Рассказ написан в 1923 г. См. прим. к рассказу «Пепел».

С. 422. *Лемурийская орда* — см. *Лемурия* в прим. к повести «Локоны Медузы».

СЛЕПОГЛУХОНЕМОЙ

Рассказ написан в 1924 г. См. прим. к рассказу «Пепел».

С. 442. *Харон* — в греческой мифологии перевозчик душ умерших через подземные реки к вратам Аида.

Тантал — в греческой мифологии фригийский царь, который за разглашение тайн богов был осужден на вечные мучения: стоя по горло в воде, он не мог напиться, ветви с плодами отстранялись от его рук, над головой нависала скала, ежеминутно грозящая падением.

С. 443. *Нифльхейм* — в скандинавской мифологии мир холода и мрака; один из первомиров, который при столкновении с миром огня и света породил первое живое существо — великана Имира. После смерти Имира из личинок, пожиривших его плоть, возникли *дуэргары* — злобные и подлые карлики.

С. 444. *Окипетовы миазмы* — в греческой мифологии Окипете является одной из трех гарпий — отвратительных полуженщин-полуптиц, обитающих среди нечистот и зловония и оскверняющих все, к чему приближаются.

С. 446. *Сатурналии* — карнавалы праздники в Древнем Риме, название которых стало синонимом разгула и разнузданного веселья.

Кабирийские оргии — в Древней Греции празднества в честь кабириов («великих богов») — демонических потомков Гефеста, помогавших отцу в кузнечном деле, а также покровительствовавших земледельцам и мореходам.

С. 447. *Сироко*. — В Италии так именуют горячий и сухой южный ветер, приносящий из пустынь Северной Африки большое количество пыли и песка.

ДВЕ ЧЕРНЫЕ БУТЫЛКИ

Рассказ написан в июне — октябре 1926 г. совместно с Уилфредом Б. Талменом и опубликован в августе 1927 г. Вклад Лавкрафта в данном случае определить затруднительно. Из переписки следует, что

Талмен был раздражен обилием лавкрафтовских исправлений и, вероятно, отчасти восстановил собственный текст в окончательной редакции рассказа.

С. 448. *Рамано* — отрог Аппалачей на границе штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси.

ЛОВУШКА

Рассказ написан летом 1931 г. в соавторстве с Генри С. Уайтхедом и опубликован в марте 1932 г. Упомянув этот рассказ в письме к Р. Г. Барлоу от 25 февраля 1932 г., Лавкрафт сообщил, что им была создана вся его центральная часть (в частности, описание зазеркального мира).

С. 461. *Санта-Крус* — самый крупный из Виргинских островов, входивший в состав так называемой Датской Вест-Индии до 1917 г., когда эти владения были проданы датчанами Соединенным Штатам.

С. 462. *Оптический туннель* — видимость бесконечного коридора, получаемая путем размещения зеркал лицевой поверхностью друг к другу. Является традиционным элементом мистических практик и применяется оккультистами для общения с духами.

С. 466. *Юнг*, Карл Густав (1875–1961) — швейцарский психолог, ученик Фрейда, основатель аналитической психологии.

Адлер, Альфред (1870–1937) — австрийский врач-психиатр и психолог, ученик Фрейда, создатель системы индивидуальной психологии.

С. 486. *Локи* — в скандинавской мифологии злокозненный и коварный бог, способный превращаться в зверей, птиц, рыб, насекомых, менять пол и пр. От Локи и великанши Ангрбоды родился гигантский волк *Фенрир*, который, согласно пророчеству, в последней битве мира убьет Одина.

Минерва — древнеримская богиня, отождествляемая с греческой Афиной, одним из атрибутов которой была эгида: щит с прикрепленной к нему головой горгоны Медузы, взглядом обращающей в камень всех смертных.

Тор — один из главных богов скандинавской мифологии; бог грома, бури и плодородия. Его излюбленным оружием был каменный молот, который он метал во врага, а после броска молот самостоятельно возвращался к своему хозяину.

ПРИМЕЧАНИЯ

ДЕРЕВО НА ХОЛМЕ

Рассказ написан в мае 1934 г. совместно с Дуэйном У. Раймелом и опубликован в сентябре 1940 г. в журнале «Polaris». В 1930-х гг. Лавкрафт редактировал много текстов Раймела, а в двух случаях — рассказы «Дерево на холме» и «Экстумация» — не ограничился косметическими исправлениями. В «Дереве на холме», по признанию самого Раймела, Лавкрафт дополнил вторую и целиком написал третью части рассказа.

С. 489. *Нез-персе* — индейское племя, проживающее на севере штата Айдахо, где и происходит действие рассказа. Название племени образовано от французского *nez percé* — букв. «проколотый нос» — из-за традиции носить в носу различные амулеты.

С. 496. *Гермес Трисмегист* («Трижды величайший») — легендарный античный мудрец. В его сочинениях изложены знания, которые якобы были поведаны ему самим Гермесом (древнегреческим богом торговли и покровителем магии) и дают всеобъемлющее представление о загадках мира.

ЭКСТУМАЦИЯ

Рассказ написан в сентябре 1935 г. и опубликован в январе 1937 г., за два месяца до смерти Лавкрафта. Последний добавил несколько деталей и поправил стиль, не внося существенных изменений в сюжет рассказа. См. тж. прим. к рассказу «Дерево на холме».

ПЕРЕЖИВШИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Рассказ написан в январе 1935 г. совместно с Робертом Хауардом Барлоу (1918–1951) — американским писателем, поэтом-авангардистом и историком, специализировавшимся на доколумбовых цивилизациях Мексики, — и опубликован летом того же года в журнале «The Californian». Сохранился машинописный текст (скорее всего, уже вторая редакция) рассказа с множеством карандашных исправлений и вставок, сделанных рукой Лавкрафта.

НОЧНОЙ ОКЕАН

Рассказ написан летом 1936 г. совместно с Р. Х. Барлоу (см. прим. к рассказу «Переживший человечество») и впервые опубликован зи-

ПРИМЕЧАНИЯ

мой 1939 г. Относительно степени участия Лавкрафта исследователи расходятся: по мнению Д. У. Мосига, он написал этот рассказ практически в одиночку, используя только идею Барлоу, тогда как Т. С. Джоши считает, что первоначальный вариант был все же написан Барлоу, а Лавкрафт позднее основательно переработал его текст.

В. Дорогокупля

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Август Дерлет. Предисловие. Перевод В. Дорогокупли</i>	5
<i>ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ. Перевод М. Куренной</i>	7
<i>ПОЛЗУЧИЙ ХАОС. Перевод М. Куренной</i>	14
<i>ПОСЛЕДНИЙ ОПЫТ. Перевод М. Куренной</i>	23
<i>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАЛАЧ. Перевод М. Куренной</i>	79
<i>ПРОКЛЯТИЕ ЙИГА. Перевод М. Куренной</i>	102
<i>КУРГАН. Перевод О. Басинской</i>	122
<i>ЛОКОНЫ МЕДУЗЫ. Перевод М. Куренной</i>	191
<i>КАМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК. Перевод М. Куренной</i>	238
<i>УЖАС В МУЗЕЕ. Перевод М. Куренной</i>	256
<i>КРЫЛАТАЯ СМЕРТЬ. Перевод В. Дорогокупли</i>	291
<i>ВНЕ ВРЕМЕН. Перевод В. Дорогокупли</i>	320
<i>УЖАС НА КЛАДБИЩЕ. Перевод М. Куренной</i>	350
<i>ДНЕВНИК АЛОНЗО ТАЙПЕРА. Перевод М. Куренной</i>	367
<i>УЖАСНЫЙ СЛУЧАЙ В MARTINZ-БИЧ. Перевод М. Куренной</i> ..	393
<i>ПЕПЕЛ. Перевод М. Куренной</i>	401
<i>ПОЖИРАТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ. Перевод М. Куренной</i>	411
<i>ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ МЕРТВЕЦЫ. Перевод М. Куренной</i>	422
<i>СЛЕПОГЛУХОНЕМОЙ. Перевод М. Куренной</i>	434
<i>ДВЕ ЧЕРНЫЕ БУТЫЛКИ. Перевод М. Куренной</i>	448
<i>ЛОВУШКА. Перевод Е. Мусихина</i>	461
<i>ДЕРЕВО НА ХОЛМЕ. Перевод О. Мичковского</i>	489
<i>ЭКСУМАЦИЯ. Перевод В. Дорогокупли</i>	503
<i>ПЕРЕЖИВШИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. Перевод О. Мичковского</i>	516
<i>НОЧНОЙ ОКЕАН. Перевод Е. Мусихина</i>	528
<i>Примечания. В. Дорогокупля</i>	556

Лавкрафт Г. Ф. и соавторы

Л 13 Ужас в музее : рассказы, повести / Говард Филлипс Лавкрафт и соавторы ; пер. с англ. О. Басинской, В. Дорогокупли, М. Куренной и др. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2017. — 576 с. — (Иностранная литература. Большие книги).

ISBN 978-5-389-10610-9

Говард Филлипс Лавкрафт, не опубликовавший при жизни ни одной книги, сделался маяком и ориентиром целого жанра, кумиром как широких читательских масс, так и рафинированных интеллектуалов, неиссякаемым источником вдохновения для кинематографистов, да и само его имя стало нарицательным. Сам Борхес восхищался его рассказами, в которых место человека — на далекой периферии вселенской схемы вещей, а силы надмирные всеяют в души неосторожных священный ужас. Данный сборник включает рассказы и повести, написанные Лавкрафтом в соавторстве.

УДК 821.111(73)

ББК 84(7Сое)-44

Литературно-художественное издание

ГОВАРД ФИЛЛИПС ЛАВКРАФТ
И СОАВТОРЫ

УЖАС В МУЗЕЕ

Ответственный редактор Александр Гузман
Редактор Василий Дорогокупля
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Компьютерная верстка Светланы Шведовой
Корректор Анна Быстрова

Подписано в печать 14.03.2017. Формат издания 60 × 90 ¹/₁₆.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 36. Заказ № 8602/17.

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака «Издательство Иностранка»
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60

E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах
на сайтах: www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



Y1LN1863803R

Говарда Филлипса Лавкрафта называли «Эдгаром По двадцатого века». Его отец-коммивояжер сошел с ума, когда Лавкрафту было два года. Его мать до шести лет заставляла будущего писателя носить длинные волосы и одевала как девочку. Он почти не ходил в школу, получил домашнее образование и с ранних лет пристрастился к готическим рассказам.

Прожив большую часть жизни затворником в родном Провиденсе, Лавкрафт вел гиперактивную переписку (сто тысяч писем!), активно публиковался в журналах и при жизни не увидел ни одной своей напечатанной книги. Запоздалое, но оглушительное признание пришло к нему через много лет после смерти.

Влияние его «философии ужаса» признавали такие мастера, как Борхес, и такие кумиры миллионов, как Стивен Кинг, по его рассказам было поставлено полтора десятка фильмов, до сих пор ежегодно выходят книги, развивающие и анализирующие его наследие, и само имя Лавкрафта стало нарицательным.

Лавкрафт любил кошек и мороженое, Древний Рим и старинную колониальную архитектуру своего родного Провиденса. Он ненавидел современность и механизацию, холодную погоду и все, что хотя бы отдаленно было связано с морем. Его внешний вид обличал в нем автора ужасных историй. Он был очень высок и невероятно худ, а его костлявое лицо совмещало в себе черты Бориса Карлова и Макса фон Зюдова. Но каким бы непривлекательным оно ни казалось, это впечатление тут же отступало, стоило только заглянуть ему в глаза. Его взгляд был на редкость теплым и дружелюбным и никогда не терял заинтересованности ко всему происходящему вокруг.

Книжная витрина

